This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

Saltykov, M. E.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА].

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

Съ «Матеріалами для біографіи М. Е. Салтыкова»,
К. К. Арсеньева, и съ двумя портретами М. Е. Салтыкова.

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1906 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1906.

891.73
S171
ed.5
v.9

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

КРУГЛЫЙ ГОДЪ.

[1879 г.].

Первое января.

Въ Новый годъ, разумѣется, пришелъ ко мнѣ племянникъ. Молодой человѣкъ лѣтъ двадцати четырехъ, но преспособный. У меня только въ Новый годъ да на Пасху и бываетъ.

— Съ Новымъ годомъ, дяденька.

— Съ новымъ счастьемъ тебя. Вареньица не приказать ли подать?

— Помилуйте, дядя, я въ это время водку пью (былъ третій часъ въ исходѣ).

— Водку? а ежели маменька узнаетъ?

— Она уже пять лѣтъ это знаетъ.

— Ну, водки такъ водки. А ежели водку пьешь, такъ, стало-быть, и куришь. Вотъ тебѣ сигара. Разсказывай, что хорошаго? съ визитами кончилъ?

— Съ нужными—да; еще два-три не особенно важныхъ осталось—тѣ передъ обѣдомъ додѣлать успѣю. А что-жъ вы, mon oncle, не поздравляете меня?

— Не знаю съ чѣмъ, оттого и не поздравляю.

— Conseiller de collège — сегодня и въ приказахъ ужъ есть.

— Вотъ какъ! Это прекрасно! Поздравляю, поздравляю, мой другъ! Маменьку-то увѣдомилъ ли?

— Сегодня въ девять часовъ утра въ Ниццу телеграфировалъ и сейчасъ заѣзжалъ домой, — ужъ отвѣтъ полученъ. Вотъ и телеграмма.

Онъ подалъ листокъ, на которомъ я прочиталъ:

«Pétersb. Znamenskaïa, 11.
«Néougodoff.

«Suis toute fière bénis conseiller collège Vendez Russie vendez vite argent envoyez Suis à sec

«*Nathalie*».

— Однако какъ же это: «Vendez Russie, vendez vite» и «argent envoyez» — что̀ это значитъ? Неужто ужъ такъ деньги занадобились?—въ недоумѣніи остановился я.

— Очень просто: есть у насъ пустошь Рускина — вотъ ее и надлежитъ продать. А на телеграфѣ переврали: Russie.

— Гм!.. какая однако-жъ, можно сказать, провиденціальная ошибка! Такъ вы Рускину-то продаете?

— Мы, дяденька, ужъ третью пустошь продаемъ съ тѣхъ поръ, какъ maman въ Ниццу уѣхала. Она пишетъ, что пустоши—лишнее, только фигуру имѣнія портятъ.

— То-есть, какъ тебѣ сказать?.. Конечно, пустоши—это въ родѣ бородавки... Бываютъ однако и бородавки... А впрочемъ, и то сказать: много денегъ въ Ниццѣ надо, особливо ежели кто въ Монте-Карло ѣздитъ. Только какъ бы послѣ Рускиной-то и до Монрепо Nathalie не добралась!

— Никогда не допущу! Тамъ прахъ моего отца! Вы забываете это, mon oncle!

— То-то, ужъ попридержитесь. Стало-быть, Nathalie тобой довольна? «Suis toute fière»—вотъ они, материнскія-то чувства! Цѣни ихъ, другъ мой! Vendez Russie, vendez vite... фу! Да, впрочемъ, какая бы мать и не загордилась на мѣстѣ Nathalie: въ твои лѣта—и ужъ почти фельдмаршалъ!

— Ну, до фельдмаршаловъ-то далеко!

— Нѣтъ, не очень. Посчитай-ка. Черезъ годъ, положимъ, статскій совѣтникъ...

— Черезъ годъ... impossible, mon oncle!

Ѳеденька скромничалъ; но я очень хорошо видѣлъ, что внутренно онъ вполнѣ одобряетъ мои предположенія, и потому продолжалъ:

— Черезъ два года — дѣйствительный, потомъ тайный, потомъ трещина вдоль черепа... фу! что̀ это однако-жъ какой я вздоръ говорю! Нѣтъ, право, совсѣмъ не такъ далеко, какъ кажется съ перваго взгляда! Ну, да будущее въ рукѣ Божіей... Теперь-то ты какъ? доволенъ?

— Еще бы! самъ генералъ давеча, на общемъ представленіи, объявилъ. Подошелъ, поздравилъ и сказалъ: «если и на будущее время будете такъ продолжать, то...»

Ѳеденька остановился.

— Ну?

— И только—что̀-жъ больше! затѣмъ перешелъ къ слѣдующему—и ему тоже...

— Ну, вотъ видишь! Стало-быть, статскій-то совѣтникъ

ужъ и теперь подразумѣвается. Продолжай, душа моя, старайся! И маменькѣ утѣшеніе, да и я, дядя-старикъ, на тебя глядючи, порадуюсь!

И, какъ истинный старикъ, я не утерпѣлъ и воскликнулъ:

— Господи! давно ли! Давно ли, кажется, я отъ купели тебя воспринималъ!

— Ровно двадцать четыре года тому назадъ.

— Какъ время-то бѣжитъ! Словно вотъ сейчасъ слышу голосъ Nathalie изъ-за двери: «ради Бога, Michel, не урони его! ты такой неловкій!»

— Не уронили однако?

— Богъ спасъ! А знаешь ли, впрочемъ, что! вѣдь иногда вашего брата, изъ нынѣшнихъ, право, недурно было бы въ младенческихъ лѣтахъ съ умѣренной высоты уронить!

— Это за что?

— Да бойки вы очень. Мечетесь, скачете, куски ловите—сколько вы народу передавите! Ну, да что говорить объ этомъ! Дай-ко лучше я полюбуюсь на тебя.

Я приподнялъ его съ кресла за руки, поставилъ передъ собой и повернулъ кругомъ.

— Безъ отмѣтинъ! Ноги крѣпкія, безъ подсѣдовъ, грудь широкая, крупъ какъ печь, и при этомъ — селезенка играетъ!.. молодецъ! Дамочки-то, я полагаю, видѣть равнодушно не могутъ! Особливо, какъ теперь узнаютъ, что такой милушка — и почти фельдмаршалъ! Вѣдь ты, разумѣется, и въ благотворительныхъ обществахъ служишь?

— Безъ этого, дядя, нельзя. Въ двухъ обществахъ секретаремъ, въ трехъ—членомъ-соревнователемъ.

— Знаешь, значитъ, гдѣ раки зимуютъ?

— Не безъ того. Да вѣдь и вы, дядя, я полагаю, въ свое время по части «дамочекъ» спуску не давали?

— Гдѣ намъ, другъ мой! Въ наше время вѣдь и «дамочекъ»-то не было. Бывали, да все Юноны; сидитъ она, бывало, въ оперѣ, въ бель-этажѣ, словно царевна въ окладѣ, да пастильки жуетъ—ну, и любуйся на нее снизу. А теперь пошли маленькія, юрконькія... интересны онѣ?

— Масло!

— Ну и слава Богу. Только вотъ говорятъ онѣ много... все говорятъ! все говорятъ! Этого тоже въ наше время не было. Вообще въ наше время для тѣхъ, кто не состоялъ по кавалеріи или не обладалъ громкимъ титуломъ, плохо по женской части было. Только два рессурса и существо-

вало: Кессениxъ да Марцинкевичъ. Тамъ, дѣйствительно, встрѣчались «дамочки», но тѣ не разговаривали. Оно, съ одной стороны, конечно, недостатокъ словесности, но съ другой стороны... Ну, дай тебѣ Богъ! дай Богъ!

Я обнялъ его и поцѣловалъ. Но потомъ опять не выдержалъ и удивился.

— Да вѣдь ты едва школьную скамью оставилъ! Ахъ!

— Пять лѣтъ ужъ, дяденька.

— Неужто ужъ пять лѣтъ?

— Даже немного больше. Нѣтъ, вы вотъ кому подивитесь—Самогитскому! Всего на одинъ курсъ старше меня, а на-дняхъ ужъ въ Погорѣловъ посланъ!

— Вотъ, я думаю, чья маменька-то не нарадуется!

— У него, mon oncle, нѣтъ настоящей маменьки. То-есть, коли хотите, она есть, но... vous concevez? Онъ — сирота, но сирота, такъ сказать... государственный!

— Гм!.. понимаю! Эти сироты всегда... Это, дружокъ, и въ мое время случалось. Служишь, бывало, служишь, только-что мѣстечко для себя облюбуешь — и вдругъ тебѣ на голову... «сирота»!

— Такъ и вы, значитъ, знакомы съ этими разочарованіями?

— Я, голубчикъ, все знаю. Я и славы видѣлъ, и срамоты видѣлъ,—все у меня на глазахъ прошло! Ты спроси, чего я только не видалъ!

— Да, говорятъ, интересныя у васъ воспоминанія есть.

— Есть-таки. Бывали интересныя вещи и въ наше время, но полагаю, что теперь ихъ вдвое больше, и если-бъ ты, напримѣръ, наблюдалъ, то навѣрное всякаго изъ насъ, стариковъ, за поясъ бы заткнулъ.

— Почему же вы такъ думаете?

— Да просто потому, что въ наше время жизнь какъ-то ровнѣе шла, стало-быть, и интереснаго въ ней сравнительно меньше было. Подкладкой-то ей, положимъ, служили тѣ же самыя непредвидѣнность и неприкрытость, что и теперь; но люди, которые пользовались этой подкладкой, были солиднѣе. Они понимали, что извѣстныя жизненныя условія для нихъ выгодны, и пользовались ими, какъ могли; но они не дразнились, не утверждали во всеуслышаніе, что это тѣ самыя условія, лучше которыхъ нѣтъ и не будетъ. Они знали, что такого тезиса нельзя приличнымъ образомъ поддержать, и что болтливость и хвастовство могутъ только компрометировать, но никакъ не защищать. Поэтому въ

наше время была строгость, но не было ненависти; бывали дѣйствія суровыя, неумолимыя, но не было вывертовъ, презрѣнія и наглости. Мрачно было, мой другъ, въ наше время, но хоть тѣмъ хорошо, что «питореску» подлаго не такъ много было. Живешь-живешь, бывало, «въ объятьяхъ сладкой тишины»—и ничего-то бьющаго въ глаза! И только когда-когда что-то шевельнется. Герой вдругъ появится, который одинъ цѣлую армію полицейскихъ разобьетъ, или такой ужъ мерзавецъ, что даже прочіе мерзавцы — и тѣ удивляются, какъ его земля носитъ. Ну, разумѣется, интересно: возьмешь и запишешь.

— Такъ, значитъ, по-вашему, нынче интересныхъ вещей больше?

— Больше, мой другъ.

— Представьте, я этого никогда не замѣчалъ!

— И не замѣтишь, потому что ты самъ среди этой суматохи живешь. А вотъ если, по обстоятельствамъ, придется тебѣ отъ фельдмаршальства-то отказаться да къ сторонкѣ отойти,—вотъ тогда всѣ эти интересности сами собой и всплывутъ. Будетъ объ чемъ и дѣтямъ и внукамъ поразсказать.

— Не знаю. Это для меня совсѣмъ ново. Во всякомъ случаѣ, я думалъ и продолжаю думать, что никогда мы не пользовались такой свободой, какъ теперь, и что въ этомъ отношеніи, по крайней мѣрѣ, шагъ впередъ, сдѣланный нами...

— Свободно-то даже очень свободно—помилуй, развѣ я не знаю! Но непредвидѣнность... ахъ, эта непредвидѣнность! Представь себѣ, вотъ я старъ-старъ, а все-таки меня ежечасно какая-то оторопь беретъ. Ходишь иногда одинъ и думаешь: вольно мнѣ теперь, на что вольнѣе! Что хочу, то и дѣлаю! И въ десятую долю никогда такъ свободно не дышала моя грудь, какъ дышитъ нынче! И вдругъ — какая-то непріятная дрожь. А что, дескать, коли, по обстоятельствамъ, придется вверхъ ногами ходить?

— Но вѣдь это пустяки, mon oncle! вы очень хорошо понимаете, что пустяки!

— Понимать-то понимаю, а все-таки...

— Все-таки боитесь... пустяковъ!

— Клянусь, боюсь. Никогда этого со мной не бывало, даже при Биронѣ не было — вотъ, братъ, какъ я давно живу!—а нынче, какъ спать ложиться иду, непремѣнно обѣ двери, и на парадную лѣстницу и на черную, осмотрю.

крѣпко ли заперты? И ночью не разъ встанешь — послушаешь.

— Что-жъ, привидѣній вы, что ли, боитесь?

— Нѣтъ, не привидѣній, а вообще... «Интереснаго» боюсь. Думаешь иногда: что ужъ во мнѣ! кажется, только и корысти, что заборы мной подпирать—а все-таки боишься!

— Ну, нѣтъ, не скромничайте! не говорите, что вами только заборы подпирать! Слыхали мы тоже про васъ, слыхали-таки!

Ѳеденька сказалъ это, очевидно, шутя, однако-жъ я все-таки обезпокоился.

— Вотъ видишь, и ты слышалъ — а я ничего не знаю. Почти ни съ кѣмъ я не вижусь, а если и вижусь, то съ такими же калѣками, какъ я самъ; даже водку совсѣмъ пересталъ пить, а все-таки чувства опасенія не утратилъ!

— А я и вижусь со всѣми, и вино и водку пью—и ничего не боюсь.

— Во-первыхъ, ты кандидатъ въ фельдмаршалы—не тебѣ, а тебя бояться приличествуетъ. Во-вторыхъ, ты безстрашный. Вы всѣ, нынѣшніе, безстрашные. Въ васъ совсѣмъ нѣтъ чувства отвѣтственности, а мы, старики, были снабжены имъ въ излишествѣ.

— Но какое же тутъ чувство отвѣтственности, коли вы даже водки не пьете?

— Все-таки. Вспомни, что я вскормленъ непредвидѣнностью и слѣдовательно ни на минуту не имѣю права позабыть объ ней. Придетъ она, спроситъ,—я долженъ виниться! Въ чемъ виниться—я, положимъ, не знаю, но обстановку виноватости все-таки представить обязанъ.

— Однако напуганы-таки вы!

— Не напуганъ, а смолоду привыкъ понимать, что въ семъ мѣстѣ не пахнетъ розами. Вотъ эту-то самую остроту обонянія я и называю чувствомъ отвѣтственности. Безъ хвастовства и не въ укоръ тебѣ, но я все-таки долженъ сказать: мы, старики, умнѣе васъ держали себя.

— Ого!

— Да, умнѣе, — право, это такъ. Не всѣ срамоты наружу вываливали, а кое-что и для внутреннихъ апартаментовъ приберегали. И не стыдъ руководилъ нами въ этомъ случаѣ, а именно чувство отвѣтственности, опасеніе компрометировать и себя и присныхъ своихъ. Ужъ это развѣ оглашенные какіе хвастались: я, молъ, такого-то объегорилъ, а такого-то и совсѣмъ по-міру пустилъ; муд-

рый же, бывало, сядетъ потихоньку въ уголокъ да и прикладываетъ рубликъ къ рублику. А на старости лѣтъ, глядишь, онъ либо въ масоны поступилъ, либо псалмы въ стихи перекладываетъ. Такъ-то, мой другъ. И гадость свою выполнилъ да и окрестностей вонью не отравилъ, — вотъ наша мудрость была какова!

— Къ счастью, что въ наше время ни «оглашенныхъ», ни «мудрыхъ»—одинаково нѣтъ.

— «Мудрыхъ» нѣтъ—это правда; но «оглашенныхъ» — хоть прудъ пруди. И притомъ живущихъ со дня на день, непредусмотрительныхъ, безъ надобности тщеславныхъ и безъ надобности же пресмыкающихся, не понимающихъ, что всякій поступокъ долженъ имѣть свою причину и свой результатъ...

— Дядя! вѣдь это наконецъ обидно!

— Да, это обидно. До такой степени обидно, что даже самая бесѣда объ этомъ раздражаетъ. Но представь себѣ: есть вещи, до такой степени неразрывныя съ человѣческимъ существованіемъ, что какъ ни отмахивайся отъ нихъ, онѣ такъ и наступаютъ, такъ и наступаютъ на тебя. Вотъ я совсѣмъ ужъ, кажется, отгородился отъ жизни, да, къ несчастью, къ газетамъ привычки не могу побороть. Получаю, братецъ, читаю. Иной разъ прямо тебя по затылку ударитъ, а другой разъ, хоть и ничего нѣтъ въ газетѣ— опять обида: почему *ничего* нѣтъ? Не можетъ быть, чтобъ *ничего* не было! Обида, обида, обида! Можетъ-быть, на дѣлѣ и нѣтъ этой обиды, да внутри у тебя непроглядная масса обидъ сидитъ. Тревожатъ, дразнятъ, досаждаютъ. Перечти-ка ты эти обиды, посчитай-ка ихъ въ тиши уединенія — вотъ и поймешь, почему иногда скучно на свѣтѣ жить.

— Вольно же вамъ!

— Обиды-то глотать? Нѣтъ, иногда даже полезно пріучаться къ этому глотанью, потому что обида, рано или поздно, все-таки придетъ. И ежели ты къ этому не привыкъ, а умѣешь глотать только устрицы, то обида у тебя поперекъ горла встанетъ, задушитъ. А меня не задушитъ, потому что я привыкъ. Впрочемъ, будетъ объ этомъ, обратимся лучше къ тебѣ. Ну, фельдмаршалъ, сказывай: планы у тебя въ головкѣ, чай, такъ кишмя и кишатъ?

— Какіе же планы, mon oncle? и что можетъ мнѣ предстоять?

— Нѣтъ, тебѣ предстоитъ... я это чувствую, что тебѣ

«предстоитъ»! Можетъ-быть, одинъ «сирота» мимо проскочитъ, а все-таки ты тамъ будешь, гдѣ тебѣ природой указано. Вотъ почему я тебѣ, какъ дядя и другъ, говорю: не зарывай въ землю своихъ талантовъ, но культивируй ихъ!

— Но вѣдь ежели вспомнить то, что вы сейчасъ говорили объ этихъ талантахъ, такъ, пожалуй, не культивировать, а именно зарыть ихъ скорѣе придется.

— Гм!.. пожалуй, что и такъ. Въ такомъ случаѣ зарой эти таланты и очисти мѣсто для другихъ. Надо тебѣ сказать, что талантъ самъ по себѣ безцвѣтенъ и пріобрѣтаетъ окраску только въ примѣненіи. Какого рода положительныя примѣненія ты можешь дать своимъ талантамъ—это, къ сожалѣнію, объяснить трудно. Но отъ какого рода примѣненій полезно было бы тебѣ воздержаться—это я, пожалуй, могу сказать.

Ѳеденька съ чуть замѣтной усмѣшкой взглянулъ на меня и процѣдилъ сквозь зубы:

— Напримѣръ?

— Вижу я, вижу, мой другъ, что болтливость моя забавляетъ тебя. И знаю, что тебѣ нужно только «провести время» съ старымъ дядей, въ ожиданіи тѣхъ визитовъ, которыхъ ты еще не успѣлъ додѣлать...

— Что за мысль, mon oncle!

— Ничего; позабавься — мнѣ и самому пріятно, ежели тебѣ весело. Начну съ воспоминаній прошлаго. Былъ во времена оны у насъ государственный человѣкъ—не изъ остзейскихъ, а изъ настоящихъ нѣмцевъ—человѣкъ замѣчательнаго ума и, сверхъ того, пользовавшійся репутаціей несомнѣннаго безкорыстія. Тѣмъ не менѣе даже въ то время нигдѣ такъ не было распространено взяточничество, какъ въ томъ обширномъ вѣдомствѣ, которымъ онъ управлялъ. Такъ вотъ онъ, когда случалось ему отправлять когонибудь на мѣсто въ губернію, всегда слѣдующимъ образомъ напутствовалъ отъѣзжающаго: «Удивляюсь,—говорилъ онъ:—какъ вы, русскіе, такъ мало любите свое отечество! Какъ только получаете возможность, такъ сейчасъ же начинаете грабить! Воздержитесь, мой другъ! пожалѣйте свое отечество и не столь ужъ быстро обогащайтесь, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые изъ вашихъ товарищей!»

— Надѣюсь однако, mon oncle, что ваша притча до меня не относится?

— Конечно, душа моя, въ буквальномъ смыслѣ она ни до тебя и даже ни до кого изъ «нынѣшнихъ» карьеристовъ

относиться не можетъ. Но транспортировать ее все-таки можно. Напримѣръ, сказать такъ: удивляюсь я, какъ вы, нынѣшніе, такъ мало любите свое отечество! какъ только почувствуете силу, такъ тотчасъ же начинаете дразниться. Воздержитесь, друзья! пожалѣйте свое отечество и не столь уже беззавѣтно поддавайтесь внушеніямъ бойкости, кои вамъ пользы ни на грошъ не принесутъ, а на общій ходъ дѣлъ между тѣмъ могутъ оказать вліяніе несомнѣнно вредное!

Я остановился и взглянулъ на Ѳеденьку: онъ очень внимательно чистилъ ножичкомъ ногти.

— Гм!.. а какъ вы полагаете, дядя,—сказалъ онъ послѣ минутнаго молчанія: — вашъ ископаемый государственный человѣкъ... достигъ онъ своими наставленіями какихъ-нибудь результатовъ?

— О, разумѣется, нѣтъ! всеконечно, нѣтъ! всеконечно, всеконечно, нѣтъ!

— Ну, а вы... вашими... какъ вы полагаете? достигнете?

Онъ сказалъ это такъ мило и при этомъ смотрѣлъ такъ ясно, улыбался такъ ласково, что я невольно взялъ его двумя перстами за подбородокъ и минуты съ двѣ молча любовался имъ.

Затѣмъ мы поцѣловались, вновь пожелали другъ другу счастливаго года, и Ѳеденька отправился додѣлывать визиты.

Первое февраля.

Хотя бесѣда между мною и Ѳеденькой происходила въ шуточномъ тонѣ, но небрежность, съ которою онъ отнесся къ моимъ совѣтамъ, не могла не огорчить меня. Основательно или неосновательно, но я не изъятъ нѣкоторыхъ опасеній. Боюсь я этихъ бойкихъ молодыхъ людей, которые ради карьеры готовы отречься отъ отца и матери, которые, такъ сказать, едва вышедши изъ пеленокъ, уже потрясаютъ указательнымъ перстомъ, какъ бы угрожая невидимому врагу: вотъ я тебя! Что вызываетъ эти угрозы? какое чувство руководитъ этими юношами, этими неоперившимися птенцами въ то время, когда они направо и налѣво сверкаютъ зрачками глазъ? Ненавидятъ ли они свое отечество (вѣдь, собственно говоря, они ему-то и грозятъ) или просто-на-просто не понимаютъ, что это за штука, которая называется отечествомъ?

Предположенія о ненависти я не допускаю. Во-первыхъ,

это чувство слишкомъ тяжеловѣсное для этихъ легкихъ сердецъ; во-вторыхъ, можно ненавидѣть лишь то, что гнететъ, сковываетъ, отравляетъ существованіе; но какого же рода отравы можетъ испытывать, напримѣръ, Ѳеденька? Помилуйте! онъ, не размышляючи, живетъ себѣ на всемъ готовомъ, въ прошлое заглянуть не любопытствуетъ, въ настоящее не вникаетъ, а въ будущемъ—видитъ только отрады...

Скорѣе всего, это люди неразвитые, выучившіе въ школѣ свои тощія тетрадки, не обращая вниманія на ихъ смыслъ, и потому даже не понимающіе, по чьему адресу они посылаютъ свои угрозы. Слово: «отечество» не смущаетъ ихъ, потому что они не имѣютъ ни малѣйшаго представленія о той безконечно разнообразной массѣ интересовъ и отношеній, которые оно собою захватываетъ. Они думаютъ, что это слово потому только небезполезное, что оно похвально звучитъ, въ парадныхъ случаяхъ, въ ушахъ начальства. Сверхъ того, они знаютъ изъ хрестоматій: «à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère»... И только.

Наиболѣе дальновидные изъ нихъ (тѣ, которые разсчитываютъ на солидныя карьеры, гдѣ упоминовеніе объ отечествѣ придаетъ человѣку извѣстную серьезность) позволяютъ себѣ иногда щегольнуть этимъ даже запросто, между своими; но щегольство это, съ перваго же взгляда, поражаетъ своею внезапностью, искусственностью и скоротечностью. Сидитъ, напримѣръ, Ѳеденька за тонкимъ обѣдомъ у Бореля, сквернословитъ насчетъ предстоящихъ ему карьеръ и, дабы дать собравшимся собутыльникамъ понятіе о своей солидности (онъ на-дняхъ ждетъ мѣста, гдѣ безъ солидности обойтись нельзя), вдругъ, ни съ того, ни съ сего, прерываетъ сквернословіе восклицаніемъ:

— Causons un peu de la patrie, messieurs! Ah! la patrie... c'est sacré!

Всѣ на мгновеніе умолкаютъ; многіе завидуютъ: гм!.. должно-быть, ему и въ самомъ дѣлѣ обѣщано! Но именно только на мгновеніе, потому что среди этого минутнаго смятенія вдругъ раздается голосъ какого-нибудь приблудnаго Жоржиньки:

— Rien n'est sacrrrrré pour un sapeurrrrrre...

И всѣ опять повеселѣли, словно отъ кошмара освободились. Самъ Ѳеденька не въ силахъ дольше держаться на высотѣ своей серьезности и ласково цѣдитъ сквозь зубы: «шутъ!» «Отечество» исчезаетъ, словно сквозь землю проваливается, и веселое сквернословіе вновь вступаетъ въ

свои права. Не ясно ли, что это слово, даже въ облагороженной формѣ: «la patrie», слишкомъ громоздко для этихъ людей?

Да, это совсѣмъ не жестокій, а именно только легкій и до невмѣняемости неразвитый народъ!

Тѣмъ не менѣе, не понимая, что̀ слѣдуетъ разумѣть подъ словомъ «отечество» и какія обязанности послѣднее налагаетъ на дѣтей своихъ, молодые карьеристы въ то же время отлично понимаютъ, во-первыхъ, что доходы и оклады, съ помощью которыхъ они прожигаютъ жизнь, получаются ими въ отечествѣ, и, во-вторыхъ, что нигдѣ, кромѣ отечества, имъ не суждено удовлетворить той потребности молодечества, которая, за отсутствіемъ знаній и привычки размышлять, преслѣдуетъ ихъ на всякомъ мѣстѣ. Въ этомъ смыслѣ и имъ, разумѣется, не чужда идея «отечества», но какого отечества?—того, которое все стерпитъ, да вдобавокъ еще и денегъ дастъ. Сильные этимъ соображеніемъ и зная, что практика не особенно-таки противорѣчитъ ему, эти люди видятъ въ отечествѣ нѣчто фаталистически имъ подчиненное, обязанное повиноваться и быть твердымъ въ бѣдствіяхъ. Поэтому они относятся къ нему безъ церемоній, а иногда и съ тѣмъ капризнымъ нетерпѣніемъ, съ которымъ, при крѣпостномъ правѣ, нѣкоторые не совсѣмъ умные помѣщики относились къ мужику. Выжавши изъ него весь сокъ и замѣчая, что онъ ужъ не выдѣляетъ изъ себя новаго сока, они усматривали въ этомъ не произволеніе природы, положившей предѣлъ выдѣленію соковъ, даже мужицкихъ, но мужицкую интригу, фактъ злонамѣренной утайки принадлежащихъ имъ, помѣщикамъ, даней. И, разумѣется, сердились, сѣкли и ссылали въ Сибирь.

Отечество-пирогъ—вотъ идеалъ, дальше котораго не идутъ эти незрѣлые, но нахальные умы. Мальчики, безъ году недѣлю вылѣзшіе изъ курточекъ и объ томъ только думающіе, какъ бы урвать, укусить... ужели этого зрѣлища не достаточно, чтобы взволновать чувствительныя сердца?

Въ послѣднее время это одностороннее отношеніе къ задачамъ и формамъ предлежащей жизненной дѣятельности, къ сожалѣнію, еще болѣе обострилось. Въ массѣ людей «постороннихъ», не «провиденціальныхъ», уже начинаютъ выдѣляться личности, которыя слову «отечество» придаютъ очень серьезный смыслъ, которыя прямо говорятъ, что отечеству надлежитъ служить, а не жрать его. Сверхъ того, тѣмъ же сознаніемъ серьезности проникается въ значи-

это чувство слишкомъ тяжеловѣсное для этихъ легкихъ сердецъ; во-вторыхъ, можно ненавидѣть лишь то, что гнететъ, сковываетъ, отравляетъ существованіе; но какого же рода отравы можетъ испытывать, напримѣръ, Ѳеденька? Помилуйте! онъ, не размышляючи, живетъ себѣ на всемъ готовомъ, въ прошлое заглянуть не любопытствуетъ, въ настоящее не вникаетъ, а въ будущемъ—видитъ только отрады...

Скорѣе всего, это люди неразвитые, выучившіе въ школѣ свои тощія тетрадки, не обращая вниманія на ихъ смыслъ, и потому даже не понимающіе, по чьему адресу они посылаютъ свои угрозы. Слово: «отечество» не смущаетъ ихъ, потому что они не имѣютъ ни малѣйшаго представленія о той безконечно разнообразной массѣ интересовъ и отношеній, которые оно собою захватываетъ. Они думаютъ, что это слово потому только небезполезное, что оно похвально звучитъ, въ парадныхъ случаяхъ, въ ушахъ начальства. Сверхъ того, они знаютъ изъ хрестоматій: «à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère»... И только.

Наиболѣе дальновидные изъ нихъ (тѣ, которые разсчитываютъ на солидныя карьеры, гдѣ упоминовеніе объ отечествѣ придаетъ человѣку извѣстную серьезность) позволяютъ себѣ иногда щегольнуть этимъ даже запросто, между своими; но щегольство это, съ перваго же взгляда, поражаетъ своею внезапностью, искусственностью и скоротечностью. Сидитъ, напримѣръ, Ѳеденька за тонкимъ обѣдомъ у Бореля, сквернословитъ насчетъ предстоящихъ ему карьеръ и, дабы дать собравшимся собутыльникамъ понятіе о своей солидности (онъ на-дняхъ ждетъ мѣста, гдѣ безъ солидности обойтись нельзя), вдругъ, ни съ того, ни съ сего, прерываетъ сквернословіе восклицаніемъ:

— Causons un peu de la patrie, messieurs! Ah! la patrie... c'est sacré!

Всѣ на мгновеніе умолкаютъ; многіе завидуютъ: гм!.. должно-быть, ему и въ самомъ дѣлѣ обѣщано! Но именно только на мгновеніе, потому что среди этого минутнаго смятенія вдругъ раздается голосъ какого-нибудь приблудnаго Жоржиньки:

— Rien n'est sacrrrrré pour un sapeurrrrrre...

И всѣ опять повеселѣли, словно отъ кошмара освободились. Самъ Ѳеденька не въ силахъ дольше держаться на высотѣ своей серьезности и ласково цѣдитъ сквозь зубы: «шутъ!» «Отечество» исчезаетъ, словно сквозь землю проваливается, и веселое сквернословіе вновь вступаетъ въ

свои права. Не ясно ли, что это слово, даже въ облагороженной формѣ: «la patrie», слишкомъ громоздко для этихъ людей?

Да, это совсѣмъ не жестокій, а именно только легкій и до невмѣняемости неразвитый народъ!

Тѣмъ не менѣе, не понимая, что̀ слѣдуетъ разумѣть подъ словомъ «отечество» и какія обязанности послѣднее налагаетъ на дѣтей своихъ, молодые карьеристы въ то же время отлично понимаютъ, во-первыхъ, что доходы и оклады, съ помощью которыхъ они прожигаютъ жизнь, получаются ими въ отечествѣ, и, во-вторыхъ, что нигдѣ, кромѣ отечества, имъ не суждено удовлетворить той потребности молодечества, которая, за отсутствіемъ знаній и привычки размышлять, преслѣдуетъ ихъ на всякомъ мѣстѣ. Въ этомъ смыслѣ и имъ, разумѣется, не чужда идея «отечества», но какого отечества?—того, которое все стерпитъ, да вдобавокъ еще и денегъ дастъ. Сильные этимъ соображеніемъ и зная, что практика не особенно-таки противорѣчитъ ему, эти люди видятъ въ отечествѣ нѣчто фаталистически имъ подчиненное, обязанное повиноваться и быть твердымъ въ бѣдствіяхъ. Поэтому они относятся къ нему безъ церемоній, а иногда и съ тѣмъ капризнымъ нетерпѣніемъ, съ которымъ, при крѣпостномъ правѣ, нѣкоторые не совсѣмъ умные помѣщики относились къ мужику. Выжавши изъ него весь сокъ и замѣчая, что онъ ужъ не выдѣляетъ изъ себя новаго сока, они усматривали въ этомъ не произволеніе природы, положившей предѣлъ выдѣленію соковъ, даже мужицкихъ, но мужицкую интригу, фактъ злонамѣренной утайки принадлежащихъ имъ, помѣщикамъ, даней. И, разумѣется, сердились, сѣкли и ссылали въ Сибирь.

Отечество-пирогъ—вотъ идеалъ, дальше котораго не идутъ эти незрѣлые, но нахальные умы. Мальчики, безъ году недѣлю вылѣзшіе изъ курточекъ и объ томъ только думающіе, какъ бы урвать, укусить... ужели этого зрѣлища не достаточно, чтобы взволновать чувствительныя сердца?

Въ послѣднее время это одностороннее отношеніе къ задачамъ и формамъ предлежащей жизненной дѣятельности, къ сожалѣнію, еще болѣе обострилось. Въ массѣ людей «постороннихъ», не «провиденціальныхъ», уже начинаютъ выдѣляться личности, которыя слову «отечество» придаютъ очень серьезный смыслъ, которыя прямо говорятъ, что отечеству надлежитъ служить, а не жрать его. Сверхъ того, тѣмъ же сознаніемъ серьезности проникается въ значи-

тельной степени и современная русская литература. По-настоящему этотъ фактъ долженъ былъ бы пробуждать довѣріе, а онъ, напротивъ того, бѣситъ. Бѣситъ, потому что «провиденціальные» мальчики никакъ не могутъ понять, какъ это *вдругъ* пришло. Откуда взялось мнѣніе, что отечество—не пирогъ, а культъ, дающій очень мало правъ и налагающій очень много обязанностей? Кто это говоритъ? подумайте... КТО это говоритъ? Это говорятъ люди «посторонніе», которымъ, по-настоящему, *до этого и дѣла-то нѣтъ!* И кому они говорятъ это?—тѣмъ, которые и днемъ и ночью, и въ ресторанахъ и въ кафе-шантанахъ, всегда готовы продекламировать: «à tous les coeurs bien nés que la patrie est chère!» Очевидно, что это не спроста, а *нарочно;* что тутъ есть какая-то пертурбація, подрывъ, потрясеніе! И вотъ провиденціальные мальчики чувствуютъ себя оскорбленными и начинаютъ сердиться. Угрозы, имѣвшія дотолѣ оттѣнокъ простой (хотя и халдоватой) неряшливости, пріобрѣтаютъ съ каждымъ днемъ характеръ болѣе и болѣе острый. Глаза горятъ, ноздри раздуваются, изъ устъ бьетъ пѣна... Это у мальчиковъ-то!

Какъ хотите, а это страшно. Цѣлыя массы провиденціальныхъ мальчиковъ каждогодно выбрасываются изъ всевозможныхъ заведеній на арену жизни... цѣлыя массы съ слюной на устахъ! И это—надежда, это—запасъ, изъ котораго будущему предстоитъ черпать! И каждый членъ этой массы безтрепетно грозитъ перстомъ: «вотъ я васъ!» Каждый мнитъ, что все, что̀ ни охватитъ его жадный взглядъ,—все это не что̀ иное, какъ арена, уготованная для подвиговъ его молодечества, арена, на которой онъ можетъ дразниться, подтягивать, «учить», утверждать въ вѣрѣ и т. д. Размыслите, сколько путаницъ, смутъ и недоумѣній осуществляютъ въ своемъ лицѣ эти новаго рода саперы, для которыхъ... rien n'est sacrrrré pour un sapeurrrrre!

И притомъ не простые саперы; а осложненные предвидѣніемъ какихъ-то препятствій, саперы, убѣдившіеся, что пирогъ, осуществляемый отечествомъ, нужно не просто ѣсть, а сколь можно ожесточеннѣе рвать зубами, потому что внутри его вмѣсто начинки засѣло скопище неблагонамѣренныхъ элементовъ, которые имѣютъ дерзость утверждать, что отечество есть культъ. Культъ!.. sapristi! à qui le dites-vous?

Забудемъ однако о «постороннихъ» людяхъ; допустимъ,

что Россія дѣйствительно—пирогъ, и только пирогъ. Ну, и ѣшьте его. Но ѣшьте же втихомолку, безъ гвалта, не надругаясь надъ Божьимъ даромъ, не разбрасывая добра по сторонамъ; ѣшьте, какъ при крѣпостномъ правѣ ѣдали умные ѣдоки, которые отлично понимали, что мужика невыгодно обгладывать до костей. Поѣшьте и сдѣлайте роздыхъ, займитесь пищевареніемъ. Размыслите: чѣмъ спокойнѣе и разсчетливѣе вы будете ѣсть, тѣмъ больше у васъ останется ѣды напредки, тѣмъ продолжительнѣе будетъ ваше пиршество. При помощи сноровки, благоразумія и скромности вы даже можете достигнуть совсѣмъ неожиданныхъ результатовъ: покончивши съ однимъ пирогомъ, вы получаете на смѣну другой, третій и т. д. Ужели эта перспектива недостаточно соблазнительна, чтобы ради нея не разстаться съ безплодными угрозами?

Зачѣмъ похваляться какими-то прерогативами? зачѣмъ говорить: «вотъ мы будемъ пирогъ ѣсть, а вы, любезные соотечественники, обязываетесь въ это время смотрѣть въ оба и не пикнуть»? зачѣмъ угрожать, пугать, дразниться? Какая выгода, какое удовольствіе вамъ отъ того, что покуда вы гремите тарелками, соотечественники ваши будутъ въ паническомъ молчаніи таращить на васъ глаза? Не пріятнѣе ли, не во сто разъ веселѣе ли было бы для васъ самихъ, если-бъ эти же самые соотечественники во время вашей трапезы потрясали воздухъ криками ликованія, предавались обычнымъ невиннымъ занятіямъ, суетились, ходили взадъ и впередъ и даже... немножко шумѣли? Сообразите сами: вѣдь это ликованіе, этотъ шумъ—вѣдь это своего рода музыка; это движеніе, эта суета, этотъ вольный аллюръ—своего рода пріятнѣйшій tableau de genre. Недаромъ помѣщики добрые (они же и умные) въ числѣ прочихъ удовольствій, пріятныхъ барскому сердцу, допускали хороводы, игры и вообще всякое невинное, хотя бы и шумное, изліяніе мужицкаго веселонравія. Даже скотина—и та въ стадѣ ѣстъ веселѣе, нежели въ одиночку. А притомъ же поймите еще и то, что безъ говору, безъ суеты ничего путнаго нельзя произвести. Вы съѣдите одинъ пирогъ, но вамъ же понадобится и другой,—какимъ образомъ состряпаютъ его эти люди, которые до того вами напуганы, что ничего другого не могутъ, кромѣ какъ въ оцѣпенѣніи ожидать, съ которой стороны ихъ хлопнетъ: по затылку или въ лобъ?

Я знаю, вы убѣждены, что все это необходимо для того,

чтобы утвердить въ «постороннихъ людихъ» уваженіе къ авторитету. Но понимаете ли вы сами всю непосильность взятой вами на себя задачи? Во-первыхъ, вы, очевидно, смѣшиваете уваженіе къ авторитету съ испугомъ, потому что хотите утверждать первое механически, а механически утверждается только испугъ. Во-вторыхъ, какъ ни законно желаніе, чтобы авторитетъ былъ окруженъ уваженіемъ, но насколько же можетъ содѣйствовать этому дурная привычка дразниться? Ахъ, это именно дурная и вредная привычка! Дразнясь, вы искажаете собственныя лица, которыя вслѣдствіе этого дѣлаются не только не внушительными, но просто-на-просто смѣшными. Дразнясь, вы обращаете вашу мысль преимущественно къ мелочамъ и упускаете изъ вида существенное. Дразнясь, вы больше оскорбляете, пробуждаете въ сердцахъ несравненно бо́льшую массу горечи, нежели даже допуская прямыя жестокости. Увы! вы слишкомъ еще юны, чтобы понимать, какъ безконечно подло положеніе человѣка, который понимаетъ, что его можно безтрепетно дразнить! И какъ въ милліонъ кратъ еще подлѣе положеніе того человѣка, который, пользуясь этою подлостью, все-таки продолжалъ дразниться. Размыслите объ этомъ, молодые люди, размыслите для вашей собственной пользы! Я знаю, что вы не любите думать (считаете «думанье» источникомъ всякаго зла), но на этотъ разъ сдѣлайте надъ собою усиліе, подумайте! И я увѣренъ, что вы безъ труда убѣдитесь, что вашими похвальбами, угрозами и подтягиваніями вы не только не утверждаете, но даже прямо компрометируете, попираете ногами дорогой для васъ принципъ авторитета.

Не могу не разсказать по этому случаю одного происшествія, которому я самъ былъ когда-то свидѣтелемъ. Былъ у меня во времена крѣпостного права знакомый помѣщикъ, человѣкъ не жадный, не жестокій, но на свое горе идейный. Всякія идеи приходили ему въ голову въ часы досуга, и между прочимъ идея объ утвержденіи помѣщичьяго авторитета въ родномъ селѣ Загибаловѣ. Съ чего онъ вдругъ взялъ, что авторитетъ его недостаточно проченъ— этого я, за давно-прошедшимъ временемъ, не упомню; помню только, что онъ безпрерывно твердилъ: «надо, mon cher, непремѣнно надо это устроить! распущены они! чортъ знаетъ до чего распущены!» И еще помню, что распущенность, какъ видно было изъ его словъ, преимущественно заключалась въ томъ, что мужики не особенно стóрожко

относились къ нему, когда онъ проходилъ по селу. А онъ таки-любилъ пройтись гоголемъ по сельской улицѣ, а въ особенности любилъ, чтобы мужикъ издалека увидѣлъ его и, издалека же снявъ шапку, привѣтствовалъ его приближеніе пояснымъ поклономъ.

— Понимаете! — говорилъ онъ мнѣ:—не поклонъ ихъ мнѣ нуженъ, а нужно убѣжденіе, что они сознаютъ свои обязанности относительно меня, что мой авторитетъ, en un mot... vous comprenez?

И вотъ онъ принялся утверждать свой авторитетъ между загибаловскими мужиками или, сказать проще, началъ дразнить мужиковъ. Замѣтитъ мужика, который дѣломъ занятъ, и начнетъ около него гоголемъ похаживать. Пройдетъ разъ мимо; почуетъ мужикъ боярскій духъ, отвѣситъ поясной поклонъ—хорошо, не спохватится—сейчасъ краткое нравоученіе съ иллюстраціями изъ избранныхъ сочиненій по части митирогнозіи. Черезъ минуту, только-что мужикъ углубился въ занятіе—хвать, анъ помѣщикъ опять тутъ какъ тутъ! Опять утвержденіе авторитета, опять раздающееся на все село: го-го-го! И до тѣхъ поръ такъ дѣйствовалъ, покуда облюбованный мужикъ не убѣждался, что нужно выкинуть изъ головы всякую заботу о дѣлѣ и вмѣсто того стоять выпучивши глаза и выглядывать, не появится ли гдѣ-нибудь баринъ, чтобъ своевременно отвѣсить ему требуемый поклонъ.

Такимъ образомъ онъ перепробовалъ всѣхъ мужиковъ своего имѣнія и дѣйствительно добился-таки, что всѣ они выпучили глаза. Много было тутъ и комическихъ сценъ, но, право, больше было трагедіи. Авторитетъ былъ насажденъ, но мужицкія хозяйства запустѣли, а вслѣдъ затѣмъ, естественно, послѣдовала задержка и въ барскихъ оброкахъ. Однако-жъ, какъ человѣкъ идейный, мой знакомецъ и съ этимъ мирился, лишь бы цѣль его жизни была достигнута. Но вотъ пробилъ грозный часъ, часъ уплаты процентовъ опекунскому совѣту. Ни денегъ, ни цѣнностей не было,—все обращено было въ авторитетъ. Разумѣется, село Загибалово было въ непродолжительномъ времени продано съ аукціоннаго торга.

Вы можете, о, молодые карьеристы, вывести изъ этой критики такое поученіе, какое сами заблагоразсудите; я же, съ своей стороны, обязываюсь прибавить одно: что сравненіе съ сейчасъ названнымъ помѣщикомъ не только не унизительно, но даже черезчуръ лестно для васъ. Знакомецъ

мой былъ человѣкъ хотя и не умный, но идейный и въ пользу разъ облюбованной идеи жертвовалъ даже пирогомъ. Вы же, оставаясь неумными, хотите въ одно и то же время и дразниться и пирогъ за собой сохранить!.. Развѣ это естественно?

И замѣтьте, что вы не платонически только дразнитесь, а прямо являетесь въ жизнь съ твердымъ намѣреніемъ «дѣлать нарочно». Вы вполнѣ серьезно убѣждены, что воспрославиться можно только поступая наперекоръ, *дѣлая нарочно.* Откуда пришло къ вамъ это убѣжденіе, кто внѣдрилъ его въ васъ,—этого я рѣшительно не понимаю. Не думаю, чтобъ это внушили вамъ почтеннѣйшіе ваши родители; не предполагаю также, чтобъ вы почерпали этотъ принципъ въ стѣнахъ «заведеній», которыя охраняютъ вашу юность, и еще меньше могу допустить, чтобъ вы могли наслышаться объ немъ отъ татаръ Борелева ресторана, гдѣ вы по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ исподволь пріучаетесь прожигать жизнь. И родители, и воспитатели, и Борелевскіе татары виноваты развѣ въ одномъ: что они черезчуръ ужъ любуются вами, черезчуръ желаютъ вамъ успѣховъ, однихъ успѣховъ! Они убѣждены зараньше, что вы явились въ міръ затѣмъ единственно, чтобы преуспѣвать и дѣлать карьеры. Вы—провиденціальные мальчики, и въ согласность этому и воспитаніе вамъ даютъ провиденціальное же, то-есть безъ участія наукъ, которыя впослѣдствіи могли бы заставить васъ остановиться, задуматься или вообще какъ-нибудь васъ огорчить. Отсюда общая увѣренность, что вы «достигнете»—непремѣнно. Но средствъ, къ которымъ вы прибѣгнете, чтобъ воспрославиться, угадать нельзя, потому что они мѣняются сообразно съ условіями времени. Эти средства вы создаете сами. Вы отгадываете, откуда и какимъ вѣтромъ дуетъ; вы видите примѣры вашихъ ближайшихъ сверстниковъ; вы чутко слѣдите за ихъ быстрыми шагами на пути карьеръ и молодечества и, согласно съ этими наблюденіями, совершенно точно опредѣляете, какая въ данномъ случаѣ потребуется доза проворства, бойкости, а, пожалуй, даже и нахальства. Такимъ образомъ уже въ стѣнахъ школы установляется въ вашихъ понятіяхъ цѣлая традиція, и на основаніи ея образуется извѣстный товарищескій «духъ». Вотъ этотъ-то именно «духъ» я и не могу назвать доброкачественнымъ.

«Дѣлать нарочно», то-есть дѣйствовать наперекоръ общему мнѣнію и здравому смыслу—вещь далеко не новая. И тутъ

можно найти очень поучительные прецеденты въ крѣпостной практикѣ. Помѣщики неумные всегда такъ поступали; они заставляли людей дѣлать именно такое дѣло, къ которому послѣдніе совсѣмъ неспособны, и, по какому-то совершенно безумному капризу, отрывали ихъ отъ работы въ такое время, когда работа всего больше необходима. Въ особенности же держались этой системы при распредѣленіи сельскихъ и хозяйственныхъ должностей, стараясь угадать, кто именно, въ качествѣ старосты или приказчика, можетъ быть всего непріятнѣе мужикамъ. Предполагалось... но что̀ именно тутъ предполагалось—этого даже приблизительно понять нельзя. Вѣроятно, что-нибудь тоже въ родѣ «утвержденія авторитетовъ». Но выходила неслыханная безсмыслица и неслыханное страданіе. Безумные люди какъ бы мстили хлѣбу за то, что онъ насыщаетъ ихъ. И мстили систематически, съ серьезнымъ тупоуміемъ, ни на минуту не задумываясь надъ тѣмъ, что могильная тишина, которой они достигали, переполнена проклятіями.

Но мало того, что эта вещь не новая—она, сверхъ того, и положительно вредная. Продолжительное практикованіе подобной системы убиваетъ не только тѣхъ, на которыхъ она практикуется, но и тѣхъ, которые практикуютъ ее. Оно дѣлаетъ практикующаго злымъ. О, молодые люди! вы не знаете, какая это трудная задача быть злымъ! Это тягчайшая изъ всѣхъ казней, въ которой соединяется: и отказъ отъ человѣческаго образа, и отрѣшеніе отъ радостей и благъ жизни, и добровольное самоустраненіе отъ общенія съ живыми людьми. Кто изъ васъ рѣшится этой цѣной купить себѣ славу человѣка, сгибающаго въ бараній рогъ? Взгляните на портреты наиболѣе прославившихся «сгибателей»—что̀ вы увидите на этихъ угрюмыхъ и озабоченныхъ лицахъ, кромѣ безразсвѣтнаго мрака тоски! Пронеслись они безплоднымъ, изсушающимъ вѣтромъ по лицу земли; разоряли, преслѣдовали по пятамъ, душили и наконецъ сами задохлись въ судорогахъ снѣдавшей ихъ угрюмости! И даже могилы ихъ стоятъ забытыми, потому что всякій спѣшитъ скорѣе пройти мимо, чтобы не вспомнить кошмара, который неразлученъ съ памятью объ нихъ...

Увы! все это еще при жизни было написано на ихъ лицахъ! все, даже предчувствіе забвенія, которое окружитъ ихъ могилы!

Тоска, отчаянье, одиночество, почти одичалость—вотъ старость, которую вы готовите себѣ. Конечно, эта мета-

морфоза можетъ на первый взглядъ показаться вамъ рискованною и даже смѣшною. Покуда вы еще такіе радостные, проворные, общежительные—трудно даже представить себѣ, чтобы для васъ когда-нибудь наступилъ періодъ тоски и одичалости. Къ сожалѣнію, это не только возможно, но и неизбѣжно. Прикосновеніе къ извѣстной жизненной практикѣ производитъ въ человѣкѣ измѣненія поистинѣ волшебныя. Оно сушитъ жизненные соки; оно разомъ порываетъ тѣ невидимыя нити, которыя связываютъ человѣка съ человѣкомъ; оно отчуждаетъ человѣка, кладетъ на него печать вымороченности. Стало-быть, въ сущности васъ ждетъ не перспектива молодечества, а перспектива уныніи и медленнаго одинокаго разложенія. Подумайте объ этомъ теперь, когда еще не ушло время, потому что *послѣ*, когда въ васъ окончательно притупится способность воспринимать впечатлѣнія, когда вы *привыкнете*,—будетъ уже поздно. Освоившись съ атмосферой, которая сама собой образуется вокругъ васъ, вы уже не найдете въ себѣ ни силы, ни даже потребности жить внѣ ея.

О, молодые люди! когда вы съ такимъ неизреченнымъ легкомыслiемъ начинаете грозить отечеству: «вотъ я тебя!»—вы не повѣрите, какъ тяжело бываетъ смотрѣть на васъ! И жалость беретъ, и отвращеніе, и страхъ. Жалость—къ вамъ, отвращеніе—къ вашей неблаговоспитанности, страхъ—за все испуганное, валяющееся въ прахѣ, не имѣющее ни силы придти въ себя, ни смѣлости взглянуть вамъ въ глаза. Но что ужаснѣе всего: вы до такой степени презираете все, что *не вы*, что ничего не хотите ни слышать, ни видѣть, ни понимать. Все кругомъ предостерегаетъ васъ, а вы все-таки идете напроломъ, грудью впередъ... куда?

Передъ вами лежитъ громадная загадочная масса, и вы полагаете, что ее можно сразу разгадать и опредѣлить одною фразой: «въ бараній рогъ согну!» Право, такое опредѣленіе слишкомъ просто и коротко, чтобъ быть вѣрнымъ. Хотя это замѣчаніе и чисто внѣшняго свойства, но, повѣрьте, оно имѣетъ свою цѣну. Сложная масса и опредѣленій требуетъ сложныхъ,—это аксіома, которую вамъ придется признать при первомъ нѣсколько серьезномъ столкновеніи съ жизнью. А вѣдь отъ этихъ столкновеній и вы не обезпечены, какъ ни беззавѣтно одушевляющее васъ легкомыслiе...

. . . . . .

Я знаю, что въ числѣ моихъ читателей очень многіе

упрекнуть меня за выборъ предмета, которому я посвятилъ эти бѣглые очерки.—Что такое эти провиденціальные младенцы?—скажутъ они:—это не больше, какъ безсильная каста сорванцовъ-недоумковъ, которая, конечно, вызываетъ досаду своимъ откровеннымъ безстыдствомъ, но которая, вслѣдствіе самой своей безсодержательности, никакъ ужъ не можетъ вліять на будущее; это кучка изолированныхъ, непомнящихъ родства призраковъ, которые несомнѣнно исчезнутъ при первомъ появленіи солнечнаго луча. Масса, у которой и своего дѣла по горло, у которой нѣтъ времени смотрѣть на представленія Богъ-вѣсть откуда явившихся клоуновъ, не только не чувствуетъ ихъ присутствія, но даже не знаетъ объ ихъ существованіи. Если-бъ они воистину имѣли рѣшающій голосъ въ историческихъ судьбахъ, то мы давно бы видѣли повсемѣстное запустѣніе. Но вѣдь этого нѣтъ, но жизнь еще не сложила оружія—стало-быть, нѣтъ основанія и для опасеній. Пускай безумцы посылаютъ въ пространство свои угрозы, пускай пробуютъ свои молодыя силы на подвигахъ безцѣльнаго молодечества,—угрозы ихъ разнесетъ вѣтеръ, подвиги не перейдутъ за черту заколдованнаго круга, въ которомъ они зародились. Стоитъ ли обращать вниманіе на эти преходящія сновидѣнія, въ которыхъ нечего осязать и которыя, вдобавокъ, до того безсвязны, что невозможно прослѣдить въ нихъ ни начала, ни средины, ни конца. Призраки всегда были и всегда будутъ. Всегда существовалъ этотъ досадный фантастическій міръ, который надоѣдливо жужжалъ въ уши и присаживался какъ можно ближе къ пирогу. И никогда онъ не измѣнялъ себѣ, хотя внѣшнія формы его въ разное время были различны. Всегда онъ хвастался, лгалъ и пустословилъ; но пустословіе это не оставляло слѣдовъ. И кто эти люди—какіе-то едва вышедшіе изъ курточекъ младенцы... Брысь!

Къ сожалѣнію, въ этомъ возраженіи я вижу только одну подробность, съ которой могу безусловно согласиться. А именно: что изслѣдуемый мною міръ есть воистину міръ призраковъ. Но я утверждаю, что эти призраки не только не безсильны, но самымъ рѣшительнымъ образомъ вліяютъ на жизнь. Это ужасно унизительно, но это такъ. Я понимаю очень хорошо, что съ появленіемъ солнечнаго луча призраки должны исчезнуть, но,—увы!—я не знаю, когда этотъ солнечный лучъ появится. Вотъ это-то именно и гнететъ меня, это-то и заставляетъ внушать страхъ за буду-

щее. Мы ждемъ, что лучъ осѣнитъ нашу жизнь не дальше какъ завтра, но вѣдь и предшественники наши этого ждали, и ихъ предшественники—тоже. Отъ начала вѣковъ этого ждутъ, тысячи поколѣній сгорѣли въ этомъ ожиданіи, а міръ все еще кишитъ призраками. И наша дѣйствительность до того переполнена, заполонена ими, что мы изъ-за массы призраковъ не видимъ очертаній жизни. Мало того: мы сами отчасти дѣлаемся призраками, принимаемъ ихъ складку. Возможна ли обида горше этой? Увы! они сильнѣе силы, живучѣе жизни, эти призраки! И я, который пишу эти строки, я пишу ихъ подъ игомъ призраковъ, и вы, читающіе эти строки,—вы тоже читаете ихъ подъ игомъ призраковъ...

Правда, что призраки, о которыхъ я повелъ рѣчь, чрезчуръ мизерны и юны, и потому ихъ призрачность кажется какъ бы сугубою. Тѣмъ не менѣе я продолжаю утверждать, это тѣ самые призраки, которые стерегутъ наше ближайшее будущее! Что же касается до солнечнаго луча, то и я жду его вмѣстѣ съ прочими, но ожиданіе это нимало не разрѣжаетъ тяжелыхъ потемокъ, которыя царствуютъ окрестъ.

. . . . . .

Какъ бы то ни было, но изложенныя сейчасъ размышленія не на шутку встревожили меня. Я считаю себя добрымъ родственникомъ, люблю кузину Nathalie («она такая слабенькая, совсѣмъ куколка») и охотно переношу эту любовь на ея сына. Мнѣ было бы очень больно, если-бъ Ѳеденька игралъ дѣятельную роль въ этой мальчишеской комедіи потрясанія перстомъ. Я знаю, конечно, что начальство довольно снисходительно смотритъ на шалости молодыхъ людей, но вѣдь неровенъ часъ, вдругъ оно спроситъ: «а позвольте, господа, узнать, кто уполномочилъ васъ дразнить вашихъ согражданъ и глумиться надъ любезнымъ отечествомъ?» Что отвѣтитъ на этотъ вопросъ Ѳеденька? Боюсь я, сильно боюсь, какъ бы мнѣ не пришлось сгорѣть за него со стыда!

Хоть онъ и не носитъ моей фамиліи, но все-таки онъ... Неугодовъ!! Неугодовъ... гдѣ, бишь, «сидѣлъ» какой-то Неугодовъ? кому, бишь, другой такой же Неугодовъ цѣловалъ крестъ? Вотъ они... Неугодовы!! Ужъ ради одного этого можно было бы побезпокоиться, чтобы послѣдній отпрыскъ этихъ достославныхъ «сидѣльцевъ» и «цѣловальниковъ» не осрамился въ конецъ.

Подъ вліяніемъ этихъ тревогъ я рѣшился какъ можно скорѣе узнать, какъ полагаетъ Ѳеденька поступить съ Россіей въ томъ недалекомъ будущемъ, когда чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника украситъ его формуляръ.

Первое марта.

На мое приглашеніе повидаться Ѳеденька отвѣтилъ кратко: «Не могу. Дѣла по горло. Утромъ—читаю и запасаюсь фактами; вечеромъ—предсѣдательствую въ комиссіи. Когда-нибудь разскажу подробно». Разумѣется, это извѣстіе еще больше взволновало меня. «Въ комиссіи!» — «предсѣдательствуетъ!»—такъ и звенѣло у меня въ ушахъ.

Къ сожалѣнію, я—литераторъ. Было время, когда я не могъ себѣ представить ничего завиднѣе этого положенія. Теперь я это представленіе значительно видоизмѣнилъ и выражаюсь ужъ такъ: хорошо быть литераторомъ, но не дѣйствующимъ, а *бывшимъ*. Да, именно такъ: не настоящимъ литераторомъ, не тѣмъ, который мучительно мечтаетъ, какъ бы объѣхать на кривой загадочнаго незнакомца, а тѣмъ, который, совершивъ все земное, ясными и примиренными глазами смотритъ на жизненную суету, твердо увѣренный, что суета эта пройдетъ мимо, не коснувшись до него ни единымъ запросомъ, ни единымъ униженіемъ, ни единой тревогой...

Онъ послужилъ на свой пай литературѣ, и послужилъ достаточно; онъ принесъ и ей и обществу посильную дань пользы: онъ уврачевалъ множество скорбей и на безчисленныя раны пролилъ бальзамъ исцѣленія; онъ испыталъ въ свое время и тревоги борьбы и сладости одолѣнія (разумѣется, относительнаго); онъ предалъ забвенію первыя и съ благодарнымъ сердцемъ вспоминаетъ о вторыхъ; онъ вынесъ изъ своего литературнаго прошлаго цѣлый запасъ анекдотовъ, которыми многіе годы можетъ продовольствовать массу своихъ почитателей, онъ добился общаго признанія своихъ заслугъ, и наконецъ — о, заслуга превыше всѣхъ заслугъ!—онъ умѣлъ во-время сознать, что изъ сего лимона болѣе ничего не выжмешь, а затѣмъ смириться и воскликнуть: довольно! Какое положеніе можетъ быть почтеннѣе этого?

Онъ ужъ не литераторъ, но не считать его литераторомъ нѣтъ никакой возможности. Во-первыхъ, это значило бы обидѣть человѣка ни въ чемъ неповиннаго, кромѣ масти-

тости; во-вторыхъ, это было бы жестоко, ибо исключеніе изъ литературнаго сонмища лишило бы его утѣшенія разсказывать, какимъ путемъ онъ былъ приведенъ къ необходимости написать свой первый тріолетъ, и, въ-третьихъ, это было бы неправильно и потому, что, несмотря на «отставку», отъ всей фигуры этого счастливаго человѣка все еще такъ и прыщетъ тріолетами и акростихами. Правда, что все это тріолеты прошлаго, но кто же поручится, что онъ вотъ-вотъ и сейчасъ не разразится какимъ-нибудь рондо.

Человѣку, котораго въ теченіе 30—40 лѣтъ насквозь пронизывала литературная «проходимость» и сопряженныя съ нею учрежденія, перестать сознавать себя литераторомъ столь же немыслимо, какъ рыбной ватагѣ, насквозь пропитанной тузлукомъ, перестать быть ватагою. Сверхъ того, правильно или неправильно, но съ званіемъ литератора въ общественномъ мнѣніи соединяется представленіе объ «умномъ человѣкѣ». Княгиня Долгоухова, приглашая къ себѣ на чашку чая графиню Корноухову, говоритъ: «у меня будетъ литераторъ такой-то», и это означаетъ, въ переводѣ на обыкновенный языкъ: будетъ человѣкъ интересный, умный, nous nous amuserons. Стало-быть, отказъ отъ званія литератора былъ бы равносиленъ сопричисленію себя къ лику неумныхъ людей, что̀ совершенно противоестественно. Вотъ почему никто изъ вкусившихъ отъ «литературной проходимости» уже не отказывается отъ нея. Сгорбленный, съ палочкой въ рукахъ, бредетъ отставной литераторъ по солнечной сторонѣ Невскаго проспекта и все-таки сознаётъ себя литераторомъ. Онъ уже утратилъ «словесность» и даже въ крайнихъ случаяхъ только разѣваетъ ротъ, но въ тѣ немногія минуты, когда кашель, одышка, цензурныя сердцебіенія (особливая, свойственная только литератору, болѣзнь) и прочіе недуги оставляютъ его свободнымъ, онъ пользуется этими сладкими мгновеніями, чтобы коснѣющимъ языкомъ провозгласить: «да, я— еще литераторъ!»

Итакъ, не считать его литераторомъ — невозможно. Но въ то же время нельзя и считать его литераторомъ, ибо онъ уже не ядоносецъ и торговлю «заблужденіями» прикрылъ навсегда...

Положеніе нѣсколько двойственное, но вполнѣ завидное. Съ одной стороны, публика не перестаетъ благоговѣть передъ маститымъ человѣкомъ и втайнѣ даже какъ бы вопро-

шаетъ его: ужели же ты не подаришь насъ новымъ тріолетомъ? Съ другой стороны, начальство уже простило ему всѣ бывшія заблужденія. И такимъ образомъ всѣмъ онъ равно достолюбезенъ, всѣмъ равно милъ. Отъ однихъ — почтенъ, отъ другихъ — прощенъ. Вчера еще онъ былъ разбойникомъ печати, подрывателемъ основъ и краеугольныхъ камней; сегодня — онъ только пріятнѣйшій собесѣдникъ, увлекательнѣйшій разсказчикъ и несравненный дамскій кавалеръ. При видѣ его сердца дамъ мгновенно зажигаются восторгомъ (впрочемъ, невиннымъ), блюстители же благоустройства и благочинія весело потираютъ руки, восклицая: «отъ этого человѣка, какъ отъ козла — ни шерсти, ни молока!» Повторяю: какой удѣлъ можетъ быть слаще?

Совсѣмъ въ другомъ видѣ представляется удѣлъ, уготованный судьбою писателю дѣйствующему. Публика видитъ въ немъ человѣка подневольнаго и потому обращается съ нимъ безъ малѣйшаго благоговѣнія. Она не вопрошаетъ его со страхомъ: «ужели тотъ тріолетъ, который мы недавно прочитали,—твой послѣдній тріолетъ?» но говоритъ прямо: «вотъ каторжный, который напишетъ намъ столько тріолетовъ, сколько мы сами того пожелаемъ!» Иногда публика охотно читаетъ его, но никогда съ такимъ удовольствіемъ, съ какимъ *не* читаетъ писателя *бывшаго*. А что касается до женскаго пола, то объ этомъ и говорить нечего. Въ глазахъ дамочекъ дѣйствующій литераторъ уже по тому одному неинтересенъ, что ему вѣчно некогда. Ни тонкаго разговора о женской правоспособности повести, ни пощекотать замысловатымъ женскимъ парадоксомъ, ни поисповѣдывать насчетъ какихъ-нибудь péchés mignons, ни растревожить воображеніе,—ничего онъ не можетъ. Сидитъ этотъ «писачка» запершись у себя въ кабанетѣ и все строчитъ. Тогда какъ бывшій литераторъ—все у него къ услугамъ дамъ. И душа покладистая, и тѣло досужее, и языкъ безъ костей.

Съ своей стороны, и начальство смотритъ на дѣйствующаго литератора съ нѣкоторою осмотрительностью. Оно знаетъ, что литература, вслѣдствіе вѣкового недоразумѣнія, считается украшеніемъ, но въ то же время не игнорируетъ и того, что излишество украшеній производитъ непріятную для глазъ пестроту. Вотъ кабы всѣ дѣйствующіе литераторы какимъ-нибудь сладкимъ волшебствомъ вдругъ превратились въ литераторовъ *бывшихъ*—вотъ было бы хорошо!

Напримѣръ, Державинъ... ода «Богъ», «Фелица»... Или даже это:

Вечоръ красавицы-дѣвицы
Мѣшокъ пшеницы принесли:
Вѣдь расклюютъ же даромъ птицы —
Возьми, старинушка, смели!

Вотъ это хорошо! Или вотъ Пушкинъ... хотя все-таки лучше было бы, если-бъ онъ былъ Державинымъ, а не Пушкинымъ—ну, да ужъ Богъ ему, покойнику, проститъ! А эти дѣйствующіе литераторы... ахъ, эти литераторы!

Словомъ сказать, дѣйствующій литераторъ представляется чѣмъ-то закоренѣлымъ, нераскаяннымъ и до такой степени заблуждающимся, что онъ, подобно анекдотическому пошехонцу, способенъ «въ трехъ соснахъ заблудиться».

Разница въ положеніяхъ, какъ видитъ читатель, громадная...

Къ глубокому моему огорченію, я до сихъ поръ принадлежу къ числу литераторовъ дѣйствующихъ. Я знаю и понимаю, что давно бы мнѣ слѣдовало оставить заблужденія, давно пора бы предать забвенію письменныя принадлежности и вообще «забыться и заснуть», но — увы! — обстоятельства сильнѣе меня. Здѣсь не мѣсто объяснять, какого рода эти обстоятельства, но я долженъ сознаться, что «возвышенное» и «прекрасное» играютъ въ нихъ сравнительно довольно второстепенную роль. Я—работникъ, труженикъ, и ежели «заблуждаюсь», то преимущественно потому, что человѣку, однажды взявшему въ руки перо, невозможно не заблуждаться. Заблужденія какъ-то сами собой вырастаютъ изъ-подъ пера, и чѣмъ быстрѣе бѣжитъ перо по бумагѣ, тѣмъ больше и больше оно плодитъ заблужденій. Разговариваю я въ большинствѣ случаевъ не только здраво, но и благонамѣренно; но едва прикасаюсь перомъ къ бумагѣ—сейчасъ же начинаю заблуждаться. Даже корреспонденты «Московскихъ Вѣдомостей»—и тѣ, мнѣ кажется, кружатъ въ трехъ соснахъ, именно благодаря тому, что помело, которое они употребляютъ, и помои, въ которыя макаютъ это помело, все-таки прообразуютъ собой перо и чернила.

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній дѣлается понятнымъ, что я положительно теряюсь всякій разъ, какъ только прослышу, что гдѣ-нибудь затѣвается какая-нибудь комиссія. О чемъ будетъ трактовать эта комиссія, какія новыя вы-

думки начнетъ разработывать—это для меня безразлично. Я знаю впередъ, что рано или поздно, такъ или иначе, онъ все-таки кончитъ тѣмъ, что займется литературой. Сначала задѣнетъ ее косвенно, потомъ больше и больше, а наконецъ совсѣмъ забудетъ о предстоящихъ ей спеціальныхъ выдумкахъ и займется исключительно литературой и одушевляющимъ ее «вреднымъ направленіемъ»...

Очень возможно, что я и заблуждаюсь — на то я и литераторъ, чтобъ заблуждаться,—но почему-то мнѣ думается, что иначе оно не можетъ и быть. И даже не «почему-то» такъ думается, а просто-на-просто я имѣю твердыя и достовѣрныя основанія такъ думать. Скучно вѣдь сидѣть въ этихъ комиссіяхъ, господа, адски скучно! Именно только адская скука и сопряженное съ ней прекраснѣйшее содержаніе могутъ заставить людей издать сто одинъ томъ «Трудовъ», имѣя притомъ въ перспективѣ издать и еще столько же, безъ всякой надежды на результатъ! Представьте себѣ, напримѣръ, положеніе такого шустраго и правоспособнаго малаго, какъ мой Ѳеденька. Приходитъ онъ въ помѣщеніе засѣданія комиссіи и сразу чувствуетъ одно непреодолимое желаніе: какъ можно скорѣе удрать! Да и какъ не имѣть ему этого желанія! Въ комнатѣ царитъ казенная нагота; посрединѣ стоитъ форменный столъ, обставленный форменными же креслами; на столѣ въ изобиліи разставлены зажженныя свѣчи, но и за всѣмъ тѣмъ и стѣны и потолокъ кажутся погруженными въ сумерки. Темно, голо, даже холодно, несмотря на то, что дрова отпускаются казенныя. Дамочекъ нѣтъ и въ поминѣ; вмѣсто нихъ тамъ и сямъ мелькаютъ испитыя лица какихъ-то крохоборцевъ, и у каждаго изъ нихъ въ рукѣ громадный картонный листъ съ наклеенными на немъ бумажками. Это «матеріалы». Какъ тутъ поступить? неужто и въ самомъ дѣлѣ начать дебатировать? объ чемъ? Нѣтъ, проще всего, не вдаваясь въ разсмотрѣніе вопроса по существу, прямо предать «матеріалы» тисненію. Рѣшили. А потомъ? Увы! времени впереди еще много, а удрать невозможно—какая же это будетъ комиссія!—чѣмъ заняться, какъ провести время, чтобы отбыть урочные часы? Вотъ тутъ-то именно и является на выручку литература.

Во-первыхъ, литература, въ качествѣ «украшенія», всякому сама по себѣ бросается въ глаза. Во-вторыхъ, она имѣетъ слабость интересоваться комиссіями и слѣдить за ихъ трудами. Это послѣднее свойство въ особенности слу-

жить для нея источникомъ безчисленныхъ и мучительнѣйшихъ огорченій.

Чуть только пройдетъ по городу слухъ, что нарождается новая комиссія, какъ литература уже начинаетъ ликовать: «ну, слава Богу! теперь скоро!» Но проходитъ полгода, проходитъ годъ, десять лѣтъ, наконецъ сто лѣтъ, а объ комиссіи ни слуху, ни духу—словно въ воду канула! Извѣстно только, что члены ея неупустительно собираются, неупустительно получаютъ присвоенное содержаніе и упорно наклеиваютъ бумажки на громадные картонные листы. Натурально, литература начинаетъ роптать. Сколько было возбуждено свѣтлыхъ надеждъ, и какъ безпощадно онѣ тускнѣютъ одна за другой! Учтиво, но твердо напоминаетъ она, что такого-то числа исполнится столько-то лѣтъ со времени учрежденія комиссіи, и что по этому случаю предполагается даже устроить коммеморативный семейный обѣдъ въ одной изъ залъ Hôtel Demuth. «Что сдѣлала комиссія въ теченіе столь продолжительнаго періода времени?»—вопрошаетъ литература и тутъ же отвѣчаетъ: «объ этомъ мы поговоримъ въ слѣдующій разъ»...

Угроза не особенно страшная, но она вноситъ переполохъ въ сердца членовъ комиссіи. Ожиданіе, что вотъ-вотъ объ нихъ «въ слѣдующій разъ» что-то поговорятъ, приводитъ ихъ въ негодованіе. Не то чтобы они чувствовали страхъ, но—помилуйте!—вѣдь этакъ *всякій*... *Всякій* будетъ угрожать, *всякій* будетъ обсуждать, *всякій* будетъ выкладывать, что ему Богъ на сердце положитъ! *Всякій!* И вотъ картоны съ наклеенными бумажками откладываются въ сторону, и на сцену выступаетъ литература. Сначала произносится слово: «распущенность», потомъ: «неуваженіе авторитетовъ», потомъ: «вредное направленіе вообще» и наконецъ... «потрясеніе основъ»!.. И все это по поводу лишь того, что Ѳеденькѣ показалось обиднымъ, что объ немъ кто-то собирается поговорить «въ слѣдующій разъ»...

Меня всегда удивляло одно: зачѣмъ литература доводитъ себя до такихъ катастрофъ ради комиссій, занимающихся изданіемъ ста одного тома «Трудовъ»? Какое ей дѣло до комиссій? какое дѣло комиссіямъ до нея? Ужели нельзя существовать рядомъ безъ взаимныхъ раздраженій? Истинно, истинно говорю: можно существовать. И ежели объясняю себѣ это изумительное qui pro quo, то именно тѣмъ, что таково уже свойство всякаго дѣйствующаго (воинствующаго)

литератора, что, разъ взявшись за перо, онъ уже не можетъ не заблуждаться. Независимо отъ его воли, это перо наплодитъ такую массу заблужденій, что для искупленія ея недостаточно будетъ всей совокупности каръ, поименованныхъ въ «Уложеніи о наказаніяхъ».

Но ежели литературѣ свойственно заблуждаться, то комиссіямъ еще свойственнѣе негодовать. Каждый въ этомъ конфликтѣ находится въ своей роли, каждый исполняетъ свое провиденціальное назначеніе. Поймите въ самомъ дѣлѣ, какъ же это такъ: *всякій* будетъ понуждать, *всякій* будетъ угрожать, *всякій* будетъ говорить: вѣдь комиссія-то спитъ! Какимъ образомъ сохранить, при подобномъ порядкѣ вещей, душевное равновѣсіе, потребное для полученія присвоеннаго содержанія?

И эта способность приходить въ негодованіе по поводу «сованій носа», по поводу «непрошенныхъ разглагольствій» и «хожденій съ своимъ уставомъ въ чужой монастырь» свойственна не только, такъ сказать, природнымъ членамъ комиссій, но и всякому русскому культурному человѣку, которому судьба броситъ на разжеваніе хоть какой-нибудь, хоть даже просто-на-просто бросовый вопросъ. Лично каждый культурный человѣкъ готовъ во всякое время и купить и продать; но разъ онъ очутился около какихъ-нибудь крохъ и имѣетъ возможность производить сортировку ихъ—онъ будетъ защищать и эти крохи и эту сортировку до изступленія. И будетъ негодовать на всякаго, кто затѣетъ *сунуть свой носъ* въ его *домашнее* дѣло.

Пусть каждый изъ читающихъ эти строки обдумаетъ ихъ и пускай затѣмъ добросовѣстно отвѣтитъ: какъ бы онъ сталъ поступать, если бы случай сдѣлалъ его членомъ, напримѣръ, комиссіи объ отысканіи «корней и нитей», и если бы, по случаю столѣтняго ея юбилея, какой-нибудь *всякій* осмѣлился намекнуть, что учрежденіе это (безспорно полезное), издавъ триста три тома «Трудовъ», все-таки ни корней, ни нитей не отыскало? По крайней мѣрѣ, что касается до меня, то я публично каюсь: покуда я не нахожусь въ составѣ комиссіи (какой бы то ни было,—это безразлично)—я заблуждаюсь, то-есть изыскиваю средства *сунуть свой носъ;* но едва лишь меня *помѣстили* въ оную—я закусываю удила и дѣлаюсь способнымъ только «негодовать», то-есть на всѣхъ перекресткахъ вопіять:—помилуйте! есть ли возможность спокойно работать, ежели *всякій* будетъ «совать свой носъ»!

И еще характеристичная особенность! Хотя мы, культурные люди, имѣемъ замѣчательную охоту къ разработкѣ «вопросовъ», но предметомъ этой разработки почти всегда дѣлаемъ вопросы чисто-отрицательнаго свойства. Нѣтъ, чтобы что-нибудь оплодотворить или открыть на пять копеекъ втунѣ лежащихъ богатствъ, а непремѣнно искоренить, истребить, послѣднія пять копеекъ растратить. Какъ будто провиденціальная наша задача именно въ томъ и состоитъ, чтобы все безъ остатка въ три дня разрушить и во сто лѣтъ ничего не воздвигнуть.

Помню, нѣсколько лѣтъ тому назадъ судьба заперла меня на цѣлыхъ полгода въ Ниццѣ. Русскихъ въ этомъ городѣ масса (что въ значительной степени обусловливается близостью Монте-Карло съ его рулеткою), и въ этомъ множествѣ набралось человѣкъ съ десятокъ знакомыхъ, для которыхъ поѣздки въ Монте-Карло представлялись не съ руки. Въ томъ числѣ были: два земскихъ дѣятеля, одинъ предводитель дворянства, одинъ не помнящій родства экономистъ, одинъ задыхающійся прокуроръ, одинъ малокровный штабсъ-ротмистръ, одинъ «старый дипломатъ» (съ совершенно голою, точно дѣтскою, головой), два государственныхъ младенца (послѣдніе шестеро съ сохраненіемъ содержанія) и я. Всѣ мы безъ отдыха кашляли, пили микстуры, ѣли пилюли и претерпѣвали адскую скуку. Кругомъ—блескъ и прозрачность; солнце такъ и горитъ; на темно-синемъ небѣ ни облачка; Средиземное море плещетъ; померанцы благоухаютъ; пальмы, олеандры, лавровыя деревья чаруютъ взоры... а мы сидимъ, кашляемъ и тоскуемъ. Нѣтъ у насъ ни собственнаго дѣла, ни собственной жизни. Министерство Бюффѣ-Бройи падаетъ, уступая министерству Бюффѣ-Дюфора, а намъ все равно. Гамбетта произноситъ рѣчь за рѣчью, а у насъ скулы болятъ отъ зѣвоты. Префектъ, мосьё Декрѣ, балъ даетъ—насъ не приглашаетъ, и мы не печалимся этимъ, хотя понимаемъ, что въ качествѣ «знатныхъ иностранцевъ» имѣемъ право предъявить къ мосьё Декрѣ претензію. Ни намъ ни до кого дѣла нѣтъ, ни до насъ никому дѣла нѣтъ. Живемъ, какъ жили бы у себя въ Замоскворѣчьѣ, и не понимаемъ, что тутъ такого, въ этой «заграницѣ», привлекательнаго. Развѣ вотъ услышимъ, что г. фонъ-Дервизъ столько-то десятковъ тысячъ пожертвовалъ въ пользу бѣдныхъ города Ниццы и былъ по этому случаю почтенъ отъ мосьё Декрѣ визитомъ — ну, на минутку какъ будто оживимся, молвимъ: «вотъ истинно-

русскій патріотъ, который высоко держитъ знамя Россіи!» И затѣмъ — опять ничего, даже родная Русь — и та представляется воображенію, словно окутанная туманомъ, и ничѣмъ не напоминаетъ о себѣ, кромѣ замоскворѣцкой скуки. Думали мы, думали, какъ тутъ поступить, и наконецъ одинъ изъ государственныхъ младенцевъ подалъ отличный совѣтъ.

— Придумалъ я, господа, прекраснѣйшее развлеченіе,— сказалъ онъ однажды: — именно: выберемте какой-нибудь вопросъ, образуемъ изъ себя комиссію для разработки его и будемъ поступать такъ точно, какъ бы мы поступали, засѣдая въ заправской комиссіи. Во-первыхъ, это напомнитъ намъ объ интересахъ родной земли, а во-вторыхъ, поможетъ скоротать время вполнѣ на родной манеръ!

Мысль эта была всѣми встрѣчена съ увлеченіемъ. «Чудесно! — думалось всѣмъ: — и старая скука отъ насъ не уйдетъ и новой скуки отвѣдаемъ, — все же, между двухъ скукъ, скорѣе время пройдетъ!» Оставалось, слѣдовательно, найти «вопросъ», который могъ бы достойнымъ образомъ занять наши досуги. Стали отыскивать. Экономистъ, разумѣется, высказался, что всего приличнѣе было бы заняться обсужденіемъ вопроса о лежащихъ втунѣ богатствахъ, но предложеніе это было встрѣчено не только съ недовѣріемъ, но даже почти съ нетерпѣніемъ.

— А ну ихъ!—единогласно отозвались всѣ.

Затѣмъ нѣкоторое время, для приличія, поцеремонились, но наконецъ сознали ясно, что въ средѣ русскихъ культурныхъ людей, даже подъ темно-синимъ небомъ Ниццы, даже ради «игры», не можетъ быть никакой иной комиссіи, кромѣ комиссіи объ искорененіи.

— Объ искорененіи чего? — какъ будто изумился экономистъ.

Но этотъ вопросъ уже никого не засталъ врасплохъ.

— Тамъ увидимъ! начнемъ дебатировать—оно само собой опредѣлится!—отвѣчали одни.

— Какъ объ «искорененіи чего»?—просто-на-просто удивились другіе.

Вообще вопросъ экономиста всѣмъ показался настолько безпочвеннымъ, что даже самъ формулировавшій его сейчасъ же убѣдился въ его неумѣстности и поспѣшилъ взять назадъ свое предложеніе, яко нарушающее общее душевное равновѣсіе.

И вотъ, избравъ своимъ предсѣдателемъ «стараго дипло-

мата», помощникомъ его—предводителя дворянства, а секретарями—двухъ государственныхъ младенцевъ, мы начали ежедневно собираться и дебатировать. Что̀ собственно мы дебатировали,—этого я теперь опредѣлить не могу. Можетъ-быть, позабылъ, но, можетъ-быть, и никогда не помнилъ. Помню только, что изъ нашихъ дебатовъ что-то выходило, или по крайней мѣрѣ выходило настолько, что въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ существованія нашей комиссіи накопилось до десяти томовъ «Трудовъ».

Помаленьку да понемножку мы все искоренили: и то̀, что̀ служитъ начальству огорченіемъ, и то̀, что̀ приноситъ ему утѣшеніе. Искоренять такъ искоренять, особливо въ Ниццѣ, гдѣ никто, даже мосьё Декрѐ, не шепнетъ, что вотъ, дескать, явились какіе-то одержимые, которые и то̀, что̀ подрываетъ основы, истребляютъ, да и тому, что̀ поддерживаетъ оныя, поблажки не даютъ. Но, обсудивъ внимательнѣе подлежащіе искорененію предметы, мы все-таки пришли къ заключенію, что ничто не будетъ надлежащимъ образомъ искоренено, покуда не будетъ искоренена... литература. Какимъ образомъ мы пришли къ этому заключенію—я опять-таки объяснить не могу, но полагаю, что идея объ искорененіи литературы есть идея врожденная, отъ природы свойственная русскому культурному человѣку. Какой вредъ наносила литература намъ, «шляющимся» людямъ, собравшимся вкупѣ для «игры въ комиссіи», — это теперь для меня совсѣмъ непонятно. Но помню, что, когда я находился въ самомъ сердцѣ «дѣла», было и понятно и убѣдительно.

Однако-жъ въ началѣ «игры», ощущая себя литераторомъ, я затесался «налѣво» (лѣвѣе меня сидѣлъ только прокуроръ, но тотъ ужъ былъ чистѣйшей воды монтаньяръ) и довольно бодро и высоко держалъ знамя оппозиціи. Помню даже, что однажды, когда малокровный штабсъ-ротмистръ, споспѣшествуемый прокуроромъ, предложилъ одну часть произведеній литературы сжечь рукою палача, а другую потопить въ рѣкѣ, литераторовъ же водворить въ уѣздный городъ Мезень (прокуроръ, вмѣсто Мезени, допускалъ Варнавинъ — одною степенью меньше), то я не выдержалъ и произнесъ очень горячую и прочувствованную рѣчь.

— Господа!—сказалъ я:—я понимаю, что вопросъ объ искорененіи литературы не могъ избѣжать предназначенной ему участи, но рѣшительно не могу понять того ожесточенія, съ которымъ вы приступаете къ его обсужденію.

Что сдѣлала наша литература столь преступнаго, что вы находите недостаточнымъ простое ея искорененіе, но предлагаете таковое съ употребленіемъ огня и меча? Чѣмъ заслужила она участіе палача въ имѣющемъ постигнуть ее искорененіи? Или оскудѣли городовые? Или стрѣлы небесныя и земныя утратили свою силу и мѣткость? Нѣтъ, все идетъ своимъ чередомъ, городовые стоятъ на своихъ мѣстахъ, а небо, какъ издревле, сыплетъ на насъ своими молніями!.. А мы, простые гуляющіе русскіе люди, въ платоническомъ изступленіи раздираемъ на себѣ ризы! Почему? Я знаю, васъ возмутило то, что въ полученномъ нами вчера нумерѣ газеты «Чего изволите?», вмѣстѣ съ сообщеніемъ о засѣданіяхъ нашей комиссіи, намъ дается благожелательный совѣтъ не проводить время въ безплодномъ наклеиваніи бумажекъ на картонные листы, но дѣйствительно искоренить все, что искорененію подлежитъ («А что же не подлежитъ?»—съ грустью спрашиваетъ себя газета)... Я охотно допускаю вмѣстѣ съ вами: лучше бы, если-бъ совѣта этого не было. Но, относясь къ дѣлу безпристрастно, все-таки нахожу, что тутъ еще нѣтъ большого худа. Во-первыхъ, благодаря этому сообщенію, на насъ обращены взоры цѣлой Россіи, что даже весьма лестно; во-вторыхъ, предметовъ, подлежащихъ искорененію, накопилось такое множество, что поторопиться съ этимъ дѣломъ — дѣйствительно не лишнее; въ-третьихъ, ежели допустить, что непріятно видѣть, какъ какая-нибудь газета «суетъ свой носъ», такъ вѣдь это непріятность не особенно важная и притомъ скоропреходящая. Разъ «сунетъ носъ», въ другой «сунетъ носъ», а въ третій... яко исчезаетъ дымъ... Да, именно такъ. Развѣ, кромѣ насъ, не найдется благожелательныхъ лицъ, которыя съ послѣднею ясностью докажутъ газетѣ, что «совать носъ» не полагается? Развѣ сама газета, съ врожденною ей готовностью, не поспѣшитъ усвоить себѣ эту точку зрѣнія? Я самъ литераторъ, господа...

При этомъ напоминаніи прокуроръ быстро взвился съ своего кресла и, обращаясь къ предсѣдателю, задыхающимся голосомъ прошипѣлъ:

— Прошу г. предсѣдателя напомнить *защитнику*, что здѣсь онъ долженъ забыть о своей прикосновенности къ литературѣ...

Произнеся это, онъ закашлялся и проглотилъ пару дегтярныхъ пилюль; предсѣдатель же съ дѣтскимъ любопыт-

ствомъ взглянулъ на меня, какъ бы выжидая, не извинюсь ли я. Разумѣется, я поспѣшилъ исполнить его желаніе.

— Я ужъ давно забылъ, — продолжалъ я: — и если это горькое воспоминаніе сорвалось съ моего языка, то совсѣмъ не для того, чтобы оскорбить почтенныхъ моихъ товарищей по комиссіи, а для того единственно, чтобы собственнымъ примѣромъ подкрѣпить сейчасъ высказанную мною мысль. Я по опыту знаю, господа, съ какою готовностью наша литература усвоиваетъ точки зрѣнія, указываемыя ей благожелательными лицами. Я не всегда кашлялъ, не всегда страдалъ одышкой, милостивые государи! не всегда былъ калѣкой! Было время, когда и я былъ тѣмъ... ну, тѣмъ, объ чемъ теперь позабылъ! И какъ сейчасъ помню— я даже любилъ, когда мнѣ сообщали «точки зрѣнія». «Такъ я, стало-быть, заблуждался?»—обыкновенно говорилъ я въ этихъ случаяхъ:—«извольте, я это заблужденіе въ слѣдующемъ же нумерѣ искуплю!» И искупалъ. Вотъ какъ легко и пріятно это дѣлается, а совсѣмъ не такъ, какъ представляютъ это дѣло люди радикальной партіи, которые желаютъ внушить, будто въ это время въ груди у литераторовъ...

На этомъ мѣстѣ рѣчь моя была снова прервана, потому что прокуроръ потребовалъ, чтобъ меня призвали къ порядку. Предсѣдатель нѣсколько мгновеній растерянно осматривался по сторонамъ, но наконецъ рѣшился:

— Призываю васъ къ порядку, cher collègue!—сказалъ онъ: — я дѣлаю это съ стѣсненнымъ сердцемъ, но вы понимаете, что ежели господинъ прокуроръ сдѣлаетъ обо мнѣ недостаточную аттестацію, то я...

— Понимаю, — отвѣчалъ я: — и съ покорностью принимаю вашъ призывъ. Но позволю себѣ сказать нѣсколько словъ въ свое оправданіе. Упоминая о людяхъ радикальной партіи, я отнюдь не хотѣлъ этимъ названіемъ оскорбить кого бы то ни было. Если-бъ я употребилъ это выраженіе въ смыслѣ, напримѣръ, Ледрю-Роллена — я понимаю, что этимъ мною была бы нанесена серьезная обида. Но я — русскій человѣкъ, господа, и очень хорошо знаю, объ чемъ говорю. У насъ радикалы своеобразные; у насъ радикалами называются, преимущественно тѣ, которые особливую пользу приносятъ по части пресѣченія и предупрежденія. Я лично зналъ одного подчаска, который говорилъ мнѣ: «ахъ, если-бъ эти долгогривые знали, какъ я имъ втайнѣ сочувствую!» И дѣйствительно, онъ «сочув-

ствовалъ», хотя это не мѣшало ему блюсти за своевременною сколкой льда въ ввѣренномъ ему районѣ! Такъ вотъ объ какихъ радикалахъ я упоминалъ. Затѣмъ возвращаюсь къ предмету моей рѣчи. Вы говорите, господа, что литературу слѣдуетъ предать огню и мечу, но прежде, нежели вы рѣшитесь сдѣлать зависящее по сему предмету распоряженіе, позвольте вамъ напомнить, что литература, по общему сознанію, есть «украшеніе». Это не я говорю,— это говорятъ всѣ; это скажетъ даже каждый изъ васъ, какъ только оставитъ стѣны этого помѣщенія и очутится на **Promenade des Anglais.**

— Тамъ, встрѣтившись съ мосьё Карромъ *) или съ мосьё Нервò **), вы непремѣнно заведете рѣчь о литературѣ, удивитесь богатству французской литературы и, вздохнувъ, присовокупите: «счастлива та страна, въ коей процвѣтаетъ литература». Почему вы скажете все это? — а потому, что каждый изъ васъ съ малыхъ лѣтъ слышалъ и привыкъ вѣрить, что литература есть «украшеніе»! Какимъ же образомъ вы приступите къ этому «украшенію» съ огнемъ и мечомъ! Не обольются ли кровью ваши сердца? не помутится ли въ васъ разсудокъ?

— Я знаю, вы скажете мнѣ, что это недоразумѣніе, которое комиссія не имѣетъ ни малѣйшей обязанности принимать въ разсчетъ. Соглашаюсь и съ этимъ. Но недоразумѣніе это создано вѣками, господа, и слѣдовательно, если нынѣ и ощущается потребность разрушить его, то пускай же это разрушеніе произойдетъ постепенно, при помощи мѣръ рѣшительныхъ, но не бросающихся въ глаза,—однимъ словомъ, пускай процессъ искорененія совершится самъ собою, такъ сказать, естественнымъ путемъ. Забудьте объ огнѣ и шпигуйте потихоньку — и вы увидите, что газета «Чего изволите?», на которую вы такъ негодуете, сама пойметъ, что ей ничего другого не остается, какъ умереть...

— Но этого мало. Я не могу скрыть отъ васъ, что въ томъ вѣковомъ недоразумѣніи, которое утвердило за литературой названіе «украшенія», очень сильное участіе принимаетъ и общій просвѣтительный уровень страны. Чѣмъ

---

*) Альфонсъ Карръ, извѣстный французскій писатель, живущій въ Ниццѣ.

**) Мѣстный ниццскій фельетонистъ, которому ниццскія интернаціональныя дамы предварительно показываютъ свои костюмы, предназначенные для выѣзда на балъ, дабы не произошло ошибки при описаніи ихъ въ предстоящемъ газетномъ фельетонѣ.

просвѣщеннѣе страна, тѣмъ упорнѣе держится въ ней мнѣніе о томъ, что̀ составляетъ истинное ея «украшеніе». Поэтому, даже при усвоеніи рекомендуемаго мною метода постепенности, вамъ придется прибѣгнуть не къ одному непосредственному шпигованію, но и заглянуть нѣсколько вглубь. Я знаю, что вы очень высокаго мнѣнія о просвѣщеніи и, конечно, не захотите искоренить его (хотя, сколько мнѣ помнится, потребные для сего матеріалы уже собраны и составляютъ пятый томъ «Трудовъ»), но урегулировать его все-таки не откажетесь. Подумайте однако, какая это гигантская работа! и сколько пройдетъ времени, покуда вы не урегулируете просвѣщеніе до той степени, что даже самое представленіе о литературѣ изгладится изъ народнаго сознанія!

— Затѣмъ мнѣ остается сказать лишь немного словъ въ заключеніе. Но слова эти очень вѣски, и я чувствую всю тяжесть отвѣтственности, которая падаетъ на меня за нихъ. Милостивые государи! вамъ, конечно, небезызвѣстно выраженіе: scripta manent. Я же, подъ личною за сіе отвѣтственностью, присовокупляю: semper manent, in saecula saeculorum! Да, господа, литература не умретъ! не умретъ во вѣки-вѣковъ! А посему, какъ бы намъ съ нашей комиссіей не осрамиться! Все, что̀ мы видимъ вокругъ насъ, все въ свое время обратится частью въ развалины, частью въ навозъ, — одна литература вѣчно останется цѣлою и непоколебленною. Одна литература изъята отъ законовъ тлѣнія, она одна не признаётъ смерти. Несмотря ни на что, она вѣчно будетъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ будущаго. Не найдется такого момента въ исторіи человѣчества, про который можно было бы съ увѣренностью сказать: вотъ моментъ, когда литература была упразднена. Не было такихъ моментовъ, нѣтъ и не будетъ. Ибо ничто такъ не соприкасается съ идеей о вѣчности, ничто такъ не поясняетъ ее, какъ представленіе о литературѣ. Мы испытуемъ вѣчность, мы стараемся понять ее — и большею частью изнемогаемъ въ нашихъ попыткахъ; но вспомнимъ о литературѣ — и мы хотя отчасти откроемъ тайну вѣчности! Ахъ, господа, господа! Я очень хорошо понимаю, какъ все это прискорбно для насъ, членовъ комиссіи «объ искорененіи», и сердце мое сжимается болью, когда я произношу эти слова; но скрыть отъ васъ эти соображенія — выше силъ моихъ! Будемте же мудры, милостивые государи! оста-

вимъ мысль о мечѣ и огнѣ и удовольствуемся примѣненіемъ къ литературѣ тѣхъ мѣръ простого искорененія, которыя вы находите достаточными въ видахъ устраненія кражи земскихъ и иныхъ общественныхъ суммъ. Dixi et animam levavi.

Я кончилъ, но ни одно рукоплесканіе не поощрило меня. Напротивъ, члены смотрѣли мрачно и, какъ только умолкъ мой голосъ, всѣ единогласно немедленно потребовали голосованія безъ преній. Моего мнѣнія, какъ ни на чемъ не основаннаго, даже не голосовали, а прямо занялись мнѣніемъ штабсъ-ротмистра и прокурора. Мнѣніе это было принято *единогласно*. Всѣ десять шаровъ были положены направо, а, стало-быть, въ томъ числѣ и мой. И я помню, что я не только не удивился этому, но даже нашелъ весьма естественнымъ.

Только спустя часъ, гуляя по Promenade des Anglais, я опомнился. Встрѣтилъ легкомысленнаго фельетониста Нервò и разсказалъ ему, какое у насъ убивство произошло, и какъ я геройски при этомъ себя велъ.

— Чѣмъ же рѣшили?—спросилъ онъ меня.

— Ну, разумѣется, предать огню и мечу!

— Saperlotte! а вы?

— Ну, разумѣется, и я вмѣстѣ съ другими...

— Est-ce possible!

— Mais que voulez-vous que je fasse!

. . . . . .

Послѣ этого *я*, разумѣется, никогда не игралъ въ комиссіи, но достаточно было одного сейчасъ описаннаго случая, чтобъ оставить во мнѣ неизгладимое впечатлѣніе. Зная по опыту, какъ естественно русскій человѣкъ приходитъ къ мысли о необходимости искорененія литературы, и зная въ то же время, что ничто такъ близко не соприкасается съ идеей о вѣчности, какъ представленіе о литературѣ, я не только самъ лично стараюсь держаться въ сторонѣ отъ всякихъ комиссій, но и за родственниковъ своихъ боюсь, если вижу, что они начинаютъ задумываться о томъ, какъ бы подойти поближе къ пирогу. Непремѣнно онъ что-нибудь насчетъ литературы выдумываетъ!—думается мнѣ:—и выдумаетъ! непремѣнно выдумаетъ!

Сознаюсь откровенно, что въ эти описанія входитъ въ значительной долѣ и личное чувство. Повторяю: я—литераторъ дѣйствующій, я — труженикъ, обязанный держать въ рукѣ перо ежеминутно, и обремизить меня очень легко.

Поэтому тревога моя, по полученіи извѣстія объ участіи Ѳеденьки въ трудахъ какой-то комиссіи, очень понятна.— Ужели онъ, ради фельдмаршальскаго жезла, и дядю роднаго не пощадитъ? — съ тоскою твердилъ я себѣ, предпославъ этому восклицанію цѣлое разсужденіе объ ослабленіи родственныхъ узъ въ наше непостоянное время.

Наконецъ я не вытерпѣлъ и самолично отправился къ Ѳеденькѣ. Но тутъ меня ждалъ новый ударъ; меня простонà-просто не допустили до него. Лакей безъ церемоніи загородилъ мнѣ входъ въ эдемъ и на всѣ мои домогательства съ твердостью отвѣчалъ, что его превосходительство (должно-быть, по классу занимаемой должности) занятъ съ Иваномъ Михайловичемъ...

Кто этотъ Иванъ Михайлычъ? можетъ-быть, это какой-нибудь новый Бертрамъ...

Да, это Бертрамъ! Не будь Ивана Михайлыча, очень возможно, что дѣло и обошлось бы; но Иванъ Михайлычъ...

Я возвращался отъ Ѳеденьки домой и грустно напѣвалъ дуэтъ Бертрама и Рембò...

А что̀ если бы подыскать Алису?... Фуй!

Во всякомъ случаѣ я утратилъ надежду видѣться съ Ѳеденькой... до 1-го апрѣля. Перваго апрѣля, въ праздникъ Пасхи, онъ навѣрное заѣдетъ похристосоваться съ своимъ старымъ дядей...

Первое апрѣля.

Предчувствіе не обмануло меня: въ день Пасхи Ѳеденька явился-таки ко мнѣ. Онъ уже покончилъ съ визитами и пріѣхалъ отдохнуть, но былъ, какъ и слѣдуетъ въ такой великій праздникъ, во фракѣ. Разумѣется, мы похристосовались.

— Хочешь, яйцо велю подать?

— Спасибо, дядя; вы вотъ на что̀ лучше посмотрите,— отвѣтилъ онъ, указывая на анненскій крестъ, висѣвшій у него на шеѣ. Крестъ былъ новый, большой и удивительно какъ изящно покоился (именно покоился!) на богатырской груди юноши.

Я пріятно изумился. Отступилъ два шага назадъ, прищурился и развелъ руками въ знакъ родственнаго умиленія.

— Помимо св. Станислава! — продолжалъ между тѣмъ Ѳеденька и прибавилъ:—joli?

Часъ отъ часу не легче. Отъ изумленія пришлось перейти къ гордости и вновь похристосоваться.

— Послушай, Théodore,— сказалъ я:—до сихъ поръ я

понималъ, что можно утѣшаться родственниками, но теперь начинаю понимать, что можно и гордиться ими. Да!

— Спасибо, mon oncle!

— Да, я увѣренъ, что ты пойдешь... далеко пойдешь, мой другъ. Разумѣется, однако-жъ, ежели Богъ спасетъ тебя отъ похищенія казенныхъ или общественныхъ денегъ...

Но Ѳеденька съ такимъ неподдѣльнымъ негодованіемъ протестовалъ противъ самой мысли о возможности подобнаго случая, что я вынужденъ былъ объясниться.

— Другъ мой!—сказалъ я:—ежели я позволилъ себѣ формулировать опасеніе насчетъ растраты денегъ, то совсѣмъ не потому, чтобы надѣялся, что ты непремѣнно его выполнишь, а для того, чтобы предостереженіемъ моимъ еще больше утвердить тебя на стезѣ добродѣтели. Мужайся, голубчикъ! ибо, по нынѣшнему слабому времени, надо обладать несомнѣннымъ геройствомъ, чтобы не стянуть плохо лежащаго куша, особливо ежели онъ большой. Но ежели ты, будучи анненскимъ кавалеромъ, сверхъ того сознаёшь себя и героемъ, то, разумѣется, тѣмъ лучше для тебя! Поздравляю... герой!

Повидимому, это объясненіе его тронуло, такъ что и онъ, въ свою очередь, возгордился мной.

— Mon oncle!—сказалъ онъ, крѣпко сжимая мои руки:—я тоже... да, я горжусь вами... горжусь тѣмъ, что вы—мой дядя! Ахъ, если бы вы...

Онъ остановился, не досказавъ своей мысли, и молча потупилъ голову. Однако-жъ я понялъ его.

— Если-бъ я не былъ литераторомъ, хотѣлъ ты сказать?—спросилъ я его.

— Да... нѣтъ... нѣтъ, не то! — оправдывался онъ. — И Державинъ былъ литераторомъ и Дмитріевъ... Ода «Богъ»—c'est sublime, il n'y a rien à dire! Ахъ, если бы вы...

— Оду «Богъ» написалъ?.. Ну, ну... хорошо... успокойся! постараюсь!

Словомъ сказать, мы обнялись и опять похристосовались.

— А маменька знаетъ объ *этомъ?*—спросилъ я, указывая на крестъ.

— Знаетъ. Сейчасъ получилъ отъ нея телеграмму изъ Парижа. Вотъ.

«Pétersbourg. Znamenskaïa, 11.

«Néougodoff.

«Félicite chevalier. O Pâques! o sainte journée! Envoyez 4.000 francs demain échéance; si non—Clichy. Nathalie».

Сердце у меня такъ и ёкнуло. «Вотъ сейчасъ попроситъ денегъ!»—думалось мнѣ. И вдругъ:

— Дядя! нѣтъ ли у васъ?—обратился онъ ко мнѣ.

Вопросъ этотъ ужасно меня смутилъ. Деньги у меня на ту пору были, но почему-то мнѣ казалось, что онѣ мнѣ самому нужны. Нынче всѣмъ вообще деньги надобны, и вотъ почему столь многіе крадутъ. Но и краденыя деньги не бросаютъ зря всякому просящему, а тоже говорятъ: «самимъ нужны». Что же сказать о деньгахъ собственныхъ, кровныхъ? А сверхъ того и еще: въ кои-то вѣки сколотишь изрядный кушъ и думаешь: вотъ теперь-то я распоряжусь... И только-что начнешь подносить ко рту кусокъ, какъ приходитъ нѣкто и выхватываетъ его. Ужасно непріятно.

— Дядя! вѣдь Clichy!—какъ-то тоскливо пискнулъ Ѳеденька, видя мое раздумье.

— Да вѣдь за долги, кажется, ужъ не сажаютъ!

— Тамъ—сажаютъ, mon oncle.

— Ахъ, Боже, какое варварство! Про русскихъ говорятъ, что они—варвары, а между тѣмъ у насъ... Да, мой другъ, мы должны гордиться, что живемъ въ странѣ благоустроенной, а не въ какой-нибудь Макмагоніи, которая не нынче—завтра превратится въ Гамбеттію! Конечно, у насъ нѣтъ многаго, что у нихъ есть, но зато и у нихъ нѣтъ многаго, что есть у насъ. Христосъ воскресъ! поцѣлуемся!

— Такъ вы дадите, дядя?

— А у тебя развѣ нѣтъ?

— Ни драхмы!

Непріятно въ высшей степени. Я только-что разсчитывалъ побаловаться лѣтомъ. Вотъ, говорятъ, Егаревъ француженокъ какихъ-то необыкновенныхъ законтрактовалъ... И еще говорятъ: въ Зоологическомъ саду женщину-великана показывать будутъ, которая у себя на груди цѣлое блюдо съ 20-ти-фунтовымъ ростбифомъ ставитъ да такъ, шельма, и ѣстъ! Хорошо бы со всѣмъ этимъ подробнѣе ознакомиться, не въ качествѣ зрителя, а, такъ сказать, не въ примѣръ другимъ... Но, съ другой стороны, какъ же оставить и Nathalie? Что такое Nathalie? Nathalie — это сорокапятилѣтняя сахарная куколка, которая... И даже не «которая», а просто куколка—и все тутъ. Можетъ ли «куколка» не тратить денегъ?—Нѣтъ, не можетъ. Она тратитъ ихъ не нарочно, тратитъ, потому что это въ ея при-

родѣ, какъ въ природѣ у птицы—пѣть. Она тратитъ все время, покуда находится въ бодрственномъ состояніи, то-есть, начиная съ той минуты, когда она совершила свой утренній туалетъ, и до той, когда облачится въ свой ночной туалетъ. И все, что̀ она ни видитъ передъ собой,—все считаетъ подлежащимъ завладѣнію. Ежели глиняную свистульку увидитъ, и той овладѣетъ: не попадайся на глаза! И ежели у нея нѣтъ денегъ чтобы купить, она возьметъ въ долгъ. И нѣтъ той хитрости, которую бы она ни пустила въ ходъ, чтобъ пріобрѣсти деньги или кредитъ. То назоветъ себя княгинею, то солжетъ, что у нея золотые пріиски или рыбная ловля—*là bas*, dans les steppes. Даже наклевещетъ на себя, не постыдится намекнуть, что у нея есть богатый любовникъ. А ежели и за всѣмъ тѣмъ не добудетъ ни наличныхъ, ни кредита, то будетъ проводить время въ *желаніи* тратить деньги, въ *желаніи* дѣлать долги. Хорошо, что природа устроила такъ, что и «куколкамъ» нуженъ сонъ, отдыхъ, пища, а мода, въ свою очередь, возложила на нихъ обязанность одѣваться и causer avec les messieurs. Если бы этого не было, онѣ и то время, которое нужно для сна и одѣванья, тоже употребили бы на то, чтобы тратить. И еще хорошо, что природа лишь до извѣстной степени одарила ихъ глаза способностью разбѣгаться, потому что въ противномъ случаѣ онѣ навѣрное потребовали бы разомъ весь magasin du Louvre. И если-бъ имъ сказали, что это нельзя, такихъ, дескать, денегъ нѣтъ, то онѣ съ четверть часа были бы неутѣшны и затѣмъ отправились бы въ магазинъ «Au bon marché».

И такую-то «куколку»—въ Клиши! за что? за то̀ ли, что она выполняетъ свое провиденціальное назначеніе? За то̀ ли, что у нея и maman была куколка, и воспитательницы—куколки, и подруги юности—куколки? За то̀ ли, что и у покойнаго ея мужа, штабсъ-ротмистра Неугодова, селезенка играла при одной мысли, что у него въ домѣ будетъ... «куколка»?

Конечно, серьезно быть спутникомъ жизни такой «куколки» должно быть нѣсколько глуповато; но смотрѣть и млѣть со стороны, или быть штабсъ-ротмистромъ и видѣть, какъ она порхаетъ, какъ все ее радуетъ и все огорчаетъ, и какъ она при этомъ сквозь слезки лепечетъ: «ахъ, я вѣдь совсѣмъ-совсѣмъ глупенькая!»—воля ваша, это высокое эстетическое наслажденіе! Нѣтъ, надо непремѣнно послать Nathalie деньги, и даже какъ можно скорѣе, потому

что она, пожалуй, ненарочно и фальшивыхъ документовъ надѣлаетъ. Развѣ она знаетъ? развѣ она можетъ что-нибудь взвѣсить, предвидѣть, различить? Nathalie... un coeur d'or!

— Деньги у меня готовы,—произнесъ я твердо.

— Mon oncle! vous êtes un coeur d'or!

— Но съ двумя условіями,—продолжалъ я:—во-первыхъ, мы сегодня обѣдаемъ вмѣстѣ...

— Ахъ, mon oncle—не только обѣдаемъ, но и весь вечеръ, весь день... сколько угодно!

— Во-вторыхъ, мы сейчасъ же редактируемъ вмѣстѣ телеграмму Наташѣ,—разумѣется, отъ твоего имени. Это необходимо выполнить какъ можно скорѣе. Nathalie — милая; но именно поэтому-то она и способна надѣлать глупостей.

Мы присѣли къ столу и соединенными силами редактировали слѣдующее:

«Paris, Grand hôtel

«Nathalie Néougodoff

«Pâques deux jours banques fermées Après demain aurez somme voulue Venez Pétersbourg prison pour dettes abolie Pouvez tout acheter sans payer.

«Néougodoff».

— Ты понимаешь,—сказалъ я, когда депеша была готова:—если ей не пообѣщать, что она можетъ здѣсь покупать безъ денегъ, то она скажетъ себѣ: зачѣмъ же я туда поѣду? Тогда какъ на этихъ условіяхъ ей будетъ навѣрное лестно воротиться на родину.

Но Ѳеденьку вся эта процедура, повидимому, повергла въ печальное настроеніе.

— Ахъ, maman, maman! — произнесъ онъ, грустно вздыхая.

— Что такое: maman? Maman какъ maman! Не у одного тебя, и у другихъ. Вотъ у твоего школьнаго товарища Самогитскаго, котораго быстрой карьерѣ ты, помнишь, какъ-то разъ позавидовалъ, такъ у него maman прямо на содержаніи живетъ, а онъ не только не груститъ, но даже пользуется этимъ!

— Ахъ, дядя-голубчикъ! вѣдь вы не знаете... Монрепо-то наше ужъ продано!

— Какъ! Монрепо!

— Да, Монрепо... le sabre... то-бишь, les cendres de mon père! Продано, дядя, продано!

— Однако... вы шибко!

— Все продано, больше и продавать нечего, а *она*—то въ Ниццѣ, то въ Парижѣ!.. Повѣрите ли, однажды даже вдругъ въ Систовѣ очутилась... зачѣмъ? И отовсюду шлетъ телеграммы: argent envoyez! А гдѣ я возьму!! Вотъ и теперь: если-бъ не ваша помощь—гдѣ бы мнѣ эти четыре тысячи франковъ добыть?

Сердце мое вновь ёкнуло: плакали, стало-быть, мои денежки! Однако-жъ я кое-какъ скрѣпился и произнесъ:

— Ничего, Богъ милостивъ! какъ-нибудь устроитесь!

— Нѣтъ, не устроимся... никогда мы не устроимся, mon oncle! Пробовалъ я ее урезонивать и однажды даже совершенно искренно изложилъ всю неприглядность нашего матеріальнаго положенія—и вотъ какой отвѣтъ получилъ. Прочтите.

Ѳеденька вынулъ изъ кармана бумажникъ, порылся въ немъ и подалъ мнѣ вчетверо сложенную бумажку, развернувъ которую, я прочиталъ:

«Неблагодарный сынъ Ѳедоръ!

«Оскорбительное твое письмо получила и заключающимися въ ономъ неумѣстными наставленіями была глубоко возмущена. Но я—мать и знаю, что есть законъ, который меня защититъ. Законъ сей велитъ дѣтямъ почитать родителей и покоить оныхъ; послѣднимъ же даетъ право непочтительныхъ дѣтей заключать въ смирительныя и иныя заведенія. До сихъ поръ я симъ предоставленнымъ правомъ не пользовалась, но ежели обстоятельства къ оному меня вынудятъ, то повѣрь, что я сумѣю доказать, что и у меня нѣтъ недостатка въ твердости...

«A toi de coeur
«*Nathalie*».

«P. S. Au nom du Ciel envoyez au plus vite l'argent que je vous ai demandé».

Письмо было писано посторонней рукой, но подпись и postscriptum несомнѣнно принадлежали Наташѣ. И что всего замѣчательнѣе: подлѣ ея имени виднѣлось размазанное пятно: очевидно, сюда капнула слезка. Стало-быть, Nathalie въ одно и то же время и скорбѣла и понимала, что исполняетъ долгъ. Сердце ея сжималось, слезки капали, но она все-таки подписалась подъ письмомъ... потому что это былъ ея долгъ!

— Слушай!—воскликнулъ я въ изумленіи:—да откуда же она узнала о существованіи смирительнаго дома?

— Стало-быть, узнала.

— А что ты думаешь? вѣдь это у нихъ, должно-быть, врожденное, то-есть у русскихъ культурныхъ маменекъ вообще. Я помню, покойница матушка—ужъ на что, кажется, любила меня—а разсердится, бывало, сейчасъ: «я тебя въ Суздаль-монастырь упеку!» Тогда, другъ мой, Суздаль-монастырь родителей утѣшалъ, а теперь, съ смягченіемъ нравовъ, смирительный домъ явился. Какъ ты думаешь, что лучше?

— Ахъ, mon oncle!

— Я, съ своей стороны, полагаю, что Суздаль-монастырь лучше, потому что, въ сущности, это было нѣчто миѳическое, скорѣе анекдотъ, нежели быль. Смирительный же домъ, особливо при существованіи суда милостиваго и скораго, есть нѣчто конкретное, отъ чего ужъ не отвертишься, коли на то дѣло пошло! Гм!.. да... Но съ которыхъ же поръ она *симъ* и *оныхъ* выучилась?—такъ и сыплетъ!

— Не знаю... вѣроятно, это письмо для нея Дроздовъ написалъ... Помните, у меня воспитатель былъ?

Ѳеденька сказалъ это и вдругъ весь заалѣлся.

— Длинный такой, точно пожарная кишка? Помню, помню! Сколько разъ онъ, бывало, пугалъ меня... Взойдешь невзначай въ комнату, а онъ вдругъ въ углу взовьется, въ знакъ привѣтствія, и сейчасъ же, совсѣмъ неожиданно, пополамъ переломится... Неужели же онъ?

— Онъ, mon oncle. Она его гдѣ-то подъ Телишемъ встрѣтила — онъ туда съ коршіей отъ дамскаго кружка командированъ былъ—и съ тѣхъ поръ по Европѣ возитъ. И всѣмъ рекомендуетъ: «l'ami de feu mon mari»... это Дроздовъ-то! Помните, какъ разъ его покойный папенька нагайками отодралъ... Онъ, mon oncle, онъ! Онъ, вѣроятно, и деньги у нея выманиваетъ. Voici la vérité... triste vérité, mon oncle!

Ѳеденька замолчалъ и отвернулся къ окну.

— Ахъ, бѣдный мой! бѣдный!—невольно воскликнулъ я.

— Сколько вреда эти исторіи мнѣ дѣлаютъ, если-бъ вы знали!—продолжалъ онъ, не оборачиваясь ко мнѣ:—наше милое, бѣдное Монрепо...

— Ну, какъ-нибудь... что тутъ! У тебя родныхъ бездѣтныхъ много—не тотъ, такъ другой; я, напримѣръ, первый...

— Благодарю васъ. Но *теперь*... Во-первыхъ, *теперь* я ничего не имѣю... les cendres de mon père! А во-вторыхъ, развѣ вы думаете, что въ нашихъ «сферахъ» не знаютъ обо всѣхъ этихъ скандалахъ?

— Ну, этого-то, положимъ, ты опасаешься напрасно. Вѣдь ты велъ себя во всѣхъ отношеніяхъ безукоризненно; ты и Рускину, и Ковалиху, и Большую-Ель, и даже Монрепò—все продалъ полностью и даже всѣ деньги къ maman отослалъ. Что же касается до Дроздова, то это, мой другъ, своего рода крестъ. И ты несешь свой крестъ и не только не протестуешь, но даже деньги занимаешь. Въ сферахъ, о которыхъ ты говоришь, это называется piété filiale.

— Но она? вѣдь и объ ней говорятъ!

— Она... что-жъ такое она! Она—куколка, а ты—примѣрный сынъ! Вотъ и все. Куколка—это даже мило!

Наконецъ мнѣ кое-какъ удалось-таки утѣшить его, особливо когда я ему растолковалъ, что земли у Бога много, и что ежели онъ будетъ и впредь оправдывать довѣріе начальства, то несомнѣнно со временемъ ухватитъ что-нибудь впустѣ лежащее, но совершенно достаточное для основанія новаго Монрепò.

— А что вы думаете, дядя!—воскликнулъ онъ весело:—вотъ Ворожбецкій-Пѣтухъ, одного выпуска со мной, а ужъ успѣлъ ухватить полторы тысячки чернозёмцу!

— Ну, вотъ видишь ли! даже примѣръ есть!

Обѣдъ прошелъ очень пріятно. Не было ни ветчины, ни телятины, ничего такого, что напоминало бы о разогрѣтости, о томъ, что обитатели дома сего, благодаря Пасхѣ, осуждены цѣлую недѣлю питаться ветчиной и телятиной. Я замѣтилъ, что Ѳеденьку это пріятно поразило и самымъ благотворнымъ образомъ повліяло на его душевное расположеніе. Благодаря этому я узналъ отъ него два-три чрезвычайныхъ анекдота, мѣстомъ дѣйствія которыхъ былъ салонъ нѣкоторой дѣвицы Домны Феклистовны Отбойниковой, которая годъ тому назадъ вышла замужъ и нынѣ писалась на визитныхъ карточкахъ такъ: «графиня Поликсена Кирилловна Dos Amigos, маркиза Flor di tabacco, Pour la Noblesse».

— А ты бываешь-таки въ этомъ салонѣ?

— Разумѣется, бываю.

— Ахъ, ахъ, мой другъ!

— Mon oncle! что-нибудь одно: или достигать и, стало-быть, ѣздить къ маркизѣ Pour la Noblesse, или не ѣздить къ ней и оставаться всю жизнь столоначальникомъ.

— Что правильно, то правильно. Это такъ.

— У нея—салонъ, въ которомъ всѣ бываютъ, tout Pétersbourg. Она нынче все о событіяхъ послѣдней войны

разсуждаетъ. Говоритъ, напримѣръ, что берлинскій трактатъ ее не удовлетворилъ.

— Ахъ, пакостница!

— Генералами тоже не всѣми довольна: зачѣмъ не взяли Константинополя? И по вопросу о проливахъ, говоритъ, настоящаго рѣшенія не добились.

— И ты все это выслушиваешь?

— Ея нельзя не слушать, mon oncle. Черезъ нее мой товарищъ Крушинцевъ чуть мѣста не потерялъ.

— Какъ такъ?

— Да вотъ какъ. Какъ начались эти толки о проливахъ, слушаетъ она: все Дарданеллъ да Дарданеллъ. Вотъ она отозвала Крушинцева въ сторонку и спрашиваетъ: «скажите, кто этотъ Дарданеллъ?» А онъ и пошути: «преступникъ, говоритъ, государственный; Россія выдачи его требуетъ, а Турція, по наущенію Англіи, не выдаетъ». На слѣдующемъ же раутѣ она, разумѣется, и щегольнула: «да скоро ли же, говоритъ, намъ этого господина Дарданелла выдадутъ?» Ну, картина... Такъ Крушинцевъ послѣ того двѣ недѣли сряду у нея ручки цѣловалъ!

— Простила?

— Простила, потому что въ это время онъ съ ней всю географію прошелъ.

— Ахъ, пакостница!

— Не говорите такъ, mon oncle; она теперь какъ есть «дама». Одно только: вмѣсто «шоколада», по старой привычкѣ, «щикалатъ» говоритъ. И всѣ находятъ, что это очень оригинально.

— Помнишь у Лермонтова:

Ѣмъ мармеладъ,
Пью щиколатъ...

— Вотъ именно. И около нея чуть не цѣлый штабъ. И архистратигъ отставной есть, и «старый дипломатъ», и даже публицистъ. Этотъ едва ли даже не главный. Бельомъ, во всю щеку румянецъ, штаны по послѣдней модѣ сшиты, а самъ отчасти тѣломъ, отчасти консервативными убѣжденіями промышляетъ. А она сидитъ между ними и вдохновляетъ.

— Ну, а самого графа Dos Amigos ты когда-нибудь на этихъ раутахъ видалъ?

— Нѣтъ, онъ въ командировкѣ постоянно. Во время войны въ Плоештахъ ресторанъ содержалъ (она тутъ съ какимъ-то жидомъ-подрядчикомъ пріѣхала, тамъ его и об-

рѣла), а теперь, слышно, въ Египетъ, къ хедиву отправился. Одни говорятъ, въ качествѣ chef de cuisine, другіе—министромъ финансовъ. И даже будто бы при поддержкѣ Англіи.

— Однако, братъ, это въ родѣ фееріи что-то.

— Нынче и все фееріи, mon oncle. У насъ въ курсѣ нѣкто Харченковъ былъ, никакъ не могъ именованныхъ чиселъ понять, а теперь гдѣ плохо лежитъ—онъ уже и тутъ. Такъ раскидываетъ умомъ, что чудо!

— Неужто тебя эти иллюстраціи не тревожатъ?

— А что-жъ мнѣ? Я и съ нимъ... Пообѣдаю, выпью—ничего! Онъ вино прямо отъ Шато-Лафита выписываетъ; такъ и говоритъ: «у меня, братъ, съ самимъ Шато-Лафитомъ условіе»... Онъ какъ прослышитъ, что у Егарева въ Демидрошкѣ примѣры появились—сейчасъ туда: «мадамъ, вуле-ву сто рублей?.. ну, двѣсти?.. айда!» А кромѣ того у него и кругъ знакомства обширный, всѣхъ тамъ встрѣтишь. Ѣшь, пьешь, а между прочимъ и связи завязываешь.

— Слушай! да ты не врешь ли?

— Не вѣрите? не хотите ли, я васъ свезу къ нему? Не съ визитомъ, а прямо обѣдать. Онъ будетъ радъ, скажетъ: «аншантѣ». А когда вы будете уходить, онъ и напредки пригласитъ: «венѣ, когда вздумается; запросто, анъ сюрту». Право, хотите—свезу?

— Нѣтъ, что ужъ! старъ я, да и скучно вѣдь шататься по постоялымъ дворамъ.

— Право, не скучно. А впрочемъ, мнѣ вообще нигдѣ не скучно; даже въ засѣданіяхъ благотворительныхъ обществъ, и тамъ я интересное нахожу.

— Это гдѣ дамочки-то?

— Разумѣется; кто же бы меня безъ дамочекъ туда заманилъ!

— А не бываетъ тамъ Дарданелловъ?

— Буквально—нѣтъ, но въ родѣ того. Впрочемъ, откровенно вамъ скажу, я въ этомъ отношеніи реалистъ; на Дарданеллы не обращаю вниманія, а больше принимаю въ разсчетъ тѣлеса. Руководствуясь этимъ, и дамочекъ раздѣляю на два разряда: на хорошенькихъ и *не*хорошенькихъ. Съ «хорошенькими», если даже онѣ и не вполнѣ чисто географію знаютъ, мнѣ весело, а съ «*не*хорошенькими»—скучно, хотя бы онѣ самого Ксенофонта въ подлинникѣ прочитали. И нынче всѣ мы таковы, вся порядочная молодежь. Конечно, и между нами найдутся такіе, которые

будутъ утверждать, что имъ умные разговоры нужны, да это больше для шику. У дамочекъ личико, грудка, ножки, ручки—вотъ главное! Безъ разговоровъ!

— Погоди! женишься, такъ и разговора запросишь!

— Я, дядя, не женюсь. Я знаю, что вмѣстѣ жить безъ разговора нельзя, но знаю также, что разговоръ выйдетъ непремѣнно неудачный. Стало-быть, не для чего и пробовать. Притомъ же я умные-то разговоры эти знаю.

— Случалось?

— Знаю. Однажды меня m-me Голумбецкая (вотъ, дядя, дамочка-то—пальчики оближете!) пригласила: «пріѣзжайте, говоритъ, въ четвергъ вечеромъ: у насъ одинъ знаменитый сербъ объ турецкихъ неистовствахъ разсказывать будетъ». Пріѣхалъ. Въ гостиной — серьезно, тихо, чинно, сидитъ братушка на диванѣ и разсказываетъ; слышится: на колъ, на колъ, на колъ; les messieurs слушаютъ и зѣваютъ въ руку; дамочки стараются смотрѣть на чтеца и думаютъ: да когда же наконецъ «кувыркомъ» будетъ? И вотъ, въ эти-то торжественныя, но унылыя минуты я и покорилъ сердце m-me... ну, все равно, чье бы тамъ ни было.

— Браво, Ѳедя! Но возвратимся къ вопросу о женитьбѣ. Если-бъ, напримѣръ, съ капитальцемъ барышня нашлась... ну, полмилліона, милліонъ?..

— Какъ вамъ сказать? кажется, что и на такой не женюсь. Потому что вѣдь съ этими капиталистками одно что-нибудь: либо черезъ нѣсколько мѣсяцевъ отъ милліона ни зера не останется, либо къ милліону начнутъ другой прикапливать, и тогда пойдутъ дрязги, учеты, подозрѣнія, утаиваніе денегъ у самихъ себя... фуй! Мнѣ, mon oncle, нужно карьеру сдѣлать, и развѣ ужъ тогда, когда все какъ слѣдуетъ обозначится... ну, тогда — быть-можетъ...

— Ѳедя! знаешь ли ты, что чѣмъ больше я тебя слушаю, тѣмъ больше удивляюсь: откуда у тебя такая ума палата?

— Да, mon oncle, несмотря на мои двадцать четыре года, я знаю женщинъ и могу сказать это съ увѣренностью. Женщина — это изумительное созданіе! Она неоцѣненна — какъ пирожное, но какъ pièce de résistance— совсѣмъ не годится. Чувствовать себя навсегда связаннымъ съ женщиной — это одно изъ величайшихъ жизненныхъ неудобствъ. Ежели она зла — то злостью убьетъ, ежели добра — добротой убьетъ. Ежели она невѣжественна — отравитъ жизнь наивностями; ежели начитанна и нѣчто

знаетъ — доймет умными разговорами. Поэтому жениться слѣдуетъ только въ такія лѣта, когда ни злость, ни доброта, ни невѣжественность, ни начитанность—ничто ужъ не дѣйствуетъ.

— Ѳеденька! другъ мой! сейчасъ я сказалъ, что ты уменъ, а теперь прибавлю, что ты даже больше, нежели уменъ: ты, такъ сказать, вредоносно уменъ! Вдомёкъ ли тебѣ, что ты просто-на-просто всякое общежитіе упраздняешь? Да. Вѣдь, по-твоему, счастливо можно прожить только такъ: съ однимъ пообѣдать, съ другимъ выпить, съ третьимъ объ имѣющемся въ виду мѣстечкѣ побесѣдовать, а съ дамочками — сквернословить и срывать цвѣты наслажденія. И нигдѣ нѣтъ пріюта, и вездѣ пріютъ есть—вотъ, по-твоему, какъ! Удобнѣе этого, право, никакая интернаціоналка не выдумаетъ! Исполать тебѣ, другъ мой! Это именно самая современная, самая подходящая жизненная программа, и съ нею ты навѣрное преуспѣешь. Нынче ищутъ такихъ опричниковъ, которые освободили себя отъ всѣхъ обязательствъ общежитія; ими дорожатъ, имъ однимъ вѣру даютъ. И ежели ты примѣнишь свою программу къ болѣе обширнымъ сферамъ дѣятельности, то успѣху твоему конца-краю не будетъ. Дерзай, голубчикъ, дерзай!

Ѳеденька взглянулъ на меня и, повидимому, изумился.

— Кажется, я васъ огорчилъ, mon oncle?—спросилъ онъ не то сконфуженно, не то иронически.

— Нимало, голубчикъ! Конечно, твоя программа не симпатична мнѣ. Я не понимаю трактирной жизни и не люблю случайныхъ знакомствъ, но вѣдь это во мнѣ застарѣлое, непригодное, такъ сказать — дворянско-ипохондрическое. Я знаю, что я человѣкъ отсталый, и что мои симпатіи или антипатіи для тебя не могутъ быть обязательными. Ты — homo novus, и кодексъ у тебя новый. А такъ какъ это кодексъ дѣйствующій, и безъ него можно только прятаться отъ жизни—вотъ какъ я — а не преуспѣвать въ ней, то ты, разумѣется, поступаешь вполнѣ цѣлесообразно, посѣщая рауты маркизы Pour la Noblesse и пользуясь гостепріимствомъ господина Харченкова. Кстати: ты давеча объ хедивѣ египетскомъ говорилъ — тебѣ никогда не приходило на мысль предложить ему свои услуги?

— Какой странный вопросъ, mon oncle?

— Вопросъ самый интернаціональный и слѣдовательно самый подходящій. Переходя изъ трактира въ трактиръ, почему же не зайти и къ хедиву перехватить? Впрочемъ,

я очень радъ, что ты нашелъ мой вопросъ страннымъ. Не ѣзди туда, Ѳедя! У насъ свой пирогъ обширный — всѣмъ мѣсто найдется. La patrie — avant tout. И еще: à touts les cœurs bien nés que la patrie est chère!.. помнишь? Орудуй дома, не ѣзди ни къ хедиву, ни къ Донъ-Карлосу, ни къ Наполеоновской вдовѣ. Христосъ воскресъ! поцѣлуемся!

Обѣдъ кончился, мы поцѣловались и, обнявшись, направились въ кабинетъ.

Я помнилъ однако-жъ, что желалъ видѣть у себя Ѳеденьку совсѣмъ не для того, чтобъ пожертвовать въ пользу господина Дроздова четырьмя тысячами франковъ и чтобы выслушать два-три сомнительнаго свойства анекдота. Во-первыхъ, я хотѣлъ знать, какъ Ѳеденька полагаетъ поступить съ Россіей въ случаѣ производства его въ генеральскій чинъ, и буде намѣренія его окажутся слишкомъ жестокими, то по родственному предостеречь; во-вторыхъ, меня ужасно интриговало: что̀ такое за комиссія, въ которой онъ до того зарылся съ какимъ-то загадочнымъ Иваномъ Михайлычемъ, что даже для меня, своего дяди, дверь заперъ?

Повторяю: я — литераторъ и потому боюсь. Мысль, что всякая комиссія имѣетъ въ предметѣ непремѣнно литературу, и что все остальное, значащееся въ заголовкѣ, служитъ лишь для украшенія этого заголовка, но, въ сущности, представляетъ лишь поводъ для литературной критики,—эта мысль совсѣмъ не произвольная, но именно каждому литератору свойственная. Мнѣ скажутъ, что каждая комиссія производитъ свой плодъ, осуществляемый въ «Трудахъ»—вотъ, молъ, и переплетенные томы «Трудовъ» налицо! полюбуйтесь! — но и это не разувѣритъ меня. Мнѣ кажется, что эти «Труды» суть не болѣе какъ результатъ усерднаго наклеиванія газетныхъ и другихъ вырѣзокъ на картоны, а что настоящую, живую работу комиссіи слѣдуетъ искать совсѣмъ не тутъ, а въ тѣхъ дружескихъ и, повидимому, побочныхъ собесѣдованіяхъ, которыя одни и приносятъ практическій плодъ. Это — собесѣдованія случайныя, безсистемныя, но литература наша такъ болѣзненно чутка, что какъ только запахнетъ въ воздухѣ подобными собесѣдованіями, она какъ-то сама собой сожмется и вдругъ изъ просто-эзоповскаго тона переходитъ въ сугубо-эзоповскій. И ежели вы при этомъ замѣчаете, что московскія кликуши начинаютъ выкликать всѣмъ го-

лосомъ, а петербургскіе трудолюбцы выступаютъ на сцену съ иносказаніями и оправданіями, то это навѣрное означаетъ, что гдѣ-нибудь кто-нибудь какъ-нибудь выразился...

— Въ какой это ты комиссіи цѣлыхъ три мѣсяца такъ усердно работалъ, что и доступу къ тебѣ не было?—спросилъ я.

— Я занимался въ послѣднее время въ трехъ комиссіяхъ,—отвѣтилъ Ѳедя:—но одна изъ нихъ бездѣйствуетъ, за невозможностью изъяснить, въ чемъ заключается предметъ, подлежащій ея разработкѣ; другая тоже бездѣйствуетъ, за недоставленіемъ отъ одного изъ корреспондентовъ свѣдѣній, что̀ разумѣлъ онъ, говоря, что «со времени крестьянской эмансипаціи отечественное земледѣліе вступило въ знакъ Рака», и наконецъ въ третьей — идетъ теперь усиленная работа.

— А въ чемъ же задача этой третьей комиссіи?

— По первоначальному плану она должна была разрѣшить вопросъ о мѣрахъ, которыя необходимо принять на случай могущаго быть свѣтопреставленія; но, съ развитіемъ работъ комиссіи, послѣдовали такія неожиданныя осложненія, что въ настоящее время трудно даже опредѣлить, къ какимъ развѣтвленіямъ мы можемъ придти и которое изъ нихъ окажется болѣе существеннымъ, чтобы сообщить нашимъ трудамъ окончательное направленіе.

— Но вѣдь въ такомъ случаѣ возможно, что и эту комиссію постигнетъ та же участь, какъ и первую?

— Нѣтъ, mon oncle, этого не будетъ. Мы слишкомъ проникнуты важностью предстоящихъ намъ задачъ, чтобы допустить малѣйшую остановку въ нашихъ изысканіяхъ.

— А ну-ка, признавайся: навѣрное, и объ литературѣ идетъ рѣчь?

— Въ настоящую минуту могу сказать вамъ только одно: рѣшено предложить г. Майкову написать на случай свѣтопреставленія гимнъ.

— Нѣтъ, я не объ этомъ. Я объ литературѣ... какъ съ ней предполагается поступить?

Однако-жъ Ѳеденька, очевидно, почувствовалъ себя неловко при этомъ вопросѣ. Онъ слегка заалѣлся, замялся и наконецъ отвѣтилъ:

— Извините меня, дядя, но при настоящемъ положеніи работъ комиссіи я не могу отвѣтить на вашъ вопросъ.

— Стало-быть, что-нибудь да есть?

— И на это ничего не могу вамъ сообщить.

— Знаешь ли, однако, что твоя таинственность просто напристойна. Стряпаешь ты тамъ втихомолку что-то съ какимъ-то Иваномъ Михайлычемъ... Меня-то помилуешь ли?

— Mon oncle!

— Да ты хоть обинякомъ намекни, что такое ты стряпаешь! Ну, лишить-молъ... Я и пойму!

— Вотъ видите ли, дѣйствительно... Но нѣтъ, клянусь вамъ, голубчикъ-дядя, не могу!

— Слѣдовательно я такъ и не узнаю?

— Вотъ что, mon oncle. Черезъ двѣ недѣли будетъ докладъ, и тогда наши члены навѣрное разболтаютъ... Въ то время я явлюсь къ вамъ и охотно сообщу все, что вы пожелаете.

На этомъ разговоръ пресѣкся. Я въ нѣсколько пріемовъ пытался изложить мои мысли насчетъ значенія литературы въ жизненномъ процессѣ страны, а равно и о томъ, какія вредныя послѣдствія можетъ оказать жестокое обращеніе съ нею, но Ѳеденька каждый разъ останавливалъ меня восклицаніемъ: — Послѣ, mon oncle, послѣ. Двѣ-три недѣли — право, это недолго! — Очевидно, онъ опасался, чтобъ я не развратилъ его.

. . . . . .

И такимъ образомъ день кончился для меня неудачею.

Первое мая.

Апрѣль былъ ужасенъ. Это былъ мѣсяцъ какой-то неизобразимой паники. Все вдругъ замутилось, заметалось, не вѣрило ни ушамъ, ни глазамъ. И сквозь всю эту смуту явственно проходила одна струя: homo hominі lupus. Говорилось, выкрикивалось и даже печаталось нѣчто невѣроятное, неслыханное. Мало было оцѣпенѣнія, въ которое погрузилось общество; нашлись охочіе люди, которые припомнили свои личные счеты и спѣшили дисконтировать ихъ въ формѣ извѣщеній и угрозъ. Почва колебалась подъ ногами; завтрашній день представлялся загадкою; исчезало всякое мѣрило для оцѣнки поступковъ другихъ лицъ; становилось невозможнымъ или, по крайней мѣрѣ, рискованнымъ презирать завѣдомо зазорныхъ людей. Казалось, нѣтъ уголка, въ которомъ назойливо, не переставая, на всѣ тоны, не звучала одна—вездѣ одна и та же — мысль: что

будетъ дальше? Эта безплодная, безъ содержанія мысль задерживала всякую дѣятельность, забивала умъ, чувство, волю и вызывала наружу худшіе инстинкты человѣка, отъ малодушія до вѣроломства включительно. Люди слабодушные отыскивали на днѣ совѣсти что-нибудь постыдное и держались за это постыдное, какъ за якорь спасенія. И въ довершеніе всего—московскія кликуши, отъ внутренняго ликованія, словно сбѣсились.

Въ послѣднія двадцать, двадцать пять лѣтъ чувство человѣчности сдѣлало несомнѣнные успѣхи въ обществѣ — это фактъ, который оспорить нельзя. Можетъ-быть, оно не имѣетъ крупныхъ и высоко-талантливыхъ выразителей, какъ въ сороковыхъ годахъ, но оно разлилось въ массѣ общества, обмірщилось, сдѣлалось какъ бы естественной подкладкой общественныхъ порываній и отношеній. Забылось или почти забылось крѣпостное право (внѣшнія его формы даже возстановить дѣлается съ каждымъ годомъ труднѣе и труднѣе); стали забываться келейный судъ и патріархально-кулачная полицейская расправа; начали проявляться попытки самодѣятельности; однимъ словомъ, періодъ одичанія казался близкимъ къ концу. И вдругъ это самое чувство человѣчности, о которомъ думалось, что оно сдѣлалось уже лозунгомъ жизни, является преступленіемъ. «Не человѣчность нужна, а ненависть!» оскаливая зубы, печатно вопіютъ доктринеры бараньяго рога и ежовыхъ рукавицъ... Какое время!

Само собой разумѣется, что среди этой суматохи я всего менѣе могъ разсчитывать на свиданіе съ Феденькой. Правда, что я не разъ видѣлъ, какъ онъ мелькалъ въ наемной коляскѣ по Невскому, но лицо его смотрѣло такъ озабоченно, что, конечно, я и претендовать не могъ, чтобъ онъ замѣтилъ меня. Однако-жъ однажды какъ-то случайно онъ остановилъ на мнѣ свой взоръ, и въ то же время, какъ я посылалъ ему навстрѣчу воздушный поцѣлуй, онъ поднялъ правую руку и показалъ мнѣ всѣ пять перстовъ. Тогда я не выдержалъ и махнулъ ему, чтобъ остановился.

— Кромѣ прежнихъ трехъ, еще въ пяти!—воскликнулъ онъ съ торжествомъ, когда я подошелъ къ экипажу.

Конечно, я недоумѣвалъ.

— Въ пяти... комиссіяхъ!— пояснилъ онъ и при этомъ указалъ рукой на горло: вотъ, дескать, гдѣ оно у меня сидитъ!

— А когда же ко мнѣ?

— Не могу и даже не предвижу. И дома почти не бываю. Однимъ словомъ — вотъ!

Онъ опять указалъ на горло и вдругъ совсѣмъ неожиданно выпалилъ:

— А литература-то ваша... какова! а?

И съ этими словами исчезъ, словно провалился сквозь землю.

Цѣлыхъ двѣ недѣли послѣ этой встрѣчи я мучился. Самъ по себѣ Ѳеденька, конечно, не Богъ знаетъ какая птица, но онъ—эхо, онъ — pique assiette внутренней политики; это несомнѣнно. Что такое онъ сказалъ? кажется, про литературу упомянулъ... да! Что такое случилось? отъ кого, отъ кого онъ слышалъ? Ужели приспособляется какая-нибудь связь, что-нибудь солидарное, общее?

Я вспомнилъ «разбойниковъ печати» и «мошенниковъ пера», вспомнилъ не потому, чтобы эти выраженія, въ минуту ихъ появленія, произвели на меня впечатлѣніе, а потому, что все кругомъ располагало къ подобнымъ воспоминаніямъ. Въ свое время эти потуги заклеймить живыя силы русской литературы какимъ-нибудь, хоть завѣдомо клеветническимъ, но хлёсткимъ словомъ, казались мнѣ просто безсильными и ничтожными, но теперь, въ эти тяжелыя минуты, выросли и онѣ.

Я понимаю, впрочемъ, что успѣхъ, полученный нѣкогда изобрѣтеніемъ «нигилизма» (римскій папа — и тотъ прельстился этимъ словомъ и въ одной изъ энцикликъ, въ числѣ прочихъ отщепенцевъ римской церкви, поименовалъ и нигилистовъ), не даетъ спать нашимъ этимологамъ-блюстителямъ литературной невинности. Хочется и имъ нѣчто свое придумать. Что-нибудь усугубляющее, такое, что умерщвляло бы мгновенно, безъ объясненій, что всюду распространяло бы ненависть и подозрѣніе, и только ихъ однихъ, злопыхательныхъ этимологовъ, утѣшало и угобжало. Хочется... и ничего не выходитъ. Почему не выходитъ? А потому, милостивые государи, что у насъ въ запасѣ есть только безконечная злоба, а нѣтъ ни пониманія требованій публики, къ которой вы обращаетесь, ни талантливости въ дѣлѣ изобрѣтенія выдумокъ.

«Нигилизмъ» былъ своего рода откровеніемъ. Во-первыхъ, эта кличка привлекла всѣ сердца своею краткостью, а во-вторыхъ, она дала возможность людямъ толпы сваливать въ одну кучу все лично для нихъ непріятное, тре-

вожащее, не соотвѣтствующее ихъ личному темпераменту и т. д. Видя попытки критически отнестись къ дѣйствительности, эти люди пугались, сомнительно покачивали головами и не знали, примкнуть ли имъ или попробовать отразить. И вотъ, въ эти минуты сомнѣнія, когда ужъ чуть-было они не рѣшились «примкнуть», явился на выручку «нигилизмъ». И коротко, и даже почти ясно. «Nihil» — вѣдь это, кажется, «ничто»? — ну, такъ и есть! Возьми «ничто», посѣй на немъ «ничто»—конечно, выйдетъ «ничто». Прекрасно... вотъ это прекрасно! Съ тѣхъ поръ эти господа успокоились и на всякій болѣе или менѣе тревожнаго свойства запросъ отвѣчали заранѣе намѣченнымъ рѣшеніемъ: «э, батюшка, это все нигилизмъ!»

Словомъ сказать, «нигилизмъ»—это то же самое, что̀ нѣкогда и столь же удачно клеймилось кличками: «фармазонъ» и «вольтерьянецъ». Мы, потомки, конечно, смѣемся надъ этими кличками, но очень можетъ статься, что современники чувствовали себя не особенно ловко, когда обращались ad hominem: а нутка, имярекъ, фармазонъ! отвѣтствуй!

Сравните съ этими не вполнѣ осмысленными, но все-таки хлёсткими (талантливость, впрочемъ, ничего другого и дать не можетъ) кличками какихъ-нибудь «разбойниковъ пера» или «мошенниковъ печати» — какая неизмѣримая разница! И длинно, и неуклюже, и вяло, и—что̀ важнѣе всего—не отвѣчаетъ никакой потребности. Никому не надобны эти выраженія, никто не понимаетъ, для чего они явились, и, стало-быть, никто не будетъ ихъ и употреблять. Ни римскій папа не украситъ ими будущихъ энцикликъ, ни иностранная печать не упомянетъ о возникновеніи въ Россіи новой вредной секты подъ названіемъ «les razboïniki pétchati». Ни консерваторы, ни профессора, ни предводители дворянства, ни столоначальники — никто. Развѣ что вотъ особливый случай какой-нибудь выйдетъ...

«Случай»—вотъ это такъ. Обильна, ахъ, какъ обильна сдѣлалась за послѣднее время русская жизнь этими «случаями»! И все какъ-то литературу они задѣваютъ. Идетъ себѣ литература обычнымъ скромнымъ ходомъ, убѣжденная, что для всякаго ясно, что процессъ литературнаго мышленія представляетъ нѣкоторыя особенности, отличныя отъ процесса мышленія канцелярскаго служителя, а изъ-за угла ее стережетъ «случай». Она наивно думаетъ, что ничто человѣческое ей не чуждо, что всѣ явленія вещ-

ственнаго и духовнаго міра обязательно подлежатъ ея изслѣдованію—и вдругъ врывается нѣчто непредвидѣнное и съ злобною иронією шипитъ: я именно и есть тотъ самый «случай»... Наконецъ она позволяетъ себѣ мечтать, что даже ошибки и заблужденія не могутъ быть, безъ явной несправедливости, вмѣняемы ей въ вину, потому что они представляютъ собой составную часть ея изысканій—какъ бы не такъ! приходитъ «случай» и изрекаетъ: блуждать и заблуждаться не разрѣшается...

Такъ вотъ въ такія-то минуты, когда человѣкъ стоитъ лицомъ къ лицу съ «случаемъ», и приноминаются всѣ эти «разбойники печати» и «мошенники пера». И при воспоминаніяхъ этихъ становится жутко, потому что приходится убѣдиться, что дѣйствительно въ печати существуютъ и разбойники, и мошенники, и клеветники, и что, стало-быть, литература—не совсѣмъ тотъ храмъ, при видѣ котораго бьются чистыя и честныя сердца и безъ котораго міръ былъ бы постылъ и безславенъ...

. . . . . .

Ѳеденька явился ко мнѣ совсѣмъ неожиданно — 1 мая. Онъ воспользовался тѣмъ, что въ этотъ день комиссіи отправились гулять въ Екатерингофъ, и вспомнилъ обо мнѣ.

— Вотъ и я! — весело сказалъ онъ, входя ко мнѣ въ кабинетъ: — но предупреждаю васъ, дядя, что теперь, больше чѣмъ когда-нибудь, скромность для меня обязательна.

— Гм!.. стало-быть...

— Да! но я думаю, что найдется однако-жъ почва, на которой мы оба будемъ чувствовать себя одинаково удобно. Это почва общихъ вопросовъ—не такъ ли, mon oncle?

— Изволь, мой другъ. Мы будемъ ставить вопросы, станемъ обсуждать ихъ независимо отъ условій времени и мѣста, и затѣмъ...

— Затѣмъ, если вы найдете нужнымъ вывести интересующія васъ критическія заключенія, то, въ виду высказанныхъ общихъ соображеній, это не представитъ для васъ особеннаго труда, и не прибѣгая къ моему содѣйствію.

Въ эту минуту Ѳеденька былъ очень хорошъ. Придумавши эту комбинацію, онъ, я увѣренъ, мнилъ себя Талейраномъ, которому ничего не будетъ стоить и вопросъ о проливахъ разрѣшить, а ежели потребуется, то и туркину жизнь навсегда прекратить.

— Итакъ, прежде всего поставимъ вопросъ о литературѣ,—началъ я:—какъ, по твоему мнѣнію, украшаетъ она, или не украшаетъ?

— Гм!.. это смотря по тому...

— Стало-быть, ты сомнѣваешься. Или, собственно говоря, тебѣ очень хотѣлось бы отвѣтить: «нѣтъ, не украшаетъ», но совѣстно. Не потому совѣстно, что ты припоминаешь б[illegible]ню»: «Сочинитель и Разбойникъ», которая самымъ существованіемъ своимъ доказываетъ, что заслугъ литературы оспорить нельзя, а просто потому, что, отрицая литературу, тебѣ носу никуда показать будетъ нельзя. Даже дамочки отвернутся отъ тебя, ибо и онѣ понимаютъ, что неприлично и скучно по цѣлымъ часамъ только жестикулировать, но надо по временамъ и поговорить. И поговорить не объ лишеніи правъ состоянія, а объ Дюмâфисѣ, о Беллò, о Монтепенѣ, то-есть все-таки объ литературѣ. Вотъ почему ты заикаешься и говоришь: «смотря по тому»... Я же говорю не заикаясь и безъ оговорокъ: да, литература украшаетъ. Она украшаетъ, потому что служитъ воплощеніемъ всѣхъ духовныхъ силъ страны, и ежели ея нѣтъ, то это значитъ, что духовныя силы находятся въ отсутствіи или лежатъ глубоко подъ спудомъ. Общество, не имѣющее литературы, не сознаетъ себя обществомъ, а только безпорядочнымъ сбродомъ индивидуумовъ; страна, лишенная литературы, стоитъ внѣ общей міровой связи и привлекаетъ любопытство лишь въ качествѣ диковины; объ государствѣ и говорить нечего: оно немыслимо безъ литературы уже по тому одному, что самымъ происхожденіемъ своимъ обязано литературѣ. Вотъ у вотяковъ нѣтъ ни письменъ, ни сказаній, ни даже пѣсенъ, есть только преданіе, что была когда-то какая-то книга, да ее корова съѣла; но именно потому-то въ этомъ племени такъ мало устойчивости, что недалеко время, когда оно и само, быть-можетъ, сдѣлается преданіемъ. Какимъ же образомъ общество, страна, государство могутъ призвать къ своему суду литературу, когда они всѣмъ ей обязаны, кругомъ ею облагодѣтельствованы?

— Но вѣдь никто и не отрицаетъ, mon oncle, что литература—одна изъ необходимыхъ функцій общественнаго и государственнаго организма...

— Не «одна изъ функцій», а главная и единая, заключающая въ себѣ неоскудѣвающій источникъ жизни. Все, что ты ни видишь кругомъ, все, чѣмъ ты пользуешься—

все это дала тебѣ литература. Квартира, въ которой ты живешь, пиджакъ, который надѣтъ на твоихъ плечахъ, чай, который ты сію минуту пьешь, булка, которую ты ѣшь,— все, все идетъ оттуда. Если-бъ не было литературы, этого единственнаго сборнаго пункта, въ которомъ мысль человѣческая можетъ оставить прочный слѣдъ, ты ходилъ бы теперь на четверенькахъ, обросшій шерстью, лакалъ бы болотную воду, питался бы сырыми злаками и акридами. Но предположимъ, что это исторія давнишняя, прослѣдить которую трудно; но даже и помимо будничныхъ удобствъ, принимаемыхъ безсознательно, просто какъ совершившійся фактъ — даже помимо ихъ, всѣ удобства, наслажденія и утѣшенія высшаго разряда, все, чего требуетъ пытливость ума, развитость вкуса, чуткость чувства,—все это опять-таки идетъ оттуда, а не изъ циркуляровъ и предписаній, какъ бы послѣдніе ни были въ своей сферѣ полезны. Всѣ знанія, которыми ты обладаешь, даны тебѣ литературой; всѣ понятія, сужденія, правила, все, чѣмъ ты руководишься въ жизни, все выработано ею. Даже понятіе о неблагонамѣренности литературы — и то ты почерпалъ изъ нея, а никакъ не додумался бы до него непосредственно, потому что, повторяю, безъ литературы ты ходилъ бы на четверенькахъ и лакалъ бы болотную воду. Какъ это ни странно покажется для тебя, но безъ литературы не существовало бы ни живописи, ни музыки, ни искусствъ вообще, потому что она все разложила—и свѣтъ и звукъ— и она же все сочетала. Не будь того свѣточа, который она всюду приноситъ съ собой, и звуки, и краски, и линіи—все было бы смѣшеніе, хаосъ. Даже техника искусствъ — и та обязана тою или другою степенью своего совершенства посредничеству литературы, потому что искусство само по себѣ нѣмо и разъединено; одна литература имѣетъ привилегію «гласить во всѣ концы», она одна имѣетъ даръ всѣхъ соединять подъ сѣнію своею, всѣмъ давать возможность вкусить отъ сладостей общенія.

Я остановился, потому что Ѳеденька смотрѣлъ на меня во всѣ глаза и какъ-то блаженно улыбался.

— Ah, mon oncle! — воскликнулъ онъ: — vous avez un style... клянусь, я заслушался!

Замѣчаніе это слегка смутило меня—въ самомъ дѣлѣ, я, кажется, черезчуръ что-то распѣлся! — но такъ какъ рѣчь была ужъ заведена, то прерывать ее я уже не счелъ полезнымъ

— Ну, какой есть, не взыщи!—сказалъ я: — и будемъ продолжать. Стало-быть, опера, которою ты наслаждаешься, картина, которую ты съ восхищеніемъ созерцаешь,—все это дала тебѣ литература. Мало того: она дала тебѣ возможность различать добро отъ зла; она выработала для тебя условія общежитія, научила тебя распознавать, что у тебя есть отечество. Кто повѣдалъ тебѣ:

И дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ?..

Откуда ты узналъ:

О Россъ! о родъ непобѣдимый!
О твердокаменная грудь!?

Все оттуда же, изъ этой постылой литературы, которая всякую потребность предусмотрѣла и на всякую отвѣтъ дала. Все тамъ сказано, все запечатлѣно навсегда, дабы снять покровы съ твоей умственной дремоты и дать тебѣ возможность умилиться духомъ и обратиться къ своей совѣсти! О, Ѳедя! ужели всего этого мало, чтобы заслужить вѣчную признательность, вѣчное удивленіе и устранить всякую мысль о жестокомъ обращеніи?

— Но развѣ кто-нибудь споритъ...

— Позволь. Но и этого всего мало. Снисходя къ твоей слабости, литература допустила для тебя возможность находить удовольствіе въ обществѣ «дамочки», «кокотки» и т. д. Эту кокотку—кто тебѣ приподнесъ? эту «дамочку»—кто тебѣ сформировалъ? Кто воззвалъ отъ ничтожества Дюма-фиса, Белло, Монтепена? Кто сказалъ имъ, указывая на тебя: вотъ малый, который безъ «дамочки» не будетъ знать, какъ съ собой поступить,—имѣйте это въ виду на предметъ зависящаго съ вашей стороны распоряженія!? Предположимъ, что это услуга не особенно цѣнная; но не будь ея—ты бѣгалъ бы за какой-нибудь хавроньей, и тѣ пакости, которыя ты теперь объясняешь такимъ изящнымъ французскимъ языкомъ, ты выражалъ бы простымъ хрюканьемъ. Ужели и это не заслуживаетъ твоей признательности?

— Mon oncle! вы очень удачно соединили въ одинъ фокусъ тѣ услуги (послѣднюю я, конечно, принимаю какъ шутку), которыя оказывала и продолжаетъ оказывать литература обществу. Но вы упустили изъ вида одно обстоятельство, которое, съ точки зрѣнія государственности, имѣетъ однако-жъ несомнѣнно важное значеніе. Вы не упомянули о заблужденіяхъ. Найдете ли вы возможность

утверждать, что литература—не всегда, конечно, но очень нерѣдко — не служитъ проводникомъ заблужденій въ обществѣ?

— На это прежде всего повторяю тебѣ, что литература имѣетъ право допускать заблужденія, потому что она же сама и поправляетъ ихъ. Но кромѣ того она и потому не можетъ относиться къ заблужденіямъ съ желаемою щепетильностью, что они, такъ сказать, составляютъ подготовительный процессъ той работы, въ результатѣ которой оказывается истина. Истина—не кладъ, случайно находимый въ полѣ, и не болидъ, падающій съ неба совсѣмъ готовымъ; она дается ищущему цѣною величайшихъ жертвъ и усилій, *цѣною заблужденій*. Кто не искалъ истины, тотъ, конечно, не заблуждался. Исторія всѣхъ величайшихъ открытій и изобрѣтеній засвидѣтельствуетъ это. Ты скажешь, быть-можетъ, что никто и не протестуетъ противъ заблужденій, въ результатѣ которыхъ явились: типографскій станокъ, желѣзная дорога, сила пара и т. д., а протестуютъ, дескать, противъ заблужденій изъ міра мечтательнаго, идеальнаго, безплодно волнующихъ общество и не приносящихъ никакихъ осязательныхъ улучшеній. Но первая половина этого возраженія положительно несправедлива: ни одно великое открытіе не явилось въ міръ безъ протеста, безъ насмѣшекъ, безъ злорадства. Что же касается до заблужденій второго рода, то ты имѣлъ бы основаніе тогда только указывать на нихъ, если-бъ была какая-нибудь возможность дверь въ область идеальныхъ интересовъ представить себѣ запертою. Но природа сама держитъ ее открытою, сама внушаетъ человѣку одинаковую склонность какъ къ матеріальнымъ, такъ и къ духовнымъ интересамъ—слѣдовательно можетъ ли литература, безъ насилія, безъ бунта, разгородить эти двѣ области? Да вѣдь и тутъ, въ этомъ идеальномъ мірѣ, не все же безплодіе, не все же броженіе и смута: бываютъ и такіе осязательные результаты, которые на цѣлые вѣка даютъ исторіи человѣчества другой характеръ. Вотъ, напримѣръ, ты охотно признаёшь современныя формы общежитія, стоишь за нихъ горой и вообще не нахвалишься ими; но развѣ онѣ не считались въ свое время заблужденіями? развѣ ты былъ бы коллежскимъ совѣтникомъ на зарѣ твоей жизни, если бы не существовало до тебя людей, которые цѣною горчайшихъ испытаній очистили путь для табели о рангахъ? Ахъ, другъ мой! другъ мой! трудно вѣдь жить безъ интересовъ идеальнаго

міра, такъ трудно, что, за недостаткомъ настоящаго свѣта, человѣкъ хоть сальную свѣчку засвѣтитъ и поставитъ передъ собой!

— Ахъ, дядя, вы не поняли меня! я совсѣмъ не о томъ! Если-бъ заблужденія, о которыхъ вы говорите, оставались въ нѣдрахъ литературы—à la bonne heure! Но вѣдь они изъ литературы переходятъ въ общество, волнуютъ его, порождаютъ несвоевременныя и неумѣстныя требованія—вотъ въ чемъ опасность! Никто, конечно, не думаетъ о насильственномъ прекращеніи вопросовъ идеальнаго міра; настаиваютъ только на постепенной и своевременной постановкѣ ихъ.

— Ну и пускай настаиваютъ; но не на литературу же, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ возлагать полицейскій надзоръ за тѣми послѣдствіями, которыя могутъ имѣть добываемые ею выводы. Литература преслѣдуетъ задачи, которыя она считаетъ себя въ правѣ признавать своими, и затѣмъ она совершенно игнорируетъ, что̀ изъ достигнутыхъ ею результатовъ будетъ взято обществомъ и что̀—отвергнуто. И ежели общество прегрѣшаетъ противъ современности, то это дѣло установленныхъ властей, а не литературы, которая тутъ ни при чемъ. Да и вообще, на мой взглядъ, эта пресловутая «своевременность»—даже совсѣмъ не литературный терминъ, а канцелярскій, потому что если литературѣ поставить въ обязанность опредѣлять его согласно съ жизненными условіями, то, при разнообразіи и измѣнчивости этихъ условій, весь ея трудъ, пожалуй, уйдетъ на одни эти опредѣленія. И ты останешься безъ новаго покроя брюкъ, безъ кулинарныхъ усовершенствованій и безъ новаго фасона кокотокъ.

Я замолчалъ. Все до сихъ поръ высказанное мною о правѣ литературы на неприкосновенность казалось мнѣ до такой степени яснымъ, что, признаюсь, мнѣ даже непріятно было бы въ эту минуту услышать какое-нибудь возраженіе изъ сферы пресѣченія и предупрежденія. Я страстно и исключительно преданъ литературѣ; нѣтъ для меня образа достолюбезнѣе, достохвальнѣе, дороже—образа, представляемаго литературой; я признаю литературу всецѣло, со всѣми уклоненіями и осложненіями, даже съ московскими кликушами. Порою эти осложненія бываютъ мучительны, но вѣдь они пройдутъ, исчезнутъ, растаютъ, и навѣрное одни только усилія честной мысли останутся незыблемыми—таково мое глубокое убѣжденіе. Не будь у меня этого

убѣжденія, этой вѣры въ литературу, въ ея животворящую мощь—мнѣ было бы больно жить. Я такъ сжился съ представленіемъ, что литература есть то единственное, заповѣдное убѣжище, гдѣ мысль человѣческая имѣетъ всю возможность остаться честною и незапятнанною, что всякое вторженіе въ эту сферу, всякая тѣнь подозрѣнія, накидываемыя на нее, кажутся мнѣ жестокими и ничѣмъ не оправдываемыми. Лично я обязанъ литературѣ лучшими минутами моей жизни, всѣми сладкими волненіями ея, всѣми утѣшеніями; но я увѣренъ, что не я одинъ, лично обязанный, а и всякій, кто сознаётъ себя человѣкомъ, не можетъ не понимать, что внѣ литературы нѣтъ ни блага, ни наслажденія, ни даже самой жизни. Ѳеденька хоть и не признаётъ этого, но внутренно очень хорошо понимаетъ, что настоящія радости ему доставляетъ Дюма-фисъ, а совсѣмъ не доклады о лишеніи правъ состоянія. Даже комиссія на случай могущаго быть свѣтопреставленія—и та сознала эту истину, такъ какъ прежде всего сочла нужнымъ открыть это торжество гимномъ. Почему она такъ поступила? А потому просто, что, благодаря гимну, смягчатся черезчуръ суровые тоны торжества, и затѣмъ—кто же знаетъ?—быть-можетъ, и самое свѣтопреставленіе будетъ отмѣнено...

Повидимому, Ѳеденька замѣтилъ охватившее меня волненіе и тоже молчалъ. Это было съ его стороны очень деликатно. Да и вообще онъ—малый не страшный. Покуда онъ засѣдаетъ въ комиссіяхъ, дѣйствительно онъ какъ будто неистовъ, но въ частныхъ сношеніяхъ даже пріятенъ.

— Я понимаю, что вы не можете иначе говорить, дядя,—наконецъ произнесъ онъ:—и потому не берусь даже возражать. Но позвольте мнѣ указать на одно неудобство въ нашей бесѣдѣ: вы слишкомъ абстрактно разсматриваете вопросъ—каюсь, я самъ предложилъ вамъ этотъ методъ,—тогда какъ въ дѣйствительности онъ стоитъ гораздо проще. Тѣ отзывы о литературѣ, которые васъ интересуютъ, совсѣмъ не имѣютъ въ виду Галилеевъ, Байроновъ, Шиллеровъ и проч., а нашу обиходную, будничную литературу, занимающуюся не міровыми вопросами, а самою обыкновенною злобою дня.

— Но вѣдь тутъ разница только въ размѣрахъ. Положимъ, что современная русская литература не особенно высоко стоитъ: но, во-первыхъ, это еще вопросъ, отчего уровень ея такъ невысокъ, а во-вторыхъ, какъ бы ни была

наша литература мало-плодотворна, все-таки она на цѣлую голову выше всего остального.

— Это ваше мнѣніе, mon oncle,—мнѣніе очень понятное, потому что вы всецѣло принадлежите литературѣ. Но существуютъ люди, и притомъ компетентные, которые смотрятъ на подобныя мнѣнія, какъ на преувеличеніе. Литература наша еще не достигла возмужалости; она недостаточно оригинальна, не серьезна и не самостоятельна; даже существованіемъ своимъ она обязана воздѣйствію: Pierre le Grand, вмѣстѣ съ суконными фабриками, насадилъ и ее. Конечно, онъ поступилъ мудро, но это не мѣшаетъ нашей литературѣ быть молодою и увлекаться не дѣйствительными потребностями времени и мѣста, но просто эффектностью заимствованныхъ положеній и воспріимчивостью своего молодого темперамента. Вотъ эта-то склонность къ увлеченіямъ—не преднамѣренная, это я вамъ охотно уступаю—и наводитъ на мысль о необходимости руководительныхъ началъ.

— Руководительныхъ началъ... въ какомъ смыслѣ? Въ томъ ли, чтобы помочь литературѣ сдѣлаться оригинальною, серьезною и самостоятельною... или наоборотъ?

— Ахъ, mon oncle! Конечно... Разумѣется, со временемъ все это придетъ... Но, съ другой стороны, все это можетъ быть прочнымъ лишь тогда, когда придетъ вооруженное опытомъ, очищенное отъ увлеченій и преувеличеній... И тогда...

— И тогда, и всегда, и нынѣ, и во вѣки-вѣковъ. Всегда будутъ предостерегать отъ преувеличеній и указывать на вотяцкую мудрость, какъ на идеалъ. Я ужъ говорилъ тебѣ, что у вотяковъ даже пѣсенъ нѣтъ. Пѣсенъ нѣтъ, а пѣть между тѣмъ хочется. Вотъ идетъ вотякъ, видитъ заборъ—поетъ: «заборъ! заборъ!» пока не увидитъ поля; тогда начинаетъ пѣть: «поле! поле!» и такъ безъ конца, смотря по тому, что встрѣтится. Вотъ это-то и есть свободная отъ преувеличеній, настоящая, желательная мудрость. Не гляди ни впередъ, ни назадъ, ни по сторонамъ, а воспѣвай тѣ предметы, которые встрѣчаются на пути. Что-жъ! это отлично!

— И это, mon oncle, опять-таки преувеличеніе. Напротивъ, всѣ охотно допускаютъ, что литература должна играть очень серьезную роль, что она можетъ даже помощь оказывать, но именно помощь, а не противодѣйствіе. Вотъ что необходимо различать.

— То-есть диѳирамбы писать?

— Ахъ, mon oncle!

Очевидно, это былъ порочный кругъ. И нужна самостоятельность и ненужна, то-есть нужна «извѣстная» самостоятельность. И нужна критика и ненужна, то-есть опять-таки нужна «извѣстная» критика! Словомъ сказать: подай то, невѣдомо что, иди туда, невѣдомо куда. И при этомъ еще говорятъ: вѣдь вы отлично знаете, и куда идти, и что подать, да только притворяетесь, что не знаете. Положимъ, что Ѳеденька—не особенно искусный діалектикъ, но онъ вездѣ бываетъ, слышитъ всякіе разговоры—что-нибудь да и прилипаетъ къ нему. Ежели онъ выражается обрывками, то это значитъ, что и разговоры, которые онъ слушаетъ, тоже ведутся обрывками. Есть люди, которые способны гудѣть по цѣлымъ часамъ, и все-таки въ ихъ гудѣніи ничего не уловишь, кромѣ обрывковъ. Вотъ къ этимъ-то гудѣньямъ и прислушивается Ѳеденька и подражаетъ имъ. Передъ нимъ не церемонятся, выкладываютъ все впустѣ лежащее, потому что онъ—«адептъ». И онъ усердно подбираетъ это впустѣ лежащее, ибо знаетъ, что и ему со временемъ надо будетъ гудѣть. Всѣ будутъ гудѣть: и онъ, и его сверстники и соратники въ дѣлѣ составленія карьеръ, и кто кого перегудитъ, тотъ и воспрославится.

Въ виду всего этого я понялъ, что на почвѣ слишкомъ широкихъ обобщеній намъ оставаться нельзя. Ѳеденька слишкомъ конкретенъ, слишкомъ канцелярски-мудръ, чтобъ идти дальше непосредственныхъ результатовъ и чувствовать какую-либо иную потребность, кромѣ потребности мѣропріятій. Поэтому, хотя онъ и предупредилъ меня въ началѣ бесѣды, что не будетъ касаться злобы дня, но я все-таки рѣшился попытаться хоть въ этомъ направленіи получить какія-нибудь разъясненія.

— Прекрасно, пусть будетъ по-твоему,—сказалъ я.—Стало-быть, литература виновата? въ чемъ? говори! обвиняй!

При этомъ слишкомъ прямомъ обращеніи мой собесѣдникъ чуть-чуть покраснѣлъ, такъ что я, предвидя, что онъ непремѣнно воспользуется случаемъ, чтобъ поломаться передо мной, поспѣшилъ поправиться.

— То-есть, не обвиняй отъ себя лично,—я знаю, что ты не способенъ на это,—но формулируй тѣ обвиненія, которыя, по твоему наблюденію, наиболѣе въ ходу,—объяснилъ я.

Ѳеденька съ минуту помолчалъ и затѣмъ, совершенно

для меня неожиданно, какимъ-то шипящимъ, задавленнымъ голосомъ произнесъ:

— Дядя! позвольте узнать, зачѣмъ ваша литература съ такимъ упорствомъ ищетъ осмѣять и подорвать священнѣйшія основы нашего общества?

Я изумился. Не вопросу, который ничего особенно неожиданнаго не представлялъ, но тому феномену, который въ какую-нибудь минуту совершился въ моихъ глазахъ. Лицо этого юноши, за минуту передъ тѣмъ благодушное и даже простоватое, внезапно позеленѣло и приняло суровые тоны; глаза получили сердитое, чуть не злое выраженіе; губы побѣлѣли и вздрагивали. Такъ велика была въ этомъ способномъ молодомъ человѣкѣ готовность восторгаться чужими восторгами и озлобляться чужими озлобленіями.

— Христосъ съ тобой! что ты!—воскликнулъ я, нѣсколько озадаченный.

— Нѣтъ, если ужъ вы хотите, чтобъ я говорилъ, то я буду говорить. Серьезно спрашиваю васъ: съ какого права ваша литература нападаетъ на коренныя основы нашей жизни? кто далъ ей это полномочіе? Кто разрѣшилъ ей въ такомъ видѣ представлять семью, собственность... государство?

— Да въ какомъ же, мой другъ, въ какомъ?

— Въ гнусномъ-съ. Повторяю, кто далъ ей полномочіе судить и рядить?

— Послушай! я только-что сейчасъ доказывалъ тебѣ, что литература отъ самого Господа Бога снабжена всѣми возможными полномочіями... Однако-жъ, такъ какъ ты настойчиво возвращаешься къ этой темѣ и при этомъ, очевидно, имѣешь въ виду *современную* русскую литературу, то изволь, будемъ бесѣдовать. Ты ставишь вопросъ прямо: современная русская литература подрываетъ основы, на которыхъ держится общество... Подумай однако-жъ, нѣтъ ли тутъ смѣшенія? Не приписываешь ли ты литературѣ то, что принадлежитъ самому обществу или, по крайней мѣрѣ, той его части, которой спеціально присвоивается это названіе? Я, съ своей стороны, убѣжденъ, что литература наша не только ничего не выдумываетъ въ этомъ случаѣ, но, довольствуясь однимъ констатированіемъ фактовъ, стоитъ даже ниже дѣйствительности. Ужели литература разожгла аппетиты Юханцевыхъ, Ландсберговъ, Ковальчуковыхъ? ужели она породила легіоны сорванцовъ, у которыхъ на языкѣ—«государство», а въ мысляхъ—пиротъ съ казенной

начинкой? Увѣряю тебя, не литература произвела эти явленія. Аппетиты разожглись сами собой, вслѣдствіе наплыва цѣлой массы праздныхъ людей, оставшихся за бортомъ съ упраздненіемъ крѣпостного права. Конечно, литература не пропустила этого факта; но развѣ была какая-нибудь возможность игнорировать его? Подумай! вѣдь требовать отъ литературы подобнаго нелѣпаго воздержанія—значило бы навсегда осудить ее оставаться при анекдотахъ о пошехонцахъ. Ты думаешь, очевидно, что литература наша нарочно цѣпляется за извѣстные факты, что она *предвидитъ* тѣ волненія, которыя она должна произвести въ обществѣ, что эти волненія ей нравятся, однимъ словомъ, что не будь вмѣшательства литературы—не существовало бы ни вопросовъ, ни волненій. Другъ мой! не ты одинъ высказываешь подобныя убѣжденія: они сплошь и рядомъ высказываются и въ самой литературѣ тѣми литературными золотарями, которыхъ цѣлыя массы въ послѣднее время загромоздили ее. Но все это—ложь и явная клевета, и литература, выставляя на позоръ факты, которые такъ тебя поражаютъ, не только не подрываетъ подрытаго, но, напротивъ, пробуждаетъ общественную совѣсть. Правда, что общество наше—лицемѣрно и посмѣивается надъ основами «потихоньку»; но развѣ лицемѣріе когда-либо и гдѣ бы то ни было представляло силу, достаточную для существованія общества? Развѣ лицемѣріе—не гной, не язва, не гангрена? Вотъ этого-то «права лицемѣрить» литература и не признаётъ за обществомъ. Она говоритъ ему: или держись крѣпко унаслѣдованныхъ принциповъ, или кайся! По-моему, такія обличенія имѣютъ скорѣе характеръ охранительный, нежели разрушительный, и ежели я и самъ по временамъ сѣтую на современную русскую литературу, то отнюдь не за смѣлость и настойчивость ея обличеній, а, напротивъ, за то, что она робка, неустойчива и совсѣмъ-совсѣмъ невліятельна. Помилуй! одинъ эзоповскій языкъ чего стоитъ! Подумай, какъ это трудно, изнурительно, почти погано! Въ состояніи ли ты оцѣнить это?

— Могу, но, признаюсь, не печалюсь объ этомъ. Въ наше время только и утѣшаешься, когда видишь, какъ наша милая литература извивается, словно вьюнъ на сковородѣ. Однако-жъ я готовъ бы былъ сдѣлать вамъ извѣстныя уступки, если-бъ дѣло шло только о логикѣ идей. Но есть логика фактовъ, mon oncle, и она-то заставляетъ меня *быть* осмотрительнымъ. Передъ фактами я нѣмѣю, прихожу

въ ужасъ и забываю объ идеяхъ. Я понимаю вашу защиту и логически не всегда вижу себя въ состояніи опровергнуть ее; но въ то же время я *чувствую*, что въ ней чего-то недостаетъ, что она не вполнѣ искренна и нѣчто скрываетъ. Вѣдь скрываетъ—не такъ ли, mon oncle?

Онъ такъ добродушно взглянулъ мнѣ при этомъ въ лицо и такъ мило похлопалъ меня по колѣнкѣ, что мнѣ и самому невольно подумалось: а что, вѣдь, можетъ-быть, и скрываетъ?

— Можетъ-быть, можетъ-быть, другъ мой, — отвѣтилъ я:—вѣдь всего не сообразишь. Во всякомъ случаѣ для меня ясно, что, несмотря на продолжительную бесѣду, мы оба остаемся при своихъ показаніяхъ. Что бы я ни говорилъ—ты охотно будешь признавать справедливость моихъ доводовъ, но будешь «чувствовать», что въ нихъ чего-то недостаетъ... Отлично. Стало-быть, обвиненіе первое—колебаніе основъ—остается неопровергнутымъ, но и недоказаннымъ. Дальше?

— Дальше, mon oncle, направленіе и подборъ статей. Разверните любую книжку журнала, любой газетный листокъ—и вы убѣдитесь, что все, отъ первой строки до послѣдней, твердитъ объ одномъ, смотритъ въ одну точку.

— А тебѣ бы хотѣлось литературнаго косоглазія?

— Mon oncle! не будемъ увлекаться въ сторону и воротимся къ «направленію». Я сказалъ уже вамъ, что разумѣю подъ этимъ подборомъ статей. Зачѣмъ эта унылость? Почему бы не разнообразить предлагаемаго публикѣ чтенія? Почему бы рядомъ со статьей, трактующей объ явленіяхъ неутѣшительныхъ (я самъ соглашаюсь, что въ жизни нашей не все утѣшительно), не помѣстить другой, которая предвѣщала бы скорый и вожделѣнный конецъ этой неутѣшительности? Зачѣмъ забивать мысль читателя все будничными да будничными представленіями, а не освѣжать ее бесѣдою о предметахъ возвышенныхъ, вызывающихъ паренiе, зачѣмъ пригибать человѣка все къ землѣ да къ землѣ—вѣдь у него есть небо, mon oncle!

— Зачѣмъ? да просто затѣмъ, что у всякаго времени есть своя задача и свои способы для выраженія этой задачи. Это не въ одной литературѣ выражается, а и въ распоряженіяхъ администраціи. И въ нихъ ты замѣтишь «подборъ» и замѣчательное однообразіе «направленія».

— Да, но со стороны администраціи это печальная необходимость, а со стороны литературы — это система,

это предвзятый образъ дѣйствія. Литература не имѣетъ права такъ поступать. Ея обязанность — умиротворять, а не раздражать. Повторяю: у человѣка есть небо, mon oncle! и это небо—литература ваша закрыла его отъ него!

— И небо, и соловьи, и розы... Только соловьи, по нынѣшнему строгому времени, поютъ не на боскетахъ, а въ трактирахъ, да и розы пахнутъ совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ пахли прежде...

— Это — не отвѣтъ, mon oncle. И розы, и соловьи, и небо—все это есть, и все мы видимъ, и слышимъ, и обоняемъ, и всѣмъ наслаждаемся. Только вотъ литературѣ нашей угодно игнорировать эти возвышающія духъ картины и замѣнять ихъ холоднымъ перечисленіемъ язвъ. Какъ хотите, а это—заговоръ!

— Да заговоръ же и есть. Только не тотъ, которому въ законѣ присвоивается названіе преступленія, а тотъ, который испоконъ вѣка разлитъ въ воздухѣ и едва ли когда-нибудь прекращался. Это—заговоръ, въ которомъ принимаетъ участіе не одна литература, а все и вся. Значитъ, язвы настолько обострились, что никому не даютъ ни отдыха, ни срока; значитъ, не только писать, но и думать ни объ чемъ иномъ нельзя; значитъ, доколѣ будутъ существовать язвы, дотолѣ будетъ идти и рѣчь объ нихъ. Ты думаешь, что у Бореля, у Дюссо, у Донона нѣтъ заговорщиковъ? что ты и твои сверстники, люди несомнѣнно надежные, укрывшись въ одномъ изъ этихъ пріютовъ, только ѣдите и пьете, а не конспирируете? Ошибаешься, другъ мой! Ручаюсь, что не проходитъ и десяти минутъ твоей жизни безъ того, чтобы ты не почувствовалъ себя неловко, и совсѣмъ не потому, чтобы ты вспомнилъ о соловьяхъ и розахъ, а именно потому, что даже тамъ, среди расторопныхъ офиціантовъ-татаръ, въ виду улыбающагося соммельѣ, тебя все-таки настигаютъ язвы. Стало-быть, и вы участвуете въ заговорѣ, участвуете тѣмъ, что помышляете и бесѣдуете о предметѣ его. Вамъ непріятенъ этотъ предметъ, вы желаете отогнать его отъ себя, а онъ — тутъ при васъ, онъ неотступно идетъ слѣдомъ за каждымъ шагомъ вашимъ. Но если онъ не оставляетъ въ покоѣ никого—какъ же ты хочешь, чтобы отъ него отвернулась литература, для которой изслѣдованіе явленій жизни составляетъ conditio sine qua non существованія? Ты скажешь, конечно, что бывали же и въ русской литературѣ и розы, и соловьи... Бывали, мой ангелъ, все въ свое время было! Но теперь ты не

найдешь двухъ литераторовъ, которые рѣшились бы бесѣдовать о розахъ и соловьяхъ, и даже тѣ, которые когда-то считались мастерами въ этомъ родѣ,—и тѣ нынѣ пускаютъ шипъ по-змѣиному. Ужели это дѣлается нарочно, съ единственной цѣлью досадить тебѣ или тѣмъ, чьихъ мнѣній ты служишь эхомъ? Послушай! Вѣдь со стороны журналовъ и газетъ было бы не только неполитично, но даже непростительно не поступиться нѣсколькими печатными листами въ годъ въ пользу розъ, соловьевъ и вожделѣющихъ помѣщицъ, чтобъ водворить миръ и благоволеніе въ взволнованныхъ сердцахъ. Почему-нибудь однако-жъ они не пускаютъ въ ходъ этого фортеля. И знаешь ли, именно почему? Во-первыхъ, потому, что нынче писателей такихъ нѣтъ, а во-вторыхъ, потому, что и читатель для соловьевъ и розъ едва ли отыщется.

— Такъ что нашей литературѣ суждено навѣки пропахнуть мужикомъ?

— Вотъ-вотъ-вотъ, оно самое и есть. Обвиненіе третье, но, въ сущности, главное и единственное. Ибо всѣ эти подрыванія основъ и авторитетовъ, эти направленія и подборы—все это мы охотно перенесли бы, если-бъ не замѣшался тутъ, въ видѣ занозы, мужикъ. Мужикъ—это главное: какъ онъ смѣетъ! Скажу тебѣ по секрету, мнѣ и самому, по временамъ, литература наша кажется въ этомъ отношеніи нѣсколько однообразною и черезъ край переполненною мужикомъ. Вѣдь и я... да, братъ, я тоже не чуждъ соловьевъ и розъ... que diable! Но, присмотрѣвшись къ дѣлу пристальнѣе, приходится согласиться, что иначе оно не можетъ быть. Мужикъ—герой современности, это вѣрно. И не со вчерашняго дня такъ повелось, а давненько-таки, съ конца сороковыхъ годовъ. Ты, разумѣется, не былъ очевидцемъ «началъ», но я не только помню, но даже лично присутствовалъ при нихъ. Я помню «Деревню», помню «Антона-Горемыку», помню такъ живо, какъ будто все это совершилось вчера. Это былъ первый благотворный весенній дождь, первыя хорошія, человѣческія слезы, и съ легкой руки Григоровича мысль о томъ, что существуетъ мужикъ-человѣкъ, прочно залегла и въ русской литературѣ, и въ русскомъ обществѣ. А съ половины пятидесятыхъ годовъ эта мысль сдѣлалась уже господствующею въ русской жизни. Все, что ни есть въ Россіи мыслящаго и интеллигентнаго, отлично поняло, что куда бы ни обратились взоры, вездѣ они встрѣтятся съ проблемой о мужикѣ.

Но ежели эта проблема такъ настойчиво мечется въ глаза, то надо же попытаться рѣшить ее. И вотъ мы видимъ, что лучшіе государственные люди нынѣшняго царствованія отдаютъ ей всѣ свои силы, и что рядомъ съ ними ей же посвящаютъ себя и наиболѣе независимые (въ смыслѣ обезпеченности матеріальныхъ средствъ) представители нашей интеллигенціи. Припомни годы «освобожденія» и сознайся, что никогда этому слову не придавалось болѣе широкаго значенія, никогда интересъ, возбужденный имъ въ обществѣ, не граничилъ такъ близко съ энтузіазмомъ. Въ теченіе слишкомъ трехъ лѣтъ никакой другой рѣчи нельзя было слышать, кромѣ рѣчи о мужикѣ. Оказалось, что онъ рѣшительно необходимъ, и что даже самое слово: «мужикъ» выражаетъ нѣчто очень сложное, почти всепроникающее. Всѣмъ онъ нуженъ, у всѣхъ какъ бѣльмо на глазу. Тупа философія, косноязычна реторика... безъ мужика. Помѣщикъ, заводчикъ, фабрикантъ, подрядчикъ, однимъ словомъ, всякій человѣкъ-практикъ, всякъ понялъ, что въ его «дѣлахъ» на первомъ планѣ стоитъ мужикъ. Должна была понять это и литература, и не потому одному, что она обязана *все* понимать, но и потому, что въ этомъ дѣлѣ ей предстояло оказать существенную услугу. Ежели мужикъ такъ всѣмъ необходимъ, то надо же знать, что̀ онъ такое, что̀ представляетъ онъ собой какъ въ дѣйствительности, такъ и in potentia, каковы его нравы, привычки и обычаи, съ которой стороны и какъ къ нему подойти. И, къ удивленію, оказывается, что узнать это совсѣмъ не такъ просто, и что міръ мужицкихъ отношеній значительно сложнѣе и запутаннѣе, нежели тотъ, въ которомъ обыкновенно вращаемся мы, люди интеллигенціи. Работа изслѣдованія началась, работы произведено пропасть, а конца все-таки не видать. Хорошо бы и пріостановиться, но дѣло въ томъ, что, разъ отворивши дверь въ область загадокъ, затворить ее ужъ не такъ-то легко. Во-первыхъ, этому воспрепятствуетъ свойственная всякому интеллигентному человѣку любознательность, а во-вторыхъ, сама дверь просто-напросто оказывается неудобозатворимою. Вотъ почему современная атмосфера такъ насыщена мужикомъ: очень ужъ много лѣзетъ оттуда, изъ этой незатворимой двери. Вѣроятно мы черезчуръ ужъ долго занимались соловьями и розами, такъ что теперь...

На этомъ самомъ мѣстѣ рѣчь моя была прервана сильнымъ звонкомъ. Оказалось, что пріѣхалъ курьеръ, возвѣ-

стившій Ѳеденькѣ, что Иванъ Михайлычъ изволилъ благополучно возвратиться изъ Екатерингофа!

Признаюсь, я былъ даже доволенъ, что бесѣда наша такъ внезапно оборвалась. Надоѣло.

Первое іюня.

— Такъ ты думаешь, что нужно подтянуть? — спросилъ я Ѳедю.

— Непремѣнно, mon oncle,—отвѣчалъ онъ увѣренно:— это не только личное мое мнѣніе, но и всѣ компетентные люди такъ думаютъ.

Мы сидѣли въ ресторанѣ Лѣтняго сада и ѣли. Петербургъ опустѣлъ; не только столоначальники, но и помощники ихъ разъѣхались по дачамъ и слетались въ городъ лишь на короткое время по утрамъ, чтобъ не совсѣмъ безъ вреда день прошелъ. Войска ушли въ лагерь; установленія бездѣйствовали; знакомые куда-то исчезли; во всемъ домѣ, гдѣ я нанимаю квартиру, изъ «хорошихъ жильцовъ» остался только я одинъ, испуганный тѣмъ, что дождь съ утра до вечера лилъ какъ изъ ведра. Скука была пожирающая; одно развлеченіе имѣлось въ виду: наблюдать изъ оконъ, весело ли бодрствуютъ дворники. Оказалось однако, что и Ѳеденька засѣлъ въ Петербургѣ, и день-денской надъ чѣмъ-то корпитъ, а потомъ цѣлую ночь напролетъ докладываетъ. Очевидно, онъ не на шутку занялся своею карьерой и рѣшился воспользоваться лѣтнимъ запустѣніемъ и отсутствіемъ чиновнической конкуренціи, чтобъ всѣ свои способности лицомъ показать. Не знаю почему, но при встрѣчѣ съ нимъ мнѣ вдругъ вспомнился Ландсбергъ, котораго имя въ эту минуту занимало всѣ умы и который тоже тщательно холилъ свою карьеру.

— Ты Ландсберга не знавалъ? — обратился я къ Ѳеденькѣ.

— Къ сожалѣнію, зналъ. Прошлой зимой даже vis-à-vis въ кадрили не разъ приходилось танцовать.

— Да, вотъ и онъ... Все думалъ, какъ бы карьеру сдѣлать,—и вдругъ...

Клянусь, я сказалъ это почти безсознательно, нимало не разсчитывая проводить какія-нибудь параллели. Однако-жъ Ѳеденька обидѣлся и покраснѣлъ.

— Неужели же вы находите какіе-нибудь поводы для сравненія?—протестовалъ онъ.

— Упаси Богъ, мой другъ! Такъ... вспомнилось... Все слышишь что-то такое страшное: подтянуть да въ бараній рогъ согнуть — ну и вспомнилось; а вѣдь, можетъ-быть, и Ландсбергъ въ мечтаніяхъ своихъ разсчитывалъ: «только бы мнѣ съ Власовымъ благополучно сквитаться, а тамъ ужъ я знаю, что̀ дѣлать—буду подтягивать да подтягивать»...

— Къ счастью, я не имѣю надобности въ Власовыхъ...

— Ахъ, нѣтъ! ты, пожалуйста, не думай! Я знаю, что ты человѣкъ аккуратный... Но Ландсбергъ—вѣдь это все-таки не миѳъ. Скажи, пожалуйста, когда ты съ нимъ прошлой зимой vis-à-vis танцовалъ, развѣ приходило тебѣ на мысль, что черезъ два-три мѣсяца этотъ человѣкъ будетъ судиться, какъ убійца? Вѣдь не приходило? а?

— Конечно, не приходило.

— И, навѣрное, ты вмѣстѣ съ другими находилъ, что это прекрасный и способный молодой человѣкъ, который «пойдетъ далеко». Признайся, случалось тебѣ съ нимъ по душѣ разговаривать? планы насчетъ величія Россіи строить?

— Признаюсь откровенно: случалось.

— И что̀ же?

— Дѣйствительно, я находилъ, что это человѣкъ сильной воли, способный, и что...

— И что онъ «подтянетъ»?

— Да, думалъ и это.

— Ба! да ты вѣдь и Юханцева, конечно, зналъ?

— Зналъ и его.

— И тоже считалъ, что это малый способный?

— Признаюсь... считалъ.

— И вы втроемъ: ты, Ландсбергъ и Юханцевъ, собирались гдѣ-нибудь за бутылкой добраго вина (платилъ Юханцевъ) и совершенно серьезно разсуждали, что «такъ нельзя», что «все распущено, ни на что непохоже», что «суды оправдываютъ», «власти бездѣйствуютъ», что «надо положить этому предѣлъ»... И Ландсбергъ при этомъ первый—да, именно онъ, онъ первый—припомнилъ и произнесъ слово: «подтянуть», а вы съ Юханцевымъ, услыхавъ это, въ восторгѣ воскликнули: oui, Landsberg—c'est l'homme du moment!.. Вѣдь случалось это? да?

— Случалось.

— Посмотри однако-жъ, какой, съ Божьею помощью, оборотъ! Судъ-то словно подслушалъ ваши упреки, взялъ да ни Юханцева, ни Ландсберга не оправдалъ!

Все время, покуда я такимъ образомъ объяснялъ свою мысль, Ѳеденька улыбался то иронически, то съ явнымъ нетерпѣніемъ, но наконецъ не выдержалъ и сказалъ:

— Прекрасно, прекрасно все это, mon oncle... Но желалъ бы я знать, съ какого повода вы начали этотъ разговоръ?

— Да говорю тебѣ, что просто такъ: свѣтская болтовня— и больше ничего. Теперь всѣ умы Ландсбергомъ переполнены — ну, и я... Скажи, пожалуйста, онъ ни въ какомъ комитетѣ не участвовалъ? По части поданія пособій неимущимъ и сиротамъ... по части улучшенія нравственности... распространенія здравыхъ идей... спасенія общества отъ крушенія... ну, вообще, какіе у васъ тамъ комитеты съ дамочками заведены!

— Нѣтъ, я не встрѣчалъ его.

— Ну, стало-быть, не успѣлъ. А помѣшкай онъ немного съ Власовымъ или обдѣлай это дѣльце поаккуратнѣе... Впрочемъ, ты, пожалуй, опять подумаешь, что я какія-нибудь параллели провожу... Увѣряю тебя, это свѣтскій разговоръ— и больше ничего.

Мы оба на минуту замолчали. Къ счастью, въ эту минуту подали bœuf braisé, который былъ какой-то такой необыкновенный, что даже я, человѣкъ отъ природы неприхотливый, вознегодовалъ и забылъ о «подтягиваніяхъ». Но, къ удивленію, Ѳеденька, котораго я считалъ изнѣженнымъ и гурмé (я даже удивлялся, что встрѣтился съ нимъ... въ Лѣтнемъ саду!), не только не возмутился, но преисправно рубилъ ножомъ эту обугленную доску и проглатывалъ одинъ за другимъ отрубленные куски.

— Дѣйствительно, я люблю тонко поѣсть, — объяснилъ онъ мнѣ:—но ежели бы, по обстоятельствамъ, мнѣ пришлось бы даже въ греческой кухмистерской обѣдать — я и передъ этимъ не отступлю. Все въ свое время, mon oncle. Бываютъ моменты въ исторіи, когда всего нужнѣе поспѣшность.

— Послушай! а вѣдь я, представь себѣ, думалъ, что поспѣшность потребна только блохъ ловить!—не удержался, прервалъ я.

— Вы неисправимы, mon oncle. Но будемъ продолжать. Теперь мнѣ совсѣмъ не до того, чтобы задумываться надъ menu. Я такъ занятъ, что бѣгу въ первый попавшійся кабачокъ и имѣю въ виду одну цѣль: утолить голодъ. Коль скоро эта цѣль достигнута — я доволенъ. И я увѣренъ,

что обѣдъ въ греческой кухмистерской нимало меня не скомпрометируетъ, что я и тамъ сумѣю остаться самимъ собою. Въ этомъ вся сила, mon oncle. Нужно такъ держать себя, чтобъ *всегда* быть внѣ подозрѣній, чтобы всякій, кто бы ни увидѣлъ меня — даже въ «Аѳинахъ»,— сказалъ себѣ: ежели этотъ человѣкъ пошелъ обѣдать въ «Аѳины», то это означаетъ, что такъ нужно, а совсѣмъ не то, чтобы онъ хотѣлъ съэкономить двугривенный.

Это было высказано съ такою твердостью, съ такимъ почти Регуловскимъ геройствомъ, что я не могъ воздержаться, чтобъ не воскликнуть:

— Ѳеденька! я тебя уважаю!

— Enfin! Но въ такомъ случаѣ я могу вамъ сказать, что ежели вы откинете предвзятыя мысли и взглянете на современность трезвыми глазами, то между нынѣшнею молодежью—нашего общества, разумѣется — встрѣтите ужъ много людей вполнѣ дѣловыхъ и готовыхъ на жертвы. Да вѣдь и пора за умъ взяться — это ясно для всѣхъ.

— Ясно?

— Да, всѣмъ сдѣлалось ясно, что мы не на розахъ покоимся. Еще годъ тому назадъ мы, можетъ-быть, продолжали бы малодушествовать и либеральничать, и развѣ наиболѣе мужественный изъ насъ позволилъ бы себѣ вопросъ: да куда же мы наконецъ идемъ? Нынче—всѣ уже поняли и почувствовали. Не только либеральничать, но даже восклицать и дѣлать вопросы представляется уже возмутительнымъ. Не время жаловаться, надо прямо къ дѣлу идти: respice finem. Надо разрѣшать предстоящую задачу безъ околичностей.

— Гм!.. проявлять гражданское мужество?

— Нѣтъ, и это не такъ. И мужества не надо. Мужество—это что-то искусственное, напускное; это скорѣе терминъ, нежели дѣло. Мужество есть проявленіе единичное, предполагающее царствующую кругомъ трусость. Не надо словъ, не надо ни мужества, ни трусости; нужно самое простое, самое обыкновенное, безъ всякихъ героическихъ вывертовъ, безъ всякихъ украшеній поэзіи, исполненіе обязанностей—вотъ и все.

— Въ родѣ того, напримѣръ, какъ городовые исполняютъ: «не могимъ знать, начальство приказываетъ»?

— Ну, да, въ этомъ родѣ!.. Я не брезгливъ, и ежели нужно, то отвѣчу прямо: отчего и не такъ?

— Гм!.. такъ вотъ ты какъ... браво!

— Я, mon oncle, не претендую жить въ потомствѣ, окруженный поэтическимъ ореоломъ. Мои идеалы болѣе полезны. Я не герой, а простой труженикъ современности. Коли хотите, и тутъ есть мужество, но я предпочитаю обходить это выраженіе, потому что нахожу его сбивающимъ съ толку, опаснымъ.

— Даже опаснымъ?

— Да, и опаснымъ. Потому что, повторяю, съ представленіемъ о мужествѣ всегда какъ-то соединяется представленіе объ ореолахъ, а эти ореолы...

— Не согласуются съ «не могимъ знать»? Да, пожалуй, что ты и правъ. Человѣка, у котораго въ глазахъ мелькаютъ «ореолы», никакъ нельзя назвать вполнѣ надежнымъ. Нѣтъ-нѣтъ, да и свернетъ въ сторону: а нутка, посмотримъ, молъ, что-то объ этомъ предметѣ въ «ореолахъ» написано? Мнѣ и самому иногда это приходило въ голову: поступать такъ поступать... чтобъ безъ «ореоловъ»!

— Вы шутите, а я...

— Нимало, мой другъ, не шучу, и даже, коли хочешь, приведу примѣръ въ подтвержденіе твоей же собственной мысли. Въ наше время мы видимъ, напримѣръ, ужасно много измѣнниковъ. Одни сдѣлались таковыми по легкомыслію, другіе—ради двугривеннаго, третьи наконецъ—просто потому, что смалодушничали. И что-жъ! несмотря на то, что это фактъ обыденный, а иногда даже выгодный, всякій разъ, какъ я гляжу на измѣнника, мнѣ невольно приходитъ на мысль: вотъ субъектъ, который долженъ сознавать себя въ положеніи человѣка, изгнаннаго изъ рая! Да, именно этого сорта чувство должны они испытывать, по крайней мѣрѣ на первое время. Разумѣется, со временемъ они остервенятся, начнутъ и взаправду поступать независимо отъ «ореоловъ», но покуда... Вотъ, кажется, самый настоящій, самый достовѣрный «измѣнникъ», а смотришь—онъ нѣтъ-нѣтъ да и прорвался. И воспоминанія старыя выплываютъ, и рай старинный представляется. Путаетъ, да и все тутъ. Вотъ почему я и полагалъ бы: измѣнниковъ принимать, но до интимности ихъ не допускать. Припоминается мнѣ по этому поводу слѣдующій случай: когда я служилъ, то пришлось мнѣ однажды въ разговорѣ съ начальствомъ, по поводу одного кочующаго по разнымъ дѣламъ чиновника, выразиться:—помилуйте, ваше превосходительство, вѣдь это свинья, а вы его по губерніямъ посылаете!—«А вы развѣ

свинины не ѣдите?» спросилъ меня его превосходительство. — Ѣмъ-съ.—«Ну, и мы свиней употребляемъ, когда надобность предстоитъ»... Вотъ это, мнѣ кажется, самая настоящая точка зрѣнія на свиней; ѣсть ихъ можно, не нужно только, чтобъ эта пища сдѣлалась господствующею или исключительною. Подобно сему—и измѣнники. Напримѣръ, ежели кто въ былое время англійскими порядками восторгался и на этомъ фортуну себѣ составилъ, то ежели бы онъ и сталъ таковыя внезапно порицать, слѣдуетъ вѣрить ему только въ половину. И не по чувству недовѣрія къ искренности его измѣны, а просто потому, что онъ не въ силахъ сразу совсѣмъ измѣнить. Фразеологія у него такая ужъ искони образовалась, что даже среди самыхъ искреннихъ ругательствъ на англійскіе порядки непремѣнно что-нибудь вынырнетъ сочувственное имъ. Либо словечко не то, какое нужно, человѣкъ молвитъ, либо не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, курсивъ пуститъ, либо ковычками некстати оттѣнитъ—вообще, хоть и неумышленно, но пакость сдѣлаетъ. Итакъ, повторяю: принимать измѣнниковъ можно, но до интимности допускать ихъ — нельзя. Пускай прежде остервенятся. Такъ ли, мой другъ?

— Разумѣется, ежели смягчить форму, въ которой вы изложили ваше замѣчаніе—признаюсь, я этой формы не понимаю,—то въ немъ окажется извѣстная доля правды.

— Ну, вотъ видишь. Я и всегда правду говорю, а обо мнѣ—не знаю, почему — говорятъ, что я преувеличиваю. Стало-быть, рѣшено: измѣнниковъ держать въ черномъ тѣлѣ, покуда не сбѣсятся... браво!

— Дядя! помнится, мы начали говорить о мужествѣ, а вы свели разговоръ...

— На измѣнниковъ? да вѣдь это-то самое и есть разговоръ о мужествѣ, потому что всѣ измѣнники именно такъ и начинаютъ: надо, дескать, когда-нибудь имѣть мужество... Но мужества-то, какъ ты прекрасно выразился, и не надо. Мужество! ахъ, чортъ ихъ возьми! они думаютъ, что ихъ сейчасъ за это мужество въ передній уголъ посадятъ и начнутъ настоящимъ малороссійскимъ саломъ кормить,—и вдругъ сюрпризъ! Извольте-ка сначала на помояхъ посидѣть, да объ мужествѣ-то позабыть, да заслугъ-то не выставлять, а просто безъ затѣй лбомъ въ стѣну стучать, какъ по правиламъ о чистосердечныхъ раскаяніяхъ полагается,—а потомъ, дескать, увидимъ, какъ съ вами поступать.

— Съ вами, mon oncle, рѣшительно правильную бесѣду вести нельзя. Вы все какія-то картины рисуете.

— Одну минутку. Скажи откровенно: у тебя нѣтъ такой идеи, чтобы комиссію устроить для начертанія правилъ на случай чистосердечныхъ раскаяній?

— Покуда еще Богъ миловалъ.

— А по-моему, такъ это съ твоей стороны упущеніе. И ежели ты хочешь, то я тебѣ въ этомъ случаѣ помогу. Въ слѣдующій разъ, какъ мы увидимся...

— Нѣтъ, ужъ отъ «правилъ» увольте.

— Что такъ? А еще самъ, мѣсяцъ тому назадъ, говорилъ, что отъ содѣйствія литературы не прочь.

— Отъ содѣйствія, но не....

— Ну-ну, Богъ съ тобой! не будемъ пестрить нашу бесѣду эпизодами и возвратимся къ первоначальному ея предмету. А впрочемъ, позволь еще одинъ, послѣдній эпизодъ. Ты вотъ не любишь ихъ, а въ сущности что же такое вся наша жизнь, какъ не эпизодъ? Сейчасъ мы здѣсь сидимъ, чортъ знаетъ что ѣдимъ, а «завтра—гдѣ ты, человѣкъ?» Такъ-то, мой другъ! все въ сей юдоли плача—эпизодъ. Иногда веселый, иногда мрачный, какъ придется, а настоящаго, на что бы можно сослаться, объ чемъ бы можно было съ увѣренностью сказать: вотъ каковъ у меня сюжетъ!—этого нѣтъ. Я давно это понялъ, и потому очень естественно, что въ мою бесѣду такъ легко прорываются эпизоды. Бесѣда моя есть зеркало души моей, а душа моя... Однако-жъ довольно, а то, пожалуй, ты и въ самомъ дѣлѣ разсердишься. Душа моя! что такое душа моя? и кому какое дѣло до души моей? «Не могимъ знать»—тутъ и душа, и совѣсть, и убѣжденіе—все! Баста! довольно объ этомъ... Итакъ, ты утверждаешь, что мужество слѣдуетъ по-боку?

— Не «по-боку», а... какъ вы странно однако-жъ выражаетесь, mon oncle!—окончательно разсердился Ѳеденька.

— Ну-ну, будь же и ты снисходителенъ къ слабостямъ старика. Сказывай, сказывай свою мысль!

— Да ничего особеннаго я не хотѣлъ сказать. Я утверждаю только, что въ нашемъ прошломъ, въ тѣ историческія минуты, которыя мы привыкли считать серьезными, никому и на мысль не приходило это пресловутое мужество, безъ котораго нынче ни одинъ коллежскій регистраторъ шагу ступить не можетъ. Еще не далѣе, какъ тридцать лѣтъ тому назадъ, кто позволилъ бы себѣ назвать мужествомъ простое исполненіе долга?

— Такъ, стало-быть, по-твоему, нынѣшняя историческая эпоха—не серьезная?

Признаюсь откровенно: формулируя этотъ вопросъ, я поступилъ не совсѣмъ добросовѣстно, но очень ловко. Какъ истинно русскій либералъ, я ухитрился подловить моего противника на вполнѣ непререкаемой почвѣ. Ты, молъ, хотѣлъ доказать, что достигъ геркулесовскихъ столповъ, а я взялъ да въ одну минуту тебя превзошелъ! Ура! И дѣйствительно, Ѳеденька сдѣлалъ видъ, что не слыхалъ моего вопроса. Къ счастью, въ это время намъ сервировали жареную птицу, но такую птицу, такую птицу! Даже Ѳеденька нѣсколько минутъ, какъ очарованный, смотрѣлъ на нее и только наконецъ очнулся.

— Это еще что̀ за мерзость?— обратился онъ къ половому.

— У насъ, господинъ, мерзостей не подаютъ, — возразилъ половой, которому, повидимому, была дорога̀ репутація заведенія.—У насъ не то чтобы что̀, а даже самъ хозяинъ...

— Цыцъ!—прикрикнулъ на него Ѳеденька, а затѣмъ, обращаясь ко мнѣ, присовокупилъ: — Вы слышали этотъ отвѣтъ, mon oncle? Скажите, откуда онъ пришелъ?

— Да все оттуда же, голубчикъ.

— Опять... эпизоды?

— Нѣтъ, не «эпизоды», а оттуда же, откуда идетъ и твое «цыцъ».

Но онъ даже отвѣтомъ меня не удостоилъ и, къ удивленію, разгрызъ птицыну кость и въ одно мгновеніе ока обглодалъ ее. Потомъ взглянулъ на часы и сказалъ:

— Еще съ полчаса я могу пробыть съ вами, а потомъ—за работу. Будемте курить

Мы расплатились, прошли нѣсколько шаговъ по аллеѣ, сѣли на скамью и закурили сигары. Онъ самъ предложилъ мнѣ какую-то чудную сигару, обернутую въ свинецъ.

— Рекомендую,—сказалъ онъ: — эту сигару мнѣ вчера Иванъ Михайловичъ подарилъ.

— А онъ любитель?

— Еще бы! Однажды онъ съ Фейкомъ въ Парголовскомъ озерѣ купался, и Фейкъ сталъ погибать. Разумѣется, Иванъ Михайлычъ его спасъ, и вотъ съ тѣхъ поръ... Нѣтъ, вы понимаете, mon oncle? запахъ-то, запахъ каковъ?

— Ну, вотъ и ты «эпизодъ» разсказалъ. Прекрасный запахъ, лучше нельзя. Такъ возвратимся къ нашему раз-

говору. Ты, помнится, говорилъ, что необходимо «подтянуть?»

— Сказалъ, mon oncle.

— Прекрасно. Но иногда мнѣ сдается, что, говоря о «подтягиваньяхъ», не всѣ и не всегда сознаютъ значеніе этого выраженія. Кого, напримѣръ, предполагалъ бы ты подтянуть?

— О! Вы сами отлично знаете, объ комъ идетъ рѣчь!

— Нѣтъ, не знаю. Кажется мнѣ, что ты имѣешь въ виду любезное отечество, но такъ ли это—утверждать опасаюсь.

— Почему же опасаетесь?

— Да потому что... ну, просто потому, что повѣрить этому трудно. Помилуй, мой другъ! такое обширное государство, «отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды»—и вдругъ ты собрался его «подтянуть!» Неужели ты самъ не чувствуешь, что это безсмыслица!

— Почему же, mon oncle? почему?

— Потому прежде всего, что Богъ вожжей такихъ не создалъ. Пойми меня: можно пройти по странѣ съ огнемъ и мечомъ, можно разорить ее, испепелить, изсушить... Это будетъ нелѣпо, жестоко, по-татарски, но ежели изъ сего должно произойти возрожденіе—дѣлать нечего, пусть такъ. Но... «подтянуть»! Подтянуть, согнуть въ бараній рогъ—право, тутъ даже идеи никакой нѣтъ! Это только уродливые образы, которыхъ въ натурѣ невозможно даже воспроизвести. Ну, представь себѣ Россію взнузданною или въ видѣ бараньяго рога... вѣдь нельзя себѣ это представить? не правда ли? нельзя?

— Да, но вѣдь вы понимаете, что я говорю au figuré.

— Понимаю. Но есть предметы, о которыхъ au figuré просто непозволительно говорить. Бываютъ случаи, когда инословіе становится поперекъ горла, когда отъ него гноемъ пахнетъ. Вспомни, голубчикъ! вѣдь Россія—твое отечество.

— И помню, mon oncle, и преклоняюсь. Но потому-то именно, что люблю Россію, и настаиваю на своемъ. Вы ловите меня на словахъ. «Подтянуть»—это дѣйствительно не совсѣмъ точное выраженіе—уступаю его вамъ. Но нельзя же наконецъ терпѣть!

— Чего нельзя терпѣть?

— Помилуйте! ужели мало примѣровъ своеволія, неподчиненія, дерзости? ужели то, что мы видимъ вокругъ, можетъ назваться другимъ именемъ, кромѣ анархіи, безначалія?

— Я знаю, объ чемъ ты говоришь, но въ то же время искренно убѣжденъ, что ты ужъ черезчуръ охотно дѣлаешь обобщенія. Тебя поражаютъ отдѣльные случаи, и ты до такой степени весь погружаешься въ нихъ, что повсюду, въ самыхъ невиннѣйшихъ проявленіяхъ человѣческой подвижности видишь нѣчто однородное, выходящее изъ одного и того же источника. Неужели ты не понимаешь, что ты не только несправедливъ, но просто надуваешь самого себя, сознавая напрасныя обобщенія и подавляя себя бременемъ непосильной работы?

— Нѣтъ, это не напрасныя обобщенія! Это дѣйствительность, наша современная горькая дѣйствительность. И ежели даже подобные случаи кажутся намъ нестоящими вниманія, то...

— Остановись, мой другъ. Зная твое усердіе, я боюсь, что ты сдѣлаешь новую несправедливость и обвинишь меня въ измѣнѣ. Измѣны съ моей стороны нѣтъ. Я просто говорю, что ты черезчуръ охотно обобщаешь и вслѣдствіе этого распространяешь единичные случаи чуть не на всю страну; а ты извращаешь мои слова и съ помощью этой фальсификаціи инсинуируешь, что чуть ли я не слагаю хвалы...

— Ахъ, mon oncle, неужели вы могли подумать!

— Ничего я не думаю, кромѣ одного: что эта манера очень непріятная. Говорю тебѣ это откровенно, потому что ты все-таки... Неугодовъ! Вѣдь ты—Неугодовъ? такъ? ты понимаешь, какъ это будетъ дурно, если кто-нибудь скажетъ: а знаете ли, Неугодовъ...

— Mon oncle!

— То-то, надо быть осмотрительнымъ, голубчикъ! Блюсти—блюди, но не до безчувствія—нѣтъ! Избѣгай дурныхъ или неопрятныхъ словъ, ибо они могутъ привести къ скандалу и въ самомъ лучшемъ случаѣ произвести изумленіе.

— Но, право, я не понимаю, что же вы видите въ моихъ словахъ дурного?

— Дурно, во-первыхъ, то, что ты не сознаешься, что дурно выразился. Во-вторыхъ, хоть ты и увѣряешь, что выразился au figuré, но, какъ я уже сказалъ тебѣ, бываютъ предметы, относительно которыхъ figuré не допускается. А въ-третьихъ, тоже повторяю: невыносимо, несправедливо и даже совсѣмъ безумно такъ легко и безцеремонно обобщать. Скажи, есть ли въ этомъ смыслъ: ты берешь два-три факта, положимъ десять, сотню, и мстишь за нихъ—кому?—Россіи!

— Я... мщу? никогда, mon oncle, никогда!

— То-есть, конечно, не въ настоящемъ времени: теперь у тебя еще руки коротки! но ты намѣчиваешься, ты создаешь себѣ идеалы. Тутъ ужъ серьезно подумываешь: вотъ погоди, ужо, какъ я подрасту, я покажу, гдѣ раки зимуютъ! На что похоже!

— Дядя! я, конечно, неправильно употребилъ выраженіе: «подтягивать», но вѣдь и вы... Вы прямо приписываете мнѣ то, чего у меня и въ мысляхъ никогда не бывало. Я просто говорю: надо принять рѣшительныя мѣры.

— И принимай. Смакуй эту мысль, и ежели имѣешь возможность, то разглагольствуй на эту тему, предлагай, докладывай. Но оставь въ покоѣ Россію. Что тебѣ она сдѣлала, за что ты ее въ звѣриный образъ пожаловалъ? за что ты съ такимъ злорадствомъ выискиваешь мѣстечко, куда бы ее почувствительнѣе кольнуть?

— Совсѣмъ я не ищу этого; напротивъ, искренно желая спасти, оберечь...

— Исцѣлись лучше самъ, а не спасай то, что въ спасеніяхъ твоихъ не нуждается. Самъ же ты на каждомъ шагу утверждаешь, что эти «превратныя толкованія», которыя такъ тебя безпокоятъ, не имѣютъ корня въ массахъ, что массы имъ не сочувствуютъ, и что это еще больше выдаетъ ихъ головой; такъ зачѣмъ же ты, пользуясь симъ случаемъ, массы-то эти собираешься «подтянуть»?

— Ничего я относительно массъ не имѣю. Массы у насъ добрыя,—я знаю это.

— Знаешь, а въ то же время изнемогаешь подъ бременемъ фантастическихъ мѣропріятій. И именно общихъ мѣропріятій, захватывающихъ возможно обширнѣйшую область. Развѣ я не читаю на твоемъ лицѣ: непремѣнно надобно, чтобъ каждый зналъ, что Кузьку Кузьмой зовутъ!.. за что?

— И это—только предположеніе съ вашей стороны и ничего больше. Ни объ какомъ «Кузькѣ» я никогда не думаю—даже этого термина совсѣмъ не знаю, а думаю и утверждаю, что рѣшительныя мѣры все-таки необходимо принять.

— Но въ этомъ-то и опасность, что ты утверждаешь, нимало не подозрѣвая, что твои рѣшительныя мѣры совсѣмъ не туда попадутъ, куда ты мѣтишь или предполагаешь мѣтить, а все мимо и мимо. Но и не на-пусто попадутъ—нѣтъ, а произведутъ безпокойство и тревогу именно въ той средѣ, которую ты собрался спасти. Впрочемъ, въ стро-

гомъ смыслѣ, я не могу даже поставить тебѣ это въ вину, потому что ты мыслишь вполнѣ согласно съ традиціями. Мы, русскіе, всегда оказывались безсильными, когда нужно было указать на дѣйствительно больное мѣсто. Но зато никто свободнѣе насъ не плавалъ въ океанѣ такъ-называемыхъ общихъ мѣропріятій. Оно и легко и лестно. Во-первыхъ, плыви, куда хочешь—нигдѣ пути не заказаны; во-вторыхъ, бей направо, бей налѣво—авось и подвернется виноватый; а въ-третьихъ, какъ же не лестно: мозговъ не утруждаешь, а между тѣмъ воочію видишь, какъ въ сердцахъ водворяется спасительный страхъ.

— Ну, лестнаго-то немного, положимъ.

— Нѣтъ, лестно, даже очень лестно. Помилуй! Ты—гарцуешь, а Кузьки—безъ шапокъ въ спасительномъ страхѣ обрѣтаются... какой картины еще лучше желать!

— Ахъ, дядя, дядя! что-жъ дѣлать, коли другихъ средствъ нѣтъ!

— Оттого и средствъ нѣтъ, что мы искони думаемъ, какъ бы полегче да попроще преуспѣть. А ты, коли хочешь новую эру въ сферѣ мѣропріятій намѣтить, то разсуждай такъ: я желаю достигнуть того-то и того-то (такъ и начинай съ подробнаго опредѣленія твоихъ желаній, а не съ того, что у меня, дескать, руки чешутся), слѣдовательно обязываюсь въ этомъ смыслѣ потрудиться, а не бѣжать, куда глаза глядятъ.

— Зачѣмъ же дѣло стало! потрудитесь вы, mon oncle!

Замѣчаніе это было не лишено язвительности и застало меня нѣсколько врасплохъ. Но, разумѣется, въ концѣ концовъ я таки-нашелся.

— Ты опять къ инсинуаціямъ прибѣгаешь, любезный другъ,—сказалъ я:—сейчасъ только я объяснилъ тебѣ, какъ это неприлично въ частной бесѣдѣ, а ты ужъ и позабылъ. Нехорошо это, даже коварно. Я къ тебѣ обращаю мою рѣчь, къ тебѣ, къ человѣку, до краевъ переполненному проектовъ объ упроченіи твоей карьеры, тебѣ говорю: потрудись!—а ты предательски перевертываешь мою рѣчь и говоришь: потрудись самъ! И говоришь, зная, что моя пѣсня спѣта, что мнѣ и жить-то противно, что я ни о чемъ такъ охотно не думаю, какъ о томъ, чтобъ уйти, стушеваться, исчезнуть... Ахъ, молодой человѣкъ! молодой человѣкъ! изъ молодыхъ да ранній!

— Да вѣдь я, дядя, по-родственному. Вижу, что вы критикуете,—вотъ я и заключилъ: можетъ-быть, mon oncle и потрудиться не прочь?

— Я ничего не критикую, а лично тебѣ говорю: стыдись! Извини, любезный другъ, я тоже по-родственному!

Ѳеденька ни слова не отвѣтилъ на мою рѣзкость (повидимому, онъ даже не обидѣлся ею), а только съ безпечнымъ видомъ помахалъ въ воздухѣ тросточкой и потихоньку, сквозь зубы, пропѣлъ:

A Provins
Trou-la-la-la...
On récolte des roses
Et du jasmin
Trou-la-la-la...
Et beaucoup d'autres choses.

— Понимаю,—сказалъ я:—ты хочешь дать мнѣ понять, что мои іереміады такъ же стары, какъ эта пѣсенка. Что нынче въ Демидронѣ ужъ совсѣмъ другія пѣсни поютъ... Но увѣряю тебя, что критики мои вовсе не такъ устарѣли, какъ это кажется.

Но Ѳеденька и на этотъ разъ вмѣсто отвѣта пропѣлъ:

Et j'frotte, et j'frotte, et allez donc!
Il vient trop de monde dans la maison!

— И эту пѣсенку я знаю,—сказалъ я:—и знаю цѣлое поколѣніе такихъ, какъ ты, которое воспитывалось на подобныхъ пѣсенкахъ. Когда однѣ гривуазныя пѣсни на умѣ, тогда, конечно, кажется, что на свѣтѣ все распутывается легко.

— Послушайте, mon oncle! ужели вся эта матерія стоитъ того, чтобъ изъ-за нея огорчаться и говорить обидныя слова?

— Разумѣется, стоитъ. Вѣдь ты карьеристъ, пойми меня, Христа ради! Если-бъ ты не былъ увѣренъ въ успѣхѣ, я бы не тратился на слова. Но ты увѣренъ въ себѣ и въ то же время совершенно серьезно лелѣешь подтягивательные идеалы, забывая, что они гораздо старѣе даже тѣхъ пѣсенокъ, которыя ты сейчасъ пропѣлъ. Надо же поколебать въ тебѣ это убѣжденіе! надо же высказать тебѣ, что подобные идеалы ни процвѣтанія, ни преуспѣянія никогда не производили. Надо, чтобъ ты понялъ, что на свѣтѣ существуютъ не двѣ только разновидности: человѣкъ-начальникъ и человѣкъ-бунтовщикъ, но есть еще средній человѣкъ, трудящійся и скромный,—человѣкъ, который предпочитаетъ спокойствіе безпокойству, свободу стѣсненію, потому что видитъ въ спокойствіи и свободѣ единственную ограду своей личности и своего труда. Вотъ этого-то средняго человѣка и не слѣдуетъ тревожить.

— Даже если онъ принадлежитъ къ числу сочувствователей?

— Умоляю тебя, не говори неопрятныхъ словъ! «Сочувствователь»—это одна изъ самыхъ пакостныхъ кличекъ, какихъ множество сочинено въ послѣднее время и начертано на стѣнахъ ретирадныхъ мѣстъ. Она придумана съ тѣмъ, чтобы клеймить людей, не совсѣмъ утратившихъ чувство человѣчности, и это придаетъ ей еще болѣе отвратительный смыслъ. Къ счастью для человѣчества, на свѣтѣ больше добрыхъ людей, нежели злыхъ, больше чистыхъ сердцемъ, нежели змѣеподобныхъ ретирадниковъ. Но какъ ты думаешь однако-жъ, весело ли этимъ людямъ видѣть, какъ на нихъ перстами указываютъ?

— C'est la fatalité, mon oncle, вотъ все, что могу вамъ на это сказать.

— Подумай однако-жъ! какое можетъ быть преуспѣянье, когда ты объ томъ только мечтаешь, какъ бы хорошенько испугать? какая можетъ быть производительность, когда «средній человѣкъ» (онъ же и несомнѣнно-производительный) будетъ ежемгновенно видѣть передъ собою тебя, мелькающаго, сверкающаго, помахивающаго, потрясающаго...

— И оглашающаго стогны непечатными словами. Я знаю это, mon oncle! знаю наизусть, но и за всѣмъ тѣмъ остаюсь при своихъ убѣжденіяхъ...

— Выражающихся въ одномъ словѣ: «подтянуть»—помилуй! развѣ это убѣжденіе?

— Ну, тамъ какъ хотите, а я знаю, что у меня есть убѣжденія, и знаю, въ чемъ они состоятъ. И, повѣрьте, не ошибусь.

— Эй, Ѳедя, не ошибись! Не вѣчно вѣдь будутъ проповѣдывать, что крестьянская реформа есть источникъ всѣхъ золъ, что судъ присяжныхъ—злонамѣренная комедія, что свободная печать—вертепъ мошенниковъ пера, что человѣчность равна сочувствію... Нынче это, конечно, въ модѣ, но завтра, быть-можетъ, и выйдетъ изъ моды.

— А ежели ошибусь, такъ и отвѣчу. Нынче мы всѣ такъ настроены. Согласитесь, что иначе не было бы конца ерундѣ. А ерунда всего опаснѣе, и надо во что бы то ни стало выбраться изъ нея. Согласны?

— Согласенъ, что въ ерундѣ мало хорошаго; но знаешь ли, по совѣсти говоря, у меня сердце все-таки больше лежитъ къ ерундѣ, нежели къ неуклонному шествію.

— У всякаго свой вкусъ. Однако-жъ я съ вами забол-

тался, mon oncle. Семь часовъ, пора и за работу. До свиданія; надѣюсь, что вы на меня не въ претензіи?

— Помилуй, дружокъ, за что! Вотъ ты на меня... ахъ, да скажи же, пожалуйста, какъ maman? давно ты не получалъ отъ нея писемъ?

— Вчера получилъ. Пишетъ, что здорова и собирается сюда.

— Вотъ какъ!

— Да; но, признаюсь, я все еще сомнѣваюсь. Боюсь, какъ бы она, вмѣсто Петербурга, не очутилась въ странѣ зулусовъ, въ качествѣ сестры милосердія при принцѣ Наполеонѣ *). Во всякомъ случаѣ, ежели она пріѣдетъ—мы ваши гости, mon oncle, A bientôt et sans rancune.

Съ этими словами онъ пожалъ мнѣ руку и побрелъ вдоль по аллеѣ къ выходу.

Первое іюля.

Почти весь іюнь я посвятилъ семейнымъ радостямъ.

Это было утромъ; часовъ около двухъ раздался звонокъ.

Выхожу; вижу—въ гостиной расположилась дамочка. Маленькая, но уже слегка отяжелѣвшая, рыхлая, съ мягкими, начинающими расплываться, чертами лица, съ смѣющимися глазками, съ пышно-взбитымъ бѣлокурымъ ореоломъ вокругъ головки. Но сколько было намотано на ней всякихъ дорогихъ ветошекъ—это ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать. Вѣроятно, она не меньше трехъ часовъ охорашивалась передъ цѣлымъ сочетаніемъ зеркалъ, прежде, нежели явиться во всеоружіи. При моемъ появленіи дамочка устремилась ко мнѣ, но, видя, что я ее не узнаю, остановилась въ горестномъ недоумѣніи.

— Cousin! Стало-быть, я очень подурнѣла, если ты меня не узнаёшь!—вылетѣло горестное восклицаніе изъ ея крѣпко схваченной корсетомъ груди.

И въ одинъ мигъ двѣ крошечныя слезки затуманили крошечные глазки.

Да, это была Nathalie. Все та же маленькая, съ тѣмъ же вопрошающимъ и какъ бы изумленнымъ личикомъ, съ тѣми же порывистыми, почти необъяснимыми тѣлодвиженіями. Та же, да не та. Что же однако случилось съ нею? Точно кто-нибудь, проходя мимо этой, еще не такъ давно тому

*) Тогда принцъ Наполеонъ былъ еще живъ и воевалъ.

назадъ свѣже-нарисованной картинки, неосторожно задѣлъ рукавомъ и слегка затушевалъ мягкія очертанія.

— Nathalie! голубушка моя! Ну, разумѣется... разумѣется, это ты!—воскликнулъ я въ умиленіи:—но какъ ты могла подумать, что подурнѣла! Подурнѣла... ты!

Двѣ новыя слезинки блеснули въ крошечныхъ глазкахъ, но это были ужъ слезки радости.

— Не только не подурнѣла,—продолжалъ я:—но даже удивительно какъ похорошѣла! Пополнѣла, выраженіе какое-то пріобрѣла... Ахъ, милая, милая! наконецъ!

Она жадно вслушивалась въ мои похвалы и, вся переполненная счастіемъ, крѣпко сжимала мою руку.

— А помнишь, cousin, какъ мы однажды заблудились въ саду, въ куртинѣ? Какой ты былъ тогда... дурной!—вдругъ совсѣмъ неожиданно вспомнила она и—о, неисповѣдимыя глубины женскаго сердца!—кажется, даже застыдилась.

Это произошло ровно тридцать два года тому назадъ. Ей было съ небольшимъ пятнадцать лѣтъ (почти невѣста), мнѣ—двадцать три года. Въ то время я былъ ужаснѣйшій сорви-голова — просто, какъ говорится, ничего святого. Увижу хорошенькую дамочку или дѣвочку—и сейчасъ же чувствую, какъ все внутри у меня поетъ: rien n'est sacré pour un sapeurrrrre! Я помню, я гостилъ у tante Babette (такъ звали Наташину maman, тоже куколку); однажды, гуляя съ Наташей по дорожкамъ сада, мы бѣгали, перегоняли другъ друга и, бѣгая и перегоняясь, все забирали влѣво да влѣво. И вдругъ очутились Богъ знаетъ гдѣ, въ совсѣмъ дикомъ мѣстѣ, среди четырехъ кустовъ.

— Гдѣ мы?—спросила Наташа, взволнованная.

Я помню: я обнялъ ее, поцѣловалъ, погладилъ по головкѣ и... вывелъ на правый путь! Однако весь остальной день послѣ этого Наташа ходила нѣсколько томная и удивительно-удивительно нѣжная...

Я думалъ, что она давно объ этомъ забыла, какъ забылъ и я самъ, а оказывается, что она помнила, всегда помнила. И не только помнила, но хранила секретъ, не говорила ни maman, ни мужу, штабсъ-ротмистру Неугодову. О, благодарное женское сердце! Только ты можешь съ такимъ благоговѣйнымъ упорствомъ хранить память о заблужденіи среди четырехъ кустовъ!

И теперь, какъ тогда, я обнялъ ее, поцѣловалъ и погладилъ по головкѣ—все какъ тогда. И, обнимая, чувство-

валъ, какъ на моей груди чуть слышно поскрипываетъ ея корсетъ...

— Милая, милая!—повторялъ я въ восхищеніи: — о, если бы!..

Я хотѣлъ сказать: о, если бы мнѣ не было пятидесяти пяти лѣтъ! но вспомнилъ, что ежели изъ пятидесяти пяти вычесть восемь, то это все-таки составитъ ровно сорокъ семь лѣтъ—возрастъ очень и очень не маленькій—и замолчалъ.

— У кого ты заказываешь корсеты?—спросилъ я ее.

— У Lavertujon, Paris, rue... N...—заспѣшила она:—а что?

— Изумительный!

— Ахъ, ты не можешь себѣ представить, какіе это корсеты! Я совсѣмъ-совсѣмъ не чувствую, есть ли на мнѣ корсетъ или нѣтъ!

— Изумительно! но все-таки скажу: охота вамъ, такимъ «душкамъ», кирасирскіе доспѣхи на себя надѣвать!

— А ты все такой же дурной, какъ тогда... помнишь?

Она опять застыдилась и погрозила мнѣ пальчикомъ. Я не выдержалъ, поймалъ этотъ пальчикъ и поцѣловалъ... Душка-пальчикъ! плутишка-пальчикъ!

Я вспомнилъ окончательно... все какъ было. Вспомнилъ и смотрѣлъ на нее съ восхищеніемъ. Да, это она, это моя «куколка», несмотря на то, что пополнѣла и налилась больше чѣмъ нужно, чтобы быть à point. Она никогда и не переставала быть куколкой, а только постепенно зрѣла и наконецъ совсѣмъ поспѣла, сдѣлалась куколкой вполнѣ сформировавшеюся, способной переносить вояжи и даже нѣкоторыя—конечно, небольшія—огорченія. Въ послѣдній разъ, какъ мы видѣлись, въ ней все еще замѣчались признаки чего-то несовершеннаго, сдѣланнаго на живую нитку. Но теперь ничего подобнаго уже не было: нитки отъ времени заплыли, все уставилось на своемъ мѣстѣ, улеглось. Вышла куколка на диво, съ отвѣтомъ безъ починки на сколько угодно лѣтъ.

И что всего пріятнѣе — у этихъ куколокъ всегда всѣ принадлежности въ уменьшительномъ. Нѣтъ ни руки, ни ноги, ни носа, ни рта, а ручка, ножка, носикъ, ротикъ. Это дѣлаетъ рѣчь чрезвычайно учтивою. И притомъ: ручка-душка, ножка-плутишка, носикъ-цыпка, ротикъ-розанчикъ. А грудка—такъ это даже сказать нельзя, что это такое! Точь-въ-точь малюсенькое гнѣздышко, въ которомъ сидятъ два бѣленькихъ голубочка и тихонько подъ корсетомъ трепещутся! Ахъ!

— А помнишь, Наташа,—воскликнулъ я:—какъ, бывало, твой Simon возьметъ тебя въ охабку и унесетъ невѣдомо куда?.. Знаешь ли, вѣдь это было отчасти даже скандально!

— Ахъ, не вспоминай... Я такъ была тогда счастлива!

И опять двѣ слезки.

— А ты какъ?—спохватилась она: — все такой же... дурной?

Очевидно, что лексиконъ ея былъ неразнообразенъ. Но и это опять-таки мило. Она знаетъ, что она — куколка, и что les messieurs любятъ куколокъ совсѣмъ не за лексиконъ. Они любятъ, потому что они... дурные. Это слово запало въ ея голову, и она повторяетъ его, какъ повторяла и ея куколка-maman. Они дурные, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, они и милые, хотя объ этомъ не принято говорить, а можно только по секрету думать. И maman ея по секрету такъ думала и въ доказательство, что les messieurs бываютъ и милые, большая куколка произвела на свѣтъ маленькую куколку. Дурные и милые, — весь кругъ ея мыслей тутъ, а въ то же время и весь лексиконъ. Ужели это не трогательно?

— Ну, что обо мнѣ говорить!—отвѣтилъ я: — нѣтъ, ты лучше вотъ что скажи: гдѣ ты это платьице шила?

— У Worth... я всегда у него весь туалетъ дѣлаю. Ахъ, онъ такой милый! Et gentleman — jusqu'au bout des ongles! Когда онъ снимаетъ мѣрку, я всегда хохочу. А тебѣ нравится это платье?

Она инстинктивно встала, подошла къ зеркалу, посмотрѣлась спереди, отошла, потомъ повернулась, опять отошла, оглянулась и поправила сзади складочку.

— Не правда ли, хорошо?

— Восхитительно!

— И что ужасно пріятно: я почти совсѣмъ не чувствую, что я одѣта. А впрочемъ, это достается не легко, потому что онъ (Worth) ужасно какъ строгъ! Когда онъ снимаетъ мѣрку или примѣриваетъ—это цѣлый урокъ... Онъ командуетъ, à la lettre командуетъ. Представь себѣ, не позволяетъ дышать: ««tâchez de ne plus respirer... parfaitement! oui, c'est ça!» Приказываетъ принимать всевозможныя позы: mélancholique, suppliante, impérieuse... заставляетъ поднимать руки... И это иногда безъ рукавовъ!

— Ахъ!

— Да, и мнѣ ужасно было въ первый разъ страшно. Но потомъ привыкла—и ничего!

— Ну, а перчатки гдѣ берешь?

— Перчатки—у Boivin, шляпки—у Coralie. Ну, посмотри: развѣ можно сказать, что это—шляпка?

Она опять подошла къ зеркалу и повернулась передъ нимъ.

— Какая это шляпка! Это—воздушное безѣ! Это «шпанскіе вѣтры»... Помнишь, у насъ былъ поваръ Кузьма—какъ онъ отлично «шпанскіе вѣтры» приготовлялъ!

– Ахъ, Simon такъ любилъ это пирожное!

– И это пирожное, и тебя...

— Нѣтъ, онъ любилъ еще Милэди! помнишь, у насъ рыженькая лошадка была, еще я верхомъ на ней всегда ѣздила? Еще однажды я такъ неловко свалилась?

— Помню, помню! Стало-быть, три вещи Simon любилъ: «шпанскіе вѣтры», кобылку и тебя. Все вмѣстѣ это составляетъ ваши семейные les pieux souvenirs! Но ножки твои, Наташа? Я непремѣнно хочу твою ножку видѣть!

Она слегка сжалась, молвила:—Ахъ, ты все такой же... дурной! — но ножку все-таки показала... Ахъ, это была ножка!!

— Прелесть! — воскликнулъ я отъ глубины души: — и какъ обута—восхищенье!

— Да, но это ужъ не въ Парижѣ,—замѣтила она очень серьезно:—туфли и ботинки мнѣ Теодоръ отсюда присылалъ, отъ Auclair.

— Вотъ какъ! Что-жъ, впрочемъ, это и резонно. Я и самъ: вино отъ Рауля беру, но балыки... о, балыки непремѣнно надо въ Москвѣ на монетномъ дворѣ покупать... янтарь!

Упоминовеніе о балыкѣ, повидимому, подѣйствовало на нее возбудительно, потому что она инстинктивно потерла ручкой корсетъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ даже у куколокъ предполагается желудочекъ. Куколка куколкой, а покушать тоже хочется.

— Покушать захотѣлось?—спросилъ я:—пожалуйста, не церемонься! приказывай!

— Да... крылышко... если можно!—прошептала она стыдливо.

— Зачѣмъ крылышко? котлеточку? бифштекцу?

Я поспѣшно распорядился, и черезъ полчаса мы уже сидѣли за столомъ.

— Наташа! какъ тебѣ угодно, а я сяду поближе, ух-

дышкомъ. Помнишь, какъ въ тотъ день? Утромъ мы заблудились, а за обѣдомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, сидѣли рядышкомъ.

— И ты... ахъ, какой ты тогда былъ!

— Сорви-голова? Гм!.. я и теперь... А впрочемъ, нѣтъ— что̀ ужъ теперь. Самая малость во мнѣ теперь осталась, да и то больше въ родѣ какъ напоминаніе...

— Ахъ, бѣдненькій!

— Да, но тогда... тогда я дѣйствительно... Большихъ усилій мнѣ сто̀ило, чтобъ вывести тебя... на правый путь. Ахъ, какія это были минуты!

Наташа глубоко-глубоко вздохнула, потомъ вдругъ приподнялась и поцѣловала меня въ лобъ.

— Это тебѣ за то, что ты помнишь... дурной!

— Не только это помню, но даже и еще многое вспомнилъ. Помнишь, въ тотъ день у васъ за обѣдомъ подавали супъ-разсольникъ изъ цыплятъ, а maman положила тебѣ въ тарелку пупочекъ?

— Ахъ, я обожала пупочки!

— Да, ты любила ихъ, но, несмотря на это, зная, что я тоже люблю пупочки, и повинуясь влеченію сердца, ты взяла и переложила пупочекъ въ мою тарелку... Я никогда, никогда этого не забуду!

— Но знаешь ли ты, что maman замѣтила это и послѣ обѣда ужасно меня забранила?

— Ужели? и ты скрыла отъ меня это!

— Зачѣмъ говорить! Я знала, что это тебя огорчитъ.

— Изъ-за меня пострадала? Нѣтъ, воля твоя, а я не могу. Я еще разъ поцѣлую тебя за это!

И поцѣловалъ.

Такимъ образомъ пролетѣло полчаса; но къ концу этого срока les pieux souvenirs начали истощаться. Истощались, истощались и вдругъ совсѣмъ изсякли. Былъ даже такой страшный моментъ, когда мнѣ показалось, что я зѣвнулъ. Къ счастію, Наташа не замѣтила моей невѣжливости, потому что она въ это время отвернулась... тоже чтобы зѣвнуть. Но вдругъ она оживилась.

— А вѣдь я объ чемъ-то собиралась тебя попросить... ахъ, какая я глупенькая! объ главномъ-то чуть-чуть не позабыла! Ты Филоѳея Иваныча помнишь?.. ахъ, ну, да того самаго Филоѳея Иваныча, который при Теодорѣ былъ воспитателемъ?

— Длинный такой?

— Совсѣмъ онъ ужъ не такой длинный... Ты всегда, cousin, преувеличиваешь! Конечно, у него ростъ...

— Ну, словомъ сказать, того, съ которымъ покойный Simon однажды распорядился...

— И это ты преувеличиваешь: совсѣмъ это не такъ было. Конечно, Филоѳей Иванычъ былъ тогда дурной, а я ничего не понимала и пожаловалась... Впрочемъ, Simon былъ всегда къ нему несправедливъ... Ah! les hommes sont si méchants!

Она остановилась, и на этотъ разъ ужъ не двѣ, а ровно четыре слезинки выкатились изъ ея глазокъ.

— Ну, не огорчайся, душа моя, вѣдь я пошутилъ!— постарался я утѣшить ее:—говори же, что нужно тебѣ для Филоѳея Иваныча?

— Ты знаешь, какъ много наше семейство ему обязано. Даже Simon—и тотъ отдавалъ ему справедливость. Такъ что ежели Теодоръ имѣетъ христіанскія правила, то это именно благодаря ему.

— Ну-съ, такъ чѣмъ же я могу быть ему полезнымъ?

— Нельзя ли, голубчикъ, какъ-нибудь устроить его при вашей литературѣ!

— Какъ это—при литературѣ?

— Ну, да, мѣсто какое-нибудь... ты это можешь, cousin! Онъ говорилъ мнѣ, что ты все, все можешь!

— Развѣ онъ пишетъ?

— Ахъ, онъ ужасно пишетъ! онъ цѣлый день, цѣлый день пишетъ! и даже одинъ самъ съ собою декламируетъ! Нѣкоторое онъ и мнѣ читалъ... Право, нисколько не хуже «Бѣдной Лизы»... Голубчикъ, прочти!

При этой просьбѣ les pieux souvenirs окончательно исчезли. Мнѣ вдругъ показалось, что я очутился въ какомъ-то темномъ складѣ, гдѣ грудами навалены куколки, куколки, куколки безъ конца. Отличныя куколки, лучшія въ своемъ родѣ. Одѣты—прелесть; ручки, ножки, личики, грудки—восторгъ; даже звуки какіе-то издаютъ, дѣлаютъ нѣкоторыя несложныя движенія головкой, глазками. Словомъ сказать, любую изъ нихъ посадилъ бы въ гостиную и любовался бы, какъ она глазки заводитъ. И вдругъ одна изъ куколокъ встаетъ и говоритъ:—Покажите, пожалуйста, какъ мнѣ пройти въ литературу! это я не для себя прошу... фи! а для Филоѳея Иваныча!—И при этомъ начинаетъ лепетать:—«Бѣдная Лиза», «Марьина Роща», «Сарепта», «Вадимъ»...—Куколка, куколка! да вѣдь ты

назадъ свѣже-нарисованной картинки, неосторожно задѣлъ рукавомъ и слегка затушевалъ мягкія очертанія.

— Nathalie! голубушка моя! Ну, разумѣется... разумѣется, это ты!—воскликнулъ я въ умиленіи:—но какъ ты могла подумать, что подурнѣла! Подурнѣла... ты!

Двѣ новыя слезинки блеснули въ крошечныхъ глазкахъ, но это были ужъ слезки радости.

— Не только не подурнѣла,—продолжалъ я:—но даже удивительно какъ похорошѣла! Пополнѣла, выраженіе какое-то пріобрѣла... Ахъ, милая, милая! наконецъ!

Она жадно вслушивалась въ мои похвалы и, вся переполненная счастіемъ, крѣпко сжимала мою руку.

— А помнишь, cousin, какъ мы однажды заблудились въ саду, въ куртинѣ? Какой ты былъ тогда... дурной!—вдругъ совсѣмъ неожиданно вспомнила она и—о, неисповѣдимыя глубины женскаго сердца!—кажется, даже застыдилась.

Это произошло ровно тридцать два года тому назадъ. Ей было съ небольшимъ пятнадцать лѣтъ (почти невѣста), мнѣ—двадцать три года. Въ то время я былъ ужаснѣйшій сорви-голова — просто, какъ говорится, ничего святого. Увижу хорошенькую дамочку или дѣвочку—и сейчасъ же чувствую, какъ все внутри у меня поетъ: rien n'est sacré pour un sapeurrrrre! Я помню, я гостилъ у tante Babette (такъ звали Наташину maman, тоже куколку); однажды, гуляя съ Наташей по дорожкамъ сада, мы бѣгали, перегоняли другъ друга и, бѣгая и перегоняясь, все забирали влѣво да влѣво. И вдругъ очутились Богъ знаетъ гдѣ, въ совсѣмъ дикомъ мѣстѣ, среди четырехъ кустовъ.

— Гдѣ мы?—спросила Наташа, взволнованная.

Я помню: я обнялъ ее, поцѣловалъ, погладилъ по головкѣ и... вывелъ на правый путь! Однако весь остальной день послѣ этого Наташа ходила нѣсколько томная и удивительно-удивительно нѣжная...

Я думалъ, что она давно объ этомъ забыла, какъ забылъ и я самъ, а оказывается, что она помнила, всегда помнила. И не только помнила, но хранила секретъ, не говорила ни maman, ни мужу, штабсъ-ротмистру Неугодову. О, благодарное женское сердце! Только ты можешь съ такимъ благоговѣйнымъ упорствомъ хранить память о заблужденіи среди четырехъ кустовъ!

И теперь, какъ тогда, я обнялъ ее, поцѣловалъ и погладилъ по головкѣ—все какъ тогда. И, обнимая, чувство-

валъ, какъ на моей груди чуть слышно поскрипываетъ ея корсетъ...

— Милая, милая!—повторялъ я въ восхищеніи: — о, если бы!..

Я хотѣлъ сказать: о, если бы мнѣ не было пятидесяти пяти лѣтъ! но вспомнилъ, что ежели изъ пятидесяти пяти вычесть восемь, то это все-таки составитъ ровно сорокъ семь лѣтъ—возрастъ очень и очень не маленькій—и замолчалъ.

— У кого ты заказываешь корсеты?—спросилъ я ее.

— У Lavertujon, Paris, rue... N...—заспѣшила она:—а что?

— Изумительный!

— Ахъ, ты не можешь себѣ представить, какіе это корсеты! Я совсѣмъ-совсѣмъ не чувствую, есть ли на мнѣ корсетъ или нѣтъ!

— Изумительно! но все-таки скажу: охота вамъ, такимъ «душкамъ», кирасирскіе доспѣхи на себя надѣвать!

— А ты все такой же дурной, какъ тогда... помнишь?

Она опять застыдилась и погрозила мнѣ пальчикомъ. Я не выдержалъ, поймалъ этотъ пальчикъ и поцѣловалъ... Душка-пальчикъ! плутишка-пальчикъ!

Я вспомнилъ окончательно... все какъ было. Вспомнилъ и смотрѣлъ на нее съ восхищеніемъ. Да, это она, это моя «куколка», несмотря на то, что пополнѣла и налилась больше чѣмъ нужно, чтобы быть à point. Она никогда и не переставала быть куколкой, а только постепенно зрѣла и наконецъ совсѣмъ поспѣла, сдѣлалась куколкой вполнѣ сформировавшеюся, способной переносить вояжи и даже нѣкоторыя—конечно, небольшія—огорченія. Въ послѣдній разъ, какъ мы видѣлись, въ ней все еще замѣчались признаки чего-то несовершеннаго, сдѣланнаго на живую нитку. Но теперь ничего подобнаго уже не было: нитки отъ времени заплыли, все уставилось на своемъ мѣстѣ, улеглось. Вышла куколка на диво, съ отвѣтомъ безъ починки на сколько угодно лѣтъ.

И что всего пріятнѣе — у этихъ куколокъ всегда всѣ принадлежности въ уменьшительномъ. Нѣтъ ни руки, ни ноги, ни носа, ни рта, а ручка, ножка, носикъ, ротикъ. Это дѣлаетъ рѣчь чрезвычайно учтивою. И притомъ: ручка-душка, ножка-плутишка, носикъ-цыпка, ротикъ-розанчикъ. А грудка—такъ это даже сказать нельзя, что это такое! Точь-въ-точь малюсенькое гнѣздышко, въ которомъ сидятъ два бѣленькихъ голубочка и тихонько подъ корсетомъ трепещутся! Ахъ!

— Я, cousin, все пѣла. Однажды я даже парижьену пѣла въ честь герцога Омальскаго.

— Прекрасно; такъ и надо. Любезность—прежде всего. Впрочемъ, что-жъ мы о пустякахъ болтаемъ; скажи-ка лучше, довольна ли ты Теодоромъ?

— Я—счастливѣйшая изъ матерей. Теодоръ—сокровище! Представь себѣ, отдалъ мнѣ свою комнату, а самъ съ Филоѳеемъ Иванычемъ расположился на бивакахъ въ кабинетѣ. Но знаешь ли что? мнѣ кажется, онъ черезчуръ ужъ усерденъ. Все докладываетъ, безпрестанно, съ утра до глубокой ночи все докладываетъ. Утромъ, часовъ въ десять, придетъ ко мнѣ, пока я еще въ постели, я его благословлю, и исчезнетъ на цѣлый день.

— Зато и превознесенъ будетъ.

— Да, онъ пойдетъ; кажется, это одно его и поддерживаетъ. Филоѳей Иванычъ такъ объ немъ выразился: «Хотя нынѣ для Ѳедора Семеныча и не безъ труда, но зато сколь сладко будетъ впослѣдствіи держать въ своихъ рукахъ судьбы возлюбленнаго отечества!» Вотъ какъ Филоѳей Иванычъ говоритъ! и точно такъ пишетъ.

— Прекрасно.

— Очень рада, что тебѣ понравилось, потому что отъ тебя теперь все зависитъ. А какъ онъ читаетъ! Особливо описанія какія-нибудь: вѣтеръ, бурю — все такъ и слышишь! Ахъ, только бы ты ему жалованье поскорѣе назначилъ!

— Постараюсь, мой другъ, Да что ты все объ Филоѳеѣ Иванычѣ! тебѣ-то у насъ скучно — вотъ что меня безпокоитъ!

— Нѣтъ, я не скучаю. Отъ тебя къ Auclair поѣду, отъ Auclair къ Andrieux, потомъ еще куда-нибудь. А вечеромъ Теодоръ обѣщалъ насъ въ Зоологическій садъ свозить, ежели успѣетъ отдѣлаться.

— А вчера что дѣлали?

— Вчера отдыхали. Утромъ я все спала, а вечеромъ купили картъ и съ Филоѳеемъ Иванычемъ въ вистъ съ двумя болванами играли. Только считать ужасно трудно!

— Еще бы! Но ты не церемонься! ежели скучно, то пріѣзжай ко мнѣ, а не то такъ и просто пришли за мной. Я и въ Демидовъ садъ, и въ Ливадію, и на Крестовскій... Только вотъ Филоѳей Иванычъ... неужто и онъ будетъ участникомъ нашихъ экскурсій? ну, зачѣмъ онъ намъ?

— Cousin! ты ужасно, ужасно, ужасно... дурной!

— То-есть, милый, хотѣла ты сказать?

— И дурной, и милый... Помнишь, тогда? А какъ меня maman забранила! Я цѣлыхъ три дня думала, что я... погибшая! Ну, такъ до свиданія: спѣшу къ Auclair! непремѣнно, непремѣнно за тобой пришлю! милый!

Она три раза поцѣловала меня и вдругъ—не могу даже представить себѣ, что̀ ей вообразилось—перекрестила меня и сказала: — Вотъ такъ! — потомъ вприпрыжку побѣжала по направленію къ передней и, не добѣжавъ, опять остановилась.

— Ахъ, да! и забыла... cousin, не можешь ли ты...

Сердце у меня такъ и похолодѣло: сейчасъ, думаю, денегъ попроситъ. Однако на этотъ разъ обошлось благополучно. Какъ истинная куколка, она постояла немного и, не досказавши начатаго, продолжала:

— Нѣтъ, впрочемъ, это когда-нибудь послѣ. Такъ до свиданія, голубчикъ!

И черезъ минуту она дѣйствительно спускалась по лѣстницѣ.

Цѣлыхъ двѣ недѣли послѣ этого я провелъ въ чаду безумныхъ удовольствій. По нѣскольку разъ перебывалъ и въ Демидронѣ, и въ Ливадіи, и на Крестовскомъ, и даже въ Баваріи. Но Ѳеденьку не видалъ ни разу. Повидимому, онъ былъ очень доволенъ, что свалилъ на меня обузу развлекать и увеселять Наташу и своего бывшаго воспитателя, и являлся домой только ночевать. Но мнѣ эти удовольствія стоили массу денегъ, издерживать которыя я, по родственному, обязывался безъ ропота.

Въ это же время я долженъ былъ возиться и съ Филоѳеемъ Дроздовымъ и выслушивать кроткія напоминанія Наташи относительно скорѣйшаго пріисканія ему мѣста въ литературѣ. Очень скоро весь чемоданъ произведеній Филоѳея Иваныча очутился у меня на квартирѣ. Тутъ были: и «Мысли у подножія памятника Минину и Пожарскому», и «Ночь съ милой въ лѣсу», романъ въ двухъ главахъ, и «Не стая вороновъ слеталась, или Ай да нигилисты!», водевиль въ двухъ дѣйствіяхъ. Разумѣется, ничего этого я не читалъ и не намѣренъ былъ читать, но Дроздовъ все таскалъ, все таскалъ и наконецъ совсѣмъ обратилъ мою квартиру въ свиной хлѣвъ.

Однимъ словомъ, никогда я такъ несносно, глупо-хлопотливо не проводилъ времени

И вотъ, однажды вечеромъ, когда мы втроемъ наслаждались въ Демидронѣ, Nathalie отвела меня въ сторону и сдѣлала странное признаніе.

— Cousin,—сказала она:—у меня есть секретъ, который я должна тебѣ сообщить.

— Ахъ, голубушка ты моя! куколка, да еще съ секретомъ,—вѣдь это прелесть!

— Нѣтъ, не шути этимъ! это секретъ... ахъ, это очень, очень важный секретъ!

— Въ чемъ же дѣло? скажи! не мучь!

— Я хочу...

Она остановилась и крѣпко сжала мою руку, на которую опиралась, словно требуя, чтобы я, сильный человѣкъ, защитилъ ее, слабенькую куколку, противъ нея самой.

— ... выйти замужъ,—прошептала она наконецъ, потупляя глазки.

Я думалъ, что я сплю. Не знаю почему, но среди цѣлой массы предположеній о путяхъ, коими Провидѣніе ведетъ куколокъ, именно одно это не приходило мнѣ въ голову.

— За кого? — спросилъ я однако-жъ.

Она вздрогнула и показала глазами на Дроздова, который въ эту самую минуту всѣмъ своимъ рыломъ такъ и впился въ дѣвицу Филиппо.

— Феденька знаетъ объ этомъ?

— Нѣтъ покуда... Впрочемъ, я и не спѣшу ему объявить. Знаешь ли, мнѣ кажется, что онъ противъ этого брака?

— И мнѣ тоже кажется.

— Но вѣдь я—мать! Я знаю, что дѣти должны почитать своихъ родителей. Наконецъ, я не обязана сыну отчетомъ. И ежели понадобится, то знаю, какъ поступить.

— Неужели ты захочешь скандала?

— Ахъ, нѣтъ! какой ты! Я просто попрошу, чтобъ его посадили въ смирительный домъ, покуда онъ не раскается.

Я взглянулъ на нее, думая, не прочту ли что-нибудь на ея лицѣ. И что-жъ!—ничего! куколка, ну просто куколка—и ничего больше.

— Чѣмъ же вы будете жить?

— Мы разсчитываемъ на тебя, cousin. Когда ты все прочитаешь, что Филоѳей Иванычъ тебѣ передалъ, и положишь ему жалованье, мы наймемъ маленькую квартирку и совьемъ тамъ себѣ гнѣздышко.

Во второй разъ я подумалъ, что сплю. Со страхомъ, почти съ ужасомъ смотрѣлъ я на неё, а она между тѣмъ продолжала:

— Я знаю, что ты очень большого жалованья на первый разъ дать не можешь—мы и не ждемъ этого. Но тысячи двѣ-три... пожалуйста, три! Подумай, какъ мнѣ будетъ трудно! Ахъ, я ничего, ничего не умѣю! Никогда я не занималась этимъ, а теперь надо будетъ вездѣ самой. И заказать обѣдъ, et les provisions, et la viande, et la blanchisseuse, et les frotteurs... enfin, tout, tout, tout! Конечно, Филоѳей Ивановичъ будетъ меня руководить, но все-таки представь: вездѣ сама!

Я молчалъ въ нѣмомъ изумленіи, а она все ворковала, перескакивая отъ одной хозяйственной статьи къ другой. И наконецъ заключила:

— Теперь ты понимаешь, почему я такъ тороплю тебя насчетъ жалованья. Ахъ, это такъ насъ устроитъ!

Такимъ образомъ къ прежней массѣ пустяковъ прибавились еще новые. Но пустяки имѣютъ ужасную силу, особливо родственные. Возвратившись домой, я чуть не растопталъ «Ночь съ милой въ лѣсу» и положительно до бѣлаго дня проворочался съ боку на бокъ, передумывая, предупредить ли Ѳеденьку, или не предупреждать.

Наконецъ я рѣшилъ предупредить. Можетъ-быть, думалось мнѣ, какъ-нибудь и обойдется. Онъ объяснится, убѣдитъ, найдетъ средство устранить Филоѳея... Всплакнетъ куколка, выронитъ двѣ слезки, ну, четыре, ну, шесть — и все пройдетъ.

Руководясь этими мыслями, я отправился въ одиннадцать часовъ утра въ то мѣсто, гдѣ онъ обыкновенно докладываетъ. Онъ былъ уже тамъ и сейчасъ же вышелъ ко мнѣ, нѣсколько изнуренный непосильнымъ трудомъ, но не побѣжденный и нимало не унывающій. Въ короткихъ словахъ я объяснилъ ему суть вчерашняго разговора съ Наташей.

— Я давно это угадывалъ,— сказалъ этотъ, получившій христіанскія правила, молодой человѣкъ, нимало не смутившись моимъ разсказомъ.

— Но что же ты предполагаешь дѣлать?

— Ровно ничего. Если это устраиваетъ maman... съ Богомъ!..

— Однако чѣмъ же они будутъ жить?

— Они все разсчитываютъ на какое-то жалованье, которое будто бы вы имъ обѣщали...

— Да вѣдь это наконецъ сказки! вѣдь это волшебное представленіе, какое-то!

— Я ничего не знаю и ни во что вмѣшиваться не желаю. J'en ai jusqu'ici (онъ рѣзнулъ себя ладонью по горлу)! Я даже не понимаю, какъ я могу дѣлами заниматься среди этого хаоса.

— Вполнѣ раздѣляю твои затрудненія, но все-таки не понимаю, почему ты не хочешь вмѣшаться въ это дѣло. Согласись, что оно слишкомъ близко касается тебя, и что ежели Наташа въ самомъ дѣлѣ выполнитъ свой нелѣпый проектъ...

— Ну, нѣтъ-съ, это не такъ-съ. Покуда maman носитъ имя моего отца, я, конечно, обязанъ... Вы, впрочемъ, сами знаете, сколько жертвъ я принесъ и даже теперь, въ настоящее время, приношу... Но разъ, что она сдѣлала une mésalliance—это ужъ особая статья! Какъ ей угодно, но я тутъ ни при чемъ!

— Но отчего бы тебѣ не устроить этого дѣла тихимъ манеромъ? Ты очень хорошо понимаешь, что всѣ эти надежды на жалованье, которое будто бы я могу назначить Дроздову,—все это миражъ... Но ты—вѣдь ты можешь! Отчего бы тебѣ не пристроить Филоѳея? Ежели тебѣ кажется не совсѣмъ ловкимъ выпросить для него что-нибудь въ Петербургѣ, то можно бы сплавить въ провинцію...

— Человѣка, который сочиняетъ «Ночь съ милой въ лѣсу»—благодарю покорно!

— Можно будетъ его уговорить, чтобъ онъ пересталъ. Право, мой другъ, въ провинцію? а?

— Представьте себѣ, не могу!

— Да почему же?

— Во-первыхъ, потому, что я далъ себѣ слово никогда ни за кого не просить (мнѣ самому объ себѣ въ пору хлопотать, — прибавилъ онъ въ скобкахъ), а во-вторыхъ, знаете ли вы, какія у него претензіи? двѣ-три тысячи! и притомъ скорѣе три, нежели двѣ! Вѣдь такіе оклады въ провинціи получаетъ ужъ, такъ сказать, начальство! Это Дроздовъ-то — начальникъ!

Однимъ словомъ, какъ я ни убѣждалъ, Ѳеденька пребылъ непреклоненъ. Затѣмъ мнѣ ничего другого не оставалось, какъ пустить это дѣло на волю судебъ.

И дѣйствительно, развязка не заставила себя долго ждать.

Дни проходили за днями, и Nathalie начала уже показывать признаки нѣкоторой раздражительности по случаю

моей медленности. Мало-по-малу сталъ похаживать ко мнѣ и Филоѳей Дроздовъ, сначала просто «посидѣть», а потомъ и «за справочками». Во время этихъ собесѣдованій мнѣ удалось наконецъ понять, что его не столько соблазняетъ авторская слава съ ея скудными матеріальными прерогативами, сколько карьера редактора.

— Наслышанъ я,—говорилъ онъ:—будто бы нынѣ многіе издатели нуждаются въ редакторахъ, и будто бы таковымъ мѣстамъ присвоивается приличествующее содержаніе. Такъ вотъ если бы вы походатайствовали...

Онъ мгновенно взвивался во весь ростъ и мгновенно же преломлялся пополамъ, касаясь рукой до земли.

— Помилуйте, Филоѳей Иванычъ! передъ кѣмъ же я буду ходатайствовать?—пробовалъ я возражать.

— Передъ подлежащими лицами, всеконечно. Нынѣ благонадежныя лица рѣдки, потребность же въ таковыхъ ощущается... А я бы, въ случаѣ надобности, и прикрыть кой-что могъ. Въ журналѣ или газетѣ, напримѣръ. Иное что-нибудь и вольненко написано, но коль скоро высшему начальству извѣстно, что редакторъ — здраваго ума человѣкъ, то оно и на вольныя прегрѣшенія, яко на невольныя, благомилостивымъ окомъ взглянетъ.

— Конечно, это хорошо. Но все-таки надо, чтобъ гдѣ-нибудь требовался вольнонаемный редакторъ, а я такихъ случаевъ не предвижу.

— Стало-быть, не предвидите-съ?

— Да, не предвижу.

— Ну, а относительно произведеній моихъ—какъ вы думаете, какую цѣну за нихъ можно получить?

Я долго уклонялся отъ положительнаго отвѣта, но наконецъ убѣдился, что надежда какъ-нибудь отмолчаться и ускользнуть есть миѳъ. И вотъ въ одно прекрасное утро я вынужденъ былъ открыть печальную истину.

Въ тотъ же день сундукъ съ произведеніями Дроздова исчезъ изъ моей квартиры, и затѣмъ дня три или четыре сряду ни онъ, ни Nathalie не заглянули ко мнѣ.

Я началъ уже понемножку успокоиваться, какъ вдругъ, въ самый Петровъ день — звонокъ. Сердце мое тревожно забилось: это она, это Nathalie! Она съ упрекомъ на устахъ,—она съ глазками, полными слезъ, она, не знающая, куда ей дѣвать этого длиннаго-длиннаго Филоѳея, который увязался за ея шлейфомъ и никакъ отцѣпиться не хочетъ!

Дѣйствительно, это была она, но — о, чудо! — не только не негодующая и не тоскующая, но опять та же милая, несравненная куколка, какою я видѣлъ ее при первомъ нашемъ свиданіи послѣ ея пріѣзда изъ-за границы. Только платьице другое надѣла, но, кажется, еще лучше, шикарнѣе прежняго.

Опять мы поцѣловались, и опять выступили на сцену les pieux souvenirs. Какъ мы заблудились, какъ она украдкой бросила мнѣ въ тарелку пупочекъ. Объ Филоѳеѣ ни полслова, какъ будто его на свѣтѣ не было. Даже желудочекъ опять ручкой потерла (плутовка замѣтила, что движеніе это понравилось мнѣ) и попросила покушать.

И вдругъ...

— Cousin, не можешь ли ты... ахъ, я вѣчно все перепутаю... не можешь ли ты на короткое время меня ссудить...

— Сколько тебѣ нужно?

— Вотъ видишь ли, нашъ курсъ началъ поправляться... и даже очень-очень поправился... Такъ мнѣ совѣтовали воспользоваться этимъ... тысячки двѣ—можно?

Скажите по совѣсти: можно ли было устоять противъ просьбы, выраженной въ такой прелестной формѣ? Но кромѣ того и еще: Nathalie хочетъ воспользоваться поправкой курса и только поэтому занимаетъ; но что, если она сообразитъ, что курсъ еще больше можетъ поправиться, да на этотъ случай еще тысячки двѣ накинетъ? Нѣтъ, лучше отдать прямо, по первому слову. Такъ я и поступилъ. Вспомнилъ, что у меня въ бюро лежатъ совсѣмъ ненужныя двѣ тысячи рублей, открылъ ящикъ и отсчиталъ деньги Наташѣ.

Но когда я все это выполнилъ—вообразите мой испугъ! Не успѣлъ я замкнуть бюро и повернуть лицо свое, чтобъ принять благодарно-родственный поцѣлуй, какъ въ комнатѣ уже не было никого. Въ одинъ мигъ Nathalie исчезла, словно растаяла въ воздухѣ...

На другой день утромъ я получилъ отъ Ѳеденьки письмо:

«Maman, возвратясь отъ васъ, сейчасъ же собралась и уѣхала за границу вмѣстѣ съ извѣстнымъ лицомъ. Не знаю, что изъ этого выйдетъ, но теперь я, по крайней мѣрѣ, заниматься свободно могу».

А вечеромъ—телеграмма:

«Остановилась на сутки въ Псковѣ. Счастлива. Великодушный другъ! благодарю. Nathalie Drozdoff».

Я не удержался, побѣжалъ къ Ѳеденькѣ и передалъ ему

телеграмму, въ особенности указавъ на то, что Наташа подписалась на ней уже Дроздовою.

— Ну, и прекрасно!—воскликнулъ онъ:—по крайней мѣрѣ теперь...

И, какъ молодой человѣкъ, обладающій христіанскими правилами, набожно перекрестился.

На другой день, 1-го іюля, я проснулся утромъ въ самомъ радостномъ настроеніи духа. Я всему былъ радъ: и тому, что мнѣ уже не придется ѣхать «гулять» съ родственниками, и тому, что мои двѣ тысячи косвеннымъ образомъ послужили для поддержанія основъ... Но больше всего тому, что въ теченіе цѣлаго іюня не случилось со мной никакой «внутренней политики».

Первое августа.

Послѣ родственной суматохи, которая преслѣдовала меня въ теченіе цѣлаго іюня, іюль прошелъ вяло, въ какомъ-то томительномъ отчужденіи. Тотъ, кто, подобно мнѣ, провелъ этотъ мѣсяцъ въ Петербургѣ, среди неусыпающихъ дождей и бодрствующихъ дворниковъ, тотъ пойметъ снѣдавшую меня тоску. Но я ужъ и тому былъ радъ, что и въ іюлѣ никакой внутренней политики не случилось... Слава Богу! слава Богу.

Говоря по совѣсти, я лично не имѣю никакихъ причинъ опасаться внутренней политики. Живу я просто, до того просто, что и прислуга, и швейцаръ, и дворники, не токмо за страхъ, но и за совѣсть, могутъ свидѣтельствовать о моей невинности; ремесломъ своимъ занимаюсь открыто; за хорошія дѣла—жду помилованія, за среднія—прошу не взыскать, за худыя — благодарю и пріемлю, и нимало вопреки глаголю. Травы не мну, рыбы не ловлю, птицъ не пугаю. Все это, вмѣстѣ взятое, составляетъ такого рода «поведеніе», которое не только въ Уложеніи о наказаніяхъ, но даже въ брошюрахъ одесскаго профессора Цитовича не предусматривается. Стало-быть, ходи вольнымъ аллюромъ—и шабашъ.

Однако-жъ какъ я ни стараюсь приспособить свою поступь къ вольному аллюру, но успѣха достичь не могу. Существуютъ причины, которыя положительно всѣ мои усилія въ этомъ смыслѣ обращаютъ въ ничто, и, къ стыду моему я долженъ сознаться, причины эти лежатъ не столько во внѣшней обстановкѣ, среди которой я живу, сколько во мнѣ самомъ.

Во-первыхъ, я слишкомъ ужъ давно живу, и это вводитъ и меня самого и другихъ въ заблужденіе. Когда долго живешь на свѣтѣ, то непремѣнно думаешь, что нѣвѣсть сколько нагрѣшилъ. И утопіи, и филантропіи, и фаланстеры, и даже военныя поселенія—все тутъ было! Однѣхъ «книжекъ» сколько — это ни въ сказкахъ сказать, ни перомъ описать! Какъ съ этимъ быть? Раскаяться—лѣнь; сдѣлать бывшее небывшимъ—невозможно: стало-быть, приходится существовать, сознавая себя въ положеніи стараго волка, которому когда-нибудь отольются-таки овечьи слезки. Ужасно это тяжело! Конечно, когда кругомъ царствуетъ тишина, когда дворники бездѣйствуютъ, а городовые дѣлаютъ подъ козырекъ—тогда даже мечты о военныхъ поселеніяхъ кажутся пустяками. Вздоръ, да и все тутъ! Но когда...

Да, тишина—великое дѣло. Человѣкъ отъ природы такъ созданъ, что предпочитаетъ спокойствіе безпокойству, а потому онъ инстинктивно олицетворяетъ въ тишинѣ тотъ прекрасный удѣлъ, который на обыкновенномъ языкѣ называется счастіемъ. Ежели человѣка не безпокоятъ — онъ счастливъ; а ежели, сверхъ того, онъ знаетъ, что и завтра его безпокоить не будутъ,—у него ужъ вырастаютъ крылья. Гордо и самоувѣренно идетъ онъ по стезѣ, загроможденной всевозможными преступными пустяками, и ни минуты не сомнѣвается, что всѣ эти пустяки суть дѣйствительно пустяки и въ качествѣ таковыхъ непремѣнно сойдутъ ему съ рукъ. И сходятъ. Какъ хотите это назовите: недоразумѣніемъ, послабленіемъ, упущеніемъ или просто волшебствомъ, но сходятъ, сходятъ и сходятъ. Есть у счастливыхъ людей звѣзда, которая путеводитъ ихъ и ограждаетъ отъ взысканій. Не даромъ еще въ прошломъ столѣтіи Сумароковъ возглашалъ:

Ты, фортуна, украшаешь
Злодѣянія людей
И мечтанія мѣшаешь
Разсмотрѣти жизни сей

Сидишь себѣ, счастливый и довольный, и въ мечтахъ опутываешь Россію цѣлой сѣтью военныхъ поселеній. И даже въ голову не приходитъ, что когда-нибудь это невинное опутываніе откликнется для тебя «разсмотрѣніемъ жизни сей».

Но какъ только повѣетъ со стороны холодкомъ и зашевелятся дворники—конецъ счастью. Человѣкъ начинаетъ озираться, прислушиваться, и въ сердце его заползаетъ

тупая, тревожная боль. Коль скоро эти признаки налицо, знайте, что немедленно вслѣдъ за ними явится и потребность «разсмотрѣнья жизни сей». Потребность, нерѣдко ничѣмъ не мотивированная, но въ то же время до того естественная, что отдѣлаться отъ нея нѣтъ никакой возможности. Сиди и разсматривай, доколѣ не усмотришь. А ежели, несмотря на самыя искреннія усилія, все-таки ничего не усмотришь, то, пожалуй, и еще того хуже: непремѣнно хоть что-нибудь да наклеплешь на себя. И, наклепавши, тѣмъ самымъ признаешь себя достойнымъ внутренней политики.

Итакъ, первая причина, убивающая во мнѣ вольный аллюръ, есть причина чисто личная, заключающаяся въ томъ, что я слишкомъ давно живу.

Вторая причина—болѣе общая. Мы, русскіе, какъ-то черезчуръ ужъ охотно боимся, и притомъ боимся всегда съ увлеченіемъ. Начинаемъ мы бояться почти съ пеленокъ; сначала боимся родителей, потомъ — начальства. Иногда даже Бога боимся, но рѣдко: больше изъ учтивости, при собесѣдованіяхъ съ лицами духовнаго вѣдомства. Я помню, что еще въ школѣ начальство старалось искоренить во мнѣ начальственную боязнь. «Чего вы боитесь?—говорило оно мнѣ:—намъ не страхъ вашъ нуженъ, а любовь и довѣріе». Все равно какъ въ пѣснѣ поется: *мнѣ не дорогъ твой подарокъ, дорога твоя любовь*... А я и за всѣмъ тѣмъ продолжалъ бояться. И нельзя сказать, чтобъ я не понималъ, что быть откровеннымъ и любящимъ ребенкомъ выгоднѣе—его никогда безъ послѣдняго кушанья не оставляютъ,—понималъ я и это и многое другое, и все-таки пересилить себя не могъ. Идешь и думаешь: а вотъ сейчасъ выскочитъ изъ-за угла гувернеръ—и поминай какъ звали!

Разумѣется, я не думаю, чтобы такова была характеристическая черта нашей національности. Я знаю, что это дурная привычка—и ничего болѣе. Но она до такой степени крѣпко засѣла въ насъ, что побѣдить ее ужасно трудно. Ужъ сколько столѣтій русское государство живетъ славною и вполнѣ самостоятельною жизнью, а мы, граждане этого государства, все еще продолжаемъ себя вести, какъ будто надъ нами тяготѣетъ монгольское иго, или австріякъ насъ въ плѣну держитъ. Робѣемъ, корчимся, прислушиваемся ко всякимъ шорохамъ, смущаемся при выходѣ ретирадныхъ брошюръ, раскаиваемся, клеплемъ на себя и на другихъ; однимъ словомъ, мнимъ себя до такой степени послѣдними

изъ послѣднихъ, что изъ всего Державина содержимъ въ памяти только одинъ стихъ:

А завтра—гдѣ ты, человѣкъ?

И кого боимся? Того самаго начальства, которое еще съ школьной скамьи твердитъ намъ: «не страхъ вашъ нуженъ, а довѣріе и любовь»!

Нигдѣ такъ много не говорятъ по секрету, какъ у насъ; нигдѣ (даже въ самомъ обыкновенномъ разговорѣ) такъ часто не прорывается фраза: «ахъ, какъ это вы не боитесь!»; нигдѣ такъ скоро не теряютъ присутствія духа, такъ легко не отрекаются. Словомъ сказать, нигдѣ не боятся такъ натурально, свободно, почти художественно.

Но что всего хуже: свойственный намъ, русскимъ, страхъ вовсе не принадлежитъ къ числу такъ-называемыхъ спасительныхъ. Если-бъ еще это было такъ, то, конечно, лучшаго бы и желать не надо. Спасительный страхъ научаетъ терпѣнію—вотъ неоцѣненная польза, имъ приносимая. Если видишь, напримѣръ, себя на краю пропасти, то остановись и ожидай, пока вѣдомство путей сообщенія не устроитъ здѣсь безопаснаго спуска. Если нужно тебѣ переправиться черезъ рѣку, то не дерзай искать брода, но увѣдомь о своей нуждѣ подлежащую земскую управу и ожидай, пока она устроитъ мостъ или паромъ. Ежели встрѣтишь человѣка, который будетъ приглашать тебя, въ качествѣ попутчика, въ страну утопій, то жди, покуда не будетъ выдана подорожная. Таковъ «спасительный» страхъ въ томъ видѣ, въ какомъ оный предписывается во всѣхъ предначертаніяхъ. Къ сожалѣнію, совсѣмъ не таковъ нашъ общеупотребительный, русскій страхъ. Увы! подъ гнетомъ его мы нимало не научаемся терпѣнію, а просто-на-просто поремъ горячку и мечемся. И вслѣдствіе этого не только не останавливаемся на краю пропасти, но чаще всего стремглавъ летимъ на дно оной.

Виноватъ ли я лично въ томъ, что эта хроническая боязнь обуреваетъ меня? Конечно, виноватъ, если взять въ соображеніе, что моя боязнь есть вмѣстѣ съ тѣмъ и ослушаніе. Съ отроческихъ лѣтъ твердитъ мнѣ начальство, что бояться не дозволяется, а я не слушаюсь, боюсь, то-есть выказываю отвагу именно въ томъ пунктѣ, гдѣ ея совсѣмъ не требуется,—ясно, что я виноватъ. Но съ другой стороны, какъ посмотрю я кругомъ—развѣ я одинъ боюсь? Нѣтъ, всѣ боятся, всѣ до единаго. Столько у насъ въ послѣднее время развелось угрозъ, что боязнь сдѣла-

лась даже чѣмъ-то въ родѣ развлеченія, почти занятіемъ. Если бы я не боялся, то, навѣрное, въ скоромъ времени совсѣмъ сгибъ бы отъ праздности. А теперь я все-таки чѣмъ-нибудь занятъ. Во-первыхъ, стараюсь угадать угрозу; во-вторыхъ, придумываю способы обороняться отъ нея, устроить такъ, чтобъ она ударила по сосѣду, а не по мнѣ. Для ума пытливаго тутъ пищи безъ конца. Обдумываешь, ходатайствуешь, оправдываешься, раскаиваешься и наконецъ возвращаешься домой усталый, почти измученный. Смотришь—анъ въ результатѣ не только время прошло, но и самое представленіе объ угрозѣ куда-то испарилось, словно его совсѣмъ не было...

И такъ вотъ, въ этой-то смутной боязни, прошелъ для меня весь іюль мѣсяцъ.

Я былъ одинъ, а одиночество дѣйствуетъ въ этомъ отношеніи особенно деморализирующимъ образомъ. Въ одиночествѣ каждая филантропія принимаетъ размѣры пособничества, каждое военное поселеніе—размѣры потрясанія основъ. Конечно, и это бы ничего (повторяю, и въ кварталѣ извѣстно, что пустяки все это!), но что дѣйствительно ужасно—это воспитываемая одиночествомъ склонность къ примѣненію соотвѣтствующихъ статей Уложенія о наказаніяхъ ко всѣмъ этимъ пустякамъ. Сидишь одинъ-одинёшенекъ; прислушиваешься къ окрестнымъ шорохамъ—и примѣняешь. Такъ что ежели при этомъ въ комнатѣ еще темно, то положительно дѣлается жутко. Въ ушахъ раздается незаслуженное: «фюить!» и непремѣнно всѣ самые глупые романсы, всѣ безшабашнѣйшія метафоры, какими когда-либо украшались страницы русскихъ хрестоматій,—все такъ и ползетъ изъ всѣхъ захолустьевъ памяти. Тутъ и «ямщикъ лихой, онъ всталъ съ полночи»; и «сабля моя стучала по верстовымъ столбамъ, какъ по частоколу»—все тутъ. И въ заключеніе—«разсмотрѣнье жизни сей», какъ неизбѣжный продуктъ этихъ романсовъ. Глупо, неестественно, несбыточно до очевидности, но въ то же время какъ-то мрачно-правдоподобно.

Разумѣется, я принималъ всѣ мѣры, чтобы избѣжать одиночества. Съ утра уходилъ къ Палкину, слушалъ машину, любовался на стерлядей, плавающихъ въ бассейнѣ, и разспрашивалъ, сколько вонъ та стоитъ и сколько вотъ эта. Потомъ отправлялся въ Зоологическій садъ и вмѣстѣ съ кадетами смотрѣлъ на кормленіе звѣрей; потомъ устремлялся къ «Медвѣдю», гдѣ съ истинно-дикимъ наслажде-

ніемъ глоталъ протухлый воздухъ; а вечеромъ — въ Демидронъ, гдѣ дѣлалъ умственныя выкладки, сколько противъ прошлаго года прибавилось килограммовъ въ дѣвицѣ Филиппо. Затѣмъ, возвращаясь поздно вечеромъ домой, я съ любопытствомъ всматривался въ физіономію швейцара, усиливаясь прочесть, не написано ли на ней чего-нибудь внезапнаго, и ежели прочитывалъ только заспанность, то ложился въ постель и старался заснуть съ такимъ разсчетомъ, чтобы Уложеніе о наказаніяхъ ни подъ какимъ видомъ не отравило моихъ сновидѣній.

Къ сожалѣнію, какъ ни дѣйствительными представлялись эти мѣры, но досуга для «разсмотрѣнья жизни сей» все-таки оказывалось болѣе нежели достаточно. Къ тому же въ послѣднее время возникъ для меня еще новый мотивъ для разсмотрѣній.

Дѣло въ томъ, что по поводу моей литературной дѣятельности возникаютъ нѣкоторые обвинительные слухи, которые съ теченіемъ временъ пріобрѣтаютъ все болѣе и болѣе острый характеръ. Обвиняютъ меня въ беллетристическомъ двоедушіи, требуютъ, чтобы я повелъ дѣло на чистоту и показалъ знамя. Признаюсь откровенно, слухи эти дѣйствуютъ на меня болѣзненно. Во-первыхъ, я вообще избѣгаю разговоровъ о своей личности, и тѣмъ болѣе разговоровъ печатныхъ, которые имѣютъ свойство привлекать, въ качествѣ невольнаго посредствующаго лица, публику; во-вторыхъ, что-жъ это, въ самомъ дѣлѣ, за требованіе такое: покажи свое знамя? Какое это знамя? развѣ у обывателей полагаются знамена?..

Тѣмъ не менѣе я не желаю прикидываться ни равнодушнымъ, ни презирающимъ. Говорю прямо: окрики эти трогаютъ меня. Я слишкомъ давно и слишкомъ дѣятельно принимаю участіе въ русской литературѣ, чтобы имѣть возможность разыгрывать роль посторонняго зрителя относительно жизненныхъ явленій вообще, а стало-быть, и относительно дѣлаемыхъ по моему поводу оцѣнокъ. Но этого мало: писанія мои до такой степени проникнуты современностью, такъ плотно прилаживаются къ ней, что ежели и можно думать, что они будутъ имѣть какую-нибудь цѣнность въ будущемъ, то именно и единственно какъ иллюстрація этой современности. Поэтому всѣ характерные признаки ея необходимо должны оказывать на меня извѣстное дѣйствіе. Тщетно усиливался бы я замкнуться въ самомъ себѣ, тщетно старался бы не видѣть и не слышать: лая

самой ледащей собачонки, ежели онъ повторяется регулярно, вполнѣ достаточно, чтобы нарушить эту замкнутость и обратить въ ничто мое насильственное равнодушіе. Это до такой степени вѣрно, что даже люди, желающіе познакомиться съ моимъ знаменемъ,—и тѣ ни на что другое не бьютъ: ни на логику, ни на софизмъ, а именно только на раздражающее дѣйствіе, которое долженъ оказывать періодически возобновляемый лай на человѣка, связаннаго крѣпкими узами съ современностью и потому вынуждаемаго время отъ времени являться съ публичными отчетами объ ней.

Начну съ обвиненія въ двухсмысленности или, иначе, въ двоедушіи, а еще проще—въ обманѣ. Говорятъ, будто я (и, конечно, съ умысломъ) такую особенную манеру писать изобрѣлъ, которая постоянно вводитъ въ заблужденіе. Кого же однако я хочу обмануть?

Ежели предполагается, что я желаю обмануть ту читающую публику, къ которой обыкновенно обращаюсь, то предположеніе это не имѣетъ и тѣни правдоподобія. Я дѣйствую въ русской литературѣ больше тридцати лѣтъ и изъ нихъ около двадцати пяти лѣтъ, быть-можетъ, даже съ лишкомъ, часто напоминаю о себѣ читателямъ. Мнѣ кажется, этого совершенно достаточно, чтобы публика поняла, съ кѣмъ она имѣетъ дѣло, и чтобы я не имѣлъ надобности въ дополнительныхъ объясненіяхъ и подчеркиваніяхъ. И дѣйствительно, она до такой степени ознакомилась со мной, а въ особенности съ тѣми намѣреніями, которыя стоятъ у меня на первомъ планѣ, что я просто-напросто ни спрятаться за псевдонимомъ, ни притвориться не самимъ собой не могу. И я думаю, что ежели читатель такъ легко узнаётъ меня, то причина этого заключается не столько въ манерѣ моихъ писаній, сколько въ ихъ содержаніи. Такъ что, если бы я, напримѣръ, позволилъ себѣ порицать добродѣтель и возвеличивать порокъ, то я убѣжденъ, что, несмотря ни на какія «манеры», публика поняла бы, что я сдѣлалъ дурной поступокъ, и отвернулась бы отъ меня.

Не надо забывать, что русскій писатель вообще (а въ томъ числѣ, конечно, и я) имѣетъ дѣло съ очень ограниченнымъ кругомъ читателей, который, право, не такъ-то легко объегорить «манерами». Въ средѣ этой есть люди, симпатизирующіе мнѣ; но найдется достаточно и такихъ, которыхъ одно напоминаніе обо мнѣ приводитъ въ раздра-

женіе. Ужели и эти симпатіи и эти ненависти имѣютъ источникомъ одно недоразумѣніе? По-моему, это уже слишкомъ явная безсмыслица, чтобы нужно было ее опровергать.

Ежели же предположить, что я желаю своими «манерами» обмануть начальство—упаси Богъ! Кромѣ того, что я совершенно правильно сознаю свои обязанности въ отношеніи къ начальству, я положительно убѣжденъ, что начальство понимаетъ мои желанія столь же ясно, какъ и публика. Оно видитъ мое усиліе и сознаётъ, что если я по временамъ заблуждаюсь, то не по обдуманному заранѣе умыслу, а по простотѣ душевной и изъ желанія пользы ближнему. Сверхъ того, оно знаетъ, что хотя существованіе такого писателя, какъ я, и не принесетъ большой славы отечеству, но оно и не безчеститъ его, а, стало-быть, во всякомъ случаѣ законами не возбраняется. Если же и можно заподозрить меня въ томъ, что я не всегда выкладываю все, что у меня на душѣ, то и въ этомъ начальство усматриваетъ не двоедушіе и обманъ, но лишь полезную сдержанность, которую я приношу въ жертву на алтарь отечеству. И по соображеніи всѣхъ этихъ усмотрѣній, не находя достаточныхъ поводовъ для принятія мѣръ строгости, оно предоставляетъ мнѣ спокойно заниматься моимъ ремесломъ.

Я не отрицаю, что въ писаніяхъ моихъ нерѣдко встрѣчаются вещи довольно неожиданныя, но это зависитъ отъ того, что въ любомъ курсѣ реторики существуютъ указанія на тропы и фигуры, и я, какъ человѣкъ, получившій образованіе въ казенномъ заведеніи, не имѣю даже права оставаться чуждымъ этимъ указаніямъ. Есть метафора, есть метонимія, синекдоха... Наконецъ существуютъ особыя рубрики литературнаго труда, носящія названія «сатиры», «эпиграммы» и проч., которыя тоже съ разрѣшенія реторики допускаются къ обнародованію, съ тѣмъ, чтобы, по отпечатаніи, надлежащее количество экземпляровъ было представлено въ цензурный комитетъ. Теперь сообразите: вѣдь начальство само предписало преподаваніе реторики въ казенныхъ заведеніяхъ — какимъ же образомъ оно можетъ, безъ явнаго противорѣчія съ самимъ собою и даже безъ явной несправедливости, преслѣдовать то, что разрѣшено имъ самимъ разрѣшенною реторикой?

Съ вещественными доказательствами въ рукахъ я могу *утверждать*, что все, написанное мною въ теченіе тридцати

лѣтъ, совсѣмъ не «обманъ» (на такую литературную рубрику даже въ реторикѣ Георгіевскаго указаній нѣтъ), но вполнѣ согласно съ предписаніями реторики. Если же я— еще разъ повторяю—отличаюсь въ писаніяхъ своихъ сдержанностью, то-есть даже дозволеніями реторики не рѣшаюсь вполнѣ пользоваться, то въ глазахъ начальства это не порокъ, а достоинство. Сколько лѣтъ человѣкъ пишетъ и все сдерживаетъ себя — стало-быть, это именно и есть испытанный и вполнѣ достойный гражданинъ! Совсѣмъ не то, что шавки, которыя, выбѣжавъ изъ ретираднаго мѣста, въ одну минуту вылаютъ ту соринку, которая завелась у нихъ за душой, не понимая, вредна она или безопасна, содѣйствуетъ или компрометируетъ... Вотъ какъ разсуждаетъ начальство и, по моему мнѣнію, разсуждаетъ сознательно, а не вслѣдствіе какого-то умопомраченія, которое будто бы источаютъ изъ себя мои литературныя работы.

Какъ бы то ни было, но обвиненія въ двоедушіи и обманѣ, какъ относительно публики, такъ и относительно начальства, оказываются вполнѣ несостоятельными. Сами обвинители мои только притворяются недоумѣвающими. Очень хорошо они знаютъ, объ чемъ я говорю, и ежели имъ что во мнѣ не нравится, то это именно моя сдержанность. Они не безъ основанія полагаютъ, что будь я менѣе сдержанъ — изъ этого непремѣнно произойдетъ для меня молчаніе. Вотъ чего имъ хочется; а мнѣ этого не хочется. И какъ ни сильны бываютъ порой сомнѣнія, меня обуревающія, но мнѣ кажется, что въ этомъ случаѣ я все-таки поборю.

Но обвиненіе не довольствуется одними голословными заявленіями и приводитъ въ подтвержденіе очень вѣскій и доказательный, по мнѣнію его, фактъ. Оказывается, что я такъ обстроилъ свои дѣлишки, что сумѣлъ понравиться даже тѣмъ, на кого я обыкновенно нападаю. Ну, какъ же, молъ, это не обманъ?

Рискуя быть заподозрѣннымъ въ самохвальствѣ, я думаю однако-жъ, что дѣло объясняется гораздо проще. Несомнѣнно, что существуетъ почва, на которой читатель охотно примиряется съ обличеніями. Эта почва — добродушіе, смѣхъ и человѣчное отношеніе къ дѣйствующимъ лицамъ живописуемой комедіи. Вѣдь на свѣтѣ живутъ не одни прожженые шалопаи, которые въ смѣхѣ готовы заподозрить продерзость, а въ человѣчности — пособничество и укрывательство. Большинство смертныхъ не только ви-

дить въ этихъ качествахъ смягчающее обстоятельство, но и признаётъ, что человѣкъ, обладающій ими, не имѣетъ основанія сидѣть сложа руки. Я никого не бью по щекамъ, хотя нѣкоторые «критики» и увѣряютъ, что я только этимъ и занимаюсь. Моя рѣзкость имѣетъ въ виду не личности, а извѣстную совокупность явленій, въ которой и заключается источникъ всѣхъ золъ, угнетающихъ человѣчество. Читатель, очевидно, понимаетъ, что такова именно моя мысль, и вслѣдствіе этого мирится со мною даже тогда, когда я, повидимому, обличаю его самого. Онъ инстинктивно чувствуетъ, что я совсѣмъ не обличитель, а адвокатъ. Что я вижу въ немъ жертву общественнаго темперамента, необходимую мнѣ совсѣмъ не для потасовки, а только въ качествѣ иллюстраціи этого послѣдняго.

Я очень хорошо помню пословицу: было бы болото, а черти будутъ, и признаю ее настолько правильною, что никакихъ варіантовъ въ обратномъ смыслѣ не допускаю. Воистину болото родитъ чертей, а не черти созидаютъ болото. Жалкіе черти! какъ имъ очиститься, просвѣтлѣть, перестать быть чертями, коль скоро ихъ насквозь пронизываютъ испаренія болота! Жалкіе и смѣшные черти! какъ не смѣяться надъ ними, коль скоро они сами принимаютъ свое болото въ сурьёзъ и устраиваютъ тамъ цѣлый нелѣпый міръ отношеній, въ которомъ безцѣльно кружатся и мятутся, совершенно искренно вѣря, что дѣлаютъ какое-то прочное дѣло! Да, смѣшны и жалки эти кинутые въ болото черти; но само болото—не жалко и не смѣшно...

Есть и еще обвиненіе, касающееся того же двоедушія. Говорятъ, что я изображаю въ смѣшномъ видѣ русскихъ консерваторовъ — стало-быть, я не консерваторъ; но тутъ же рядомъ и въ столь же неудовлетворительномъ видѣ я изображаю и русскихъ либераловъ — стало-быть, я и не либералъ. Если первое можно было объяснить предполагаемымъ во мнѣ либерализмомъ, то чѣмъ объяснить второе? Не желаніемъ ли понравиться начальству и тѣмъ хотя отчасти искупить продерзостныя нападки на консерваторовъ?.. Ну, вотъ, и слава Богу!

Итакъ, ежели въ писаніяхъ моихъ и обрѣтается что-либо неясное, то никакъ ужъ не мысль, а развѣ только манера. Но и на это я могу сказать въ свое оправданіе слѣдующее: моя манера писать есть манера рабья. Она состоитъ въ томъ, что писатель, берясь за перо, не столько озабоченъ предметомъ предстоящей работы, сколько обду-

мываніемъ способовъ проведенія его въ среду читателей. Еще древній Эзопъ занимался такимъ обдумываніемъ, а за нимъ и множество другихъ шло по его слѣдамъ. Эта манера изложенія, конечно, не весьма казиста, но она составляетъ оригинальную черту очень значительной части произведеній русскаго искусства, и я лично тутъ ровно ни при чемъ. Иногда, впрочемъ, она и небезвыгодна, потому что, благодаря ея обязательности, писатель отыскиваетъ такія пояснительныя черты и краски, въ которыхъ, при прямомъ изложеніи предмета, не было бы надобности, но которыя все-таки не безъ пользы врѣзываются въ памяти читателя. А сверхъ того, благодаря той же манерѣ, писатель пріобрѣтаетъ возможность показывать нѣкоторыя перспективы, куда запросто и съ развязностью военнаго человѣка войти не всегда бываетъ удобно. Повторяю: это манера несомнѣнно рабья, но при соотвѣтственномъ положеніи общества вполнѣ естественная, и изобрѣлъ ее все-таки не я. А еще повторяю: она нимало не затемняетъ моихъ намѣреній, а, напротивъ, дѣлаетъ ихъ только общедоступными.

Затѣмъ, покончивъ съ двоедушіемъ, будемъ, пожалуй, говорить и о знамени.

Я помню, лѣтъ семь тому назадъ одинъ изъ публицистовъ «Русскаго Вѣстника» (въ статьѣ: «Наши охранители и наши прогрессисты») уже заводилъ разговоръ на эту тему. И тоже отчасти по моему поводу. Надергавъ изъ разныхъ моихъ статей «мѣстечекъ» и лишивъ ихъ, ради аттической соли, связи съ предыдущимъ, онъ огуломъ призналъ мою литературную дѣятельность вредною, подрывающею величественное шествіе Россіи на пути развитія, и въ заключеніе, въ какомъ-то непонятномъ восхищеніи, подстрекалъ самого себя на борьбу со мною. — Будемъ высоко держать знамя Россіи! — и да послужитъ оно оплотомъ противъ наплыва неблагонадежныхъ элементовъ!

Я помню, этотъ призывъ къ ополченію противъ моего наплыва довольно-таки меня огорчилъ. Не потому, чтобы я былъ сраженъ страхомъ по поводу причисленія меня лицомъ посторонняго вѣдомства къ лику неблагонадежныхъ (тьфу!—вотъ я какъ на это смотрю!), но потому, что мнѣ не было при этомъ преподано никакихъ средствъ для исправленія. — Нужно высоко держать знамя Россіи! — твердилъ я самому себѣ: — но вѣдь надо же объяснить, о

какомъ знамени Россіи идетъ рѣчь? Вѣдь не о государственномъ же знамени вы бесѣдуете — это знамя я всегда отлично понималъ, равно какъ понималъ и то, что держать его простымъ смертнымъ не предоставляется,—а, очевидно, о какомъ-то другомъ, а именно о знамени, такъ сказать, интимно-обывательскомъ. Но, воля ваша, заводя рѣчь о подобныхъ знаменахъ, надо какъ можно точнѣе ихъ характеризовать, потому что обыватели не всегда въ редактированіи девизовъ искусны. Иной такую чепуху на своемъ знамени напишетъ, что попробуй, соблазнись — и въ острогъ, пожалуй, угодишь! Вотъ почему я тогда же обратился къ встревоженному моимъ наплывомъ публицисту съ просьбою указать подробно, въ чемъ я долженъ исправиться и какими девизами обязываюсь украшать свое знамя, чтобъ быть вычеркнутымъ изъ списка неблагонадежныхъ?

Конечно, отвѣта на мой запросъ не послѣдовало. Охотно сочиняя обвинительные акты, публицисты извѣстнаго пошиба съ истинно жестокою безсердечностью оставляютъ обличаемыхъ ими грѣшниковъ въ жертву ожидающему ихъ возмездію. Но такъ какъ и возмездія, которое хотя косвенно могло бы пролить свѣтъ на мои сомнѣнія, не послѣдовало, то я вынужденъ былъ уже собственными средствами доискиваться раскрытія кинутой въ мой огородъ загадки. И что же! ища и допытываясь, я убѣдился, что самое употребительное, популярное и искреннее обывательское знамя есть то, на которомъ написано: «распивочно и навынось»!

Очевидно, конечно, что почтенный публицистъ настаивалъ не на этомъ знамени, но имѣлъ въ виду иныя знамена, на которыхъ начертаны другіе, болѣе солидные и совмѣстные съ достоинствомъ благонамѣренной русской публицистики девизы. И хотя онъ не называлъ ихъ прямо, но догадываюсь, что девизы эти таковы: семейство, собственность, государственный союзъ и проч. И такъ какъ, по мнѣнію обвинителя, я недостаточно усвоилъ себѣ эти девизы, то за сіе и признанъ имъ подлежащимъ помѣщенію въ списокъ неблагонадежныхъ.

Оказывается однако-жъ, что знамена съ упомянутыми выше девизами не безызвѣстны и мнѣ. Я довольно часто возвращаюсь къ нимъ и по мѣрѣ силъ даже разрабатываю ихъ; но, разумѣется, моя разработка имѣетъ нѣсколько своеобразный характеръ. Она не столь отвлеченна, какъ

изслѣдованіе какого-нибудь ученаго юриста или экономиста, и не столь практически-наглядна, какъ, напримѣръ, разработка Юханцева, Ландсберга и проч. Но позволяю себѣ думать, что и моя разработка не вовсе безполезна.

Какъ литераторъ, занимающійся книгопечатаніемъ съ вѣдома реторики, я разрабатываю всякаго рода знамёна въ предѣлахъ той литературной рубрики, которая извѣстна подъ именемъ «сатиры» Затѣмъ, справляясь съ любымъ курсомъ реторики, я убѣждаюсь, что основной характеръ «сатиры» заключается въ томъ, что она «осмѣиваетъ пороки». Прошу читателя не сѣтовать на меня за эти нѣсколько дѣтскія подробности: я останавливаюсь на нихъ потому, что мнѣ необходимо объясниться (вѣдь находятся люди, которымъ и это нужно объяснить), почему я пишу не въ диѳирамбическомъ, а въ сатирическомъ родѣ. Диѳирамбъ—говорю я — есть совершенно сепаратная литературная рубрика, столь же мало противозаконная, какъ и сатира, но и не пользующаяся, сравнительно съ послѣднею, никакими особенными привилегіями (развѣ что существуютъ какія-либо отдѣльныя по сему предмету распоряженія, о которыхъ я не знаю). Сверхъ того, диѳирамбъ требуетъ иныхъ способностей и совершенно иного отношенія къ изображаемымъ предметамъ, нежели сатира. Такъ что, напримѣръ, если я способенъ написать сносную сатиру, то въ области диѳирамба могу оказаться самымъ плохимъ нанизывателемъ напыщенныхъ и пустопорожнихъ фразъ. А по моему мнѣнію, заниматься составленіемъ ходульно-лицемѣрныхъ и вымученныхъ диѳирамбовъ гораздо противозаконнѣе, нежели упражняться въ сносной сатирѣ.

Но—спрашивается — что такое порокъ, какъ объектъ сатиры?

Прежде всего, признаюсь, я не совсѣмъ довѣряю тѣмъ отвержденнымъ спискамъ пороковъ, которые время отъ времени публикуются во всеобщую извѣстность моралистами. Мнѣ кажется, что моралисты слишкомъ суживаютъ границы порока, черезчуръ ужъ тщательно опредѣляютъ внѣшніе его признаки. Вслѣдствіе этого порокъ представляется чѣмъ-то окаменѣлымъ, не только не имѣющимъ никакой притягательной силы, но даже прямо отталкивающимъ. Нужно быть отъ природы несомнѣнно предрасположеннымъ къ злодѣйству и нераскаянности, и притомъ очень храбрымъ (или, по малой мѣрѣ, очень глупымъ), чтобы съ насиліемъ и взломомъ проникнуть въ наглухо замкнутое

капище порока, на дверяхъ котораго прежде всего бросаются въ глаза самыя опредѣленныя указанія на соотвѣтствующія статьи Уложенія.

Такихъ отважныхъ рыцарей, которые со взломомъ проникаютъ въ капище порока, сравнительно очень мало, и они почти всегда попадаются. И когда они попадутся, то въ средѣ прокурорскаго надзора бываетъ радованіе. Ибо составъ совершившагося факта ясенъ, и, стало-быть, остается только предъявить въ судъ счетъ (addition) порочнаго человѣка, и уплата по оному воспослѣдуетъ немедленно и сполна.

Мнѣ кажется, что простая человѣческая совѣсть оказывается въ этомъ случаѣ гораздо болѣе проницательною. Во-первыхъ, она отвергаетъ замкнутость, которую приписываютъ пороку моралисты, и признаётъ за нимъ значительную долю въдчивости; во-вторыхъ, она не допускаетъ, чтобъ порокъ такъ легко поддавался опредѣленіямъ, ибо въ этомъ случаѣ стоило бы только увеличить составъ прокурорскаго надзора, чтобы очистить авгіевы конюшни; въ-третьихъ, она признаётъ, что порокъ прогрессируетъ какъ относительно внѣшнихъ формъ такъ и по существу, и вслѣдствіе этого одни пороки упраздняются, и взамѣнъ ихъ появляются новые, которые человѣческая совѣсть уже угадываетъ, между тѣмъ какъ прокурорскій надзоръ и во снѣ ничего подходящаго еще не видитъ.

Нужно ли говорить, что въ виду этихъ двухъ взглядовъ на порокъ литература должна склоняться на сторону совѣсти? Прежде всего она не меньше милосердна, какъ и человѣческая совѣсть, и, стало-быть, предположеніе о въдчивости порока, какъ смягчающее личную отвѣтственность, не можетъ не привлекать ее. Такъ что ежели человѣкъ, укравшій грошъ, въ глазахъ моралиста ни въ какомъ случаѣ не заслуживаетъ пощады, то во мнѣніи человѣческой совѣсти и литературы онъ можетъ оказаться человѣкомъ, у котораго даже отнять похищенный имъ грошъ не совсѣмъ ловко. А посему надлежитъ: списавъ тотъ грошъ безвозвратнымъ расходомъ, стараться объ немъ позабыть. Затѣмъ литературѣ не меньше претитъ и канцелярская точность въ опредѣленіи признаковъ порока, потому что слишкомъ ясные пороки вѣдаются полиціею и судомъ, и этого вполнѣ для успокоенія общества достаточно. Литература же вѣдаетъ такія человѣческія дѣйствія, которыя заключаютъ въ себѣ извѣстную степень загадочности и отно-

сительно которыхъ публика находится еще въ недоумѣніи, порочны они или добродѣтельны. Философы пишутъ, съ цѣлью разъясненія подобныхъ дѣйствій, цѣлые трактаты; романисты кладутъ ихъ въ основаніе многотомныхъ произведеній; сатирики дѣлаютъ то же дѣло, призывая на помощь оружіе смѣха. Это оружіе очень сильное, ибо ничто такъ не обезкураживаетъ порока, какъ сознаніе, что онъ угаданъ, и что по поводу его уже раздался смѣхъ. Наконецъ и мысль объ измѣняемости формъ порока не можетъ не быть симпатичной для литературы, такъ какъ, если-бъ не существовало измѣняемости, если-бъ злоба дня не снабжала жизни все новыми и новыми формами порока, то матерія эта давно была бы исчерпана, и литературѣ пришлось бы уступить мѣсто полиціи и суду. Но этого нѣтъ. И въ то время, какъ судъ караетъ одного Ландсберга, литература прозрѣваетъ міріады Ландсберговъ, тѣмъ болѣе опасныхъ, что къ нимъ невозможно примѣнить ни одного изъ общепризнанныхъ ярлыковъ, выработанныхъ отвержденною моралью.

Ничего этого, конечно, не признаютъ люди, занимающіеся вытребованіемъ литературныхъ знамёнъ. Они считаютъ обязательною одну мораль—отвержденную, и все, что прямо не возбраняется ею, признаютъ законнымъ. И вслѣдствіе этого во всякой попыткѣ расширить предѣлы отвержденной морали усматриваютъ неблагонадежность, потрясаніе, бунтъ. Словомъ сказать, они требуютъ, чтобъ сатирикъ велъ нѣчто въ родѣ дневника происшествій: «такого-то, дескать, числа утромъ (допускается описаніе утра) коллежскій регистраторъ Псевдонимовъ (допускается описаніе отвратительной его наружности) укралъ съ лотка булку». И только. Но при этомъ, конечно, не возбраняется прибавлять, что бдительное начальство накрыло его съ поличнымъ и не оставило безъ взысканія.

Я понимаю, изъ какого источника идутъ эти требованія. Выше я сказалъ, что преступить противъ указаній отвержденной морали очень трудно, и что виноватыми въ этомъ случаѣ оказываются или глупцы, или оборванцы, или такіе отважные люди, которымъ хочется сразу карьеру сдѣлать. Затѣмъ громадное большинство удобно уживается съ этою моралью и подъ сѣнію ея бездѣльничаетъ на всей своей волѣ. Вотъ эту-то безнаказанность бездѣльничества и лестно отстоять. Мы никого не убили, а насъ называютъ убійцами; мы ничего не украли, а насъ называютъ ворами; мы

живемъ въ семьяхъ, обѣдаемъ, окруженные дѣтьми, пьемъ чай за семейнымъ самоваромъ, а насъ называютъ прелюбодѣями! Что-жъ это такое, какъ не потрясаніе?!

. . . . . .

Но довольно. Возвращаюсь лично къ себѣ.

Сказаннаго выше, по мнѣнію моему, вполнѣ достаточно, чтобъ убѣдить читателя, что и мнѣ не чужда мысль о знамёнахъ. Какого же рода эти знамёна и что на нихъ написано, о томъ слѣдуютъ пункты:

1) Вѣдомо всѣмъ, что въ настоящее время существуютъ три общественныя основы, за непотрясаніемъ которыхъ имѣется особое наблюденіе: семейство, собственность и государство. Вотъ эти-то самыя основы значатся и на моихъ знамёнахъ. Знамя первое: семейство. Пріемлю и нимало вопреки глаголю. Но не пріемлю, чтобы кузина Nathalie могла быть признаваема столпомъ семейственности, хотя она столь твердо понимаетъ материнскія права, что готова посадить своего Теодора въ смирительный домъ за непочтительность. Второе знамя: собственность. Пріемлю и нимало вопреки глаголю. Но не пріемлю, чтобъ коммерсантъ Деруновъ именовалъ себя апостоломъ собственности, хотя онъ до того простеръ свое усердіе въ этомъ направленіи, что всякую попытку крестьянъ получить за пудъ хлѣба 60 копеекъ, вмѣсто предлагаемой имъ, Деруновымъ, полтины, считаетъ за бунтъ и потрясаніе. Третье знамя: государство. Пріемлю и нимало вопреки глаголю. Но не пріемлю, чтобъ Ѳеденька Неугодовъ слылъ за поборника государственнаго союза за то только, что онъ видитъ въ государствѣ пирогъ, къ которому ловкіе люди могутъ во всякое время подходить и закусывать.

2) Таковы знамёна, которыя характеризуютъ мое внутреннее поведеніе. Что же касается до поведенія внѣшняго, то знамя, до этого относящееся, гласитъ тако: не дѣлать того, что закономъ возбраняется.

3) О прочихъ знамёнахъ умалчиваю, но думаю, что и сказаннаго выше достаточно, чтобы жить въ мирѣ съ самимъ собой и не опасаться любопытствующихъ.

Первое сентября.

II въ августѣ отдѣлъ внутренней политики остался незамѣщеннымъ... Слава Богу! слава Богу!

Въ первой половинѣ августа прибылъ ко мнѣ другой

племянникъ, Саша Ненарочный, молодой человѣкъ лѣтъ восемнадцати. Пріѣхалъ, шаркнулъ ножкой и бросился отыскивать «дяденькину ручку». Но такъ какъ я рѣшился скорѣе вступить въ рукопашную, нежели довести родственныя изліянія до такой восторженности, то Саша кончилъ тѣмъ, что влѣпилъ мнѣ безе въ самыя уста. Затѣмъ сейчасъ же принесъ двѣ банки варенья и извинился, что не принесъ отварныхъ рыжиковъ: «маменька послѣ пришлетъ».

Саша устранилъ угнетавшее меня одиночество—ужъ это одно было заслугой съ его стороны. Я вообще бываю доволенъ, когда въ минуты уныніи меня посѣщаютъ родственники. Въ счастіи я ими не особенно дорожу, но въ несчастіи—не нарадуюсь. Даже если кадетъ-племянникъ изъ провинціи «погостить» пріѣдетъ—и тотъ словно рублемъ подаритъ. Съ пріѣздомъ его и въ квартирѣ дѣлается какъ-то люднѣе, и шороховъ таинственныхъ слышится меньше, и свойственный одиночеству заговорщическій характеръ несомнѣнно смягчается. Словомъ сказать, вся квартира, въ полномъ своемъ составѣ, внушаетъ болѣе довѣрія...

Но прежде, нежели продолжать, разскажу вкратцѣ, какимъ образомъ я пріобрѣлъ племянника въ лицѣ Сашеньки Ненарочнаго.

У tante Babette были двѣ дочери: одна—кузина Nathalie, съ которой читатель уже знакомъ, младшая и любимочка; другая—кузина Маша, старшая и нелюбимая. Въ сущности, выраженіе: «нелюбимая», въ примѣненіи къ tante Babette, слишкомъ жестоко. Babette никого «не любить» не могла, но у кузины Маши былъ такой большой носъ, что maman ея не могла его видѣть, чтобы не воскликнуть: «ахъ, несчастная!» Поэтому Nathalie съ малыхъ лѣтъ предназначалась для блестящей партіи (читатель знаетъ, что она и дѣйствительно обрѣла таковую въ лицѣ штабсъ-ротмистра Неугодова), а Маша ровно ни для чего не предназначалась. Такъ что, когда статскій совѣтникъ Ненарочный присватался къ ней, то tante Babette совсѣмъ растерялась и даже воскликнула: «bonté du Ciel! но посмотрите же, какой у нея... носъ!» Однако Ненарочный оставилъ это предостереженіе втунѣ и, пребывъ твердымъ въ своихъ матримоніальныхъ намѣреніяхъ, взялъ Машу, какъ ее создалъ Богъ. И, какъ увидимъ ниже, не ошибся въ разсчетѣ.

Ненарочный былъ первымъ родоначальникомъ своей фамиліи и слѣдовательно не могъ похвалиться знатностью.

Носился слухъ, что нѣкогда Аракчеевъ, во время объѣзда новгородскихъ поселеній, остановившись на почтовой станціи, имѣлъ разговоръ съ смотрительскою дочерью, и что послѣдствіемъ этого разговора былъ маленькій рабъ Божій Иванъ Разумѣется, прослѣдовавши на ближайшую станцію, суровый временщикъ утратилъ всякое воспоминаніе о недавнемъ грѣхопаденіи, но, должно-быть, рабъ Божій Иванъ въ рубашкѣ родился, потому что даже волнамъ временщичьяго забвенія не удалось поглотить его. Когда молодая мать, годъ спустя, явилась въ Петербургъ съ младенцемъ въ рукахъ, то Аракчеевъ не только не разсвирѣпѣлъ, какъ этого слѣдовало бы ожидать, судя по его чину, но явилъ безпримѣрное милосердіе: мать опредѣлилъ на кухню судомойкой, а сына взялъ въ комнаты и выхлопоталъ ему гербъ. Въ гербѣ этомъ на золотомъ полѣ была изображена почтовая станція съ верстовымъ столбомъ; сбоку столба—треугольная шляпа съ плюмажемъ, изъ котораго выходитъ протягивающій ручки младенецъ, а внизу—алая извивающаяся лента, на которой начертанъ девизъ:

Хоть созданъ ненарочно,
Зато довольно прочно.

Въ согласность съ этимъ девизомъ Ваня—по крестному отцу Алексѣичъ—и фамилію получилъ: Ненарочный.

Прошло нѣсколько лѣтъ. Аракчеевъ палъ: Но Ваня и изъ этого крушенія вышелъ невредимъ. Его призрѣлъ коллежскій совѣтникъ Стрекоза, бывшій наперсникъ Аракчеева, который явно хотя и отрекся отъ него при паденіи, но втайнѣ остался ему преданнымъ. Онъ выкормилъ и обучилъ Ненарочнаго, и когда послѣдній окончилъ университетскій курсъ, то опредѣлилъ его въ департаментъ разныхъ податей и сборовъ. Тамъ Иванъ Алексѣевичъ въ скоромъ времени предъявилъ такіе таланты по части сборовъ, что лѣтъ черезъ десять былъ опредѣленъ совѣтникомъ питейнаго отдѣленія въ пензенскую казенную палату.

Въ то время совѣтники питейныхъ заведеній были люди солидные и уважаемые. Мѣста эти не считались особенно блестящими въ смыслѣ борьбы съ внутренними врагами; но такъ какъ съ ними сопрягалось представленіе о сокровищѣ, то всякая открывающаяся вакансія привлекала цѣлыя толпы соискателей. Питейный совѣтникъ игралъ въ губернскомъ обществѣ роль: онъ былъ непремѣннымъ старшиной мѣстнаго клуба; на его обязанности лежало составленіе для губернатора партіи въ вистъ; онъ бесѣдовалъ

съ архіереемъ о безсмертіи души и, въ довершеніе всего, пользовался секретнымъ довѣріемъ мѣстнаго штабъ-офицера, который по секрету сообщалъ ему, что главная его секретная обязанность заключается въ томъ, чтобъ секретно утирать слезы. Сверхъ того, онъ любилъ творить тайную милостыню, то-есть правою рукою подавалъ нищему грошъ, а лѣвую оставлялъ въ заблужденіи, якобы данъ рубль. И въ концѣ года, подведя итогъ накопленному сокровищу, клалъ оное въ опекунскій совѣтъ для приращенія изъ процентовъ.

Въ такомъ видѣ сложился типъ совѣтника питейнаго отдѣленія въ моментъ учрежденія этой должности и въ томъ же видѣ сохранился онъ и въ моментъ упраздненія оной.

Таковъ же былъ и Иванъ Алексѣичъ Ненарочный.

Онъ взялъ Машу даже безъ прилагательнаго, ибо провидѣлъ, что въ этой дѣвицѣ будетъ толкъ. Ему не красота была нужна,—онъ видѣлъ въ женщинѣ лишь посланное судьбою орудіе на случай тѣлеснаго озлобленія,—а домовитая хозяйка, которая взяла бы въ руки бразды домашняго управленія, а ему дала бы возможность всецѣло и безъ помѣхи отдаться присовокупленіямъ и созиданіямъ. И отъ времени до времени рожала бы дѣтей. Маша все такъ точно и выполнила. Хозяйничала отлично и, сверхъ того, въ теченіе двадцати лѣтъ супружества принесла мужу семь человѣкъ сыновъ. Такъ что когда откупа были упразднены, то Иванъ Алексѣичъ могъ съ легкимъ сердцемъ произнести: «нынѣ отпускаеши»—и подать въ отставку.

Ненарочные и Неугодовы, какъ и слѣдуетъ добрымъ родственникамъ, находились въ постоянной враждѣ. Неугодовы гордились своимъ аристократизмомъ и совершенно справедливо полагали, что если бы при такой блестящей фамиліи да сокровище Ненарочныхъ, то это было бы имъ какъ разъ въ самую пору. Ненарочные не гордились, но искательства не выражали, а держали себя осторожно, какъ бы съ минуты на минуту ожидая, что при малѣйшей оплошности—Nathalie непремѣнно попроситъ у нихъ денегъ. Въ послѣднее время однако-жъ со стороны Ненарочныхъ сдѣланы были серьезныя попытки къ сближенію, такъ какъ проницательный взоръ Ивана Алексѣича отлично усмотрѣлъ, что въ лицѣ Ѳеденьки на неугодовскомъ горизонтѣ восходитъ блестящая звѣзда.

Итакъ, ко мнѣ явился Саша Ненарочный. Уже по прежн-

нимъ письмамъ кузины Маши я зналъ этого молодого человѣка съ отличной стороны. «Саша,—писала она мнѣ не разъ (очевидно, впрочемъ, что письма сочинялъ Иванъ Алексѣичъ, а она только переписывала):—отмѣнно радуетъ мое родительское сердце. Онъ почтителенъ, прилеженъ, аккуратенъ и нимало не сердится на младшихъ братцевъ, когда сіи послѣдніе просятъ его что-нибудь объяснить имъ изъ ариѳметики. За всякую ласку благодаренъ, тетрадки содержитъ въ порядкѣ и, что̀ всего пріятнѣе, никому не довѣряетъ своего форменнаго мундирчика, но самъ оный чиститъ». И дѣйствительно, онъ предсталъ предо мной именно такимъ, какимъ его описывала Маша. Тѣлосложеніе обстоятельное, румянецъ во всю щеку, ротъ сердечкомъ, глаза веселые, но не столько вслѣдствіе свойственной юношескому возрасту шаловливости, сколько вслѣдствіе выработаннаго убѣжденія, что унылое выраженіе можетъ огорчить старшихъ и благодѣтелей.

Вообще при взглядѣ на него рождалась увѣренность, что этотъ юноша никому своего мундирчика не повѣритъ, но самъ его вычиститъ, а въ то же время вытвердитъ и урокъ. Мнѣ кажется, что именно таковъ былъ Аракчеевъ въ молодости, аккуратный, равно готовый принять и орденъ и затрещину и постоянно рѣшающій въ мысляхъ не очень сложную ариѳметическую задачу. Даже лобъ у Сашеньки былъ Аракчеевскій: узкій, слегка какъ бы угнетенный.

Какъ я уже сказалъ, онъ тотчасъ же явилъ безпримѣрную ловкость. Не успѣвъ поймать мою «ручку», облобызалъ меня въ уста и потомъ отъ времени до времени сталъ украдкой поцѣловывать въ плечико. Сначала это меня безпокоило, но потомъ думаю: а можетъ-быть, онъ этимъ способомъ прицѣнивается, что стоитъ суконце на моемъ сюртукѣ?

Однимъ словомъ, Сашенька сдѣлалъ на меня такое пріятное впечатлѣніе, что будь я не старикъ, а старушка со средствами, то, кажется, и цѣны бы ему не нашелъ.

— Кончилъ гимназію?—спросилъ я его.

— Кончилъ, дяденька, и удостоенъ первымъ-съ.

— Отлично! Это тебѣ дѣлаетъ честь, что родителей радуешь!

Я обнялъ его и вдругъ, какъ бы проникшись дидактическою сферой, которую принесъ съ собой Сашенька, присовокупилъ:

— А вотъ тѣмъ дѣтямъ, кои вмѣсто радостей приносятъ родителямъ лишь огорченія, это чести не дѣлаетъ.

Не успѣлъ я раскрыть ротъ отъ удивленія, слыша таковую змѣиную мудрость, изъ устъ моихъ исходящую, какъ Саша ужъ воспользовался ею, чтобъ поддержать разговоръ на философской высотѣ.

— Именно таково и мое, любезный дядюшка, убѣжденіе,—скромно отвѣтилъ онъ:—и ежели вы дозволите мнѣ высказать его вполнѣ...

— Говори, любезный другъ! не стѣсняйся!

— Я полагаю, милый дяденька, что прежде всего мы, дѣти, обязаны любить Бога, создавшаго насъ всѣхъ, а непосредственно затѣмъ—родителей, начальниковъ и добрыхъ родственниковъ. Таковы правила, въ которыхъ воспитывался я и всѣ мои братцы.

— Прекрасныя правила! продолжай!

— Потому что, ежели мы не будемъ любить Бога, то сдѣлаемся черезъ это безбожниками, и тогда не къ кому намъ будетъ, въ случаѣ несчастія, обращаться съ молитвой о помощи. Если же не будемъ любить и почитать родителей, то послѣдніе могутъ за это лишить насъ своихъ милостей. Что же касается до начальниковъ, то вы сами, любезный дядюшка, знаете, можно ли ихъ не любить?

— Еще бы!

— Обладая столь твердыми правилами, я стараюсь по возможности не отступать отъ нихъ. А ежели и затѣмъ мнѣ, какъ человѣку, не свободному отъ слабостей, случается возбудить противъ себя справедливый родительскій гнѣвъ, то я стараюсь чистосердечнымъ раскаяніемъ загладить свою вину и тѣмъ предотвратить угрожающія мнѣ въ будущемъ бѣдствія!

— Ахъ, голубчикъ!

— Я и васъ, дяденька, люблю,—прибавилъ онъ, слегка застыдившись.

— Меня-то за что?

— Во-первыхъ, потому, что я вообще всѣхъ родственниковъ обязанъ любить, а во-вторыхъ...

— Отлично! поцѣлуемся—и шабашъ!

Я поцѣловалъ его и, цѣлуя, думалъ: а еще говорятъ, что нынѣшніе молодые люди дерзкіе—анъ вонъ онъ какой! какъ огурчикъ!

— Ну, а въ Петербургъ зачѣмъ пріѣхалъ? Въ здѣшній университетъ, что ли, поступить хочешь?

— Нѣтъ, я буду оканчивать образованіе въ московскомъ университетѣ: поближе къ родителямъ. Въ Петербургъ-же я пріѣхалъ, во-первыхъ, для того, чтобъ представиться вамъ, добрый дяденька, а во-вторыхъ, потому, что папенька полагаетъ, что для меня поѣздка эта будетъ не безполезна. Когда я выдержалъ послѣдній экзаменъ, то папенька подарилъ мнѣ вотъ эти часы (Саша вынулъ изъ кармана хорошенькіе часики и показалъ ихъ мнѣ) и сказалъ: «теперь ты уже юноша, и необходимо тебѣ самому регулировать свое время—не все подъ родительскимъ крыломъ жить»... Признаюсь вамъ, любезный дяденька, мнѣ было ужасно больно слышать послѣднія слова...

Говоря это, онъ былъ слегка взволнованъ, и на глазахъ его блеснули слезы.

— Ну, что! не плачь! Богъ милостивъ... какъ-нибудь!

— Нѣтъ, дяденька, это очень... никогда я этой минуты не забуду. Зачѣмъ папенька сказалъ такія жестокія слова? Они такъ меня тронули, что я въ первый разъ въ жизни осмѣлился попенять ему: «Зачѣмъ,—сказалъ я,—вы изволили упомянуть о разлукѣ, милый папенька? Если вамъ угодно было признать, что временная разлука наша необходима, то воля ваша будетъ выполнена, но зачѣмъ же огорчать мое сердце предположеніями о какомъ-то самовольномъ съ моей стороны регулированіи времени!» Къ счастью, однако-жъ, все объяснилось, и папенька не только не забранилъ меня, но очень милостиво продолжалъ свои наставленія. «А теперь,—сказалъ онъ:—поѣзжай въ Петербургъ! Во-первыхъ, тебѣ необходимо отрекомендоваться добрымъ роднымъ; во-вторыхъ, ты оказался вполнѣ достойнымъ вкусить нѣкоторыхъ столичныхъ удовольствій; а въ-третьихъ, да послужитъ тебѣ эта поѣздка испытаніемъ, и ежели ты и изъ столичныхъ искушеній выйдешь невредимымъ, то это будетъ означать, что ты уже вполнѣ заслужилъ аттестатъ зрѣлости. Объ одномъ прошу: какъ можно остерегайся ужасной болѣзни, которая, при дурномъ лѣченіи, можетъ навѣкъ лишить человѣка свойственнаго ему благообразія. А впрочемъ, дядя тебѣ все это лучше меня объяснитъ!»

— Гм!.. Стало-быть, на меня возлагается обязанность водить тебя по мытарствамъ?

— Ахъ, дяденька! Представьте себѣ, папенька точно угадалъ, что вы сдѣлаете это предположеніе! «Однако опасаюсь,—сказалъ онъ маменькѣ:—какъ бы братецъ не по-

думалъ, что мы предназначаемъ ему родь искусителя?» Но маменька, зная вашу душу, положительно вооружилась противъ этой мысли.

— И превосходно сдѣлала. Дай, я еще разъ тебя поцѣлую.

Выполнивши это, я однако-жъ спохватился: все поцѣлуи да поцѣлуи—не слишкомъ ли это ужъ однообразно? Поэтому я вынулъ красную ассигнацію и, подавая ему ее, присовокупилъ:

— А чтобы доказать тебѣ, что я люблю не ложно—вотъ десятирублевенькая. Это тебѣ на столичныя искушенія.

— Благодарю васъ, дяденька. Хотя, по милости папеньки, у меня есть и деньги, но вашъ подарокъ мнѣ дорогъ, какъ знакъ милостиваго ко мнѣ расположенія. Теперь я, кажется, вполнѣ обезпеченъ. Папенька мнѣ двѣсти рублей на дорогу и на удовольствія пожаловалъ, да маменька двадцать рублей—это ужъ когда я въ вагонъ садился, въ видѣ сюрприза. А вотъ теперь и вы, милый дяденька. Надѣюсь, что до пріѣзда въ Москву этого будетъ достаточно.

— Еще бы! здѣсь тебѣ ничего не нужно, а что касается до поѣздки въ Москву, то за твой умъ тебя любой кондукторъ задаромъ въ вагонѣ постоять пуститъ! Съ чего же однако-жъ мы искушенія наши начнемъ?

— Я думаю, дяденька, въ кондитерскую, съ вашего позволенія, сходить.

— Въ кондитерскую—это ты всегда успѣешь. А мы вотъ какъ сдѣлаемъ: отобѣдаемъ, отдохнемъ по-христіански, а потомъ и закатимся на всю ночь въ Демидронъ. Тамъ ты сразу увидишь, въ какомъ смыслѣ тебѣ понимать себя надлежитъ.

— Демидронъ... это что же такое, дяденька?

— Это, мой другъ, jardin des familles russes такъ называется, то-есть садъ, въ которомъ русскій семейный союзъ преимущественное осуществленіе для себя находитъ. «Штучку» я тебѣ тамъ одну покажу—пальчики оближешь!

— «Штучка»—это не то ли самое, что папенька «сиренами» называетъ? Впрочемъ, даже и въ этомъ смыслѣ я не отказываюсь слѣдовать вашему указанію, любезный дяденька, ибо надѣюсь съ честью выйти изъ предстоящаго испытанія. Одно только позволю себѣ доложить вамъ: ловко ли будетъ мнѣ появиться въ Демидронѣ, прежде чѣмъ я представлюсь братцу Ѳедору Семенычу?

— Неугодова едва ли ты скоро увидишь: онъ нынче въ десяти комиссіяхъ засѣдаетъ.

— Но въ такомъ случаѣ отъ кого же мнѣ о здоровьѣ тетеньки Натальи Петровны узнать?

— И это мудрено. Nathalie была здѣсь недавно и опять уѣхала въ Парижъ. Да она ужъ не Неугодова теперь, а Дроздова. Во второй разъ замужъ вышла.

— Я, дяденька, съ вашего позволенія, ей въ Парижъ напишу; неловко же не поздравить тетеньку съ вступленіемъ въ новую жизнь. Вѣдь для письма въ Парижъ семикопеечной марки достаточно?

Повторяю: чѣмъ больше я знакомился съ этимъ юношей, тѣмъ больше онъ меня очаровывалъ. Но такъ какъ и очарованію полагается извѣстный предѣлъ, то я былъ очень доволенъ, когда Саша спросилъ позволенія на время оставить меня, чтобы написать письма къ родителямъ, а также къ тетенькѣ Натальѣ Петровнѣ. Разумѣется, я снабдилъ его всѣми письменными принадлежностями и былъ очень утѣшенъ, прочитавъ въ его глазахъ рѣшимость, не отказывая себѣ въ изліяніи чувствъ, предаваться оному однако-жъ лишь настолько, чтобы письмо вѣсило не болѣе одного лота.

За обѣдомъ мы опять сошлись, и бесѣда возобновилась.

— Надѣюсь, что ты не вмѣшиваешься во внутреннюю политику?—спросилъ я.

— Я, дяденька, всегда старался стоять въ сторонѣ отъ обольщеній, и до сихъ поръ Богъ помогалъ мнѣ въ этомъ. Тѣмъ не менѣе не смѣю не сознаться передъ вами, что однажды и я чуть-чуть на каторгу не попалъ.

Я даже подскочилъ при этомъ извѣстіи.

— Что ты!!

— Мнѣ было тогда тринадцать лѣтъ, и вдругъ одинъ изъ товарищей, Сипко, говоритъ: «пойдемъ, Саша, Селиксу водновать!» — это село такъ называется, недалеко отъ Пензы. Конечно, я по неопытности согласился. Купили мужицкіе портки, бороды фальшивыя подвязали—и отправились водновать. И только-что, знаете, приступили, какъ намъ сейчасъ же руки назадъ—и маршъ къ становому! Ну, разумѣется, становой зналъ папеньку и отправилъ меня домой.

— Ахъ, бѣдный ты, бѣдный! Хорошо, что Богъ спасъ!

— Я, дяденька, въ то время такъ испугался, что человѣкъ съ пятьсотъ оговорилъ. Даже маменьку назвалъ-съ...

— Ахъ!

— Разумѣется, маменька легко оправдалась, но нѣкоторые, какъ я потомъ освѣдомился, получили достойное возмездіе.

— Правильно!

— Я, дяденька, объ этомъ такъ разсуждаю; кто что посѣетъ, то и пожнетъ. Никто не въ правѣ претендовать на судьбу, ибо люди, будучи одарены отъ Бога свободной волей, суть сами единственные виновники тѣхъ злоключеній, которыя ожидаютъ ихъ въ сей жизни и въ будущей.

— Однако вотъ ты ходилъ волновать Селиксу, а вывернулся-таки?

— Я, дяденька, потому вывернулся, что чистосердечно все разсказалъ-съ. А сверхъ того всякій очень хорошо понималъ, что и папенька не оставитъ меня безъ взысканія.

— А больно папенька высѣкъ?

— Это случилось тому назадъ пять лѣтъ, и папенька такъ милостивъ, что никогда не напоминаетъ мнѣ объ этомъ. Я же, съ своей стороны, могу сказать одно: съ тѣхъ поръ я никогда въ политику не вмѣшиваюсь.

Прекрасный, прекрасный, прекрасный юноша! Правда, онъ, повидимому, не очень изобрѣтателенъ, и рѣчь его положительно отзывается какою-то прѣлью, но, по моему мнѣнію, для родительскаго сердца это даже лучше. Далеко ли пойдетъ Сашенька въ будущемъ, или застрянетъ въ самомъ началѣ жизненнаго пути въ должности регистратора—это вопросъ, на который я не берусь отвѣтить. Но сдается, что ежели начальство безпристрастнымъ окомъ взглянетъ на его усилія, то оно навѣрное дастъ ему возможность добраться до чего-нибудь тепленькаго. Тѣмъ больше, что папенька однажды уже высѣкъ его, и, стало-быть, совсѣмъ невѣроятно, чтобъ онъ вновь рѣшился волновать Селиксу. Высѣчь во благовременіи—вотъ послѣднее слово педагогики, и благо тѣмъ, которые испытаютъ на себѣ спасительную силу его! Скорѣе можно ожидать продерзостныхъ поступковъ отъ такого превыспренняго юноши, какъ Ѳеденька Неугодовъ, и—кто знаетъ?—можетъ-быть, именно благодаря тому и можно ожидать, что Nathalie никогда не сѣкла его, а только грозилась посадить въ смирительный домъ. Благодаря своей превыспренности, Ѳеденька сдѣлался честолюбивъ и какъ-то болѣзненно чувствителенъ ко всѣмъ

вопросамъ, до прохожденія службы относящимся; такъ что ежели, напримѣръ, обойти его къ празднику наградой, то онъ, пожалуй, будетъ способенъ и на потрясеніе основъ пойти. Развѣ мало такихъ случаевъ бывало? Я лично зналъ одного статскаго совѣтника, который ждалъ къ Пасхѣ Владиміра 3-ей, а получилъ корону на св. Анны — такъ онъ прямо съ того и началъ: «Что такое государство? — говоритъ:—покажите мнѣ его! Если-бъ оно было не мнѣ, то я бы видѣлъ его, или по малой мѣрѣ ощущалъ бы на себѣ его дѣйствіе! А то—помилуйте!—корона на Аннушку! обрадовали!»

Вотъ такихъ-то превыспренностей и нельзя отъ Сашеньки ожидать. Прекрасный, прекрасный, прекраснѣйшій молодой человѣкъ!

— И отлично дѣлаешь, что не вмѣшиваешься,—похвалилъ я его:—потому что политика—это что такое? Одинъ разъ пошалилъ — сошло съ рукъ, а въ другой разъ — и поминай, какъ звали! Вотъ какова, мой другъ, наша политика!

— Я это знаю, дяденька, хотя собственно въ примѣненіи ко мнѣ заблужденіе мое принесло мнѣ гораздо больше удовольствія, нежели непріятностей. Мнѣ надавали тогда столько лакомствъ, что даже когда я подѣлился съ братцами—и тутъ оказался избытокъ. А сверхъ того въ нашемъ «Справочномъ Листкѣ» была напечатана статья: «Спасительные плоды отеческаго непопустительства», въ которой авторъ, отдавая справедливость папенькиной строгости, отозвался въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ и обо мнѣ.

— Вотъ какъ!

— Да, дяденька, это были минуты какого-то общаго энтузіазма, такъ что нашъ родной городъ прислалъ папенькѣ адресъ, въ которомъ, благодаря за искусное обращеніе на путь истинный заблуждающихся, поднесъ ему званіе почетнаго гражданина... Но что всего отраднѣе: недавно, уже за предѣлами родной губерніи, я вполнѣ убѣдился, что похвальный поступокъ никогда не останется безъ награды!

— Какъ! даже за предѣлы Пензенской губерніи проникла твоя слава?

— Представьте себѣ, по пріѣздѣ въ Рязань, я хотѣлъ взять билетъ для дальнѣйшаго слѣдованія, какъ вдругъ *подходитъ* ко мнѣ начальникъ станціи и спрашиваетъ:

«Не вы ли тотъ благородный молодой человѣкъ, который, по словамъ «Справочнаго Листка», будучи высѣченъ папенькой, откровенно разсказалъ, какъ было дѣло?» И когда я отвѣтилъ утвердительно, то онъ продолжалъ: «Въ такомъ случаѣ не трудитесь брать билетъ! Мы за особенную честь сочтемъ доставить васъ въ Москву безплатно!» Согласитесь, дяденька, что я имѣлъ полное право прослезиться, услыхавъ такую лестную для меня резолюцію.

— Помилуй, мой другъ, да если бы ты не прослезился, то просто поступилъ бы, какъ свинья!

— Но это еще не все-съ. Не успѣлъ я, по пріѣздѣ въ Москву, отъявиться на Страстной бульваръ, какъ мнѣ подарили «Полный греческо-русскій словарь»; а вслѣдъ затѣмъ общество ревнителей россійскаго благонравія задаромъ свозило меня въ одно изъ увеселительныхъ заведеній, гдѣ я слышалъ пѣніе г-жи Зориной.

— Надѣюсь, что ты и по этому случаю прослезился?

— Дяденька! могъ ли я иначе поступить?

Я слушалъ эти дѣтскія признанія, и сердце во мнѣ таяло. Признаюсь откровенно, въ мою голову даже заползла дерзкая и честолюбивая мысль. Ежели папа Ненарочный былъ удостоенъ отъ родного города званія почетнаго гражданина за то, что высѣкъ Сашеньку, то отчего же бы и мнѣ... Но, къ счастію, пріятное послѣобѣденное отяжелѣніе заставило меня отказаться отъ соотвѣтствующаго по сему предмету распоряженія.

Отдохнувши и напившись чаю, мы часовъ въ десять отправились въ Демидронъ.

Но тутъ послѣдовалъ цѣлый рядъ происшествій, до такой степени фантастичныхъ, что я ничѣмъ другимъ объяснить ихъ себѣ не могу, какъ развѣ тѣмъ, что отъ московскаго общества ревнителей россійскаго благонравія была разослана во всѣ петербургскія увеселительныя заведенія особая циркулярная телеграмма, извѣщающая о предстоящемъ пріѣздѣ въ Петербургъ благороднаго юноши, который, будучи высѣченъ папенькою, навсегда отказался отъ внутренней политики.

Уже при самомъ входѣ въ садъ меня поразила какая-то загадочная опрятность, вовсе несвойственная этому мѣсту. Затѣмъ начался рядъ сюрпризовъ. Прежде всего, когда мы подошли къ кассѣ, чтобъ взять билеты, намъ объявили, что насъ обоихъ велѣно пропустить даромъ, а товарищу

моему, сверхъ того, предоставляется даровой билетъ въ кресла и жетонъ на безвозмездное полученіе порціи чая. Когда же мы вошли въ садъ, то взоромъ нашимъ представилась слѣдующая картина: офиціанты въ бѣлыхъ галстукахъ, взявшись за руки, стояли шпалерой и сдерживали напоръ публики, жадно караулившей наше появленіе; оркестръ, усиленный нѣсколькими посторонними хорами, гремѣлъ маршъ на мотивъ изъ «Чижика»; нѣсколько поодаль виднѣлась, освѣщенная бенгальскимъ огнемъ, живая картина, изображающая аллегорическія фигуры Родительскаго Сѣченія, Раскаянія и Откровенности, у ногъ которыхъ корчилось и вздыхало на-смерть пораженное Обольщеніе, а наверху царилъ геній Благонравія. Не успѣли мы сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ навстрѣчу намъ, въ предшествіи околоточнаго надзирателя, вышелъ содержатель сада, сопровождаемый дѣвицами Филиппо и Салинасъ (обѣ были «на сей только разъ» одѣты въ трико, на подобіе древнихъ статуй), и прочиталъ Сашенькѣ адресъ. Въ этомъ адресѣ, разсказавъ подробно исторію сѣченія и его благотворныя послѣдствія, г. Егаревъ объявилъ, что Демидронъ считаетъ себя счастливымъ, поднося Сашенькѣ дипломъ на званіе почетнаго гражданина этого заведенія. При чемъ, объяснивъ, что званіе это влечетъ за собой право на безплатный входъ въ садъ и на безплатную же порцію чая — навѣчно! — и вручая соотвѣтствующіе документы, присовокупилъ:

— Почтеннѣйшему же родителю вашему передайте, что, не имѣя возможности чествовать его лично, мы сдѣлали распоряженіе, дабы одна изъ шансонетокъ сегодняшняго репертуара была посвящена прославленію родительской спасительной строгости (дѣйствительно, шансонетка эта была въ свое время выполнена, и когда рѣчь шла о спасительной строгости, то исполнительница, дѣвица Филиппо, такъ выразительно хлопала себя по ляжкѣ, что публика просто-на-просто выла).

Кончивши привѣтствіе, г. Егаревъ прослезился, а въ отвѣтъ ему прослезился и Сашенька. Но что было всего неожиданнѣе—это роль, которая выпала въ этотъ вечеръ на долю дѣвицы Филиппо. Въ началѣ церемоніи поднесенія адреса Сашенька былъ такъ отуманенъ, что все свое вниманіе исключительно сосредоточилъ на г. Егаревѣ. Но когда адресъ былъ уже врученъ, то виновникъ торжества, облобызавшись съ г. Егаревымъ, долженъ былъ, по правиламъ

церемоніала, облобызать и его ассистентокъ. Но едва онъ приступилъ къ этому обряду, какъ изъ груди его вдругъ вырвался пронзительный крикъ...

Что же оказалось! Что дѣвица Филиппо нѣкогда жила въ семействѣ Ненарочныхъ въ качествѣ наставницы и первая посѣяла въ сердцѣ Сашеньки сѣмена благонравія! Вотъ какими загадочными и даже, можно сказать, непозволительными путями ведутъ насъ судьбы для выполненія своихъ благихъ замысловъ.

— Eh bien, morveux, es-tu content?—спросила очаровательница послѣ первыхъ горячихъ привѣтствій признательности и тутъ же, вынувъ изъ-за пазухи дипломъ на безпрепятственный входъ за кулисы театра, вручила его виновнику торжества.

Я цѣлый вечеръ ходилъ какъ въ туманѣ. Я гордился моимъ юнымъ другомъ и чувствовалъ, что его торжество отчасти простирается и на меня. Хотя мнѣ не дали ни даровой билета въ кресла, ни права на полученіе порціи чая, но все-таки пустили въ садъ даромъ, а чаемъ, въ порывѣ великодушія, угостилъ меня Сашенька — тоже даромъ. Сверхъ того я понималъ, что своимъ присутствіемъ въ моей квартирѣ онъ, такъ сказать, обезпечивалъ мою жизненную несмѣняемость; а такъ какъ для меня это очень важно, то я и началъ даже опасаться, чтобъ какъ-нибудь его отъ меня не сманили. Поэтому я съ живѣйшимъ безпокойствомъ слѣдилъ, какъ нѣкоторые вышедшіе изъ лѣтъ отставные дѣйствительные статскіе совѣтники, окруживъ его, наперерывъ другъ передъ другомъ потчевали сластями. Но безпокойство мое превратилось въ настоящій испугъ, когда, по окончаніи представленія, къ намъ подошла дѣвица Филиппо и стала уговаривать Сашеньку, чтобъ онъ поступилъ въ труппу Демидрона. И очень возможно, что она успѣла бы въ своемъ сатанинскомъ намѣреніи, если-бъ преждевременно не оскорбила сыновнихъ чувствъ Сашеньки, выразившись объ кузинѣ Машѣ: «ta vielle carcasse de mère». Такой черезчуръ откровенный отзывъ оскорбилъ юношу, и вслѣдствіе этого онъ не далъ положительнаго отвѣта, а только обѣщалъ подумать.

Словомъ сказать, я успокоился только тогда, когда мы уже поздно ночью возвращались на извозчикѣ домой. Вплоть до самаго Невскаго мы молчали: онъ — потому что трепеталъ подъ наплывомъ новыхъ ощущеній, я — потому что не хотѣлъ нескромнымъ словомъ потревожить сладостное

чувство, охватившее все его существо. Но на углу Большой Морской и Невскаго онъ не выдержалъ и съ какою-то стыдливой нѣжностью обнялъ меня.

— Ахъ, дяденька! какъ я счастливъ! какъ я счастливъ!— произнесъ онъ.

Я хотѣлъ ему многое возразить, но сдержался. И только когда мы поровнялись съ Милютиными лавками, я сказалъ:

— Другъ мой! не увлекайся! Популярность, конечно, соблазнительна, но имѣй въ виду, что всякая популярность, хоть бы она свила себѣ гнѣздо въ Демидронѣ, непремѣнно источаетъ изъ себя ядъ. И этотъ ядъ, ежели не принять противъ него мѣръ...

Но онъ не далъ мнѣ докончить и, поцѣловавъ меня въ плечико, произнесъ:

— Благодарю васъ, добрый дяденька! Ваши слова... отрезвили меня! Я... не боюсь больше!

И дѣйствительно, послѣ этого мы благополучно воротились домой и разошлись каждый по своимъ комнатамъ.

Тѣмъ не менѣе я провелъ безпокойную ночь. Какъ ни благонравенъ Сашенька, думалось мнѣ, но подобныя торжества могутъ хоть кого сбить съ толку. Слава и популярность — вотъ двѣ вещи, наиболѣе соблазнительныя и въ то же время наиболѣе ядовитыя. И обѣихъ ихъ Сашенька достигъ разомъ, въ одинъ вечеръ, достигъ легко, безъ всякихъ усилій, благодаря только тому, что папенька благовременно его высѣкъ! Какъ бы онъ не изнемогъ, если то же явленіе повторится два дня сряду (мы предполагали на другой день посѣтить Крестовскій островъ). Поэтому я рѣшился нѣсколько измѣнить программу нашихъ увеселеній и сначала повести моего юнаго друга въ Зоологическій садъ, чтобы познакомить его съ болѣе отрезвляющимъ зрѣлищемъ кормленія звѣрей и съ зулусами. А чтобы придать этому столичному искушенію больше разнообразія, предположилъ, сверхъ того, сводить Сашеньку въ кондитерскую братьевъ Назаровыхъ и угостить мороженымъ. Въ этихъ размышленіяхъ застала меня утренняя заря, и только тогда я забылся тревожнымъ сномъ.

На утро я сообщилъ о моихъ рѣшеніяхъ Сашенькѣ, и онъ вполнѣ ихъ одобрилъ. И вдругъ онъ ошеломилъ меня вопросомъ:

— А до Зоологическаго сада не позволите ли вы мнѣ, *дяденька*, сходить къ Луизѣ Селиверстовнѣ?

По пылающимъ его щекамъ я догадался, что рѣчь идетъ о дѣвицѣ Филиппо, и сердце мое невольно сжалось.

— Послушай, мой другъ! — сказалъ я: — выполнимъ прежде первоклассную программу искушеній, а посѣщеніе хранительницы твоей юности отложимъ до конца твоего пребыванія въ здѣшней столицѣ! Ибо я знаю, что разъ ты попадешь къ Луизѣ Селиверстовнѣ—она ужъ не выпуститъ тебя! И тогда можетъ случиться, что родители, встревоженные твоимъ исчезновеніемъ, вынуждены будутъ вытребовать тебя въ Пензу по этапу. Сообрази самъ, не придется ли папенькѣ твоему вновь прибѣгнуть къ тѣмъ мѣрамъ, которыя хоть и доставили тебѣ популярность, но повтореніе коихъ можетъ однако-жъ поселить недоумѣніе въ сердцахъ твоихъ согражданъ!

Эта разсудительная рѣчь не очень-то пришлась по вкусу Сашѣ, потому что въ теченіе ея онъ нѣсколько разъ то краснѣлъ, то блѣднѣлъ. И будь я нѣсколько менѣе энергиченъ въ моихъ выводахъ, очень возможно, что воспоминаніе о Луизѣ Селиверстовнѣ, облеченной въ трико, пересилило бы мою нравоучительную прозу. Но когда я упомянулъ о возможности путешествія по этапу, онъ не могъ не признать моей правоты...

Увы! въ Зоологическомъ саду насъ ожидало торжество еще болѣе умилительное, нежели въ Демидронѣ. Едва подъѣхали мы къ рѣшеткѣ сада, какъ единодушный и радостный ревъ животныхъ и птицъ возвѣстилъ насъ, что мы—давно-желанные здѣсь гости. И дѣйствительно, совершилось нѣчто волшебное. Прежде всего выступилъ впередъ громадный жирафъ и отъ лица всѣхъ своихъ товарищей привѣтствовалъ Сашеньку краткою, но прочувствованною рѣчью. Затѣмъ послѣдовало общее представленіе. Мы поочередно переходили отъ тигра къ слону, отъ слона къ пернатымъ и вездѣ слышали самыя лестныя привѣтствія. Даже гіена вильнула хвостомъ въ знакъ сочувствія, а попугаи такъ просто-на-просто одурѣли и начали лопотать что-то совсѣмъ нескладное. Когда же звѣри умолкли, то вышелъ впередъ начальникъ зулусовъ (впослѣдствіи разъяснилось, что онъ въ то же время состоитъ арапомъ въ клубѣ художниковъ) и объяснилъ собравшимся гимназистамъ и кадетамъ значеніе настоящаго торжества. Онъ очень толково разсказалъ, въ какихъ обстоятельствахъ Сашенька былъ высѣченъ, какъ онъ самъ созналъ, что иначе поступить было невозможно, и вотъ за это теперь превоз-

несенъ; потомъ похвалилъ Ивана Алексѣича и въ заключеніе, обратившись ко мнѣ, присовокупилъ: «а ты, дядя, веселись!» Рѣчь эта возбудила такой энтузіазмъ, что когда вслѣдъ затѣмъ начался «большой танецъ зулусовъ», то вся присутствовавшая въ саду молодежь вмѣшалась въ ихъ игры, и такимъ образомъ самъ собою, безъ всякихъ мѣръ строгости, образовался истинно-семейный праздникъ.

Нѣтъ надобности упоминать, что ни съ меня, ни съ Сашеньки не было взято за входъ ни копейки, а Сашенькѣ, кажется, даже была вручена какая-то мелочь, когда мы садились на извозчика.

Справедливость требуетъ однако-жъ сознаться, что нынѣшнее торжество подѣйствовало на Сашу нѣсколько иначе, нежели вчерашнее. Вчера онъ былъ взволнованъ и стыдливъ; сегодня — самонадѣянъ и даже нѣсколько наглъ. Такъ что когда я напомнилъ ему:—Ну, вотъ, если-бъ ты давеча не послушался меня и ушелъ къ Луизѣ Селиверстовнѣ, то ничего бы этого не было!—то, къ величайшему моему изумленію, онъ совершенно развязно отвѣтилъ:

— Ахъ, дядя, я позабылъ и думать объ этихъ пустякахъ! Знаете ли, какая у меня теперь мысль: давайте-ка вмѣстѣ издавать газету!

И такъ какъ я, онѣмѣвъ отъ неожиданности, безмолвствовалъ, то онъ продолжалъ:

— Теперь самое время. Я популяренъ, и газета моя будетъ покупаться нарасхватъ. А за мною и вы незамѣтно пройдете!

«Ужели и я буду вынужденъ высѣчь его?»—мелькнуло у меня въ головѣ, но, по счастію, мы въ эту минуту поровнялись съ кондитерской братьевъ Назаровыхъ, и это лишило меня возможности сообщить моей мысли надлежащее развитіе.

Оказалось, что и Назаровымъ все было уже извѣстно, такъ что и тутъ съ насъ ничего не взяли за угощеніе. Этого мало: когда мы возвращались домой пѣшкомъ, то отъ самой Караванной за нами шла толпа, провожавшая насъ кликами: «вотъ благонравный юноша, который, бывъ высѣченъ папенькой, навсегда отказался отъ внутренней политики!»

Я не буду описывать дальнѣйшихъ тріумфовъ Сашеньки. Въ «Баваріи», въ «Ливадіи», на Крестовскомъ, въ «Эльдорадо», въ «Шато-де-Флёръ»—вездѣ онъ былъ дорогимъ и желаннымъ гостемъ, а изъ Озерковъ тамошнія дамочки даже прислали на имя кузины Маши телеграмму, въ кото-

рой благодарили ее за вступленіе въ бракъ, плодомъ котораго былъ столь благонравный сынъ.

Когда же исчерпался репертуаръ торжествъ въ увеселительныхъ заведеніяхъ, то на сцену выступили учрежденія и установленія.

Городская дума прислала Сашенькѣ патентъ на званіе почетнаго члена трактирной депутаціи.

Государственный банкъ далъ знать, что ежели у Сашеньки имѣются ветхія ассигнаціи, то онъ во всякое время можетъ перемѣнить ихъ на новенькія, при чемъ присовокупилъ, что по предъявленіи таковыхъ выдается изъ размѣнной кассы банка соотвѣтствующее количество рублей серебряною или золотою монетою.

Общество взаимнаго кредита увѣдомило, что Сашенькины деньги могутъ быть безъ опасенія помѣщены въ оном на текущій счетъ, такъ какъ отнынѣ растраты перестали быть для общества обязательными.

Изъ участка пришелъ запросъ: не приметъ ли Сашенька мѣсто паспортиста?

И проч., и проч.

Словомъ сказать, депутаціи смѣняли одна другую, и всякая выражала Сашенькѣ свое удивленіе и благодарность за то, что онъ, бывъ высѣченъ папенькой, навсегда отказался отъ внутренней политики...

Къ сожалѣнію, по мѣрѣ того, какъ росла Сашенькина слава, самъ онъ становился все болѣе и болѣе самонадѣяннымъ. Нервы его уже притупились, и развязность дошла до того, что онъ началъ требовать отъ депутатовъ какихъ-то статистическихъ свѣдѣній, и когда они, натурально, не умѣли удовлетворить этому требованію, то онъ откровенно называлъ ихъ фофанами. И къ довершенію всего, мысль объ изданіи газеты не только не оставила его, но даже вполнѣ въ немъ созрѣла, такъ что однажды онъ совсѣмъ уже грубо спросилъ меня:

— Что же, дядя? Надумались ли вы насчетъ газеты? Предупреждаю васъ, что если вы будете мямлить, то я рѣшусь издавать одинъ!

Тогда я понялъ, что времена созрѣли, и, призвавъ на помощь всю силу родственной любви, на которую способно мое сердце, воскликнулъ:

— Ну, Саша! воля твоя, а въ видахъ твоего же собственнаго спасенія я долженъ высѣчь тебя!

Первое октября.

Для писателя нѣтъ большей награды, какъ имѣть публику, которая настолько ему вѣритъ, что даже отъ времени до времени удостоиваетъ его непосредственнымъ съ собою общеніемъ. Я могу считать себя однимъ изъ такихъ счастливцевъ. Говорю объ этомъ не ради хвастовства, но именно потому, что горжусь. Увѣренность, что есть существо, которое откликается на вашу мысль и волнуется вашими волненіями, которое въ вашей работѣ видитъ не балагурство, а убѣжденность, которое понимаетъ, что служеніе литературѣ есть путь трудный и до извѣстной степени даже сопряженный съ калѣчествомъ,—это увѣренность, говорю я, не только пріятная, но почти равняющаяся наслажденію. Наглотавшись отъ представителей современнаго русскаго критиканства разныхъ эпитетовъ, въ родѣ «непочтительнаго хама», «балагура», «безсознательнаго шута», ругателя» и т. д., пріятно убѣдиться, что эпитеты эти не пользуются симпатіями въ средѣ читающей публики. И я воистину имѣлъ возможность убѣдиться въ этомъ, потому что за время моей литературной дѣятельности отношенія ко мнѣ читателей имѣли характеръ почти исключительно благожелательный и симпатичный. Только раза два (одинъ разъ по поводу «Дворянской хандры», въ другой разъ не помню, по какому поводу) неизвѣстные корреспонденты писали мнѣ: «замолчи... безполезный старикъ!» И, помнится, я даже серьезно задумался надъ этимъ предостереженіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ, не пора ли это занятіе прекратить? Вѣдь настоящаго-то слова, какъ ни бейся, все-таки не выговоришь, такъ не лучше ли попросту, безъ затѣй замолчать! Но, сообразивъ всѣ доводы pro и contra, я рѣшилъ иначе. Очень возможно, сказалъ я себѣ, что «старикамъ» дѣйствительно приличнѣе думать о смертномъ часѣ, нежели о собесѣдованіяхъ съ живыми людьми, но вѣдь для дѣла тогда только бываетъ полезно, что вышедшій изъ лѣтъ рабочій снимаетъ съ себя тягло, когда на мѣсто его уже явился новый рабочій, а пожалуй, и цѣлыхъ два. Но въ современной русской литературѣ мы видимъ явленіе совершенно противоположное: новыя рабочія силы появляются туго, а старыя сходятъ съ арены сами собой, естественнымъ путемъ. Стало-быть, ежели, сверхъ того, старые тягольники будутъ еще добровольно обрекать

себя на молчаніе, то, пожалуй, литература совсѣмъ теченіе свое прекратитъ, и останется одно цензурное вѣдомство. А сверхъ того и то еще сдается, что старики не все же одни праздныя слова говорятъ. Иногда выдается что-нибудь и не безполезное: воспоминаніе, справка, забытый, но не лишній по обстоятельствамъ, образъ и т. д. Ужели все это уже такой ненужный соръ, который заслуживаетъ только укора? Словомъ сказать, взвѣсилъ, разсудилъ и рѣшилъ дѣло въ свою пользу, то-есть сталъ продолжалъ писать.

Но какъ ни пріятно, что читатели удостоиваютъ меня довѣріемъ, а нѣкотовые даже приносятъ жалобы и требуютъ распоряженія по онымъ, нужно сознаться однако-жъ, что я не всегда и не все властенъ сдѣлать. Для меня это тѣмъ необходимѣе объяснить, что, не имѣя въ своемъ распоряженіи канцеляріи, я не могу быть вполнѣ исправнымъ корреспондентомъ и вслѣдствіе этого рискую подвергнуться упрекамъ въ нерадивости и бездѣйствіи власти, совершенно мною незаслуженнымъ, что̀ со мною однажды ужъ и случилось.

Я помню, въ періодъ такъ-называемаго обличительнаго направленія моей литературной дѣятельности, я былъ буквально заваленъ всякаго рода жалобами на несправедливыя и несогласныя съ интересомъ казны дѣйствія различныхъ вѣдомствъ. И жалобы эти́ были не голословныя, но поддерживались фактами, о которыхъ и сообщалось, на предметъ «отдѣлки» въ ближайшемъ «обличеніи». Къ сожалѣнію, однако-жъ, я никакихъ существенныхъ распоряженій къ удовлетворенію этихъ жалобъ сдѣлать не могъ. Съ одной стороны, факты, изолированные отъ жизненной обстановки, которая ихъ породила, представляютъ настолько скудный матеріалъ для воспроизведенія, что я совершенно не могъ воспользоваться ими для моихъ литературныхъ работъ, а съ другой—я не имѣлъ въ своемъ распоряженіи подчиненныхъ, при посредствѣ которыхъ могъ бы, по произволенію, возстановить нарушенное право. Поэтому мнѣ оставалось только указывать, что съ подобными жалобами надлежитъ обращаться не ко мнѣ, а въ правительствующій сенатъ.

Понятно однако-жъ, что такого рода указаніе не могло не подѣйствовать на моихъ довѣрителей разочаровывающимъ образомъ. Вѣроятно, многіе изъ нихъ сказали себѣ: эге! ты, видно, прытокъ, а не силенъ! а другіе прямо заподозрѣли, что я не то чтобы не могу, а не хочу, чтобы

лучше сказать, берегу свою шкуру. Пошла худая молва, и хотя публика продолжала благосклонно относиться къ моимъ трудамъ, но вѣра въ могущество обличительнаго дѣла уже прекратилась. А вмѣстѣ съ тѣмъ временно перемежилось и непосредственное общеніе между мною и моими довѣрителями.

Наступилъ періодъ затишья, въ продолженіе котораго я очень страдалъ. Довѣрители уже не обращались ко мнѣ съ жалобами, но попрежнему начали кому слѣдуетъ барашка въ бумажкѣ предлагать, приговаривая: «этакъ-то будетъ прочнѣе». Выходило, что я какъ будто только спуталъ ихъ: научилъ фордыбачить и кобениться, а какъ это фордыбаченье отстоять — средствъ не преподалъ. Ходили даже такіе слухи, что многіе, увлеченные моими обличеніями, до такой степени оплошали, что впослѣдствіи вынуждены были цѣлыми стадами отчуждать барановъ, лишь бы возстановить потрясенную фордыбаченьемъ репутацію. Все это, повторяю, серьезно огорчило меня, и хотя совѣсть моя оставалась спокойной, но я все-таки не счелъ себя въ правѣ не воспользоваться урокомъ.

Я сказалъ себѣ: донынѣ я обличалъ мздоимцевъ и казнокрадовъ, но, въ противоположность всѣмъ моимъ намѣреніямъ, произошло нѣчто совсѣмъ неожиданное: обличенія не только не прекратили мзду, но даже удесятерили размѣры ея. Правда, что одновременно и экономическія условія чиновническаго быта значительно осложнились, но главную причину увеличенія мзды все-таки составляло обличеніе. Опредѣляя размѣры предстоящаго приношенія, мздоимецъ говорилъ: «вотъ эта часть—по бывшимъ примѣрамъ, вотъ эта—по случаю увеличенія цѣнъ на съѣстные припасы, а вотъ эта—на случай обличенія». При чемъ послѣдняя доля навѣрное равнялась семи десятымъ общей суммы приношенія. Все это прямо указывало, что мздоимцевъ слѣдуетъ оставить въ покоѣ, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока между ними и обывателями не состоится полюбовное соглашеніе, которое на прочныхъ основаніяхъ установитъ ихъ взаимныя отношенія.

Сказано — сдѣлано. Но вопросъ: о чемъ же писать? Однажды мысль потревожена, надо дать ей пищу—какую? Вотъ тогда-то именно я и принялъ рѣшеніе, при которомъ остаюсь и до сихъ поръ: писать такъ, чтобы всѣмъ было одинаково пріятно, и мздоимцамъ, и партикулярнымъ людямъ.

Наша изба не одними мздоимцами красна; и между обывателями достаточно выжиг найдется, которых ежели начать перебирать, то навѣрное читатель останется доволен. Деруновъ, Неугодовъ, Разуваевъ, Балалайкинъ — какихъ еще героевъ надо! Отечество продаютъ, присныхъ обездоливаютъ, женъ и дѣвъ въ соблазнъ вводятъ—ужели такъ имъ это и простить?

А сверхъ того и еще: очень ужъ жить тяжело становится; почти противно. И не отъ того одного, что харчи съ каждымъ днемъ дорожаютъ, а и отъ того, что вообще какъ-то не по себѣ. Все думается: когда же нибудь однако она начнется, эта самая жизнь, а она вмѣсто того только пуще да пуще вглубь уходитъ. Пожалуй, такъ наконецъ схоронится, что и отыскать нельзя будетъ. Какъ хотите, а это тоже сюжетъ, о которомъ, хоть и безъ пользы, но все-таки можно поговорить...

Я знаю: критиканы, называющіе меня балагуромъ, сейчасъ же изловятъ меня.—Зачѣмъ, скажутъ, ты вклеилъ фразу: «хоть и безъ пользы»? вѣдь это ты сбалагурилъ?— Нѣтъ, я не сбалагурилъ: напротивъ, я совершенно искренно и серьезно убѣжденъ, что по нынѣшнему времени говорить можно именно только безъ пользы, то-есть безъ всякаго разсчета на какія-нибудь практическія послѣдствія. Но для чего-жъ тогда говорить? А для того, милостивые государи, чтобы отъ времени до времени напоминать самому себѣ, что даръ слова не есть—

Даръ напрасный, даръ случайный,

но дѣйствительное отличіе человѣка отъ безсловесныхъ Только для этого.

И вотъ, настроивши лиру, я началъ бряцать. И чѣмъ больше бряцалъ, тѣмъ шире растворялись сердца и прочнѣе возстановлялось интимное общеніе, которое временно пошатнулось подъ вліяніемъ тщеты обличеній. Должно-быть, въ сердцахъ читателей порядочно-таки наболѣло; должно-быть, и имъ по-горло надоѣли всѣ эти неуклонные осуществители самоновѣйшихъ принциповъ современности, эти проворные хищники, отъ которыхъ ни въ какую нору нельзя уйти, чтобъ они не заползли слѣдомъ и не присосались. Да надоѣлъ и самый жизненный процессъ. Не живешь, а въ оцѣпенѣніи движешься, словно выморочное имущество, которымъ всякій встрѣчный помыкаетъ, покуда

наконецъ не выйдетъ рѣшеніе: «имущество сіе, яко вымороч-ное, отписать въ казну».

Нѣтъ спора, что перспективы, на которыя я указываю, не весьма заманчивы; но коль скоро онѣ не отталкиваютъ, а привлекаютъ партикулярнаго человѣка, то это значитъ, что послѣдній самъ видитъ ихъ неизбѣжность, самъ болѣетъ тѣми же болями, какими болѣю и я. Нашъ недугъ общій, только онъ не для всѣхъ и не всегда ясенъ, и въ большинствѣ случаевъ онъ выражается лишь въ смутномъ сознаніи, что человѣка какъ будто не прибываетъ, а убываетъ. Но когда причины, обусловливающія тревогу, выясняются, то это не только не раздражаетъ, но даже въ извѣстной степени смягчаетъ причиняемое недугомъ страданіе. Ибо уже въ самомъ указаніи признаковъ недуга партикулярный человѣкъ почерпаетъ для себя косвенное облегченіе. Помилуйте! донынѣ онъ изнывалъ, какъ слѣпецъ, а отчасти даже суевѣрно трепеталъ передъ обстановкой своего недуга, считая ее неизбывною, отъ вѣковъ опредѣленною,—и вдругъ, благодаря объясненіямъ, смѣшенія эти устраняются! Явленія утрачиваютъ громадныя пропорціи, которыя такъ давили воображеніе, и размѣщаются въ томъ порядкѣ, въ какомъ имъ естественно быть надлежитъ... Ужели это не утѣшеніе? ужели не утѣшеніе сказать себѣ: сначала—ясность, а потомъ—что̀ Богъ дастъ!

. . . . . .

Въ сентябрѣ я получилъ цѣлую массу писемъ, которыя доказали мнѣ, что публика именно съ этой точки зрѣнія относится къ моимъ посильнымъ литературнымъ трудамъ. Моя хроника: «Первое августа», повидимому, произвела свое дѣйствіе, то-есть заставила даже такихъ упорныхъ противниковъ, какъ Тарасъ Скотининъ и Деруновъ, признать за моими писаніями нѣкоторую пользу. Изъ числа этихъ писемъ я позволяю себѣ привести здѣсь только нѣсколько наиболѣе характерныхъ.

«Руку, землякъ! Собственность признаёшь, семейство пріемлешь, государство чтишь—на что̀ лучше! Разумѣйте языцы—и разговору конецъ!

«Такъ, сударь, и надо. Ахъ, очень нынче нужно объ собственности почаще напоминать, ибо весьма на сей счетъ въ нашей мѣстности слабо стало. Даже племянникъ мой, Митрофанъ, и тотъ оными идеями заразился, и вотъ ужъ который годъ мы оба изъ камеры мирового судьи не вы-

ходимъ, все судимся. По сей причинѣ даже въ Петербургъ сколько разъ надумывалъ ѣхать: хочется отъ хорошихъ адвокатовъ узнать, не могу ли я, какъ старшій въ родѣ, Митрофана въ смирительный домъ посадить? Сказываютъ, у васъ такіе адвокаты есть, которые могутъ доказать, что старшіе даже сѣчь младшихъ право имѣютъ, но я сего ужъ не добиваюсь, а хотя бы въ смирительный домъ. Наши же пензенскіе адвокаты на сей счетъ трояко говорятъ: ежели я больше дамъ, то якобы можно; если Митрофанъ больше дастъ, то якобы нельзя; а ежели я еще больше дамъ, то и опять выходитъ, что можно. Такъ что и семейный союзъ будто бы отъ того зависитъ, кто лишній полтинникъ дастъ!

«Да, слабо нынче вообще — это вы вѣрно, мой другъ, угадали. Съ тѣхъ поръ, какъ объявили ядовитую оную волю, и собственность, и семейство—все врозь пошло, а объ государствѣ даже и не знаемъ, что̀ сей сонъ означаетъ. Еще въ Пензѣ мы, по мѣрѣ силъ, крѣпимся, а что̀ въ сосѣдней Саратовской губерніи и въ войскѣ Донскомъ по сему случаю творится—даже я, Тарасъ Скотининъ, безъ слезъ взирать не могу! Ужъ на что сестрица моя, госпожа Простакова—и та съ тѣхъ поръ, какъ въ балашовское свое имѣніе переѣхала, сейчасъ же противъ священныхъ сихъ основъ вооружилась! Начала съ того, что Митрофана прокляла, а нынѣ и на меня, старшаго брата своего, войною пошла! Имѣлъ я съ нею процессъ о землѣ и, благодареніе Богу, успѣлъ ту землю въ первой инстанціи законнымъ образомъ у нея оттягать. И что̀-жъ бы вы думали! вмѣсто того, чтобъ покориться волѣ Божьей и безпрекословно мнѣ землю изъ рукъ въ руки передать, а я бы ей, всеконечно, до смерти ея въ домѣ моемъ пріютъ далъ, она подала на апелляцію, а Митрофанъ сверхъ того научилъ еще и прокурору заявленіе подать, будто бы съ моей стороны подлогъ въ дѣлѣ семъ совершонъ. И нынѣ, по апелляціи, вновь это дѣло разсматривается, а обо мнѣ слѣдствіе производится! Такъ вотъ въ какомъ положеніи находится въ Саратовской губерніи семейный союзъ!

«Итакъ, по сему случаю, а равно и по другимъ подобнымъ, предвижу необходимость быть въ Питерѣ. Можетъ-быть, у васъ насчетъ сего покрѣпче. И непремѣнно у тебя, землякъ, остановлюсь: авось-либо въ литераторскихъ палатахъ для стараго друга уголъ найдется. Вѣдь, по правдѣ-то сказать, мы не только земляки, но и родные: всѣ отъ одного

древняго прогорѣловскаго рода линію-то ведемъ, и всѣ одинаково съ 61 года въ подсудимыхъ значимся!

«*Тарасъ Скотининг*».

«По приказанію его превосходительства, г. дѣйствительнаго статскаго совѣтника Рудина, имѣю честь Васъ, Милостивый Государь, увѣдомить, что выраженныя Вами въ статьѣ-хроникѣ: «Первое Августа» чувства, относительно собственности, семейственности и государственности, признаются его превосходительствомъ вполнѣ съ обстоятельствами дѣла сходственными и одобренія достойными.

«*Дѣлопроизводитель Лаврецкій*».

Сбоку приписано рукою г. Лаврецкаго: «Считаю пріятнымъ долгомъ съ своей стороны присовокупить, что объясненія Ваши произвели столь благопріятное впечатлѣніе, что его превосходительство вызвалъ къ себѣ автора огорчившей Васъ статьи: «Наши охранители и наши прогрессисты» и просилъ его, въ личное для себя одолженіе, изъ списка неблагонадежныхъ элементовъ Васъ исключить. На что и получено благосклонное увѣреніе, что надлежащее по сему предмету распоряженіе будетъ немедленно сдѣлано».

«Душка Щедринъ!

«Вотъ въ чемъ дѣло, разскажу поскорѣе. Когда умеръ папаша, ничего послѣ него не осталось; даже домъ нашъ въ Миргородѣ—и тотъ оттягалъ ненасытный Довгочхунъ. И вотъ я переѣхала на житье къ тетенькѣ Ѳеодуліи Ивановнѣ Собакевичевой, которая послѣ смерти дяденьки осталась совсѣмъ одна, потому что во время воли всѣ дворовые, а въ томъ числѣ и вѣрный Неуважай-Корыто, разбѣжались. И вотъ пріѣзжаетъ къ намъ прошлою осенью Павелъ Ивановичъ Чичиковъ и говоритъ, что теперь онъ ужъ адвокатъ и ѣздитъ по помѣщикамъ, разузнаётъ, нѣтъ ли у кого процессовъ. И вотъ тетенька ужасно ему обрадовалась и говоритъ: «можете ли вы похлопотать, чтобъ крѣпостное право хотя на тѣхъ вновь распространить, которые для прислугъ и полевыхъ работъ необходимы, а прочіе чтобъ оброкъ платили?» И онъ охотно на это согласился, и довѣренность тутъ же написали, а марки онъ съ собой гербовыя возитъ—стоитъ только послюнить, и дѣлу конецъ. И вотъ тетенька сорокъ рублей задатку дала, а

ночевать ему отвели ту самую комнату, въ которой онъ въ 1841 году ночевалъ. И адресъ, уѣзжая, онъ намъ оставилъ: «С.-Петербургъ-Москва, на станціи, спросить буфетчика Петра, а васъ, милостивый государь, прошу передать, кому знаете». И какъ у насъ нѣтъ прислуги, то мы повѣрили. И вотъ мы ждемъ. И вотъ черезъ девять мѣсяцевъ у меня рождается сынъ. А такъ какъ онъ взялъ впередъ сорокъ рублей денегъ, то я и повѣрила, что будетъ твердо, онъ же хоть бы строчку написалъ, а между прочимъ и насчетъ сына—развѣ это не подлость? И вотъ теперь за меня хорошій человѣкъ сватается, Мижуевъ-Ѳетюкъ, и съ сыномъ вмѣстѣ беретъ, а я боюсь, и тетенька боится: вдругъ, ежели Павелъ Иванычъ пріѣдетъ! А теперь намъ говорятъ, что Павелъ Иванычъ все это на-смѣхъ сдѣлалъ и адресъ будто бы фальшивый оставилъ—вѣдь эта такая ужъ подлость, что мы съ тетенькой думаемъ: неужто и этому вѣрить! И вотъ мы не знаемъ, какъ въ этомъ случаѣ быть, потому что мы женщины, а для женскаго пола, говорятъ, законъ не писанъ. Даже Неуважай-Корыто—и тотъ насъ оглашенными называетъ, и мы не возражаемъ, боимся, какъ бы не вышло хуже. И вдругъ тетенькѣ мысль пришла: «напишемъ, говоритъ, къ г. Щедрину! Онъ такъ собственность и семейство уважаетъ, что непремѣнно за насъ заступится! А объ государствѣ, говоритъ, покуда не проси! и такъ какъ-нибудь, по женской своей должности, проживемъ!»

«И вотъ я беру перо.

«Душка! чудесный! голубчикъ! Нельзя ли все это въ смѣшномъ видѣ представить, но такъ, чтобы Павелъ Иванычъ непремѣнно прочиталъ! Я увѣрена, что если вы захотите, то онъ раскается и опять къ намъ пріѣдетъ. А комната у насъ для него готова. И ежели онъ по тетенькиной довѣренности ничего не выхлопоталъ, все-таки пусть пріѣзжаетъ или, по крайней мѣрѣ, пусть хоть письмо пришлетъ, могу ли я за господина Мижуева выйти? А я какъ вамъ буду за это, голубчикъ, благодарна... вотъ увидите!

«Ваша по гробъ

«Гапочка Перерепенкова».

«Милостивый Государь.

«Прочитавъ Вашу статью: «Первое августа», я съ удовольствіемъ извѣстился, что вы собственность признаете,

семейство пріемлете, государство чтите. Посему, ежели при извѣстномъ свиданіи *), въ разговорѣ насчетъ армій и флотовъ, что-нибудь ненарочно сказалось, въ томъ прошу великодушно меня извинить, отнеся оное насчетъ моей простоты.

«При семъ нелишнимъ однако-жъ почитаю представить на благоусмотрѣніе Ваше нижеслѣдующія мои соображенія:

«Пишете Вы, Милостивый Государь, что негоціантъ, ежели доподлинно собственность чтитъ, обязанъ дѣла свои въ такомъ видѣ имѣть, чтобы ежечасно быть готовымъ во всякомъ рублѣ передъ публикою чистосердечный отчетъ дать. Откуда тотъ рубль пришелъ и какъ составился? сколько въ немъ копеекъ законнаго прибытка и сколько— грабежа? Съ одной стороны, не отрицая пользы, которая отъ такого чистосердечія произойти можетъ, позволяю себѣ возразить лишь то, что, по званію нашему, одно что-нибудь: или дѣла дѣлать, или отчеты отдавать. Ибо званіе наше на этотъ счетъ довольно-таки строго, такъ что, если нужное для операцій время мы станемъ употреблять для чистосердечіевъ, то операціи запустимъ, а чистосердечіями никому удовольствія не предоставимъ.

«Второе, пишете Вы, ежели который человѣкъ свою собственность блюдетъ, тотъ долженъ и чужую наблюдать—то и сіе весьма пріятно. Но позвольте вамъ доложить: ежели я буду о собственности публики скорбѣть, то не послѣдуетъ ли отъ сего для меня изнуренія? а равнымъ образомъ не дастъ ли оно партикулярнымъ людямъ такой повадки, что мы, дескать, будемъ праздно время проводить, а Деруновъ за всѣхъ насъ стараться станетъ? А награда— на небеси-съ?

«И еще замѣчаете Вы, что негоціанты, по роду своихъ занятіевъ, больше въ Кунавинѣ, нежели въ семействахъ своихъ время проводятъ, то и сіе справедливо. Думается однако-жъ, что ежели мы оный родъ занятій покинемъ, то какъ бы намъ, въ ожиданіи другихъ занятіевъ, и вовсе при одномъ Кунавинѣ не остаться.

«Что же касается наставленія Вашего, что необходимо первѣе всего отечество свое любить и въ пользу онаго жертвовать, то сіе безусловно вѣрно. И мы любить оное готовы, только не знаемъ какъ. Посему, если бы начальство

*) См. «Благопамѣренныя рѣчи».

насъ въ семъ смыслѣ руководило и прямо указывало, на какое полезное устройство жертвовать надлежитъ, то, мнится, великая бы отъ сего польза произошла.

«Съ истиннымъ почтеніемъ и таковою же преданностью имѣю честь быть и проч.

«*Іосифъ Деруновъ*».

«Милый cousin! Что же такое ты написалъ, будто бы нынче мужчины больше въ Кунавинѣ, нежели въ семействахъ, время проводятъ? Что такое Кунавино? Я просила Филоѳея Иваныча мнѣ объяснить, но онъ говоритъ, что дамѣ такихъ вещей знать не слѣдуетъ. Но отчего же? Объясни мнѣ, пожалуйста, потому что, ежели я не буду знать, то все стану бояться, что Филоѳей Иванычъ уйдетъ отъ меня въ Кунавино. И я останусь безъ него.

«Что касается до меня, то я очень счастлива. Одно только тревожитъ: денегъ мало. Сколько разъ хотѣла обратиться къ тебѣ, но Филоѳей Иванычъ, прочитавъ твою статью, говоритъ: «коль скоро братецъ объ собственности сталъ поговаривать, то врядъ ли онъ склонность къ одолженіямъ сохранилъ». А я такъ думаю, что совсѣмъ напротивъ... Cousin! милый! только тысячу франковъ... можно?

«Но какъ ты это хорошо сказалъ: «чужую собственность блюди, а свою—соблюдай!»—именно, именно такъ! И откуда ты такія тонкія замѣчанія почерпаешь! Филоѳей Иванычъ прямо говоритъ: «если бы все такъ было, какъ братецъ предположилъ, то ни мы, ни другіе ни въ чемъ бы не нуждались, и у всѣхъ было бы всего довольно!» Не правда ли... милый?

«A toi de coeur
«*Nathalie*».

«Прекрасно. Собственность признаёшь, семейство—пріемлешь, государство—чтишь! А о Святой Церкви и служителяхъ ея... позабылъ?

«*Іерей*».

Я полагаю, этихъ образцовъ достаточно. Имѣя въ свою пользу столь безспорныя свидѣтельства симпатіи, я смѣло могу смотрѣть въ глаза будущему, не опасаясь даже загадочнаго присовокупленія насчетъ церкви и ея служителей, которымъ меня почтило лицо, скрывшее себя подъ псевдонимомъ «Іерей».

жизнь. Этотъ типъ былъ въ свое время очень усердно разрабатываемъ литературой, но онъ не былъ *выдуманъ* ею, а прямо выхваченъ изъ жизни. Правда, что отъ этихъ изнеможеній и самобичеваній практически не было никому ни тепло, ни холодно, и что, въ большинствѣ случаевъ, они были скоропреходящими, но сами по себѣ люди, страдавшіе двоегласіемъ, все-таки представляли извѣстную долю симпатичности. Сравните эти страданія внутренняго двоегласія съ несомнѣвающеюся цѣлостностью современныхъ проворныхъ людей, которые, съ хладной пѣной у рта, даже любовь къ отечеству готовы эксплоатировать въ пользу продажи [illegible]спивочно и на-выносъ—и вы почувствуете, что ежели не особенно лестно было жить въ обществѣ людей, прямо называвшихъ себя «лишними», то все-таки не такъ несомнѣнно мерзко, какъ жить въ обществѣ людей, для которыхъ все уже до того паскудно-ясно, что представленіе о рублѣ, въ смыслѣ привлекательности, уступаетъ лишь представленію о таковыхъ же двухъ, а если больше, то, разумѣется, и того лучше.

А наконецъ былъ и еще практическій результатъ, который и до сихъ поръ говоритъ самъ за себя: идеалы сороковыхъ годовъ несомнѣнно послужили подспорьемъ при разрѣшеніи крестьянскаго вопроса и осуществленіи прочихъ реформъ шестидесятыхъ годовъ.

Словомъ сказать, литература сороковыхъ годовъ уже тѣмъ однимъ оставила по себѣ неизгладимую память, что она была литературой серьезно убѣжденной. Не зная никакихъ свободъ, ежечасно изнемогая на прокрустовомъ ложѣ всевозможныхъ укорачиваній, она не отказывалась отъ своихъ идеаловъ, не предавала ихъ и не говорила себѣ въ утѣшеніе: живъ курилка, не умеръ! Ибо «курилка», собственно говоря, даже живъ не былъ, а только едва-едва тлѣлся.

Какимъ образомъ случилось, что убѣжденность исчезла, что влеченіе къ идеаламъ сгинуло, что традиція литературной брезгливости оборвалась, и осталось только одно радованіе о томъ, что курилка не умеръ,—это объяснить нелегко. Почему-то мы проглядѣли этотъ переходъ, проглядѣли, сами не знаемъ какъ: не то за дѣйствительнымъ расширеніемъ задачъ, не то за наплывомъ безчисленныхъ пустяковъ. Достовѣрно одно, что литература воистину получила доступъ къ практической жизни, и что это дѣйствительно и въ значительной мѣрѣ освободило ее отъ той тя-

келой изолированности, которая искони несноснымъ кошмаромъ тяготѣла надъ ней.

Это было явленіе совершенно новое, и такъ какъ литература устремилась къ нему съ пылкостью, то многіе думаютъ, что именно это общеніе съ низменностями жизни и повліяло на нее развращающимъ образомъ. Что касается до меня, то я не только не согласенъ съ этимъ толкованіемъ, но даже положительно утверждаю, что оно свидѣтельствуетъ о совершенномъ незнаніи истинныхъ задачъ литературы. Изолированность, конечно, имѣетъ свою красивую, а отчасти и полезную сторону, потому что она ставитъ литературу въ положеніе жены цезаря, которой не должно касаться даже подозрѣніе въ податливости, но было бы въ высшей степени неестественно и даже оскорбительно, если-бъ эта же самая изолированность сдѣлалась безсрочною и составила бы окончательную цѣль существованія литературы. Изолированность есть все-таки не болѣе какъ безмолвный отвѣтъ плѣннаго заложника, не могущаго ничѣмъ инымъ протестовать противъ глумленій торжествующей современности; понятно, что литература не могла считать этотъ удѣлъ для себя ни завиднымъ, ни желательнымъ. Отчуждая себя отъ жизни, она только обрекла себя, такъ сказать, на зимнюю спячку, но при этомъ отнюдь не теряла изъ виду, что при первыхъ лучахъ весенняго солнца она несомнѣнно пробудится для бодрствованія. И вотъ эти лучи показались, а вмѣстѣ съ ними пришло и общеніе съ жизнью. Это общеніе всегда было и всегда будетъ цѣлью всѣхъ стремленій литературы; оно одно можетъ вывести ее изъ оцѣпенѣлости; оно одно дастъ ей возможность перейти изъ области страдательной брезгливости въ область воздѣйствія и осуществленія тѣхъ воспитательныхъ цѣлей, которыя составляютъ основной смыслъ ея существованія. Общеніе не могло ни умалить ея идеалы, ни тѣмъ менѣе упразднить ихъ. Совсѣмъ напротивъ. Какъ бы ни были низменны интересы современности, литературные идеалы уже по тому одному не могутъ пострадать отъ прикосновенія къ нимъ, что интересы эти все-таки принадлежатъ тому униженному и оскорбленному человѣчеству, нравственное оздоровленіе котораго составляетъ благороднѣйшую мечту благороднѣйшихъ умовъ. Однимъ словомъ, въ этихъ низменностяхъ идеалы литературы (хотя бы даже и отрицательнымъ путемъ) могутъ найти для себя лишь поправку, опору и развитіе, но никакъ не смерть.

А между тѣмъ мнѣніе, что идеалы пошатнулись и вѣра въ чудеса упразднилась, все-таки остается истиною. Но причину этого явленія слѣдуетъ искать совсѣмъ не въ общеніи литературы съ жизнью, а скорѣе въ тѣхъ черезчуръ своеобразныхъ формахъ, въ которыхъ осуществилось это общеніе.

На дѣлѣ какъ-то совершенно неожиданно вышло, что жизнь поступилась литературѣ не существенными своими интересами, не тѣмъ внутреннимъ содержаніемъ, которое составляетъ источникъ ея радостей и горестей, а только безчисленной массой пустяковъ. И въ то же время сдѣлалось яснымъ, что старинный афоризмъ: «не твое дѣло» настолько заматерѣлъ и въѣлся во всѣ закоулки жизни, что слабымъ рукамъ оказалось совершенно не подъ силу бороться съ нимъ. И такимъ образомъ въ концѣ концовъ оказалось, что литература искала общенія съ жизнью, а обрѣла общеніе съ пустяками,—какая неожиданность можетъ быть горчѣе и чувствительнѣе этой?

Нашлись, разумѣется, личности, которыхъ такой оборотъ повергъ въ уныніе, но большинство литературы примирилось съ нимъ. Съ пустяками живется вольнѣе и безопаснѣе, да и разсуждать о пустякахъ легче: не нужно ни задумывается надъ работой, ни подготовляться къ ней. Пустяки быстро навертываются и столь же быстро отскакиваютъ, не оставляя по себѣ никакихъ «сердца горестныхъ замѣтъ». Сверхъ того пишущему о пустякахъ всегда кажется, что онъ находится въ центрѣ если не настоящаго дѣла, то по крайней мѣрѣ той неусыпающей дѣловой суголоки, которую очень легко искусственно взбодрить и подъ флагомъ благонамѣренности выдать, пожалуй, и за настоящее дѣло. Словомъ сказать, литературный трудъ настолько же облегчился, насколько упростились и самыя задачи литературы, и благодаря этому число желающихъ окунуться въ море пустяковъ съ каждымъ часомъ умножается и растетъ. Удивительно ли поэтому, что, имѣя такихъ проворныхъ дѣятелей, литература и сама до того всецѣло прониклась пустяками, что въ случаѣ оскудѣнія пустяковъ реальныхъ она нимало не стѣсняется этимъ, но творитъ свои собственные самостоятельные пустяки.

Какъ бы то ни было, но пришлось убѣдиться, что спастись отъ пустяковъ уже по тому одному невозможно, что литература сама сдѣлала для себя немыслимымъ возвратъ къ прежней брезгливой изолированности. Съ одной стороны,

изолированность пріобрѣла какой-то неблагонамѣренно-подозрительный характеръ, съ другой—школа юркихъ практикантовъ какъ-то чрезвычайно быстро создала совсѣмъ новую публику, которая, въ свою очередь, ничего не хочетъ знать, кромѣ пустяковъ. Однимъ словомъ, и литература и публика такъ удачно спѣлись, что обѣ въ самый короткій срокъ уподобились той низменной адвокатурѣ, которая подстерегаетъ пропущенные сроки и несоблюденныя формальности, подсиживаетъ противныя стороны внезапными закорючками и въ этомъ усматриваетъ осуществленіе правды и справедливости.

Итакъ, убѣжденность оказывается подозрительною, вѣра въ чудеса—ненужною и смѣшною, а между тѣмъ литературное ремесло все еще продолжаетъ быть обязательнымъ. Это тоже своего рода двоегласіе, и на этотъ разъ не имѣющее ни тѣни барской привередливости, а прямо безнадежное, мрачное.

Я назвалъ литературное ремесло обязательнымъ не потому единственно, что оно представляетъ наилучшее орудіе для служенія общественнымъ интересамъ, но также и потому, что оно, сверхъ того, даетъ извѣстное матеріальное обезпеченіе.

Какимъ образомъ человѣкъ становится литераторомъ, въ какой мѣрѣ въ этой метаморфозѣ играетъ роль призваніе и дѣйствительная талантливость и въ какой простая случайность?—это вопросъ, который я разрѣшить не берусь. Да и не въ немъ дѣло, а въ томъ, что разъ человѣкъ занялъ мѣсто въ литературныхъ кадрахъ, онъ силою вещей останется навсегда прикованнымъ къ этому мѣсту.

Во-первыхъ, никакой трудъ такъ не привлекателенъ, какъ трудъ умственный. Конечно, бываютъ историческіе моменты, когда умственный трудъ не въ особенномъ авантажѣ обрѣтается, но вѣдь въ такіе моменты и весь вообще жизненный уровень сводится къ нулю. Стало-быть, называться литераторомъ все-таки лестнѣе, нежели слыть партикулярнымъ шлющимся человѣкомъ. Во-вторыхъ, занятіе литературой создаетъ извѣстныя привычки, предполагаетъ излюбленныя связи и даже спеціальную обстановку, которую нарушить не только трудно, но и мучительно. Въ-третьихъ, даже разработка пустяковъ представляетъ довольно сложный процессъ, въ которомъ имѣются свои отправные пункты, а слѣдовательно предполагаются и выводы. И человѣкъ, предпринявшій этотъ процессъ, непре-

мѣнно увлечется имъ настолько, что будетъ дробить и множить свои пустяки до безконечности, и все-таки ему будетъ казаться, что онъ не все еще вычерпалъ, а вотъ ужо такую глыбу выкатитъ, которая всѣ доселѣ извѣстные пустяки въ ничто обратитъ. А въ-четвертыхъ, повторяю: не послѣднее значеніе имѣетъ въ этомъ случаѣ и матеріальный вопросъ...

Такимъ образомъ дни проходятъ за днями, а литераторъ все остается прикованнымъ къ своему посту.

Онъ остается тутъ, хотя убѣжденность представляется подозрительной и вѣра въ чудеса—смѣшною. Но въ такомъ случаѣ, во имя чего и зачѣмъ онъ, вѣрующій въ чудеса, продолжаетъ держаться и дѣйствовать въ этомъ странномъ помѣщеніи, гдѣ нѣтъ ни убѣжденности, ни чудесъ?

Пустяки—противны; общіе принципы—недоступны. Или, виноватъ: послѣдніе, пожалуй, по временамъ и прорываются, но окутанные такою непроницаемою сѣтью безчисленныхъ околичностей, которыя самое ремесло проведенія принциповъ дѣлаютъ почти безнравственнымъ.

Во имя чего же? Зачѣмъ?

Ужели только во имя того и затѣмъ, чтобы ѣсть хлѣбъ и въ то же время защитить свою шкуру? и чтобъ имѣть легкомысленное удовольствіе сказать: живъ курилка, не умеръ?

Но вѣдь это-то именно и омерзительно.

Годъ приходитъ къ концу, страшный годъ, который неизгладимыми чертами взрѣзался въ сердце каждаго русскаго. Даже въ худшія эпохи ничего подобнаго этому злосчастному году лѣтописи русской жизни едва ли представляли.

Вмѣстѣ съ тѣмъ кончаются и мои періодическія бесѣды съ читателями. Въ первоначальномъ намѣреніи бесѣды эти должны были отражать въ себѣ злобу дня и въ то же время служить поводомъ для воспроизведенія нѣкоторыхъ типовъ, которые казались мнѣ небезынтересными. Я долженъ однако-жъ сознаться, что ни того, ни другого я не выполнилъ.

Въ моихъ литературныхъ работахъ юмористическій элементъ является преобладающимъ; но послѣ такихъ дней, какъ 2-ое апрѣля и 19-е ноября, право, не до юмора. Поэтому многое въ моихъ бесѣдахъ оказалось невыясненнымъ, прерваннымъ и даже прямо недоконченнымъ. Мнѣ каза-

лось, напримѣръ, что не только любопытно, но даже и необходимо поставить читателя лицомъ къ лицу съ такими типами, какъ Ѳеденька Неугодовъ и Сашенька Ненарочный, которые, каждый съ своей точки зрѣнія, претендуютъ на осѣдланіе отечества; сверхъ того, мнѣ сдавалось, что и самое изображеніе процесса «осѣдланія» можетъ быть небезполезно; но какая же возможность выполнить подобныя задачи, въ виду такого угнетеннаго настроенія, въ которомъ находится общество? Литературное занятіе, какъ бы скромно ни было его значеніе, прежде всего требуетъ спокойствія и нѣкоторой увѣренности въ томъ, что оно не стоитъ въ разрѣзъ съ вѣяніями минуты; но ни этого спокойствія, ни этой увѣренности я не имѣлъ. А потому и для меня самого въ значительной мѣрѣ утратилась ясность тѣхъ типовъ и представленій, которыя первоначально казались совершенно опредѣленными. Тамъ, гдѣ надо было говорить безъ умолчаній, я ограничивался намеками; тамъ, гдѣ надо было прибѣгнуть къ дѣйствительному изслѣдованію, я простонà-просто обходилъ.

Я не скажу даже, что въ этомъ случаѣ главную роль играло внѣшнее давленіе. Конечно, не было недостатка и въ немъ, но главнымъ образомъ все-таки дѣйствовала общая внутренная пригнетенность, которая пришла какъ-то сама собой. Не я одинъ признавалъ себя пригнетеннымъ, но всякій, въ комъ злоба дня не до конца притупила способность мыслить. И, разумѣется, въ томъ числѣ сознавала себя пригнетенною и литература.

Я знаю, что въ этомъ общемъ хорѣ унынія, почти граничащаго съ безнадежностью, раздавались и другого рода голоса, звонкіе, увѣренные, даже какъ бы почти торжествующіе, но, признаюсь откровенно, эта звонкость не только не прибодряла меня, но даже почему-то казалась зазорною. Есть явленія, которыя до такой степени захватываютъ общество въ его настоящемъ и будущемъ, что передъ ними должно умолкнуть самое звонкое пустословіе. Если же оно не только не умолкаетъ, но тутъ-то именно и выпускаетъ цѣлыя массы безсодержательнѣйшей канители, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ чтобы это былъ примѣръ, достойный подражанія. Напротивъ того, я совершенно искренно убѣжденъ, что это канитель не только безсодержательная, но и прямо зловредная.

Люди наивные, искренніе, выражающіе свои чувства въ мѣрѣ своего пониманія и развитія, несомнѣнно всегда за-

служиваютъ уваженія. Въ этомъ случаѣ формы не играютъ никакой роли, и критика не имѣетъ права не только оцѣнивать ихъ, но даже просто прикасаться къ нимъ. Они наивно-правдивы—вотъ все, что можно объ нихъ сказать. Но ужасно, когда овечій образъ принимаютъ на себя сущіе волки, и когда эти волки, подъ формами звонкаго пустословія, желаютъ прикрыть не только личное безсиліе и безсердечіе, но и всевозможныя корыстныя и низменныя цѣли, которыя заграждаютъ передъ ихъ глазами свѣтъ Божій. Вотъ этихъ-то волковъ въ овечьей шкурѣ развелось въ послѣднее время такъ много, что начинаетъ уже рождаться сомнѣніе, не заполонятъ ли они литературную ниву въ конецъ.

Я не буду здѣсь приводить примѣровъ—Богъ съ ними! не до примѣровъ теперь!—но скажу прямо, что иногда дѣлается ужасно неловко. Читаешь и думаешь: ужели это тѣ самыя буквы, тѣ самыя слова, употребленіе которыхъ до сихъ поръ казалось вполнѣ естественнымъ?

Поэтому, когда я на-дняхъ прочиталъ въ одномъ журналѣ, что унылый тонъ, господствующій въ современной русской литературѣ, доказываетъ, что литература эта не стоитъ на высотѣ своего призванія, ибо ей надлежитъ ободрять общество, а не вливать въ него ядъ меланхоліи, то, признаюсь, крайне былъ удивленъ. Неужто унынie такъ легко превращается въ бодрость и наоборотъ, что стоитъ только пожелать—и все пойдетъ какъ по маслу? Неужто не существуетъ болѣе глубокихъ причинъ, которыя въ извѣстныхъ случаяхъ унынie—а въ другихъ надежду и бодрость—дѣлаютъ явленіемъ не только понятнымъ, но почти обязательнымъ?

Я по крайней мѣрѣ думаю, что такія причины существуютъ, и что, покуда онѣ состоятъ налицо, никакія простодушныя подбадриванія не произведутъ желаемаго дѣйствія. Помилуйте, если ужъ инсинуаціи и устрашенія не помогаютъ, то какую же силу можетъ имѣть простой дружескій совѣтъ! Правда, что въ провинціальныхъ театрахъ (особливо въ тѣхъ, которые побѣднѣе персоналомъ) и донынѣ существуетъ обычай, въ силу котораго одинъ и тотъ же актеръ сначала является въ роли перваго трагика, а потомъ, вслѣдъ за симъ, въ роли перваго комика. И совершается эта метаморфоза очень просто: трагикъ надѣваетъ бланжевый парикъ и голубые штаны—этого совершенно достаточно, чтобъ невзыскательная публика прыснула со смѣху. Но въ литературѣ подобныя метаморфозы едва ли мыслимы.

Первое декабря.

(«Вечерокъ»).

...По временамъ мы однако-жъ собираемся, а иногда даже и бесѣдуемъ. Впрочемъ, безъ ясной программы и безъ одушевленія, а такъ... словно привычный обрядъ соблюдаемъ.

Прежде, бывало, мы потому собирались, что потребность въ разрѣшеніи «вопросовъ» чувствовали. Много было тогда вопросовъ, хотя должно сознаться, что бо́льшая часть ихъ обязана была своимъ происхожденіемъ не столько дѣйствительности, сколько самостоятельному нашему творчеству. Какъ бы то ни было, но вопросы эти занимали насъ, и ни мы, ни люди, читавшіе въ сердцахъ нашихъ, не находили ничего въ томъ предосудительнаго. Предполагалось, что таково ужъ свойство человѣческой природы вообще: интересоваться болѣе или менѣе широкими обобщеніями— вотъ и все. И мы слѣдовали этому указанію человѣческаго естества, то-есть обобщали, спорили, обсуждали и даже горячились.

Возьмемъ, напримѣръ, вопросъ о «подоплёкѣ»—по нынѣшнему времени это чѣмъ пахнетъ? А прежде мы не справлялись, чѣмъ пахнетъ, а прямо приступали. Плѣшивцевъ доказывалъ, что только тотъ народъ можетъ благополучнымъ себя почитать, который подоплёку свою въ чистотѣ сохранилъ; напротивъ того, Тебеньковъ утверждалъ, что подоплёка только путаетъ. Отсюда споръ, пререканія и даже вражда. Вмѣшается въ эту распрю Положиловъ и спроситъ: «а въ самомъ дѣлѣ, господа, что́ такое подоплёка?»—на что Глумовъ немедленно отвѣтитъ: «распивочно и на-выносъ». И всѣ разсмѣются, ибо знаютъ, что никакого взысканія за это не будетъ.

Или вопросъ о томъ: кто больше заслужилъ, Москва или Петербургъ? Или еще: на какой предметъ родится человѣкъ—для того ли, чтобы быть счастливымъ, или для того, чтобы лить слезы? А? чѣмъ это, по нынѣшнему времени, пахнетъ?

А мы обо всемъ разговаривали безбоязненно и даже фаланстеровъ не чуждались. Знали, что фаланстеровъ намъ, конечно, не дадутъ, но въ то же время вѣрили, что и телятъ Макаровыхъ пасти не предоставятъ... За что? Вѣдь все это «человѣческое», а «человѣческимъ», какъ извѣстно, грады и веси цвѣтутъ...

И Поликсена Ивановна (жена Положилова), бывало, тутъ же сидитъ, слушаетъ и не нарадуется на насъ. И тоже, навѣрное, знаетъ, что фаланстеровъ намъ не дадутъ.

Нынче, повторяю, мы собираемся единственно какъ бы выполняя заведенный обрядъ. О «вопросахъ» — не поминаемъ, а «разрѣшеніи»—даже опасаемся. Боимся, чтобы въ газетахъ какъ-нибудь ни прослышали, что вотъ дескать, такъ и такъ, отечество въ печали находится, а на такой-то улицѣ, нумеръ дома такой-то — «подоплёку» опредѣляютъ... Поэтому бесѣды наши имѣютъ характеръ угнетенный, отрывочный, какъ это всегда бываетъ съ людьми, которые совсѣмъ о другомъ думаютъ и только ради приличія языкомъ шевелятъ. Одна мысль явственно давитъ всѣхъ: ужели дѣйствительность, среди которой мы живемъ, есть дѣйствительность конкретная, а не кошмаръ? Но развѣ это мысль?—Нѣтъ, это не мысль, а только удлиненное, въ согласность съ требованіями времени, междометіе. А Поликсена Ивановна слушаетъ это тысячекратно-повторяемое междометіе и не радуется, а безпокоится, какъ бы изъ-за этого чего не вышло.

Итакъ, мы собираемся. «Мы», то-есть старики, видавшіе виды. Всякіе виды мы видѣли, а такихъ, какъ нынче, не видали. Поэтому весьма натурально, что въ недоумѣніи мы спрашиваемъ себя: неужто-жъ и еще виды будутъ? И въ ожиданіи отвѣта чувствуемъ, какъ мало-по-малу въ насъ упраздняется способность къ построенію силлогизмовъ. Еще чуточку—пожалуй, упразднится и самый даръ слова.

Да, была уже рѣчь и объ этомъ. На-дняхъ собрались мы, по обычаю, вечеромъ у Положилова (Положиловъ—солидный чиновникъ, но все еще крѣпится, не чуждается насъ, бывшихъ школьныхъ товарищей, а нынѣ вольнаго поведенія людей), и вдругъ кому-то вздумалось:

— А что, господа, даръ слова, напримѣръ... Дѣйствительно ли это драгоцѣннѣйшій даръ природы, какъ въ старинныхъ сказкахъ сказывали, или такъ только, каверза, допущенная въ видахъ удобнѣйшаго подсиживанія человѣковъ?

И никто не удивился, что подобный вопросъ могъ быть предложенъ. Напротивъ, всѣ какъ-будто оживились и сейчасъ же рѣшили, что, по нынѣшнему времени, гораздо удобнѣе мычать, нежели вмѣстѣ съ вѣщимъ Баяномъ «сизымъ орломъ ширять подъ облаки».

— Вчера я новокупленнаго быка въ деревню отпра-

влялъ,—сказалъ Положиловъ:—такъ это нельзя себѣ представить, какъ онъ пріятно мычалъ. Со всего околотка дворники сбѣжались, слушали и хвалили!

— А мы вотъ не можемъ мычать! — грустно отозвался Тебеньковъ.—Говорить должны.

— Оттого никто насъ и не хвалитъ,—еще безнадежнѣе молвилъ Глумовъ.

Поликсена Ивановна слушала этотъ разговоръ и нѣкоторое время, кажется, даже радовалась, что мысли наши принимаютъ благопотребное, по обстоятельствамъ, направленіе; но, немного погодя, спохватилась и даже тутъ усмотрѣла какую-то «политическую подкладку». Пошла на цыпочкахъ за дверь, глянула, нѣтъ ли кого въ сосѣдней комнатѣ, и, разумѣется, сейчасъ же ей показалось, что тамъ вдругъ кто-то «шмыгнулъ» (должно-быть, репортеръ изъ «Красы Демидрона»). Однимъ словомъ, возвратилась къ намъ разстроенная и немедленно же дала ему головомойку.

— Ужъ когда-нибудь ты дошутишься, Павелъ Ермолаичъ! — сказала она: — нельзя такъ, мой другъ! Нельзя утромъ въ департаментъ ходить, а вечеромъ язычкомъ чесать!

— Помилуй, голубушка! — оправдывался Положиловъ:— при чемъ тутъ «язычокъ»? Я отъ всего сердца, а ты...

— Шути, мой другъ, шути! А вотъ когда-нибудь Филиппъ (служитель у Положиловыхъ)... Самъ говоришь, что онъ «репортеромъ» при «Красѣ Демидрона» состоитъ, а между тѣмъ... Ну, я готова голову на отсѣченіе отдать, ежели это не онъ сейчасъ въ гостиной шмыгнулъ!

И вдругъ всѣ мы, словно сговорившись, воскликнули:

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

Минутъ съ пять послѣ этого мы молчали, а можетъ-быть, и совсѣмъ, съ Божьею помощью, лишились бы дара слова, если-бъ Глумовъ ни напомнилъ, что какова пора ни мѣра, а даръ сей, пожалуй, еще службу сослужить можетъ. Не скоро, конечно, а послѣ дождичка въ четвергъ...

— Нужно сказать правду,—вывелъ онъ насъ изъ оцѣпенѣнія:—что жизнь животныхъ вообще... Я говорю безъ примѣненій, господа! Поликсена Ивановна! прошу васъ, не тревожьтесь!.. Ну-съ, такъ, говоря вообще, жизнь животныхъ представляетъ нѣкоторыя несомнѣнныя преимущества, которымъ человѣкъ непремѣнно долженъ былъ бы завидовать, если-бъ продерзостно не мнилъ себя царемъ

природы. Не говоря уже о безпечности, о блаженной непредусмотрительности, о постоянно ровномъ расположеніи духа, — какія драгоцѣнныя гарантіи представляетъ одна такъ-называемая политическая благонадежность! Возьмемъ, напримѣръ, хоть новокупленнаго положиловскаго быка. Я совершенно убѣжденъ, что въ настоящую минуту онъ мычитъ себѣ полегоньку, и даже «Вѣстникъ Общественныхъ Язвъ» ни въ чемъ его не подозрѣваетъ. И горюшка ему мало, шмыгнулъ или не шмыгнулъ «репортеръ» въ сосѣднемъ стойлѣ. Стоитъ онъ и жвачку жуетъ, а надоѣстъ стоять — ляжетъ: такъ въ собственный навозъ и ляжетъ, какъ редакторъ какой-нибудь «Красы Демидрона»—въ собственную газету. Не нужно ему ни полемику вести, ни приносить оправданія, ни раскаиваться, ни даже въ одиночку трепетать! Весь онъ, всѣмъ существомъ своимъ, такъ сказать, свидѣтельствуетъ...

— Глумовъ! да перестаньте вы, ради Христа!—взмолилась Поликсена Ивановна.

Глумовъ умолкъ; мы же вновь, словно сговорившись, возопили:

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

Но, немного погодя, даръ слова обуялъ Тебенькова.

— Позвольте, господа! — сказалъ онъ: — я нахожу, что Глумовъ только отчасти правъ. Нѣтъ спора, что участь быковъ блаженна, однако-жъ и они, какъ о томъ свидѣтельствуется во всѣхъ курсахъ зоологіи, въ виду извѣстныхъ пертурбацій природы, имѣютъ свойство выражать безпокойство и даже страхъ. А именно, въ Лиссабонѣ...

— Ахъ, господа, господа!—и т. д.

Словомъ сказать, вопросу о быкѣ и его свойствахъ такъ и не суждено было пройти сквозь горнило всесторонняго обсужденія. Наступило настоящее, серьезное молчаніе, такое молчаніе, о которомъ принято говорить: «дуракъ родился!»—такъ что нѣкоторое время только и слышно было, какъ Плѣшивцевъ дуетъ блюдечко съ чаемъ, а Глумовъ грызетъ баранки. Какъ вдругъ въ комнату, словно буря, влетѣлъ десятилѣтній первенецъ Положиловыхъ, Ваня, и крикнулъ:

— Господи! да неужто-жъ...

Это было такъ неожиданно и въ то же время до того совпало съ настроеніемъ минуты, что мы не выдержали и расхохотались. Мальчикъ остановился и изумленными глазами оглянулъ насъ.

— Что тебѣ? объ чемъ ты, голубчикъ?—обратилась къ нему Поликсена Ивановна.

Но мальчикъ ужъ заупрямился и только послѣ долгихъ разспросовъ и удостовѣреній, что «дяденьки» смѣются совсѣмъ не надъ нимъ, а сами надъ собой, открылся, что вопросъ его заключался въ томъ: неужто-жъ и завтра, и послѣзавтра и послѣ-послѣзавтра — каждый день все греческія склоненія будутъ?

— По обстоятельствамъ нынѣшняго времени...—началъ было объяснять Тебеньковъ, но Поликсена Ивановна такъ строго взглянула на него, что я невольно уподобилъ ее рокочущей львицѣ, у которой замыслили отнять ея дѣтеныша.

— Другъ мой!—сказала она Ванѣ:—никогда не позволяй себѣ роптать! Добрый мальчикъ долженъ безпрекословно выполнять то, чего требуютъ наставники, а не жаловаться на судьбу. Теперь, быть-можетъ, тебѣ и трудненько кажется, но зато въ будущемъ какъ отрадно...

Она не докончила, утерла Ванѣ носикъ и, подавая ему бубликъ, присовокупила:

— На, кушай, Христосъ съ тобой! А такъ какъ ты у меня пай-мальчикъ и, навѣрное, ужъ приготовилъ къ завтрему уроки, то скажи Аринушкѣ, что бай-бай пора.

Эпизодъ съ Ваней на этомъ и кончился, но однажды потревоженная «каверза» (даръ слова) уже не унималась. И я первый ощутилъ на себѣ живучесть ея.

— Получилъ я на-дняхъ письмо отъ одного пріятеля,— сказалъ я. — Пишетъ: прочиталъ я твое «Монрепо», и, воля твоя, куда какъ не понравился мнѣ тонъ этой книги! Уныніе, говоритъ, какое-то разлито; а, говоря по совѣсти, что же такое уныніе, какъ не рабская покорность судьбѣ, осложненная рабскимъ же казаніемъ кукиша въ карманѣ? И въ газетахъ, говоритъ, тебя за это упрекаютъ и, по мнѣнію моему, правильно. Потому что, по нынѣшнему времени, больше нежели когда-либо требуется не уныніе, а дерзновеніе. «Молодцомъ надо быть, мой другъ, молодцомъ!»

— Такъ онъ бы за собственный свой счетъ и молодечествовалъ!—подсказалъ мнѣ Плѣшивцевъ.

— Такъ-было и хотѣлъ я ему сгоряча отвѣтить; но потомъ разсудилъ, и стыдно сдѣлалось. Какъ это, думаю, съ больной головы на здоровую сваливать? Вѣдь онъ, пожалуй, отвѣтитъ: я, другъ сердечный, дерзать не обязывался, а ты не токмо обязывался, но даже жить, такъ сказать, съ

этого началъ. Все, скажетъ, дерзалъ да дерзалъ, и вдругъ, въ самую нужную минуту: не хочетъ ли кто за меня подерзать?

— Жестоко, но справедливо, — похвалилъ Глумовъ. — Какъ же ты думаешь поступить? Полагаешь ли продерзостно объявить походъ или за безопаснѣйшее сочтешь и впредь въ унынiи пребывать?

— То-то и есть, что самъ не знаю. Понимать-то и я хорошо понимаю, что большой заслуги въ унынiи нѣтъ, да что-жъ будешь дѣлать, коль скоро унынiе, одно унынiе такъ на тебя и плыветъ, такъ и давитъ тебя!

— А коли давитъ, такъ совсѣмъ, значитъ, замолчи!

— Думалъ я и такъ, да, во-первыхъ, привычка... А во-вторыхъ, ежели замолчать—что же изъ этого выйдетъ? однимъ молчанiемъ больше—только и всего.

— И это... жестоко, но справедливо!

— Да и въ-третьихъ,—откликнулся Положиловъ:—какъ еще на молчанiе-то посмотрѣть! все говорилъ да говорилъ, и вдругъ—молчокъ! съ какою цѣлью? почему?

— Гм!.. да! и это, братъ... тоже — статья въ своемъ родѣ!—согласился Плѣшивцевъ.

— Ну, такъ, стало-быть, дерзай! — посовѣтовалъ Глумовъ:—перекрестись и дерзай!

— Да вѣдь и дерзать... какъ тутъ дерзнешь? — оправдывался я.—Вопросы-то нынче какъ-то ребромъ встали... ужасно непрiятные, назойливые вопросы! А кромѣ того и еще: около каждаго вопроса пристроились газетные церберы. Такъ и лаютъ-надрываются, такъ и скачутъ на цѣпи! Положимъ, что укуситъ онъ и не больно, а ну, какъ онъ—бѣшеный!

— И даже почти навѣрное,—подтвердилъ Тебеньковъ.

— Не почти, а просто навѣрное,—усугубилъ Глумовъ.

— Такимъ-то родомъ я и раздумываю... Съ одной стороны несомнѣнно, что вопросы ребромъ встали, а съ другой стороны—какъ будто и совсѣмъ ихъ нѣтъ. Встали ребромъ да куда-то и пропали за предѣлы компетентности. Или, яснѣе сказать, есть вопросы, да мы-то не компетентны оказались, чтобы судить объ нихъ.

— Да, да. Вотъ какъ теперь: собрались мы здѣсь, а говорить намъ нѣ объ чемъ. Унывать приходится.

— Ну, братъ, о подоплёкѣ-то и теперь... — возразилъ было Тебеньковъ.

— Нѣтъ, и о подоплёкѣ... Смотря по тому, какая подоплёка и въ какое время.

— Вы, господа, съ подоплёкой не шутите! По нынѣшнему—вѣдь это красный фантомъ.

— Жестоко, но.... справедливо!

— Да нѣтъ, что̀ подоплёка! до подоплёки ли ужъ!—продолжалъ я.—Возьмемъ самый несложный и, по обстоятельствамъ, даже самый естественный вопросъ... напримѣръ, хоть о пользѣ содержанія козла въ огородѣ. Сколько въ былое время передовиковъ на этомъ вопросѣ репутацію себѣ сдѣлали! А нынче попробуй-ка его со всѣхъ сторонъ разсмотрѣть—анъ вдругъ изъ всѣхъ литературно-ретирадныхъ мѣстъ полемическій залпъ! Козелъ! что̀ такое «козелъ»? Огородъ! что̀ такое «огородъ»? съ какой стати вдругъ объ «огородѣ» рѣчь заведена? что̀ симъ достигается? и въ скольких̀ смыслахъ надлежитъ «оное» понимать?

Сознаюсь, это было нѣсколько преувеличено, и Тебеньковъ не преминулъ мнѣ это высказать; однако Положиловъ вступился за меня и, въ подтвержденіе моей правоты, даже привелъ фактъ.

— Я одного ученаго знаю, — сказалъ онъ: — тридцать лѣтъ сряду пишетъ онъ изслѣдованіе о «Бабѣ-Ягѣ» и наконецъ на-дняхъ кончилъ. И что-жъ! Спрашиваю я его: скоро ли, молъ, къ печатанію приступите? «Помилуйте! говоритъ, развѣ, по нынѣшнему времени, можно?»

— Ахъ! это.... ужасно!

И мы даже съ мѣстъ повскакали, простирая руки къ небу и вопія:

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

— А мнѣ такъ кажется, что вы именно преувеличиваете, господа! — рѣшила послѣ короткой паузы Поликсена Ивановна: — какая же это спеціальность — унывать! По-моему, такъ и теперь можно прожить, и даже очень прекрасно прожить. Кто захочетъ, тотъ всегда для себя подходящее дѣло отыщетъ.

Но какъ-то никто не откликнулся на это замѣчаніе, а Глумовъ даже явно отнесся къ нему съ пренебреженіемъ, то-есть махнулъ рукой и сказалъ:

— Да, взяли-таки волю наши ретирадники...

Но тутъ разыгрался у насъ «эпизодъ». Поликсена Ивановна не то чтобы прямо огорчилась невниманіемъ Глумова, но пригорюнилась, и Положиловъ, какъ преданный супругъ, счелъ долгомъ вступиться за нее.

— Однако-жъ, Глумовъ,—сказалъ онъ:—вѣдь жена-то у меня—дама; и ты могъ бы...

— Поликсена Ивановна! голубушка! да неужто вы... дама?—изумился Глумовъ.

Это дало новое направленіе бесѣдѣ. Сначала возникъ вопросъ: что такое «дама» и чѣмъ она отличается отъ «женщины»? А потомъ и другой: отчего Поликсенѣ Ивановнѣ, напримѣръ, неловко дѣлается, когда ее въ упоръ называютъ «дамой», и отчего тѣмъ не менѣе у той же Поликсены Ивановны въ экстренныхъ случаяхъ огоньки въ глазахъ бѣгаютъ: не забывайте, дескать, однако, что я... дама!?

— Давайте, господа, о женскомъ вопросѣ поговоримъ!— предложилъ Тебеньковъ.

Со стороны Тебенькова подобное предложеніе никого не удивило. Мы знали, что Тебеньковъ считаетъ себя спеціалистомъ по женскому вопросу, но въ то же время знали и то, что онъ любитъ обсуждать его по преимуществу съ точки зрѣнія «атуровъ». Поликсена Ивановна не разъ говаривала ему: «вы не можете себѣ представить, какъ это скверно, Тебеньковъ!»—а иногда даже и обижалась.

Par respect pour les moeurs, и мы не одобряли тебеньковскіе взгляды на женскій вопросъ, но, говоря по совѣсти, немаловажная доля его вины ложилась и на насъ всѣхъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ обычной манерѣ мужчинъ относиться къ женскому вопросу и обсуждать его существуетъ какое-то роковое легкомысліе. Я никогда не слыхалъ, какъ разсуждаютъ женщины о «мужскомъ вопросѣ», и потому не могу свидѣтельствовать, бываетъ ли тутъ рѣчь объ «атурахъ», но что касается до мужчинъ, то они только цѣною величайшихъ усилій могутъ воздерживаться отъ экскурсій игриваго свойства.

Мнѣ кажется, что это происходитъ отъ того, что мы ставимъ женскій вопросъ совсѣмъ не на ту почву, на которую его ставить надлежитъ, т.-е. разсматриваемъ его по преимуществу въ культурной средѣ, той самой, которая всѣми своими помыслами и силами почти исключительно направлена къ воспитанію «атуровъ». Тогда какъ если бы мы перенесли его въ среду трудолюбивыхъ поселянъ, то представленіе объ «атурахъ» упразднилось бы само собой, и женскій вопросъ предсталъ бы предъ нами въ своемъ чистомъ, безатурномъ видѣ.

Да, только тамъ можно представить себѣ «женщину» вполнѣ независимо отъ «атуровъ»; только тамъ половымъ различіямъ дается ихъ естественное, не дразнящее значе-

ніе. Въ этой средѣ и молодость быстрѣе проходитъ, и дѣловая, рабочая пора пристигаетъ плотнѣе. Когда женщина идетъ шагъ въ шагъ рядомъ съ мужчиной, когда она представляетъ собой необходимое дополненіе рабочаго тягла, то она является уже не утѣхой, не «украшеніемъ» и даже не помощницей и подругой, а просто-на-просто равноправнымъ человѣкомъ. И ежели за всѣмъ тѣмъ и при такой обстановкѣ мужчина хлещетъ женщину вожжами и таскаетъ за косы, то вотъ тутъ ужъ дѣйствительно выступаетъ на сцену женскій вопросъ, жгучій, потрясающій, вопіющій. И что же! именно тутъ-то никто его и не видитъ, никто объ немъ и не думаетъ!

Но какъ только женскій вопросъ выходитъ изъ предѣловъ простонародной среды, такъ онъ сейчасъ же превращается въ «дамскій» и пріобрѣтаетъ атурный характеръ. Вліяніе культурныхъ вѣяній таково, что даже женщина, вышедшая изъ народа, коль скоро отвѣдаетъ пуховика, самовара и убоины, такъ сейчасъ же первымъ дѣломъ начинаетъ нагуливать себѣ «атуры». И груди чтобъ сахарныя были, и бедра такія, чтобы уколупнуть было нельзя, и спина широкая, чтобы всей пятерней огрѣть можно было. И, нагулявши все это, начинаетъ мнить себя «дамой» и мечтать о «кавалерахъ».

Я знаю, что слово «дама» многимъ нынѣ ненавистно; но что «дамство» пустило корни глубоко и надолго заполонило женскую ниву—это несомнѣнно. Повторяю: я все-таки имѣю въ виду исключительно культурную среду и объ ней одной говорю, потому что можно ли назвать «дамой» существо, которое днемъ заурядъ съ мужчиной пашетъ, боронитъ и коситъ, а на сонъ грядущій получаетъ столько ударовъ вожжами, сколько влѣзетъ? Итакъ, возьмемъ въ этой культурной средѣ одинъ изъ лучшихъ экземпляровъ, въ родѣ Поликсены Ивановны. Безспорно, это женщина разумная и даже самостоятельная, а посмотрите, какъ она гордится, что за такимъ «добытчикомъ», какъ Павелъ Ермолаичъ, она живетъ, какъ за каменной стѣной! какъ она глубоко убѣждена, что онъ доставитъ ей обезпеченіе и покровительство, и какъ смиренно-счастлива, если ей удастся отблагодарить мужа за это покровительство, устроивъ ему домашній комфортъ! Не очевидно ли, что она и сама считаетъ, свою роль второстепенною, зависимою? что она и сама сознаётъ, что безъ Павла Ермолаича ей—матъ? Но этого мало: она называетъ мужа не иначе, какъ

Павломъ Ермолаичемъ (я увѣренъ, что даже одинъ-на-одинъ она не отступаетъ отъ этого правила), а онъ нѣтъ-нѣтъ да и обласкаетъ ее «Поликсенчикомъ». И когда она слышитъ это обращенное къ ней уменьшительное, то не только радуется, но и гордится этимъ: стало-быть, дескать, я еще заслуживаю! Я не утверждаю, чтобы въ соображеніяхъ ея по этому предмету непремѣнно играли роль «атуры», но, помимо воли, сами собой (въ формѣ скромнаго инстинктивнаго охорашиванья), вѣроятно, сказываются и они. Во всякомъ случаѣ, она несомнѣнно сознаётъ, что извѣстная пословица: курица не птица и т. д.—не просто пословица, но и фактъ, по поводу котораго до поры до времени спорить и прекословить безполезно. А ежели она все это сознаётъ и пріемлетъ, то должна неминуемо сознавать и то, что она... дама! И—о, ужасъ!—что только именно это «дамство» спасаетъ ее отъ тѣхъ практическихъ послѣдствій, которыми чревата сейчасъ упомянутая пословица...

Павелъ Ермолаичъ знаетъ эту двойственность своей подруги и относится къ недоумѣніямъ ея нѣсколько иронически. По моему мнѣнію, онъ поступаетъ въ этомъ случаѣ несправедливо, ибо недоумѣнія эти отнюдь не отъ Поликсены Ивановны зависятъ! Культурная женщина съ младыхъ лѣтъ такъ воспитывается, чтобъ быть «дамой», то-есть чтобы жеманиться и сидѣть у мужчины на колѣняхъ. Гопъ, гопъ, поѣхали! — скажите, гдѣ та культурная дама, которой сердце не замерло бы въ восторгѣ при этомъ восклицаніи?

Поэтому, когда Тебеньковъ предложилъ приступить къ разработкѣ женскаго вопроса, то Поликсена Ивановна рѣшительно этому воспротивилась, и Положиловъ принялъ ея сторону.

— Я знаю, къ чему ты стремишься, Тебеньковъ,—сказалъ онъ:—хочется тебѣ насчетъ «лямуру» пройтись да и вообще слабый оный полъ подробному во всѣхъ частяхъ разсмотрѣнію подвергнуть. И знаю также, что, по нынѣшнему времени, это занятіе самое благопотребное, по поводу котораго не потребуется даже заглядывать въ гостиную, не «шмыгаетъ» ли тамъ кто. Но подумай однако-жъ, не презорно ли будетъ, ежели мы, подобно ретирадникамъ, погрязнемъ въ однѣхъ игривостяхъ, а о прочихъ сторонахъ вопроса, унильныхъ обстоятельствъ ради, умолчимъ? Не правда ли, господа?

Мы поспѣшили согласиться, а Плѣшивцевъ, въ качествѣ всегдашняго антагониста Тебенькова, даже присовокупилъ:

— Говорилъ я тебѣ, что ты, Тебеньковъ, поскудникъ и засушина. Вотъ и попался. Теперь ты соборнѣ въ этомъ званіи навсегда утвержденъ.

— Нѣтъ, не будемъ черезчуръ строги къ нашему общему другу,—продолжалъ Положиловъ:—я самъ знаю, что Тебеньковъ немножко поскудникъ; но это оттого, что его чрезмѣрно ужъ угнетаетъ чувство изящнаго... А сверхъ того, у него откровенный характеръ... Вотъ это и выдаетъ его. Но вѣдь и всѣ мы, воспитанные въ преданіяхъ эстетики, относимся къ женщинѣ по преимуществу съ точки зрѣнія «атуровъ» и «игривостей». Только мы не столь часто и не столь открыто говоримъ объ этомъ и, разумѣется хорошо дѣлаемъ. Ибо какъ ни привлекательны атуры, но умнаго въ разговорахъ объ нихъ немного. Несмотря на эти разговоры, женскій вопросъ все-таки существуетъ, и ежели онъ представляется безвременнымъ и мелкимъ, то, во-первыхъ, потому, что сами женщины покуда еще не умѣютъ разобраться въ немъ, а во-вторыхъ, и главнымъ образомъ, потому, что на ближайшей очереди стоитъ великій мужской вопросъ. Но во всякомъ случаѣ подражать ретирадникамъ не подобаетъ. Поэтому я предпочелъ бы женскій вопросъ обойти; но ежели бы вы желали бесѣдовать на эту тему съ должной серьезностью...

Положиловъ не досказалъ и тихонько-тихонько на цыпочкахъ направился къ двери и заглянулъ въ гостиную. Онъ сдѣлалъ это, повидимому, совершенно инстинктивно, но вышло такъ наивно, что всѣ мы, не исключая и Поликсены Ивановны, захохотали.

— Оставимъ! оставимъ! — произнесъ Глумовъ, какъ только улеглись первые порывы веселости:—вѣдь это все-таки «вопросъ», а вопросы теперь не ко времени. Все стоитъ твердо, вѣрно, несомнѣнно,—такъ гласитъ мудрость вѣка сего,—зачѣмъ же прать противъ рѣшеній ея? Да и какая польза вдаваться въ изслѣдованія, коль скоро тебя каждоминутно подмываетъ заглянуть въ другую комнату, не шмыгнулъ ли тамъ кто? По-моему, это предосудительно и даже... некрасиво! А къ тому же и Поликсена Ивановна...

— Что-жъ я!—вступилась за себя Поликсена Ивановна:—говорите, я ничего! Только ежели вы серьезно будете, такъ, конечно... не вышло бы чего...

И она, въ свою очередь (и тоже, повидимому, инстинктивно), встала и на цыпочкахъ заглянула въ гостиную.

Мы поглядѣли-поглядѣли, но на сей разъ не разсмѣялись, а, помолчавъ немного, едиными устами возопили:

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

Но здѣсь я долженъ сдѣлать тяжкое для самолюбія признаніе: главную причину положиловскаго и нашего смущенія составлялъ лакей Филиппъ. Это было какое-то сказочное существо, о которомъ носились самые загадочные слухи. Говорили, будто бы онъ репортеромъ при какой-то секретной газеткѣ состоитъ. Явится, будто бы, въ редакцію раннимъ утромъ, вычистивъ господамъ сапоги, выложитъ дневной запасъ, а тамъ ужъ и начнутъ «публицисты» сыскивать. Сколько разъ мы убѣждали Положилова разсчитать Филиппа, но всегда встрѣчали какое-то необъяснимое упорство.

— Прогонишь этого — другого репортера наймешь!— отвѣчалъ онъ:—а этотъ, по крайней мѣрѣ, сапоги ловко снимаетъ.

И при этомъ, въ видахъ самоободренія, прибавлялъ:

— Впрочемъ, съ меня, братъ, взятки гладки! Хоть до завтрева слушай—не боюсь!

Такимъ образомъ и остается Филиппъ властителемъ нашихъ думъ и регуляторомъ нашей благонамѣренности въ глазахъ «Красы Демидрона». И я даже подозрѣваю, что Поликсена Ивановна отчасти довольна этимъ: все-таки есть въ домѣ узда, которая сдерживаетъ этихъ сорванцовъ-подоплёчниковъ.

Между тѣмъ изъ столовой мы перешли въ гостиную и, покуда Филиппъ убиралъ чай, разумѣется, молчали. Но когда стукъ стакановъ и ложекъ наконецъ утихъ, то «каверза» снова возымѣла дѣйствіе.

— Вотъ вы, голубушка, сейчасъ сказали,—обратился Глумовъ къ Поликсенѣ Ивановнѣ:—что и въ нынѣшнее время прожить очень прекрасно можно, а я, невѣжа, въ ту пору даже и не выслушалъ васъ. Тутъ ужъ простите вы мое невѣжество, научите, какъ это, по вашему мнѣнію, «прекрасно прожить можно»?

— Очень просто: разсчитать себя нужно.

— То-есть какъ это... разсчитать?

— Да примѣняясь къ обстоятельствамъ. О большихъ размѣрахъ позабыть, лишнія претензіи тоже въ сторону отложить да вотъ въ этакомъ родѣ и подыскать себѣ дѣло.

— Или какъ вотъ онъ выражается...—Глумовъ указалъ на меня: — на маленькомъ мѣстѣ небольшую пользу приносить?

— Такъ что-жъ... ахъ, господа! Сами же вы говорите, что нынче всего больше нужно одно: позабыть! А какъ же вы «забудете», ежели у васъ не будетъ дѣла, которое васъ отъ думы отведетъ? Вѣдь безъ дѣла-то вы только больше да больше будете себя бередить!

— Гм!.. такъ по-вашему, значитъ, дѣло... и при семъ небольшое... Ежели, напримѣръ, моціономъ заняться... одобрите?

Сказавъ это, Глумовъ чуть-было опять не махнулъ рукой, но воздержался и въ заключеніе воскликнулъ:

— Голубушка вы наша!

Однако-жъ Поликсена Ивановна, по неизреченному своему милосердію, на этотъ разъ не обидѣлась.

— Ну, какъ хотите!—сказала она:—можетъ-быть, я и пустое предлагаю, но, по-моему, вѣдь и въ томъ, какъ вы проводите время, ничего особенно выспренняго нѣтъ.

— А какъ мы проводимъ время?

— Да соберетесь, хмуритесь, никакого разговора послѣдовательно до конца не можете довести. Посмотришь на васъ—точно вы и невѣсть какіе преступники!

— Боимся, значитъ?

— А что-жъ... полагаю, что не безъ того...

— Поликсена Ивановна! да не вы ли сами панику на всѣхъ наводите? Не вы ли въ сосѣднюю комнату каждоминутно заглядываете? Не вы ли мужа на французскомъ діалектѣ предостерегаете: «Pavel Ermolaïtch... Philippe içi!»

— Что-жъ я! Я, какъ говоритъ Павелъ Ермолаичъ, дама... А вѣдь съ дамы и спросить много нельзя.

Увы! несмотря на глумовскія оговорки, я долженъ сознаться, что Поликсена Ивановна, ежели и не прямо вложила персты въ язвы, то во всякомъ случаѣ довольно близко нащупала больное мѣсто. Мнѣ и самому неоднократно приходило въ голову: боимся мы или не боимся?—и всякій разъ я не то чтобы уклонялся отъ отвѣта, но, по совѣсти, не могъ отвѣчать ни въ положительномъ, ни въ отрицательномъ смыслѣ. Очевидно, что въ душевномъ недомогательствѣ, которое угнетало насъ, сама по себѣ заключалась значительная доля неясности, мѣшавшей назвать его по имени. Прямой, острой боязни не было, но было безпокойство, была тупая боль. Одна изъ тѣхъ болей,

которыхъ, какъ говорится, не знаешь, гдѣ мѣста найти, которыя зудятъ и сверлятъ весь организмъ, не давая свободной минуты, чтобъ оглядѣться и обдумать выходъ. Непріятнѣе этой боли представить себѣ ничего нельзя, тѣмъ больше, что подобное тупое недомогательство, однажды овладѣвъ человѣкомъ, дѣлается какъ бы нормальнымъ удѣломъ его на все время, пока существуютъ причины, обусловившія его.

Во всякомъ случаѣ, мнѣ очень интересно было узнать, что̀ отвѣтитъ Глумовъ на замѣчаніе Поликсены Ивановны.

— Такъ, значитъ, боимся?—повторилъ онъ свой прежній вопросъ.

Поликсена Ивановна молчала.

Тогда Глумовъ принялся объяснять. Но, къ сожалѣнію, объясненія эти были столь же сбивчивы и уклончивы, какъ и тѣ, которыя я уже давалъ себѣ и о которыхъ только-что упомянулъ выше. И тутъ оказывалось, что боязни собственно нѣтъ, а есть будто бы лишь горькое сознаніе безсилія, которое на все существованіе, на всю дѣятельность кладетъ унылый, почти постыдный отпечатокъ. Глумовъ съ особенною настойчивостью налегалъ на этомъ различіи и для того, чтобы установить его въ умѣ слушателей, на одно объясненіе нагромождалъ другое, третье и т. д., и вслѣдствіе этого впадалъ въ многословіе, въ перифразу. Но разница была, повидимому, настолько деликатнаго свойства, что, несмотря на всѣ усилія, различительные признаки вырисовывались слабо, и со стороны очень нетрудно было ихъ проглядѣть. Вообще выходило, что дѣло идетъ только о словахъ, и что Глумову хотѣлось собственно одного: во что бы ни стало устранить поскудное слово «боязнь», которое Поликсена Ивановна, пользуясь своею женскою безотвѣтственностью, такъ простодушно пустила въ обращеніе. Такъ что, когда Тебеньковъ, въ шутливомъ русскомъ тонѣ, желая поддразнить Глумова, взялъ его подъ мышки и сказалъ: — Ну, что̀ ужъ! признавайся! Ну, стыдишься... унываешь—все это такъ! но вѣдь мало-мало есть и тово... Побаиваешься-таки! Ну, грѣхъ пополамъ! — то сдѣлалось какъ-то тяжело и непріятно, а Глумовъ, не возражая, досадливо отвелъ отъ себя шутника рукой и проворчалъ:

— Оставь!

Затѣмъ всѣ смолкли и, разумѣется, черезъ минуту, по установившемуся обычаю, возопили:

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

. . . . . .

— А впрочемъ, господа, — первый прервалъ молчаніе Положиловъ: — и я съ своей стороны не раздѣляю щепетильности Глумова. Вѣдь рѣчь идетъ совсѣмъ не о герояхъ, а о массѣ ординарныхъ, но добропорядочныхъ и мягкосердечныхъ людей, которые любятъ добро, но не чувствуютъ призванія «класть свои головы». И вотъ относительно ихъ-то я и не вижу, почему бы для нихъ представилось обиднымъ или предосудительнымъ сознаться въ гнетущемъ ихъ безпокойствѣ. По моему мнѣнію, боязнь играетъ настолько рѣшительную роль въ существованіи современнаго человѣка, что самое уныніе едва ли могло бы такъ прочно внѣдриться въ обществѣ, если-бъ его постоянно не питало ожиданіе чего-то непредвидѣннаго. А коль скоро страхъ существуетъ, то отрицаться отъ него — значитъ только добровольно обрекать себя на сугубое малодушіе; значитъ отнимать у себя возможность, при помощи анализа этого явленія, примириться съ своею совѣстью. Вѣдь ежели даже этой возможности не будетъ, то какъ же существовать? Поэтому-то я совершенно искренно думаю, что ежели у человѣка — повторяю, не у героя, а у ординарнаго, но добропорядочнаго человѣка—есть безспорныя и осязательныя причины ощущать страхъ, то онъ имѣетъ полное право безъ околичностей сказать: да, я боюсь. И совѣсть, самая щепетильная, не найдетъ основательнаго повода укорить его за это. Не такъ ли, господа?

— «Право»!.. отлично! превосходно! «Право»!—проворчалъ Глумовъ.

— А по-моему, право какъ право, не хуже и не лучше прочихъ таковыхъ же. Скажу даже больше: по нынѣшнему времени, и этимъ правомъ въ полномъ его объемѣ едва ли всякому удастся воспользоваться. «Правомъ бояться»... да! Бояться—вѣдь это значитъ «кукситься», а кукситься—значитъ показывать кукишъ въ карманѣ. Все это виды и формы темнаго русскаго фрондерства; а что гласятъ объ этомъ въ «Вѣстникѣ Общественныхъ Язвъ»? Да-съ, современный общественный камертонъ совсѣмъ не къ фрондерству наклоненъ. Камертонъ этотъ гласитъ такъ: всякій да взираетъ бодро. Вотъ это право (право взирать весело) — безспорное, и всякій можетъ пользоваться имъ на всей волѣ. И что всего несомнѣннѣе—этимъ правомъ наградила насъ не въ такой мѣрѣ жизнь, какъ литература.

Произнеся послѣднее слово, Положиловъ на минуту остановился, какъ бы выжидая, какой эффектъ оно произведетъ

на слушателей. Но никакого эффекта не было; скорѣе, напротивъ того, можно было предположить, что давно ужъ это слово у всѣхъ на языкѣ, и, рано или поздно, неминуемо придется его произнести.

— Если до извѣстной степени можно согласиться съ Глумовымъ, — продолжалъ Положиловъ: — что съ общей точки зрѣнія страхъ есть чувство некрасивое, и что сознаваться въ немъ не особенно лестно, то до современной русской литературы это ужъ ни въ какомъ случаѣ относиться не можетъ. Ея нельзя не бояться; ея должно бояться. Возьмите однѣ фирмы: «Бодрствующая Упредительница», «Неусыпающій Шалыганъ», «Изъяснитель Язвъ»... развѣ не страшно? Разумѣется, прежде всѣхъ должны бояться своя же братія, неостервенившіеся литераторы. Имъ, должно-быть, особенно трудно; ибо въ литературѣ обойтись безъ человѣческихъ чувствъ, безъ человѣческихъ мыслей, безъ обобщеній, безъ идеаловъ, съ одною канцелярскою насущностью... что-жъ это за литература будетъ! Но не освобождаются отъ обязанности трепетать и всѣ вообще партикулярные люди, которые почему-либо не сумѣли уподобить себя звѣрямъ. Къ числу послѣднихъ я причисляю и себя. И хотя, говоря вообще, я *не вполнѣ* боюсь, но признаюсь, когда утромъ начинаю, по привычкѣ, прочитывать печатныя строчки, то ощущаю невольную дрожь. Помилуйте! каждый день кого-нибудь предаютъ суду! Ни талантъ, ни извѣстность, ни годы тщательнѣйшаго самонаблюденія, ничто не ограждаетъ отъ внушеній самаго ехиднаго свойства! И отъ кого исходятъ эти внушенія?!

— И отъ кого исходятъ эти внушенія?! — словно эхо, повторили мы всѣ.

Но тутъ со мною случилось что-то загадочное. Несмотря на торжественность минуты, въ ушахъ моихъ вдругъ какъ-то совершенно явственно прозвучало:

Люди добрые, внемлите
Страданью сердца моего...

Разумѣется, я ни съ кѣмъ не подѣлился этой пилюлей; однако-жъ Положиловъ, повидимому, угадалъ, что во мнѣ происходитъ нѣчто неладное.

— Нѣтъ, ты не шути!—обратился онъ ко мнѣ:—а обрати вниманіе! Столько нынче гаду въ вашу литературу наползло! столько наползло, что даже вчужѣ страшно становится! Кружатся, хохочутъ, ликуютъ, брызжутъ слюнями... Иной

всю жизнь въ ретирадѣ сидѣлъ, заплѣсневѣлъ, отсырѣлъ; думалъ: до гробовой доски мнѣ въ семъ мѣстѣ на стѣнахъ писать суждено,—и вдругъ почувствовалъ, что моментъ его наступилъ! Вы представьте себѣ эту картину! Выходитъ оттуда, весь пахучій, и голосомъ, напоминающимъ мѣстное урчаніе, вопіетъ: «а позвольте васъ, милостивые государи, допросить, по какому случаю вы унывать изволите?...» Каково вопросы-то эти слушать?

— А развѣ нельзя ему отвѣтить: «угадай»? — какъ-то неожиданно сорвалось съ языка у Поликсены Ивановны.

Совѣтъ этотъ былъ ужасно простъ, до того простъ, что Положиловъ на нѣкоторое время даже какъ бы оторопѣлъ.

— Ты, Поликсенчикъ, всегда...—сказалъ онъ съ оттѣнкомъ нетерпѣнія, но вслѣдъ затѣмъ спохватился и присовокупилъ: — а что, ежели и въ самомъ дѣлѣ... Онъ — съ допросцемъ, а ему въ отвѣтъ... угадай?! Вѣдь это въ своемъ родѣ...

— Нельзя!—рѣзко прервалъ Глумовъ, который, повидимому, успѣлъ уже убѣдиться (а кто же знаетъ — можетъ-быть, и прежде онъ только упражненія ради противное утверждалъ), что «бояться» не стыдно.

— Почему?

— Чудакъ! самъ же сейчасъ говорилъ, что засиліе гадъ взялъ, — и спрашиваешь! Надо еще удивляться, что хоть по существеннымъ-то пунктамъ гады рѣшительныхъ побѣдъ не одерживаютъ. Вѣдь ежели ихъ послушать, то все, что въ теченіе послѣднихъ лѣтъ пріобрѣтено, все это нужно нарушить и упразднить: земство отмѣнить, судъ присяжныхъ уничтожить, цензуру возстановить, крѣпостное право возродить!.. Ну, этого однако-жъ имъ не дождаться!

— Вотъ видишь! стало быть, есть же и противовѣсъ!

— По такимъ-то пунктамъ... еще бы! Ну, а подробности тамъ разныя, напримѣръ: ты, я, мы, вы, они—это ужъ въ счетъ нейдетъ! этого нельзя и не уступить. Нельзя-съ. Потому засиліе гады взяли! подоплёку угадали! Ахъ, много еще кровожадности въ этой подоплёкѣ таится, куда какъ много! Вотъ они ее и эксплоатируютъ.

— А я такъ думаю, — возразилъ я: — что не столько кровожадность играетъ тутъ роль, сколько жалкая и скудоумная страсть къ начертыванію поскудныхъ словесъ на стѣнахъ нежилыхъ строеній, на заборахъ, скамьяхъ и т. д. Вотъ она, настоящая-то подоплёка, на чемъ стоитъ.

— Есть и это. Но во всякомъ случаѣ гадъ знаетъ, что ему нынче масленица. Попробуй-ка ему сказать: «угадай!» — онъ огорчится и сейчасъ тебѣ въ отвѣтъ: «измѣна!» А вслѣдъ за нимъ и подоплёка завопитъ: «ха-ха, измѣна!»

— Ахъ, мерзость какая!

— И вѣдь самъ, шельмецъ, знаетъ, что лжетъ! знаетъ, что лжетъ, и все-таки лжетъ!

Говоря это, Глумовъ простиралъ руки и сверкалъ глазами. Въ первый разъ я въ немъ эту восторженность видѣлъ. Обыкновенно онъ относился ко всѣмъ этимъ «измѣнамъ» скорѣе иронически, и вотъ теперь... Это было такъ странно, что на этотъ разъ я уже не выдержалъ и явно запѣлъ:

Люди добрые, внемлите
Страданью сердца моего...

И всѣ хоромъ подхватили:

Онъ меня разлюбилъ!
Онъ ее полюбилъ!

— «Ее», т.-е. розничную продажу, во имя которой всѣ современныя литературныя злодѣянія совершаются! — пошутилъ Тебеньковъ.

А Поликсена Ивановна, совершенно успокоившаяся, съ любовью оглянула насъ и, вздохнувъ, присовокупила:

— Ахъ, бѣдненькіе вы мои! беззащитненькіе!

Однимъ словомъ, благодаря моей диверсіи, чуть-чуть не водворилось въ нашемъ кружкѣ общее благодушіе, какъ вдругъ нелегкая дернула Плѣшивцева сказать:

— Ну, вотъ, теперь все отлично. А то я слушалъ-слушалъ, и, признаться, все-то мнѣ думалось: а вѣдь это они передъ Филиппомъ хотятъ себя съ хорошей стороны зарекомендовать!

Это напомнило о Филиппѣ и разомъ всѣхъ расхолодило. Къ тому же въ эту самую минуту въ столовой упалъ со стола стаканъ и съ шумомъ разбился. Подъ вліяніемъ совпаденія этихъ нечаянностей, и Положиловъ и Поликсена Ивановна, оба единовременно на цыпочкахъ устремились къ двери, и хотя оказалось, что виновникомъ кутерьмы былъ котъ Васька, но благодушіе къ намъ уже не возвратилось.

— Прежде насчетъ гаду было лучше!—возобновилъ разговоръ Тебеньковъ.

— Вотъ какъ!—удивился Плѣшивцевъ.

— Да такъ. И прежде гадъ допускался, но строже его держали. Жить—живи, но изъ указанныхъ природой помѣщеній не выходи.

— Пожалуй, что это и такъ,—согласился Положиловъ.— А главное что было дорого: поученій дѣлать не моги! Никто не моги дѣлать поученія, а въ томъ числѣ не моги и гадъ!

— А нынче гады подоплёку собой изображать претендуютъ — оттого и не сладишь съ ними! — присовокупилъ Глумовъ:—выйдетъ онъ изъ своего мѣста и начнетъ тебя обыскивать. Тамъ рванетъ, въ другомъ мѣстѣ куснетъ... ахъ! Волкъ—тотъ прямо за горло рѣжетъ, а гадъ—во всѣ мѣста расползется... Можете вообразить себѣ чувство человѣка, который, по обстоятельствамъ, вынужденъ вступать съ нимъ въ разговоръ!

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

. . . . . .

Однако-жъ оказалось, что это не кошмаръ. Тебеньковъ сообщилъ:

— Былъ я давеча у одного товарища по школѣ: сидитъ и всѣмъ естествомъ радуется. «Слава Богу, говоритъ, и у насъ публицистъ нашелся!»—Хорошъ? спрашиваю.—«Да такой, говоритъ, что ежели ему узы разрѣшить, такъ онъ всю вашу либеральную суматоху на бобахъ разведетъ!» И представь себѣ, гдѣ нашли—въ уединенномъ мѣстѣ! Сидитъ, улыбается и на стѣнахъ пишетъ!

— Любопытно, какіе онъ, этотъ новоявленный публицистъ, вопросы разрѣшать будетъ?

— Помилуй! Вопросъ первый: дозволительно ли мыслить? Отвѣтъ: нѣтъ, не дозволительно. Вопросъ второй: предосудительно ли человѣческія чувства выражать? Отвѣтъ: да, предосудительно. Этими двумя вопросами вся современная суть исчерпывается.

— Да вѣдь надо же будетъ и дальше говорить!

— А дальше онъ будетъ распивочнымъ слогомъ разсказывать анекдоты о стриженыхъ дѣвкахъ, будетъ на стѣнахъ излюбленныя словеса писать, акростихи добраго помѣщичьяго времени, въ родѣ: «хвалы достойныя дѣвицы», вспомнитъ... Да и мало ли подходящаго матеріала найдется!

— Знаешь ли что,—предложилъ мнѣ Тебеньковъ:—я бы совѣтовалъ тебѣ въ отдѣлѣ беллетристики всѣ водевили Ка-

ратыгина постепенно перепечатать, этакъ въ мѣсяцъ по одному. Это помогло бы тебѣ время провести, а читателя-то какъ освѣжило бы!

— А вѣдь это на дѣло похоже!—поддержалъ Положиловъ: — что вы тамъ «сквозь невидимыя міру слезы» ехидничаете! гряньте-ка прямо, на чистоту... Господа! кто изъ васъ помнитъ: *Задѣть мою амбицію*... за мной!

И всѣ мы хоромъ подхватили:

Задѣть мою амбицію
Я не позволю вамъ,
Я жалобу въ полицію
На васъ, сударь, подамъ!

— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!

Наступилъ довольно длинный періодъ молчанія. Въ столовую съ шумомъ ворвался Филиппъ и началъ накрывать ужинъ; изъ кухни доносился острый запахъ солонины и пріятно щекоталъ обоняніе. Это значительно всѣхъ прибодрило.

— А мнѣ что пришло на мысль, господа! — предложилъ Положиловъ: — давно мы не пѣвали «Gaudeamus». Возьмемтесь-ка дружно за руки и помянемъ нашу молодость!

Взялись за руки и съ увлеченіемъ грянули первую строфу всѣмъ дорогого канта. Но когда дошла очередь до «Vivat academia», то усомнились. Какая академія? Что сіе означаетъ? въ какомъ смыслѣ «онное» понимать надлежитъ? и что симъ достигается?

— Не забудьте, господа, что Филиппъ по-латыни не знаетъ, — напомнилъ Положиловъ: — и слѣдовательно можетъ истолковать нашу пѣсню въ самомъ превратномъ смыслѣ. Кто, напримѣръ, поручится, что онъ не скажетъ себѣ: а! понимаю! медико-хирургическая... превосходно!

Словомъ сказать, пришлось бросить. Къ счастію, скоро доложили, что подано ужинать. Это опять всѣхъ ободрило. Но и тутъ Положиловъ отчасти отравилъ общее удовольствіе, предупредивъ насъ шепоткомъ:

— Господа! за ужиномъ чтобы никакихъ этихъ экскурсій въ области вымысловъ... ни-ни! Принимая пищу, мудрый о пищѣ же и бесѣдуетъ—такъ-то!

На что мы, разумѣется, отвѣтили:

— Конечно! конечно! неужто-жъ мы этого-то не знаемъ!

За ужиномъ все обошлось благополучно. Хвалили соло-

нину, а въ особенности не находили словъ для выраженія восторговъ по поводу громаднаго индюка, присланнаго Положиловымъ изъ деревни.

— Индюка совсѣмъ не такъ легко довести до такой степени манности, нѣжности и благонадежности, какъ это кажется съ перваго взгляда,—объяснялъ при этомъ Павелъ Ермолаичъ: — нѣтъ, тутъ не мало-таки труда нужно положить! Не въ томъ штука, чтобы до отвалу накормить голодную птицу, а въ томъ, чтобы существо, уже до отвращенія пресыщенное, цѣлесообразными мѣрами побудить сугубо себя утучнить, ad majorem hominis gloriam! Это цѣлая система, которую, впрочемъ, я не буду здѣсь излагать, дабы Поликсена Ивановна не вывела изъ моего изложенія какихъ-либо неблагопріятныхъ намековъ и примѣненій. Но скажу одно: индюкъ, воспитанный на точномъ основаніи изданныхъ на сей предметъ руководствъ, дѣлается ни къ чему иному негоднымъ, кромѣ какъ къ подачѣ на столъ въ видѣ жаркого.

Поликсена Ивановна слушала эти объясненія и потихоньку радовалась. Мы тоже не безъ пользы внимали Положилову, потому что объясненія его, такъ сказать, осмысливали удовольствіе, доставляемое намъ индюкомъ. Что касается до Филиппа, то онъ не безъ лукавства улыбался, какъ бы говоря: а вѣдь это они передо мною себя зарекомендовываютъ!

Повторяю: все произошло отлично, такъ что Поликсена Ивановна не выдержала и, обращаясь къ Глумову, сказала:

— Вотъ вы давеча не повѣрили, когда я говорила, что и по настоящему времени прожить прекрасно можно,—анъ вотъ вамъ и доказательство налицо!

Она обвела всѣхъ насъ счастливымъ взоромъ и проговорила:

— Прекрасно, тихо, благородно!

Это было такъ мило сказано и притомъ съ такимъ теплымъ участіемъ къ намъ, измученнымъ невозможностью довести какой-либо разговоръ до конца, что Глумовъ пожалъ крѣпко ея руку и сказалъ:

— Правда ваша, голубушка! Именно: прекрасно, тихо, благородно! Лучше нельзя опредѣлить.

— И повѣрьте мнѣ, — продолжала Поликсена Ивановна:—что вся эта суматоха, которая такъ мучительно на васъ дѣйствуетъ, чувствуется только въ тѣхъ сферахъ,

которыя черезчуръ ужъ близко къ ней стоятъ. А тамъ, въ глубинахъ, даже и не подозрѣваютъ объ ея существованіи. Павелъ Ермолаичъ не дальше какъ вчера получилъ изъ деревни письмо...

— Да, есть изъ деревни письмо, есть! — отозвался Положиловъ:—и ежели угодно, то я могу его прочитать.

И, не дожидаясь согласія нашего, онъ прочиталъ:

«А у насъ, слава Богу, благополучно. Только по случаю лютыхъ онныхъ морозовъ и безснѣжія опасаемся, какъ бы озимый хлѣбъ въ поляхъ не вымерзъ, да травы на низкихъ мѣстахъ весной не вымокли, да древа и кусты въ садахъ не погибли. При чемъ однако-жъ остаемся не безъ упованія, что ежели весна будетъ дружная и Богъ пошлетъ дождичковъ...»

.....

ВЪ СРЕДѢ УМѢРЕННОСТИ И АККУРАТНОСТИ.

(1874—1877 г.).

I.—ГОСПОДА МОЛЧАЛИНЫ.

Глава I.

Бываютъ такія минуты затишья въ исторіи человѣческой общественности, когда человѣку ничего другого не остается желать, кромѣ тишины и безвѣстности. Это минуты, когда дѣятельная, здоровая жизнь словно засыпаетъ, а на ея мѣсто вступаетъ въ права жизнь призраковъ, миражей и трепетовъ, когда общество не только не заявляетъ ни о какихъ потребностяхъ или интересахъ, но даже, повидимому, утрачиваетъ самую способность чѣмъ-либо интересоваться и что-либо желать; когда всякій думаетъ только о себѣ, а въ сосѣдѣ своемъ видитъ ненавистника; когда подозрительность становится общимъ закономъ, управляющимъ человѣческими дѣйствіями; когда лучшіе умы обуреваются однимъ страстнымъ желаніемъ: бѣжать, скрыться, исчезнуть.

Въ такія минуты слишкомъ выдающаяся извѣстность можетъ очень серьезно компрометировать. Однихъ — въ глазахъ современниковъ, другихъ—въ глазахъ потомства. Первое даетъ себя чувствовать непосредственно и отравляетъ жизнь неосторожно прославившагося человѣка въ настоящемъ; второе хотя и не сказывается осязательно въ настоящемъ, но нужно быть или совсѣмъ безумнымъ, или совсѣмъ безсовѣстнымъ, чтобъ не понимать, что попасть въ исторію съ нехорошимъ прозвищемъ—все-таки вещь далеко не лестная.

Примѣровъ громкой извѣстности первой категоріи я указывать не стану. Для насъ покамѣстъ это еще дѣло новое, хотя въ людяхъ, которыхъ жизнь представляетъ сплошную борьбу съ квартальными надзирателями, и у насъ недостатка нѣтъ. Изъ репутацій второй категоріи укажу на извѣстнаго англійскаго судью Джеффриза, который былъ настолько без-

совѣстенъ, что совсѣмъ позабылъ о существованіи исторіи и ея суда. Однако исторія вспомнила о немъ и заклеймила его имя неувядаемымъ позоромъ, въ томъ, конечно, разсчетѣ, что примѣръ этого чудовища послужитъ спасительнымъ предостереженіемъ для воспитанниковъ среднихъ учебныхъ заведеній. У насъ подобныхъ блестящихъ репутацій до сихъ поръ не было; тѣмъ не менѣе фамилія тайнаго совѣтника Шешковскаго въ свое время пользовалась настолько громкою извѣстностью, что быть приглашеннымъ къ нему считалось честью не совсѣмъ безопасною. И что же! Даже наша скромная исторія, олицетворяемая «Русскою Стариною» и «Русскимъ Архивомъ», уклоняется отъ выдачи похвальнаго аттестата его громкой дѣятельности!

Я увѣренъ, что если бы Шешковскій могъ провидѣть, что на страницахъ «Русской Старины» будутъ отъ времени до времени появляться анекдоты объ его подвигахъ, то онъ отъ многаго воздержался бы. Съ этой точки зрѣнія воспитательное значеніе «Русской Старины» не можетъ подлежать никакому сомнѣнію, и остается только сожалѣть, что дѣйствіе его возымѣло начало такъ недавно. Имѣй Шешковскій хотя смутное представленіе о силѣ историческихъ обличеній, онъ сказалъ бы себѣ: «чортъ возьми! у меня есть сынъ (этотъ сынъ, дѣйствительно, существовалъ, но невдолгѣ безслѣдно исчезъ), у меня могутъ быть внуки и правнуки—каково имъ будетъ читать въ «Русской Старинѣ» разсказы о «малороссійскомъ борщѣ» (деликатная замѣна слова «розги») или объ особой конструкціи креслѣ, въ которое я, для пользы службы (то-есть для наказанія на тѣлѣ), имѣю обыкновеніе сажать своихъ паціентовъ! Вѣдь я думалъ, что все это останется шито и крыто, и вдругъ... Нѣтъ! лучше практику эту оставить!» И мы ничего не знали бы ни о малороссійскомъ борщѣ, ни о креслѣ особаго устройства, ни даже о самомъ Шешковскомъ. Да, и о Шешковскомъ ничего не знали бы, ибо что такое Шешковскій, отрѣзанный отъ борща, кресла и другихъ аттрибутовъ его достославной спеціальности?—Это Ивановъ, Сидоровъ, Ѳедоровъ, Пафнутьевъ—словомъ, одна изъ тѣхъ личностей, которыхъ Грибоѣдовъ возвелъ въ перлъ созданія въ лицѣ Молчалина и которыхъ и современники, и потомство разумѣютъ подъ темнымъ наименованіемъ: «и другіе». Настигнуть этихъ «и другихъ», обличить ихъ въ чемъ бы то ни было—ни «Русскій Архивъ», ни «Русская Старина» не въ состояніи. Это люди до того безанекдот-

ные, что упоминаніе именъ ихъ произвело бы на читателя то же самое дѣйствіе, какъ, напримѣръ, перепечатка ревизскихъ сказокъ.

И Шешковскій поступилъ бы несомнѣнно благоразумно, если бы, не настаивая на томъ, чтобъ быть тѣмъ знаменитымъ Шешковскимъ, какимъ мы его знаемъ, прямо погрузился бы въ пучину «и другихъ». Это было бы съ его стороны актомъ мудрой предусмотрительности, потому что, въ сущности, эти «и другіе», эти Молчалины, и суть «излюбленные люди» тѣхъ историческихъ моментовъ, о которыхъ идетъ рѣчь. Они полнѣйшіе выразители современной имъ дѣйствительности; они дѣятельнѣйшіе, хотя, быть-можетъ, и не вполнѣ сознательные созидатели тѣхъ сумерекъ, благодаря которымъ настоящій, заправскій человѣкъ не можетъ сдѣлать шага, чтобъ не раскроить себѣ лба. Они одни сохраняютъ среди этихъ сумерекъ остроту зрѣнія, одни видятъ и различаютъ. Что различаютъ?—различаютъ ту счастливую область умѣренности и аккуратности, подъ сѣнію которой зиждется человѣческое благополучіе, скромное, но прочное, не сопровождаемое трубными звуками, ни блескомъ апоѳеозъ, но взамѣнъ того вполнѣ удовлетворившееся и успокоившееся въ самомъ себѣ. И что всего важнѣе—благополучіе, до котораго нѣтъ дѣла ни современникамъ, ни исторіи.

О, счастливые, о, стократъ блаженные Молчалины! Они безшумно, не торопясь, переползаютъ изъ одного періода исторіи въ другой, никому не бросивши слова участія, но и никого не вздернувши на дыбу (то-есть, можетъ-быть, кого-нибудь и вздернули, но, ей-Богу, не сами собой!). Никто ими не интересуется, никто не хочетъ знать, дѣлаютъ ли они что-нибудь или просто сидятъ и бьютъ въ баклуши, никто не трепещетъ и не благоговѣетъ передъ ними... какой прекрасный и блаженный удѣлъ! И зато они во вѣки вѣковъ не перестанутъ быть «и другими»; зато дѣтямъ ихъ нечего будетъ стыдиться, все равно какъ бы они родились безъ отцовъ; зато сами они имѣютъ право каждодневно засыпать съ сладкою увѣренностью, что ни полиція современности, ни полиція будущаго не предъявитъ къ нимъ ни малѣйшаго иска... И имъ никогда, никогда не будетъ надобности обращаться къ помощи адвоката Легкомысленнаго, дабы исходатайствовать для себя у суда увеличивающихъ вину обстоятельствъ! Зачѣмъ? какой судъ въ цѣломъ мірѣ найдетъ хотя единую вину за человѣкомъ, которому имя «и другіе»?

Ужели это не блаженство?—спрашиваю я всѣхъ и каждаго, кто хоть мало-мальски ревнуетъ о цѣлости своей шкуры.

Я вовсе не намѣренъ характеризовать здѣсь признаки тѣхъ историческихъ моментовъ, въ продолженіе которыхъ умѣренность и аккуратность представляютъ счастливѣйшее условіе и надежнѣйшую ограду человѣческаго существованія. Подобнымъ моментомъ даютъ очень разнообразныя клички, которыя однако-жъ всѣ болѣе или менѣе группируются около одной, резюмирующейся въ выраженіи: «переходныя эпохи». Но я съ своей стороны нахожу, что всѣ усилія оправдать жизненный сумбуръ какими-то таинственными переѣздами изъ одной исторической области (извѣстной) въ другую (неизвѣстную)—по малой мѣрѣ безплодны. Такія оправданія могли бы быть допущены, если бы впереди предстояло непремѣнно нѣчто лучшее и болѣе утѣшительное; но куда же они годны, если вы вмѣсто лучшаго фаталистически осуждены встрѣчаться лицомъ къ лицу съ пословицей: «изъ куля въ рогожу»?

Поэтому я съ нѣкоторою подозрительностью отношусь къ подобнымъ объясненіямъ и совершенно серьезно думаю, что они скрываютъ за собой великое множество ложныхъ надеждъ и самыхъ вредныхъ успокоеній. Человѣкъ любитъ успокаиваться въ ожиданіи будущихъ благъ, даже если бы послѣднія были и не совсѣмъ для него ясны. Онъ слишкомъ склоненъ утѣшать себя тѣмъ, что зло есть плодъ переходныхъ порядковъ, и что, вотъ погодите, не нынче, такъ завтра—все установится прочно на своихъ мѣстахъ, и тогда добродѣтель предстанетъ во всемъ сіяніи торжества. Но вотъ проходятъ годы, десятки лѣтъ, столѣтія; добродѣтель давно уже возсіяла, а толку все нѣтъ. Въ ушахъ все съ тою же назойливостью жужжитъ безконечная, за душу тянущая пѣсня: «вотъ погодите, не нынче, такъ завтра...» Гдѣ ручательство, что она не будетъ жужжать и впредь десятки и сотни лѣтъ? Нѣтъ, видно, есть въ Божьемъ мірѣ уголки, гдѣ всѣ времена—переходныя, и гдѣ человѣкъ, одаренный практическимъ смысломъ и имѣющій попеченіе о своей шкурѣ, долженъ начать съ того, чтобъ, отказавшись отъ всякихъ запутанныхъ объясненій, прямо сказать себѣ: «живемъ хорошо, ожидаемъ лучше». И затѣмъ... успокоиться навсегда.

Вотъ въ этихъ-то мирныхъ уголкахъ, гдѣ идиллія счастливымъ образомъ совпадаетъ съ правилами устава о пре-

сѣченіи и предупрежденіи проступковъ и преступленій, умѣренность и аккуратность представляютъ счастливѣйшій удѣлъ человѣческаго существованія. Быть Молчалинымъ, укрываться въ сѣрой массѣ «и другихъ»—это цѣлая эпопея блаженства! Тутъ все: и цертификатъ мѣстнаго квартала о благонадежности, и свобода отъ приговоровъ исторіи и потомства. Кварталъ, нимало не сумнясь, запишетъ въ своей исторіи живота: «*Молчалинъ* живетъ на Пескахъ (или въ Москвѣ, подъ Донскимъ) — *ни въ чемъ не замѣченъ*». Исторія, въ лицѣ «Русской Старины», отвѣтитъ: «*Молчалины*, многочисленное племя, разсѣянное по лицу вселенной,—*ни въ чемъ не замѣчены*». Аттестація, конечно, стоящая немногимъ больше ломанаго гроша, но неужели она хуже слѣдующей: «*Живодеровъ* (имя рекъ)—заклеймилъ себя неувядаемымъ позоромъ во время» и т. д.

Не забывайте: исторія не терпитъ послабленій въ своихъ приговорахъ. Даже къ Сенекамъ и Галилеямъ относится она съ нѣкоторою придирчивостью, а сообразите-ка, много ли Галилеевъ найдется у насъ, напримѣръ, въ Колтовской?

Не надобно однако-жъ думать, что Молчалины до такой степени погружены въ тину безвѣстности, что самое существованіе ихъ вслѣдствіе того дѣлается равносильнымъ небытію. Нѣтъ, они пользуются лишь условною безвѣстностью, которая отнюдь не мѣшаетъ имъ подчиняться обычнымъ законамъ, управляющимъ органическимъ міромъ вообще. И они ходятъ другъ къ другу въ гости, ссорятся, мирятся, сплетничаютъ, лгутъ, пустословятъ, женятся, рождаютъ дѣтей; и они имѣютъ свои удачи и невзгоды, и они около чего-то копошатся и что-то создаютъ. Мало того: нѣкоторые изъ нихъ, болѣе терпѣливые и настойчивые, даже достигаютъ своего рода извѣстности...

Повторяю: ихъ безвѣстность неполная и условная. Полною и безусловною неизвѣстностью пользуется только человѣкъ лебеды, и ужъ, конечно, едва ли найдется субъектъ достаточно наивный, чтобъ назвать этотъ удѣлъ блаженнымъ. Молчалины очень хорошо понимаютъ, что бытіе лучше небытія, и потому равно сторонятся и отъ безусловной безвѣстности человѣка лебеды и отъ громкой извѣстности какого-нибудь Галилея, которая, на ихъ глаза, можетъ привести лишь къ непріятнымъ столкновеніямъ съ полиціей...

Начать съ того, что въ словахъ «ни въ чемъ не замѣченъ» уже заключается цѣлая репутація, которая никакъ

не позволитъ человѣку безслѣдно погрузиться въ пучину абсолютной безвѣстности. Ни въ чемъ не замѣченъ—это значитъ: послушливъ, благонадеженъ, исполнителенъ и, стало-быть, можетъ быть пристроенъ къ какому угодно дѣлу. А коль скоро человѣкъ «пристроенъ къ дѣлу», коль скоро онъ надѣлъ на себя вещественный знакъ этого пристройства (чиновничій вицмундиръ или прикащичью чуйку—это все равно), такъ тотчасъ же онъ сдѣлался человѣкомъ «нужнымъ», а слѣдовательно и извѣстнымъ. Но это именно та безобидная, тихая, почти безвѣстная извѣстность, которая никого не затрогиваетъ, никому не бьетъ въ глаза, не прибѣгаетъ къ «малороссійскому борщу», но и не огорчаетъ начальства, утверждая, что земля вертится. Однимъ словомъ, извѣстность, которая освѣщаетъ и согрѣваетъ кроткимъ своимъ свѣтомъ только существованіе своего скромнаго обладателя, извѣстность, не преступающая предѣлы той устричной скалы, къ которой прикрѣплены раковины, скрывающія Молчалиныхъ... Я знаю, есть люди изъ категоріи «безпокойныхъ», которые, быть-можетъ, сочли бы себя оскорбленными, если бы имъ предложили такого рода извѣстность; но думаю, что въ этомъ случаѣ прозорливость и благоразуміе не на ихъ сторонѣ, а на сторонѣ Молчалиныхъ. Только послѣдніе вполнѣ ясно понимаютъ, что вмѣстѣ съ безвѣстною извѣстностью открывается цѣлый міръ не блестящихъ, но прочныхъ благополучій, которыя въ глазахъ солиднаго человѣка гораздо цѣннѣе всякихъ апоѳеозъ. Тутъ все: и вѣрный кусокъ пирога, и благосклонная улыбка «нужнаго человѣка», и спокойный послѣобѣденный сонъ, и чувство обезпеченности отъ риска сломать себѣ шею, провалиться сквозь землю или инымъ образомъ пропасть... Чего еще надобно!

Божій міръ кишитъ такими безвѣстными извѣстностями, но даже и это служитъ имъ на пользу. Благодаря тому, что ихъ много, на нихъ не обращаютъ должнаго вниманія. Думается, что все это образы безъ лицъ, тѣни, на которыхъ достаточно дунуть, чтобъ онѣ исчезли безъ слѣда. Однако въ этомъ взглядѣ на Молчалиныхъ кроется значительное недоразумѣніе. Вглядѣвшись пристальнѣе въ жизненный круговоротъ, мы безъ труда убѣдимся, что все въ этомъ круговоротѣ создается руками именно тѣхъ «и другихъ», отъ которыхъ мы такъ самонадѣянно отворачиваемся. Джеффризы потому бросаются въ глаза, что они какъ-то уже слишкомъ блестяще злы; Молчалины, напротивъ того,

скромны и податливы, и вслѣдствіе того остаются незамѣченными. Но не забудемъ, что Джеффризы ничего не могли бы, если бы у нихъ подъ руками не существовало безчисленныхъ легіоновъ Молчалиныхъ. Одного этого соображенія, по мнѣнію моему, вполнѣ достаточно, чтобъ не проходить мимо послѣднихъ съ тѣмъ обиднымъ равнодушіемъ, которое для всѣхъ Молчалиныхъ отводитъ мѣсто гдѣ-то далеко, за предѣлами исторіи.

Для бо́льшей вразумительности приведу примѣръ. Поздно вечеромъ вы идете по улицѣ и вдругъ натыкаетесь на зданіе, сплошь горящее огнями. Это зданіе—храмъ, въ которомъ отъ начала міра священнодѣйствуютъ «и другіе». Они день и ночь изнемогаютъ здѣсь, копаясь въ нѣкоемъ мѣсивѣ, въ которомъ и сами ничего другого не разберутъ, кромѣ того, что тутъ когда-нибудь чортъ ногу сломитъ. Тѣмъ не менѣе, благодаря обыденности зрѣлища, мы такъ мало обращаемъ на него вниманія, что проходимъ мимо, не остановивъ на немъ даже мысли своей. И что-жъ! не успѣли вы сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ васъ настигаетъ стрѣла. Вы озираетесь, ищете... не трудитесь искать! Знайте впередъ, что стрѣла пущена вамъ вдогонку вѣрною и опытною рукой одного изъ «и другихъ»... Что́ нужды, что, пуская стрѣлу, онъ и самъ не сознавалъ неключимости своего дѣйствія, — все-таки онъ пустилъ ее, и она настигла васъ!

Я видѣлъ однажды Молчалина, который, возвратившись домой съ обагренными безсознательнымъ преступленіемъ руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрѣзывать пирогъ съ капустой.

— Алексѣй Степанычъ! — воскликнулъ я въ ужасѣ:— вспомните, вѣдь у васъ руки...

— Я вымылъ-съ, — отвѣтилъ онъ мнѣ совсѣмъ просто, доканчивая разрѣзывать пирогъ...

Вотъ каковы эти «и другіе», эти чистые сердцемъ, эти довольствующіеся малымъ Молчалины, которыхъ игнорируетъ исторія, надъ благодушіемъ которыхъ умиляются современники и которымъ кварталъ безпрепятственно выдаетъ аттестацію: *ни въ чемъ не замѣчены.*

Это «я вымылъ-съ»—чѣмъ онъ хуже знаменитаго: «qu'il mourût»?

Я вовсе не желаю однако-жъ, чтобъ читатель заключилъ изъ этого, что Молчалины люди отпѣтые и закоренѣлые; я хочу только сказать, что они совсѣмъ не тѣни, не призраки,

а-составныя и притомъ очень дѣятельныя части того громаднаго собирательнаго, которое, подъ разными формами и наименованіями, оказываетъ очень рѣшительное тяготѣніе надъ общимъ строемъ жизни.

Дѣло въ томъ, что Молчалины не иниціаторы, а только исполнители, не знающіе собственныхъ внушеній. Вотъ что спасаетъ ихъ и отъ завистливыхъ подыскиваній современниковъ и отъ строгостей исторіи. И потому ихъ обезпеченность, солидность и умѣстность растутъ по мѣрѣ того, какъ умаляется, такъ сказать, истаиваетъ въ нихъ сознательность.

«Изба моя съ краю, ничего не знаю»—вотъ девизъ каждаго Молчалина. И чѣмъ ярче горитъ этотъ девизъ на лбу его, тѣмъ прочнѣе и защищеннѣе дѣлается его существованіе. Съ этимъ девизомъ онъ благополучно проползаетъ между всевозможными Сциллами и Харибдами и въ урочный часъ, не раньше и не позже, придетъ къ вожделѣнной пристани. — Кто идетъ? кликнетъ его у пристани дозорщикъ. — «Я, Молчалинъ!» будетъ отвѣтъ. — Вали его въ общую яму!

И со временемъ изъ Молчалина выйдетъ безподобное удобреніе, хотя исторія даже и этой заслуги за нимъ не признаетъ. Просто, говоритъ, пропадетъ, даже не произведя удобренія... о, стократъ счастливый Молчалинъ!

Какъ достигаетъ Молчалинъ своего благополучія? Достается ли оно ему задаромъ, какъ нѣчто врожденное, или же требуется извѣстная сумма усилій, чтобъ добраться до него, усилій, которыя и въ чашу блаженства примѣшиваютъ значительную дозу горечи?

Казалось бы, проще всего разрѣшить вопросъ въ первомъ смыслѣ, такъ какъ нѣтъ ничего законнѣе и естественнѣе, какъ совпаденіе ничтожества и безвѣстности. Все ратуетъ въ пользу такого совпаденія: и духовное безсиліе Молчалиныхъ, и отсутствіе иниціативы, и забитость, и убожество обстановки; все толкаетъ человѣка въ самую глубь сумерекъ. Для него не требуется ни усилій, ни рѣшимости потонуть: сама почва, на которой онъ стоитъ, одарена непреоборимо втягивающими свойствами. Человѣкъ самъ собой неслышно погружается на дно, и тамъ надъ нимъ постепенно происходитъ процессъ увяданія, на которое онъ фаталистически осужденъ.

Тѣмъ не менѣе такое разрѣшеніе было бы справедливо

лишь въ томъ случаѣ, если бы рѣчь шла о той абсолютной безвѣстности, которою пользуется человѣкъ лебеды и при которой, дѣйствительно, бытіе равняется небытію. Но Молчалинъ не хочетъ такой безвѣстности и не соглашается умереть. Его претензію составляетъ область умѣренности и аккуратности, которая не только не исключаетъ живучести, но даже дѣятельнымъ образомъ поддерживаетъ ее. Понятное дѣло, что существованіе подобной претензіи не можетъ обойтись безъ усилій и жертвъ, и что въ этомъ видѣ задача Молчалина уже принимаетъ размѣры сложнаго и вовсе не шуточнаго предпріятія.

Безсиліе, забитость, приниженность и робость — плохіе помощники въ дѣлѣ жизнестроительства, но они въ замѣчательной степени изощряютъ въ человѣкѣ одну способность: исключительно, почти болѣзненно сосредоточиваться на мелочахъ своего личнаго *я*. Это маленькое, вѣчно ноющее *я*, окрѣпнувшее въ суровой школѣ угнетенія, дѣлается для своего обладателя центромъ, къ которому пріурочивается жизнь цѣлой вселенной. Пускай кровь льется потоками, пусть человѣчество погрязаетъ въ пучинѣ духовной и нравственной нищеты—ни до чего нѣтъ дѣла этому *я*, до тѣхъ поръ, пока привычная обстановка остается неприкосновенною, пока не затронуты тѣ интересы, которыхъ совокупность составляетъ область умѣренности и аккуратности. Это интересы сѣренькіе, но необыкновенно цѣпкіе. Дешевизна или дороговизна квартиръ, съѣстныхъ припасовъ и другихъ незатѣйливыхъ жизненныхъ удобствъ, возможность или невозможность оставаться при однажды принятомъ образѣ жизни и привычкахъ — вотъ обыкновенная ихъ канва. Но въ нихъ заключено все внутреннее содержаніе забитаго человѣка, и потому въ его глазахъ они представляютъ единственное мѣрило для оцѣнки великихъ и малыхъ событій, совершающихся на всемірной аренѣ. Для защиты ихъ неприкосновенности считаются возможными и законными всѣ средства: униженіе, злоба, предательство, месть...

Вотъ этимъ-то ноющимъ *я* въ высшей степени обладаетъ Молчалинъ.

Я очень хорошо знаю, что подобное отношеніе къ жизни безнравственно, и что, кромѣ того, оно очень вредно дѣйствуетъ на общій ходъ ея развитія, но въ данномъ случаѣ оно оказываетъ услугу очень существенную. Оно помогаетъ забитому человѣку сглаживать тѣ мелкія шероховатости,

которыми усѣянъ его жизненный путь; оно сообщаетъ ему терпкость, почти жестокость, безъ которыхъ онъ былъ бы не въ силахъ ухитить и защитить свое гнѣздо.

Молчалинъ является на арену жизни безоружный, почти обнаженный. Во всемъ его организмѣ нѣтъ мѣста, котораго нельзя было бы уязвить. Онъ—заурядный человѣкъ толпы, одинъ изъ тѣхъ встрѣчныхъ-поперечныхъ, которые массами во всякое время снуютъ по улицамъ. Въ немъ нѣтъ ничего выдающагося, самоопредѣляющагося, что̀ давало бы ему право на мѣсто въ жизненномъ пирѣ, на что онъ могъ бы опереться, какъ на исходный пунктъ для дальнѣйшаго странствованія. Понятно, что онъ долженъ искать этой недостающей опоры внѣ своего личнаго *я*.

И вотъ онъ начинаетъ искать. Но, какъ человѣкъ неразвитой, идущій наугадъ, онъ, во-первыхъ, представляетъ себѣ искомую опору не иначе, какъ въ формѣ «нужнаго человѣка», а во-вторыхъ, онъ ищетъ ее гдѣ-то въ пространствѣ, среди такихъ же встрѣчныхъ и поперечныхъ, какъ и онъ самъ, но поставленныхъ въ болѣе счастливыя условія относительно карьеры. Вотъ тутъ-то именно и начинается страдальческая эпопея его похожденій.

Да, это цѣлая эпопея, и мы, которые видимъ Молчалина, уже устроившагося своимъ домкомъ на Пескахъ или въ Колтовской и рѣжущаго въ праздничный день обагренными преступленіемъ руками пирогъ съ капустою, мы, которые завидуемъ блаженному выраженію его лица и невозмутимости его обстановки,—мы не должны забывать, что этотъ человѣкъ имѣлъ свой мартирологъ, разоблаченіе котораго можетъ заставить вздрогнуть даже заправскаго героя.

Итакъ, передъ нами Молчалинъ, безоружный, лишенный внутренней опоры, ищущій ея въ безграничномъ пространствѣ, на одномъ изъ пунктовъ котораго долженъ найтись «нужный субъектъ». Этотъ субъектъ введетъ его въ область умѣренности и аккуратности; онъ освѣтитъ и согрѣетъ его скромное существованіе; онъ поможетъ ему не пропасть отъ холода и голода... только не пропасть!

Гдѣ-жъ этотъ «субъектъ», и что̀ надо совершить, чтобъ обрѣсти его?

Прежде всего, даже не приступивъ еще къ процессу исканія, Молчалинъ уже обязанъ поступиться нѣкоторыми признаками, составляющими принадлежность образа и подобія Божія. Онъ не знаетъ, въ чью пользу онъ приноситъ эту жертву; онъ знаетъ только, что встрѣчные и попереч-

ные, сознающіе себя «нужными людьми», на этотъ счетъ очень строги. Они понимаютъ, что въ образѣ и подобіи Божіемъ есть какой-то намекъ или урокъ, какая-то «критика», и потому безусловно не допускаютъ его. Они подозрительно осматриваютъ Молчалина съ ногъ до головы, нѣтъ ли въ немъ чего, хоть искры какой-нибудь. Но Молчалинъ уже предвидѣлъ этотъ осмотръ и успѣлъ наскоро, однимъ плевкомъ, потушить всю небольшую сумму искръ, которыми онъ обладалъ... Онъ въ порядкѣ...

Эту первую жертву Молчалинъ выноситъ, впрочемъ, довольно легко. Во-первыхъ, онъ самъ иногда не подозрѣваетъ, что носитъ на себѣ образъ и подобіе Божіе; во-вторыхъ, онъ смутно чувствуетъ, что впереди ему предстоитъ нѣчто такое, въ сравненіи съ чѣмъ пожертвованіе образомъ и подобіемъ Божіимъ составляетъ сущіе пустяки.

А именно, ему предстоитъ такая задача: среди цѣлой массы бродягъ и непомнящихъ родства людей намѣтить такого полезнаго и счастливаго бродягу, прикосновеніе къ которому оградило бы отъ хищническихъ вторженій въ ту тихую обстановку умѣренности и аккуратности, подъ сѣнію которой онъ мечтаетъ устроить гнѣздо свое.

Чтобъ достигнуть этого, требуется не только громадная смѣтка, громадный трудъ, но и громадная удача. Историческія эпохи, о которыхъ идетъ рѣчь, чреваты изумительными, почти необъяснимыми превращеніями. Съ необычною легкостью бродяги перескакиваютъ съ мѣста на мѣсто, со ступени на ступень, то возносясь на самую вершину лѣстницы, то низвергаясь стремглавъ къ ея подножію. Сколько ни вглядывайтесь въ процессъ этого перескакиванія, вы ни подъ какимъ видомъ не примѣнитесь къ нему, не угадаете ни побудительныхъ причинъ, ни руководящей мысли его. Передъ вашими глазами масса бродягъ, колеблемыхъ вѣтромъ случайности и удачи, — и только. Никакой особой примѣты у этихъ бродягъ нѣтъ, ни малѣйшаго отличительнаго признака, ни даже «печати генія на челѣ». Всѣ на одно лицо, у всѣхъ только одна общая отмѣтка: легки на ходу. Вопросъ ставится трудно и круто: угадай, которому изъ этихъ бродягъ удастся прежде другихъ добѣжать до столба и отъ котораго слѣдуетъ тебѣ ожидать покровительства и наибольшей суммы полезныхъ приспособленій.

Это самый опасный камень преткновенія, который встрѣчаютъ Молчалины на пути своихъ умѣренно-аккуратныхъ

затѣй; до того опасный, что нерѣдко на немъ обрушивается главная масса этихъ затѣй, не успѣвъ ни расцвѣсть, ни развиться. Громадное большинство Молчалиныхъ погибаетъ тутъ навсегда, и вотъ, быть-можетъ, почему чаще случается встрѣчать Молчалиныхъ, малодушно спившихся съ круга, небритыхъ, влачащихъ существованіе въ вонючихъ, обшарпанныхъ одеждахъ, нежели Молчалиныхъ солидныхъ, съ тщательно выбритыми, лоснящимися щеками и въ чистенькихъ вицмундирахъ, пиджакахъ и поддевкахъ.

Я не знаю, насколько существенно можетъ помочь въ этомъ дѣлѣ смѣтка, но—поможетъ она или не поможетъ—Молчалинъ во всякомъ случаѣ долженъ пустить въ ходъ всю свою сообразительность, чтобъ не потратить времени попустому и не напасть на такого «субъекта», который ничего ему не дастъ, кромѣ паскудства и надругательства. И вотъ, чтобъ хоть сколько-нибудь оріентироваться среди безконечнаго однообразія мелькающихъ передъ нимъ бродячихъ типовъ, онъ прежде всего приступаетъ къ разсортировкѣ ихъ на категоріи, въ надеждѣ, что этотъ трудъ окажетъ хоть ту пользу, что дастъ ему возможность сосредоточить вниманіе на меньшей массѣ предметовъ.

Трудъ утомительный, непосильный; трудъ, совершеніе котораго возможно именно только при настойчивости того вѣчно ноющаго *я*, которымъ обладаетъ Молчалинъ и которое дѣлаетъ его нечувствительнымъ къ оскорбленіямъ. Потребно тонкое зрѣніе, наблюдательный умъ, привычка къ микроскопическому изслѣдованію и очень большой запасъ небрезгливости. Долго, очень долго вглядывается и вдумывается Молчалинъ, пока наконецъ начинаетъ различать. Но какъ только онъ уже достигъ возможности различать, то ни Линней, ни Бюффонъ не превзойдутъ его въ этой работѣ. Сначала его умственному взору представляется масса бродягъ съ однимъ родовымъ признакомъ: отсутствіемъ содержанія; но мало-по-малу терпѣніе и усидчивость открываютъ въ этомъ общемъ родовомъ признакѣ цѣлый міръ второстепенныхъ признаковъ, хотя и не измѣняющихъ существа дѣла, но доказывающихъ, что во всякомъ случаѣ у каждаго бродяги имѣется свое личное, ему одному принадлежащее отношеніе къ собственной безсодержательности. Такимъ образомъ онъ различитъ легкомысленнаго бродягу отъ упорнаго, веселаго отъ угрюмаго, добродушнаго отъ злого, болтливаго отъ сосредоточеннаго и т. д.

Но и этого недостаточно: въ каждой изъ найденныхъ категорій онъ прозритъ новые оттѣнки (иногда очень тонкіе), вслѣдствіе которыхъ у него образуются подкатегоріи бродягъ, семейства и наконецъ особи. Такъ, напримѣръ, мало знать, что такой-то бродяга болтливъ; необходимо, кромѣ того, дознаться, общая ли это болтливость или частная; ежели частная, то какой ея излюбленный предметъ; натыкается ли она, хотя временно, на знаки препинанія, или же она совсѣмъ безвыходная, отчаянная; конфузливая ли это болтливость или наглая; изворотливая или дурацкая. Все это очень важно и требуетъ замѣчательной остроты ума...

Покончивъ съ разсортировкою, Молчалинъ хотя и чувствуетъ себя значительно облегченнымъ, но очень хорошо понимаетъ, что до конца ему еще далеко. Теперь ему предстоитъ обозрѣть умственнымъ окомъ базаръ житейской суеты, прислушаться къ его говору и сообразить, на какой изъ видовъ бродяжнической безсодержательности существуетъ въ данную минуту наибольшій запросъ.

Тутъ главнѣйшая трудность заключается въ томъ, чтобъ не увлекаться тѣми базарными настроеніями, которыя иногда ставятъ запросъ на фальшивую почву. Таковы, напримѣръ, всѣ такъ-называемыя либеральныя настроенія, о которыхъ слѣдуетъ разъ навсегда сказать себѣ, что эти настроенія скоропреходящія, не стоящія ломанаго гроша.

Должно однако-жъ сознаться, что и въ этомъ случаѣ требуется очень большая опытность и стойкость. Иногда либеральныя настроенія проявляютъ себя съ такою живостью и яркостью, что не успѣетъ человѣкъ оглянуться, какъ уже по уши погрязъ въ самую глубь либеральнаго омута. А вслѣдъ затѣмъ, не успѣлъ въ другой разъ оглянуться, какъ уже вытащенъ изъ омута и помѣщенъ гдѣ-то далеко, за предѣлами цивилизаціи. Истинный Молчалинъ обязывается провидѣть всѣ подобные перевороты. Онъ долженъ понимать, что увлеченія несвойственны солиднымъ людямъ, что дѣйствительную прочность въ сей юдоли плача имѣетъ только полная безсодержательность, и что, слѣдовательно, лишь между категоріями сей послѣдней долженъ колебаться его выборъ.

Но базарныя настроенія, даже относительно самыхъ несомнѣнныхъ категорій безсодержательности, до такой степени измѣнчивы, что требуется замѣчательное чутье, чтобъ

угодить въ надлежащую точку. Сейчасъ самый бойкій запросъ направленъ на безсодержательность легкомысленную, забавную, а чрезъ минуту она уже летитъ вверхъ тормашками и уступаетъ мѣсто безсодержательности угрюмой и сосредоточенной. Какъ тутъ угадать? И дѣйствительно, въ точности угадываютъ лишь избранные; большинство же Молчалиныхъ ограничивается тѣмъ, что въ общихъ чертахъ опредѣляетъ для себя такъ-называемый средній базарный запросъ, то-есть старается по возможности уяснить, какой типъ бродяжничества имѣетъ шансы на успѣхъ въ продолженіе болѣе значительнаго періода времени, хотя бы и съ нѣкоторыми перерывами. Это — самый основательный образъ дѣйствій, и я съ своей стороны могу посовѣтовать еще одно: по возможности избѣгать типовъ легкомысленныхъ, болтливыхъ, веселыхъ и добродушныхъ, какъ наиболѣе подходящихъ къ либеральному (иногда они даже смѣшиваются съ послѣднимъ), и придерживаться типовъ сосредоточенныхъ, упорныхъ и угрюмыхъ, какъ самыхъ прочныхъ. А еще лучше: найти такой средній путь, который не препятствовалъ бы всѣхъ и каждаго «просить принять увѣреніе въ совершенномъ почтеніи и преданности» и въ то же время представлялъ бы нѣкоторыя лазейки, въ которыя, при случаѣ, можно было бы юркнуть. И наконецъ еще того лучше: выбрать разомъ нѣсколько представителей базарныхъ запросовъ и всѣмъ имъ одинаково угодить.

Какъ видите, это уже не просто смѣтка, но пронырство, предательство, почти дипломатія.

Итакъ, благодаря упорному труду и смѣткѣ Молчалина, мы имѣемъ: во-первыхъ, оконченную работу классификаціи типовъ бродячей безсодержательности и, во-вторыхъ, не менѣе важную работу классификаціи разнообразныхъ базарныхъ запросовъ на эти типы. Другой, менѣе устойчивый организмъ изнемогъ бы подъ тяжестью этой работы, но Молчалинъ знаетъ, что ему утомляться не разрѣшается, и потому, нимало не медля, идетъ далѣе.

Увы! онъ очень отчетливо понимаетъ, что путь его еще долго будетъ путемъ скорбей и тревогъ, что долго еще не придется ему успокоиться на лонѣ умѣренности и аккуратности... да и придется ли еще? Кто знаетъ, быть-можетъ, въ самомъ апогеѣ его усилій, какая-нибудь шаловливая нарка, курамъ на смѣхъ, возьметъ да и порветъ нитку, привязывающую его къ жизни! И разлетится прахомъ

все его многодумное предпріятіе, и распадется гнѣздо его, и никто не внемлетъ жалобному воплю птенцовъ его!

Едва успѣлъ Молчалинъ, при помощи сейчасъ названныхъ классификацій (часто же просто при помощи удачи), намѣтить себѣ полезнаго субъекта, какъ уже ему предстоитъ работа приручненія обрѣтеннаго субъекта.

Въ большей части случаевъ этотъ субъектъ выбирается изъ категоріи мрачныхъ (наиболѣе прочный типъ). Это человѣкъ норова и непредвидѣнныхъ движеній души. Кромѣ того, это человѣкъ надутый постигшимъ его счастіемъ и совершенно невѣжественный, что̀ лишаетъ его возможности разсчитать, какія послѣдствія можетъ имѣть то или другое человѣческое дѣйствіе. Даже Молчалинъ имѣетъ въ этомъ случаѣ превосходство надъ нимъ, потому что, хотя онъ и не менѣе свободенъ отъ наукъ, но все-таки ощущалъ на себѣ извѣстные жизненные толчки, которые оставили въ немъ нѣкоторыя смутныя представленія о размѣрахъ и свойствахъ вещей. Онъ же, человѣкъ норова, ни размѣровъ, ни свойствъ не знаетъ и знать не желаетъ.

Остановимся же на сейчасъ названныхъ свойствахъ субъекта и попробуемъ указать, что̀ требуется, чтобъ смягчить ихъ и придать имъ по возможности безопасный характеръ. Начнемъ съ непредвидѣнныхъ движеній души.

Человѣкъ, обуреваемый непредвидѣнными движеніями души, можетъ быть уподобленъ грозной и неприступной крѣпости, безъ надобности поставленной въ такой мѣстности, гдѣ царствуетъ полная тишина и безмятежное спокойствіе, гдѣ никто слыхомъ не слыхалъ ни о внѣшнихъ, ни о внутреннихъ врагахъ, и гдѣ, слѣдовательно, необходимости въ стрѣльбѣ не настоитъ. Но такъ какъ крѣпость выстроена и вооружена пушками, то весьма естественно, что она обязана выполнить свое назначеніе. И вотъ она стрѣльнетъ и опять замолчитъ, потомъ опять стрѣльнетъ и опять замолчитъ, и опять, и опять. Безъ порядка, безъ системы, безъ руководящей мысли, потому что сама крѣпость непутёвая, построенная, такъ сказать, въ забвѣніи чувствъ, какъ бы для того единственно, чтобъ напоминать міру, что человѣкъ смертенъ.

Понятно, что если подобныя сооруженія существуютъ во множествѣ, то совокупное ихъ дѣйствіе можетъ имѣть въ результатѣ народное бѣдствіе. Положимъ, что орудіе въ дѣйствительности никого не убиваетъ, но непрерывнымъ гуломъ своимъ оно все-таки производитъ извѣстное раздра-

женіе, которое тоже немало способствуетъ умаленію обывательскаго благополучія. Чтобъ освободиться отъ этого раздраженія, окрестнымъ обывателямъ ничего другого не остается, какъ выбрать изъ своей среды излюбленнаго ходока (рискуя даже быть обвиненными въ «скопѣ» и «измѣнѣ»), которому поручить утруждать высшее начальство нижайшею просьбой: 1) дабы во множествѣ настроенныя въ благополучныхъ мѣстахъ крѣпости стрѣляли лишь холостыми зарядами или же пускали свои снаряды въ твердь небесную, такъ какъ послѣдняя, отъ такового немилостиваго стрѣлянія, ни расколоться, нижѣ закоптѣть не можетъ; и 2) а такъ какъ сіе ихъ ходатайство, всеконечно, имѣетъ быть признано непомѣрнымъ и затѣйливымъ, то распорядиться, по крайней мѣрѣ, чтобъ стрѣльба съ упомянутыхъ выше крѣпостей производилась въ опредѣленные часы, въ продолженіе которыхъ вольно было бы обывателямъ избѣгать опасной ходьбы мимо крѣпостей и тѣмъ избавлять себя отъ безвиннаго и немилостиваго разстрѣлянія.

И такъ какъ начальство благодушно и просвѣщенно, то несомнѣнно, что оно благопріятнымъ окомъ взглянетъ на подобную просьбу и даже не посадитъ излюбленнаго ходока въ острогъ. А послѣдствіемъ такого снисходительнаго мѣропріятія будетъ: а) что крѣпости останутся на своихъ мѣстахъ, попрежнему внушая страхъ, но уже никого не пугая; б) что въ опредѣленные часы небесная твердь будетъ неупустительно разстрѣливаема, но безъ малѣйшаго для нея вреда; и в) что обывательскіе животы будутъ навсегда обезпечены отъ напрасной смерти или внезапнаго членовредительства, при твердой однако-жъ увѣренности, что таковая обезпеченность во всякое время можетъ быть обращена въ необезпеченность.

Вотъ эту-то самую роль, которую долженъ бы былъ играть воображаемый ходокъ относительно воображаемыхъ крѣпостей,—играетъ Молчалинъ относительно человѣка норова и непредвидѣнныхъ движеній души. А именно: онъ обязывается устроить такъ, чтобъ человѣкъ этотъ палилъ въ небо, а обывателямъ внушалъ лишь страхъ, но членовредительствъ не причинялъ.

Вопросъ: какъ достигнуть этого?

На-дняхъ привелось мнѣ встрѣтиться на Невскомъ съ однимъ изъ Молчалиныхъ, о которомъ я зналъ, что онъ только-что намѣтилъ себѣ полезнаго субъекта и предпринялъ его приручиніе. Блѣдный и изнуренный, вслѣдствіе

непокѣрныхъ утреннихъ трудовъ, бредъ онъ къ себѣ на Пески, полный сладкой надежды, что тамъ, въ своемъ гнѣздѣ, за тарелкой горячихъ щей и кускомъ пирога, онъ отдохнетъ наконецъ отъ треволненій затѣяннаго предпріятія.

— Ну что, какъ вашъ субъектъ?—остановилъ я его.

— Швыряется!

— Какъ такъ «швыряется»?

— Да такъ: схватитъ, что подъ руку попадетъ—и швырнетъ.

— Послушайте! да вѣдь этакъ онъ можетъ и убить кого-нибудь!

— До сихъ поръ Богъ миловалъ!

— Ну, а вы собственно какъ?

— Ничего... оглаживаемъ!

— То-есть какъ же это... оглаживаете?

— Очень просто: онъ швыряется, а я стою сзади и оглаживаю его. «Тпру, милый, тпру!» Оглаживаешь-оглаживаешь — ну, оно у него и отойдетъ маленько,—только вотъ руку продолжаетъ словно судорогой сводить. А иной разъ и оглаживаньемъ ничего не подѣлаешь — тогда ужъ смотри въ оба! какъ только онъ этотъ самый камень пуститъ, такъ ты налету его и хватай!

— И надѣетесь?

— Богъ милостивъ!

Онъ постоялъ нѣсколько минутъ, вздохнулъ (мнѣ показалось даже, что вздрогнулъ) и прибавилъ:

— Да, сударь, не легко на свѣтѣ прожить! за тарелку щей да за кусокъ пирога—вотъ и всѣ наши радости-то!—сколько однихъ надругательствъ примешь! Смотришь это, смотришь иной разъ на него—совсѣмъ отчаянный! А ты все-таки стой и смотри, потому у тебя дѣти... гнѣздо-съ!.. Только на милость Божію и надѣемся!

Черезъ четверть часа, смотрю—другой Молчалинъ навстрѣчу. Этотъ бѣжитъ, ничего не видитъ передъ собою, весь запыхался.

— Какъ дѣла?—останавливаю я его.

Но онъ даже не отвѣтилъ, а какъ-то странно взглянулъ на меня, словно только сейчасъ опомнился. И вдругъ, черезъ мгновеніе, лицо его исказилось и начало подергиваться.

— Дѣти! — вскричалъ онъ почти неестественнымъ голосомъ:—ахъ, если бы не дѣти!..

И, махнувъ рукой, стрѣлой побѣжалъ отъ меня прочь.

Думаю, этихъ двухъ примѣровъ вполнѣ достаточно, чтобъ получить приблизительное понятіе о непосильномъ подвигѣ, который Молчалинъ не убоялся взвалить на свои плечи. Тѣмъ не менѣе вы можете быть увѣрены, что онъ не только доведетъ этотъ подвигъ до конца, но даже, съ помощью сноровки и нѣкоторыхъ пріемовъ ловкости, сдѣлаетъ его ежели не пріятнымъ, то вполнѣ для себя безопаснымъ. А тамъ придетъ на помощь привычка, — и дѣло пойдетъ какъ по маслу. Смотришь, черезъ недѣлю онъ жалуется меньше, черезъ двѣ—еще меньше, а черезъ мѣсяцъ—уже началъ похваливать. Это значитъ, что желанный моментъ наступилъ, тотъ моментъ, когда подвигъ приручненія, слѣдуя естественному ходу развитія, превратился уже въ подвигъ осѣданія...

Я сейчасъ упомянулъ вскользь о нѣкоторыхъ пріемахъ сноровки и ловкости, необходимыхъ въ видахъ успѣшнѣйшаго приручненія; но предметъ этотъ настолько интересенъ, что нелишне будетъ остановиться на немъ нѣсколько долѣе.

Въ дѣлѣ непредвидѣнныхъ движеній души главная задача состоитъ совсѣмъ не въ томъ, чтобъ устранять или предугадывать (это, быть-можетъ, придетъ со временемъ, въ самомъ концѣ предпріятія), а въ томъ, чтобъ принять эти движенія открытою грудью, какъ нѣкогда грудью же принималъ Рашо падающія съ высоты чугунныя ядра. Молчалинъ обязывается устроить такъ, чтобъ всѣ кирпичи, швыряемые «субъектомъ», обрушивались лично на немъ, не задѣвая никого изъ прохожихъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ можетъ произойти смертоубійство, которое строго воспрещается закономъ. Малѣйшая въ этомъ случаѣ оплошность приводитъ къ уголовщинѣ, которая въ свою очередь влечетъ за собою не только гибель нужнаго Молчалину субъекта, но и гибель самого Молчалина, въ качествѣ придаточнаго къ нему лица. Понятное дѣло, что послѣдній долженъ всѣ способности своего ума направить къ тому, чтобы изобрѣсти такую комбинацію, которая, съ одной стороны, обезпечивала бы свободу швырянія, а съ другой—не попустила бы ему, Молчалину, погибнуть напрасною смертью. И вотъ онъ думаетъ, соображаетъ и наконецъ додумывается. Вы видите въ нѣкоторомъ родѣ чудо: кирпичи сыплются на Молчалина градомъ, а онъ все-таки остается неуязвимъ. Какимъ образомъ онъ

продѣлываетъ этотъ изумительный tour de force—это тайна между нимъ и небомъ; но позволяю себѣ догадываться, что дѣло не обходится здѣсь безъ нѣкоторой съ его стороны стратагемы.

Повидимому, вся штука въ томъ, что камни и кирпичи, которыми «субъектъ» имѣетъ обыкновеніе швыряться, приготовляются не другимъ кѣмъ-нибудь, а все тѣмъ же Молчалинымъ. Онъ долженъ не только принять ударъ, но и все приготовить, что требуется для его выполненія.

— Я, братецъ, можетъ-быть, искалѣчить тебя захочу,— говоритъ ему «субъектъ»:—такъ ты ужъ распорядись, приготовь!

Можно ли удивляться, что Молчалинъ воспользуется этимъ, чтобъ устроить для себя нѣкоторыя льготы и облегченія, что онъ, напримѣръ, сдѣлаетъ кирпичи по возможности легковѣсные, а относительно прочаго вооружится броней, извѣстной въ просторѣчіи подъ названіемъ: «брань на вороту не виснетъ»?

Я знаю, что строгіе моралисты скажутъ: стратагема Молчалина основана на подлогѣ и потому не можетъ быть названа честною; но я еще лучше знаю, что желаніе не быть изувѣченнымъ до того законно, что самой двусмысленной стратагемѣ, придуманной съ этою цѣлью, должно быть предоставлено право на широкое снисхожденіе.

Какъ бы то ни было, но плоды этой стратагемы прежде всего и непосредственно отражаются на самомъ «субъектѣ», который, благодаря ей, избавляется отъ уголовщины, а потомъ уже на Молчалинѣ. Но и тутъ послѣдній можетъ воспользоваться ими лишь съ помощью новой стратагемы, цѣль которой—устроить такъ, чтобъ субъектъ понялъ наконецъ всю трудность молчалинскаго подвига и пріучился цѣнить этотъ подвигъ. Въ этихъ видахъ пускаются въ ходъ страшные разсказы о другихъ «субъектахъ», тоже страдающихъ непредвидѣнными движеніями души, но не имѣющихъ подъ руками самоотверженныхъ и ловкихъ Молчалиныхъ и потому сплошь и рядомъ попадающихъ впросакъ. Такой-то субъектъ раскроилъ черепъ, такой-то учинилъ членовредительство, такой-то наступилъ на законъ. Правда, до уголовщины дѣло покуда не дошло, но еще одинъ шагъ въ томъ же направленіи — и вдали ужъ виднѣется прокуроръ.

— А прокуроры нынѣ строгіе,—прибавляетъ Молчалинъ, для пущаго устрашенія.

«Субъектъ» относится къ этимъ разсказамъ сначала съ нетерпѣніемъ, потомъ прислушивается къ нимъ однимъ ухомъ, потомъ двумя, а подъ конецъ въ немъ уже является желаніе провѣрить ихъ сторонними слухами. Послѣдніе однако-жъ не только подтверждаютъ разсказы Молчалина, но еще прибавляютъ къ нимъ новыя подробности. Все было: и раскроеніе черепа, и членовредительство, и бунтъ противъ закона, и все это «со взломомъ», и появленіе прокурора... И вотъ въ душу «субъекта» мало-по-малу закрадывается сомнѣніе, хотя онъ все-таки не можетъ понять: что же тутъ такого? Но являются люди доброжелательные, которые удостовѣряютъ, что опасность дѣйствительно есть.

— Берегитесь!—предостерегаютъ они:—не слѣдуйте по стопамъ такого-то и такого-то! Потому что неровенъ часъ...

— Не безпокойтесь!—отвѣчаетъ онъ:—я запасся на этотъ случай Молчалинымъ! Это такой Молчалинъ! такой Молчалинъ!

И съ этого момента онъ начинаетъ вглядываться въ своего Молчалина и цѣнить его. Въ одну изъ добрыхъ минутъ (въ массѣ душевныхъ непредвидѣнностей встрѣчаются и такія) онъ даже открывается ему.

— А вѣдь я тебя, Алексѣй Степанычъ, намеднись порядкомъ-таки огрѣлъ.

— И до сихъ поръ печенки болятъ!

— Какія печенки? гдѣ печенки?

— Вотъ здѣсь. Немножко пошибче бы потрафить — и духъ вонъ!

— Гм!.. А слыхалъ ты, что NN, такой же вотъ «субъектъ», какъ и я... прохожаго на-дняхъ разразилъ?

— Какъ не слыхать! Объ чемъ другомъ, а объ этихъ-то подвигахъ съ трубами повѣствуютъ! Да чего NN! Если бы въ ту пору я не подвернулся да на себя бы не принялъ, такъ и у насъ бы хорошаго мало было!

— Благодарю!

— Потому что вѣдь тутъ больная тоже сноровка нужна. Немножко не въ то мѣсто попади кирпичъ—ну, и капутъ!

— Довольно! Благодарю!

— Эти кирпичи-то надо умѣючи принимать!

— Молчать! Благодарю!

Молчалинъ стихаетъ, но онъ счастливъ, ибо его уже цѣнятъ. Въ немъ видятъ безотвѣтное существо, на которомъ можно вполнѣ безопасно срывать какую угодно дурость и

которому ради этого не грѣхъ простить нѣкоторыя грубо-откровенныя выходки. Мало-по-малу Молчалинъ становится въ ряды необходимой домашней челяди и дѣлается однимъ изъ самыхъ видныхъ членовъ ея. Передъ нимъ нѣтъ ничего завѣтнаго, постыднаго и скрытнаго; въ его глазахъ, боззастѣнчиво разоблачаются всѣ ахиллесовы пяты, всѣ душевныя убожества. Сколько нужно имѣть геройства, чтобъ преодолѣть тошноты, возбуждаемыя видомъ обнаженнаго «субъекта»! Сколько самоотверженности — чтобъ быть постояннымъ слушателемъ его душевныхъ изліяній! Но Молчалинъ все преодолѣетъ, ибо его ни на минуту не покидаетъ идеалъ умѣренности и аккуратности, къ которому онъ изначала стремится. И не только преодолѣетъ, но постепенно сроднится съ своею ролью и будетъ смаковать ее, найдетъ въ ней новыя, непредвидѣнныя прежде приспособленія. Предаваясь процессу ежеминутнаго оглаживанія, онъ со временемъ нащупаетъ въ оглаживаемомъ субъектѣ такую сѣдлистую впадину, на которую можно, съ Божіею помощью, очень ловко засѣсть. И вотъ онъ постепенно, день за днемъ, начинаетъ поднимать свою ногу, выше, выше...

Въ одно прекрасное утро онъ уже тамъ, онъ въ сѣдлѣ. Онъ до мозга костей изучилъ своего «субъекта»; онъ дошелъ, относительно его, до такого ясновидѣнія, что заранѣе угадываетъ всѣ его норовы, всѣ душевныя непредвидѣнности. Теперь онъ можетъ ѣздить на немъ сколько угодно и какъ угодно направлять его швырянія. Но осторожно, Алексѣй Степанычъ! осторожно! Вы можете ѣздить и гарцовать, но такъ, чтобъ не только самъ «субъектъ» этого не почувствовалъ, но чтобъ никто изъ цѣлой массы Молчалиныхъ, съ завистью слѣдящихъ за вашими успѣхами, не имѣлъ повода шепнуть осѣдланному: «а славно-таки Алексѣй Степанычъ васъ обучилъ подъ сѣдломъ-то ходить!»

И все это ради тарелки щей и куска пирога!

Второе свойство «субъекта» — напыщенность собственнымъ величіемъ.

Если непредвидѣнность душевныхъ движеній угрожаетъ жизни Молчалина, то напыщенность и чванство заживо подвергаютъ его нравственному разложенію. Отъ первой можно спастись съ помощью ловкости и стратагемъ; отъ второго—спасеніе немыслимо. Это до такой степени вѣрно, что самъ Молчалинъ заранѣе, какъ я уже имѣлъ случай

замѣтить, поступается своимъ образомъ и подобіемъ Божіимъ. Онъ понимаетъ, что это развяжетъ ему руки и поможетъ бодрѣе пройти сквозь строй предстоящихъ униженій.

Напыщенность собственнымъ величіемъ вселяетъ идею о всемогуществѣ, вездѣсущіи и всезнаніи, но даже не въ сверхъестественномъ значеніи этихъ словъ, а въ какомъ-то наругательномъ, которому трудно подыскать сколько-нибудь подходящее толкованіе. Субъектъ, опьянѣвшій отъ постигшаго его счастья, говоритъ: «Я бродяга — и всемогущъ; я никогда не выхожу изъ своей норы—и вездѣсущъ; я ничего не знаю—и всевѣдущъ! И ты и всѣ прочіе Молчалины можете думать обо мнѣ, что угодно, но обязываетесь непрестанно взывать ко мнѣ: о, всемогущій! о, вездѣсущій! о, всевѣдущій!» Однимъ словомъ, это не дерзкое ликованіе сильнаго существа, которому дымъ собственной славы отуманилъ голову, а постыдное наругательство захмелѣвшаго холопа.

Всякій «субъектъ», прежде всего, выдѣляетъ себя изъ общей массы смертныхъ. У него кровь—алая, кость—бѣлая; онъ—солнце, освѣщающее и согрѣвающее своими лучами темную и холодную низменность, въ которой кишатъ Молчалины. И при этомъ умъ его такъ жалокъ, сердце такъ дрябло, что въ его отношенія къ низменному міру не можетъ войти ничего, кромѣ презрѣнія и нетерпимости. Глупой и жестокій, онъ понимаетъ одно: что согрѣлъ и освѣтилъ Молчалину путь. И взамѣнъ того требуетъ непрестающаго трепета и несмолкающаго славословія. Получивъ эту дань, онъ обливаетъ своего данника цѣлымъ ливнемъ милостиваго презрѣнія.

Чтобъ удержаться въ подобномъ положеніи, нужно окончательно засорить въ себѣ человѣческія чувства. Не слышать, не видѣть, не обонять, не осязать. А чтобъ вынести изъ сего полезный результатъ въ смыслѣ жизнестроительства, необходимо не только не представлять безумію субъекта какихъ-либо возраженій, но, напротивъ того, всячески поощрять и поддерживать это безуміе. Только тогда субъектъ дѣлается способнымъ смягчать и понимать, что передъ нимъ стоитъ нѣкто, чающій подачки.

Процессъ этого рода оглаживанія—безконечно-длинный. Чѣмъ больше поражается обоняніе куревомъ ѳиміамомъ, тѣмъ оно больше ихъ требуетъ. Чѣмъ грубѣе сегодняшняя лесть, тѣмъ грубѣйшею должна быть лесть завтрашняя. Это бездонный сосудъ, который можетъ наполнить только

такая неутомимо-преданная изобрѣтательность, какою обладаетъ Молчалинъ.

— Красавецъ!—восклицаетъ сегодня Молчалинъ въ благоговѣйномъ изступленіи.

— Будто?

— Полубогъ!

— Вотъ тебѣ двугривенный!

На завтра этотъ разговоръ уже видоизмѣняется.

— Полубогъ!—восклицаетъ Молчалинъ въ тонѣ изступленія благоговѣнія.

— Будто?

— Юпитеръ!

— Вотъ тебѣ четвертакъ!

Сколько нужно двугривенныхъ и четвертаковъ, чтобъ изъ нихъ составить обезпеченную тарелку щей и кусокъ пирога!

Третье качество субъекта: невѣжественность.

Это качество тѣмъ важно, что оно препятствуетъ своему обладателю соображать размѣры и послѣдствія того или другого дѣйствія.

Про одного путешественника повѣствуютъ, что онъ требовалъ, чтобъ его въ лѣтнее время везли зимнимъ прямикомъ; про другого — что онъ былъ внѣ себя отъ гнѣва, узнавъ, что гдѣ-то въ Царевококшайскѣ имѣется свой собственный меридіанъ, совсѣмъ другой, нежели въ Петербургѣ...

— Въ Царевококшайскѣ! — гремѣлъ онъ въ неизреченномъ изумленіи: — здѣсь, въ этой чувашской дырѣ... свой собственный меридіанъ! Не можетъ быть!

Вотъ обыкновенныя послѣдствія невѣжественности!

Молчалины обязываются выслушивать всѣ эти требованія и восклицанія и даже не шелохнуться, не улыбнуться при этомъ. Этого мало: они должны устранять и предупреждать вредныя ихъ послѣдствія. Единственное средство спасенія въ этомъ случаѣ—обманъ. Повезти путешественника обыкновеннымъ трактомъ и увѣрить, что это-то и есть тотъ зимній прямикъ, по которому обыкновенные смертные ни пройти, ни проѣхать не могутъ; увѣрить, что Царевококшайскъ въ дѣйствительности своего меридіана не имѣетъ, а существуетъ лишь прискорбное по сему предмету недоразумѣніе, допущенное, съ одобренія цензуры, въ географіи, — вотъ задача, которая предстоитъ Молчалину. Сколько долженъ онъ претерпѣть страховъ, чтобъ кто-ни-

будь нечаянно не уличилъ его! сколько употребить изворотливости, чтобъ толковать о меридіанѣ, не имѣя никакого понятія о томъ, что такое меридіанъ! Поймите: вѣдь онъ самъ только сейчасъ узналъ отъ другого такого же Молчалина, что существуетъ на свѣтѣ какіе-то меридіаны, а этотъ другой Молчалинъ слышалъ объ этомъ отъ третьяго Молчалина; третій же Молчалинъ слышалъ, какъ говорили на улицѣ...

И все это ради тарелки щей и куска пирога!

Но довольно. Я не стану разсматривать другихъ многочисленныхъ свойствъ, которыми можетъ обладать бродячій субъектъ, какъ, напримѣръ: болтливостью, веселонравіемъ и проч. Мнѣ кажется, что и того, что сказано выше, вполнѣ достаточно. Затѣмъ перехожу къ вопросу: каковъ этотъ кусокъ пирога, ради котораго пускаются въ ходъ и обманъ, и изворотливость, и предательство, и даже готовность принять смертный бой...

Чтобъ разрѣшить этотъ вопросъ, необходимо взглянуть на Молчалина въ его домашнемъ быту.

Глава II.

Итакъ, взглянемъ на Молчалина счастливаго, на Молчалина, съ честью выдержавшаго свой длинный мартирологъ и съ помощью его завоевавшаго себѣ: въ настоящемъ — тепло и сытость, въ будущемъ — безотвѣтственность передъ судомъ исторіи. Познакомимся съ нимъ въ домашнемъ его быту, въ частной бесѣдѣ о предметахъ, доступныхъ его пониманію, въ той интимной обстановкѣ, въ которой затрогиваются не вицмундирныя, а человѣческія струны сердца, гдѣ онъ является отцомъ семейства, мужемъ, преданнымъ другомъ, гостепріимнымъ и заботливымъ хозяиномъ и т. д.

Я давно знаю того Молчалина, съ которымъ намѣреваюсь познакомить читателя. Когда-то мы служили съ нимъ въ одной канцеляріи. Въ то время это былъ уже человѣкъ пожилой, хотя все еще занимавшій незавидную должность помощника экзекутора. Сознаюсь въ своемъ неразуміи: какъ чиновникъ молодой и самонадѣянный, я смотрѣлъ тогда на Молчалина довольно свысока. Я не понималъ ни трагизма его положенія, ни той изумительной самоотверженности, съ которою онъ спасалъ насъ всѣхъ отъ начальственнаго натиска, первый подставляя свою грудь подъ удары. Молодой, обезпеченный и жестокій, я думалъ, что

такова уже провиденціальная роль Молчалиныхъ, чтобъ за всѣхъ трепетать и за всѣхъ принимать удары. Смѣшно мнѣ было, весело.

Я помню, начальникъ у насъ въ то время былъ необыкновенно дѣятельный. Это былъ какой-то дервишъ въ вицъ-мундирѣ, который съ утра до ночи кружился и что-то выкрикивалъ. Всякая входящая бумага получала въ его глазахъ характеръ вопіющаго преступленія, которое надлежало преслѣдовать немедленно, по горячимъ слѣдамъ. Каждая была испещрена его надписями: «нужное», «весьма нужное», «сахонужнѣйшее», «завтра же», «сегодня же», «сейчасъ же». На каждую онъ какъ бы роптalъ, что она попала къ нему въ руки сегодня, а не вчера, не мѣсяцъ, не годъ тому назадъ. Это было что-то ужасное. Въ урочный часъ начиналось судорожное слоняніе изъ угла въ уголъ, и горе, бывало, тому чиновнику, который попадался на этомъ скорбномъ пути. Мы, молодежь, знали это и заранѣе забивались въ одну изъ боковыхъ комнатъ и уже оттуда прислушивались къ стонамъ. Но Молчалину спрятаться было невозможно и некуда. Его должность именно въ томъ и состояла, чтобъ всегда находиться на самомъ скорбномъ пути и, такъ-сказать, налету уловлять малѣйшую судорогу восторженнаго дервиша. Красный, какъ ракъ, онъ мелькалъ въ пространствѣ, выполняя сыплющіяся дождемъ на его голову приказанія, перелетая изъ комнаты въ комнату, разсылая сторожей, курьеровъ, кого-то отыскивая, нюхая, роясь, взывая и т. д. А мы, молодежь, тупымъ окомъ взирали на эти мельканія и думали, что Молчалинъ даже не понимаетъ, что можетъ существовать иная жизнь, свободная отъ мелканій...

Потомъ обстоятельства такъ сложились, что я вынужденъ былъ нѣсколько лѣтъ прожить въ провинціи, гдѣ познакомился съ Сквознякомъ-Дмухановскимъ и Держиморду, Молчалина же совершенно утерялъ изъ вида. Когда я возвратился въ Петербургъ, Алексѣй Степанычъ служилъ уже въ другомъ вѣдомствѣ, и не по экзекуторской части, а въ такъ-называемой дѣйствующей бюрократіи, которая уже признаётся способною писать отношенія, предписанія и даже соображенія. Очевидно, онъ свое выстрадалъ и сумѣлъ сдѣлаться настолько необходимымъ, что ему, преимущественно передъ другими, поручались щекотливыя дѣла о выѣденномъ яйцѣ. Онъ уже не мелькалъ, какъ прежде, а какъ-то неслышно и ловко устремлялся,

скользя на камергерскій манеръ по паркету канцеляріи. Ему не кричали изъ-за тридевять земель: «Молчалинъ!» но называли «Алексѣемъ Степанычемъ». Въ самой внѣшности его произошла выгодная перемѣна: прежде онъ былъ поджаръ, сутуловатъ и глядѣлъ понурившись; теперь онъ нагулялъ себѣ изрядное брюшко и голову держалъ не только прямо, но почти наоборотъ. Даже въ присутствіи начальства онъ не сгибался въ три погибели, а только почтительно вытягивалъ шею, какъ бы прислушиваясь и не желая проронить. Прежде жестъ у него былъ безпокойный, угловатый, разорванный; теперь—это былъ жестъ спокойный, плавный, круглый. Прежде онъ читалъ только афиши, и то на тотъ лишь случай, что, можетъ-быть, начальству угодно будетъ знать, что дѣлается въ балетномъ мірѣ; теперь—онъ самъ сознавался, что отъ времени до времени почитываетъ «Сынъ Отечества». «Да-съ, почитываемъ-таки!»—прямо говоритъ онъ.

Искушенный опытомъ, я, разумѣется, прежде всего поспѣшилъ возобновить прерванное знакомство и былъ принятъ съ тѣмъ привѣтливымъ, почти сострадательнымъ благодушіемъ, которое характеризуетъ человѣка, выстрадавшаго свое право быть сытымъ, и котораго вы никогда не встрѣтите у ликующаго холопа, сознавшаго себя силою. Тогда какъ прежніе товарищи по школѣ и по службѣ, при встрѣчѣ со мной, дѣлали видъ, какъ будто что-то припоминаютъ, Алексѣй Степанычъ сразу ободрилъ и, такъ сказать, обогрѣлъ меня своимъ привѣтомъ.

— Ну, что, опять въ наши палестины входъ получилъ?—встрѣтилъ онъ меня, протянувъ обѣ руки.

— Опять, Алексѣй Степанычъ.

— То-то! Напроказничалъ въ ту пору... впередъ, чай, не будешь?

— Надо полагать, что не буду.

— Ну да, потому власть... вѣдь она, голубчикъ, отъ Бога! Это еще покойный Павелъ Аѳанасьичъ *) внушалъ мнѣ... только смѣхъ съ нимъ, бывало! Начнетъ это: «нѣсть власть»... а дальше—«аще» да «аще»... и не знаетъ!

— Ну, а все-таки, Алексѣй Степанычъ, хоть и надо полагать, что *я не буду*, а на всякій случай...

— Опять что-нибудь затѣваешь... проказу какую-нибудь? Видно, хмель-то изъ тебя еще не вышибло! Ну, да ужъ

*) Фамусовъ.

Богъ съ тобой! приходи въ ту пору, какъ проштрафишься... только смотри, тихо чтобъ! Никому! ни гугу!

И дѣйствительно, немного прошло времени, какъ до меня долетѣли слухи, что я опять проштрафился. Мучимый вѣчно присущимъ мнѣ представленіемъ о Макарѣ и его телятахъ, я, разумѣется, сейчасъ же ударился къ Молчалину.

— Такъ и такъ, Алексѣй Степанычъ, правда ли?

Онъ съ минуту какъ бы припоминалъ.

— Да... такъ точно... есть что-то! Да мнѣ, признаться, невдомёкъ... Да! да! точно, есть... есть! И именно объ тебѣ... да! Только я, представь себѣ, думалъ, что это просто такъ, пустяки... мѣропріятіе!

— Какое къ чорту мѣропріятіе! вѣдь ежели...

— Постой! постой! не въ томъ штука, а надо какъ-нибудь этому дѣлу помочь!.. Извини, братъ, не зналъ! Право, думалъ, что мѣропріятіе—и больше ничего! Ахти, бѣда какая!

— Помогите, пожалуйста!

— Не проси—самъ знаю! Самъ, батенька, дѣтей имѣю! Нынче съ дѣтьми-то тоже напасть... смотри въ оба!.. Да! да! есть что-то, есть объ тебѣ... Ну, да мы это дѣло какъ-нибудь повернемъ; а ежели повернуть будетъ нельзя, такъ обстановочку придумаемъ... Ничего! ступай съ Богомъ! Только помни: никому! ни гугу!

Мы разстались. Цѣлыхъ двѣ недѣли послѣ этого свиданія я стоялъ между страхомъ и надеждой, но Молчалинъ сдержалъ-таки свое слово. Онъ именно нашелъ «обстановочку», которая съ виду даже не измѣняла въ сущности дѣла, но съ помощью которой весь ядъ, предназначавшійся для меня, вдругъ словно испарился. Онъ не сфальшивилъ, не учинилъ никакого подлога, а просто огладилъ и направилъ! И, когда все это было выполнено, самъ зашелъ ко мнѣ сообщить о результатѣ.

— Хорошо, что вы во-время надоумили!—сказалъ онъ мнѣ:—а то быть бы бычку на веревочкѣ. Вѣдь ужъ и исполненіе написано было!

— Какъ же вы сдѣлали, чтобъ остановить?

— Да такъ и сдѣлалъ: выбралъ часъ и доложилъ. Вѣдь съ нимъ говорить можно, съ Сахаромъ-то Медовичемъ нашимъ, только нужно часъ знать. Трудненько этотъ часъ подмѣтить, а все-таки, при вниманіи, достичь можно... Такъ вотъ и теперь было. Заслышалъ я это, что по ка-

бинету ходитъ да романсъ насвистываетъ!—ну, вошелъ и доложилъ: не много ли, молъ, будетъ? «А тебѣ, говоритъ, какая печаль?»—А та, молъ, и печаль, что человѣкъ хорошій, знакомый!—«Гм!.. стало-быть, *самъ* къ тебѣ прибѣгалъ? струсилъ?»—Какъ, молъ, не струсить: человѣкъ вѣдь... понимаетъ!—«Ну, чортъ съ нимъ, устрой какую-нибудь обстановочку, но только предупреди его, что ежели въ другой разъ...» Впрочемъ, это ужъ не суть важно... Главное, что *теперь-то* благополучно кончилось, а напредки—что Богъ дастъ!

— Алексѣй Степанычъ! голубчикъ!

— Чего «голубчикъ»! не благодари! самъ знаю! у самого дѣти есть! Сынъ у меня старшій нынче осенью въ медицинскую академію на первый курсъ поступилъ, и представь себѣ, какъ онъ меня на-дняхъ офранировалъ. Прибѣгаетъ это весь взволнованный и первымъ словомъ: «а вѣдь человѣкъ-то, папаша, отъ обезьяны происходитъ!» Я просто руками всплеснулъ!—Во первыхъ, говорю, ты врешь, что человѣкъ отъ обезьяны происходитъ, а во-вторыхъ, ну, ежели тебя, глупенькаго, кто-нибудь услышитъ!

— Что-жъ онъ?

— Да что, сударь! Храбрость въ нихъ какая-то нынче завелась! Въ наше время, бывало, все потихоньку да уменьку, чтобъ не замѣтилъ никто, а нынче онъ знай себѣ твердитъ: «пострадать хочу!»

— Отчего же вы его по классической части не пустили? Тамъ бы ему и въ голову не пришло, что человѣкъ отъ обезьяны происходитъ!

— Знаю я и самъ, что по классической лучше: самъ, батюшка, классикъ! Да вѣдь и то подумалъ: врачъ будетъ—хлѣба достанетъ! Не съ тобой первымъ объ этомъ дѣлѣ разговаривать приходится... съ самимъ Сахаромъ Медовичемъ бесѣду имѣлъ! И онъ, знаешь, какъ пронюхалъ, что я сына къ медицинѣ приспособить хочу: «что, говоритъ, вамъ вздумалось?»—А то, говорю, и вздумалось, ваше превосходительство, что нашему брату не грамъ-пасьянсъ раскладывать, а хлѣбъ добывать нужно!

— Однако вы, Алексѣй Степанычъ, тово... откровенно-таки!

— Я, батенька, нынче напрямки! Потерпѣлъ-таки! поклонялся! Будетъ. Разумѣется, часъ выбираешь—нельзя безъ того! И что-жъ бы вы думали? Выслушалъ онъ мой отвѣтъ—и вѣдь согласился-таки со мной! «Да, говоритъ,

Алексѣй Степанычъ, это такъ, вы правы! должно, говоритъ, сознаться, что классическое образованіе—оно для «насъ» хорошо! А для «васъ»... медицина!»

— Помнится, у васъ и дочь, Алексѣй Степанычъ, есть?

— Какъ же! въ гимназіи, въ старшемъ классѣ учится... невѣста! Только тоже... Не говоритъ она этого прямо, а все, знаете, съ братомъ объ чемъ-то шушукается. Ходятъ это вдвоемъ по залѣ и смѣются. Подойдешь къ нимъ: объ чемъ, молъ? «Нѣтъ, папаша, мы такъ, объ учителяхъ вспомнили!» Боюсь я за нихъ! Боюсь! Особенно съ тѣхъ поръ, какъ господинъ Катковъ эту травлю поднялъ! Не люблю я, батенька, этого человѣка—грѣшенъ. Вотъ и благонамѣренный, а для родительскаго-то сердца каковъ!

Молчалинъ вздохнулъ и смолкъ. Съ минуту длилось между нами это неловкое молчаніе, такъ что онъ уже началъ выказывать намѣреніе уйти, хотя, по видимостямъ, спѣшить ему было некуда.

— Посидите, Алексѣй Степанычъ!—началъ я:—побесѣдуемъ! Вѣдь я вамъ такъ благодаренъ! такъ благодаренъ!

— Что за благодарность! А вотъ прикажите-ка чашку кофею подать—вотъ и благодарность! Я, признаться, въ это время (былъ второй часъ пополудни) имѣю привычку къ Вольфу заходить, кофейкомъ побаловаться, а нонче вотъ къ вамъ поспѣшилъ! думаю: надо ободрить человѣка!—ну, и не зашелъ къ Вольфу!

Подали кофей; мы разговорились опять.

— Скажите, пожалуйста, какъ вы къ Павлу Аѳанасьичу *) попали?—спросилъ я.

— Очень просто: оба родомъ мы изъ Пронскова-города. Отецъ мой былъ мелкопомѣстный — и посейчасъ у меня тамъ съ сестрой имѣніе есть. Пять душъ временно-обязанныхъ да двадцать пять десятинъ земли... за надѣломъ! Мнѣ тринадцать четырнадцатыхъ изъ этого имѣнія приходится, а сестрѣ-дѣвицѣ одна четырнадцатая часть—вотъ я и отписалъ ей: владѣй всѣмъ!

— Такъ вы, значитъ...

— Дворянинъ, сударь, какъ же! Только горевые мы, сударь, дворяне! Не знаю, какъ теперь, а въ старину насъ «прончатыми» называли! Бывало, какъ время къ выборамъ близится, ну, тузы-то, которые въ предводители попасть

*) Фамусову.

норовятъ, и увиваются за «прончатыми». Соберутъ это «уполномоченныхъ», разсадя ихъ на подводы, и—маршъ въ губернію. А тамъ ихъ по постоялымъ дворамъ разберутъ да на свой счетъ и содержатъ: поятъ, кормятъ, по картузу купятъ, иному сюртукъ, другому полушубокъ соорудятъ. Все, значитъ, покуда баллотировки нѣтъ. А какъ кончится баллотировка, да наклали ему шаровъ направо—онъ и милости свои сейчасъ прекратилъ. Папенька-то покойный сколько разъ, бывало, изъ Рязани въ Пронскъ пѣшкомъ прохаживалъ!

— Стало-быть, Фамусовъ вашимъ сосѣдомъ былъ?

— Да, у него въ Пронскомъ пятьсотъ душъ было да въ другихъ губерніяхъ вдвое, ежели не втрое. Ну, и взглянулъ онъ на наше убожество.

— Ну, а скажите-ка откровенно, хорошій онъ человѣкъ былъ?

— Павелъ-то Аѳанасьичъ! такой человѣкъ! такой человѣкъ! Мухи не обидѣлъ—вотъ что я вамъ скажу! Конечно, своего не упускалъ—ну, да вѣдь наше дѣло сторона! А ужъ какъ обходителенъ былъ! простъ! Чтобъ обругать это или оборвать—ни-ни! Чуточку бы «понятія» ему прибавить—далеко бы онъ ушелъ!

— Гм!.. а не пристрастны ли вы, Алексѣй Степанычъ? Помнится, вѣдь вы съ Софьей-то Павловной...

— И ни-ни! Боже васъ сохрани! Софья Павловна, какъ была, такъ и осталась... во всѣхъ смыслахъ дѣвица! Разумѣется, я въ то время на флейтѣ игрывалъ—ну, Софья Павловна и приглашала меня собственно на предметъ акомпанимента... Однажды точно-что, послѣ игры, ручку изволили дать мнѣ поцѣловать; однако я такъ благодаренъ на этотъ счетъ былъ, что тогда же имъ доложилъ, что въ ихнемъ званіи и милости слѣдуетъ расточать съ разсужденіемъ... Нѣтъ, ужъ вы, сдѣлайте милость, и не думайте!

— А какъ же однако, помните сцену послѣ бала?.. когда она васъ еще съ Лизой застала?

— Тутъ, батюшка, я самъ кругомъ виноватъ былъ! Забылся-съ. Ну, слѣдъ ли мнѣ былъ—въ чьемъ домѣ! въ вельможномъ!—шашни заводить! Само собой, что Софьѣ-то Павловнѣ обидно показалось! Барышня, можно сказать, въ страхѣ Божіемъ воспитана была... завсегда у мадамъ Розье на глазахъ... и вдругъ съ ея фрейлиной и возлѣ самыхъ ея апартаментовъ—такой пассажъ! тьфу!

— Скромничаете вы, Алексѣй Степанычъ!

— Чего скромничать! Самъ Александръ Андреевичъ *) впослѣдствіи сознался, что погорячился немного. Вѣдь онъ таки-женился на Софьѣ-то Павловнѣ да и какъ еще доволенъ-то былъ! Даже и доднесь они мнѣ благодѣтельствуютъ, а Софья Павловна и дѣтей у меня всѣхъ до единаго отъ купели воспринимала. Какъ только женѣ родить срокъ приходитъ, такъ я сейчасъ и отписываю. И ни разу не случалось, чтобъ проманкировала. Пріѣдетъ, знаете, прифрантится, всѣхъ дѣтей (у меня вѣдь, кромѣ старшихъ, еще мелюзги пропасть!) перецѣлуетъ, скажетъ: «а помнишь, Алексѣй Степанычъ, какъ ты на флейтѣ игрывалъ? какой ты тогда чудакъ былъ!»—и новорожденному крестнику непремѣнно двадцать пять полуимперіаловъ на зубокъ подаритъ. А я, не будь простъ, сейчасъ къ Юнкеру да внутренняго займа съ выигрышами билетецъ-съ! Можетъ-быть, когда-нибудь на наше счастье тысченокъ двадцать пять—о двухстахъ-то мы ужъ не думаемъ — и выпадетъ! Да, голубчикъ, развратили и меня съ этими внутренними выигрышами! Сидишь-сидишь да и вздумаешь: а ну какъ... тьфу! прости, Господи!

— Какъ же это вы съ Павломъ Аѳанасьичемъ разстались?

— Да что! Какъ попали они въ ту пору подъ судъ...

— Такъ онъ подъ судомъ былъ?

— То-то, что былъ! Въ то время къ нему въ канцелярію Чичиковъ Павелъ Иванычъ поступилъ — такая ли продувная бестія! Первымъ дѣломъ, онъ Павла Аѳанасьича себѣ поработилъ; вторымъ дѣломъ, для Софьи Павловны изъ таможни какой-то огуречной воды для лица досталъ. Словомъ сказать, всѣхъ очаровалъ. Вотъ однажды и подсунулъ онъ Павлу Аѳанасьичу бумажку (я въ то время не могъ ужъ совѣтовать: въ загонѣ былъ), а тотъ и подмахнулъ. Смотримъ—анъ черезъ три мѣсяца къ намъ ревизія, а тамъ, немного погодя, и судъ.

— Огорчился, чай, Павелъ Аѳанасьичъ?

— Только двѣ недѣли и жилъ послѣ того. А умеръ-то какъ! именно только праведники такъ умирать могутъ! На послѣднихъ минутахъ даже даръ прозорливости получилъ: «увидишь, говоритъ, Алексѣй Степанычъ, что явится человѣкъ, который за меня, невинно пострадавшаго, злодѣю Чичикову отомститъ!» И точно: слышимъ потомъ — Гоголь

*) Чацкій.

выискался! И какъ онъ его, шельму, расписалъ! Читали, чай?

— Читалъ-таки. Ну, а вы какъ послѣ смерти Павла Аѳанасьича?

— Съ мѣсяцъ послѣ того я безъ мѣста шатался, а затѣмъ Александръ Андреичъ въ Петербургъ меня перетащилъ. И вотъ тогда-то онъ и повинился передо мной. «Я, говоритъ, и невѣсть что про тебя, Алексѣй Степанычъ, думалъ, даже цѣлую исторію изъ-за тебя тогда поднялъ, а вѣдь ты и въ самомъ дѣлѣ только на флейтѣ игралъ... чудакъ!»

— Что же вы у Чацкаго дѣлали?

— Въ то время департаментъ государственныхъ умопомраченій учрежденъ былъ, а Александръ Андреичъ туда директоромъ назначеніе получилъ. Ну, и меня заодно помощникомъ экзекутора опредѣлилъ.

— Христосъ съ вами, Алексѣй Степанычъ! да развѣ существовалъ такой департаментъ?

— У насъ, сударь, и не такіе департаменты бывали. А этотъ департаментъ Александръ Андреичъ даже самъ для себя и проектировалъ. Вѣдь онъ — послѣ того какъ изъ Москвы-то уѣхалъ—въ исторію попалъ, въ узахъ года съ полтора высидѣлъ; а какъ выпустили его потомъ на всѣ четыре стороны, онъ этотъ департаментъ и надумалъ. «У насъ, говоритъ, доселѣ по простотѣ просвѣщали: возьмутъ, заведутъ школу, дадутъ въ руки указку—и просвѣщаютъ. Тодку-то и мало выходитъ. А я, говоритъ, такъ надумалъ: просвѣщать посредствомъ умопомраченій. Сперва помрачить, а потомъ просвѣтить.»

— И успѣшно у него это дѣло шло?

— Какъ сказать! настоящаго-то успѣху, пожалуй, что и не достигъ. Послѣдовательности въ немъ не было, строгости этой. То вдругъ велитъ науки прекратить, а молодыхъ людей исключительно съ одними сонниками знакомить; а потомъ, смотришь, сонники въ печку полетѣли, а науки опять въ чести сдѣлались. Все, знаете, старинное московское вольнодумство въ немъ отыгралось. Ну, и вышло, что ни просвѣтилъ, ни помрачилъ!

— И долго у васъ эта канитель тянулась?

— Нѣтъ, не долго. Всего годковъ съ десять директоромъ посидѣлъ. А подъ конецъ даже опустился совсѣмъ. «Опротивѣло!»—говоритъ. Придешь это, бывало, съ докладомъ, а онъ: «ахъ, говоритъ, какъ все мнѣ противно!»

Или вдругъ монологъ: «Уйду, говоритъ, искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ!» И что-жъ бы вы думали! на одиннадцатомъ году подалъ-таки въ отставку!

— Живъ онъ еще?

— Въ имѣніи своемъ, въ веневскомъ, живетъ. И Софья Павловна съ нимъ. И посейчасъ какъ голубки живутъ. Жаль, дѣтей у нихъ нѣтъ—все имѣніе Антону Антонычу Загорѣцкому останется. Онъ Чацкому-то внучатнымъ братомъ приходится.

— Помилуйте! да вѣдь и Чацкому теперь, поди, за семьдесятъ—сколько же лѣтъ Антону Антонычу?

— Ему подъ девяносто, да онъ, сударь, и до ста шутя проживетъ. Вы его теперь и не узнаете: нисколько въ немъ прежняго вертопрашества не осталось, даже лгать пересталъ. Доносъ онъ въ ту пору неосновательный на Репетилова написалъ—ну, его и прѣзрили! Съ тѣхъ поръ остепенился, сталъ въ карты играть, обобралъ молодого Горича да и началъ деньги въ проценты отдавать. Теперь деньжищъ у него—страсть сколько! Поселился въ старинномъ Горичевскомъ имѣніи, всю округу подъ свою державу привелъ! Однако, какъ бы вы думали! отъ доносовъ все-таки не отсталъ! Нѣтъ-нѣтъ да и пуститъ! Даже на Александра Андреича сколько разъ доносилъ!

— Неужто-жъ Чацкій съ нимъ послѣ этого видится?

— Какъ не видѣться! Родня-съ. У Александра Андреича, съ тѣхъ поръ, какъ онъ въ узахъ-то высидѣлъ, и насчетъ родни всѣ понятія измѣнились. Прежде онъ и слышать не хотѣлъ объ Антонѣ Антонычѣ, а теперь—не знаетъ, гдѣ и усадить-то его!

— Ну-съ, а когда Александръ Андреичъ въ отставку вышелъ—послѣ какъ?

— А послѣ Александръ Андреичъ Репетилова на свое мѣсто рекомендовалъ. Тотъ тоже лѣтъ съ пятокъ повластвовалъ. Не притѣснялъ и этотъ—нечего сказать!

— Скажите, пожалуйста! И Репетиловъ начальникомъ былъ! Вѣдь это просто сказка изъ «Тысячи одной ночи»!

— Все было! да и чѣмъ Репетиловъ хуже другихъ! Еще лучше-съ. Послужите съ наше — будете и Репетиловыхъ цѣнить!

— Позвольте однако! Я себѣ даже представить не могу... ну, что могъ Репетиловъ въ департаментѣ дѣлать, хотя бы и по части умопомраченій?

— А что ему дѣлать! Пришелъ—и съ перваго же аб-

цуга сказалъ намъ рѣчь: «вы, говоритъ, меня не безпокойте, и я васъ безпокоить не стану!»

— Гм!.. а что вы думаете! вѣдь это недурно!

— Прямо нужно сказать: хорошо! Потому, ежели никто никого не безпокоитъ,—значитъ, всякій при своемъ дѣлѣ находится; ни шуму, значитъ, ни гаму, ни свѣтопреставленія. Домашніе театры онъ у насъ въ департаментѣ устраивалъ, свои собственные водевили ставилъ. Бывало, къ нему начальникъ отдѣленія съ докладомъ придетъ, а онъ—въ самой серединѣ доклада—вдругъ куплетецъ!

— И прекрасно. Право, хорошо!

— Однако годковъ черезъ пятокъ и онъ не выдержалъ. Не разъ онъ и прежде проговаривался: «Слушай, говоритъ, Алексѣй Степанычъ! самъ ты видишь, какой я человѣкъ! «Способностями Богъ меня не наградилъ», однако, какъ раздумаюсь, что и я когда-то... что у меня Удушьевъ пріятелемъ былъ—ну, повѣришь ли, такъ мнѣ сдѣлается противно... такъ противно! такъ противно!»

— Ему-то отчего-жъ?

— А Христосъ его знаетъ! Сказываютъ, что прежде-то онъ въ масонахъ былъ, а тутъ, какъ нарочно, строгій приказъ вышелъ, чтобъ тѣ, кто въ масонахъ былъ—напередъ объ масонствѣ чтобъ ни гугу! Ну, онъ подписку-то далъ да съ тѣхъ поръ и затосковалъ.

— Гм!.. стало-быть, и въ немъ этотъ духъ-то былъ?

— Настоящаго духу не было, а душокъ—это точно! И представь себѣ, странность какая! Вѣдь я и до сихъ поръ не знаю, какъ этого Репетилова по имени и по отчеству звать. Какъ прежде въ Москвѣ, бывало: Репетиловъ да Репетиловъ, такъ и послѣ... Даже въ формулярѣ значилось: Репетиловъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, а объ имени и отчествѣ—ни гугу!

Этимъ заканчивалась первая половина молчалинской поэмы. Разсказывая объ ней, Алексѣй Степанычъ словно расцвѣталъ. Да и мнѣ, слушая его, иногда казалось: что-жъ! право, молчалинское житье-бытье вовсе еще не такъ дурно, какъ я полагалъ! Вотъ хоть бы Алексѣй Степанычъ: онъ и на флейтѣ игралъ, и у Чацкихъ домашнимъ человѣкомъ былъ, и съ Репетиловымъ вмѣстѣ водевили ставилъ... отлично! Конечно, образъ и подобіе Божіи у него, говоря биржевымъ языкомъ, и доднесь находятся *въ слабомъ настроеніи*, однако все лучше хоть и безъ образа и подобія Божія, да въ теплѣ сидѣть и на флейтѣ играть, нежели...

Да-съ, лучше-съ! Покойнѣе-съ! Вонъ онъ, поди, тысячи двѣ рублей жалованья получаетъ, да домъ у него на Пескахъ свой, да у каждаго ребенка по билету внутренняго съ выигрышами займа... И вдругъ онъ двѣсти тысячъ выиграетъ? Уйдетъ онъ *оттуда* или останется *тамъ?*

Покуда я все это раздумывалъ, Алексѣй Степановичъ пристально взглядывался въ меня и словно угадывалъ мои мысли.

— Ты объ моихъ выигрышныхъ билетахъ, что ли, думаешь?—спросилъ онъ меня полушутя.

— Нѣтъ... съ какой же стати!

— Полно, братъ, не хитри! Чай, думаешь: вотъ, выиграетъ этотъ человѣкъ двѣсти тысячъ—что онъ съ ними дѣлать будетъ?

— А въ самомъ дѣлѣ, что бы вы сдѣлали?

— Откровенно тебѣ скажу: теперь хоть озолоти меня, я все тѣмъ же Молчалинымъ останусь, какимъ до сихъ поръ былъ. Потому что для меня всякая перемѣна — матъ! Я вотъ сорокъ почти лѣтъ на службѣ состою, а не помню дня, чтобъ когда-нибудь проманкировалъ. Ежели даже боленъ, и то, хоть перемогусь, а все-таки иду, потому что знаю: не пересиль я себя—совсѣмъ слягу! Повѣришь ли: придетъ это праздникъ, такъ день-то длинный-раздлинный кажется! И къ обѣднѣ сходишь, и спать ляжешь, и у окошка сядешь, и самоваръ раза три поставить велишь—и все никакъ его доканать не можешь!

— Да, привычка—большое дѣло. А впрочемъ, изъ того, что я до сихъ поръ отъ васъ слышалъ, право, еще нельзя заключить, чтобъ вамъ худо жилось!

— Ну, со всячинкой тоже, а временами такъ и очень со всячинкой. Тѣ времена, объ которыхъ я до сихъ поръ разсказывалъ, были простыя: и съ насъ меньше требовали, да и сами мы носовъ не задирали. Тогда, дѣйствительно, жить было можно. Одно только неудобство было — это въ стоячку жизнь проводить!

— Какъ такъ «въ стоячку»?

— А такъ, просто на своихъ на ногахъ. Я вѣдь не по письменной, а по экзекуторской части больше служилъ — значитъ, все у начальства въ глазахъ. Ну, а какъ ты, позволь тебя спросить, въ виду начальника сядешь?

— Стало-быть, и передъ Репетиловымъ стояли?

— Да, и передъ Репетиловымъ. Впрочемъ, въ то время, батенька, это не то чтобъ жестокость была, а такъ, въ голову начальству не приходило, чтобъ предложить подчи-

ненному сѣсть. Эти «милости просимъ» да «садитесь, пожалуйста»—ужъ гораздо позднѣе въ обыкновеніе вошли.

— И то слава Богу. Лучше поздно, чѣмъ никогда.

— Богъ знаетъ, лучше ли. На словахъ-то онъ «садитесь, пожалуйста», а на дѣлѣ такими иголками тебѣ сидѣніе-то нашпигуетъ, что лучше бы напрямки, безъ вывертовъ, крикнулъ: руки по швамъ!

— Ну-те, разсказывайте, Алексѣй Степанычъ, что же съ вами дальше было?

— А дальше — хуже. Какъ вышелъ это Репетиловъ, остался я совсѣмъ безъ благодѣтелей. До тѣхъ поръ, хоть и не больно красно жилось, а все будто въ своей семьѣ былъ. А тутъ стали поговаривать, что и департаментъ-то нашъ, за вольный духъ, совсѣмъ закрыть слѣдуетъ. И точно, цѣлыхъ три мѣсяца къ намъ даже и директора не назначали; съ часу на часъ мы ждали: вотъ-вотъ распустятъ— какъ вдругъ приказъ: назначается къ намъ директоромъ генералъ-майоръ Отчаянный.

— Это тотъ самый Отчаянный, который впослѣдствіи департаментомъ побѣдъ и одолѣній управлялъ?

— Тотъ самый... небось, помнишь, какъ вмѣстѣ горе тяпали! Ну, да въ то время, какъ ты-то его узналъ — это что агнецъ Божій, въ сравненіи, былъ! Вотъ ты бы тогда съ нимъ поговорилъ, какъ онъ съ воли, прямо изъ полка прибѣжалъ. Страсть! того гляди, взглядомъ убьетъ! Влетѣлъ онъ къ намъ, словно озаренный; чиновникъ одинъ на дорогѣ попался—такъ и скосилъ! Собралъ насъ и говоритъ: «Вы, говоритъ, можетъ-быть, думаете, что я въ масонахъ служилъ?—нѣтъ, говоритъ, я служилъ не въ масонахъ, а въ Апшеронскомъ полку! Или, говоритъ, мечтаете, что я пришелъ вашимъ развратнымъ гнѣздомъ управлять!— нѣтъ, я развратное ваше гнѣздо разорить пришелъ! Вонъ— всѣ!» Какъ сказалъ онъ это—у всѣхъ такъ и захолонуло! Не знаемъ, какъ это слово «вонъ!» понять: изъ департамента ли совсѣмъ вонъ бѣжать или только по своимъ мѣстамъ разойтись? Рѣшили однако: разойтись по своимъ мѣстамъ. И пошелъ онъ нами вертѣть. Сидитъ у себя въ кабинетѣ и все во звонокъ звонитъ. То-есть была ли минута одна, чтобъ онъ не звонилъ! То того подай, то другого! то жарко, то холодно! Звонъ да гамъ! Гамъ да звонъ! Вѣришь ли, домой, бывало, послѣ присутствія прибѣжишь— все этотъ звонъ слышишь! Бросишься это передъ иконой Богоматери: Заступница!..

Молчалинъ остановился, словно бы поперхнулся. Мнѣ и самому совѣстно было, что я вызвалъ его на эти изумительныя воспоминанія. Однако черезъ минуту онъ отдышался и продолжалъ:

— И представь себѣ, не успѣешь дома ложку щей проглотить—смотришь: курьеръ! требуютъ! Прискачешь это къ нему, а онъ: «нѣтъ, теперь не надобно!» А черезъ четверть часа и опять! и опять! Такъ, покуда эта раскассировка шла, я никуда, кромѣ департамента, и со двора не ходилъ; даже спать не раздѣвавшись ложился!

— И долго это тянулось?

— Да годъ съ лишнимъ. Наконецъ резолюція вышла: четверть департамента подъ судъ отдать, половину по дальнимъ городамъ разослать—сочти, много ли уцѣлѣло?

— Вы-то однако уцѣлѣли?

— Что я! Я въ ихнихъ вольномысліяхъ участія не принималъ! Я по экзекуторской части былъ! Ко мнѣ, сударь, онъ даже привыкъ. Когда его въ департаментъ побѣдъ и одолѣній перевели, онъ и меня съ собою взялъ... Тамъ-то мы съ вами и познакомились, батенька!

Сказавъ это, Алексѣй Степанычъ протянулъ мнѣ руку, какъ бы давая этимъ понять, что знакомство со мною для него было не непріятно.

— А знаешь ли,—продолжалъ онъ:—вѣдь чиновники-то наши потомъ его усмирили!

— Какъ такъ?

— Да самымъ простымъ способомъ. Сказываться не стали. Пришелъ онъ однажды въ департаментъ и началъ звонить. Ну, покуда побѣжали, покуда что—онъ не утерпѣлъ, самъ на розыски побѣжалъ. Приходитъ въ одно отдѣленіе—и вдругъ всѣ чиновники въ разсыпную; приходитъ въ другое—и тутъ всѣ вонъ; въ третье—та же исторія. Только я одинъ, бѣдный Макаръ, и остался. Остановился онъ тутъ противъ меня, глаза большіе, духъ занимается, не можетъ слова вымолвить, только ротъ разѣваетъ... И все нутро у него даже гудитъ... у-у, а-а-а...

— Что-жъ, и подѣйствовало?

— Сталъ потише. По отдѣленіямъ бродить пересталъ, только звонить еще больше началъ!

— А страшно, я думаю, было, какъ онъ съ вами въ то время лицомъ къ лицу сталъ, когда чиновники-то съ нимъ эту штуку сыграли!

— Ужъ чего еще! Однако я тебѣ скажу, и во мнѣ одинъ

разъ это мужество проявилось! Говоритъ онъ мнѣ однажды: «Позвать!» говоритъ.—Кого, говорю, позвать прикажете?— «Позвать!» говоритъ.—Кого же, ваше превосходительство, позвать прикажете? — Онъ въ третій разъ: «позвать!» говоритъ. Ну, тутъ я, признаться, не выдержалъ, возвысилъ это голосъ да какъ ляпну: — Да кого же, ваше превосходительство, позвать изволите приказать?—Да, было-таки и у меня! былъ и со мной такой случай!

— Ну, а онъ что?

— Да! почесалъ-таки переносицу! понялъ!

— Повысилъ ли онъ васъ, по крайней мѣрѣ, за вашу службу? наградилъ ли?

— Представь себѣ, какой Иродъ! Десять лѣтъ я при немъ состоялъ, и всѣ десять лѣтъ у насъ экзекутора вакансія была—ну, что бы, кажется, стоило! И какъ бы ты думалъ?—вѣдь такъ и не сдѣлалъ меня экзекуторомъ! Въ помощникахъ всѣ десять лѣтъ такъ-таки и выдержалъ!

— Какъ же вы оттуда выбрались?

— Видишь ли: въ пятидесятыхъ годахъ, въ половинѣ, сдѣлалось вездѣ, въ прочихъ мѣстахъ, куда противъ прежняго легче. Ну, и сталъ я подумывать, какъ бы въ другое мѣсто улизнуть. А тутъ кстати департаментъ распредѣленія богатствъ открылся, и назначили туда командиромъ Рудина...

— Какъ, Рудина? Того, который въ Дрезденѣ...

— Того самаго. Да неужто не помнишь? Какъ департаментъ-то его открыли, помѣщики въ то время такъ перетрусились, что многіе даже имѣнія бросились продавать: Пугачевъ, говорятъ, воскресъ. Ну, вѣдь оно и точно... было тутъ намѣреньице... Коли по правдѣ-то говорить, такъ вѣдь Рудина-то именно для того и выписали изъ Дрездена, чтобъ онъ, значитъ, эти идеи примѣнилъ. Вотъ онъ и переманилъ меня къ себѣ: онъ вѣдь Репетилову-то роднымъ племянникомъ приходится.

— Вотъ вы у него бы и спросили, какъ Репетилова-то зовутъ?

— Представь себѣ: спрашивалъ—не знаетъ! Самъ даже сконфузился. Припоминалъ-припоминалъ! «Фу!—говоритъ, да просто зовутъ Репетиловымъ!»

— Хорошо вамъ при Рудинѣ было?

— При немъ—очень хорошо. Даже дѣла совсѣмъ никакого не было. Придетъ, бывало, въ департаментъ, спроситъ: «когда же мы, господа, богатства распредѣлять на-

чнемъ?», посмѣется, между прочимъ, двугривенничекъ у кого-нибудь займетъ—и слѣдъ простылъ!

— Кстати: что это у него за страсть была у всѣхъ двугривенные занимать?

— Такъ это, по разсѣянности, дѣлалось, а можетъ-быть, и просто по непонятію. Онъ на деньги какъ-то особенно глядѣлъ. Все равно какъ ихъ нѣтъ. Сейчасъ это возьметъ у тебя и тутъ же, при тебѣ, другому, кто у него попроситъ, отдастъ. Въ этомъ отношеніи онъ почти-что Божій человѣкъ былъ.

— И долго онъ служилъ?

— Нѣтъ, скучно стало. Годика три промаячилъ, а потомъ и затосковалъ. «Противно»,—говоритъ. Взялъ да въ Дрезденъ опять ушелъ. А тутъ, кстати, и нашъ департаментъ переформировали: изъ департамента распредѣленія богатствъ—департаментъ предотвращеній и пресѣченій сдѣлали. Спокойнѣе, молъ.

— Ну, тутъ какъ?

— По началу—ничего было. Старичка посадили—тоже Молчалинымъ по фамиліи прозывался—хорошо обходился! А тутъ въ скоромъ времени на стариковъ-то мода проходить стала—его и смѣнили. А ужъ послѣ него... вотъ тутъ-то я самую муку и принялъ!

— Это при нынѣшнемъ-то? неужто хуже, чѣмъ при Отчаянномъ?

— Хуже. Потому Отчаянный только звонками донималъ, а этотъ прямо по карману бьетъ, кусокъ у тебя отнимаетъ. Только и словъ у него: «въ отставку извольте подавать!» Ни резоновъ, ни разговоровъ... Ну, самъ ты посуди: подай я теперь въ отставку—что-жъ я завтра ѣсть буду? Вотъ этого-то онъ и не понимаетъ! Даже прямо нужно сказать: ни капли ума у него на этотъ счетъ нѣтъ!

— Ахъ, Алексѣй Степанычъ, Алексѣй Степанычъ! хорошій вы человѣкъ!

— Страстотерпецъ я—вотъ что! Вѣдь ты знаешь, нынче у насъ кто начальникомъ-то? — Князь Тугоуховскій... ну, сынъ того князя Тугоуховскаго, который еще къ покойнику Павлу Аѳанасьичу на балы ѣзжалъ

— А! да! помню! помню!

— Вотъ, какъ назначили его, я, признаться, даже обрадовался. Все, думаю, свой человѣкъ—вспомнитъ! И что-жъ, сударь! пріѣхалъ онъ къ намъ въ департаментъ, а я съ дураковъ-то и ляпни: — я, говорю, ваше сіятельство, отъ

вашего родителя обласканъ былъ, а ваше, молъ, сіятельство даже на рукахъ маленькимъ нашивалъ. — Сказалъ это да и самъ не радъ. Вижу, что у него даже лицо перекосило: то въ меня глаза уставитъ, то по сторонамъ озирается, словно спрашиваетъ: куда молъ, это я попалъ? «Ну-съ?» говоритъ. — Извините, говорю, ежели я ваше сіятельство обидѣлъ!—«Обидѣть, говоритъ, вы меня никоимъ образомъ не можете, а на будущее время прошу васъ держаться слѣдующаго правила: отвѣчать только на вопросы, а о постороннихъ вещахъ со мною не разговаривать!» Это на общемъ пріемѣ-то такъ обжегъ! При всѣхъ!

— Фуй!

— Да, такъ-таки съ перваго раза съ грязью меня и смѣшалъ! И долго послѣ того у насъ такимъ манеромъ шло: онъ слово — и я слово, онъ два—и я два. Придешь къ нему, по приглашенію, въ кабинетъ, а онъ тамъ взадъ и впередъ словно на выводкѣ ходитъ. Слова порядкомъ не вымолвитъ — все сквозь зубы... изволь понимать! Стоишь это да только одно въ мысляхъ и держишь: а ну, какъ онъ въ отставку подать велитъ! У меня же въ это время дѣтки подрастать стали—самъ посуди, каково родительскому-то сердцу такую тревогу ежечасно испытывать!

— Пронесло однако-жъ?

— Пронесло... разумѣется! Сталъ я по времени за нимъ примѣчать... Придетъ; вижу, что фыркаетъ — я и къ сторонкѣ! Или внезапность какую-нибудь придумаю: бумажку пріятную приберегу да тутъ ее и подамъ. Смотришь, анъ направленіе-то у него и перемѣнилось! А иногда и самъ отъ себя веселый придетъ... и это бываетъ! Бываетъ съ ними... все съ ними, голубчикъ, бываетъ!

— И вы пользуетесь этимъ, чтобъ...—прервалъ я, желая при этомъ случаѣ благодарно напомнить объ услугѣ, которую я только-что испыталъ на себѣ.

— Ну-ну, что тутъ!—скромно прервалъ онъ.—Конечно, добрымъ людямъ услугу не грѣхъ оказать... не великъ еще подвигъ! А впрочемъ, счастіе наше, мой другъ, что они дѣла не знаютъ, молодые-то. А кабы знали — только бы и видѣла матушка Русь православная! Да вѣдь и впрямь: до дѣла ли ему? ему, молодому, съ дѣвушками поиграть хочется, а его начальство за дѣло усаживаетъ! Вотъ онъ и ходитъ самъ не свой. Метресса ему тамъ измѣнила,—а онъ эту измѣну на департаментѣ вымещаетъ. И рветъ и мечетъ. «Въ отставку!» «Подъ судъ!» «Куда Макаръ телятъ

не гонялъ!»—такъ и сыплетъ! Ахъ! тоже вѣдь и съ ними... и ихъ пожалѣть надо, мой другъ!

— Помилуйте, Алексѣй Степанычъ! Ему метресса измѣнила, а я изъ-за этого долженъ съ макаровыми телятами знакомство сводить! На что похоже!

— А какъ бы ты думалъ! въ свѣтѣ-то вѣдь и все такъ. Иной разъ слышишь: шумъ, гамъ, свѣтопреставленіе... думаешь, что случилось? — анъ просто: онъ не той ногой съ постели всталъ! Вотъ, стало-быть, и нужно за нимъ примѣчать. Коли онъ въ духѣ — значитъ, докладывай; коли не въ духѣ — поберегись! Тогда и будетъ все ладно!

— Однако-жъ какой громадный это трудъ!

— Безъ труда, мой другъ, нашему брату шагу нельзя сдѣлать. Опять-таки говорю: наше счастіе, что они, молодые-то люди, дѣла не знаютъ. Ежели бы не это,—намъ бы совсѣмъ отъ нихъ матъ пришелъ. Давно бы они насъ расточили. Реформы у нихъ однѣ въ головѣ, а дѣла—и званія нѣтъ. Ни разсказать, ни съютить, ни изложить... Ну, вотъ, онъ попрыгаетъ-попрыгаетъ да къ тебѣ же и придетъ съ повинной. Такъ-то.

— Стало-быть, вамъ онъ и въ отставку ни разу подавать не предлагалъ?

— Нѣтъ, Богъ миловалъ. Однажды, по началу, заикнулся было: «лучше бы, говоритъ, вамъ...» да тутъ сторожъ записку ему отъ метрессы подалъ — онъ и позабылъ. А недавно такъ даже самъ со мной разговоръ началъ: «дѣйствительно, говоритъ, я теперь припоминаю: Москва... господинъ Фамусовъ... домъ на Собачьей площадкѣ... только васъ вотъ... ну, хоть убейте, не помню!» Гдѣ, чай, припомнить!

Сказавши это, Алексѣй Степанычъ взглянулъ на часы и всполошился.

— Господи! никакъ я у тебя засидѣлся! Смотри-ка, три часа! Чай, и Сахаръ Медовичъ ужъ въ департаментѣ!

— Да посидите, Алексѣй Степанычъ! Я съ вами о внутренней политикѣ поговорить хотѣлъ. Все лучше, какъ знаешь, чего держаться. А не знавши-то, чего добраго, и опять впросакъ попадешь!

— А ты не попадайся! Своимъ умомъ доходи! Впрочемъ, я, пожалуй, не прочь добрый совѣтъ дать. Только не нынче, а въ другой разъ.

Глава III.

Прошелъ мѣсяцъ, въ продолженіе котораго я не видалъ Молчалина. Въ началѣ сентября, идя по Невскому, я почувствовалъ, что кто-то сзади прикоснулся къ моему плечу. Оглядываюсь—Алексѣй Степанычъ.

— Забыли? грѣшно, сударь!—молвилъ онъ:—а не худо бы провѣдать стараго сослуживца!..

— И то сколько разъ собирался къ вамъ въ департаментъ зайти, да совѣстно: все думается, какъ бы васъ отъ занятій не оторвать!—оправдывался я.

— Какъ будто только и свѣта въ окнѣ, что департаментъ! чай, и квартира у насъ есть. Свой домъ, батюшка! На Пескахъ, въ 4-й улицѣ! Хорошо у насъ тамъ — тихо. И въ Коломнѣ тихо живутъ, да та бѣда—мѣсто низкое! того гляди, наводненіе въ гости пожалуетъ. Пятнадцатый годъ домовладѣльцемъ и прихожаниномъ въ своемъ мѣстѣ состою... ничего! ни въ чемъ не замѣченъ!

— Непремѣнно! непремѣнно! какъ-нибудь утромъ въ праздникъ... ..

— Зачѣмъ утромъ! прямо къ обѣду въ будущее воскресенье милости прошу! По воскресеньямъ мы въ три часа обѣдаемъ. Въ прочіе дни къ седьмому часу врядъ по службѣ исправиться, а въ воскресенье—мой день!

— Неужели вы каждый день въ департаментѣ до седьмого часа сидите?

— А то какъ же! Вотъ теперь половина двѣнадцатаго, а я только еще на службу ползу, да и тутъ, пожалуй, развѣ писарька какого-нибудь заблудящаго на мѣстѣ застану. Это вѣдь прежде водилось, что чиновники въ департаментъ съ девяти часовъ забирались и всѣмъ, бывало, дѣло найдется. А нонче, велика ли птица столоначальникъ, а и то раньше половины перваго не жди, а не то такъ и ровно въ часъ. Идетъ это, каблучками стучитъ, портфель подъ мышкой несетъ, всѣмъ корпусомъ впередъ подался... Ну, ни дать, ни взять, либо самъ директоръ, либо его курьеръ!

— Удивительно, какъ они дѣло дѣлать успѣваютъ!

— Чего «удивительно»! Коли по совѣсти-то говорить, такъ ежели бы онъ и въ три часа пожаловалъ, хуже бы не было!

— Что такъ?

— Да такъ. Дѣлъ совсѣмъ нѣтъ. Обѣгать насъ какъ-то

стали. Кажется, кабы сами мы дѣлъ не придумывали, а жили бы себѣ полегоньку, такъ и въ департаментъ совсѣмъ бы ходить не зачѣмъ!

— А что вы думаете! вѣдь не худо бы это было!

— Чего лучше!.. небось, ты первый обрадовался бы! А знаешь пословицу: бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ? Нельзя, сударь, этого! потому чиновнику тоже пить-ѣсть надо! Ты сообрази, сколько въ Петербургѣ чиновниковъ-то—и вдругъ всю эту араву, за неимѣніемъ дѣлъ, упразднить! нѣтъ, пусть лучше, хоть и безъ дѣла, а въ департаментъ похаживаютъ!

— Да для чего же?

— Бога пусть помнятъ, отъ страха не отвыкаютъ!

— Чѣмъ же вы занимаетесь, ежели дѣла такъ мало?

— Я-то найду чѣмъ заняться. Нѣтъ дѣла — газету почитаю, перья починю, все какъ слѣдуетъ приготовлю... А тамъ, смотришь, бумажонка какая ни на есть наклевалась. Покуда ее сообразишь да помѣтишь, да къ исполненію передашь — анъ черезъ полчаса она и опять къ тебѣ съ исполненіемъ воротится! Ну, и опять сообразишь, поправишь, передѣлать отдашь — смотришь, и къ Вольфу пора кофей пить. Да я всегда дѣло найду, а вотъ молодежь, хоть бы господа столоначальники—тѣ совсѣмъ заниматься перестали!

— Что-жъ они дѣлаютъ?

— Что ему дѣлать! Придетъ въ первомъ часу—съ полчаса очнуться не можетъ, потягивается да позѣвываетъ, потомъ папироску закуриваетъ, спичками чиркаетъ; потомъ на столъ сядетъ, ногами болтаетъ; потомъ свистать начнетъ... Прежде, бывало, изъ «Елены Прекрасной», а нонче «Мадамъ Анго» откуда-то проявилась. Покуда онъ все это продѣлаетъ, глядишь—ужъ четвертый часъ: скоро и «чадушкѣ» время придти. Ну, тутъ онъ дѣйствительно на часокъ присядетъ да что-нибудь и поскребетъ перомъ.

— А «чадушка» рано ли приходитъ?

— Не равно. Иногда въ пятомъ въ исходѣ, а иногда и въ шестомъ въ половинѣ. Ну, и пойдетъ тутъ у насъ бѣготня. Сильно онъ насъ, стариковъ, этимъ подъѣдаетъ. Вѣришь ли, хоть и дѣла нѣтъ, а домой придешь весь словно изломанный... Такъ какъ же? до воскресенья, что ли?

Я далъ слово, и мы разстались.

Въ слѣдующее воскресенье, ровно въ три часа, я уже былъ у Молчалина. Деревянный одноэтажный домикъ Але-

ксѣя Степаныча снаружи казался очень приличнымъ и помѣстительнымъ. Привѣтливо глядѣлъ онъ своими свѣтлыми семью окнами и трехоконнымъ мезониномъ на улицу, словно приглашая взойти на чисто-выметенное крыльцо и дернуть за ручку звонка. Сбоку, у крыльца, находились запертыя ворота съ неизбѣжною калиткой; поверхъ воротъ виднѣлось пять-шесть деревъ, свидѣтельствовавшихъ, что въ глубинѣ двора существуетъ какая-то садовая затѣя.

Изъ передней я вошелъ прямо въ залу, гдѣ ужъ былъ накрытъ большой столъ человѣкъ на двѣнадцать. Тутъ же находился и Алексѣй Степанычъ, хлопотавшій около стола съ закуской.

— Вотъ и отлично!—встрѣтилъ онъ меня, подавая обѣ руки: — три часа ровнёхонько. Аккуратность — вѣжливость царей, какъ говаривалъ покойный Александръ Андреичъ *); ну, а мы хоть съ коронованными особами знакомства не водимъ, но и между своими простыми знакомыми аккуратность за лишнее не почитаемъ!

— Позвольте васъ перебить, Алексѣй Степанычъ. Вы сказали: «покойный Александръ Андреичъ» — развѣ онъ скончался?

— Скончался, мой другъ! Пять дней тому назадъ отъ Софьи Павловны телеграмму получилъ: «отлетѣлъ нашъ ангелъ»! А сегодня по ранней машинѣ и нарочный отъ нея съ письмомъ пріѣхалъ. Представь себѣ! и недѣли не прошло, а ужъ Загорѣцкій процессъ противъ нея затѣваетъ!

— По какому случаю?

— Да просто по тому случаю, что подлецъ. Это настоящая причина, а обстановку онъ, конечно, другую отыскалъ. Вотъ видишь ли, Александръ-то Андреичъ хоть и умный былъ, а тоже простыня-человѣкъ. Всю жизнь онъ мучился, какъ бы Софья Павловна, по смерти его, на бобахъ не осталась—ну, и распорядился такъ: все имѣніе ей въ пожизненное владѣніе отдалъ, а ужъ по ея смерти оно должно въ его родъ поступить, то-есть къ Антону Антонычу. Только вотъ въ чемъ бѣда: самъ-то онъ законовъ не зналъ да и съ адвокатами не посовѣтовался. Ну, и написалъ онъ въ завѣщаніи-то: «а имѣніе мое родовое представляю другу моему Сонечкѣ по смерть ея»... Теперь Загорѣцкій-то и спрашиваетъ: какой «мой другъ Сонечка»?

*) Чацкій.

— Гм!.. а вѣдь дѣло-то ея, пожалуй, плохо!

— То-то, что некрасиво. И вѣдь какіе чудные эти господа филантропы! Вотъ хоть бы Александръ Андреичъ,— это Софья Павловна мнѣ пишетъ,—и умирая, все твердилъ:

Будь, человѣкъ, благороденъ!
Будь сострадателенъ, добръ!

да и ей, женѣ-то, не переставаючи говорилъ: «вѣрь людямъ, другъ мой Сонечка! Человѣкъ—вѣнецъ созданій Божіихъ!» Съ тѣмъ и умеръ. А самаго простого дѣла сдѣлать не сумѣлъ! «Другу моему Сонечкѣ»—на что похоже? Теперь надъ ней самый ледащій адвокатишко—и тотъ измываться будетъ. «Такъ это вы, скажетъ, другъ мой Сонечка!... Очень пріятно съ вами познакомиться, другъ мой Сонечка!» Каково ей будетъ при всей публикѣ эти издѣвки-то слушать? А вѣдь они, адвокаты-то, нынче за деньги какія хочешь представленія даютъ. Читалъ, чай, процессъ игуменьи Митрофаніи?

— Читалъ-таки.

— Да, удивительное это дѣло, мой другъ. Вотъ насъ, чиновниковъ, упрекаютъ, что мы, по приказанію начальства, можемъ въ изступленіе приходить... Нѣтъ, вотъ ты тутъ подивись! Чиновнику-то начальство приказываетъ—такъ вѣдь оно, мой другъ, и ушибить можетъ, коли приказанія его не исполнишь! А тутъ баба приказываетъ! баба! А какъ онъ вцѣпился изъ-за нея — кажется; желѣзомъ зубовъ-то ему не разжать. На Синай всходилъ! какихъ-то «разбитыхъ людей вопль» поминалъ! Скажи ты мнѣ на милость, какъ это въ нихъ дѣлается, что онъ вдругъ весь, за чужой счетъ, словно порохъ вспыхнетъ?

— Не знаю, право; одни говорятъ, что тутъ происходитъ психологическій процессъ; другіе—что процессъ физіологическій.

— А я такъ, признаться, думаю, что они себя дома исподволь къ этому подготовляютъ. Изнурительное что-нибудь дѣлаютъ. Вотъ я намеднись въ театрѣ господина Хлестакова видѣлъ, такъ онъ тоже разжигался: то будто онъ директоръ, то будто министръ! И вѣдь въ такомъ азартѣ по сценѣ ходитъ, что никакъ ты не разберешь: понимаетъ ли онъ, что лжетъ, или взаправду чортики у него въ глазахъ ходятъ! Должно-быть, и тутъ такъ, въ адвокатскомъ этомъ ремеслѣ!

— Да, какая-нибудь тайна тутъ есть...

— Знаешь ли что! я бы такую шутку сдѣлалъ: я бы присяжнымъ засѣдателямъ предоставилъ: о подсудимомъ— само собой, а объ обвинителяхъ — само собой мнѣніе высказывать. Подсудимый, молъ, виновенъ, а обвинителя, за публичное оскорбленіе подсудимаго, сослать въ мѣста не столь отдаленныя!

— Да, это поостепенило бы!

— Еще какъ бы остепенило-то! А то вотъ мы часто присяжныхъ засѣдателей обвиняемъ, что они явныхъ преступниковъ оправдываютъ! А какъ ты его обвинишь? Иной присяжный и понимаетъ, что подсудимый кругомъ виноватъ, да какъ вспомнитъ, какъ его на судоговореніи-то костили,— ну, и скажетъ себѣ: будетъ съ него! невиновенъ. Какъ ты полагаешь?

— Да, не дурно бы подсудимому эту льготу предоставить!

— А покуда этого нѣтъ, я за Софью-то Павловну и опасаюсь. Думаю: выпуститъ плутъ Загорѣцкій на нее цѣлую араву оскорбителей, а они и начнутъ на ея счетъ почтеннѣйшую публику утѣшать.

— Что же вы предполагаете дѣлать?

— Клинъ клиномъ выбивать надо—адвоката ищу. Пишетъ ко мнѣ Софья-то Павловна, со слезами проситъ, ради Христа, адвоката! Не знаете ли кого?

— Есть-то есть одинъ, да чудакъ онъ...

— А какъ, напримѣръ?

— Да такъ вотъ: придетъ къ нему кліентъ—онъ его выслушать-выслушаетъ, а потомъ сейчасъ за звонокъ: «гони его въ шею!»

— Ну, нѣтъ, намъ такихъ не надо! Намъ дошлаго нужно! Дошлыхъ у тебя нѣтъ?

— Нѣтъ; я вѣдь, Алексѣй Степанычъ, боюсь!

— Денегъ, вѣрно, накопилъ; боишься, чтобъ не отняли?

— Нѣтъ, не то, а вообще къ гражданскому судопроизводству вкуса не имѣю. А вѣдь и я смолоду баловался, даже диссертацію написалъ: «О правахъ седьмой воды на киселѣ въ порядкѣ наслѣдованія по закону». Да забраковали—съ тѣхъ поръ я и баста. Да у васъ у самихъ-то неужто нѣтъ знакомаго изъ адвокатовъ?

— Какъ не быть — цѣлыхъ двое. Только люди-то... У одного я даже сегодня былъ: въ десять часовъ утра къ нему забрался, а его ужъ и слѣдъ простылъ! Ну, оставилъ записку, просилъ откушать пріѣхать, жду вотъ... Да нѣтъ, не надѣюсь я на него!

— Кто онъ таковъ?

— Балалайкинъ, а по имени и по отчеству какъ звать—не умѣю сказать. И на дверяхъ у него просто написано: «Балалайкинъ, адвокатъ». Вѣдь онъ Репетилова сынъ побочный; помнишь, Стешка-цыганка была—такъ отъ нея... Да не пойму я его: ни то онъ выжига, ни то пустословъ!

— А можетъ-быть, и то и другое вмѣстѣ?

— Нѣтъ, скорѣе, думаю—пустословъ, потому отецъ его все на водевильныхъ куплетахъ воспитывалъ. Ну, и цыганская кровь эта... хвастуны вѣдь они, цыгане эти! А другой адвокатъ—Подковырникъ-Клещъ, Иванъ Павлычъ, Павла Иваныча Чичикова сынъ.

— Побочный тоже?

— Да. Помнишь, Чичиковъ у Коробочки-то ночевалъ? Ну, вотъ, послѣ того она и поприпухла... А, впрочемъ, я этого Клеща и самъ боюсь. Отецъ—пройдоха, мать — дотошница; какому ужъ тутъ плоду быть!

— Да, и по моему мнѣнію, лучше ужъ Балалайкина попробовать!

— Я такъ и рѣшилъ. А если ужъ на этомъ основаться нельзя, пойду по Надеждинской, либо по переулкамъ, стану на окна поглядывать, не заманиваетъ ли кто. Однако четвертаго половина, а Балалайкина нѣтъ какъ нѣтъ. Чуяло мое сердце, что заставитъ онъ меня лишній часъ прождать! Что дѣлать—надо для Софьи Павловны потерпѣть! Сегодня и обѣдъ, ради него, особенный приготовилъ, и за виномъ самъ къ Елисееву ходилъ, клубничный пирогъ у Лабутина купилъ... Вѣдь онъ, пожалуй, простыхъ кушаньевъ-то ѣсть не станетъ!

— Развѣ онъ у васъ прежде не бывалъ?

— Нѣтъ, бывалъ, да все по большимъ праздникамъ. Забѣжитъ, поцѣлуетъ у Анѳисы Ивановны руку — и былъ таковъ. А однажды, сударь, онъ меня на обѣдъ къ себѣ зазвалъ, такъ вотъ, доложу вамъ, чудесъ-то я насмотрѣлся! Въ мартѣ мѣсяцѣ—клянусь честью!—земляники фунтовъ пять скормилъ! Груши—по кулаку! спаржа — наипристойнѣйшая! Вина! сигары! ликеры!

— Вѣрно, большое общество было?

— Нѣтъ; я да еще двое шематоновъ какихъ-то. Наѣлся я, мой другъ, да и наслушался же! Такіе разговоры тутъ происходили, что, кажется, лучше бы я въ сортирѣ все время просидѣлъ! Все про конкурсы да про дутые векселя, да про дисконты... А потомъ пошли про камелій...

Одинъ говоритъ: «я двадцать пять тысячъ на нее просадилъ, зато знаю, что она мнѣ вѣрна!» А другой говоритъ: «а хочешь, говоритъ, я тебѣ скажу, гдѣ у нея родимое пятнышко есть?» Чувствую я, знаешь, что они врутъ, а остановить или уличить не могу—потому не знаю. Шестьдесятъ пять лѣтъ мнѣ стукнуло, а я между ними, молокососами, ровно младенецъ сижу! Однако я легонько-таки пригрозилъ имъ тутъ: быть, говорю, вамъ, господа, въ мѣстахъ не столь отдаленныхъ!

— А они что?

— Смѣются. Да скажи ты мнѣ, пожалуйста, неужто и взаправду такія дѣвушки есть, на которыхъ въ одинъ мѣсяцъ двадцать пять тысячъ ухлопать можно?

— Говорятъ, будто есть. Въ театрѣ однажды даже показывали мнѣ.

— Я и у сына, у Павлика моего, тоже спрашивалъ,— только онъ, вмѣсто отвѣта: «охота, говоритъ, вамъ, папенька, къ шалопаямъ на обѣды ѣздить!»

Алексѣй Степанычъ взглянулъ на часы: сорокъ минутъ четвертаго.

— Навѣрное еще съ полчаса проморитъ!—пробормоталъ онъ.—Да и мои куда-то запропастились: вѣрно, въ саду аппетитъ нагуливаютъ передъ хорошимъ обѣдомъ. Да, мой другъ! не роскошно я устроился, а ничего—жить можно. А главное, садикъ есть... Немудрящій, а для дѣтей—полезная штука. Лѣтомъ у насъ здѣсь смѣхи да крики—сосѣдямъ, можетъ-быть, и скучно покажется, а родительскому-то сердцу какъ вѣдь пріятно! Своихъ у меня шестеро, да товарищей приведутъ — и пустятся взапуски! Сидишь это въ сторонкѣ, чтобъ имъ не помѣшать, и думаешь: и съ чего только господинъ Катковъ тревогу поднялъ? Молодежь какъ молодежь! Ну, точно, есть въ нихъ... есть этотъ душокъ... вотъ хоть бы насчетъ прародителей-то нашихъ... Такъ вѣдь не всяко же лыко въ строку.

— Ну, Богъ милостивъ!

— Знаю, что велика Божья милость, а все-таки не разъ и не два подумаешь! Ну, какъ онъ, Павелъ-то Алексѣичъ мой, что ни на есть сболтнетъ! Ну, какъ да у меня его за это отнимутъ? Неужто-жъ и плакать-то мнѣ объ немъ нельзя?

Алексѣй Степанычъ вдругъ какъ-то съёжился и отвернулся къ окну. Черезъ минуту онъ однако-жъ вновь овладѣлъ собой.

— Впрочемъ, утро вечера мудренѣе,—сказалъ онъ голосомъ, еще не утихшимъ отъ волненія: — еще накличешь, пожалуй! Лучше пойдемъ-ка, я тебѣ, въ ожиданіи Балалайкина, логово свое покажу, а потомъ и въ садъ зайдемъ, женѣ представлю. Только ты смотри: насчетъ Фамусовыхъ будь остороженъ. Жена-то у меня Аѳоисы Ниловны Хлестовой воспитанница была—въ честь ея и Аѳоисочкой названа — такъ и до сихъ поръ за Фамусовыхъ горой стоитъ. Обидѣла ее старуха Хлестова: обѣщала пять тысячъ на приданое, а отъѣхала на двухъ. Однако жена зла на ней не помнитъ!

Мы прошлись по всѣмъ комнатамъ; вездѣ было опрятно, свѣтло, хотя нѣсколько голо. Старинная, прочная, но не совсѣмъ удобная мебель разставлена была въ симметрическомъ порядкѣ и ровно въ такомъ количествѣ, чтобъ комнаты не казались пустыми. Полы—крашеные, съ узенькой полоской дешевенькаго ковра вдоль всѣхъ комнатъ; на окнахъ—простыя бѣлыя шторы и никакого признака драпри или портьеръ. Изъ всей анфилады такъ-называемыхъ парадныхъ комнатъ только въ кабинетѣ Алексѣя Степаныча замѣчалось нѣкоторое поползновеніе къ баловству, выразившееся въ видѣ мягкаго дивана и двухъ такихъ же креселъ. Главное удобство квартиры заключалось, повидимому, въ томъ, что у каждаго члена семьи былъ свой уголъ, чему много способствовалъ мезонинъ, въ которомъ было три комнаты. Наконецъ мы вошли въ узенькую комнату, изъ которой створчатая стеклянная дверь вела въ садикъ.

— А вотъ и наши!—сказалъ Алексѣй Степанычъ, указывая на отворенную дверь: — въ этой комнатѣ мы обѣдаемъ запросто, а лѣтомъ, въ хорошую погоду, и въ садикъ трапезовать переходимъ. Да милости просимъ! не хотите ли на мою молодежь взглянуть?

Мы сошли нѣсколько ступенекъ и очутились въ крошечномъ огородномъ пространствѣ, не больше 25—30 квадратныхъ саженъ. Двѣ клумбы, засаженныя георгинами, резедой и душистымъ горошкомъ, большой кустъ сирени и пять-шесть тополей, ютившихся около забора, — вотъ все, что давало этому пространству право на наименованіе сада. Сентябрьская свѣжесть воздуха давала себя чувствовать здѣсь довольно сильно, потому что садикъ былъ совершенно затѣненъ домомъ, а лучи солнца, казалось, никогда сюда не проникали. Но молчалинская молодежь, повидимому, была совершенно довольна, сознавая себя на вольномъ воз-

духѣ, среди живой, хотя и тощей, растительности. Кромѣ дѣтей Алексѣя Степаныча, тутъ было еще двое товарищей ихъ: одинъ студентъ-медикъ, другой—гимназистъ. Лица молодежи не отличались ни красивостью, ни здоровьемъ, но не были лишены той симпатичности, которую придаетъ лицу присутствіе мысли. На противоположной сторонѣ садика, тамъ, гдѣ кончалась тѣнь, бросаемая домомъ, и гдѣ тамъ и сямъ по деревянному забору прорывались полосами робкіе, словно колеблющіеся лучи солнца, сидѣла на зеленой скамейкѣ Анѳиса Ивановна, закутанная въ старинную приданную шаль.

Послѣдовало обычное представленіе.

Насколько Алексѣй Степанычъ былъ сановитъ и внушителенъ, настолько же скромно и просто выглядѣла Анѳиса Ивановна. Это была коротенькая, чистенькая пятидесятилѣтняя женщина съ кротко-свѣтящимися голубыми глазками, съ румяными щеками и съ безконечно-добродушнымъ выраженіемъ въ лицѣ. Изъ-подъ приданной шали виднѣлась свѣтло-лиловая тафтяная блуза съ полосками, вѣроятно, подарокъ Алексѣя Степаныча въ моментъ рожденія его первенца; на головѣ былъ старинный чепецъ, изъ-подъ котораго выбивались на лобъ двѣ серебряныя букольки. Она смотрѣла мягко и душевно, говорила тихо, почти неохотно. Казалось, она совсѣмъ прижилась къ этому мѣсту и вполнѣ удовлетворилась тѣми радостями, которыя обрѣла тутъ. Иногда мнѣ чудилось, какъ будто на лицѣ ея нѣтъ-нѣтъ да и промелькнетъ: «вотъ у Хлестовой въ пронскомъ имѣніи... ахъ, какой былъ паркъ!»—но ежели эта мысль и появлялась, то она мгновенно исчезала, чтобъ вновь сосредоточиться на скромной дѣйствительности, которая всецѣло поглощала ея сердце. Она смотрѣла на дѣтей, но не вмѣшивалась ни въ разговоры, ни въ игры ихъ, а только наслаждалась ими. Такого рода женщины неохотно видятъ появленіе постороннихъ лицъ въ ихъ семьѣ, но онѣ понимаютъ, что ни любимый мужъ, ни любимыя дѣти не могутъ довольствоваться замкнутою жизнью, что для нихъ необходимы связи съ внѣшнимъ міромъ, въ видѣ друзей, нужныхъ людей и даже постороннихъ посѣтителей. Анѳиса Ивановна никого не любила, кромѣ семьи, но понимала, что на ней лежала обязанность не затруднять, а сглаживать существованіе любимыхъ людей, и потому всегда и со всѣми была привѣтлива. Всѣмъ одинаково она, по старинной *московской* привычкѣ, подавала руку грибкомъ, какъ

для поцѣлуя. Разумѣется, я съ удовольствіемъ поспѣшилъ исполнить этотъ невинный обрядъ.

Старшій сынъ Молчалиныхъ, Павелъ (въ честь Павла Аѳанасьевича Фамусова), былъ нѣсколько блѣдноватъ и худощавъ. Мнѣ показалось, что онъ какъ-то неохотно подошелъ къ намъ на голосъ отца, посмотрѣлъ на меня исподлобья, небрежно взялъ мою протянутую руку и, почти не пожавъ ея, сейчасъ же воротился къ своему товарищу-студенту. Еще меньше привѣтливости выказала Соня (въ честь Софьи Павловны Чацкой): она подбѣжала, сдѣлала издали книксенъ и мгновенно исчезла въ глубь садика, гдѣ расхаживали молодые гости ея брата.

— Непривѣтливы они у меня,—выразился Алексѣй Степанычъ по поводу этого представленія:—бирючками смотрятъ. Не то что въ хорошихъ домахъ: придутъ дѣти, ножкой шаркнутъ и смотрятъ въ глаза: не угодно ли, молъ, приказать, я сейчасъ «Попрыгунью Стрекозу» прочту. А впрочемъ, и у меня ребята добрые, только молоды очень. А въ молодости, знаете, это бываетъ. Ни до кого человѣку дѣла нѣтъ; самого себя ему довольно, да вотъ еще съ товарищемъ онъ радуется, съ которымъ у него сердце одно!

— Со всякимъ это, мой другъ, было!—вздохнула Анѳиса Ивановна, не отрывая глазъ отъ дѣтей.

— Знаю, что было, и не въ укоръ это говорю. Я просто говорю: бываетъ это. Бываетъ, что молодому ни до кого и ни до чего, кромѣ себя и присныхъ по духу, дѣла нѣтъ! Знаю тоже, что многимъ изъ стариковъ обидно это кажется, и за грубость почитаютъ, что молодые люди не ищутъ ихъ общества, а я говорю: никакой грубости тутъ нѣтъ, а просто молодое сердце играетъ! Не такъ ли, сударь?

— Конечно, такъ. И, по моему мнѣнію, роль стариковъ, въ особенности же близкихъ, именно въ томъ и состоитъ, чтобъ какъ можно осторожнѣе относиться къ этому молодому эгоизму и не раздражать его.

— Вотъ это такъ! вотъ съ этимъ я согласна!—живо отозвалась Анѳиса Ивановна и такъ хорошо взглянула при этомъ на меня, что я сразу почувствовалъ себя въ числѣ ея друзей.

Сильный звонокъ, раздавшійся въ эту минуту, прервалъ нашъ разговоръ.

— А вотъ и балалайка явилась!—воскликнулъ Алексѣй Степанычъ:—ишь вѣдь, какъ нагло звонитъ! Ну-съ, идемте

обѣдать! Господа молодежь! обѣдать милости просимъ!— хлопнулъ онъ въ ладоши.

Дѣйствительно, Балалайкинъ уже расхаживалъ по столовой въ ожиданіи насъ. Это былъ молодой человѣкъ средняго роста, но уже нѣсколько тучный, съ наружностью, которая могла бы быть названа пріятною, если бы ее не портили томно-самодовольное выраженіе лица и какая-то минодирующая женственность во всѣхъ движеніяхъ. Одѣтъ онъ былъ въ легкую коричневую жакетку и въ свѣтлыя панталоны; подбородокъ былъ тщательно выбритъ, волосы на головѣ расчесаны удивительно; въ одномъ глазу былъ вставленъ монокль, другой — прищуривался съ легкимъ оттѣнкомъ презрѣнія; ходилъ онъ съ развалкою, напѣвая себѣ подъ носъ французскій куплетъ и поматывая головой изъ стороны въ сторону, какъ будто чего-то ища.

— А я къ вамъ на минуту, многоуважаемый!—привѣтствовалъ онъ Алексѣя Степаныча.

— Какъ такъ! а обѣдать?

— Не могу, милѣйшій! дѣло есть!

— Да вѣдь и у меня есть дѣло! Я собственно за этимъ и приглашалъ! Знаю, что вамъ, молодымъ, не интересно со стариками.

— Не могу, мой ангелъ! Впрочемъ, если у васъ есть до меня дѣло, то я имѣю передъ собой...

Онъ вынулъ изъ кармана великолѣпный хронометръ, неизвѣстно для чего заставилъ его прозвонить, затѣмъ открылъ крышку, взглянулъ на циферблатъ и сказалъ:

— Да, именно; я имѣю передъ собою четверть часа... да, такъ! четверть часа! На эти четверть часа я къ вашимъ услугамъ!

— Ну, Христосъ съ тобой! Коли у тебя больше четверти часа нѣтъ свободнаго времени, такъ идемъ въ кабинетъ... Эй! кто тамъ! скажите, чтобъ погодили подавать на столъ!— крикнулъ онъ въ переднюю.

— Но я васъ не стѣсняю! Пожалуйста, безъ церемоній; мы и во время обѣда переговорить можемъ!

— Нѣтъ, сударь. Не люблю я при праздныхъ свидѣтеляхъ ѣсть. Все кажется, что ты на юру сидишь, и что въ ротъ тебѣ смотрятъ.

Мы перешли въ кабинетъ.

— Вотъ видишь ли, господинъ Балалайкинъ, зачѣмъ я къ тебѣ пріѣзжалъ,—началъ Алексѣй Степанычъ.—Софью Павловну Чацкую помнишь?

— Да, помню.

— Такъ вотъ съ ней случился пассажъ...

Молчалинъ въ краткихъ словахъ разсказалъ сущность дѣла и вопросительно взглянулъ на Балалайкина. Послѣдній нѣкоторое время молчалъ и напѣвалъ себѣ подъ носъ.

— Вы, конечно, желаете, милѣйшій, чтобъ я этимъ дѣломъ занялся?—наконецъ произнесъ онъ.

— Ну, да, самъ займись или на кого-нибудь укажи!

— И вы намѣрены употребить на это дѣло...

Балалайкинъ остановился и томно посмотрѣлъ въ глаза Молчалину. Но тотъ не понималъ и таращилъ глаза.

— Я говорю о суммѣ вознагражденія за трудъ по веденію дѣла,—объяснилъ Балалайкинъ.—Извините, голубчикъ, что я такъ прямо... Time is money, говоритъ хорошая пословица, а для адвоката въ особенности. Я ужъ сказалъ вамъ, что имѣю передъ собой только четверть часа; слѣдовательно...

Онъ снова вынулъ изъ кармана хронометръ, опять позвонилъ и положилъ на ладони передъ собой, очевидно, намѣреваясь слѣдить за ходомъ минутной стрѣлки.

— Да ты прежде обдумалъ бы, возможное ли это дѣло или невозможное?

— На этотъ счетъ я долженъ сказать вамъ слѣдующее: въ современной адвокатской практикѣ выработалось такое убѣжденіе, что невозможныхъ дѣлъ не существуетъ. Вотъ почему адвокаты рѣдко останавливаются на соображеніяхъ этого рода, но прямо приступаютъ къ вопросу о вознагражденіи.

— Ну, насчетъ вознагражденія она ничего не пишетъ... Полагаю, что не оставитъ... Пойметъ, чай, что съ твоей стороны безпокойство было...

— Гм!.. да... «не оставитъ»! А знаете ли, мой милѣйшій, что выраженія въ родѣ «не оставитъ» и т. д. нѣсколько запоздали для нашего просвѣщеннаго времени? Во времена крѣпостного права, дѣйствительно, бывали ходатаи, которые «безпокоились» и относительно которыхъ можно было бы безъ риска употребить выраженіе: «ты ужъ побезпокойся, мой другъ, а я тебя не оставлю». Но мы—совсѣмъ другое дѣло. Мы не «безпокоимся», а ведемъ дѣло въ предѣлахъ законности; насъ нельзя ни «оставить», ни «не оставить», потому что законъ даетъ намъ право на вознагражденіе...

— Ну, извини, мой другъ! я не хотѣлъ тебя обидѣть!

я вѣдь новыхъ вашихъ порядковъ не знаю... Такъ какъ же бы ты думалъ насчетъ вознагражденія-то?

— А какъ велика цѣнность имѣнія?

— Да тысячъ на полтораста, на двѣсти будетъ!

— Положимъ, полтораста. Въ современной адвокатской практикѣ выработалось убѣжденіе, что норма вознагражденія за веденіе дѣла, безъ обремененія для кліента, можетъ быть опредѣлена въ размѣрѣ 10% съ цѣны иска. Слѣдовательно въ настоящемъ случаѣ надлежало бы принять цифру въ пятнадцать тысячъ рублей, какъ вполнѣ обезпечивающую интересы обѣихъ сторонъ: и довѣрителя, и довѣреннаго. Но, принимая во вниманіе, что имѣніе отыскивается г-жою Чацкою не въ собственность, но лишь въ пожизненное владѣніе, я нахожу справедливымъ и возможнымъ остановиться на слѣдующихъ цифрахъ: въ случаѣ выигрыша — восемь тысячъ, въ случаѣ проигрыша—двѣ тысячи.

— Да ты выспался ли?

— Я не только выспался, почтеннѣйшій Алексѣй Степанычъ, но уже въ десяти мѣстахъ успѣлъ быть сегодня утромъ. Да-съ, дѣло адвоката—дѣло не легкое-съ. Надобно походить около тѣхъ двадцати пяти, тридцати тысячъ, которыя составляютъ мой годовой бюджетъ! Ихъ надо достать-съ.

Балалайкинъ произнесъ эти слова такъ убѣдительно, и глаза его блестѣли при этомъ такимъ холоднымъ блескомъ, что я какъ-то инстинктивно приложилъ руку къ лѣвой сторонѣ сюртука, какъ бы ощупывая, тутъ ли мой бумажникъ. Повидимому, подобное же чувство испытывалъ и Алексѣй Степанычъ, потому что онъ вдругъ забѣгалъ глазами по комнатѣ, очевидно, высматривая, не лежитъ ли что-нибудь плохо.

— Ну, да Христосъ съ тобой, доставай, похаживай! никто тебѣ не препятствуетъ!—сказалъ онъ голосомъ, въ которомъ еще слышались изумленіе и испугъ:—а все-таки не мѣшало бы и о томъ подумать, что Софья-то Павловна вѣдь не чужая тебѣ! хоть съ лѣвой стороны...

— Эти лѣвыя и правыя стороны умѣстны въ банкѣ и въ ландскнехтѣ, а въ гражданскихъ дѣлахъ онѣ только запутываютъ... Однако позвольте! четверть часа, которую я имѣлъ къ вашимъ услугамъ, уже истекла... Извините, милѣйшій! ей-Богу, ни одной минуты дольше оставаться не могу.

— Да Богъ съ тобой! уходи, сдѣлай милость, если такъ ужъ тебѣ приспичило!

— Прекрасно-съ. Но въ заключеніе я хочу сказать еще одно слово. Шесть тысячъ—въ случаѣ выигрыша, полторы—въ случаѣ проигрыша. C'est a prendre ou à laisser.

— За что-жъ въ случаѣ проигрыша-то?

— За трудъ-съ, почтеннѣйшій Алексѣй Степанычъ! за трудъ-съ.

— Какой тутъ трудъ, сдѣлай милость! Ты съ утра до вечера рыскаешь да языкомъ отбиваешь, такъ для тебя даже лучше, если за дѣло малость присядешь! Можетъ, языкъ-то у тебя и поостепенится маленько!

— Это ужъ мое дѣло. Штука не въ томъ, великъ или малъ мой трудъ, а въ томъ, что на него существуетъ требованіе. Я вчера два дѣла взялъ, сегодня утромъ одно наклюнулось; кромѣ того, у меня на рукахъ два конкурса, да въ десяти коммерческихъ домахъ я юрисконсультомъ состою... стало-быть, мой трудъ цѣнится-съ! Однако pardon, я заболтался. До обѣда мнѣ еще въ пяти мѣстахъ побывать нужно. Ежели надумаете—пожалуйте. Каждый день утромъ, кромѣ праздниковъ, у меня отъ десяти до двѣнадцати пріемъ. Au revoir.

Онъ подалъ Молчалину руку ладонью вверхъ, почти непримѣтно кивнулъ мнѣ головой и поплелся развальцемъ въ переднюю. Алексѣй Степанычъ послѣдовалъ за нимъ, и я слышалъ, какъ на прощанье онъ сказалъ ему:

— Говорилъ я тебѣ, Балалай Балалаевичъ, что быть тебѣ въ мѣстахъ не столь отдаленныхъ... и будешь!

Я взглянулъ въ окно: у подъѣзда стояла великолѣпная пара сѣрыхъ, запряженная въ коляску. Балалайкинъ вскочилъ въ экипажъ, разлегся на подушкахъ и помчался.

— Каковъ?—обратился ко мнѣ Алексѣй Степанычъ.

— Недуренъ. Но воля ваша, онъ на Репетилова не похожъ!

— А кто ихъ знаетъ, мой другъ. Говорили, будто тутъ и Удушьевъ вкладчикомъ былъ... Вѣдь и въ наше время бабочки-то слабеньки бывали! Да это еще что! Это больше по части легкомыслія! А вотъ ты бы на Клеща взглянулъ! Того я—боюсь!

— А что?

— Да то, что вотъ хоть бы въ настоящемъ случаѣ: ужъ онъ бы не уѣхалъ, какъ Балалайка! Онъ бы *заставилъ* съ собой покончить!

— Какъ такъ «заставилъ» бы?

— Да такъ вотъ: глаза бы отвелъ. Тотъ и обѣдать остался бы, и у Анѳисы Ивановны руку поцѣловалъ бы, и съ Павлинькой насчетъ «родовъ и видовъ» поговорилъ бы, и Леночкѣ табакерку съ музыкой подарилъ бы, да и насчетъ вознагражденія не сталъ бы спорить...

— Такъ что же вы! обратитесь къ нему!

— То-то и есть, что онъ взять-то дѣло возьметъ да сейчасъ же съ нимъ—къ Загорѣцкому! Тотъ у него Софью-то Павловну и купитъ!

— Ахъ, Боже мой!

— Да, мой другъ, въ распутное времечко пришлось намъ вѣкъ доживать. Ходишь это по бѣлу свѣту ровно оплеванный. По улицѣ идешь—къ сторонкѣ жмешься, въ общество попадешь—въ уголку на стульцѣ сядешь. И смотрятъ на тебя всѣ какъ-то дико, словно совсѣмъ ты не туда попалъ, гдѣ тебѣ быть надлежитъ. А впрочемъ, вѣдь намъ съ тобой людей не исправить, а жаркое, пожалуй, и подгоритъ, коли дальше болтать будемъ. Обѣдать!—крикнулъ онъ въ дверь.

Черезъ пять минутъ мы уже сидѣли за обѣдомъ. За ѣдой дурное впечатлѣніе, произведенное Балалайкинымъ, изгладилось совершенно. За столомъ было шумно, свободно и весело. Алексѣй Степанычъ ѣлъ очень исправно, что не мѣшало ему однако и бесѣду вести; дѣти тоже кушали съ большимъ аппетитомъ, но при этомъ ни одной минуты не сидѣли смирно: шептались другъ съ другомъ, дѣлали другъ другу таинственные знаки и громко-громко смѣялись. Разговоръ сначала вертѣлся около хозяйственныхъ вопросовъ, а потомъ мало-по-малу перешелъ и на почву современности.

— А помните, Алексѣй Степанычъ, вы обѣщались вразумить меня насчетъ современнаго направленія?—напомнилъ я.

— Вразумить—отчего не вразумить! Только я, признаться, и самъ въ нынѣшнихъ дѣлахъ мало понимаю!

— Что-жъ такъ?

— Да такъ ужъ... Вѣдь ты писатель?

— Гм!.. что это вамъ вздумалось напомнить?

— А отчего бы и не напомнить! Стыда тутъ нѣтъ. Въ наше время въ писателяхъ-то даже славу отечества видѣли... Помнишь Грибоѣдова, Александра Сергѣича—вѣдь тоже писатель былъ! Конечно, не всякому Грибоѣдовымъ

быть, а все-таки... Впрочемъ, я не къ тому веду рѣчь, чтобъ тебѣ о твоемъ писательствѣ напомнить, а вотъ къ чему: знаешь ты, что̀ такое «періодъ»?

— Конечно, знаю.

— Ну, такъ вотъ я тебѣ что̀ скажу. Коли затѣялъ ты періодъ написать, то, конечно, такъ ужъ и пригоняешь, чтобъ его какъ слѣдуетъ въ концѣ закруглить. Начнешь, напримѣръ, съ «такъ какъ»—дальше у тебя непремѣнно будетъ «то»; начнешь съ «хотя»—дальше будетъ «но». Такъ ли, сударь?

— Кажется, что такъ...

— Ну, вотъ видишь ли! А въ современномъ-то нынѣшнемъ направленіи вотъ этого именно и нѣтъ. «Такъ какъ» и «хотя»—въ полной силѣ состоятъ, а «то» и «но»—въ умаленіи, а не то такъ и совсѣмъ въ отсутствіи!

Опредѣленіе это, на первый взглядъ, показалось мнѣ настолько остроумнымъ, что я и самъ поддался ему. А вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, и «то» и «но» въ умаленіи! невольно подумалось мнѣ. Однако, вникнувъ въ дѣло ближе, я нашелъ, что въ мнѣніи Алексѣя Степаныча кроется извѣстная доля односторонности, которую я и рѣшился исправить.

— Ваше замѣчаніе очень мѣтко,—сказалъ я:—но едва ли оно исчерпываетъ предметъ вполнѣ. Я, по крайней мѣрѣ, имѣю основаніе полагать, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже лучше, ежели періоды не имѣютъ полной синтаксической округленности.

— Ну, ужъ это странный вкусъ у васъ, сударь!

— Нѣтъ, это не личный мой вкусъ къ синтаксической безурядицѣ, а просто инстинктъ самосохраненія.

— Самосохраненіе-то какъ же тутъ попало?

— Очень просто. Помните, въ тотъ разъ, какъ мнѣ приходилось туго, и вы пришли мнѣ на помощь—чѣмъ вы меня изъ бѣды вызволили?

— Чѣмъ, напримѣръ?

— А тѣмъ именно и вызволили, что начатой періодъ безъ округленія оставили. Согласитесь, что, если бы въ ту пору Сахаръ Медовичъ періодъ-то свой округлилъ,—врядъ ли бы мнѣ сегодня у васъ обѣдать!

— Да! такъ ты вотъ объ чемъ? случай-то этотъ вспомнилъ?

— Нѣтъ, я не объ одномъ этомъ случаѣ говорю, а вообще... Вспомните-ка, Алексѣй Степанычъ, одинъ ли такой

казусъ съ вами былъ, гдѣ вы, вмѣсто округленій, «обстановочки» разныя придумывали?

— Мало ли со мной случаевъ было—и не перечтешь! Вотъ даже намеднись—призываетъ онъ меня къ себѣ и говоритъ: «такъ какъ, говоритъ, наблюденія за современнымъ настроеніемъ умовъ обнаруживаютъ, что превратныя толкованія...» Да, къ счастію, на самомъ этомъ мѣстѣ курьеръ съ письмомъ отъ метрески подоспѣлъ... ну, онъ и бросилъ періодъ безъ округленія!

— А какъ вы думаете, если бы не случилось этого письма, въ какомъ бы смыслѣ вашъ Сахаръ Медовичъ свой періодъ округлилъ?

— Походъ бы, вѣроятно, противъ обывателей объявилъ. Да, мой другъ, есть въ твоихъ словахъ правда! есть! Оно, конечно, странно начала безъ концовъ слушать, а какъ подумаешь...

— Не наоборотъ ли, Алексѣй Степанычъ? не правильнѣе ли будетъ сказать, что намъ чаще концы безъ началъ выслушивать приходится? По крайней мѣрѣ, что до меня, то мнѣ именно сдается, что въ тѣхъ «періодахъ», о которыхъ мы съ вами повели рѣчь, совсѣмъ не «то» и «но» въ отсутствіи, а именно «такъ какъ» и «хотя».

Вмѣсто отвѣта, Алексѣй Степанычъ взялъ меня за локоть и крѣпко пожалъ его, какъ бы заявляя о своемъ сочувствіи.

— Знаете ли что!—продолжалъ я, поощренный этимъ вниманіемъ:—вотъ вы прошлый разъ, встрѣтясь со мной, на молодыхъ чиновниковъ жаловались, что они къ «дѣлу» не прилежны, больше тѣмъ занимаются, что папиросы курятъ да изъ «Мадамъ Анго» мотивы насвистываютъ. Конечно, съ точки зрѣнія производительности труда, они поступаютъ неправильно. Но вѣдь, съ другой стороны, представьте себѣ, что вдругъ, по мановенію волшебнаго жезла, эти люди перестаютъ курить и свистать и всѣ разомъ присаживаются вплотную за дѣло... вѣдь это что-жъ такое будетъ!

— Да, да, да! Вотъ и сами они то же говорятъ! Подойдешь это къ нимъ иногда: шалберничаете, молъ, вы, господа молодежь! А они: «да развѣ лучше будетъ, коли мы вписываться-то начнемъ?»

— Вотъ видите ли! Положимъ, что они не серьезно это говорятъ, а больше лѣнь свою оправдываютъ, однако и въ этой лѣни есть что-то такое... провиденціальное!..

Сообразите же теперь: въ одномъ мѣстѣ лѣнь, въ другомъ—метресска, въ третьемъ — еще случайность какая-нибудь — смотришь, анъ «періоды-то» и остаются безъ округленія!

— Однако не любишь ты этихъ «періодовъ»! Ну, а вы, молодые люди, какого на этотъ счетъ мнѣнія? Ты, Павелъ Алексѣичъ? какъ ты объ этихъ періодахъ полагаешь?

Я замѣтилъ, что, покуда мы вели эту бесѣду, молчалинская молодежь не обращала на насъ никакого вниманія. Даже взрослые молодые люди, какъ Павелъ и Соня,— и тѣ держали себя особнячкомъ, не только не вмѣшиваясь въ разговоры старшихъ, но даже и не прислушиваясь къ нимъ.

— Что такое? Объ чемъ вы, папенька, спрашиваете?— отозвался Павелъ Алексѣичъ, застигнутый врасплохъ.

— А ты бы, мой другъ, и прислушался иногда! Вѣдь старшіе-то не все одни пустяки говорятъ!

— Ахъ, папенька! вы вѣдь знаете, что я не интересуюсь этимъ!

— Чѣмъ «этимъ»-то?

— Да вотъ... внутреннею политикой этой... мѣропріятіями...

Павелъ Алексѣичъ какъ-то загадочно улыбнулся и, обратясь къ сестрѣ, началъ шептаться съ нею, какъ бы возвращаясь къ прерванному разговору. Алексѣй Степанычъ укоризненно покачалъ на него головой.

— Вотъ они, молодые-то люди наши! — сказалъ онъ:— никакого въ нихъ къ жизни вниманія нѣтъ! все гдѣ-то витаютъ, въ эмпиреяхъ какихъ-то!

— Вотъ ужъ извините!—обидѣлась Софья Алексѣевна:— это вы въ эмпиреяхъ живете, а мы признаёмъ только дѣйствительность, или, лучше сказать...

— Знаю я, сударыня, про какую ты дѣйствительность говоришь! А ты бы лучше сказала, какъ ты на нашу-то, на настоящую-то дѣйствительность смотришь? Такъ, молъ, мистерія какая-то... представленіе балетное!... Повѣрите ли, сударь,—обратился онъ ко мнѣ:—даже объ исторіи говорятъ, что совсѣмъ, молъ, это не исторія, а затменіе! Мимо идоша и се не бѣ! А вотъ оно когда-нибудь укуситъ тебя, «затменіе»-то, такъ ты не то, стрекоза, заговоришь!

— Ужъ оставилъ бы ты ихъ, Алексѣй Степанычъ: не трогаютъ они тебя!—вступилась Анѳиса Ивановна.

— Вѣдь я не въ укоръ, сударыня, а для ихъ же пользы говорю. Вѣдь имъ жить посреди этой мистеріи-то придется!

— Проживемъ какъ-нибудь! — отозвался Павелъ Алексѣичъ.

— Нѣтъ, не проживешь, мой другъ. Потому, хоть оно и черезъ пень-колоду на свѣтѣ идетъ, а все же не затменіе происходитъ. Вонъ онъ, городовой-то, на углу стоитъ! Городовой, сударь, а не мистерія!

— Я очень хорошо это понимаю.

— А понимаешь ли ты, въ чемъ состоятъ его права и обязанности, вотъ этого самаго городового?

— Права его состоятъ въ томъ, что онъ можетъ остановить и отправить въ участокъ всякаго, кто ему подъ силу; обязанности—въ томъ, чтобъ дѣлать кому слѣдуетъ подъ козырекъ.

— Анъ вотъ и совралъ. Такихъ правъ у него нѣтъ, чтобъ всякаго хватать. А ежели онъ это сдѣлалъ, такъ у него начальство есть, которому жалобу на него принести можно. Начальство, сударь!

— Нѣтъ, ужъ я лучше предпочитаю не ходить по той улицѣ, гдѣ завижу городового. Покойнѣе.

— Да вѣдь такимъ образомъ тебѣ на тотъ свѣтъ уйти придется, потому что на этомъ-то свѣтѣ нѣтъ вершка земли, на которомъ бы ты съ городовымъ не встрѣтился!

Павелъ Алексѣичъ даже не возразилъ на это. Для меня очевидно было, что разговоръ этотъ начался не сегодня и ведется безъ всякаго результата для обѣихъ сторонъ.

— Недоумѣніе нынче какое-то, — продолжалъ Алексѣй Степанычъ:—никакого общаго разговора въ семействѣ нѣтъ. Сидимъ мы, бывало, при покойномъ батюшкѣ за столомъ—и все у насъ разговоры простые, для всѣхъ понятные: и для родителей, и для дѣтей. Ну, и съ Павломъ Аѳанасьичемъ тоже: онъ, бывало, говоритъ—я понимаю, я говорю—онъ понимаетъ. Ужъ на что Александръ Андреичъ мудренъ былъ—и того, бывало, понимаешь. Потому, хоть слова и разныя, да сюжетъ-то одинъ. А нынче словно на двѣ половины раскололося: одни—свое, другіе—тоже свое.

— Мы, папенька, васъ любимъ... и мы вамъ очень благодарны... неужто вы сомнѣваетесь? — отозвался Павелъ Алексѣичъ.

— Знаю, мой другъ, и не сомнѣваюсь! Вотъ только въ мысляхъ у насъ согласія нѣтъ!

— Да что же будетъ проку, ежели я, по наружности, буду соглашаться съ вами, а внутренно нѣтъ?

— А ты сначала наружно согласись, а тамъ, можетъ-быть, и внутреннее согласіе придетъ. А то вонъ хоть бы намедни: получилъ я отъ Софьи Павловны письмо, да и угоразди меня ее благодѣтельницей назвать — такъ какой они содомъ изъ-за этого подняли!

— Какая же она благодѣтельница ваша? Вы въ Чацкихъ нуждались, Чацкіе—въ васъ. Это взаимный обмѣнъ услугъ. И ужъ, конечно, вы больше одолженій имъ сдѣлали, нежели они вамъ!

— Молодъ ты! Вотъ что, мой другъ! Взаимный обмѣнъ услугъ! А знаешь ли ты, что мои-то услуги на рынкѣ грошъ стоятъ, а ихнія услуги—милостями называются! Вы какъ объ этомъ думаете?—обратился Алексѣй Степанычъ ко мнѣ.

— Я думаю, что въ ваши отношенія къ Чацкимъ замѣшалось совершенно особенное чувство, о которомъ люди современнаго молодого поколѣнія не имѣютъ да и не могутъ имѣть яснаго представленія. Встарину жизнь сопровождалась извѣстными осложненіями, которыя въ настоящее время могутъ имѣть мѣсто только въ исключительныхъ случаяхъ. Вспомните о крѣпостномъ правѣ, около котораго вертѣлись всѣ прочія жизненныя явленія. Кто изъ нашихъ дѣтей повѣритъ, что когда-то существовалъ такой жизненный строй, въ которомъ всѣ человѣческія чувства являлись до такой степени спутанными, что нельзя было даже приблизительно сказать, гдѣ кончалась преданность и гдѣ начиналась ненависть. То же должно сказать и о другомъ явленіи того же порядка: о покровителяхъ и благодѣтеляхъ. Какъ бы ни почтенно было благодѣяніе само по себѣ, но оно непремѣнно порождаетъ въ благодѣтельствуемыхъ извѣстное нравственное раздвоеніе, съ которымъ можетъ примирить человѣка лишь очень продолжительная привычка. Поэтому весьма естественно, что когда руководящимъ началомъ человѣческихъ дѣйствій выступаетъ чувство личной отвѣтственности, то представленіе о «благодѣніяхъ» какъ-то невольно отступаетъ на задній планъ.

Каюсь: произнося эту рацею, я преимущественно имѣлъ въ виду поразить молодого Молчалина либерализмомъ моихъ взглядовъ. Но я горько ошибся. Молодой человѣкъ воспользовался моимъ вмѣшательствомъ единственно для того, чтобъ отдѣлаться отъ вопросовъ отца и безпрепятственно возобновить разговоръ съ сосѣдями.

— Можетъ быть! можетъ быть!—отвѣчалъ Алексѣй Степанычъ въ раздумьѣ:—точно, что прежде случалось что-то похожее. Вотъ хоть бы эта самая Лиза — помните, что̀ у Софьи Павловны во фрейлинахъ была?—сколько разъ она мнѣ говорила: «ужъ такъ мнѣ эта барышня ненавистна! кажется, въ цѣломъ свѣтѣ постылѣе ея человѣка нѣтъ!»—Что̀ ты, глупенькая! начнешь ее, бывало, урезонивать:—какой еще тебѣ барышни лучше! Два-три раза платье надѣнетъ—и тебѣ отдастъ!—«Нѣтъ, говоритъ, Алексѣй Степанычъ! Вѣрите ли, говоритъ, какъ начну я ее утромъ обувать—она въ постели лежитъ, а мнѣ ножку протянетъ—ну, такъ она мнѣ ненавистна! такъ ненавистна!..» И что-жъ бы вы, сударь, думали! Какъ объявили этта волю—ни она, ни Петръ-буфетчикъ такъ-таки ни минуты у Чацкихъ и не остались! И не забудьте, ему подъ шестьдесятъ, да и ей тоже подъ эту цифру въ это время было!

— Можетъ-быть, капиталецъ скопили?

— Какъ не скопить—былъ капиталецъ! Да чего! Изъ Венева-то явились сюда, молочную лавочку здѣсь сняли, а черезъ годъ и въ трубу вылетѣли! Послѣ ужъ къ намъ наниматься приходила, да я, признаться, побоялся нанять, а къ Софьѣ Павловнѣ отписалъ: такъ, молъ, и такъ, не пожелаете ли обратно заблудшую овцу взять?

— Что̀-жъ Софья Павловна?

— Ничего. «Зла, говоритъ, я не помню, а прощать только Богъ можетъ, и я каждый день и на утренней, и на вечерней молитвѣ Его о томъ прошу, чтобъ Онъ сей ужасный ея грѣхъ простилъ».

— Однако! строгонька-таки Софья Павловна!

— Человѣкъ, сударь,—слабости свои имѣетъ. Да вѣдь и обработала же ихъ меньшая братія-то! Александръ-то Андреичъ, чай, сами знаете, всегда либераломъ былъ, а тутъ, какъ комитеты-то эти въ 58-мъ году открыли,—онъ и еще припустилъ. Тогда, впрочемъ, вездѣ эти либеральныя лавочки завелись. И что̀-жъ бы вы думали! — какъ только рескриптъ пришелъ, на другой же день у Александра Андреича ни одной души изъ дворни не осталось! Ну, вотъ онъ и нашелся въ фальшивомъ положеніи: съ одной стороны, по закону, два года имѣетъ право безмездно услугой пользоваться, а съ другой стороны—либерализмъ примѣшался...

— Какъ же онъ выпутался?

— Побѣдствовалъ-таки а послѣ того однако-жъ заду-

мываться сталъ: «хороша, говоритъ, свобода, но во благовременіи».

Въ эту минуту въ средѣ молодыхъ людей раздался взрывъ сдержаннаго смѣха.

— Вы чему, господа, смѣетесь? — полюбопытствовалъ Алексѣй Степанычъ.

— Ахъ, папенька, неужто-жъ намъ посмѣяться между собой нельзя!—воскликнула Соня.

— Отчего не посмѣяться! да отцу-то отчего не открыть?

— Развѣ вамъ интересно? Ну, мы объ учителяхъ вспомнили!

— Вотъ она такъ всегда мнѣ отвѣчаетъ. Съ Павломъ Алексѣичемъ хоть цѣлый день шушукаться готова, а передъ отцомъ—молчокъ! И объ чемъ только вы шушукаетесь? Вѣрно, онъ и тебя нашпиговалъ, что человѣкъ отъ обезьяны происходитъ?

— Вы, папенька, въ такомъ странномъ видѣ это представляете, какъ будто я говорю, что это вчера или третьягодня произошло,—вступился Павелъ Алексѣичъ.

— Что вчера, что за шесть тысячъ лѣтъ—это все равно, мой другъ! Все-таки оно неправильно. Потому сказано: Адамъ, Ева... и притомъ въ шестый день.. Какъ же ты послѣ этого объ Адамѣ и Евѣ полагаешь?

— А такъ и полагаю, что ничего не полагаю!

— Нельзя не полагать, мой другъ! велѣно полагать! Потвоему, и міръ не въ семь дней сотворенъ, и отъ сотворенія міра до Рождества Христова не 5508 лѣтъ протекло, а нѣсколько десятковъ тысячъ столѣтій—такъ, что ли?

— Ахъ, папенька, вы со мной точно участковый надзиратель разговариваете!

— Для твоего добра, мой другъ! Вѣдь ты и при посторонніхъ людяхъ чепуху-то эту несешь, а нынче, слава Богу, гаду-то этого довольно-таки развелось! А ты умненько себя, голубчикъ, держи! Ты линію-то свою веди, да такъ, чтобъ комаръ носу не могъ подточить!

— Слушайте-ка, Алексѣй Степанычъ!—вступился я:—а помните, что вы сами давеча насчетъ молодыхъ-то людей говорили?

— Что же?

— А вотъ, что молодымъ людямъ и самихъ себя довольно, что неправы тѣ старики, которые претендуютъ, что молодые люди не ищутъ ихъ общества?

— Такъ-то такъ, да вѣдь родительское сердце—загадка,

сударь. Ежели разсудить по справедливости, такъ оно и дѣйствительно такъ; какіе же у насъ съ дѣтьми общіе разговоры могутъ быть? Баловать ихъ, жалѣть, радоваться на нихъ—вотъ настоящая наша задача! Ну, а какъ коснется до дѣла—тутъ и спасуешь! Все думаешь, какъ бы поближе да потѣснѣе, да какъ бы за свою любовь-то благодарность получить!

Сказавши это, Алексѣй Степанычъ такъ нѣжно и любовно погладилъ по головѣ маленькую Леночку, сидѣвшую около него по правую руку, что та сейчасъ же распалилась и опрокинула къ нему все свое свѣтящееся личико.

— Слѣдовательно,—продолжалъ онъ:—всякому свое. И старикамъ, и молодымъ. Мы—будемъ объ нынѣшнемъ направленіи разсуждать, а молодежь — пусть сама для себя сюжеты выискиваетъ!

Обѣдъ кончился; мы встали изъ-за стола и, въ ожиданіи кофея, пріютились съ Алексѣемъ Степанычемъ въ его кабинетѣ.

— Я такого объ нынѣшнемъ направленіи мнѣнія,—началъ онъ:—что къ тому видимо все клонится, чтобъ не разсуждать. Совсѣмъ чтобъ это оставить! И ежели ты на этой линіи стоишь твердо, то никто, значитъ, тебя и не потревожитъ!

— Гм!.. а вѣдь это, Алексѣй Степанычъ, тоже своего рода «періодъ»... и даже довольно округленный!

— Настоящаго «періода» покамѣстъ еще нѣтъ, а изъ отрывочковъ, дѣйствительно, можно это самое заключить.

— Стало-быть, по вашему мнѣнію, если хочешь прожить мирно, то стоитъ только не разсуждать?—резюмировалъ я въ раздумьѣ.

— Вѣрно!

— Что-жъ! Я думаю, что такъ-то даже легче. Вотъ только въ литературѣ... вѣдь она, пожалуй, однимъ разсужденіемъ и живетъ!

— А въ литературѣ—разсуждай о неразсужденіи!

— Да? стало-быть, существуетъ особенный видъ разсужденій: разсужденіе о неразсужденіи?

— Именно. На-дняхъ я въ одной газетѣ цѣлую передовую статью о неразсужденіи прочелъ—бойко написано!

— Гм!.. надо объ этомъ подумать!

— И такъ, сударь, онъ, сочинитель этотъ, ловко эту матерію обставилъ, что даже ни однимъ словомъ прямо не проговорился: не разсуждай, молъ! А говоритъ: разсуждай—*но въ предѣлахъ!*

— Да вѣдь въ томъ-то и штука, Алексѣй Степанычъ, какъ предѣлы-то эти отыскать?

— И объ этомъ онъ говоритъ. У всякаго, говоритъ, свой предѣлъ есть. Ты сапожникъ — разсуждай объ сапогѣ; ты медикъ—разсуждай о пользѣ касторовaго масла, какъ, въ какой мѣрѣ и въ какихъ случаяхъ оно должно быть употреблено; ты адвокатъ — разсуждай о правахъ единокровныхъ и единоутробныхъ...

— А ежели, напримѣръ, философъ?

— А такого званія, кажется, у насъ не полагается!

— Ну, не философъ, а публицистъ, поэтъ, романистъ?

— Ежели публицистъ — пиши о неразсужденіи; ежели поэтъ—пой!

Я лиру томно строю
Пѣть грусть, объявшу духъ:
Приди грустить со мною,
Луна, печальныхъ другъ!

Ежели романистъ — пиши сказаніе о томъ, какъ Ванька Таньку полюбилъ, какъ родители ихъ полагали этой любви препятствія, и какая изъ этого вышла кутерьма! Словомъ сказать, всѣ ремесла, всѣ отрасли человѣческой дѣятельности сочинитель этотъ перебралъ—и вездѣ у него вышло, что безъ разсужденія не только безопаснѣе, но даже художественнѣе выходитъ!

— Да; надобно, надобно объ этомъ подумать, и ежели дѣйствительно есть возможность...

— Подумай, мой другъ! А еще лучше, коли не думавши! Знаю я эти думанья! Сначала только думаешь, а потомъ, смотришь, и разсужденіе пришло!

— Ну, а вы сами какъ, Алексѣй Степанычъ? Пробовали ли вы безъ разсужденія жить?

— Я, мой другъ, всю жизнь безъ разсужденія прожилъ. Мнѣ покойный Павелъ Аѳанасьичъ разъ навсегда сказалъ: «ты, Молчалинъ, ежеди захочется тебѣ разсуждать, перекрестись и прочитай трижды: да воскреснетъ Богъ и расточатся врази его! — и расточатся!» Съ тѣхъ поръ я и не разсуждаю, или, лучше сказать, разсуждаю, но въ предѣлахъ. Вотъ изложить что-нибудь, исполнить—это мой предѣлъ!

— Однако вы начальникъ отдѣленія. Въ этомъ качествѣ вы мнѣнія высказываете, заключенія сочиняете!

— И все-таки въ предѣлахъ, мой другъ. Коли спросятъ—я готовъ. Скромненько, потихоньку да полегоньку — ну, и

выскажешься. А такъ, что называется, зря я съ мнѣніями выскакивать опасаюсь!

— А развѣ, несмотря на эту осторожность, васъ не тревожили?

— Кому меня тревожить! Живу, сударь. Видишь, какимъ домкомъ обзавелся.

— Да, домикъ хорошъ. А генералъ-майоръ Отчаянный? а молодой князь Тугоуховскій? А эта безпрестанная боязнь, что вотъ-вотъ сейчасъ велятъ въ отставку подать?

— Ну, это, мой другъ, не тревога. Это ужъ такая жизнь!

Я ничего не сказалъ на это. Замѣчаніе Алексѣя Степаныча заставило меня задуматься. Молчалинъ правъ, думалось мнѣ: онъ не вполнѣ сознательно, но очень мѣтко опредѣлилъ положеніе. Дѣйствительно, тревоги нѣтъ тамъ, гдѣ есть «такая жизнь». Онъ ошибается только въ томъ, что полагаетъ, что «такая жизнь» есть личный удѣлъ его и ему подобныхъ. Нѣтъ, это удѣлъ очень многихъ, начиная съ такъ-называемаго «непомнящаго», ночующаго въ стогахъ сѣна, и кончая такъ-называемымъ «дѣятелемъ», тщетно отыскивающимъ себѣ мѣстожительство въ кустахъ. Ежели эти люди еще не убѣдились, что все ихъ существованіе есть не что иное, какъ «такая жизнь», ежели нѣкоторые изъ нихъ, кромѣ того, ждутъ и еще какой-то тревоги, ими неиспытанной и непредвидѣнной, то это означаетъ только, что они не вполнѣ покорились, что хотя они и говорятъ о тревогахъ, но собственно ждутъ отъ жизни не тревогъ, а благостынь. Вотъ Молчалинъ прямо сказалъ себѣ: для меня нѣтъ тревогъ! для меня существуетъ только «такая жизнь»! — и благо ему! Это сознаніе даетъ ему силу не только перенести «такую жизнь», но даже, по силѣ возможности, и украсить ее. У него есть уголъ, есть семья; онъ не ночуетъ въ стогахъ сѣна и не прячется въ кусты. Не благоразумнѣе ли было бы и со стороны всѣхъ «непомнящихъ» и «дѣятелей», если бы они послѣдовали примѣру Молчалина? Подумайте объ этомъ, милостивые государи! Потому что вѣдь ежели Алексѣй Степанычъ и говоритъ, что настоящаго «періода» нѣтъ, то онъ же присовокупляетъ, что и изъ «отрывочковъ» достаточно заключить можно...

Я взглянулъ на Алексѣя Степаныча: онъ былъ такъ свѣтло спокоенъ, онъ съ такимъ блаженнымъ добродушіемъ *попыхивалъ* свою сигару, дымъ которой отзывался не от

печеными раками, не то паленымъ бараньимъ полушубкомъ, что я вдругъ смутился. Одну минуту мнѣ даже показалось, что передо мной сидитъ своего рода эпикуреецъ той «такой жизни», всѣ элементы которой такъ искусно сложились, что даже устранили всякое представленіе о «тревогѣ». «Да! это оно... оно самое!» твердилъ я себѣ, совершенно явственно ощущая, какъ я все ниже и ниже опускаюсь на самое дно колодца. Я уже хотѣлъ перекреститься и трикраты прочитать: «да воскреснетъ Богъ и расточатся...»—какъ вдругъ мнѣ пришло на мысль, что есть и еще два сомнѣнія, которыя мнѣ необходимо разъяснить.

— Прекрасно,—сказалъ я:—въ принципѣ я совершенно согласенъ, что ежели человѣкъ не разсуждаетъ, то тревожить его нѣтъ причины. Это великій принципъ современной жизни, это ея палладіумъ, это безопаснѣйшій ночлежный пріютъ для всѣхъ «непомнящихъ». Но меня тревожитъ, во-первыхъ, слѣдующее соображеніе: вѣдь человѣкъ носитъ на себѣ образъ и подобіе Божіе! Вы христіанинъ, Алексѣй Степанычъ! Подумайте, какъ же съ этимъ-то быть? какъ отказаться отъ образа и подобія Божія? какъ не разсуждать, когда даръ разсужденія есть главная характеристическая черта этого образа и подобія?

— Ну, мой другъ, по нынѣшнему времени эти уподобленія-то оставить надо!

— Какъ! оставить! да вѣдь это кощунство!

— А какъ бы вамъ сказать... Вотъ авторъ-то статьи, о которой я упоминалъ, совсѣмъ напротивъ говоритъ. Не тотъ, говоритъ, кощунствуетъ, кто, не разсуждая, исполняетъ предначертанное, а тотъ, кто разсуждаетъ—во вредъ. Вотъ, говоритъ, гдѣ истинное и дѣйствительное оскорбленіе образа и подобія Божія!..

— Стало-быть, вообще-то говоря, разсуждать не возбраняется, но только нужно, чтобъ эта способность проявлялась, во-первыхъ, въ предѣлахъ и, во-вторыхъ, не во вредъ? Такъ, что ли?

— Да, мой другъ!

— И, стало-быть, ежели не умѣешь отыскать «предѣловъ» или не можешь отличить, что̀ вредно и что̀ полезно, то...

— То лучше не разсуждать!

Мы на минуту умолкли и смотрѣли другъ на друга не то въ изумленіи, не то какъ будто намъ было со-

вѣстно, что мы пришли къ такимъ результатамъ. Но я рѣшился выпить чашу до дна, и первый прервалъ молчаніе.

— Прекрасно; но что вы скажете насчетъ слѣдующаго соображенія? Вотъ мы имѣемъ порохъ, книгопечатаніе, паръ, желѣзныя дороги, шасспо, голубиную почту, аэростаты... Мы наконецъ ѣдимъ печеный хлѣбъ, а не питаемся сырыми зернами ржи... Не правда ли, что все это пріобрѣтенія очень и очень полезныя? Какъ вы однако-жъ думаете: если бы люди не разсуждали, обладали ли бы мы всѣми этими благами?

— И насчетъ этого въ статьѣ говорится. «Правда, говоритъ, что есть вещи, которыхъ польза признана всѣми, и осуществленіе которыхъ было бы невозможно безъ нѣкотораго полета ума, но и на этотъ случай существуетъ извѣстная комбинація, при помощи которой могутъ быть удовлетворены всѣ интересы. Пусть тѣ, которые имѣютъ склонность къ умственнымъ полетамъ, прибѣгаютъ къ онымъ подъ личною за сіе отвѣтственностью! пусть изумляютъ они міръ величіемъ и смѣлостью своихъ открытій и изобрѣтеній! пусть воспользуются за оныя сладчайшею въ мірѣ наградою—славой! Но развѣ это мѣшаетъ намъ, избѣгающимъ упомянутыхъ полетовъ, ради отвѣтственности, съ ними сопрягаемой, пользоваться плодами оныхъ? — Отнюдь!» Да, мой другъ, нужно только терпѣніе, а прочая вся приложатся! Есть и безъ насъ кому выдумывать и мозгами шевелить! Пускай ихъ! Вѣдь оно, выдуманное-то, и безъ того въ свое время до насъ дойдетъ,—тогда мы и попользуемся!

— Слѣдовательно, какъ ни кинь, а въ результатѣ все выходитъ: не разсуждать?

— Ежели по тому судить, что въ статьѣ говорится, то видимое дѣло, что оно къ тому клонится.

— Попробуемъ, Алексѣй Степанычъ! попробуемъ:

— Попробуй, мой другъ!

Сказавши это, Алексѣй Степанычъ словно оживился весь. Онъ даже перемѣнилъ свое спокойное положеніе на диванѣ и всѣмъ корпусомъ потянулся ко мнѣ, чтобъ еще крѣпче меня убѣдить.

— И совсѣмъ это не такъ трудно, какъ ты себѣ представляешь, мой другъ! Намъ вотъ, чиновникамъ, не только разсуждать не полагается, да еще чужія разсужденія переносить приходится — и то живы! А отъ тебя только

одно требуется: находись въ предѣлахъ! — и то ты ропщешь!

— Не ропщу, а не знаю... предѣловъ найти не могу, Алексѣй Степанычъ!

— Ну, Богъ милостивъ!.. вмѣстѣ какъ-нибудь... общими силами... найдемъ!!

Алексѣй Степанычъ сказалъ эти слова нѣсколько вяло. Мнѣ показалось, что при послѣднемъ словѣ онъ даже зѣвнулъ.

— Извините, пожалуйста,—встрепенулся я:—вѣдь у меня совсѣмъ изъ головы вонъ, что вы, кажется, имѣете привычку отдохнуть послѣ обѣда?

— Есть тотъ грѣхъ, мой другъ!

— Ну, такъ вотъ что, Алексѣй Степанычъ! наставленія ваши я постараюсь исполнить; но только, если бы паче чаянія—вѣдь плоть-то немощна! — вы вѣдь не откажетесь все-таки въ мою пользу «обстановочку» сдѣлать?

— Сдѣлаю, мой другъ! съ удовольствіемъ сдѣлаю!

— А ежели такъ, то выходитъ, что сегодняшній разговоръ привелъ насъ къ слѣдующему результату. Три главныхъ признака имѣетъ современное направленіе: во-первыхъ, отсутствіе округленности въ «періодахъ»; во-вторыхъ, стремленіе къ неразсужденію, и въ-третьихъ, возможность «обстановочекъ». Воля ваша, а послѣдній признакъ мнѣ гораздо больше нравится, нежели, напримѣръ, второй!

— Губа-то у тебя не дура!

— Равнымъ образомъ, я ничего не могу сказать и противъ отсутствія округленности въ «періодахъ» — Богъ съ нею, съ этою округленностью! Пожалуй, какъ округлять-то навострятся—того и гляди, такъ округлятъ, что и навѣкъ болваномъ останешься! Вотъ только съ неразумѣніемъ трудненько будетъ сладить!

— Богъ милостивъ!

— Да, надо будетъ! надо! Потому что въ наши годы— и вдругъ...

— Что ты! еще что вздумалъ! Про «обстановочку-то» забылъ? А мы вотъ тутъ-то ее и пустимъ.

Съ этими словами мы пожали другъ другу руки и разстались.

Глава IV.

Какъ я уже не разъ говорилъ, Молчалины отнюдь не представляютъ исключительной особенности чиновничества.

Они кишатъ вездѣ, гдѣ существуетъ забитость, приниженность, вездѣ, гдѣ чувствуется невозможность скоротать жизнь безъ содѣйствія «обстановки». Русскія матери (да и никакія въ цѣломъ мірѣ) не обязываются рождать героевъ, а потому масса сыновъ человѣческихъ невольнымъ образомъ придерживается въ жизни той руководящей нити, которая выражается пословицей: «лбомъ стѣны не прошибешь». И такъ какъ пословица эта, сверхъ того, въ практической жизни подтверждается восклицаніемъ: «въ бараній рогъ согну!», примѣненіе котораго сопряжено съ очень солидною болью, то понятно, что въ извѣстные историческіе моменты Молчалины должны во всѣхъ профессіяхъ составлять не очень яркій, но тѣмъ не менѣе несомнѣнно преобладающій элементъ.

Повидимому, литературѣ, по самому характеру ея образовательнаго призванія, долженъ бы быть чуждъ этотъ элементъ, а между тѣмъ мы видимъ, что молчалинство не только проникло въ нее, но и въ значительной мѣрѣ прижилось. Въ особенности же угрожающіе размѣры приняло развитіе литературнаго молчалинства съ тѣхъ поръ, какъ, по условіямъ времени, главныя роли въ литературномъ дѣлѣ заняли не литераторы, а мѣнялы и прохвосты...

Съ литературнымъ Молчалинымъ меня познакомилъ тотъ же самый Алексѣй Степанычъ, о которомъ я уже бесѣдовалъ съ читателемъ. Въ одну изъ минутъ откровенности, излагая мартирологъ Молчалиныхъ-чиновниковъ, онъ сказалъ въ заключеніе:

— Да это еще что! мы, можно сказать, еще счастливчики! А вотъ бы вы посмотрѣли на мученика, такъ ужъ подлинно — мученикъ! Я, напримѣръ, по крайности, знаю своего преслѣдователя, вижу его, почти руками осязаю — ну, стало-быть, какова пора ни мѣра, и оборониться отъ него могу. А онъ, мученикъ-то, о которомъ я говорю, даже и преслѣдователя-то своего настоящимъ манеромъ назвать не можетъ, а такъ, передъ невидимымъ какимъ-то духомъ трепещетъ.

— Кто-жъ это такой?

— Да тёзка мой, тоже изъ роду Молчалиныхъ (такъ расплодился нынче нашъ родъ!) и Алексѣемъ же Степанычемъ прозывается. Только я—чиновникъ, а онъ—журналистъ, газету «Чего изволите?» издаетъ. Да, на бѣду, и газету-то либеральную. Такъ вѣдь онъ день и ночь словно

въ котлѣ кипитъ: все старается, какъ бы ему въ мысль попасть, а кому въ мысль и въ какую мысль—и самъ того не вѣдаетъ.

— Да, это—не совсѣмъ ловкое положеніе. Что-жъ это однако за Молчалинъ? Я что-то не слыхалъ о такомъ имени въ русской литературѣ. Литераторъ онъ, что ли?

— Литераторъ—не литераторъ, а въ военно-учебномъ заведеніи воспитывался, такъ тамъ вкусъ къ правописанію получилъ. И въ литературу недавно поступилъ—вотъ какъ волю-то объявили. Прежде онъ просто табачную лавку содержалъ, накопилъ деньжонокъ да и посадилъ ихъ въ газету. Теперь за нихъ и боится.

— Воля ваша, а я про такого газетчика не слыхалъ!

— Что мудренаго, что не слыхалъ. Говорю тебѣ: они нынче всѣ изъ золотарей. Придетъ, яко тать въ нощи, посидитъ мѣсяцъ-другой, оберетъ подписку—и пропалъ. А иному и посчастливится, какъ будто даже корни пуститъ. Вотъ хоть бы мой Молчалинъ, напримѣръ, третій годъ потихоньку въ своей лавочкѣ торгуетъ—ничего, сходитъ съ рукъ!

— А шибко онъ боится?

— Такъ боится, такъ боится, что, можно сказать, вся его жизнь—лихорадка одна. Впалъ онъ, грѣшнымъ дѣломъ, въ либерализмъ, да и самъ не радъ. Каждый разъ, какъ встрѣтитъ меня: «уймите, говоритъ, моихъ передовиковъ!» А что я сдѣлать могу?

— Да, передовики, особенно наши, это—я вамъ скажу—пародъ!.. начнетъ объ новомъ способѣ вывоза нечистотъ писать—того гляди, въ Сибирь сошлютъ!

— Да если бы еще его одного сослали—куда бы ни шло. А то сколько постороннихъ черезъ него попадетъ—вотъ ты что сообрази! Сообщники, да попустители, да укрыватели—сколько наименованій-то есть! Ахъ, мой другъ! неровенъ часъ! всѣ мы подъ Богомъ ходимъ! Да, не хотите ли, я познакомлю васъ съ нимъ?

— Что-жъ, пожалуй!..

— И не безполезно будетъ, я вамъ скажу. Можетъ-быть, грѣшнымъ дѣломъ, фельетончикъ настрочите—онъ вѣдь за строчку-то по четыре копеечки платитъ! Сотню строчекъ шутя напишите—анъ на табакъ и будетъ!

Мы условились, что въ слѣдующее же воскресенье, въ первомъ часу утра, я зайду къ Алексѣю Степанычу, и затѣмъ мы вмѣстѣ отправимся къ его тёзкѣ.

Въ условленный часъ мы были ужъ въ квартирѣ Молчалина 2-го.

Насъ встрѣтилъ пожилой господинъ, въ лицѣ котораго, дѣйствительно, ничего не было написано, кромѣ неудержимой страсти къ правописанію. Онъ принялъ насъ въ просторномъ кабинетѣ, по серединѣ котораго стоялъ большой столъ, весь усѣянный корректурными листами. По стѣнамъ расположены были шкапы съ выдвижными ящиками, на которыхъ читались надписи: «безобразія свіяжскія», «безобразія красноуфимскія», «безобразія малоархангельскія» и проч. Ко мнѣ Молчалинъ 2-й отнесся такъ радушно, что я безъ труда прочиталъ въ его глазахъ: «5 копеекъ за строчку—безъ обмана!—и будь мой навсегда!» Къ Алексѣю Степанычу онъ обратился со словами:

— Да уйми ты, сдѣлай милость, моихъ передовиковъ!

— Бунтуютъ?

— Республики, братецъ, просятъ!

— А ты бы ихъ завѣрилъ, что республики не дадутъ!

— Смѣются. Это, говорятъ, ужъ ваше дѣло. Мы, дескать, люди мысли, мы свое дѣло дѣлаемъ, а вы—свое дѣлайте!

— Да неужто-жъ имъ, въ самомъ дѣлѣ, республики хочется?

— Брюхомъ, братецъ! вотъ какъ!

— А я такъ позволяю себѣ думать,—вмѣшался я:—что они собственно только такъ... Знаютъ, что вамъ самимъ эта форма правленія нравится,—вотъ и пишутъ.

Молчалинъ 2-й пріосанился.

— Ну, да, конечно,— сказалъ онъ:—разумѣется, я... Само собой, что, по мнѣнію моему, республика... И въ случаѣ, напримѣръ, если бы покойный Луи-Филиппъ... Однако согласитесь, что не при всѣхъ же обстоятельствахъ... Да и народы притомъ не всѣ... Не всѣ, говорю я, народы...

— Та-та-та! стой, братецъ!—прервалъ Алексѣй Степанычъ:—самъ-то ты нетвердо говоришь—вотъ они и не понимаютъ. Народы да обстоятельства... Какіе такіе «народы»? Води ихъ почаще на Большую Садовую гулять да указывай на управу благочинія: вотъ, молъ, она!

— Такъ-то такъ, Алексѣй Степанычъ!—счелъ долгомъ заступиться я:—да вѣдь нельзя редактору такъ просто выражаться. Редакторъ—вѣдь онъ гражданское мужество долженъ имѣть. А между тѣмъ оно и безъ того понятно, что ежели есть «народы, которые», то очевидно, что это—тѣ самые народы... Впрочемъ, я увѣренъ, что и сотрудники

газеты «Чего изволите?» очень хорошо понимаютъ, чѣмъ тутъ пахнетъ, но только, для своего удобства, предпочитаютъ, чтобъ господинъ редакторъ самъ дѣлалъ въ ихъ статьяхъ соотвѣтствующія измѣненія.

Молчалинъ 2-й горько усмѣхнулся.

— Да-съ, предпочитаютъ-съ,—сказалъ онъ:—да сверхъ того на всѣхъ перекресткахъ ренегатомъ ругаютъ!

— Такъ что, съ одной стороны, ругаютъ сотрудники, а съ другой—угрожаетъ начальство?—подсмѣялся Алексѣй Степанычъ.—Да, братъ, это, я тебѣ скажу,—положеніе!

Молчалинъ 2-й на минуту потупился, словно бы передъ глазами его внезапно пронесся дурной сонъ.

— Такое это положеніе! такое положеніе!—наконецъ воскликнулъ онъ:—повѣрите ли, всего три года я въ этой передѣлкѣ нахожусь, а ужъ болѣзнь сердца нажилъ! Каждый день слышать ругательства и каждый же день ждать бѣды! Ахъ!

— И, какъ мнѣ сказывалъ Алексѣй Степанычъ, непріятность вашего положенія осложняется еще тѣмъ, что вы боитесь, сами не зная кого и чего?

— И не знаю! ну, вотъ, ей-Богу, не знаю! Еще вчера, напримѣръ, писалъ объ какомъ-нибудь предметѣ, писалъ безстрашно—и ничего, сошло! Сегодня опять тотъ же предметъ, съ тѣмъ же безстрашіемъ тронулъ—хлопъ! А я почемъ зналъ?

— «А я почемъ зналъ»!—передразнилъ Алексѣй Степанычъ:—а носъ у тебя на что? А сердце-вѣщунъ для чего? Коли ты—благонамѣренный, такъ вѣдь сердце-то на всякъ часъ должно тебя остерегать!

— Разсказывай! Тебѣ хорошо, ты *своего* проникъ—ну, и объѣздилъ! А вотъ худо, какъ и объѣздить некого! Поди, угадывай, откуда гроза бѣжитъ!

— Да неужто-жъ нѣтъ способовъ?—вмѣшался я:—во-первыхъ, какъ сказалъ Алексѣй Степанычъ, у васъ есть сердце-вѣщунъ, которое должно васъ остерегать; а во-вторыхъ, вѣдь и писать можно приноровиться... ну, аллегоріями, что ли!

— То-то и есть, что на аллегоріи нынче мастеровъ нѣтъ. Были мастера, да сплыли. Нынче все пишутъ сплеча, періодовъ не округляютъ, даже къ знакамъ препинанія холодность какая-то видится. Да вотъ, позвольте, я прочту, что мнѣ тутъ одинъ передовикъ напуталъ. Кстати, вмѣстѣ обсудимъ, да тутъ же и исправимъ. А то я ужъ съ утра

мучусь, да пониманіе, что ли, во мнѣ притупилось: просто, никакой аллегоріи придумать не могу!

Мы согласились. Молчалинъ 2-й взялъ со стола корректурный листъ и началъ:

«С.-Петербургъ, 24-го іюля.

«На этотъ разъ мы вновь возвращаемся къ вопросу, который ужъ не однажды занималъ насъ. Пусть, впрочемъ, читатель не сѣтуетъ за частыя повторенія: это—вопросъ животрепещущій, вопросъ жизни и смерти, вопросъ, отъ правильной постановки котораго зависитъ честь и спокойствіе всѣхъ гражданъ. Однимъ словомъ, это—вопросъ о распространеніи на всѣ селенія имперіи правъ и преимуществъ, изложенныхъ въ уставѣ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій, вопросъ, повидимому, скромный, но, въ сущности, проникающій въ сердце нашей жизни гораздо глубже, нежели можно съ перваго взгляда предположить...»

— Гм!.. кажется, это можно?

— По моему мнѣнію, не только можно, но и... ахъ, Боже мой! да самая мысль, что честь и спокойствіе гражданъ зависятъ отъ распространенія правъ и преимуществъ, изложенныхъ въ уставѣ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій... Помилуйте! я самъ сколько разъ порывался... сколько разъ самъ думалъ: отъ чего бы это, въ самомъ дѣлѣ, зависѣло?.. и вдругъ такой ясный и вполнѣ опредѣленный отвѣтъ!—восклицалъ я въ восхищеніи.

— А по-моему, такъ и тутъ есть изъянецъ,—расходилъ мой восторгъ Алексѣй Степанычъ:—кажется, и всего-то одно словечко подпущено: «гражданъ», а сообразите-ка—чѣмъ оно пахнетъ! Какіе такіе, скажутъ, «граждане»? Откуда такое званіе взялось? У насъ, батюшка, всякій—самъ по себѣ! Ты—самъ по себѣ, я—самъ по себѣ! А то «граждане»! Что за новое слово такое? Да и конецъ, признаюсь, мнѣ не нравится: «проникающій гораздо глубже, нежели можно съ перваго взгляда предположить»!.. Какой такой «первый взглядъ»? И что тутъ еще «предполагать»? Припахиваетъ, братецъ, припахиваетъ!

— Чѣмъ же бы ты однако-жъ замѣнилъ слово «гражданъ»?

— А «обыватели» на что! И для тебя спокойно, и особенно гнуснаго ничего нѣтъ. «Честь и спокойствіе обывателей»—чѣмъ худо?

— Гм!.. да... вы какъ думаете?—обратился Молчалинъ 2-й ко мнѣ.

— По-моему, «граждане» возвышеннѣе; но коль скоро общественная безопасность этого требуетъ, то отчего же не припустить и «обывателей»!..

— Такъ ужъ я...

Онъ помуслилъ карандашъ, поскребъ имъ на поляхъ корректурнаго листа и продолжалъ:

«Что селеніямъ нашимъ необходимо предоставить тѣ же благодѣянія полицейскаго надзора, которыми уже пользуются ихъ старшіе собратья по табели о рангахъ, т.-е. города и мѣстечки,—насчетъ этого наша печать единодушна. Если не ошибаемся, до сихъ поръ еще никто и никогда не позволилъ себѣ проводить въ русской печати мысль, что полиція вредна. Да и мудрено проводить что-нибудь подобное, во-первыхъ, потому, что это противорѣчило бы историческому опыту всѣхъ народовъ, а во-вторыхъ, и потому, что, съ принципіальной точки зрѣнія, само начальство высказалось насчетъ пользы, приносимой полиціей, настолько твердо и рѣшительно, что сразу поставило этотъ вопросъ внѣ всякихъ прекаканій».

— Хорошо, очень хорошо! только я бы, знаешь, усугубилъ: вмѣсто «внѣ всякихъ прекаканій», написалъ бы: «внѣ всякихъ *неумѣстныхъ* прекаканій». Вѣрнѣе!—посовѣтовалъ Алексѣй Степанычъ.

— Можно и усугубить! Ну-съ, далѣе!

«Стало-быть, если въ нашей печати и существуютъ по этому предмету разномыслія, то они касаются не рѣшеннаго уже начальствомъ вопроса о пользѣ полиціи, но лишь практическихъ его примѣненій. «Полицейское воздѣйствіе безусловно полезно и необходимо»,—въ одинъ голосъ вопіютъ всѣ органы русской литературы:—«слѣдовательно оставимъ этотъ вопросъ въ сторонѣ, а будемъ спорить лишь о томъ, въ какой формѣ должно выразиться полицейское воздѣйствіе, дабы имѣть силу дѣйствительную, а не мнимую». И дѣйствительно спорятъ; спорятъ горячо, съ увлеченіемъ, почти съ жгучестью... Такъ что многимъ приходитъ на мысль: ужъ не потому ли такъ шумятъ наши народные витіи, что, за невозможностью обсуждать дѣло по существу, они хотятъ отыграться на подробностяхъ?»

— Ничего... это?—какъ-то робко спросилъ насъ Молчалинъ 2-й.

— Ничего-то—ничего, а ты вникни однако, что онъ тутъ наговорилъ, передовикъ-то твой!

Молчалинъ 2-й вопросительно взглянулъ на меня, какъ бы призывая въ свидѣтели своей невинности.

— Нечего, нечего лебезить... Лиса Патрикѣевна!—безжалостно оборвалъ его Алексѣй Степанычъ:—словно и не понимаетъ, въ чемъ тутъ суть! Ишь ты! сначала, какъ и путный: «нельзя, говоритъ, не быть согласнымъ насчетъ существа», а потомъ и пошелъ «невольнымъ образомъ отыгрываться», да «за невозможностью»! «За безполезностью», сударь! «за безполезностью»! Вотъ какъ слѣдуетъ говорить!

Новый вопросительный взглядъ на меня со стороны Молчалина 2-го, но на этотъ разъ уже положительно требующій моего вмѣшательства.

— Къ сожалѣнію, я и самъ не могу не согласиться съ Алексѣемъ Степанычемъ, — поспѣшилъ откликнуться я:— конечно, ни одинъ изъ обыкновенныхъ читателей не найдетъ во всей прочитанной вами тирадѣ ничего, что бы свидѣтельствовало о неблаговидныхъ поступкахъ ея автора. Но *запахъ*—все-таки есть! И читатель необыкновенный, читатель, который слѣдитъ за статьей, такъ сказать, съ карандашомъ въ рукахъ... не знаю! Право, даже угадать не могу, что онъ найдетъ и чего не найдетъ въ указанныхъ Алексѣемъ Степанычемъ словахъ! Можно и ничего не найти, но можно и *все* найти, потому что тутъ есть какая-то неискренность, есть экивокъ. Я самъ люблю экивоки, но вѣдь экивокъ—это что такое? Пройдетъ онъ—хорошо! а не пройдетъ—тогда что? Вотъ почему я полагалъ бы, что, съ точки зрѣнія безопасности, надежнѣе было бы, если бы всю фразу, начиная со словъ: «такъ что многимъ», выкинуть совсѣмъ.

— И такъ можно!—согласился Алексѣй Степанычъ.

— Потому что слово—серебро, а молчаніе—золото!— присовокупилъ я.

— Да, если бы можно было этимъ золотомъ на рынкѣ расплачиваться — богатъ бы я былъ!—вздохнулъ Молчалинъ 2-й и какъ-то задумчиво уперся карандашомъ въ корректуру: какъ бы рѣшаясь и не рѣшаясь исполнить мое замѣчаніе.

— Стойте! нашелъ!—воскликнулъ онъ наконецъ:—вмѣсто того, чтобъ совсѣмъ выкидывать фразу, я замѣню ее слѣдующею:

«Такъ бываетъ всегда, когда печать становится лицомъ къ лицу съ настоящимъ, реальнымъ дѣломъ, а не съ пустою и безсодержательною идеологіей»... Ладно?

— Прекрасно! прекрасно! прекрасно!—похвалилъ Алексѣй Степанычъ:—похеривай и продолжай.

«Положеніе нашихъ селеній исключительное. Полиція въ нихъ, можно сказать, не существуетъ вовсе. Вотчинная полиція упразднена; мировые посредники, въ обязанности которыхъ отчасти входили атрибуты вотчинной полиціи, тоже сочтены излишними; волостныя правленія и суды вѣдаютъ лишь дѣла крестьянъ; сотскіе и десятскіе — но кто же не знаетъ, что такое наши сотскіе и десятскіе? Мировые судьи или больны, или находятся въ отпуску, занятые пріискиваніемъ другихъ, лучшихъ мѣстъ, и притомъ разсѣяны по лицу земли въ такихъ гомеопатическихъ порціяхъ, что безполезно даже разсчитывать на ихъ защиту. Такъ что ежели у васъ пропалъ грошъ, то вамъ некому даже попечалиться объ этомъ. Понятно, что такое двусмысленное положеніе, затрогивающее коренныя основы, на которыхъ зиждется общество, должно было встревожить нашу печать».

— Печальная картина! — вздохнулъ Молчалинъ 2-й и какъ-то нелѣпо пригорюнился.

— Смотри, не заплачь! Нечего тутъ! Валяй! валяй дальше!—поощрилъ его Алексѣй Степанычъ.

«Но, разъ занявшись имъ, она должна была встрѣтиться съ множествомъ вопросовъ, которые существенно на него вліяютъ и которые, слѣдовательно, подлежало разрѣшить во что бы то ни стало. Что полиція не существуетъ—это ясно; что ее слѣдуетъ возстановить, возродить, создать — это тоже ясно; но какимъ образомъ, изъ какихъ матеріаловъ и съ помощью какихъ силъ предстоитъ воздвигнуть величественное ея зданіе—вотъ что неясно и что требуетъ неотложнаго разрѣшенія. Въ комъ, т. е. въ какихъ лицахъ должна найти воплощеніе идея, выражаемая уставомъ о пресѣченіи и предупрежденіи преступленій, въ примѣненіи ея къ селеніямъ? Кто наиболѣе заинтересованъ какъ въ назначеніи сихъ лицъ, такъ и въ наблюденіи за правильностью ихъ дѣйствій? Въ какомъ количествѣ должны быть назначаемы эти лица, и какихъ желательно ожидать отъ нихъ качествъ? Какія необходимо имъ присвоить права какъ по прохожденію службы, такъ и по мундиру и пенсіи? Въ какихъ предѣлахъ должна быть заключена ихъ власть, а равнымъ образомъ въ чемъ должны состоять ихъ обязанности по наблюденію, дабы кутузка, сохраняя свою общедоступность, съ одной стороны—не принимала харак-

тера увеселительнаго заведенія, а съ другой — не служила угрозою для выполненія прихотливыхъ требованій и не отвлекала гражданъ отъ ихъ обычныхъ занятій и невинныхъ забавъ?

«Все это, какъ видитъ читатель,—вопросы нешуточные, и потому совершенно понятно, что они волнуютъ въ настоящее время лучшіе умы въ русскомъ обществѣ и въ русской литературѣ».

— Прекрасно! продолжай, братецъ! продолжай! «Гражданъ»-то, гражданъ-то только похеры!

«Однимъ изъ самыхъ рьяныхъ противниковъ нашей газеты по всѣмъ этимъ вопросамъ является газета «И шило бреетъ», которая, въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ нумеровъ, даже посвятила намъ по этому случаю обширную статью. По своему обыкновенію, почтенная газета находится въ веселомъ расположеніи духа. Она заигрываетъ съ нами, она охотно извращаетъ наши слова и мысли и, разумѣется, прибѣгаетъ къ отборнѣйшимъ выраженіямъ своего полемическаго жаргона, чтобъ выставить насъ, въ глазахъ своихъ неприхотливыхъ читателей, въ самомъ уморительномъ видѣ. Насъ самихъ она называетъ «недоумками», «тупицами» и «барскими прихвостнями», а газету нашу—«гнойнымъ нарывомъ, въ которомъ нашли себѣ послѣднее убѣжище паскудные остатки отживающаго русскаго холопства».

— Однако, братъ!—какъ-то испуганно воззрился Алексѣй Степанычъ при послѣднихъ словахъ.

— Да, братецъ!—подтвердительно отвѣтилъ Молчалинъ 2-ой, но, какъ малый уже посѣдѣлый въ литературныхъ бояхъ, только махнулъ рукою и продолжалъ:

«Мы не послѣдуемъ за уважаемой газетой въ ея полемическихъ пріемахъ. Мы едва ли не съ бо́льшимъ основаніемъ могли бы назвать ея сотрудниковъ «паршивыми либералами», а ее самое—«гніющимъ продуктомъ современнаго общественнаго разложенія», но не дѣлаемъ этого, ибо знаемъ, что съ словомъ слѣдуетъ обращаться честно. И, конечно, не оголтѣлые казаки «Бреющаго Шила» заставятъ насъ отступиться отъ этого правила...»

— Однако, братъ!—вновь изумился Алексѣй Степанычъ.

Но Молчалинъ 2-ой даже не отвѣтилъ на этотъ перерывъ, а только машинально отмахнулся рукой, какъ бы отгоняя надоѣдливую муху.

«Дѣйствительно, разница между нашими воззрѣніями и

пустопорожними разглагольствованіями «Бреющаго Шила» до такой степени существенна, что ничего нѣтъ удивительнаго, ежели почтенная газета выходитъ изъ себя и доводитъ свою полемику до крайнихъ предѣловъ неприличія. Она понимаетъ, что въ порывѣ прапорщичьяго экстаза зашла въ трущобу, и сердится на насъ уже не за то, что мы расходимся съ нею, а за то, что мы не подаемъ ей руку помощи и не дѣлаемъ ни малѣйшей уступки, которая позволила бы ей прилично и безъ позора отступиться отъ легкомысленно высказанныхъ ею мнѣній. Сдѣлай мы это— и она давно бы простерла намъ свои объятія, если бы, впрочемъ, не воспользовалась этимъ обстоятельствомъ, чтобъ обвинить насъ же въ малодушіи и непослѣдовательности. Но потому-то именно мы и не сдѣлаемъ ничего въ этомъ смыслѣ; мы ни въ какомъ случаѣ не подадимъ «Бреющему Шилу» требуемой имъ руки помощи и не поступимся ни однимъ золотникомъ, ни однимъ скрупуломъ изъ своихъ убѣжденій. Мы не сдѣлаемъ этого, во-первыхъ, потому, что ведемъ свое дѣло на чистоту, а во-вторыхъ, и потому, что поставили себѣ задачей во что бы то ни стало раскрыть публикѣ глаза и выставить передъ нею въ надлежащемъ свѣтѣ истинныя достоинства того гнилого либерализма, которымъ щеголяетъ «Бреющее Шило»...

— Ничего?—остановился Молчалинъ 2-ой.

— Ничего, братецъ! цапайтесь, подсиживайте другъ дружку! Съ точки зрѣнія благоустройства, это даже лучше!

«Прежде всего, мы выходимъ изъ принциповъ діаметрально противоположныхъ. «Бреющее Шило» исходною точкой для своихъ разглагольствій ставитъ нагое единоначаліе: мы же, какъ читателямъ это достаточно извѣстно, не имѣя ничего противъ единоначалія, какъ принципа дисциплинирующаго и дающаго нашей жизни правильный устой, съ своей стороны, въ видѣ корректива, присовокупляемъ къ нему излюбленное и вполнѣ почтительное народосодѣйствіе. Вотъ это-то, съ одной стороны, благосклонно-внимательное, а съ другой—почтительно-любовное взаимодѣйствіе двухъ взаимно другъ друга оплодотворяющихъ силъ, которое, по нашему мнѣнію, составляетъ основу нашей общественной жизни, вотъ оно-то и служитъ поводомъ для полемики. И ежели «Бреющее Шило» ведетъ ее съ нахальствомъ и даже ненавистью, то тѣмъ хуже для него; мы же никогда до этого не унизимся, а будемъ на

всѣ обвиненія и инсинуаціи отвѣчать съ спокойствіемъ и достоинствомъ, полными презрѣнія».

— Вотъ «единоначаліе»... ужасно меня это слово безпокоитъ!—задумался Молчалинъ 2-й.

— Что-жъ, слово... ничего! — разувѣрилъ его Алексѣй Степанычъ:—коли у мѣста, такъ даже украшеніемъ служитъ! Вѣдь ты «противъ единоначалій ничего не имѣешь»—ну, и Христосъ съ тобой! А что касается до «народосодѣйствія», такъ и законъ, братецъ, не препятствуетъ... Содѣйствуйте, батюшки, содѣйствуйте!

— Такъ-то такъ, а все-таки... Все какъ будто противъ единоначалія... Тогда какъ, видитъ Богъ, я...

— Ну-ну! ничего! не слишкомъ ужъ робѣй! И на начальство, братъ, тоже надѣяться надо: пойметъ! Читай дальше.

«Какъ ни непререкаемъ принципъ единоначалія, какія бы заслуги онъ не считалъ за собой въ прошедшемъ и въ настоящемъ, тѣмъ не менѣе нельзя отрицать, что, отрѣшенный отъ народосодѣйствія, онъ скоро извращаетъ свой благодѣтельный характеръ и въ самомъ даже благопріятномъ случаѣ является какъ бы вращающимся въ пустотѣ. Лишенный здоровой извѣстительной пищи, которою только народосодѣйствіе и можетъ снабжать его, онъ скоро не будетъ знать и самъ, надъ чѣмъ ему единоначальствовать предстоитъ; а такъ какъ единоначальствовать все-таки необходимо, то будетъ удовлетворять этой потребности, истощая свои силы въ единоначальствованіи надъ самимъ собой. Поручики будутъ безъ надобности угнетать корнетовъ, штабсъ-ротмистры—поручиковъ, ротмистры — штабсъ-ротмистровъ и т. д. Вотъ почему мы думаемъ, что единоначаліе, предоставленное однѣмъ своимъ силамъ, не только ничего не достигаетъ, но нерѣдко приводитъ на край гибели, да и само при семъ погибаетъ жертвою непризнанія иныхъ руководящихъ началъ, кромѣ собственнаго критеріума, ограничиваемаго лишь ненавистью. Это—общее правило, которое...»

— Ого! — прервалъ чтеніе Алексѣй Степанычъ: — ну, этого, братъ, самъ Макъ-Магонъ, и тотъ къ обнародованію не одобритъ!

— А! что! Я вамъ говорилъ!—почти крикомъ крикнулъ Молчалинъ 2-й:—всегда они у меня такъ! начнутъ о бляхахъ городовыхъ, а сведутъ на единоначаліе!

— Я бы, на твоемъ мѣстѣ, всю эту тираду похерилъ,

а вмѣсто нея легонькую бы похвалу начальникамъ края пустилъ!

— Какъ такъ?

— Да такъ вотъ. Извѣстно, молъ, что въ подобныхъ дѣлахъ многое зависитъ отъ начальниковъ края, которые, дескать, просвѣщеннымъ вниманіемъ... А потому: обращаемъ взоры наши! Въ надеждѣ, молъ, что скромныя наши замѣтки будутъ приняты не яко замѣчанія, но яко дань... Словомъ сказать, замѣси, защипни, помасли, положи по вкусу соли да и ставь въ легкій духъ, благословясь!

— И я вполнѣ раздѣляю это мнѣніе, — сказалъ я: — только одно бы я въ редакціи Алексѣя Степаныча измѣнилъ. Онъ говоритъ: *многое* зависитъ отъ начальниковъ края, а я бы сказалъ: *все!*

— А что вы думаете! Мысль-то вѣдь недурна! Потому что хоть и пыжатся господа наши передовики: единоначаліе да единоначаліе! а чего, напримѣръ, какихъ результатовъ они въ пресловутой своей Франціи достигли!? Тогда какъ у насъ...

Онъ не договорилъ и быстро началъ бѣгать карандашомъ по корректурѣ.

— Ну, слушайте, какъ оно у меня теперь вышло:

«Безспорно, что принципъ единоначалія непререкаемъ; безспорно, что власть единоличная, коль скоро она вручена лицамъ просвѣщеннымъ и согрѣваемымъ святою ревностью къ общественному благу (а кто же, кромѣ безшабашныхъ писакъ «Бреющаго Шила», можетъ отрицать, что именно эти качества всегда въ совершенствѣ характеризовали нашихъ начальниковъ края, въ особенности же тѣхъ, кои удостоились этого назначенія въ послѣднее время?), не только не приводитъ государствъ на край гибели, но даже полагаетъ основаніе ихъ несокрушимости. Но это нимало не должно охлаждать наше рвеніе въ смыслѣ содѣйствовательномъ, ибо самъ законъ требуетъ отъ гражданъ содѣйствія и въ противномъ случаѣ даже угрожаетъ карою, какъ за попустительство. Вотъ что мы имѣли въ виду, настаивая на совмѣстномъ дѣйствіи принципа единоначалія съ принципомъ любовнаго и [illegible]тительнаго народосодѣйствія, и вотъ почему мы и нынѣ еще разъ рѣшаемся посвятить наши столбцы всестороннему обсужденію вопроса о распространеніи на селенія имперіи тѣхъ правъ и преимуществъ полицейскаго надзора, которыми уже пользуются города. Мы дѣлаемъ это не въ видахъ почченія, ниже

совѣта, а лишь въ формѣ скромнаго и благопочтительнаго мнѣнія, принять или не принять которое будетъ, конечно, зависѣть отъ усмотрѣнія. Примется наше мнѣніе—мы будемъ польщены; не примется—мы и на это сѣтовать не станемъ!»

— Хорошо, что ли, такъ будетъ?

— Ужъ такъ-то хорошо, что даже я и не ожидалъ! — похвалилъ Алексѣй Степанычъ:—и подлости прямой нѣтъ—потому ты никого не назвалъ, а между тѣмъ въ носъ вѣдь, братецъ, бросится!

— Ну, а вы что скажете? — обратился ко мнѣ Молчалинъ 2-й.

— Хорошо, даже очень хорошо; но, признаюсь, я имѣю сдѣлать небольшое замѣчаньице, которое, по мнѣнію моему, нелишне будетъ принять къ свѣдѣнію. Въ новую редакцію вы перенесли изъ прежней слова: «не только не приводить государствъ на край гибели»... Конечно, я понимаю, что вы это сдѣлали единственно ради того, чтобъ, по возможности сохранить трудъ наборщика; но людямъ, не посвященнымъ въ тайны корректуры, эта фраза можетъ показаться сомнительною. Могутъ спросить себя: съ чего это вдругъ пришли ему на умъ «государства, приводимыя на край гибели»? Нѣтъ ли иронiи тутъ какой-нибудь—иронiи, которую наружная восторженность похвалы дѣлаетъ еще болѣе ѣдкою и чувствительною?

— А вѣдь замѣчаніе-то справедливое! — согласился со мною и Алексѣй Степанычъ.

Молчалинъ 2-й задумался.

— Справедливое-то справедливое,—произнесъ онъ наконецъ:—а жаль! Фраза-то ужъ больно ловка!

— Стой! Я придумалъ!—нашелся Алексѣй Степанычъ:—фразу оставить можно, только дополнить ее надо. И дополнить такъ: «какъ думаютъ нѣкоторые распространители превратныхъ идей»—вотъ и все.

— Отлично!—согласился Молчалинъ 2-й и тутъ же, сдѣлавъ надлежащее исправленіе, продолжалъ:

«Токвиль говоритъ: единоначальники, доводящіе свое властолюбіе...»

— Марай!—вскричалъ Алексѣй Степанычъ: — и читать дальше не нужно! Марай!

Молчалинъ 2-й, даже не возражая, провелъ крестъ на корректурномъ листѣ.

«Гнейстъ, подтверждая это мнѣніе, съ своей стороны, *присовокупляетъ*: «Единоначальникъ, который...»

— То—Гнейстъ, а то—русская газета «Чего изволите?»! Марай, любезный, марай!

«Людовикъ XVI недаромъ со слезами на глазахъ собственноручно набиралъ знаменательныя слова Тюрго: pauvre France! pauvre roi! Этотъ добродушный самодержецъ инстинктивно чувствовалъ, что онъ—послѣдній прирожденный король Франціи и Наварры, и что отнынѣ имя Бурбоновъ всецѣло перейдетъ на главы тѣхъ русскихъ офицеровъ, которые выслужились изъ кантонистовъ и сдаточныхъ».

Молчалинъ 2-й умолкнулъ. Мы тоже молчали. Никто изъ насъ ничего не понималъ, но всѣ мы находились подъ гнетомъ какой-то неожиданности.

— Марай! марай! марай! —первый опомнился Алексѣй Степанычъ.

Но, къ изумленію, Молчалинъ 2-й заупрямился.

— Позволь, однако, тёзка! —сказалъ онъ: — вѣдь ежели все-то марать, такъ, пожалуй, и обстановки никакой у статьи не будетъ. Всѣ эти ссылки и анекдоты, конечно, не стоятъ ломанаго гроша; однако попробуй безъ нихъ статью выпустить—голо будетъ!

Онъ вопросительно взглянулъ на меня.

— Если вы желаете знать мое мнѣніе,—сказалъ я:—то оно резюмируется въ одномъ словѣ: марайте! Конечно, анекдотъ объ Людовикѣ XVI очень хорошъ, но вѣдь, собственно говоря, при тѣхъ перемѣнахъ, которыя вами сдѣланы выше, онъ ужъ какъ-то и не подходитъ.

— Гмъ!.. да, вотъ это такъ. Дѣйствительно, оно... Но согласитесь, что это тяжело. И каждый вѣдь день, каждый день мы должны приносить эти жертвы!

Онъ вздрогнулъ, но взялъ карандашъ и твердою рукой начерталъ крестъ на корректурномъ листѣ. Затѣмъ онъ продолжалъ: «Все это мы припоминаемъ здѣсь съ тою цѣлью, чтобъ читатель понялъ нашу мысль вполнѣ. Мы—не только не противники единоначалія, но именно потому и присовокупляемъ къ нему, въ видѣ придатка, народосодѣйствіе, что послѣднее нимало не подрываетъ перваго, а, напротивъ того, дѣйствуя съ нимъ вкупѣ, даже подкрѣпляетъ его. Святая пѣснь спрашиваетъ недаромъ: «се что красно, что добро?» и отвѣчаетъ: «вонже жити, братіе, вкупѣ». Этого же и мы желаемъ. Мы говоримъ обществу: остерегись! стань само на стражѣ своихъ интересовъ! спроси себя, можешь ли ты остаться равнодушнымъ къ такимъ вопросамъ, какъ, напримѣръ: отъ кого должно за-

висѣть заготовленіе провіанта и обмундированія для полицейскихъ чиновъ въ селеніяхъ? какой системы слѣдуетъ держаться при организаціи такъ-называемыхъ чижовокъ? и проч. И ежели ты отвѣтишь на этотъ вопросъ отрицательно, то-есть отнесешься къ дѣлу хладнокровно, то пеняй уже на себя, а не на насъ! Пеняй на себя, ежели ты впослѣдствіи увидишь себя подъ гнетомъ морально-полицейскаго давленія! Пеняй на себя, если ты самъ выпустишь изъ рукъ такія плодотворныя статьи, какъ, напримѣръ, расходы по обмундированію нижнихъ чиновъ и по содержанію въ исправности чижовокъ!»

— Однако дались ему чижовки!—не воздержался замѣтить Алексѣй Степанычъ.

— Ну, это ужъ я самъ,— молвилъ Молчалинъ 2-й и, тутъ же исправивъ, прочиталъ: «Все это... Святая нѣснь»... ну, и такъ далѣе, по старому... «Мы говоримъ обществу: довѣрься, но доводи до свѣдѣнія! Предоставь, но смотри въ оба! Не для того, чтобъ неумѣстною критикой произвести замѣшательство въ единоначальственныхъ распоряженіяхъ, а для того, чтобъ оправдать почивающія на тебѣ надежды и упованія! Начальство воодушевлено наилучшими намѣреніями, но оно, ежели позволительно такъ выразиться, не всевидящее! И хотя извѣстный куплетъ:

Il voit tout,
Il sait tout,
Et il fourre son nez partout!—

замѣчательно хорошо выражаетъ положеніе вещей, но безусловно вѣренъ все-таки лишь послѣдній его стихъ. Начальство желаетъ всѣмъ угодить, но иногда—мы говоримъ это со скорбію—не угождаетъ никому! Поэтому, о, общество! ежели ты пренебрежешь предстоящими тебѣ въ семъ случаѣ обязанностями, то пеняй уже на себя, а не на насъ! Пеняй на себя, если начальство, послѣ тщетныхъ ожиданій твоей извѣстительной иниціативы, наконецъ воскликнетъ: валяй по всѣмъ по тремъ! Пеняй на себя, ежели чижовки, въ которыхъ ты отъ времени до времени будешь проводить свои досуги, окажутся наполненными клопами, и ежели вопросъ объ устраненіи сего недостатка будетъ переданъ на обсужденіе особой комиссіи, которая сочтетъ за нужное издать по этому поводу сто одинъ томъ «трудовъ», дабы и затѣмъ не придти ни къ какому заключенію».

— Ну, какъ теперь?

— Что и говорить! ужъ коли ты захочешь, такъ разутѣшишь.

— Вотъ насчетъ «сто одного тома трудовъ»... Это какъ?

— Ничего, съ Богомъ! Душокъ, правда, есть, ну, да вѣдь и то сказать: газета-то у тебя либеральная,—нельзя же безъ того, чтобъ немножко и тово...

Но я—я не былъ согласенъ.

— Позвольте, — сказалъ я:—это превосходно, нечего и говорить! И отвага есть, и горячее, отъ души вылившееся слово, и даже... стойкость! Но, во-первыхъ, нужно выпустить куплетъ: это—conditio sine qua non. Такой серьезный предметъ—и вдругъ воспоминаніе о «Чайномъ цвѣткѣ»! Какъ хотите, а это обидно! Во-вторыхъ, необходимо уничтожить и замѣнить выраженіе «вадяй по всѣмъ по тремъ!» — какъ тривіальное, а по отношенію къ высшему начальству даже и непочтительное. Въ-третьихъ, наконецъ, вы говорите: «довѣрься, но доводи до свѣдѣнія!», «предоставь, но смотри въ оба!» Но не превосходнѣе ли было бы, если бы вы сказали: «доводи до свѣдѣнія, но — довѣрься! смотри въ оба, но—предоставь!» Дайте-ка фразѣ этотъ оборотъ — и вы увидите, что тогда, дѣйствительно, не останется ужъ и тѣни недовѣрія къ начальству, а потребность въ почтительныхъ извѣщеніяхъ выступитъ впередъ съ еще большею яркостью!

— Справедливо! — воскликнулъ Алексѣй Степанычъ:— хоть и строгонько, но... справедливо.

Замѣчаніе мое было выполнено. Молчалинъ 2-й продолжалъ:

«Не слѣдуетъ упускать изъ вида, что у общества имѣются свои собственные органы, и что эти послѣдніе существуютъ съ надлежащаго разрѣшенія и пользуются законною организаціей, а отнюдь не представляютъ собой сборища узурпаторовъ или случайно сошедшихся людей, какъ это инсинуируютъ борзописцы «Бреющаго Шила». Что означаетъ существованіе этихъ органовъ? Оно означаетъ потребность въ нихъ, потребность не только коренящуюся въ глубинахъ общества, но сознаваемую и самимъ начальствомъ. Органы эти созданы не для того, чтобъ покоиться, но для того, чтобъ дѣйствовать, то-есть усматривать и дѣлать соотвѣтствующія представленія. Будутъ уважены эти представленія — хорошо; не будутъ — не прогнѣвайся! Но во всякомъ случаѣ право представлять существуетъ, и было бы величайшимъ малодушіемъ не пользоваться имъ, хотя бы

отъ сего и не предвидѣлось никакихъ послѣдствій. Права не даются даромъ; даже прыщъ на носу—и тотъ даромъ не вскочитъ, но сначала почешется. Поэтому мы не имѣемъ основанія пренебрегать никакимъ правомъ, хотя бы оно, на первый взглядъ, казалось намъ ничтожнымъ и даже плёвымъ. Сперва одно плёвое право, затѣмъ другое, тоже плёвое, но уже въ меньшей степени. И такъ далѣе, въ разумной постепенности, доходя до выѣденнаго яйца. Почему наши земства представляются вялыми и дѣйствующими какъ бы впросонкахъ? Почему члены управъ приходятъ въ движеніе лишь въ концѣ мѣсяца, когда предвидится полученіе присвоенныхъ имъ окладовъ? А потому именно, что и земства, и ихъ управы совершенно выпускаютъ изъ виду сейчасъ высказанную нами истину. Почему, въ свою очередь, они дозволяютъ себѣ подобное неряшливое отношеніе къ своимъ обязанностямъ? А потому, что само общество, которому надлежало бы поощрять и воодушевлять удостоенныхъ довѣріемъ его лицъ, коснѣетъ въ равнодушіи къ своимъ собственнымъ интересамъ. Это—круговая порука апатіи и лѣности, въ результатѣ которой не можетъ быть ничего иного, кромѣ мерзости запустѣнія. Что скажетъ объ насъ потомство? Оно скажетъ: это были люди, по милости которыхъ мы до сихъ поръ занимаемся толченіемъ воды, тогда какъ мы были бы уже въ самомъ центрѣ пирога, если бы предварительная работа была ими исполнена своевременно и неуклонно. Что скажутъ иностранцы о такомъ обществѣ и такихъ органахъ? Они скажутъ: хоть общество, которому ничего не было дано и которое поэтому ничѣмъ и не воспользовалось. Ужели они будутъ правы?»

Молчалинъ 2-й прочелъ эту тираду однимъ духомъ, весело, ходко, почти шаловливо, но при послѣдней фразѣ объ иностранцахъ вдругъ поперхнулся и оцѣпенѣлъ.

— Вотъ тебѣ разъ!—невольно воскликнулъ я.

— Постой, братъ, я окошко отворю да караулъ закричу! — въ свою очередь присовокупилъ Алексѣй Степанычъ.

Мы сидѣли и всѣ въ тактъ покачивали головами.

— Ахъ-ахъ-ахъ!—вздохнулъ Алексѣй Степанычъ:—правилъ ты, правилъ — и вся твоя работа втуне! ужъ этого-то, братъ, не исправишь!

— Этого-то!—съ какою-то надменною отвагой вызвался Молчалинъ 2-й:—а вотъ сейчасъ увидишь!

Онъ мгновенно воспрянулъ духомъ и бодро принялся за

работу. Не прошло и нѣсколько минутъ, какъ онъ уже читалъ намъ:

«Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что у общества имѣются свои собственные органы, которые существуютъ съ надлежащаго разрѣшенія и пользуются законною организаціей, а отнюдь не представляютъ собой сборища узурпаторовъ или случайно сошедшихся людей, какъ это инсинуируютъ борзописцы «Брекущаго Шила». Существованіе этихъ органовъ означаетъ ежели не настоятельную въ нихъ потребность, то по крайней мѣрѣ благосклонное относительно ихъ благосоизволеніе. Положимъ, что непосредственнаго и дѣятельнаго участія въ управленіи имъ не предоставлено, но начальство никогда не отказывается получить отъ нихъ почтительныя, въ надлежащихъ границахъ, представленія. А это очень важно. Возможность утруждать начальство представленіями еще не есть, конечно, право, но это—обязанность. Во всякомъ случаѣ, такая возможность существуетъ (и притомъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ), и было бы крайне неразсчетливо и даже безсовѣстно не пользоваться ею, хотя бы отъ сего и не предвидѣлось никакихъ послѣдствій. Мы не имѣемъ права увлекаться исключительно утилитарными цѣлями; мы должны поменьше думать о правахъ и побольше — объ обязанностяхъ. Терпѣніе и самоотверженность—вотъ задача, которую должно преслѣдовать современное поколѣніе общественныхъ дѣятелей, все же остальное—предоставить потомству. Наши земства это поняли. Они представляютъ обо всемъ, представляютъ неупустительно, хотя и безъ послѣдствій. Нерѣдко начальство, въ своей мудрости, оставляетъ ихъ представленія даже совсѣмъ безъ отвѣта, но они не обезкураживаются этимъ и представляютъ вновь, и общественное мнѣніе имъ несомнѣнно въ этомъ сочувствуетъ. Вотъ какимъ труднымъ и, такъ сказать, широко постепеннымъ путемъ достигается нашъ прогрессъ. Что скажетъ о насъ потомство?—оно скажетъ: это были люди самоотверженные, которые, проводя время въ ожиданіи разрѣшеній, тѣмъ самымъ расчищали для насъ пути! Что скажутъ иностранцы?—они скажутъ: вотъ общество, которое съ благоразумiемъ и мудрою постепенностью пользуется предоставленными ему возможностями! И потомство, и иностранцы—будутъ правы!»

Алексѣй Степанычъ, ни говоря ни слова, подошелъ къ Молчалину 2-му и поцѣловалъ его въ лобъ.

— Отлично! отлично! — произнесъ онъ въ волненіи (у старика даже слезы на глазахъ показались).

— Отлично! — согласился и я: — но позволяю себѣ одно только и притомъ самое маленькое замѣчаніе...

— Нѣтъ ужъ-съ! — сухо и даже нѣсколько нахально прервалъ меня Молчалинъ 2-й: — на этотъ разъ, любезный коллега, прошу уволить! Я знаю, что вы хотите сказать. Вамъ, навѣрное, не нравится, что я нѣсколько разъ и притомъ не безъ намѣренія настаиваю на томъ, что возможность дѣлать представленія не всегда приноситъ желаемые плоды. Но этимъ я уже поступиться не могу. Моя газета либеральная и самимъ начальствомъ признаётся за таковую; слѣдовательно въ ней полное однообразіе тона не только неумѣстно, но могло бы показаться даже предумышленнымъ. Я не всегда глажу по шерсткѣ, но я искренъ — и въ этомъ моя заслуга! Вообще, положеніе либеральнаго органа печати я резюмирую въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: «мы готовы придти къ вамъ, — говорю я: — но укажите намъ пути и сохраните намъ нашу независимость!»

Это поученіе было высказано такимъ твердымъ и даже строгимъ тономъ, что мнѣ оставалось только прикусить языкъ. Самъ Алексѣй Степанычъ — и тотъ не заступился за меня. Въ самомъ дѣлѣ, я показалъ себя ужъ черезчуръ придирчивымъ. Какъ часто случается намъ встрѣчать въ печати выраженія прямо бунтовскія, въ родѣ: «осмѣливаемся высказать» или «позволяемъ себѣ думать» — что-жъ! начальство не только не взыскиваетъ, но даже положительно не видитъ въ этомъ ничего, могущаго подорвать его авторитетъ! Вѣроятно, тутъ есть какая-нибудь секретная конвенція, а можетъ-быть, и просто внутренняя политика. Что «независимые голоса» не безполезны — это, съ легкой руки Бисмарка, уже признано всѣми. Даже оппозиція — и та считается не вредною, если она не вредитъ. Слѣдовательно отчего же бы намъ не воспользоваться этимъ общепризнаннымъ фактомъ... ну, конечно, умненько? Недаромъ же въ штатахъ департамента этимологіи и правописанія значится: «независимыхъ голосовъ столько-то». Вотъ это-то и есть «политика». Интересно бы только знать, присвоено ли этимъ голосамъ соотвѣтствующее содержаніе, или же они обязываются распѣвать, памятуя изреченіе: *изъ чести лишь одной я въ домъ семъ служу?*

Между тѣмъ какъ я такимъ образомъ разсуждалъ, Молчалинъ 2-й продолжалъ читать дальше:

«Такова наша мысль, такова наше глубокое внутреннее убѣжденіе. Убѣжденіе не только интимное (conviction spontanée), но и пропущенное сквозь горнило знанія; убѣжденіе, не избѣгающее благосклонной похвалы, но и не боящееся угрозъ. Какъ же поступило «Бреющее Шило», чтобъ дискредитировать насъ передъ публикой?—да очень просто! По своему обыкновенію, оно смазурничало, то-есть на мѣсто одного выраженія поставило другое, не имѣющее съ первымъ ничего общаго. Мы говорили о «народосодѣйствіи», а оно—заставляетъ насъ употребить выраженіе «народоправство». А мы даже и не понимаемъ этого выраженія! Но вы, читатель! понимаете ли вы, какая масса гнуснаго предательства заключается въ этомъ мошенническомъ сопоставленіи принципа единоначалія (вполнѣ нами признаваемаго и чтимаго) съ принципомъ какого-то фантастическаго (и притомъ нами непонимаемаго) народоправства?»

Молчалинъ 2-й остановился и на этотъ разъ окинулъ насъ совершенно безбоязненнымъ взоромъ. Вступая на почву такъ-называемой полемики, онъ, очевидно, чувствовалъ себя какъ дома. Онъ понималъ, что здѣсь ему опасаться нечего, и потому даже слегка отодвинулъ корректуру, какъ бы для того, чтобъ издали полюбоваться ею.

«... «Бреющее Шило», — продолжалъ онъ: — желало однимъ выстрѣломъ убить двухъ зайцевъ: и дискредитировать нашу газету въ глазахъ читающей публики, и произвести своимъ доносомъ переполохъ въ извѣстныхъ сферахъ. Перваго, конечно, оно не добилось; второго—достигло лишь въ нѣкоторой степени. Дѣйствительно, переполохъ былъ произведенъ, но, къ счастію для насъ, онъ повлекъ за собой не *осужденіе*, а *изслѣдованіе*, за которымъ, конечно, не замедлило послѣдовать и *оправданіе*. Прошли тѣ времена, когда звѣриное жало доноса держало печать въ постоянной тревогѣ; исчезла навсегда легкая возможность обвинять, *не представляя вполнѣ ясныхъ и удовлетворительныхъ доказательствъ*. Да, прошелъ и исчезъ этотъ дурной сонъ. Отнынѣ — путь клеветы усѣянъ своего рода терніями. Намъ стоило только указать на подлинные нумера нашей газеты, даже не подкрѣпляя этого указанія ссылкой на типографскія корректуры, чтобъ явиться сразу чистыми отъ всякаго подозрѣнія въ сочувствіи къ даже непонимаемымъ нами народоправствамъ. И мы сдѣлали это тѣмъ съ бо̀льшимъ удовольствіемъ, что это дало намъ случай представить новыя и убѣдительнѣйшія доказательства

чистоты нашихъ намѣреній, которую нимало не могутъ омрачить стойкость и непоколебимость нашихъ убѣжденій. И такимъ образомъ «Бреющее Шило», желая сдѣлать намъ вредъ, въ дѣйствительности оказало услугу, само же, по всѣмъ вѣроятіямъ, попало на замѣчаніе».

— Ну-съ?! — самодовольно обратился къ намъ Молчалинъ 2-й.

— Чего еще лучше! Словно краснымъ яичкомъ подарилъ. Такими, братъ, статьями христосоваться съ начальствомъ можно! — поощрилъ его Алексѣй Степанычъ.

Я, съ своей стороны, не сказалъ ничего; я только радовался и думалъ: вотъ кабы всѣ-то такъ!

Молчалинъ 2-й продолжалъ:

«Но довольно. Мы исполнили одну изъ самыхъ омерзительнѣйшихъ обязанностей нашихъ передъ публикой: обязанность имѣть дѣло съ противниками прямо безчестными. Теперь же будемъ спокойно разсуждать о предметѣ, успѣшное и правильное развитіе котораго для насъ, конечно, дороже, нежели тѣ два-три подписчика, которыхъ «Бреющее Шило» изо всѣхъ силъ старается переманить у насъ. Ахъ, если бы это отъ насъ зависѣло, мы уступили бы почтенной газетѣ не одинъ и не два десятка, а цѣлую сотню подписчиковъ, лишь бы водворить миръ въ взволнованныхъ душахъ ея редакторовъ и издателей! Но подписчики — люди свободные, и мы не властны распорядиться ими, какъ французы распорядились ниццарами, а нѣмцы въ послѣднее время — эльзасъ-лотарингцами. Пускай «Бреющее Шило» приметъ это въ соображеніе и не обвиняетъ насъ въ недостаткѣ доброй воли помочь ему.

«Итакъ, къ дѣлу, къ дѣлу, къ дѣлу.

«Въ началѣ настоящей статьи мы высказали мысль, что полемическія пререканія, выражаемыя нашею печатью по вопросу объ отдачѣ селеній всѣхъ наименованій подъ надзоръ полиціи, главнымъ образомъ касаются не принципіальной его стороны, а практическихъ примѣненій. И дѣйствительно, какъ только мы вступаемъ на практическую почву, такъ тотчасъ же видимъ себя опутанными цѣлою сѣтью вопросовъ, вопросцевъ и даже подвопросцевъ, изъ коихъ каждый, будучи самъ по себѣ бездѣльнымъ...»

— Бездѣльнымъ?!—воскликнули мы въ одинъ голосъ съ Алексѣемъ Степанычемъ.

— Да, смотрите! такъ прямо и написалъ!

— Объ чемъ же ты думаешь! Похеривай, братецъ, похеривай!

— Погоди, дай же хоть фразу-то кончить...

«...бездѣльнымъ, представляется однако-жъ однимъ изъ дѣйствующихъ рычаговъ, созидающихъ гнетущее цѣлое...»

— Ну, это—шалишь, братъ!—произнесъ Молчалинъ 2-й и вслѣдъ за симъ, нимало не затрудняясь, исправилъ: «изъ коихъ каждый, не будучи и самъ по себѣ бездѣльнымъ, пріобрѣтаетъ тѣмъ бо́льшую важность, что служитъ на практикѣ однимъ изъ дѣйствующихъ рычаговъ величественнаго цѣлаго».

— Вотъ этакъ-то лучше. Ну, а теперь и конецъ ужъ близко! Сейчасъ, господа, сейчасъ!

«Вопросы эти, которые мы отчасти ужъ перечислили выше, суть слѣдующіе: 1) какое наименованіе необходимо присвоить мѣстамъ и чинамъ, на коихъ возложено будетъ содержаніе иодъ полицейскимъ надзоромъ селъ и деревень Россійской имперіи? 2) изъ какого сословія имѣютъ быть преимущественно избираемы эти лица, и отъ кого будетъ зависѣть ихъ назначеніе и увольненіе? 3) въ какомъ количествѣ должны быть избираемы или назначаемы эти чины и какими они обязываются обладать качествами? 4) въ чемъ будутъ состоять ихъ права и преимущества какъ по прохожденію службы вообще, такъ и по мундиру и пенсіи въ особенности? 5) возможно ли съ точностью опредѣлить какъ предѣлы ихъ власти, такъ и обязанности, ежели послѣднія признано будетъ не излишнимъ возложить на нихъ? и 6) какимъ образомъ оградить значеніе и достоинство кутузки, съ тѣмъ, чтобъ она, съ одной стороны, не приняла, вслѣдствіе послабленій, характера увеселительнаго заведенія, а съ другой—чтобъ, вслѣдствіе чрезмѣрной строгости, не послужила поводомъ для преступныхъ вымогательствъ?

«При обсужденіи всѣхъ этихъ вопросовъ мы вновь встрѣтимся съ «Брекущимъ Шиломъ» и надѣемся, съ поличнымъ въ рукахъ, убѣдить читателей, что всѣ роды и степени наглости, безстыдства и даже мошенничества равно доступны этой интересной газетѣ и съ одинаковымъ успѣхомъ практикуются ею.

«Но такъ какъ предѣлы нашей статьи вышли и безъ того чересчуръ обширны, то мы отлагаемъ нашу бесѣду по сейчасъ исчисленнымъ вопросамъ до одного изъ ближайшихъ нумеровъ».

— Вотъ и все; а тамъ—еще Улита ѣдетъ, когда-то будетъ... въ «одномъ изъ ближайшихъ-то нумеровъ»!—закончилъ Молчалинъ 2-й.

— А любопытно было бы, очень даже любопытно знать, какъ онъ тамъ дальше путать будетъ!—замѣтилъ Алексѣй Степанычъ...

— По секрету... только вы ужъ, пожалуйста!.. онъ, братъ, suffrage universel для выбора сотскихъ потребовать хочетъ!—таинственнымъ шопотомъ сообщилъ намъ Молчалинъ 2-й.

— Затѣйщики вы! только какъ же онъ это напечатаетъ?

— А онъ, братецъ, обстановочку такую придумалъ. Во-первыхъ, говоритъ, можно доказывать, что теперь всѣ жалобы на бездѣйствіе полицейскихъ властей относятся прямо къ начальству, а тогда оно уже явится чистымъ отъ нареканій; во-вторыхъ, говоритъ, остроумно и даже небезынтересно будетъ видѣть, какъ, напримѣръ, селеніе собственнымъ движеніемъ будетъ отдавать само себя подъ надзоръ полиціи; а въ-третьихъ, говоритъ, можно перспективы разныя насчетъ suffrage universel припустить: усилить, напримѣръ, на время выборовъ власть становыхъ приставовъ, разрѣшить имъ тѣлесныя упражненія и т. п. Обстановка-то вѣдь, коли хотите, не глупа!

— Не глупа-то, не глупа и даже не безосновательна въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, а все-таки...

— Ну, да это когда-то еще будетъ! Тогда я и опять васъ созову, а теперь, господа, я попрошу у васъ еще часокъ-другой терпѣнія. Есть у меня статейка,—эта, я вамъ доложу, похитрѣе будетъ!

«С.-Петербургъ, 27 іюля.

«Матеріалистическія ученія, которыя въ настоящую минуту увлекаютъ за собою современное русское молодое поколѣніе, имѣютъ многое, съ чѣмъ, по справедливости, не согласиться нельзя. Одна матерія вѣчна, хотя, конечно, было бы странно оспаривать и то, что вмѣстѣ съ матеріей вѣчно и ея содержимое. Видоизмѣняется матерія (именно только видоизмѣняется, а не умираетъ), и вмѣстѣ съ нею видоизмѣняется и ея содержимое...»

— Нѣтъ, вы скажите, каковъ сюжетъ выбралъ!—съ горечью воскликнулъ Молчалинъ 2-й:—и это въ виду теперешнихъ, можно сказать, обстоятельствъ!

— Брось—вотъ и все! — прямо рѣшилъ Алексѣй Степанычъ.

— А вотъ, все-таки, попытаемся прежде... Нутко, благослови, Господи!

Молчалинъ 2-й на минуту задумался и затѣмъ вдругъ порывисто началъ бѣгать перомъ по корректурѣ. Черезъ двѣ-три минуты онъ уже читалъ:

«Матеріалистическія ученія, которыя увлекли въ свои сѣти современное русское молодое поколѣніе, начинаютъ наконецъ выступать передъ нами во всей своей постыдной наготѣ. Намъ говорятъ: матерія вѣчна, и доказываютъ это фактами, повидимому, неотразимыми. Но развѣ духъ не вѣченъ? спросимъ и мы съ своей стороны. Кто тотъ смѣльчакъ, который позволитъ себѣ утверждать противное? Матерія вѣчна! Прекрасно. Но все-таки она хоть видоизмѣняется (этого и противники наши отвергнуть не могутъ), духъ же—никогда! Вотъ въ чемъ заключается преимущество духа и вотъ гдѣ слѣдуетъ искать причины, почему духъ всегда торжествовалъ и будетъ торжествовать надъ матеріей, если только у человѣка есть хоть малѣйшая охота способствовать этому торжеству».

— Ладно?

— А ежели нѣтъ охоты способствовать — тогда что? — спросилъ я.

— Ну, какъ это нѣтъ охоты! Придирчивы вы ужъ очень, дорогой коллега! Тѣзка! по-твоему какъ? ладно?

— Ладно-то, ладно, а все-таки изъ статьи проку не будетъ!—упорствовалъ въ своемъ скептицизмѣ Алексѣй Степанычъ.—Сюжетъ, братецъ, такой! Отъ этихъ сюжетовъ, какъ отъ чумы, бѣгать нужно!

Но Молчалинъ 2-й не смутился этимъ замѣчаніемъ и продолжалъ:

«Вся наша бѣда въ томъ, что человѣчество, несмотря ни на уроки исторіи, ни на свидѣтельства разума, не убѣдилось въ этой истинѣ. Отсюда—вѣчная и безплодная борьба между духомъ и плотью, борьба, совершающаяся, впрочемъ, больше на бумагѣ, чѣмъ на дѣлѣ; но тѣмъ не менѣе разливающая по всѣмъ венамъ общественнаго организма гангрену лицемѣрія. Нѣтъ того общественнаго органа, который не былъ бы зараженъ этою разъѣдающею болью, нѣтъ человѣка, который не метался бы на прокрустовомъ ложѣ подъ игомъ ея...»

— Брось!—повторилъ Алексѣй Степанычъ рѣшительно.

Молчалинъ 2-й вопросительно взглянулъ на меня.

— Какъ бы вамъ сказать? — поспѣшилъ отвѣтить я: —

во всякомъ случаѣ авторъ статьи высказалъ свою идею настолько ясно, что *исправить* ее будетъ довольно мудрено. Конечно, если бы покойный Памфилъ Юркевичъ могъ встать изъ гроба или, по крайней мѣрѣ, господинъ Струве...

— Ну, нѣтъ-съ, слуга покорный! До сихъ поръ отъ обскурантовъ Богъ миловалъ!

— То-то вотъ и есть! съ одной стороны вы либералъ, а съ другой — боитесь: ужасно какъ трудно это согласить!

— Однако, какъ видите, мы только этимъ и занимаемся!

— Знаю; знаю даже, что вы достигаете нѣкоторыхъ результатовъ — вотъ хоть бы въ родѣ того, котораго мы сейчасъ достигли по передовой статьѣ, имѣющей появиться завтра. Но стоитъ ли хлопотать изъ-за такихъ результатовъ—вотъ въ чемъ вопросъ? Стоитъ ли лукавить по такимъ вопросамъ, какъ вопросъ объ отдачѣ селеній подъ надзоръ полиціи?

— Ну, нѣтъ-съ, этого вы не скажите! вопросъ о сотскихъ тутъ только такъ, сбоку, а въ самомъ-то дѣлѣ статья— куда далеко мѣтитъ!

— Да вѣдь вы то, что «мѣтитъ»-то,—*исправили!*

— Что-жъ, и исправилъ! Конечно, исправилъ, коли тутъ чортъ знаетъ что ждетъ впереди! Ахъ, если бы публика знала! Но она нынче даже между строками читать разучилась!.. У меня, батюшка, въ портфеляхъ редакціи такія диковинки есть... Да вотъ хоть бы эта самая статья о матеріализмѣ — вѣдь въ носъ бросится, кабы напечатать! Сколько новыхъ подписчиковъ прибавилось бы изъ-за одного того, что слово «матеріализмъ» упомянуто безъ акомпанимента непечатныхъ словъ! А я долженъ оставить ее, долженъ жертвовать и интересомъ газеты и собственной выгодой! Я ужъ чуть не въ тридцатый разъ набираю ее. Наберутъ—просмотримъ и опять разобрать велимъ... Да-съ, тяженька-таки наша служба публикѣ! Тяжела-съ! А награда?..

Онъ схватился обѣими руками за голову, и мнѣ показалось, что внутри его нѣчто слегка зарычало. И вдругъ припомнилось мнѣ, что именно такъ поступаетъ на Александринскомъ театрѣ актеръ Нильскій, когда видитъ себя въ интересномъ положеніи.

— Я, знаете, все его спрашиваю, — пошутилъ Алексѣй

Степанычъ:—а что, молъ, коли ежели что—пойдешь ты на баррикады?

— Ну, тёзка, не до шутокъ теперь! ты дѣло говори, а шутки оставь!—разсердился Молчалинъ 2-й.

— Да что же—покуда Богъ еще милостивъ! только вотъ о портфеляхъ-то своихъ ты ужъ заботу оставь! Что тамъ есть, то тамъ и останется. Давай-ка лучше статью эту бросимъ, а нѣтъ ли у тебя фёльетонцу послушать?

— Есть и фёльетонцу; только читать ли ужъ?

— Развѣ отчаянный?

— Нѣтъ, и не отчаянный, а скука беретъ возиться... Каждый день! каждый день! Право, когда-нибудь возьму да и сбѣгу!

— А сбѣжишь, такъ и изловятъ; если же при семъ подписныя деньги невзначай съ собой унесешь, то и подъ судъ отдадутъ. Добро, читай-ка! Нечего жеманиться!

Молчалинъ 2-й отыскалъ корректуру и началъ:

«ЗА ПРОШЛУЮ НЕДѢЛЮ».

«Сейчасъ должна начаться моя еженедѣльная обязательная бесѣда съ тобой, благосклонный читатель. Я знаю это, я чувствую приближеніе роковой минуты и, увы! съ ужасомъ сознаю, что въ головѣ моей нѣтъ ни одной мысли!

«Ни признака мысли, ни тѣни мысли, ни единой крупицы ея! Понимаешь ли ты, читатель, сколько трагизма заключается въ этихъ немногихъ словахъ! Ни одной мысли! Я убитъ, уничтоженъ, подавленъ, и за всѣмъ тѣмъ долженъ сознаться, что это—совершеннѣйшая истина! У меня въ рукахъ перо, передо мной листъ бѣлой бумаги; я обмакиваю перо въ чернильницу, я начинаю водить имъ по бумагѣ, вожу, вожу... и чувствую, что у меня нѣтъ въ головѣ ни одной мысли!»

— Что-жъ! Это вѣдь недурно!—похвалилъ Алексѣй Степанычъ:—главное, написано легко!

— Да слушай! не прерывай!

«Но что важнѣе всего: не у одного меня нѣтъ мысли, а нѣтъ ея вообще нигдѣ, въ цѣломъ мірѣ. Мысль сбѣжала, милостивые государи, мысль оставила предѣлы цивилизованнаго міра и очутилась... гдѣ бы вы думали? У патагонцевъ? Какъ бы не такъ!

«Вы удивляетесь? Вы думаете про себя: какой однако-жъ онъ городитъ вздоръ! Увы! Я и самъ не знаю, дѣло

ли я пишу или вздоръ горожу, но въ оправданіе свое могу сказать одно: у меня нѣтъ мысли!»

— Очень, очень легко!—опять похвалилъ Алексѣй Степанычъ.

— Легко-то легко!—отозвался я: — а вѣдь и въ самомъ дѣлѣ мысли-то у него, кажется, нѣтъ! Что-то ужъ слишкомъ онъ долго на одномъ мѣстѣ топчется!

— Нѣтъ, мысль у него есть, — возразилъ Молчалинъ 2-й:—а это онъ только для шику жеманится; сейчасъ вотъ увидите, куда онъ загнетъ. Давайте-ка лучше продолжать: «Однако надо же найти эту интересную бѣглянку, надо найти мысль во что бы ни стало; иначе у меня не будетъ фельетона, столбцы газеты останутся ненаполненными, а ты, читатель, лишишься возможности наслаждаться назидательной бесѣдой, которую я въ урочное время имѣю обыкновеніе вести съ тобою. Итакъ, будемъ искать.

«Начинаю искать и отыскиваю. Отыскиваю, во-первыхъ, потому, что это—моя обязанность передъ редакціей газеты, а во-вторыхъ, и потому, что отыскать потребную для фельетона мысль вовсе ужъ не такъ трудно, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда.

«Читатель! пойми меня! нельзя отыскать хорошую, *настоящую* мысль, но та мысль, которою я имѣю право тебя продовольствовать, есть мысль дешевая, дрянная, валяющаяся на полу въ сору. Первое попавшееся на глаза отребье, обрывокъ, обгрызокъ можетъ послужить темой для какой угодно печатной бесѣды. И не только можетъ, но иначе и не должно быть. Хорошихъ мыслей для насъ не полагается, ибо мы еще рыломъ для нихъ не вышли. Да если бы у насъ и были хорошія, серьезныя мысли—кто же насъ пуститъ ихъ публиковать!»

— Вотъ тебѣ и разъ! хорошо-хорошо говорилъ да вдругъ и подгадилъ!—отозвался Алексѣй Степанычъ:—а я было и уши развѣсилъ!

Молчалинъ 2-й задумался.

— Я полагаю,—сказалъ онъ:—окончаніе со словъ: «и не только можетъ»—слѣдуетъ похерить!

— Позвольте!—вступился я:—нельзя ли его чѣмъ-нибудь замѣнить? Напримѣръ, въ слѣдующемъ родѣ: «Да это и не удивительно, потому что мы сами съ вами, читатель, — не что иное, какъ соръ, изъ котораго, натурально, кромѣ сора, ничего и произойти не можетъ. Мы ничего не знаемъ, хотя обо всемъ говоримъ; сегодня наша мысль раздражается въ

одномъ направленіи, завтра — въ другомъ. Мы даже, собственно говоря, и сказать-то ничего не намѣреваемся, а просто водимъ перомъ по бумагѣ, въ надеждѣ—не выйдетъ ли изъ этого чего-нибудь? И, разумѣется, ничего не выходитъ». Кажется, этакъ будетъ хорошо!

— Хорошо-то хорошо, только какъ бы онъ не обидѣлся, фёльетонистъ-то,—затруднился Молчалинъ 2-ой.

— А что на него смотрѣть! Поправляй—и дѣло съ концомъ!—высказался Алексѣй Степанычъ.

Мнѣніе мое было принято.

— «Итакъ, мы фаталистически...»

— «и по собственной винѣ»,—прервалъ я:—не мѣшаетъ даже курсивомъ эти слова набрать.

«...фаталистически *и по собственной винѣ* осуждены копаться въ сору и ветоши и тамъ искать предметовъ для нашихъ бесѣдъ. Будемъ же копаться и посмотримъ, не найдется ли въ нашемъ общественномъ навозѣ чего-нибудь такого, что могло бы пробудить дремлющую мысль. Ба! мысль первая: о погодѣ. Погода у насъ, читатель, по обыкновенію, была отвратительная, и дачники наши заплатили обильную дань катарру и флюсамъ. По всей Черной-Рѣчкѣ нельзя было усмотрѣть ни одного чиновника, который не ходилъ бы съ подвязанной щекой. Несмотря на это, петербургскій житель все-таки упорствуетъ думать, что у него есть лѣто, и что это лѣто всего приличнѣе провести съ флюсомъ на щекѣ. Болѣе благоразумные, впрочемъ, серьезно намѣревались перебраться въ городъ, въ виду дождей, холода и сырости; но чиновницы, нашившія себѣ лѣтнихъ платьевъ, не допустили до этого. И дѣйствительно, стоитъ посѣтить наши Лѣсные, Старыя и Новыя-Деревни, Каболовки и проч., чтобъ увидѣть цѣлыя свиты чиновницъ, храбро шлепающихъ по грязи и удивляющихъ міръ непреклонностью вѣры въ прелести петербургскаго климата. О! если бы всѣ наши вѣрованія были столь же непоколебимы! Какъ далеко ушли бы мы впередъ!»

— Вотъ и опять пошло легко!—отозвался Алексѣй Степанычъ.

«Можно себѣ представить послѣ этого, какую мерзости запустѣнія представляли нынѣшнимъ лѣтомъ наши минерашки и демидроны! Сырость, холодъ и ко всему этому безголосыя пѣвицы! Повидимому, Москва серьезно вознамѣрилась побѣдить Петербургъ. Она уже переманила у насъ и незабвенную Кадуджу, и прелестную Нордэ, а въ нед-

лекомъ будущемъ, вѣроятно, уловитъ въ свои гостепріимныя сѣни и обаятельную Жюдикъ. Впрочемъ, это ужъ не первая побѣда, которую «Порфироносная Вдова» одерживаетъ надъ не совсѣмъ, впрочемъ, «Юною Царицей». Извѣстно, напримѣръ, что въ гастрономическомъ отношеніи Москва представляетъ нѣчто сказочное, и что обѣдамъ въ трактирахъ Тѣстова и Лопашова позавидовалъ бы самъ Лукуллъ».

— Хорошо, очень хорошо!

«Кстати о Лукуллѣ: наврядъ ли однако-жъ въ нынѣшнее строго-классическое время его отпустили бы баловаться по Тѣстовымъ и Лопашовымъ. Вѣроятнѣе всего, его засадили бы въ Катковскій лицей изучать латинскую грамматику, ибо хотя онъ и римлянинъ (былъ), а все-таки проэкзаменовать его по части склоненій—не лишне. Припомните, читатель, какъ экзаменовалъ «Русскій Вѣстникъ» профессора римскаго права, Никиту Крылова, по поводу «Ordo equestris» и «Ordo equester». Припомните, какъ агитировалъ онъ учащуюся молодежь, назойливо доказывая, что поучающій ее профессоръ аза въ глаза не смыслитъ! Не помню, вышелъ ли изъ этой агитаціи какой-нибудь бунтъ, но ежели и не было бунта, то, очевидно, не по недостатку усилій со стороны «Русскаго Вѣстника», а только потому, что Богъ спасъ. Во всякомъ случаѣ Никита Крыловъ вынужденъ былъ умолкнуть... самъ Никита Крыловъ!! Что-жъ послѣ этого значитъ какой-нибудь Лукуллъ, о степени грамотности котораго даже свѣдѣній не имѣется! Въ ликей его, въ ликей! пусть лучше надъ глаголами корпитъ, чѣмъ московскими поросятами желудокъ себѣ набивать! Конечно, онъ былъ римскій вельможа; но мало ли мы знаемъ вельможъ, которые писывали «штопъ», вмѣсто «чтобъ» и «обвахта», вмѣсто «гауптвахта»!

— Знаете ли что!—сказалъ я:—на вашемъ бы мѣстѣ я всю эту тираду выключилъ.

— Что такъ?

— Да такъ; не знаю и самъ, а внутреннее чувство мнѣ подсказываетъ... Ликей... «Русскій Вѣстникъ»... Катковъ... и эта странная агитація по поводу «Ordo equestris»... Есть, знаете, предметы, которыхъ лучше не касаться... Оставьте!

— А вѣдь онъ, братецъ, правъ!—поддержалъ меня Алексѣй Степанычъ.

— Ну, нѣтъ, господа!—взволновался Молчалинъ 2-й:—

ужъ этимъ я вамъ не поступлюсь! «Московскія Вѣдомости»! да знаете ли вы, что *онъ* на *меня* чуть не каждый день доносъ въ своей паскудной газетѣ строчитъ!

— Ну, а вы старайтесь *дѣлами* своими отвѣчать! Вотъ, молъ, мои *дѣла*—пусть всякій судитъ! Скрытнаго нѣтъ у меня ничего.

— Хорошо вамъ говорить: «дѣлами»! дѣла тоже—дѣламъ рознь!

— Ахъ, не говорите этого! Вѣдь, въ сущности, тутъ и дѣлъ никакихъ нѣтъ, а есть только такъ-называемая полемика! Онъ говоритъ: Ordo equester, а вы говорите: Ordo equestris—вотъ и все. Ну, и продолжайте эту полемику, оживляйте столбцы, употребляйте какъ можно больше аттической соли, ссылайтесь на Цицерона, на лексиконы, однимъ словомъ, устраивайте обстановку... Но за живое... понимаете, за живое-то не задѣвайте!

— Правъ, братецъ, онъ!—вновь поддержалъ меня Алексѣй Степанычъ.

— Нѣтъ, воля ваша, а этого господина я щадить не намѣренъ! Помилуйте! онъ чуть не въ глаза мнѣ каждый день плюетъ!

— А вы оставьте! Вотъ, молъ, мои дѣла — и конченъ балъ! На вашемъ бы мѣстѣ, знаете ли, какъ бы я поступилъ? Я просто бы игнорировалъ — да-съ. Такъ бы и устроилъ, чтобъ кругомъ *его* пустое пространство образовалось! Ну, и пусть плюетъ на-пусто, коли есть охота плевать!

— Правъ онъ! правъ, правъ, правъ!

Молчалинъ 2-й подумалъ съ минуту, потомъ порывистымъ движеніемъ взялся за карандашъ и перечеркнулъ инкриминированное мѣсто крестъ-на-крестъ.

— Ну-съ, довольны ли вы?—обратился онъ ко мнѣ иронически.—Дальше-съ.

«Впрочемъ, въ томъ, что москвичи побѣждаютъ насъ по части Кадуджъ и обжорства,—ничего удивительнаго нѣтъ. Москва есть по преимуществу городъ широкихъ русскихъ натуръ, которыя, какъ извѣстно, любятъ не столько наслаждаться, сколько разбрасывать Божье добро зря, подъ столъ. Намъ пишутъ, напримѣръ, что одна изъ такихъ широкихъ натуръ, усмотрѣвъ въ ресторанѣ «Славянскаго Базара» сажалки съ плавающими въ нихъ стерлядями, вдругъ изъявила желаніе выкупаться въ одной изъ этихъ сажалокъ и за удовлетвореніе этого нѣсколько дурацкаго

желанія заплатила довольно крупную сумму. Ужъ эти мнѣ широкія русскія натуры! Платитъ человѣкъ громадныя деньги за удовольствіе пугать въ сажалкахъ стерлядей, а нѣтъ того, чтобъ плодотворнымъ образомъ эти деньги употребить! Вотъ хоть бы, напримѣръ, на усовершенствованіе русскаго мореходства въ Черномъ морѣ? Ахъ, господа безобразники, господа безобразники! пора бы, кажется, подумать вамъ о томъ, что вѣдь Черное-то море съ самаго севастопольскаго погрома и до сихъ поръ все продолжаетъ сиротѣть!...»

— Прекрасно! — воскликнулъ Алексѣй Степанычъ:—но я бы весь конецъ, начиная со словъ: «вотъ хоть бы, напримѣръ»,—выкинулъ! Не наше, братъ, дѣло объ этомъ судить.

— А въ особенности подстрекать какихъ-то безобразниковъ!—прибавилъ я.

— Позвольте, господа! дѣло—совсѣмъ не въ безобразникахъ, а въ томъ, чтобъ послать кому слѣдуетъ косвенный уколъ,—объяснилъ Молчалинъ 2-й: — сегодня уколъ, завтра уколъ—анъ, смотришь, газета-то и съ репутаціей!

— Да, но все-таки уколы должны имѣть въ основаніи своемъ извѣстную степень достовѣрности,—возразилъ я:—но этого-то именно качества въ настоящемъ случаѣ и недостаетъ. Ибо что же мы, въ самомъ дѣлѣ, знаемъ о Черномъ морѣ? Вы пишете: «сиротѣетъ Черное море!»—а можетъ-быть, оно и не «сиротѣетъ»!

— Гм!.. да... Впрочемъ, вѣдь оно и дѣйствительно... Сиротѣетъ ли Черное море или не сиротѣетъ—намъ-то что за печаль?

— Какая же тутъ печаль!

— Разумѣется, никакой печали нѣтъ!

— Вѣдь мнѣ, собственно говоря, подписчикъ нуженъ!

— Вотъ-вотъ-вотъ! Слѣдовательно...

Молчалинъ 2-й, махнувъ рукой, похерилъ, что слѣдуетъ, и продолжалъ:

«У насъ, въ Петербургѣ, конечно, нѣтъ безобразниковъ, плавающихъ въ рыбныхъ сажалкахъ, но взамѣнъ того мы имѣемъ дѣйствительныхъ статскихъ кокодесовъ, которые по вечерамъ наполняютъ наши кафе-шантаны и въ нихъ, повидимому, воспитываютъ себя для дальнѣйшихъ подвиговъ по административной части. Это—совсѣмъ особенный сортъ людей, находящихся въ большой дружбѣ съ татарами петербургскихъ ресторановъ и въ большой враждѣ

съ русской литературой. Вездѣ, гдѣ мететъ полъ или аллею шлейфъ паскудной кокотки,—вездѣ, будьте въ томъ увѣрены, встрѣтите вы и трущагося около нея дѣйствительнаго статскаго кокодеса...»

— Стой! это что же такое? кого же онъ подъ дѣйствительными-то статскими кокодесами разумѣетъ?—изумился Алексѣй Степанычъ.

— Вѣроятно, это—наши молодые дѣйствительные статскіе совѣтники,—скромно объяснилъ я:—названные такъ ради игры словъ.

— Ну, братъ, это нельзя! Помилуй! государственный чинъ—и такое вдругъ поруганіе! — возмутился Алексѣй Степанычъ.

— Я полагалъ бы, вмѣсто «дѣйствительныхъ статскихъ кокодесовъ», употребить выраженіе «нигилисты», — предложилъ я.

— То-есть дѣйствительные статскіе нигилисты?

— Нѣтъ, просто «нигилисты», потому что ежели сказать «дѣйствительные статскіе нигилисты», то вѣдь и это, пожалуй, за намекъ примутъ.

— Но какъ же согласить: съ одной стороны «нигилисты», а съ другой—«воспитываютъ себя для дальнѣйшихъ подвиговъ по административной части»?

— И эти слова можно измѣнить. Напримѣръ, сказать: «воспитываютъ себя для подвиговъ постыднаго пропагандистскаго искусства».

— Прекрасно! Исправляй и читай дальше.

«Вы можете узнать дѣйствительнаго статскаго кокодеса по слѣдующимъ характеристическимъ признакамъ: онъ молодъ, но уже слегка разслабленъ; лицо у него испитое, и потому онъ позволяетъ себѣ подрумяниваться; усы проведены въ нитку; борода тщательно выбрита; походка переваливающаяся, свидѣтельствующая о бурно проведенномъ въ казенномъ заведеніи дѣтствѣ; разговора ни о чемъ вести не можетъ, кромѣ какъ о милой бездѣлицѣ и ея свойствахъ; но на этой почвѣ остроуменъ, находчивъ и неистощимъ. Нѣкоторые изъ этихъ господчиковъ должны значительныя суммы не только содержателямъ петербургскихъ ресторановъ, но и служащимъ въ нихъ касимовскимъ князьямъ. Намъ разсказывали такой случай (за достовѣрность котораго, впрочемъ, не ручаемся), что на-дняхъ цѣлая стая дѣйствительныхъ статскихъ кокодесовъ забралась ночью къ одной извѣстной кокоткѣ, поскакала къ

Борелю за ужиномъ и виномъ и, насладившись вполнѣ лукулловскимъ торжествомъ, исчезла, предоставивъ «погибшему, но милому созданію» уплатить по счету».

— А ну-ка, братецъ, прикинь, какъ оно будетъ, ежели вмѣсто дѣйствительныхъ-то статскихъ кокодесовъ поставить нигилистовъ?—спохватился Алексѣй Степанычъ.

Молчалинъ 2-й вновь пробѣжалъ глазами по корректурѣ, пошепталъ про себя и воскликнулъ:

— Нѣтъ! не годится!

— То-то и мнѣ показалось, что не ко двору нигилистамъ эти кокотки,—сказалъ Алексѣй Степанычъ:—насчетъ чего другого, а ужъ насчетъ кокотокъ... кажется, этого грѣха за ними не водится!

— Какъ же тутъ быть? Офицеровъ, что ли...

— И ни-ни! И не думай!—испугался Алексѣй Степанычъ.

Начали совѣщаться, чѣмъ бы замѣнить нигилистовъ, и долгое время не могли придти ни къ какому результату. Наконецъ меня осѣнила счастливая мысль.

— Послушайте!—сказалъ я:—да о чемъ же мы говоримъ! Поставьте «адвокаты»—будетъ и правдоподобно, и безъ риску!

— Ахъ, Богъ ты мой! А мы-то разговариваемъ! Ну, батюшка, исполать вамъ! Представьте себѣ: вѣдь я ужъ давно догадался, что есть тутъ какая-то неловкость, и все время, покуда корректуру правилъ,—все думалъ: чѣмъ бы этихъ нигилистовъ замѣнить? И что-жъ! всякія должности такъ и вертятся на языкѣ: и нотаріусы, и мировые судьи, и гласные городской думы, и даже члены трактирной депутаціи, а самаго-то главнаго, самаго-то подходящаго званія—такъ вѣдь и не пришло на умъ! Адвокаты! Ну, они! они и есть! Теперь у насъ все какъ по маслу пойдетъ!

«Разсказываютъ еще другой случай: одинъ дѣйствительный статскій кокодесъ (т. е. адвокатъ) явился вечеромъ въ демидронъ, держа на рукѣ какое-то шерстяное одѣяніе, которое всѣ приняли за пледъ. По обыкновенію, онъ усѣлся въ обществѣ «этихъ дамъ» и въ продолженіе нѣкотораго времени велъ себя довольно прилично. Но потомъ вдругъ развернулъ предполагаемый пледъ—и что же оказалось?—что у него, вмѣсто пледа, очутились въ рукахъ штаны, которые онъ, будто бы, второпяхъ захватилъ (о, милая, наивная находчивость въ объясненіяхъ!). Можно себѣ представить восторгъ этихъ дамъ при видѣ столь

знакомой имъ принадлежности мужского туалета! Хохотъ и взвизгиванія не умолкали въ продолженіе цѣлаго часа, и—что любопытнѣе всего — въ довершеніе спектакля милѣйшій petit crevé, по требованію погибшихъ, но милыхъ созданій, имѣлъ обязательность пройти по всѣмъ аллеямъ ликующаго демидрона, держа на плечахъ этотъ новоизобрѣтенный пледъ. Скандальная хроника ничего не говоритъ о томъ, дѣлали ли во время этого оригинальнаго шествія дежурные городовые подъ козырекъ».

— А вѣдь это, кажется, истинное происшествіе разсказано?—прервалъ я.

— Чего «кажется»! Съ нашимъ и было! — объяснилъ Алексѣй Степанычъ:—на другой день, при докладѣ, самъ мнѣ разсказывалъ! «Представьте, говоритъ, какое недоразумѣніе вчера со мной вышло!» А я себѣ молчу да думаю: разсказывай — «недоразумѣніе»! чай, нарочно всю штуку продѣлалъ, чтобъ своей Альфонсинкѣ удовольствіе доставить!

— Но ловко ли, въ такомъ случаѣ, будетъ предавать это происшествіе гласности?—усомнился Молчалинъ 2-й.

— Небось! Не обидится! Еще лестно будетъ, какъ на всю-то Россію репутацію любезнаго молодого человѣка пріобрѣтетъ! Вотъ если бы ты напечаталъ, что онъ «Исторію Государства Россійскаго» сочинилъ—ну, тогда не знаю: можетъ-быть, и обидѣлся бы. Да и то по невѣдѣнію. Подозрительны они нонче, мой другъ! Вѣдь другой съ самой школьной скамьи книги-то въ глаза не видалъ, да и напуганъ къ тому—ну, и думаетъ, что все прокламаціи!

«Такимъ образомъ обѣщаніе мое исполнено: «мысль» найдена, и притомъ не простая «мысль», но сопровождаемая анекдотами вполнѣ современнаго характера. По настоящему, слѣдовало бы на этомъ и остановиться, но я съ ужасомъ замѣчаю, что все до сихъ поръ мною написанное займетъ отнюдь не больше шести газетныхъ столбцовъ, тогда какъ я во что бы ни стало долженъ написать таковыхъ двѣнадцать. Двѣнадцать столбцовъ убористой печати—это жестоко! Тяжело положеніе почтовой лошади, обязанной пробѣгать отъ сорока до пятидесяти верстъ въ сутки, но въ пользу ея все-таки существуетъ смягчающее обстоятельство: она не имѣетъ надобности *выдумывать* этой ежедневной порціи въ сорокъ-пятьдесятъ верстъ. Эти версты даны ей независимо отъ ея выбора; она—на то лошадь, т. е. существо несвободное и неразум-

ное, чтобъ по первому требованію бѣжать, куда глаза глядятъ. Напротивъ того, фельетонистъ по природѣ своей предполагается одареннымъ свободою выбора и не рожденнымъ для ремесла почтовой лошади. Но въ томъ-то и дѣло, что природа—сама по себѣ, а условія жизни—сами по себѣ. Эти послѣднія большею частью такъ горько складываются, что человѣкъ собственнымъ умомъ доходитъ до убѣжденія, что онъ—не человѣкъ, а лошадь. И, разъ придя къ этому убѣжденію, онъ *свободно* избираетъ себѣ ремесло фельетониста, т. е. обязывается разъ или два въ недѣлю (смотря по требованіямъ аппетита) пробѣгать, въ виду читателя, извѣстное число верстъ. Но и этого еще мало: онъ обязывается населить эти версты призраками своей фантазіи, и не такими, какіе ему по душѣ, а такими, которые по душѣ другимъ и притомъ благовременны. И когда онъ вздумаетъ пожаловаться читателямъ на безнадежность этой карьеры, ему говорятъ: *самъ* виноватъ! *самъ* выбралъ себѣ ремесло — ну, и скачи, куда глаза глядятъ!

«Итакъ, впередъ. Осѣдлаю я коня быстролетнаго, запрягу я его въ саночки-самокаточки и поведу къ нему такую рѣчь: конь мой, конь ретивой! сослужи ты мнѣ службу вѣрную, понеси меня черезъ долы, черезъ горы, черезъ поля и луга, понеси за моря-океаны, за синюю даль, въ одинъ мигъ облети степи-поля неохватныя, лѣса-долины неоглядные! Пусть прольется передо мной море бездонное, немѣрянное, море горькаго русскаго гореваньица, море безконечно льющихся русскихъ слезъ! Однимъ словомъ, помоги мнѣ написать фельетонъ, въ которомъ было бы ровно двѣнадцать столбцовъ и который одинаково понравился бы и читателямъ, и цензурному вѣдомству.

«Но стоитъ мой конь какъ вкопанный; стоитъ ретивой—не шелохнется; стоитъ—не бѣжитъ, ухми прядетъ, копытами землю роетъ. Га! или почуялъ ты звѣря лютаго, звѣря лютаго-ненасытнаго?»

Молчалинъ 2-й прочиталъ эти строки скандуя и съ большимъ чувствомъ. Я тоже, признаться, былъ тронутъ.

— Это подражаніе «Слову о полкѣ Игоревѣ»,—сказалъ онъ:—и я долженъ сознаться, что мой фельетонистъ имѣетъ на этотъ счетъ особенное какое-то чутье.

Но Алексѣй Степанычъ самымъ добродушнымъ образомъ расхолодилъ наши восторги.

— То-то вотъ и есть!—сказалъ онъ:—насъ, чиновни-

ковъ, пустозвонами зовутъ; говорятъ, якобы мы изъ пустого въ порожнее переливаемъ, а попробуй я, напримѣръ, въ докладѣ сряду и осѣдлать коня, и запречь его въ саночки-самокаточки,—вѣдь директоръ-то, поди, въ отставку велитъ мнѣ подать!

— Чудакъ ты, братецъ! вѣдь это ужъ размѣръ старинныхъ русскихъ пѣсенъ таковъ!—попробовалъ выгородить своего сотрудника Молчалинъ 2-й.

— Все же, мой другъ! Конечно, не всякое лыко въ строку, а все-таки поостеречись не мѣшаетъ. Ну, да вѣдь нецензурнаго тутъ нѣтъ—стало-быть, продолжай! Посмотримъ, какого еще тамъ звѣря лютаго конь твоего фельетониста зачуялъ? Господи! и коня-то никакого у него нѣтъ,—на извозчикѣ, чай, какъ и мы грѣшные, ѣздитъ—а тоже: конь мой, конь ретивой!.. Проказники вы, господа-литераторы!

«Ахъ, зачуялъ ты того звѣря ненасытнаго, что сосетъ-грызетъ нашу нужду народную, горькимъ горемъ по землѣ русской порскаетъ, надъ мужицкою бѣднотой посмѣиваючись, мужицкими слезьми упиваючись! Въ деревню тотъ звѣрь зайдетъ—огнемъ-полымемъ деревня загорается; въ поле заглянетъ—засыхаютъ злаки добрые; въ стадо прибѣжитъ—падаютъ-мрутъ бѣдныя коровушки!»

Молчалинъ 2-й не выдержалъ и заплакалъ.

— Ты чего, спрошу тебя, рюмишь?—обратился къ нему Алексѣй Степанычъ.

— Такъ, братецъ! взгрустнулось! невеселую вѣдь картину представляетъ наша бѣдная Русь православная!

Онъ закручинился, склонилъ голову на-бокъ и какъ-то нелѣпо запѣлъ:

— Тихія долины,
Плоскія равнины,
Барскія руины,
Гнусныя картины!..

— Вона! вонъ что загородилъ!—засмѣялся Алексѣй Степанычъ:—то-то сейчасъ видно, что давно ты предостереженіевъ не получалъ. Небось, мужичка жалко стало! Сидишь ты здѣсь въ теплѣ да въ холѣ, а вотъ запѣли передъ тобой Лазаря—ты и раскисъ! Ужъ не думаешь ли ты, что фельетониста твоего похвалятъ за причитаніе-то?

— Что-жъ? кажется, тутъ ничего такого...

— Знаете ли что?—перебилъ я:—коли сказать по правдѣ, такъ я и самъ думаю, что эта тирада несовсѣмъ

цѣлаго десятилѣтія! Увы! всѣ тяготы самоуправленія попрежнему продолжаютъ тяжелымъ бременемъ лежать на начальствѣ! Оно одно простираетъ намъ руку помощи, оно одно не остается равнодушнымъ зрителемъ постигающихъ насъ бѣдствій! Оно же, разумѣется, явилось благодѣтельнымъ посредникомъ и въ данныхъ случаяхъ. По крайней мѣрѣ, мы изъ достовѣрныхъ источниковъ можемъ сообщить, что всѣ надлежащія по сему предмету распоряженія уже сдѣланы».

— Ну, тёзка, какъ?—обратился Молчалинъ 2-й къ Алексѣю Степанычу.

— Не знаю, братецъ! признаться, у меня ужъ и голова кругомъ пошла! Вотъ онъ посвѣжѣе — стало-быть, ему и книги въ руки.

Молчалинъ 2-й покорно взялъ въ руки карандашъ и принялся за корректуру.

— Ну-съ, дальше,—сказалъ онъ:—продолженіе все той же матеріи. «Въ южныхъ губерніяхъ засуха истребила...» «Въ Пензенской губерніи необыкновеннаго вида червь...» «Въ Ярославской губерніи, вслѣдствіе продолжительныхъ холодовъ...» «Изъ Починковъ (Нижегородской губерніи) пишутъ, что на скотѣ появилась какая-то особенная болѣзнь, которую никто не можетъ опредѣлить...» «Въ Кирилловскомъ уѣздѣ (Новгородской губерніи) сибирская язва, повидимому, обѣщаетъ акклиматизироваться навсегда...» «Въ Изюмѣ (Харьковской губерніи), въ подгородной слободѣ, не осталось ни одной овцы... Сначала нѣкоторое время чихаютъ, потомъ начинаютъ чесаться, потомъ паршивѣютъ и наконецъ...» И такъ далѣе, и такъ далѣе. Такъ ужъ, съ вашего позволенія, я все это оставлю въ неприкосновенности да въ концѣ и присовокуплю: соотвѣтствующія по сему предмету распоряженія сдѣланы?

— Да, непремѣнно, непремѣнно присовокупите. Да вотъ еще: чтобъ ужъ совсѣмъ оттѣнить, я и еще одну штучку придумалъ. Пропечатавши все, что вы сейчасъ прочитали, возьмите да и хватите въ заключеніе: «Не слѣдуетъ, молъ, однако, забывать, что это — только одна сторона медали, которая отнюдь не должна подавать намъ повода отчаиваться насчетъ будущаго; ибо ежели есть мѣстности, посѣщенныя безкормицей, пожарами и скотскими падежами, то вѣдь есть и другія мѣстности, въ которыхъ не было ни пожаровъ, ни неурожаевъ, ни скотскихъ эпидемій. Конечно, будущее и относительно этихъ другихъ мѣстностей—въ руцѣ

Божіей, но все-таки, *покамѣстъ*, существованіе ихъ не подлежитъ сомнѣнію. Вотъ объ чемъ слишкомъ охотно забываютъ наши господа радикалы и объ чемъ мы считаемъ своимъ долгомъ во всеуслышаніе напомнить имъ».

— Вотъ это прекрасно! Браво, мой другъ, браво!— воскликнулъ Алексѣй Степанычъ: — кажется, и всего три-четыре строки, а каковъ, съ Божьею помощью, оборотъ!

Молчалинъ 2-й вздохнулъ, словно гора свалилась у него съ плечъ. Похвала Алексѣя Степаныча до того ободрила его, что онъ, такъ сказать, уже не правилъ корректуру, но весело шалилъ по ней карандашомъ.

— Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно! — продолжалъ между тѣмъ Алексѣй Степанычъ:—а вотъ вы, оглашенные либералы, сидите да пыжитесь; тамъ пожаръ, тамъ голодъ, тамъ эпидемія, а вотъ мы взяли да и поправили: сколько, молъ, такихъ мѣстъ есть, въ которыхъ нѣтъ ни пожаровъ, ни эпидемій, ни голода! Вѣдь и читателю-то лестнѣе слышать, что у него вездѣ, куда ни оглянись, вездѣ тишь да гладь да Божья благодать! Нутко ты, либералъ прожжёный! Много ли до конца-то еще осталось?

— Сейчасъ. Дальше пойдетъ ужъ заключеніе: штандартъ скачетъ, андроны ѣдутъ, дважды-два—стеариновая свѣчка и пр. Словомъ сказать, всѣ двѣнадцать столбцовъ въ исправности налицо. Это уже я самъ.

— А больше ничего нѣтъ?

— Есть корреспонденціи, да тѣ, кажется, и такъ пустить можно.

— Ой-ли?

— Да вотъ, напримѣръ: «*Наровчатъ*. Мы думали, что безобразія нашего земства уже въ прошломъ году достигли своего апогея, но оказывается, что въ нынѣшнемъ году оно рѣшилось превзойти самого себя...»

— Съ Богомъ! Спускай на машину! И читать дальше не нужно!

— А вотъ и еще: «*Краснослободскъ*. Давно уже было замѣчено нами, что наши суды присяжныхъ далеко не удовлетворяютъ своему назначенію...»

— Съ Богомъ!

— Пожалуй, есть и еще: «*Пенза*. Хотя и пишутъ объ насъ похвалы въ газетахъ, что мы якобы собственнымъ движеніемъ приговоры объ уничтоженіи кабаковъ составляемъ, но пьянство не только...»

— Стой!—прервалъ Алексѣй Степанычъ:—вотъ тутъ-то и закорючка! Ты знаешь ли, кто эти «пишутъ»-то?

— Полагаю, что въ газетахъ...

— То-то «полагаю»! а ты не полагай, а достовѣрно разузнай! Ни-ни! говорю тебѣ, и Боже тебя сохрани! Брось, чтобъ и духу у тебя этой корреспонденціи не пахло!

— Зачѣмъ же бросать?—вступился я:—поставьте вмѣсто Пензы Алапаевскъ—вотъ и все.

— И отлично. Ну, а теперь только выкройки изъ разныхъ газетъ остались! Спасибо вамъ, господа! Ободрили вы меня! вотъ какое вамъ за это спасибо!

Молчалинъ 2-й всталъ и поклонился намъ, коснувшись рукою до земли.

— Что ты! что ты!—сконфузился Алексѣй Степанычъ:—мы и сами рады, что на что-нибудь пригодились. Только ты ужъ, братъ, помни. Коли газета твоя «Чего изволите?» называется, такъ ты ужъ тово... такъ эту линію и веди!

Былъ уже часъ четвертый въ исходѣ, когда мы вышли изъ редакціи газеты «Чего изволите?». Я былъ значительно утомленъ, но все-таки шелъ бодро и даже весело. Мнѣ было лестно и радостно, что я, во-первыхъ, успѣлъ оказать услугу человѣку въ затрудненіи, а во-вторыхъ, и себя при этомъ сумѣлъ показать въ выгодномъ свѣтѣ. Какое-то внутреннее чувство нашептывало мнѣ: способный ты! способный! способный! Я возобновлялъ въ своей памяти всѣ подробности этого утра, припоминалъ, какіе пустяки заставляли иногда задумываться Молчалина 2-го, какъ я легко и сразу ихъ разрѣшалъ, какъ онъ радовался моей находчивости, какъ весело при этомъ карандашъ его попрыгивалъ по корректурнымъ листамъ, какъ онъ однажды даже запѣлъ... При этихъ воспоминаніяхъ я самъ начиналъ сѣменить ногами по тротуару и напѣвать, а тайный голосъ все пуще и пуще твердилъ: способный! способный! способный!

И вдругъ эти праздничныя мечты измѣнились. Въ самомъ разгарѣ ликованія польщеннаго самолюбія мой слухъ былъ внезапно пораженъ словами простого прохожаго, который, идя намъ навстрѣчу, говорилъ:

— Преспособная, братецъ, бестія! Помани его только пальцемъ...

При этомъ возгласѣ я словно проснулся. Тоскливо мнѣ

сдѣлалось, почти тошно. Какую, въ самомъ дѣлѣ, я роль сыгралъ въ это паскудное утро? Я, человѣкъ солидный, почти старикъ — что̀ такое я дѣлалъ?! Мнѣ даже показалось, что воздухъ наполняется міазмами, и что какой-то особенно отвратительный запахъ начинаетъ спеціально преслѣдовать меня. Долгое время я не могъ разобрать, что̀ это за запахъ, но наконецъ понялъ.

— А знаете ли что̀?—сказалъ я Алексѣю Степанычу:— вѣдь мнѣ все кажется, словно я эти два-три часа въ помойной ямѣ просидѣлъ!

Глава V.

Когда я по временамъ раздумываю о моихъ отношеніяхъ къ Алексѣю Степанычу, то невольно прихожу къ заключенію, что въ нихъ есть что-то ненормальное, и это довольно больно щекочетъ мою совѣсть. Или, выражаясь точнѣе, я долженъ сознаться передъ самимъ собой, что отношенія эти ставятъ меня въ какой-то нелѣпый тупикъ, родъ порочнаго круга, изъ котораго, повидимому, нѣтъ ничего легче вывернуться, да вотъ, поди-ка, вывернись!

Профессія Алексѣя Степаныча не внушаетъ мнѣ особенной симпатіи, но въ то же время личное его добродушіе является для меня фактомъ, стоящимъ внѣ всякаго сомнѣнія. Повидимому, два существованія—казенное и свое собственное—идутъ рядомъ въ этомъ человѣкѣ, но идутъ особнякомъ, не сливаясь; а ежели по временамъ и вліяютъ другъ на друга, то скорѣе въ ущербъ первому, нежели послѣднему. Вотъ это-то хроническое двоегласіе жизни и сбиваетъ съ толку, дѣлая возможными самыя невозможныя отношенія.

Я зналъ одну не очень знаменитую, но все-таки пользовавшуюся хорошей репутаціей танцовщицу, женщину уже пожилую, совершенно добродѣтельную (она была вдова какого-то экзекутора, за котораго ее высваталъ директоръ департамента, и оставалась неизмѣнно вѣрною памяти своего покойнаго мужа) и отличную мать семейства. День она всецѣло посвящала семьѣ и воспитанію дѣтей въ страхѣ Божіемъ (развѣ на какой-нибудь часъ запиралась въ спальной передъ зеркаломъ и упражнялась въ стояніи на носкахъ ногъ и въ біеніи ножкой объ ножку), вечеромъ — уѣзжала въ театръ и продѣлывала тамъ антрашà. Даже звалась она не Земфирой и не Аспиччіей, а просто Ариной Ивановной. Она не отказывалась отъ антрашà, во-чер-

выхъ, потому, что они составляли профессію, съ которой она сжилась, и, во-вторыхъ, потому, что при помощи этихъ антрашà она доставала обезпеченный кусокъ ея семейству. Тѣмъ не менѣе, когда она вечеромъ надѣвала трико и принималась, стоя на одной ногѣ и поднявъ другую до уровня плечъ, выдѣлывать передъ почтеннѣйшей публикой круги,—ей было не совсѣмъ ловко. Поэтому она пуще всего боялась, чтобъ кто-нибудь изъ ея дѣтей не зашелъ въ театръ и не *увидѣлъ* ея (можетъ-быть, это-то и было причиной, почему она такъ усиленно старалась о внушеніи имъ «страха Божьяго»). Но вотъ, въ одинъ прекрасный вечеръ, сынъ ея, гимназистъ, соблазненный запретнымъ плодомъ, урвался тайкомъ въ театръ, и когда взвился занавѣсъ, то увидѣлъ слѣдующее: какая-то роскошная женщина, впереди всѣхъ, на самомъ юру, покрытая вмѣсто платья прозрачной тряпочкой, совсѣмъ-совсѣмъ нагая, стоитъ на одной ногѣ, а другою, протянутою до уровня плеча, медленно-медленно выдѣлываетъ кругъ. Затѣмъ, вглядываясь въ эту женщину пристально, онъ узналъ въ ней свою мать...

Вотъ наглядный примѣръ того, что двоегласіе въ жизни нисколько не препятствуетъ правильному ея теченію, даже съ такимъ акомпаниментомъ, какъ періодически-обязательное переодѣваніе въ трико. И не примѣшайся тутъ неумѣстное любопытство юнаго гимназиста, приведшее его въ театръ, Арина Ивановна и до-днесь, въ кругу своего семейства, продолжала бы пользоваться наименованіемъ маменьки Арины Ивановны, при чемъ никто бы и не подозрѣвалъ, что съ этимъ именемъ связывается понятіе о какой-то Аспиччіи.

Положеніе Алексѣя Степаныча сходно съ положеніемъ этой женщины въ томъ отношеніи, что оба они устраиваютъ свою личную жизнь по возможности независимо отъ профессіи. Но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ Молчалинъ поставленъ даже выгоднѣе. Во-первыхъ, Аринѣ Ивановнѣ все-таки приходилось надѣвать трико, а Алексѣй Степанычъ трико не надѣваетъ, всенародно своихъ атуровъ не показываетъ и антрашà не выдѣлываетъ; во-вторыхъ, Молчалинъ свободенъ и отъ опасенія (и тоже опять потому, что мѣсто трико у него занимаетъ вицмундиръ), что дѣти его узнаютъ объ его профессіи и устыдятся ея. Конечно, можетъ-быть, настанетъ время, когда и онъ пойметъ и дѣти его поймутъ, что, собственно говоря, и вицмундиръ и трико... Тогда положеніе его, разумѣется, значительно

усложнится: но вѣдь когда-то еще это время настанетъ, а покуда...

Покуда Алексѣй Степанычъ—только «нужный человѣкъ», сношенія съ которымъ въ значительной степени облегчаются его благодушіемъ и еще въ бо̀льшей степени упрощаются такимъ же двоегласіемъ, которому не чуждо и существованіе лицъ, имѣющихъ до него дѣло.

Бываютъ совершенно безумныя условія, при которыхъ жизнь складывается тревожно, тоскливо, унизительно,—такія условія, когда человѣкъ, подъ гнетомъ смутнаго ожиданія чего-то непредвидѣннаго, приходитъ къ сознанію, что существованіе его не имѣетъ ничего яснаго, опредѣленнаго, что оно только терпимо, но и то лишь подъ условіемъ безпрерывныхъ, ничѣмъ не мотивированныхъ оглядокъ.

Подобныя неясныя существованія встрѣчаются на свѣтѣ чаще, нежели можно предполагать, и, говоря по совѣсти, они мучительнѣе самой суровой ясности. Насколько отвѣтственъ въ этомъ тотъ или другой человѣкъ персонально—этотъ вопросъ всегда казался для меня сомнительнымъ; но, во всякомъ случаѣ, нельзя объяснить его одною приверженностью интересамъ собственнаго мамона или черезчуръ исключительнымъ преобладаніемъ чувства самосохраненія. Скорѣе всего тутъ кроется цѣлая тина мелочей, очень цѣпкихъ, которая извращаетъ всѣ мотивы человѣческой дѣятельности да и самой потребности самозащиты сообщаетъ характеръ изнурительной изворотливости.

Барахтаясь въ этой тинѣ, гонимый угрозой чего-то, ежели не подлинно страшнаго, то непредвидѣннаго и застающаго врасплохъ, я тѣмъ охотнѣе обращаюсь къ Алексѣю Степанычу, что сквозь наносную кору молчалинства мнѣ удается угадывать въ немъ черты подлиннаго человѣческаго образа. При этомъ я, конечно, сознаю, что наша связь основана на недоразумѣніи, и что не будь этого послѣдняго, то и самому Алексѣю Степанычу врядъ ли пришло бы въ голову поддерживать эту связь послѣдовательно и по собственному интимному влеченію; но въ то же время—не скрою этого—я очень радъ, если успѣваю додуматься до чего-нибудь въ родѣ апоѳеоза молчалинства, лишь бы обойти недоразумѣнія и оправдать себя въ своихъ собственныхъ глазахъ.

По временамъ эта связь формулируется для меня въ видѣ слѣдующаго вопроса: ежели общественное значеніе Алексѣя Степаныча исчерпывается носимою имъ фамиліею

Молчалиныхъ, то твою, человѣче, роль въ сношеніяхъ съ нимъ—какимъ именемъ слѣдуетъ ее характеризовать?

Непріятны и щекотливы подобные вопросы,—этого отрицать нельзя. До того щекотливы, что при упорномъ преслѣдованіи могутъ побѣдить самое упорное чувство самосохраненія. Но щекотливость эту въ значительной мѣрѣ охлаждаетъ и развлекаетъ безалаберная и неклейная суголока жизненной обстановки. Покуда человѣкъ щекотится и раздумываетъ надъ собой, на него со всѣхъ сторонъ съ такой быстротой надвигаются волны всевозможныхъ жизненныхъ мелочей, что въ одно мгновеніе захлестываютъ и его самого и всѣ его вопросы. Счастіе это или несчастіе—судить не берусь; но могу засвидѣтельствовать, что тѣ же самыя мелочи, которыя возбуждаютъ мысль, онѣ же и притупляютъ ее или, лучше сказать, представляютъ ей всегда готовое мерзкое ложе для успокоенія. Повторяю: это—порочный кругъ, гдѣ одинъ и тотъ же мотивъ служитъ поводомъ для безконечно-блудной игры, въ которой раздраженіе и успокоеніе смѣняютъ другъ друга безъ всякой надежды на просвѣтъ.

На-дняхъ я получилъ отъ Алексѣя Степаныча записку, которая порядкомъ-таки взбудоражила меня. Записка гласила слѣдующее:

«Любезный тёзка! (Алексѣй Степанычъ любитъ, при случаѣ, подразнить меня «тёзкою»: вы, дескать, хоть и рядитесь въ костюмъ Чацкихъ, а копни-ка васъ—такими же Молчалиными, какъ и мы, грѣшные, окажетесь!). Получилъ я отъ одного человѣка, служащаго въ департаментѣ возмездій и воздаяній, цидулу, въ которой идетъ рѣчь объ васъ. Пишетъ, что вы, мой другъ, проштрафились, и, должно полагать, штрафъ предстоитъ съ васъ немалый, потому что дѣло о вашихъ провинностяхъ передано въ отдѣленіе воздаяній по преимуществу. А туда поступаютъ лишь такіе казусы, по которымъ слѣдуетъ ожидать, по малой мѣрѣ, поврежденія. Да и то, говоритъ, только по нынѣшнему снисходительному времени, а прежде — строже бывало. Однако вы не очень-то унывайте, потому что «человѣкъ» тутъ же присовокупляетъ: «такъ пусть пріятель твой постарается сію непріятную для него будущность предотвратить; мы же, для времени продолженія, заведемъ по сему предмету со всѣми мѣстами Россійской имперіи переписку». Слѣдовательно, вы такъ и поступите; не откла-

дывая дѣла въ долгій ящикъ, отправляйтесь-ка около полденъ въ департаментъ, подайте видъ, какъ будто имѣете дѣло къ самому директору, и въ ожиданіи заведите съ молодыми чиновниками разговоръ, не предвидится ли, молъ, новыхъ реформъ какихъ. Они — народъ вѣтреный, очень охотно о семъ говорятъ да, слово за словомъ, и объ той реформѣ объявятъ, которая и для васъ прописана. Тогда вы прямо и просите, чтобъ вамъ пути указали, какимъ образомъ ту реформу устранить».

Прочитавши это извѣстіе, я призадумался. Что Алексѣй Степанычъ не съ вѣтру предупреждаетъ меня о предстоящемъ членовредительствѣ—въ этомъ я ни на минуту не сомнѣвался. Но я такъ давно не былъ въ департаментѣ возмездій и воздаяній (болѣе двадцати лѣтъ), что становилось жутко при одной мысли о предстоящемъ путешествіи, хотя мнѣ и сказывали, что, благодаря либеральнымъ вѣяніямъ, департаментъ этотъ въ послѣднее время сдѣлался почти департаментомъ утѣхъ. Сверхъ того, мнѣ показалась нѣсколько досадною та чрезмѣрная уклончивость, съ которою было высказано обязательное предостереженіе Молчалина. Извѣщенія о поврежденіи имѣютъ слишкомъ острый характеръ, чтобъ не дѣйствовать на человѣка возбуждающимъ образомъ. Они не только порождаютъ въ его умѣ цѣлую свиту вопросовъ, въ родѣ: за что? въ какой формѣ проектировано возвѣщаемое поврежденіе? и т. д., но и заставляютъ искать немедленнаго ихъ разрѣшенія. А записка объ этомъ-то именно и умалчивала. Я согласенъ, что это— вопросы не особенно лестные для человѣческаго самолюбія, и что въ извѣстномъ возрастѣ (доживши до сѣдыхъ волосъ) даже нѣсколько конфузно предлагать ихъ себѣ; но ежели жизнь такъ складывается, что обмѣнъ мыслей представляется возможнымъ только на почвѣ «виноватъ» и «помилуйте!», то, какъ ни гоните отъ себя нелестные вопросы, они все-таки вторгнутся въ ваше существованіе и не дадутъ покоя, пока вы не сыщете для нихъ разрѣшенія, хотя бы даже мнимаго.

Но, независимо отъ всего этого, разрѣшеніе упомянутыхъ вопросовъ необходимо и потому, что относительно поврежденій практика выработала цѣлую систему или, лучше сказать, философію, обходить которую — тоже дѣло рискованное.

Мнѣ нужно знать: за что?—совсѣмъ не ради празднаго уясненія себѣ состава и характера содѣяннаго преступле-

нія, а для того, чтобъ составить планъ кампаніи и опредѣлить со всею точностью, какія я обязываюсь приносить оправданія. Съ тѣхъ поръ, какъ я живу на свѣтѣ, мнѣ такъ часто приводилось выслушивать восклицанія (даже отъ людей положительно мнѣ благожелательныхъ), въ родѣ: «ахъ, да какъ это вы!» или: «подумайте, что васъ ожидаетъ за это?»—что я и самъ ужъ пришелъ къ убѣжденію, что вся моя жизнь есть не что иное, какъ непрерывная цѣпь чего-то неключимаго, и что, стало-быть, я не въ томъ, такъ въ другомъ виноватъ. Но дѣло не въ томъ, что я виноватъ, а въ томъ, что, несмотря на «темную свиту преступленій»—я все-таки живъ. Живъ Богъ и жива душа моя!—благодарно восклицаю я и, какъ мнѣ кажется, восклицаю именно благодаря довольно сложной и отлично соображенной системѣ оправданій, которую я успѣлъ себѣ выработать. Въ оправданіяхъ этихъ я, конечно, уже понаторѣлъ, но все-таки, прежде нежели приносить ихъ, я долженъ сообразить ихъ размѣры съ размѣрами содѣяннаго преступленія. Быть-можетъ, я виноватъ только въ томъ, что, идя по улицѣ, ввелъ въ соблазнъ городового,—въ такомъ случаѣ я могу отдѣлаться только искреннимъ раскаяніемъ. Но ежели, введя въ соблазнъ городового, я еще позволилъ себѣ «разсуждать»—тогда вина моя уже сильнѣе, и, вмѣстѣ съ искреннимъ раскаяніемъ, я долженъ представить еще ручательство въ непремѣнномъ, на будущее время, «неразсужденіи». Наконецъ, ежели бы я... но нѣтъ! со мною *этого* случиться не можетъ. Однако-жъ, паче чаянія, если бы даже я не сдѣлалъ *этого*, но такъ показалось бы... о, тогда! представьте себѣ сами, каковы должны быть *тогда* размѣры моего оправданія!

Что же касается до вопроса о формѣ предстоящаго повреждения, то и его разрѣшеніе необходимо совсѣмъ не ради удовлетворенія празднаго любомудрія, а для того, чтобъ не выказать неумѣстной щепетильности, не зарекомендовать себя безпокойнымъ человѣкомъ, не утруждать по пустякамъ. Конечно, начальство вообще снисходительно выслушиваетъ оправданія; но мы, въ качествѣ подсудимыхъ, все-таки должны пользоваться этой прерогативой съ осмотрительностью, т.-е. утруждать только въ виду поврежденій несомнѣнно тяжкихъ. Поврежденія же среднія принимать съ довѣріемъ и безропотно.

Такова, милостивые государи, теорія оправданій, сама собой выработавшаяся на почвѣ «виноватъ».

Поэтому едва ли покажется удивительнымъ, что, прежде нежели выполнить совѣтъ Алексѣя Степаныча буквально, я рѣшился заявить ему о возникшихъ во мнѣ сомнѣніяхъ. Но, къ удивленію, онъ выслушалъ мои заявленія не только безъ обычнаго ему благодушія, но даже почти разсердился на меня.

— Очень ужъ вы набалованы, мой другъ, — сказалъ онъ:—оттого вамъ и думается, что тутъ діалогъ какой-то произойдетъ: вы вопросы будете предлагать, а вамъ будутъ отвѣты давать. Ничего не будетъ—вотъ что! Да и какая, скажите, корысть для васъ знать: за что? Вѣдь ежели не въ томъ, такъ въ другомъ—все-таки вы виноваты. Слѣдовательно, что ужъ тутъ. А между тѣмъ начальство не любитъ вопросовъ, закоренѣлость въ нихъ видитъ, неспособность къ исправленію. Вмѣсто того, чтобъ искренно, благородно: «виноватъ, ваше превосходительство!»—а вы все съ азартомъ да наступя на горло!

— Помилуйте, Алексѣй Степанычъ! человѣкъ хлопочетъ только о томъ, чтобъ какъ-нибудь поумнѣе предстоящее ему поврежденіе устранить, а вы какіе-то азарты да «наступя на горло» тутъ припутываете!

— Ну, положимъ... ну, не такъ я выразился! А все-таки... Прежде всего я й самъ ничего не могу на ваши вопросы отвѣтить, кромѣ: «не знаю!» Знаю, что нехорошо пахнетъ,—вотъ и все, и будетъ съ васъ! Да и у тѣхъ, которымъ доподлинно извѣстно, что и какъ,—и у нихъ освѣдомляться вамъ не совѣтую. Пользы нѣтъ—вотъ въ чемъ главное. Во-первыхъ, на вашъ вопросъ вы рискуете получить въ отвѣтъ: здорово живешь! — будете ли вы этимъ удовлетворены? Во-вторыхъ, если даже и снизойдутъ къ вашей немощи—лучше ли вамъ будетъ, если свитокъ-то этотъ передъ вами развернутъ, въ которомъ, какъ въ требникѣ, противъ всѣхъ заповѣдей всѣ грѣхопаденія записаны, да скажутъ: читай! Да каяться велятъ да приговаривать станутъ: ежели не дѣйствіемъ, такъ словомъ, а не словомъ—такъ помышленіемъ? Да въ заключеніе спросятъ: а теперь, молъ, сказывайте сами, какому вы за сіе возмездію подлежать должны?

— Полноте! этого нынче ужъ не бываетъ! вѣдь ежели и васъ по требнику экзаменовать начать, такъ и для васъ, пожалуй, на каторгѣ мѣста не найдется!

— Такъ-то такъ: кто Богу не грѣшенъ, царю не виноватъ, а все-таки и эту случайность предусмотрѣть не мѣ-

шаетъ. Прихоти-то, мой другъ, оставить нужно да проще на дѣло смотрѣть!

— Такъ, по-вашему, лучше не любопытствовать?

— Не любопытствуй, мой другъ!

— Ну, хорошо. Стало-быть, и вопросъ о формѣ поврежденія тоже праздный... прекрасно! Но согласитесь, что съ моей стороны все-таки никакого «наступя на горло» въ этомъ случаѣ не было, и что въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ я нахожусь, не только позволительно, но и вполнѣ естественно...

— Въ томъ-то и дѣло, голубчикъ, что объ естественности-то объ этой забыть надо. Все естественно знать: и за что, и что̀ за сіе ожидаетъ, да сдерживать себя надо, потому что естественность-то наша строптивою называется. А вы просто, безъ естественности... довѣрьтесь! Къ тому же, вы сами видите, что и начало «обстановочки» ужъ сдѣлано: со всѣми мѣстами Россійской имперіи переписка заведена. Покуда справки да отвѣты идутъ, а потомъ пойдутъ выборки да соображенія — смотришь, человѣкъ-то и живъ! Можетъ, и оправданій совсѣмъ приносить не придется—такъ, изморомъ все дѣло кончится, а вы себя загодя сомнѣніями да вопросами изнуряете!

— Хорошо; но какъ же все-таки сдѣлать? вѣдь я ни одного знакомаго лица въ департаментѣ возмездій и воздаяній не имѣю—съ какого повода, какъ и къ кому я туда явлюсь?

— А это ужъ и совсѣмъ просто. Нынче, мой другъ, вездѣ свободно; всякій можетъ придти, даже просто съ прогулки. Придти, выкурить папиро̀су и уйти. Вы, какъ придете, спросите у сторожа, скоро ли директоръ будетъ—этого и довольно. Затѣмъ, хотите—въ пріемной сидите, хотите—по коридору ходите: папироску закурите—сторожъ и спичку дастъ. Покуда вы курите, около васъ молодежь тамошняя соберется—сейчасъ и разговоръ промежъ васъ пойдетъ. Сколько, молъ, реформъ мы ужъ видѣли, а сколько таковыхъ еще подъ сукномъ состоитъ! Слово за слово—и сами не замѣтите, какъ вамъ и объ вашей реформѣ объявятъ. Да кстати и уму-разуму научатъ; и не просите—научатъ!

Совѣты Алексѣя Степаныча были настолько ясны и опредѣлительны, что на этотъ разъ я рѣшился послѣдовать имъ слѣпо. На другой же день, часовъ около одиннадцати утра, я забрался подъ арку къ площади и сталъ ожидать чи-

новничьяго хода. Передо мною разстилалась неоглядная пустыня, обрамленная всякаго рода присутственными мѣстами, которыя какъ-то хмуро, почти свирѣпо глядѣли на меня зіяющими створстіями своихъ безчисленныхъ оконъ, дверей и воротъ. При взглядѣ на эти черныя пятна, похожія на выколотые глаза, въ душѣ невольно рождалось ощущеніе какой-то упраздненности. Казалось, что тутъ витаютъ не люди, а только тѣни людей. Да и тѣ не постоянно прижились, а налетаютъ урывками, появятся, произведутъ какой-то таинственный шелестъ, помечутся въ безцѣльной тоскѣ и опять исчезнутъ, предоставивъ упраздненное мѣсто въ жертву оргіи архивныхъ крысъ, экзекуторовъ и сторожей.

Чиновничій ходъ начался только черезъ полчаса. Сперва повалили гольцы, пискари и плотва, повалили такою массой, что улица, дотолѣ казавшаяся пустою, вдругъ ожила. Гольцы и пискари шли рѣзво, играючи; плотва брела сонно, словно увѣренная, что крючка ей не миновать. Потомъ движеніе перемежилось, и уже въ одиночку потянулись головли, караси, лини и прочая чиновничья бѣль. Воображеніе мое было такъ возбуждено, что я намѣренно вглядывался въ эти физіономіи, думая уловить въ нихъ какія-либо неизгладимыя черты, свидѣтельствующія о страсти къ повреждениямъ. Но, къ удивленію, я встрѣтилъ только самую обыкновенную затасканность, сквозь которую едва-едва просачивалось озабоченное праздномысліе. Точно передо мной прошелъ рядъ швабръ, которыми уже такъ давно трутъ полы, что онѣ утратили даже характеръ швабръ и получили форму тощихъ и совершенно нецѣлесообразныхъ мочалокъ.

Когда для меня сдѣлалось яснымъ, что административная машина пущена въ ходъ, я тоже юркнулъ въ одну изъ зіяющихъ дверей сѣраго зданія—и пропалъ. Но и тутъ воображеніе обмануло меня. Я думалъ, что и стѣны, и лѣстница, и передняя — все будетъ «вопіять». Ничуть не бывало! На лѣстницѣ чувствовался сильный запахъ упраздненности — и только: въ департаментской передней пахло отчасти сторожами, отчасти бумажной червоточиной, острый запахъ которой проникалъ сюда изъ канцеляріи.

Сторожа приняли меня, какъ родного. Ихъ было двое, и, повидимому, жилось имъ тутъ отлично. Не только предупредительно, но почти съ ликованіемъ бросились они снимать съ меня пальто, и глаза ихъ смотрѣли [illegible]

такъ ясно, какъ будто говорили: сейчасъ-съ! пожалуйте! будьте знакомы! Пока я освобождался отъ верхняго платья, мимо меня бойко прослѣдовалъ курьеръ его превосходительства, молодой малый, который тоже смотрѣлъ отлично. Онъ отнюдь не давилъ высокомѣрнымъ сознаніемъ своей высокопоставленности, но весело поигрывалъ серебряной цѣпочкой, пропущенной сквозь пуговицы его темно-зеленаго казакина, и съ какою-то чрезвычайно милой загадочностью, казалось, говорилъ: сегодня его превосходительство изволили утромъ меня спрашивать — угадайте, объ чемъ?

— Его превосходительство...—началъ-было я, но одинъ изъ сторожей, помоложе, даже не далъ мнѣ продолжать.

— Пожалуйте! сейчасъ-съ! сейчасъ они будутъ! — заторопился онъ, словно боялся упустить меня:—ужъ и курьеръ съ портфелемъ пріѣхалъ. Полчаса, много часъ... А покуда не угодно ли посидѣть, — продолжалъ онъ, широко растворяя передо мной дверь въ пріемную:—вотъ здѣсь, на диванчикѣ... здѣсь покойно будетъ!

Новое разочарованіе! Я думалъ, что на меня со всѣхъ сторонъ налетятъ сбиры, какъ въ «Лукреціи Борджіа», а меня принималъ въ свои объятія добродушный русскій солдатикъ, который даже шпицрутеномъ хлеснуть не можетъ безъ того, чтобъ не произнести предварительно: «Господи-Владычица! Успленья-Матушка!»

Я всталъ у окна и отъ нечего-дѣлать началъ смотрѣть на площадь. Налѣво отъ меня была затворенная дверь, ведущая въ кабинетъ его превосходительства, направо— отворенная дверь, черезъ которую виднѣлась обширная анфилада комнатъ, занимаемыхъ канцеляріей. Кабинетъ сурово безмолвствовалъ, словно боялся выдать тайну; напротивъ, изъ канцеляріи доносился до меня непрерывный шумъ—вѣстникъ начинавшейся, но еще не установившейся канцелярской дѣятельности. Слышалось шарканье, хлопанье дверьми, щелканье замковъ, выдвиганіе ящиковъ, чирканье спичками; въ нѣсколькихъ мѣстахъ раздавалась имя Надежды Ивановны (я вспомнилъ, что наканунѣ Надежды были именинницы). Словомъ сказать, происходило все то, что обыкновенно происходитъ во всѣхъ публичныхъ мѣстахъ, въ родѣ кофеенъ, трактировъ, кафе-шантановъ и проч., въ тѣ неясныя минуты дня, когда «дѣятели» ужъ проснулись и принялись за чистку, но настоящая торговля еще не началась. Но ни малѣйшаго намека ни на то, что «здѣсь стригутъ, бреютъ и кровь отворяютъ», ни на «ба-

раній рогъ», ни на «Макара телятъ не гоняющаго» — ничего! Тихо, мило, благородно. Площадь изъ окна четвертаго этажа представлялась какою-то нелѣпою пустынею, на поверхности которой тамъ и сямъ двигались, словно на одномъ мѣстѣ топтались, крохотныя черныя точки; по ту сторону площади, на подоконникахъ казеннаго зданія, токовала несмѣтная масса голубей, какъ будто понимали умныя пернатыя, что нужно же какое-нибудь развлеченіе этому стаду праздномыслящихъ людей, тоскливо выглядывающихъ изъ оконъ всѣхъ четырехъ этажей.

— Покурить не желаете ли?—спросилъ меня тотъ самый сторожъ, который отворилъ мнѣ дверь въ пріемную.

— А можно?

— Даже мы куримъ... сторожа! Можетъ, у васъ огоньку нѣтъ? И огоньку достать можно (онъ чиркнулъ спичкой объ обшлагъ своего рукава и далъ мнѣ закурить). Курите съ Богомъ. А черезъ часъ, много черезъ полтора, и «они» будутъ... это безпремѣнно. Вы просить объ чемъ-нибудь?

— Да, придется, можетъ-быть...

— Такъ вы, когда они пріѣдутъ, въ канцелярію схоронитесь. Я вамъ въ то время шепну... можно ли, значитъ...

Сдѣлавши это наставленіе и снабдивъ меня на всякій случай еще двумя спичками (онъ даже показалъ, какъ нужно чиркать ими о подоконникъ), сторожъ оставилъ меня. Я сѣлъ у окна, взявъ со стола старый листъ газеты, и, въ ожиданіи событій, началъ читать. Въ газетѣ описывалось открытіе сезона въ театрѣ Берга, при чемъ выражалось мнѣніе, что, пригласивъ г-жу Бекка («а не Бѣка, какъ пишутъ въ нѣкоторыхъ газетахъ»), г. Бергъ тѣмъ самымъ доказалъ, что относится къ своей задачѣ серьезно. Черезъ минуту въ дверяхъ канцеляріи показался одинъ чиновникъ, разлетѣлся до половины комнаты, потомъ вдругъ всталъ, какъ вкопанный, словно объ чемъ-то вспомнилъ, искоса взглянулъ на меня и возвратился вспять. Вслѣдъ за нимъ разлетѣлся другой чиновникъ и повторилъ тотъ же маневръ. Наконецъ появился третій чиновникъ, который неслышными шагами, какъ будто у него сапоги на суконныхъ подошвахъ были, проскользнулъ уже прямо въ кабинетъ. Впрочемъ, онъ пробылъ тамъ лишь нѣсколько секундъ, пошуршалъ бумагами и, возвращаясь черезъ пріемную, остановился противъ меня. Я было-думалъ, что онъ вынесетъ изъ кабинета, по крайней мѣрѣ, хоть одно отношеніе

ное ухо, но и тутъ дѣйствительность не оправдала моихъ ожиданій.

— Вы—по дѣлу?—услышалъ я обращенный ко мнѣ вопросъ.

Передо мной стоялъ небольшого роста человѣкъ, еще не старый, но уже поблекшій и какъ будто надорванный. Голосъ у него былъ мягкій, слегка надтреснутый, грудь почти совсѣмъ пропала, большіе каріе глаза отливали какою-то грустною ласковостью. Болѣзненная потребность «послушанія» виднѣлась въ нихъ — потребность, не обусловленная никакимъ корыстнымъ побужденіемъ и не отступающая даже передъ загнанностью. Навѣрное этотъ человѣкъ и побѣжитъ куда слѣдуетъ, и дѣло въ одну минуту разыщетъ, и въ отсутствіе другихъ дѣлопроизводителей бумажку (разумѣется, не очень сложную) напишетъ. Его и изъ-за обѣда внезапно вытащить можно и ночью разбудить, и онъ никогда даже внутренно не поропщетъ. Это—тоже Молчалинъ, но Молчалинъ-аскетъ, Молчалинъ, окончательно освободившійся отъ всякихъ разсчетовъ преднамѣренной угодливости и пламенѣющій наголо и беззавѣтно. Казалось, въ немъ гдѣ-то далеко теплится какое-то очень отвлеченное убѣжденіе, не имѣющее ничего общаго съ его ежедневною дѣятельностью, но дающее ему силу усмирять въ себѣ всякій порывъ на протестъ. Убѣжденіе въ родѣ того, напримѣръ, что земля есть юдоль скорбей, въ которой люди должны «терпѣть». Оно подкралось къ нему, повидимому, очень давно, когда онъ еще не понималъ себя, и оттого не получило даже ясной формулы, а просто являлось естественнымъ закономъ его жизни. Такія личности всего чаще встрѣчаются въ монастыряхъ, но попадаются и въ чиновничьемъ быту, гдѣ спросъ на загнанность и беззавѣтность еще далеко не пересталъ существовать. Они неслышно, какъ тѣни, снуютъ по всѣмъ направленіямъ укрѣпленнаго лагеря, въ которомъ имъ предназначено бодрствовать, разговариваютъ съ мірянами ласково, но почти съ состраданіемъ, и глядятъ какъ-то чуднò, словно взоръ изъ глазъ уходитъ дальше видимаго предмета, стоящаго передъ ними. Игумены-начальники дорожатъ подобными подчиненными, но не даютъ имъ сильнаго хода, а отдѣлываются такъ-называемыми знаками довѣрія. Не потому, чтобъ они были неспособны, а потому, что нѣтъ въ нихъ ни настоящей чиновничьей цѣпкости, ни той веселонравной готовности во всякое время сочинять проекты о все-

общемъ обездоленіи, которая въ многообѣщающихъ личностяхъ уже съ молодыхъ лѣтъ позволяетъ провидѣть будущую «способнѣйшую бестію».

— Да, по дѣлу и, кажется, довольно непріятному,—отвѣчалъ я.

— Всѣ дѣла не особенно пріятны, — вздохнулъ онъ съ видимымъ сочувствіемъ ко мнѣ: — но не слѣдуетъ отчаиваться. Такъ вы ужъ потрудитесь подождать: черезъ часъ они будутъ. Папироску, можетъ-быть, желаете выкурить... отъ скуки? — прибавилъ онъ, какъ бы желая побаловать меня.

— Благодарю васъ, я сейчасъ курилъ.

— А еще? посидите, покурите. Или вотъ газету... Пишутъ, Бѣку какую-то привезли (лицо его освѣтилось при этомъ улыбкой, вѣроятно, ради доставленія мнѣ удовольствія *мірскимъ* разговоромъ)... Такъ потрудитесь ужъ подождать!—прибавилъ онъ, поощряя меня ласковымъ взглядомъ и дѣлая движеніе, чтобъ удалиться.

Но я вспомнилъ совѣтъ Алексѣя Степаныча, что нужно о реформахъ завести разговоръ, и рѣшился остановить ласковаго чиновника.

— А у васъ, кажется, довольно-таки дѣла?—приступилъ я стороною.

— Нельзя сказать. Вотъ у его превосходительства — точно что много дѣла. Вѣдь отъ нихъ все исходитъ и къ нимъ же опять все возвращается. Ну, а у насъ... нынче начальство у насъ снисходительное: сверхъ силъ не требуетъ!

— Однако-жъ все-таки... Помилуйте! сколько реформъ мы ужъ видѣли, а сколькихъ еще не видали... то-есть несомнѣнно увидимъ въ ближайшемъ будущемъ!

— Теперь мы отдыхаемъ; внутрь обратились. Внутри разбираемся,—сказалъ онъ, вовсе, повидимому, не стыдясь и не желая дѣлать тайны изъ временной пріостановки реформаторской дѣятельности. — Такъ вы ужъ будьте такъ добры, подождите!

Высказавши это, маленькій человѣкъ тою же неслышною поступью удалился отъ меня. Начиналась таинственность. Вотъ я и о реформахъ заговорилъ, думалось мнѣ, а *онъ* даже вниманія не обратилъ! видно, не такъ-то легко въ этомъ мѣстѣ завязываются разговоры о реформахъ, какъ предсказывалъ мнѣ Алексѣй Степанычъ. Что-жъ я однако-жъ буду дѣлать? Неужто-жъ такъ-таки прямо к[illegible]

во чрево кита? А ну, какъ *онъ* (не этотъ, а ужъ настоящій *онъ*, *онъ самый*), вмѣсто того, чтобъ входить со мной въ объясненія, прямо огорошитъ меня вопросомъ: а позвольте, скажетъ, узнать, какимъ образомъ вы *объ этомъ* провѣдали? Что я отвѣчу ему? Отвѣчу ли, что самая совѣсть моя подсказала мнѣ, что я *заслужилъ*, или же, просто-на-просто, запутаюсь въ противорѣчивыхъ разъясненіяхъ? И я съ безпокойствомъ слѣдилъ глазами, какъ маленькій человѣчекъ скользилъ по анфиладѣ, постепенно умаляясь въ пространствѣ, и наконецъ совсѣмъ исчезъ, смѣшавшись съ другими черными точками, мелькавшими въ отдаленіи.

— Это — экзекуторъ, — сказалъ мнѣ, вновь появляясь, прежній сторожъ, покуда я такимъ образомъ размышлялъ.

— Кто? вотъ этотъ чиновникъ, который сейчасъ со мной говорилъ?

— Да; генералъ ихъ страсть какъ любятъ!

И сторожъ опять исчезъ, оставивъ меня одного съ газетою. «Г-жа Бекка,—читалъ я въ газетѣ:—внесла совершенно новый элементъ въ исполненіе французскихъ шансонетокъ. Она не поетъ ихъ, а передаетъ говоркомъ, сопровождая эту передачу гримасами, не лишенными своеобразной граціи...» Но въ эту самую минуту, когда я вмѣстѣ съ авторомъ приступилъ къ сравнительной оцѣнкѣ достоинствъ г-жъ Бекка и Жюдикъ, въ передней послышалось движеніе, и вслѣдъ затѣмъ въ пріемной комнатѣ появилось новое лицо. Это былъ Молчалинъ-жуиръ, мужчина замѣчательно большого роста, утробистый, сильный, съ веселымъ и крупнымъ лицомъ и съ раскатистымъ голосомъ, валившимъ изъ него, какъ изъ протодьякона. Совершенно круглые и черезчуръ выпуклые глаза показывали, что онъ не чуждается даровъ Вакха, но что послѣднимъ не легко достается побѣда надъ нимъ. Однимъ словомъ, это была одна изъ тѣхъ замѣчательныхъ и нынѣ ужъ исчезающихъ личностей, которыя когда-то проводили дни за дѣлами, а ночи въ безпробудныхъ кутежахъ, и о которыхъ во времена оны складывались въ канцелярскомъ мірѣ цѣлыя легенды, переходившія отъ одного поколѣнія коллежскихъ регистраторовъ къ другому. Проходя мимо, онъ, какъ мнѣ показалось, внимательно взглянулъ на меня и остановился.

— Къ директору?—спросилъ онъ меня

— По дѣлу... тутъ дѣло есть у меня.

— На цугундеръ потянули... ха-ха!

— То-то, что не знаю...

— И знать не нужно. Знаете, какъ кузькину мать зовутъ—и довольно съ васъ! ха-ха!

— Однако-жъ все-таки...

— Ступайте въ курительную комнату — тамъ видно будетъ! А здѣсь вамъ дожидаться нечего. Вы отъ Алексѣя Степаныча?

— Да, я знаю его.

— Такъ ступайте въ курительную—теперь некогда. Сейчасъ наше зелье пріѣдетъ, такъ съ докладомъ еще разобраться надо... Стойте! А ну, какъ я возьму да и доложу ваше дѣло теперь же... ха-ха!

— А вы не докладывайте!

— Не докладывать... ха-ха! Бѣдокуры вы, господа! Начудесите тамъ, а для васъ обстановочки придумывай... ха-ха! Ну, съ Богомъ!

Напутствовавши меня такимъ образомъ, онъ сдѣлалъ быстрый полу-оборотъ и, грузно ступая, направился къ анфиладѣ, на всемъ протяженіи которой, покуда онъ шелъ, раздавался шумъ отодвигаемыхъ стульевъ.

— Да у васъ гдѣ дѣло-то, у кого въ отдѣленіи? — раздалось надъ самымъ моимъ ухомъ.

Я обернулся: около меня стоялъ тотъ же сторожъ, который, повидимому, рѣшился быть моимъ ангеломъ-хранителемъ.

— Въ отдѣленіи воздаяній по преимуществу, кажется...

— Такъ это они самые и есть.

— Кто «они»?

— Иванъ Семенычъ. У нихъ ваше дѣло.

— Гм!.. онъ мнѣ въ курительную совѣтовалъ идти.

— Такъ что же... и съ Богомъ! въ курительной, позвольте вамъ сказать, даже повадне́е будетъ. Тамъ и прочіе просители собрались... пожалуйте!

Курительная кишѣла народомъ. Это была небольшая и до крайности неопрятная комната, съ закоптѣлыми стѣнами и потолками, съ заплеваннымъ и усѣяннымъ папиросными окурками поломъ, съ верху до низу наполненная густымъ облакомъ дыма, сквозь который трудно было различать предметы. Когда я очутился тамъ, мнѣ показалось, что меня втолкнули въ арестантскую, и мнѣ вдругъ сдѣлалось до крайности неловко всѣхъ этихъ незнакомыхъ людей. Мнѣ казалось, что ко мнѣ подойдутъ и спросятъ: «вы что́ украли?» и что я тоже, когда «обойдусь», то буду предла-

гать такіе же вопросы. Разумѣется, это были предположенія совершенно безалаберныя и неосновательныя; тѣмъ не менѣе впечатлѣніе, производимое обстановкой комнаты, было именно арестантское. Мебели въ комнатѣ было чрезвычайно мало: четыре-пять стульевъ сомнительной прочности, разбросанныхъ тамъ и сямъ, и диванъ, на которомъ навѣрное отдыхали сторожа,—до такой степени онъ былъ замасленъ, оборванъ и скомканъ. Человѣкъ съ десять въ вицмундирахъ стояло отдѣльной группой посрединѣ; остальные курильщики размѣщались на диванѣ и по угламъ. Постороннихъ посѣтителей было трое, и всѣ они принадлежали къ числу *своихъ*. Во-первыхъ, дама, которая держала себя до того уже просто, что ее скорѣе можно было счесть за пріятную собесѣдницу, нежели за просительницу (послѣ оказалось, что это была сама вчерашняя именинница, Надежда Ивановна, имя которой не разъ доходило до моихъ ушей, покуда я сидѣлъ въ пріемной). Во-вторыхъ, господинъ въ военной формѣ, что-то въ родѣ пріѣхавшаго изъ провинціи капитана-исправника, который уже откланялся по начальству, но еще оставался въ Петербургѣ и продолжалъ посѣщать департаментъ не ради дѣла, а для того, чтобъ проникнуться духомъ и направленіемъ учрежденія. Въ-третьихъ, статскій господинъ, съ совершенно распутною физіономіей, имѣющій всѣ наружныя формы ростовщика или содержателя увеселительнаго заведенія, который, повидимому, былъ уже окончательно «рѣшенъ», но все еще изворачивался, какъ бы уклониться отъ этого рѣшенія. Словомъ сказать: и чиновники и просители составляли одну семью, что въ нашихъ присутственныхъ мѣстахъ случается нерѣдко. Бываютъ просители (особенно изъ провинціаловъ), которые до того сживаются съ своей ролью просителей, что даже не очень настаиваютъ на теченіи своихъ дѣлъ. Они приходятъ въ подлежащее мѣсто почти ежедневно, какъ въ клубъ, и нерѣдко ни однимъ словомъ не напоминаютъ объ официальномъ предметѣ своихъ посѣщеній, а курятъ, балагурятъ, разузнаютъ о похожденіяхъ начальниковъ, разговариваютъ о совершенно постороннихъ предметахъ и даже о своихъ семейныхъ дѣлахъ. Нѣкоторые изъ нихъ, начавъ знакомство съ чиновниками въ качествѣ просителей, продолжаютъ его уже въ качествѣ друзей, то-есть втираются въ чиновничьи дома и у себя устраиваютъ для чиновниковъ вечеринки и пироги.

То же арестантское чувство, которое испыталъ я при входѣ въ курительную, повидимому, ощутили, при моемъ появленіи, и прочіе бывшіе тутъ. Какъ старые арестанты, давно обжившіеся за желѣзными запорами и рѣшетками, оглядываютъ новичка и, покуда онъ конфузливо обдергивается, спрашиваютъ себя: какую-то новую струю внесетъ этотъ новый субъектъ въ ихъ старое, уже сложившееся сожительство?—такъ точно оглядѣли здѣсь и меня. Даже разговоръ моментально стихъ, точно перерѣзался, и только спустя минуту или двѣ возобновился опять.

— Да ты икру-то ѣлъ ли? (разговоръ шелъ, очевидно, о вчерашнихъ именинахъ) — спрашивала Надежда Ивановна одного изъ трехъ кавалеровъ, составлявшихъ ея компанію.

Это была довольно красивая женщина, хотя уже не первой молодости и значительно подержанная. Одѣта она была по-домашнему, въ блузу, и сидѣла на диванѣ, тоже совсѣмъ по-домашнему, нѣсколько сгорбившись и положивъ ногу на ногу, при чемъ курила папироску за папироской.

— Ѣлъ... какъ же! удивительная, безподобная икра! Ужъ у васъ, Надежда Ивановна, коли захотите угостить...

— Будетъ удивительная, какъ два съ полтинкой за фунтикъ заплатишь!—жеманилась Надежда Ивановна: — сама въ Чернышевомъ покупала, а у Елисеевыхъ да у Эрберовъ этихъ меньше трехъ рубликовъ къ такой икрѣ—и не подступайся!

— Что говорить! и кулебяка и икра — однимъ словомъ, все....

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Икра сама по себѣ — объ ней послѣ,—прервалъ другой кавалеръ, котораго, повидимому, интересовали вопросы совсѣмъ иного свойства:—а вы скажите-ка намъ, барыня, въ силу какихъ данныхъ вы утверждаете, что всѣ мужчины—подлецы?

— Всѣхъ васъ, пакостниковъ, на одной осинѣ повѣсить надо!—бойко пошутила въ отвѣтъ Надежда Ивановна, пуская кольца дыма.

— Стало-быть, въ жизни вашей бывали такіе случаи, вслѣдствіе которыхъ вы убѣдились, что на мужчинъ надежда плоха? ...

— Бывали-таки со мной случаи... много! Какъ въ Бессарабіи мы съ полкомъ стояли, такъ молдаване эти... вотъ мерзавцы-то! Турки, я тебѣ скажу, — и тѣ лучше! Совѣстливѣе.

— Гм!.. однако-жъ! должно-быть, строго поступали съ вами господа молдаване!

— Оттого-то я и говорю, что всѣхъ васъ на одной осинѣ повѣсить надо! А тебѣ, Лодырь Семенычъ, небось, завидно? Да ты что меня за колѣнки-то хватаешь? Отстань, говорю! Ну, а ты, Петръ Петровичъ, отчего вчера до ужина убѣжалъ? Я смотрю, гдѣ онъ, а онъ ужъ и лыжи навострилъ!

— Признаться сказать, не могъ... Во-первыхъ, своя именинница дома была, во-вторыхъ... Надежда Ивановна! голубушка! разскажите, что такое молдаване... что они такое могли... ну, однимъ словомъ...

— «Однимъ словомъ»—и будетъ съ тебя! Ну васъ! и не рада, что съ вами связалась! Кабы, кажется, не дѣло мое, давно бы я васъ, распостылыхъ...

Въ углу, около печки, шелъ другого рода разговоръ: молодой и очень шустрый чиновникъ прижалъ къ стѣнѣ штатскаго человѣка съ распутной физіономіей и допрашивалъ его:

— Ты зачѣмъ, позволь тебя, господинъ Расплюевъ, спросить, къ намъ шляешься? подслушивать? а?

— Помилуйте, Иванъ Павлычъ, побойтесь Бога! Этакое дѣло... въ двадцать четыре часа... Какъ же тутъ не хлопотать!

— Тебя не только въ двадцать четыре часа, тебя на свѣтъ родиться не слѣдовало допускать! Скажите, пожалуйста!.. въ двадцать четыре часа! И онъ удивляется! Это онъ-то, онъ-то удивляется! Да ты смотрѣлся ли въ зеркало-то когда-нибудь? видѣлъ ли, что за монументъ у тебя на плечахъ-то болтается? Въ двадцать четыре часа! это *онъ* говоритъ! Онъ!!

— За всѣмъ тѣмъ, Иванъ Павлычъ, позвольте вамъ доложить...

— Нечего «позвольте вамъ доложить»! Ты мнѣ скажи, сколько времени двадцать четыре часа для тебя продолжаются? а? Тебѣ срокъ указанъ, а ты не только существуешь, да еще сюда свою рожу непотребную показывать смѣешь! Брысь!

— Такъ ужъ я, Иванъ Павлычъ, буду въ надеждѣ-съ...

— Брысь, говорятъ! И если ты еще разъ... Въ двадцать четыре часа! Это ему не нравится—скажите, нѣжный какой! Вотъ покажись-ка ты у меня еще разъ сюда—узнаешь, какъ безъ прогоновъ въ три шеи съ четвертаго этажа летаютъ! Брысь!

Въ другомъ углу пріѣзжій военный человѣкъ выслушивалъ наставленія теоретическаго свойства.

— Цѣль нашего учрежденія,—ораторствовалъ солидный молодой человѣкъ:—заключается не столько въ пресѣченіи, сколько въ предупрежденіи. Никого не утѣсняя, всѣхъ ограждать—вотъ нашъ девизъ! или, лучше сказать, никому не давая чувствовать, вести дѣло такъ, чтобъ тѣмъ не менѣе всѣ почувствовали! Поэтому и вы должны такимъ же образомъ поступать!

Военный человѣкъ, вмѣсто отвѣта, закатилъ глаза въ знакъ того, что понялъ и намѣренъ слѣдовать неуклонно.

— Итакъ, повторяю: мы не жертвъ ищемъ!—продолжалъ чиновникъ.—Жертвы—онѣ принадлежатъ вѣдомству департамента вздоховъ, въ предѣлы дѣйствій котораго мы вторгаться не имѣемъ права! А мы — мы должны сосредоточить все вниманіе, всю дѣятельность нашу только на томъ, чтобъ подлежащія лица не оставались безъ воздаяній! Понимаете! не оставались *безъ воздаяній*.

Въ средней и самой многочисленной группѣ предметомъ разговора опять служила пресловутая Надежда Ивановна и вчерашній именинный фестиваль.

— Въ три часа пирогъ подали, потомъ ростбифъ, рыбу, жареную индѣйку—словомъ, полный обѣдъ. Потомъ сѣли мы за зеленое поле да такъ до 3-хъ часовъ утра и пропутались!

— Ай да Надежда Ивановна! Ура Надеждѣ Ивановнѣ! Господа! давайте, покачаемте Надежду Ивановну на рукахъ!

Во время этого панегирика Надежда Ивановна, сидя на диванѣ, блаженно вскидывала глазами на говорящихъ, постукивая въ тактъ ногою, и жеманно приговаривала:—Ну ужъ! нашли что! эка невидаль!

— Такъ и Иванъ Семенычъ, вы говорите, былъ?

— Еще бы! да и какъ еще удивилъ всѣхъ! Ну, вы меня знаете? Ну, люблю, кажется, я въ картишки поиграть! Такъ онъ и меня за поясъ заткнулъ! Въ третьемъ ужъ часу—мнѣ даже спину всю разломило—а онъ: сыграемъ да сыграемъ еще одну пулечку! Ну, потѣшили старика, сыграли, да на двадцать цѣлковенькихъ онъ насъ и наказалъ! Это—въ шестьдесятъ-то пять лѣтъ!

— Крѣпкій старикъ!

— И замѣтьте: играетъ, а около него бутылка хересу стоитъ. По рюмочкѣ да по рюмочкѣ — никакъ бутылка съ

три онъ въ теченіе вечера перемѣнилъ! И хоть бы въ одномъ глазѣ!

— Н-да; вчера въ ночь три бутылки хересу, кромѣ прочихъ напитковъ, выкушалъ, а нынче — на службѣ! Поди, догадайся, какъ онъ ночь провелъ!

— И докладываетъ?

— Не только докладываетъ, а всѣхъ насъ, молодыхъ, передоложитъ! Съ нимъ, я вамъ скажу, такой случай однажды былъ. Заложилъ онъ съ вечера, да, должно-быть, ужъ такъ достаточно, что всталъ да ничего и не помнитъ, только спрашиваетъ себя: «есмь азъ или не есмь?» Однако, по привычкѣ, побѣжалъ въ департаментъ, подошелъ къ своему столу да такъ и ахнулъ. На столѣ — вотъ этакая груда бумагъ, да все нужныя, все къ докладу. И докладъ-то—сейчасъ. Что-жъ бы, вы думали, онъ сдѣлалъ? Видитъ, что читать бумаги ужъ некогда, присѣлъ за столъ да въ четверть часа и навалялъ! Приходитъ это къ директору: «вы, говоритъ, вашество, изволили приказать написать докладъ о томъ, какія чувства надлежитъ признавать въ обывателѣ добрыми, и что отъ таковыхъ чувствъ для блага отечества ожидать предстоитъ?» Ну, тотъ хоть и не приказывалъ ничего, а тутъ сдѣлалъ видъ, что вспомнилъ: «читайте», говоритъ. И началъ онъ читать. И по-писанному-то читаетъ, и отъ себя тутъ же импровизируетъ... словомъ сказать, генералъ не вытерпѣлъ: всталъ и тутъ же его въ лобъ поцѣловалъ! «Прекрасно, говоритъ, это именно моя мысль была! Велите, говоритъ, поскорѣе циркуляръ заготовить да прикажите всѣмъ департаментскимъ чиновникамъ этотъ докладъ наизусть выучить, дабы они могли во всякое время и на всякомъ мѣстѣ на вопросъ: что такое добрыя чувства? — надлежащій отвѣтъ дать! А прочія дѣла мы до завтра отложимъ!»

— Ай да Иванъ Семенычъ!

И вдругъ вся курительная, словно подъ вліяніемъ волшебнаго манія, загудѣла:

«Добрыя чувства суть тѣ, кои, будучи при рожденіи самимъ Богомъ въ насъ вложены и впослѣдствіи воспитаніемъ въ казенныхъ заведеніяхъ развиваемы и утверждаемы» и т. д.

— И Богъ его знаетъ, какъ онъ это дѣлаетъ! И дѣла у него кипятъ, и за галстукъ онъ закладывать успѣваетъ, и стихи пишетъ! Читали ли вы послѣднюю его вещь, какъ онъ «Спаси, Господи» въ стихи переложилъ?

— Превосходно! Безподобно!

— Спаси, говоритъ, насъ и отъ того и отъ того: и отъ непрошенныхъ совѣтчиковъ, и отъ матеріалистовъ, и отъ нигилистовъ, и отъ стриженыхъ дѣвокъ, и отъ лекцій Сѣченова... Да, перечисливши-то все, вдругъ какъ выпалитъ: «По-бѣ-ѣ-ды!!»

— И это—послѣ трехъ-то бутылокъ хересу:

— Пьетъ хересъ—и пишетъ! потомъ коньяку, для разнообразія, спроситъ—и опять стихи пишетъ!

Наконецъ, ужъ совсѣмъ подлѣ меня, двое чиновниковъ бесѣдовали:

— Да, воротился. Мы-то думали, что ему совсѣмъ капутъ, а онъ еще прочнѣе прежняго засѣлъ!

— Тсс... а помните, какъ за границу-то онъ отправлялся?

— Да, многіе въ то время... Михалъ Михалычъ даже проводить его за нужное не счелъ, а теперь и тужитъ!

— Такъ вы говорите, что пріемъ ему хорошій былъ?

— Помилуйте! чего лучше! Идите, говоритъ, и дѣйствуйте!

— Н-да; такъ Михалъ Михалычъ... пожалуй, что Михалъ Михалычъ-то и прогадалъ!

— Чего хуже! и неблагодарность и недальновидность—все выказалъ! Ну, какъ было не предвидѣть? Ну, кѣмъ его замѣнить? Гдѣ у васъ люди-то? люди-то у васъ гдѣ?

— Главное—неблагодарность! Вѣдь онъ его изъ грязи вытащилъ! Тогда онъ, садясь въ вагонъ, даже со слезами это высказалъ! «Изъ грязи, говоритъ, я его вытащилъ... ммерзавца!» Зато теперь онъ ему все это выпоетъ! Все, скажетъ, можно простить, но неблагодарности—никогда!

— Вы думаете, значитъ, Михалу Михалычу въ чистую придется подать?

— Нѣтъ, до этого, вѣроятно, не дойдетъ, потому что вѣдь и Михалъ Михалычъ также... ну, кѣмъ его замѣнить! Гдѣ у насъ люди-то? люди-то у насъ гдѣ?

Словомъ сказать, сколько я ни прислушивался къ происходившимъ кругомъ меня разговорамъ, ничего членовредительнаго уловить не могъ. Это были обыкновенные житейскіе разговоры, характеризовавшіе людей, быть-можетъ, не особенно умныхъ, но и отнюдь не злыхъ. Замѣчательнѣе всего, что мнѣ не удалось услышать ни одного анекдота изъ сферы воздаяній, ни малѣйшаго примѣра сколько-нибудь оригинальнаго возмездія! Какъ будто всѣ эти анек-

доты и примѣры были разъ навсегда погребены въ какомъ-то «Полномъ собраніи анекдотовъ» и нѣтъ никому до нихъ дѣла, и останутся они въ забвеніи до тѣхъ поръ, пока М. И. Семевскій (лѣтъ черезъ сотню) не откроетъ ихъ и не украситъ ими страницъ «Русской Старины».

Однако на меня все-таки никто не обращалъ вниманія, и я уже начиналъ опасаться, что предполагаемаго разговора о реформахъ такъ-таки и не удастся мнѣ завести, какъ вдругъ неожиданное обстоятельство вывело меня изъ затрудненія. Покуда я сокрушался и роптalъ, въ комнатѣ появилось новое лицо. Я взглянулъ на вошедшаго — и сердце у меня такъ и захолонуло: это былъ... Тугариновъ! Тугариновъ, мой товарищъ по школѣ, съ которымъ я, правда, никогда не былъ особенно близокъ, а лѣтъ двадцать тому назадъ даже совсѣмъ потерялъ изъ виду, но котораго все-таки я никакъ не ожидалъ встрѣтить *здѣсь*, въ эту минуту! Несмотря на то, что самыя черты этого человѣка почти изгладились въ моей памяти, мнѣ сдѣлалось почти жутко, когда я увидѣлъ его. Съ своей стороны, и онъ узналъ меня, и ему тоже, повидимому, сдѣлалось жутко. Онъ влетѣлъ въ комнату съ разбѣга, бойко и весело, даже кому-то крикнулъ: «Петръ Егорычъ! а что же дѣло о...»—и вдругъ осѣкся. Лицо его покрылось красными пятнами, руки уставились врозь, папироска, которую онъ намѣревался сейчасъ закурить, не дрожала, а какъ-то плясала между указательнымъ и третьимъ пальцами...

— Тугариновъ!—началъ я первый:—вы... ты...

— Ахъ, да! вѣдь ты у насъ тутъ еще не бывалъ? — откликнулся онъ какъ-то ни къ селу ни къ городу, совсѣмъ смѣшавшись.

— Да, то-есть лѣтъ двадцать пять тому назадъ...

— Ахъ, такъ ты теперь совсѣмъ-совсѣмъ нашего департамента не узнаешь!—заторопился онъ:—пойдемъ, пойдемъ ко мнѣ въ отдѣленіе, я тебѣ покажу!

Онъ какъ-то неуклюже, почти насильно взялъ меня подъ руку и повелъ вонъ изъ курительной комнаты.

— Ты совсѣмъ нашего департамента не узнаешь! — взволнованно и спѣша объяснялъ онъ мнѣ, покуда мы пробирались рядомъ комнатъ до его отдѣленія:—теперь, братъ, у насъ совсѣмъ не то,. что было двадцать пять лѣтъ назадъ! теперь наша служба, благодаря Богу, получила совсѣмъ-совсѣмъ другое направленіе!

Онъ пододвинулъ мнѣ кресло, усадилъ меня и самъ сѣлъ,

— Ну, какъ тебѣ жилось? Говори! разсказывай... ссстарррый товарищъ! — началъ онъ, взявъ меня за руку и крѣпко сжимая ее.

Онъ опять покраснѣлъ и какъ-то нелѣпо стиснулъ зубы, какъ бы сдерживая сладкое волненіе, произведенное свиданіемъ со мной.

— Да нечего, признаться, разсказывать. Главное, вѣроятно, тебѣ извѣстно, а затѣмъ едва ли стоитъ говорить о частностяхъ.

— Какъ же! какъ же! знаю! читалъ, мой другъ! читалъ! Почитываемъ мы тебя... почитываемъ! Рѣзконько, голубчикъ!

— То-то вотъ! одни говорятъ: рѣзконько, другіе — мяконько... какъ тутъ быть! Одно могу сказать съ увѣренностью: ни ты, ни другой не найдете у меня и слѣда злоумышленій!

— Что ты! что ты! кто же объ этомъ даже въ мысляхъ держать можетъ! Напротивъ, *вся*—это я съ увѣренностью могу сказать—*вся* отдаютъ тебѣ въ этомъ отношеніи справедливость! И все-таки, голубчикъ, рѣзконько! Тѣни слишкомъ густы, свѣту нѣтъ! Немножко бы... чуточку! А впрочемъ, что-жъ я! Я-то объ чемъ хлопочу! Напротивъ, я не только съ удовольствіемъ, но даже съ наслажденіемъ... Особливо послѣднее... какъ бишь?.. Такъ такъ-то, братъ! Пописываешь?—прибавилъ онъ, дружески похлопывая меня по колѣнкѣ.

— Да, пишу... что-жъ!

— Помилуй! да ты никакъ думаешь, что я... да сохрани меня Богъ! Ты къ намъ по дѣлу, вѣроятно? Пустяки! я тебѣ въ одну минуту все обхлопочу! У кого твое дѣло?

— Говорили, что въ отдѣленіи воздаяній по преимуществу, а, впрочемъ, достовѣрно не знаю.

— Это у Ивана Семеныча! ну, стало-быть, твое дѣло—въ добрыхъ рукахъ! Это, братъ, человѣкъ! Мы всѣ здѣсь—его ученики! Это—человѣкъ убѣжденный и въ то же время не односторонній! Нѣтъ! не односторонній!

— То-есть какъ же не односторонній? мнѣ кажется, что самое дѣло, которое онъ дѣлаетъ, довольно односторонне...

— Да, это — одна точка зрѣнія. Но вѣдь служба, мой другъ, не исчерпывается однимъ исполненіемъ служебнаго долга... напротивъ! Мы, конечно, прежде всего сознаемъ свои обязанности передъ службой, но это не освобождаетъ насъ и отъ другой, высшей обязанности: обязанности быть

человѣчными и относиться къ заблужденію съ снисходительностью и безъ озлобленія! О, въ этомъ отношеніи очень-очень много въ послѣднее время сдѣлано, и ты не узнаешь нашего департамента, когда ближе познакомишься съ нимъ!

Затѣмъ онъ разсказалъ мнѣ, какой Иванъ Семенычъ — прекрасный сынъ, какъ онъ любитъ и холитъ свою старушку-мать, какъ много помогаетъ роднымъ и ближнимъ. А сверхъ того, онъ—музыкантъ и поэтъ.

— Да, и поэтъ. У него литературные вечера бываютъ. На-дняхъ онъ намъ переложеніе тропаря «Спаси, Господи» прочиталъ... н-да-а, съ кваскомъ-съ! не всѣхъ по шерсткѣ погладилъ! многимъ даже и очень не по вкусу пришлось! Сатира, да еще и какая!

— Какіе же литераторы у него на вечерахъ бываютъ.

— Свои, мой другъ, департаментскіе да вотъ изъ департамента вздоховъ еще... Иногда, впрочемъ, тѣнь Булгарина заходитъ... Иванъ Семенычъ даже журналъ хочетъ свой основать... у него для перваго нумера трагедія Баркова въ портфеляхъ хранится — вотъ, кабы ты зналъ! только врядъ ли цензура... Ахъ, душа моя! вѣдь и за нами въ тысячу глазъ смотрятъ! да еще какъ смотрятъ!

Онъ вздохнулъ, помолчалъ съ минуту, но такъ какъ я съ своей стороны ничего не говорилъ, то началъ опять:

— Да! давненько! давненько-таки! Много съ тѣхъ поръ воды утекло! Вотъ и у насъ въ департаментѣ... Конечно, существуетъ предубѣжденіе... но, право, ежели посмотрѣть на дѣло свободно...

Онъ взглянулъ на меня, какъ бы прося, чтобъ я хоть на минуту «взглянулъ свободно», въ видахъ разсѣянія предубѣжденія.

— Да, свобода взгляда—это... на что ужъ свободнѣе!— отвѣтилъ я, сдаваясь на его нѣмую просьбу.

— Ну, вотъ видишь, ты самъ это говоришь! — и мы то же самое утверждаемъ! Прежде—это такъ! Прежде чиновничество стояло какъ-то особнякомъ, взаперти, и, разумѣется, не могло внушать къ себѣ довѣрія, но нынче... Если сообразить, что сдѣлано въ этомъ смыслѣ въ послѣднее время, — такъ даже страшно, именно страшно становится! На послѣднемъ литературномъ вечерѣ одинъ пріѣзжій исправникъ читалъ намъ статью «Двадцать лѣтъ реформъ»—такъ это даже удивительно, какъ мы все это выдержали! А вы, господа, все недовольны! то-есть не ты собственно, а вообще...

— Помилуй! я даже очень доволенъ!—поспѣшилъ я выгородить себя.

— Ты—я знаю; а другіе!.. А между тѣмъ начать хоть съ нашего департамента... Сравни-ка нынѣшнюю процедуру съ той, которая существовала двадцать, двадцать пять лѣтъ назадъ... голова, мой другъ, закружится.

— Да, съ этой точки... разумѣется, прогрессъ несомнѣнный! Революціи... то-бишь реформы...—путался я, стараясь придать моему лицу благодарное и даже умиленное выраженіе. Но онъ, къ счастью, уже закусилъ удила и не слушалъ меня.

— Всеобщая апатія—вотъ главное и неисправимое зло нашей общественной жизни! вотъ наша рана! вотъ что разъѣдаетъ насъ! Никто ни объ чемъ не думаетъ, а слѣдовательно никто не можетъ и оцѣнить. А возьмемъ между тѣмъ хоть настоящій случай — съ тобою! Ты имѣешь до насъ дѣло... положимъ, даже непріятное... но какая однако-жъ разница между тѣмъ, какъ пошло бы это дѣло при прежнихъ порядкахъ — и какъ оно идетъ теперь! Во-первыхъ, въ прежнее время объектъ воздаяній не выслушивался, не приносилъ оправданій, чаще всего даже не зналъ, что объ немъ идетъ рѣчь. Онъ разрабатывался исключительно съ отвлеченной точки зрѣнія. Дѣло начиналось, созрѣвало и округлялось само собой, независимо отъ объекта и безъ всякаго вниманія къ тому, что онъ долженъ былъ ощущать вслѣдствіе этого созрѣванія и округленія. Наблюдалось, чтобъ всѣ отвѣты были получены, всѣ справки собраны, и когда являлась увѣренность, что надлежащее округленіе достигнуто... фюить!.. Все происходило, какъ въ сонномъ видѣніи... не такъ ли? правду ли я говорю, что все это именно было... и, къ счастію нашему—прошло?

— Правда,—согласился я:—все это именно такъ было, какъ ты говоришь!

— Теперь будемъ продолжать. Если таковы были отношенія «объекта» къ вопросу о предстоящемъ ему воздаяніи,—продолжалъ Тугариновъ:—то не меньшею фантастичностью отличались и отношенія самихъ дѣлопроизводителей къ принятымъ ими на себя обязанностямъ по сему предмету. Они исполняли эти обязанности безъ всякой руководящей нити, почти автоматически. Они не понимали, что можетъ быть и *очень* больно, и *умѣренно* больно, и *просто* больно; что хотя все это — стадіи одного и того же принципа воздаянія, но стадіи, находящіяся въ значительномъ

другъ отъ друга отдаленіи и потому требующія очень осторожнаго, очень тонкаго примѣненія. Они не различали бытія отъ небытія и потому съ неумѣстною расточительностью прописывали небытіе даже въ тѣхъ случаяхъ, когда достаточно было удовлетвориться лишь болѣе или менѣе легкимъ ограниченіемъ бытія. Прописать небытіе казалось легче, проще—вотъ они и прописывали. Словомъ сказать: ихъ отношеніе къ дѣлу было столь же неосмысленно, какъ и отношеніе самого объекта. И первые и послѣдній являлись орудіями и жертвой мрачнаго канцелярскаго фатума, который несся, какъ смерчъ, одинаково давя на пути своемъ и орудія и жертву. Не такъ ли? вѣдь правда? правду я говорю?

— Да, но ты забываешь, что орудія все-таки получали присвоенное имъ штатами содержаніе, тогда какъ «объектъ» пользовался только правами и преимуществами, проистекающими изъ слова «фюить».

— Объ этомъ — когда-нибудь послѣ. Когда-нибудь на свободѣ мы поговоримъ съ тобою, и ты убѣдишься, что пользованіе присвоенными окладами не всегда представляетъ усладу... но объ этомъ послѣ, послѣ. Теперь же будемъ продолжать. Итакъ, объяснивъ, какой процедурѣ подверглось бы твое дѣло при существованіи прежнихъ порядковъ, обратимся къ тому, въ какомъ положеніи оно находится нынѣ. Я, конечно, не буду утверждать, что теперь ты уже полный распорядитель своего дѣла, — нѣтъ, этого еще нѣтъ! (Но это *будетъ* и притомъ въ самомъ непродолжительномъ времени—въ этомъ тебѣ я ручаюсь... *я!*—прибавилъ онъ въ скобкахъ и при этомъ ударилъ ладонью по столу, какъ бы говоря: вотъ *она* тутъ, въ этомъ самомъ ящикѣ... ррреформа!!). Однако-жъ разница все-таки несомнѣнная и громадная! Во-первыхъ, ты уже *извѣщенъ!* Правда, ты извѣщенъ негласнымъ и, такъ сказать, не вполнѣ легальнымъ путемъ, но вѣдь легальность, мой другъ, бываетъ двоякая: легальность офиціальная и легальность хотя и неофиціальная, но *допускаемая*, и тебѣ, я полагаю, все равно, отъ той или отъ другой ты вкушаешь плоды... Согласись, что это — уже побѣда, благодаря которой передъ тобой освѣщается цѣлый путь. И вотъ ты идешь по этому пути, идешь не въ потемкахъ, не ощупью, а по прямому направленію къ самому источнику. Ты приходишь къ намъ, не заходя ни въ департаментъ преуспѣяній и препонъ, ни въ департаментъ устраненія и порожде-

нія недоразумѣній, хотя послѣдніе, вѣроятно, тоже ведутъ обширную переписку объ тебѣ и—кто знаетъ?—переписку, быть-можетъ, даже близкую къ окончанію!

При этомъ неожиданномъ откровеніи я даже привскочилъ на мѣстѣ отъ удивленія.

— Какъ!—вскрикнулъ я: — такъ, стало-быть, и еще въ двухъ департаментахъ могутъ находиться въ производствѣ дѣла... А можетъ-быть, и еще въ трехъ-четырехъ?

— Я не утверждаю этого навѣрное, но не могу утверждать и противнаго. Я долженъ сознаться, что относительно распредѣленія занятій у насъ остается желать еще очень многаго, и я первый сознаю, что, напримѣръ, департаментъ преуспѣяній и препонъ могъ бы быть присоединенъ къ нашему безъ особенныхъ затрудненій. Есть, конечно, черты очень существенныя, касающіяся круга дѣйствій, предѣловъ власти и т. п.; но, по моему мнѣнію, въ видахъ доставленія публикѣ удобствъ, не мѣшаетъ иногда жертвовать и существеннымъ. Почему, напримѣръ, абонементъ на итальянскую оперу объявляется иногда въ дирекціи императорскихъ театровъ, а иногда въ кассѣ императорскаго двора? Конечно, и тутъ есть основанія, и даже очень вѣскія; но, повторяю, въ видахъ удобствъ публики, лучше было бы остановиться на театральной дирекціи, какъ находящейся въ центральномъ мѣстѣ и притомъ помѣщенной въ первомъ этажѣ, а не подъ крышей. Утѣшаюсь однако-жъ тѣмъ, что это — вопросъ времени, точно такъ же какъ вопросъ времени — окончательная смерть «больного человѣка».

— Да, но въ ожиданіи этого времени у болгаръ...

— Успокойся, мой другъ, у насъ еще до этого не дошло. А чтобъ помочь тебѣ окончательно выяснить твое положеніе, я обѣщаюсь тебѣ во всѣхъ департаментахъ навести справки (онъ взялъ карандашъ и для памяти черкнулъ нѣсколько словъ на листѣ бумаги). Чортъ возьми! надо помогать другъ другу, особливо послѣ столькихъ лѣтъ, проведенныхъ рядомъ на школьной скамьѣ... сстарый товарищъ!

Онъ опять стиснулъ губы, въ знакъ сдерживаемаго волненія, и протянулъ мнѣ руку, которую я и пожалъ.

— Итакъ, ты приходишь къ намъ,—продолжалъ онъ:— и съ перваго же шага убѣждаешься, что мы, съ своей стороны, принимаемъ тебя съ распростертыми объятіями. У насъ — ты совершенно свободенъ. Ты можешь и въ

пріемной сидѣть, и ходить по коридору, и зайти въ курительную—дѣлай, какъ хочешь! Захотѣлось тебѣ покурить—кури! Захотѣлось почитать — къ услугамъ твоимъ листокъ газеты! Затѣмъ, если тебя интересуетъ знать, имѣется ли въ производствѣ дѣло объ тебѣ,—ты обращаешься къ подлежащему чиновнику, и онъ тебѣ прямо и безъ утайки говоритъ: есть. Мало того: онъ скажетъ тебѣ, въ какомъ періодѣ оно находится: въ періодѣ ли округленія, или уже приближается къ созрѣванію. Сообразно съ этимъ ты получаешь возможность дѣлать соотвѣтствующія распоряженія. Конечно, если ты захочешь знать, за что? и что именно тебя ждетъ? — этого тебѣ покуда не откроютъ, но и это, опять-таки, вопросъ времени. Принципіально неудобства канцелярской тайны уже осуждены, и ты увидишь, что не пройдетъ и двадцати лѣтъ, какъ отъ нея не останется и слѣда.

— Однако... двадцать лѣтъ!—изумился я.

— Что дѣлать, мой другъ! Человѣчество идетъ къ совершенству медленными, но за то вѣрными шагами, и мы можемъ только содѣйствовать ему на пути развитія, но отнюдь не побуждать къ тому насильственными мѣрами. Я понимаю, что соблюденіе канцелярской тайны можетъ возбудить досаду, но людямъ нетерпѣливымъ могу сказать одно: господа! имѣйте терпѣніе, вы видите, что дѣлается все, что можно! Сравните прежнюю процедуру съ теперешнею—и сознайтесь, что разница громадная! Не просите! не просите! Все будетъ сдѣлано—въ свое время! Но теперь—нельзя-съ!

Покуда онъ говорилъ, я смотрѣлъ на него. Въ немъ уже не оставалось того стыда, который онъ выказалъ при встрѣчѣ со мною. Лицо его уже не отливало багровыми пятнами, но было прилично-блѣдно и смотрѣло солидно и отчасти сурово. Голосъ не колебался, но звучалъ ровно и твердо. Рѣчь не путалась, но лилась плавно, словно была выхвачена цѣликомъ изъ докладной записки объ историческомъ развитіи формъ воздаяній и возмездій, которою, быть-можетъ, еще недавно онъ щегольнулъ передъ начальствомъ. А такъ какъ мнѣ никогда не приходило на умъ разсматривать вопросъ о воздаяніяхъ и возмездіяхъ въ пространствѣ и во времени, ибо для меня совершенно достаточно и тѣхъ воздаяній, которыя уготованы для меня *теперь*, то, признаюсь, мнѣ дѣлалось даже неловко выслушивать эту плавно-пустопорожнюю рѣчь, стремившуюся заставить меня

восчувствовать, что въ до-историческія времена формы воздаяній были не въ примѣръ солиднѣе, нежели въ наше время, когда.... Въ первый разъ съ той минуты, какъ я вступилъ подъ сѣнь департамента, на меня пахнуло скрытымъ членовредительствомъ. Въ первый разъ я почувствовалъ, что хотя теорія и смягчается практикой, но она все-таки не изгибла.

— Какъ бы то ни было,—продолжалъ онъ:—а сдѣлано все, чтобъ устранить испугъ и возбудить въ объектѣ воздаяній надежду на болѣе свѣтлое будущее. Какъ хочешь, а это—значительный шагъ впередъ, особливо если взять его въ связи съ тѣми предположеніями, которыя уже стоятъ на очереди и отчасти уже приняты въ принципѣ, отчасти же, по несвоевременности, хотя и отвергнуты, но именно только по несвоевременности! Но этого мало: нѣкоторыя изъ этихъ предположеній практикуются уже и теперь, благодаря системѣ негласныхъ ходатайствъ, которой хотя и не присвоено еще характера строгой дѣйствительной легальности, но которая, вслѣдствіе несомнѣннаго смягченія начальственныхъ нравовъ, уже пользуется всѣми правами легальной допускаемости. А это прямо приводитъ меня къ разсмотрѣнію другой стороны вопроса, а именно...

— Извини, сдѣлай милость, что я на минуту тебя перерву. Ты сказалъ сейчасъ, что существуетъ система негласныхъ ходатайствъ, которая хотя и не вполнѣ легальна, но уже пользуется допускаемостью... Такъ нельзя ли какъ-нибудь примѣнить эту систему...

— Въ томъ дѣлѣ, которое привело тебя сюда? Конечно, мой другъ! о, безъ сомнѣнія! безъ сомнѣнія! Но извини меня и ты въ свою очередь! позволь мнѣ развить до конца начатый мною очеркъ современнаго направленія нашего департамента. Признаюсь тебѣ: у меня такъ много накипѣло на душѣ, и мнѣ такъ отрадно было бы сообщить все это тебѣ... старый товарищъ!

Новое выраженіе едва сдерживаемыхъ чувствъ и новое пожатіе руки.

— До сихъ поръ я объяснилъ тебѣ только ту перемѣну, которая произошла въ объектѣ воздаяній. Но вѣяніе времени коснулось не его одного — оно коснулось и насъ, скромныхъ служителей принципа воздаянія. Оно морализировало насъ, оно раскрыло наши сердца и просвѣтило наши умы. Прежде чиновникъ былъ угрюмъ, теперь — онъ сообщителенъ; прежде чиновникъ хранилъ канцелярскую тайну

быть-можетъ, отчасти и потому, что не понималъ ея; теперь—онъ относится къ этой тайнѣ критически и готовъ, при удобномъ случаѣ, щегольнуть ею даже въ трактирномъ заведеніи. Это, конечно, уже крайность, увлеченіе, но увлеченіе—знаменательное! Съ тѣхъ поръ, какъ начались реформы,—а особливо съ тѣхъ поръ, какъ разрѣшено въ департаментахъ куреніе табаку, чиновникъ сдѣлался неузнаваемъ. Въ прежнія времена твое появленіе въ нашемъ департаментѣ было бы немыслимо иначе, какъ въ «сопровожденіи». Теперь ты приходишь самъ, и не только никто не отвращается отъ тебя, но всякій наперерывъ снѣшитъ подать тебѣ руку. Ты пересталъ быть «объектомъ», ты сдѣлался—человѣкомъ! И ежели это въ значительной мѣрѣ развязываетъ тебѣ руки, то это же самое дѣлаетъ величайшую честь тѣмъ, которые успѣли настолько поднять свой уровень, чтобъ сдѣлать себя доступными человѣчности! Это—прогрессъ, это—побѣда, это—почти переворотъ! Это до такой степени переворотъ, что, случись онъ въ другой странѣ, напримѣръ, въ Англіи или во Франціи,—въ носъ бы бросилось, другъ мой! А у насъ—кого тронулъ у насъ этотъ переворотъ? кто обратилъ на него вниманіе?

Онъ поникъ головой, какъ бы подавленный неблагодарностью, а можетъ-быть, и неразвитостью согражданъ. Минуты съ двѣ мы молчали: онъ—потому что собирался съ мыслями, я—потому что чувствовалъ себя въ положеніи человѣка, посаженнаго въ крапиву.

— Говорятъ, что Россія есть страна переворотовъ мирныхъ,—продолжалъ онъ:—что у насъ мѣропріятія возбуждаютъ не эфемерный энтузіазмъ, но болѣе прочное повиновеніе. Можетъ-быть, что это и такъ! Можетъ-быть, можетъ-быть... можетъ-быть! Но согласись, что это горько! что отъ этого «повиновенія» вѣетъ холодомъ! что̀ есть минуты, когда чувствуется потребность, когда къ сердцу подступаетъ... однимъ словомъ... ну, да что̀ объ этомъ! Такъ-то вотъ ты и у насъ, въ нашемъ департаментѣ... сстаррый, добррый товаррищъ!

Онъ наклонился ко мнѣ, и я уже видѣлъ минуту, что онъ поцѣлуетъ меня. Но вмѣсто того, чтобъ облобызать меня, онъ вдругъ покраснѣлъ, откинулся на спинку кресла и зажмурилъ глаза. Очевидно, ему показалось, что я отнесся къ нему слишкомъ ужъ сдержанно. А такъ какъ въ мои разсчеты вовсе не входило производить такого рода впечатлѣнія, то я, въ свою очередь, встревожился.

— Послушай,—началъ я:—такъ какъ же? собственно о *моемъ*-то дѣлѣ... какъ же ты полагаешь?

Онъ вновь открылъ глаза и на этотъ разъ посмотрѣлъ на меня, какъ мнѣ показалось, довольно иронически.

— Н-да? ты хочешь, конечно, чтобъ я тебя съ Иваномъ Семенычемъ свелъ? — сказалъ онъ: — охотно, мой другъ, съ величайшимъ удовольствіемъ! Но подожди минуту: я сейчасъ велю узнать, воротился ли онъ отъ доклада!

Онъ взялся за звонокъ; но Иванъ Семенычъ былъ легокъ на поминѣ, и едва успѣли мы произнести его имя, какъ онъ персонально явился передъ нами.

— А! писатель!—вскричалъ онъ:—я его ищу, а онъ вотъ гдѣ! Что, батюшка! къ Исусу потянули? трясутся поджилки-то? ха-ха!

— Нѣтъ, не поджилки, а вообще...

— Во всемъ, значитъ, тѣлѣ трясеніе... ха-ха! Знаю, батюшка! знаю! Самъ грѣшнымъ дѣломъ пописываю... знаю! ха-ха!

— Вотъ и я говорилъ, что вы литературой занимаетесь,— молвилъ Тугариновъ:—и что по пятницамъ...

— То-есть, я собственно не литературой, а поэзіей... ха-ха! Бряцаю при случаѣ... ха-ха!

— Мы вѣдь съ нимъ, Иванъ Семенычъ, товарищи! — пояснилъ Тугариновъ:—какъ же! въ школѣ... рядомъ... Старый товарищъ!

Тугариновъ протянулъ мнѣ руку; примѣру его послѣдовалъ и Иванъ Семенычъ, сказавъ:

— Очень радъ! очень радъ! а что касается до пятницъ, такъ милости просимъ! милости просимъ... ежели не побрезгуете... ха-ха!

— У Ивана Семеныча, мой другъ, очень многіе бываютъ, а между прочимъ и такіе люди, съ которыми тебѣ очень и очень не мѣшало бы познакомиться!

— Бываютъ, бываютъ... ха-ха! Ѳаддей иногда съ Волкова заходитъ... къ закускѣ... ха-ха! впрочемъ, съ Волкова ли? не со Смоленскаго ли?.. нынче вѣдь могилъ-то этихъ не помнятъ... ха-ха! Я и самъ, признаться, забылъ... Въ ту пору мы съ Кукольникомъ на похоронахъ-то были... или то-бишь не съ Булгаринымъ ли мы у Кукольника на похоронахъ-то были... ха-ха!

— А можетъ-быть, и у Греча?—пошутилъ Тугариновъ.

— А что вы думаете—и въ самомъ дѣлѣ у Греча! ха-ха.

Да, всѣ перемерли... литераторы. То-есть, хоть и остались еще литераторы—только не тѣ... ха-ха!

— А знаешь ли ты, что на послѣднемъ вечерѣ у Ивана Семеныча и твою вещь читали? Какъ, бишь, ее?

— Какъ же! читали... ха-ха! И какъ только васъ земля носитъ... ха-ха! Да, почитываемъ мы васъ... ха-ха!

— Такъ знаешь ли, какъ мы сдѣлаемъ,—обратился ко мнѣ Тугариновъ:—въ слѣдующую пятницу я заѣду за тобой—мы вмѣстѣ и отправимся къ Ивану Семенычу... безъ церемоній!

— Какія церемоніи... ха-ха! Очень радъ, очень радъ! Да вы не опасайтесь: мы не одною департаментскою поэзіей васъ угостимъ! мы не только читаемъ, но и вкушаемъ... ха-ха...

— Да еще какъ вкушаемъ-то!

И Тугариновъ, и Иванъ Семенычъ посмотрѣли на меня такими радостными глазами, точно имъ удалось «обрящить».

— А вѣдь я къ вамъ по дѣлу, Иванъ Семенычъ!—рискнулъ напомнить я.

— Есть и дѣльце... ха-ха! вотъ въ пятницу пожалуйте... тогда и разсмотримъ вкупѣ... ха-ха!

— Нельзя ли теперь?

— Загорѣлось... ха-ха! Да просто залучить васъ сюда хотѣлъ, посмотрѣть на васъ,—ну, и написалъ Алексѣю Степанычу цидулу! вотъ вамъ и дѣльце... ха-ха!

— Нѣтъ! вы шутите!

— А впрочемъ, есть и дѣльце, коли хотите, да не стоитъ объ немъ говорить! Словцо тамъ одно... ха-ха! Не бойтесь! мы его кругомъ пальца обвернемъ, дѣльце ваше! Самъ, батюшка, литераторъ... хотя и не нынѣшній, а знаю, ха-ха!

— Но въ чемъ же однако дѣло?—настаивалъ я.

— Говорю вамъ: не стоитъ тратить словъ... залучить васъ хотѣлось и успѣлъ въ томъ... ха-ха!

Мнѣ вдругъ сдѣлалось ужасно неловко, почти стыдно. Я и самъ не могъ дать себѣ отчета, почему стыдно; но какое-то непреодолимое желаніе «уйти» охватило все мое существо.

— Такъ, стало-быть, къ генералу... не надо?—лепеталъ я, не понимая, что я говорю.

— Къ какому генералу? Вотъ въ пятницу пріѣдете—и генерала увидите... ха-ха! Онъ будетъ даже радъ... Почи-

тываемъ мы васъ, батюшка, почитываемъ... ха-ха! Познакомитесь, поговорите, а между тѣмъ и дѣльце ваше... ха-ха!

Затѣмъ я просидѣлъ еще съ пять минутъ, и уже не помню, что происходило со мной. Помню только, что и я пожималъ руки, и мнѣ пожимали руки, и что когда наконецъ, почти шатаясь, я направился черезъ анфиладу къ выходу, то во всѣхъ комнатахъ меня сторожили любопытные, въ глазахъ которыхъ я явственно читалъ:

— Почитываемъ мы васъ, да, почитываемъ!

Глава VI.

Такимъ образомъ, благодаря «уступочкамъ» — съ одной стороны и «обстановочкамъ» — съ другой, молчалинская жизнь кое-какъ налаживается. Жизнь смурая, спутанная, сама себѣ не дающая отчета въ томъ, почему она называетъ себя жизнью, а не смертью.

Среди этихъ сумерекъ Молчалинъ, ихъ главный устроитель, чувствуетъ себя вполнѣ хорошо. Онъ не только счастливъ самъ лично, но убѣжденъ, что и другіе должны быть счастливы; что сумерки именно и представляютъ ту идеальную норму человѣческаго существованія, которая должна всѣхъ удовлетворить и за предѣлами которой начинается уже прихоть. Ухитивши свое гнѣздо, завоевавши себѣ: въ настоящемъ—тепло и сырость, въ будущемъ—завидную историческую безотвѣтственность, онъ съ истинно-молчалинскимъ благодушіемъ предаетъ забвенію свой недавній мартирологъ, окончательно успокоивается, разнѣживается и даже позволяетъ себѣ слегка помечтать.

Мечты его имѣютъ тотъ же дѣтски-непритязательный характеръ, которымъ отличается и вся его жизнь. Онъ видитъ себя въ отставкѣ, почившимъ отъ дѣлъ, сытымъ, благодаря получаемой пенсіи, благодарнымъ, свободнымъ отъ угрызеній совѣсти, почтеннымъ отъ сосѣдей и начальства и ни въ чемъ незамѣченнымъ. А главное, онъ видитъ себя окруженнымъ взрослыми Молчалиными-дѣтьми, прямо и безъ особенныхъ усилій утвердившимися на той же молчалинской колеѣ, которую онъ съ такимъ неслыханнымъ самоотверженіемъ для нихъ проложилъ.

Но тутъ-то именно и надвигается на Молчалина изъ-за угла совершенно новый и притомъ отнюдь не предвидѣнный имъ мартирологъ.

Истинно-больное мѣсто существованія Молчалиныхъ—

совсѣмъ не тамъ, гдѣ они сами его видятъ, совсѣмъ не въ ихъ прошломъ, хотя это прошлое и до краевъ переполнено лишеніями, обидами и униженіями. Не назади, а впереди ждетъ ихъ настоящая казнь, которая будетъ тѣмъ жесточе, что ее предстоитъ принять безпрекословно, не вдаваясь, даже втихомолку, въ разысканіе законности или незаконности поводовъ, обусловившихъ ея появленіе. И эту казнь имъ принесутъ—Молчалины-дѣти.

Эта новая казнь заставитъ на-ново перечувствовать всѣ казни прошлаго и къ старымъ обостреннымъ истязаніямъ прибавитъ новое неслыханно-жгучее истязаніе.

Какъ отнесутся Молчалины-дѣти къ дѣятельности Молчалиныхъ-отцовъ? Отвергнутся ли отъ нея съ суровой неумолимостью безповоротнаго убѣжденія или же, болѣе мягкосердечныя, подарятъ ей смягчающія обстоятельства... только смягчающія обстоятельства? Въ томъ или другомъ случаѣ—развѣ это не казнь?

Но, и помимо этой неизбѣжной казни, предвидится еще другая, не менѣе неизбѣжная. Дѣти... ахъ, эти дѣти! Хорошо, какъ они по наторенной молчалинской дорожкѣ пойдутъ, а вдругъ очутятся совсѣмъ не тамъ? Какъ ихъ старческими-то руками удержать? какъ старческими думами услѣдить за ними? какъ старческими словами урезонить ихъ?

— А ну, какъ Павелъ-то Алексѣичъ мой какъ-ни-наесть не доглядитъ за собой? — сказалъ мнѣ однажды Алексѣй Степанычъ, и, по моему мнѣнію, въ этихъ немногихъ словахъ онъ очертилъ цѣлый трагическій сценарій.

Современность пріучила насъ къ цѣлому ряду явленій, которыя мы легко укладываемъ съ перваго же намека. Домашній очагъ потухъ, семья или разорвалась, или сдѣлалась ареной какой-то сплошной трагедіи, разъясненія которой мы можемъ отыскивать по временамъ лишь въ стенографическихъ отчетахъ судебныхъ засѣданій. Но стенографическіе отчеты обстоятельны только по наружности; полнаго же внутренняго смысла развивающихся трагедій они уже по тому одному не могутъ передать, что очень компактная масса дѣйствующихъ лицъ остается совершенно внѣ предѣловъ ихъ кругозора. Эту компактную массу составляютъ Молчалины—отцы и матери. Они изнываютъ, мечутся, истекаютъ слезами и кровью и тѣмъ съ большею болью отзываются на удары судьбы, что послѣдніе падаютъ на организмы, уже обезсиленные прежними жизненными ударами.

Да, я не разъ задумывался надъ финаломъ, которымъ должно разрѣшиться молчалинское существованіе, и, признаюсь, невольно блѣднѣлъ при мысли объ ожидающихъ его жгучихъ боляхъ. Что бы ни произошло: отвернется ли Молчалинъ-сынъ отъ Молчалина-отца, или же онъ попросту, какъ выразился Алексѣй Степанычъ, «не доглядитъ за собою»—результатъ для Молчалина-отца во всякомъ случаѣ будетъ одинъ. Больно вездѣ: мозгъ горитъ, сердце колотится въ груди, спину переломило. Надо куда-то бѣжать, о чемъ-то взывать, надо шагъ за шагомъ перебрать всю прежнюю жизнь, надо каяться, отрицать самого себя, просить, умолять... И все это въ такія минуты, когда разсудокъ отказывается дѣйствовать, когда колеблющіяся ноги не могутъ выносить тяжести вдругъ осѣвшаго тѣла, когда съ каждымъ шагомъ такъ и кажется, что сейчасъ провалишься въ бездну, когда ничего не понимаешь, ничего не сознаёшь, когда «и въ мысляхъ», и на языкѣ одно только слово:

Дѣти! Дѣти!

Вотъ «больное мѣсто» беззащитнаго, безпомощнаго молчалинства. По мнѣнію моему, оно представляетъ поистинѣ неистощимый родникъ для размышленій, да и для художественнаго воспроизведенія въ немъ чуется весьма небезынтересная канва. Я даже думаю, что тутъ, именно тутъ и таится зерно той заправской русской драмы, которой доднесь никакъ не могла выродить изъ себя русская жизнь... Итакъ, настоящая, захватывающая духъ драма найдена!

Но кто же воспроизведетъ ее? и когда?

II.—ОТГОЛОСКИ.

I.—День прошелъ—и слава Богу!

Это было утромъ; я сидѣлъ за чаемъ и читалъ только-что принесенную газету. Ужасъ, что тамъ было: мужчинамъ рѣжутъ ноги, уши, живыхъ сжигаютъ, сажаютъ на колъ, женщинъ насилуютъ и стадами продаютъ въ гаремы, дѣтей бросаютъ вверхъ и принимаютъ на штыки... Это въ газетахъ такъ, а какова должна быть дѣйствительность! Каково тутъ быть, видѣть! Представьте только себѣ, летитъ съ высоты ребенокъ и падаетъ на подставленные штыки...

Я закрылъ глаза — какъ будто это ужасное зрѣлище произошло передо мной въявѣ. Я видѣлъ этого ребенка, я чувствовалъ себя отцомъ его. Всѣ внутренности во мнѣ жгло и рвало. *Мой* ребенокъ... въ моихъ глазахъ... Тотъ самый, на котораго я не зналъ, какъ налюбоваться, не зналъ, какъ его приголубить... онъ!! Тотъ самый, который, съ минуты своего рожденія, взялъ у меня сердце, внутренности—все... Нѣтъ! это—безуміе! Еще моментъ—и я готовъ былъ метаться. Безсильно, безнадежно, какъ мечутся люди въ предсмертной тоскѣ.

Не знаю, какимъ образомъ разрѣшился бы для меня этотъ неслыханный кошмаръ, если бы, къ моему облегченію, въ эту минуту не раздался въ передней звонокъ.

Мы, люди культурнаго слоя, возбуждаемся очень легко. Художественные инстинкты до такой степени въ насъ развиты и выхолены, что самые чудовищные образы воспроизводятся нами мгновенно и во всѣхъ подробностяхъ. Мы поражаемся быстро, сильно и даже искренно, но—увы!—

какъ-то ужъ черезчуръ беззавѣтно. Какъ будто не понимаемъ и не хотимъ понимать, что и для инстинктовъ художественности нужно какое-нибудь практическое разрѣшеніе. Къ какимъ практическимъ результатамъ могъ бы привести меня *мой* порывъ?—я рѣшительно ничего не могу отвѣтить на этотъ вопросъ. Быть-можетъ, у меня заболѣла бы голова, я былъ бы вынужденъ лечь въ постель, и затѣмъ все прошло бы сномъ. Быть-можетъ, въ томъ же родѣ исходъ представила бы мнѣ какая-нибудь другая, чисто внѣшняя случайность: пришелъ бы портной примѣрить платье, или «бѣдная кузина» вытурила бы изъ квартиры хлопотать объ мѣстѣ для ея мужа... Достовѣрно извѣстно одно: что подобные порывы не отличаются особенной устойчивостью, и что какъ бы ни богата была сила художественной воспроизводительности, но она, слава Богу, рѣдко кого изъ культурныхъ людей доводила до коренныхъ рѣшеній.

По силѣ удара звонка я догадался, что пришелъ другъ мой Глумовъ—и это былъ дѣйствительно онъ. Покуда онъ снималъ въ передней пальто, я уже чувствовалъ, что мой кошмаръ мало-по-малу таетъ; тѣмъ не менѣе, первымъ моимъ движеніемъ, при его появленіи, было наскочить на него и воскликнуть:

— Ну, на! ну, читай! Читай вотъ... читай!

Но онъ даже не взглянулъ прямо, а какъ-то искоса посмотрѣлъ на мои ноги, какъ будто хотѣлъ сказать: экъ тебя подмываетъ! и при этомъ легонько отвелъ меня отъ себя рукой.

— Читалъ,—отвѣтилъ онъ сквозь зубы.

— Ну, и что-жъ?

— Читалъ—вотъ и все,—повторилъ онъ съ возрастающей загадочностью.

Но для меня этого было недостаточно. Хотя художественная картина № 1-й, изображавшая обугленныхъ людей и дѣтей, принимаемыхъ на штыки, уже въ значительной мѣрѣ поблѣднѣла, но при видѣ Глумова, съ его загадочностью, нервы мои вновь поднялись, и новый мотивъ вдругъ переполнилъ все мое существо. Сейчасъ же вынырнула художественная картина № 2-й: позоръ! позоръ! позоръ!

— Но вѣдь это—позоръ!—опять наскочилъ я на Глумова:—пойми наконецъ: позоръ! позоръ! позоръ!

— А тебѣ что?—процѣдилъ онъ, бросая на меня косой, почти злобный взглядъ.

— Какъ «что»! Но понимаешь ли... вѣдь это наконецъ—ужасъ! Цѣлый адъ тамъ... сатана тамъ... понимаешь ли: сатана!

Я задыхался; картина № 1-й, совсѣмъ-было исчезнувшая, опять засвѣтилась; сатана, съ его немыслящимъ, искони потухшимъ взоромъ, такъ и надвигался на меня изъ глубины...

— Кому—«ужасъ», а ты живи въ свое удовольствіе!—угрюмо проговорилъ Глумовъ, дѣлая рукой нетерпѣливое движеніе.

Ясно, что съ его стороны было что-то преднамѣренное. Не то чтобъ онъ не интересовался *этимъ*, но онъ не хотѣлъ почему-то говорить, и именно *со мной* не хотѣлъ говорить. Картина № 2-й исчезла въ свою очередь; на ея мѣстѣ явилась картина № 3-й съ надписью: «Оскорбленное самолюбіе».

— Ты это что говоришь?

— Говорю: живи въ свое удовольствіе!

— Ты это, конечно, затѣмъ говоришь, что *для меня* и такого разрѣшенія достаточно?

— Не для тебя одного, а вообще... Живите, говорю, въ свое удовольствіе—вотъ и все!

Я вспыхнулъ.

— Тутъ совсѣмъ жить нельзя, а онъ объ какой-то жизни въ свое удовольствіе твердитъ!—воскликнулъ я:—нельзя жить, нельзя! Мерзко! противно! подло!

— А коли тебя такъ мутитъ, такъ пошли въ «дамскій кружокъ» три цѣлковыхъ—можетъ, и полѣгчитъ!

Старинная товарищеская привязанность къ Глумову въ значительной степени помогаетъ мнѣ выносить его выходки, несмотря на то, что по временамъ онѣ бываютъ обидны. Но на этотъ разъ поведеніе его показалось мнѣ даже не обиднымъ, а просто нелѣпымъ.

— А знаешь ли,—сказалъ я:—съ твоей стороны, это даже глупо!

— Что же особенно глупаго?

— А все, весь твой разговоръ. Глядишь ты глубокомысленно: слово скажешь—словно рублемъ подарить хочешь... Ну, сообрази въ самомъ дѣлѣ: что такое ты сейчасъ нагородилъ?

— Изволь, я и другое что-нибудь скажу. Напримѣръ: познай самого себя!

— Ну-съ, дальше-съ!

— А дальше: и сообразно съ симъ распорядись. То-есть опять-таки: вынимай три цѣлковыхъ и отправляй ихъ въ «дамскій кружокъ»!

Сердце во мнѣ такъ и кипѣло. Но меня въ особенности поразило, что онъ двукратно и, конечно, не безъ намѣренія указалъ на «дамскій кружокъ». Какъ будто бы я...

— Ха-ха! но почему же именно въ «дамскій кружокъ»?

— А потому, что ты—художникъ, ну, а тамъ дамочки... Помнишь, какъ у Толстого въ «Аннѣ Карениной»: дамочки, бутылочки, рюмочки...

И онъ точно такъ же вкусно потянулъ въ себя воздухъ, какъ и Стива (въ «Аннѣ Карениной»), проснувшись на другой день послѣ грѣхопаденія.

— А вѣдь ты, Глумовъ, и самъ... художникъ!—не удержался, сказалъ я.

— Знаю.

— И что-жъ?

— Я и себѣ давнымъ-давно сказалъ: познай самого себя, то-есть неси три цѣлковыхъ, и понимай, что это—единственный подвигъ, который довлѣетъ тебѣ.

— Но вѣдь это—срамъ!

— Срамъ и есть.

— И ничего дальше?

— Дальше опять то же: отправивши, куда слѣдуетъ, три цѣлковыхъ,—живи въ свое удовольствіе!

Обида была нѣсколько смягчена. Своимъ признаніемъ Глумовъ ставилъ себя на одинъ уровень со мною—это все-таки былъ уже выигрышъ. Но я не удовольствовался смиреніемъ, косвенно высказаннымъ Глумовымъ, и продолжалъ:

— Однако неужто ты и въ самомъ дѣлѣ считаешь... ну, напримѣръ, хотя меня или себя... неужто мы не способны ни на какую другую жертву, кромѣ трехъ цѣлковыхъ?

— Нѣтъ, мы и добровольцами можемъ быть... Хотя... какой же, напримѣръ, ты добровольцъ!

Я инстинктивно вглянулъ на себя въ зеркало и долженъ былъ убѣдиться, что, дѣйствительно, добровольцемъ быть не могу. Затѣмъ разговоръ нашъ какъ-то круто оборвался. Глумовъ, тяжело ступая и смотря въ землю, ходилъ по комнатѣ; по временамъ онъ что-то напѣвалъ, но какъ-то капризно, своеобразно: то тихо, словно про себя, мурлычитъ, то вдругъ выкатитъ колѣно по-протодьяконски и при этомъ даже кулакъ покажетъ. Я молча слѣдовалъ за нимъ, словно выжидалъ, не явится ли на

ручку художественная картина № 4-й, вмѣсто исчезнувшихъ трехъ.

И дѣйствительно, словно облако остановилось у меня передъ глазами. Сначала оно было темное, тусклое, но по мѣрѣ того, какъ я въ него вглядывался, оно постепенно блѣднѣло, таяло и наконецъ сдѣлалось совсѣмъ прозрачнымъ. И вотъ—картина!

— А помнишь ли, Глумовъ, самарскій голодъ?—спросилъ я, при чемъ начало вопроса вышло у меня какъ-то нерѣшительно, но за то конецъ звучалъ уже почти восторженно.

— Помню.

— Что-жъ, и тогда... развѣ и тогда ты относился къ народному бѣдствію съ такимъ же безучастіемъ, можно даже сказать, безсердечіемъ, какъ относишься теперь къ страданіямъ нашихъ собратій по крови?

Глумовъ какъ-то гадливо сморщился при этомъ вопросѣ—точно ему показалась до крайности назойливою моя претензія во что бы то ни стало запустить ему иглу въ живое мясо.

— Надоѣлъ ты,—началъ было онъ, но, впрочемъ, сдержался и продолжалъ:—гм!.. да... такъ ты о самарцахъ спрашиваешь? Что-жъ! я и тогда говорилъ: живи въ свое удовольствіе!

— Но вѣдь это безнравственно!

— Разумѣется, безнравственно.

— Какъ же это однако-жъ! Ты говоришь: «безнравственно», и въ то же время самъ...

— Это я тебѣ частнымъ образомъ говорю: безнравственно. Можетъ-быть, что я даже и сознаю это... тоже частнымъ образомъ. Но вѣдь изъ моего личнаго сознанія шубы не сошьешь, если оно никакихъ обязанностей на меня не налагаетъ—вотъ что!

— Какъ такъ?

— Не хотѣлось мнѣ объ этомъ говорить, да и шелъ я къ тебѣ совсѣмъ не съ тѣмъ... Ну, да ужъ если ты настаиваешь—давай, будемъ разговаривать. Только поскорѣе. Вотъ, изволишь ли видѣть, правильно ли, нѣтъ ли, а я думаю такъ: покуда шкура на мнѣ толста и прочна (можетъ-быть, она и не такъ ужъ прочна, какъ я полагаю, да вѣдь, поди-ка, убѣди меня въ противномъ!)—до тѣхъ поръ я все буду сидѣть въ ней, словно въ крѣпости. Сидѣть и приговаривать: живи въ свое удовольствіе!

— Но вѣдь есть же сознаніе безнравственности, безчест-

ности такого сидѣнія въ собственной шкурѣ! Что же ты съ этимъ сознаніемъ-то сдѣлаешь?

— Посмакую это сознаніе, можетъ-быть, даже умилюсь надъ нимъ. А матерью всѣхъ моихъ сознаній все-таки останется сознаніе толстоты собственной шкуры. Пока оно сидитъ во мнѣ прочно—всѣ прочія сознанія или стушуются передъ нимъ, или явятся въ видѣ предмета умственной гастрономіи. Начитавшись газетъ или книжекъ, я, смотря по обстоятельствамъ, или умилюсь, или вознегодую, но въ концѣ концовъ все-таки скажу: а вѣдь хорошо, что шкура-то у меня толста!

— Воля твоя, а это—поскудство! совѣсть вѣдь вопіетъ! стыдъ!

— Безтолковый ты человѣкъ! Говорю тебѣ, что я лично, коли хочешь, ужъ давнымъ-давно со стыда пропадаю, да толку-то въ этомъ нѣтъ! Не въ томъ дѣло, что я стыжусь, а въ томъ, что эта способность стыдиться есть мое личное, ни до кого не относящееся качество! Я стыжусь—хорошо! но если бы я *не* стыдился—отъ этого я былъ бы только цвѣтнѣе и крупичатѣе. Самарцы голодали—эка штука! вѣдь оттолодали же какъ-нибудь! Такъ точно и теперь съ болгарами, сербами и проч. Когда-же-нибудь и какъ-нибудь это кончится, а я между тѣмъ буду жить въ свое удовольствіе.

— Что-жъ это за рецептъ такой: живи въ свое удовольствіе?

— Ну, жри! Надоѣстъ жрать—пей! Надоѣстъ пить—дамочки есть!

— Хорошо, коли кто вмѣстить такую доктрину можетъ! а другого, пожалуй, и стошнитъ съ нея.

— Небось, не стошнитъ! Вотъ мы съ тобой—художники; стало-быть, всякую штуку живьемъ себѣ представить можемъ; да и то, пойдемъ сейчасъ къ Борелю завтракать, да развѣ по случаю пищеваренія вздохнемъ объ герцеговинцахъ... А представь себѣ, у кого и художественности-то этой нѣтъ—вѣдь этакому-то субъекту, будь хоть разсамарцы, хоть разболгаре — во всякое время не жизнь, а масленица.

Картина № 5-й. Просторная комната у Бореля, съ накрытымъ по серединѣ столомъ. Бѣлоснѣжная скатерть, фарфоръ, хрусталь, серебро — все такъ и блеститъ. Татары суетятся около закуски; метръ-д'отель глубокомысленно и обстоятельно обсуждаетъ меню; соммелье застылъ у дверей,

съ картой въ рукахъ, въ выжидающей позѣ... Всѣ *они* тутъ:—и Петька, и Сережка, и Левушка, и Володя. Желудки томятся и сладко ноютъ въ ожиданіи чего-то прелестнаго. Изъ сосѣдней комнаты доносятся женскіе голоса. Тамъ—тоже свои Петька, Сережа, Левушка, Володя... И во всѣхъ комнатахъ одна и та же неизбѣжная дѣвица Сузетта... А въ кухнѣ, на плитѣ, что-то пыхтитъ и поарумянивается, а въ погребѣ, изъ мрака, затканнаго паутиной, бережно, словно новорожденный младенецъ, выносится на божій свѣтъ таинственная бутылка... Ахъ, что-то на днѣ у нея, у этой бутылки?

Нѣтъ, Глумовъ неправъ. Не толста шкура у тѣхъ, которые съ такою ясностью могутъ выработать въ одинъ моментъ какія угодно художественныя картины! захотятъ — неистовства турокъ въ Болгаріи воспроизведутъ, захотятъ— неистовства русскихъ «гарсоновъ» въ ресторанѣ Бореля изобразятъ!

— Что-жъ, ѣдемъ, что ли? — круто прервалъ Глумовъ мои сладкія размышленія.

— Куда?

— Разумѣется, къ Борелю. Славяне—славянами, а завтракать надо. Тюрбо, братецъ привезли... sauce normande— это что-жъ такое! Наши будутъ; Левушку Колѣнцова сегодня поздравляютъ: вѣрную надежду, говоритъ, получилъ.

— Левушка! Куда же? въ провинцію? Не можетъ быть!

— Вѣрное слово, хвалится. Говоритъ: въ газетахъ надняхъ увидите. Законы, говоритъ, сочинять буду... хохочетъ—веселый такой!

Картина № 6-й. Левушка—въ Семіозерскѣ; сидитъ въ своемъ кабинетѣ и обдумываетъ, какой бы ему законъ сочинить. Онъ веселъ и здоровъ. Тѣло у него крупичатое, щеки розовыя, уста алыя, подернутыя улыбкой, лобъ гладкій, плечи жирныя, грудь колесомъ, брюшко круглое, посадка женская, ящичкомъ. Онъ безпримѣрно, «до сихъ поръ», счастливъ. Счастливъ и тѣмъ, что мѣстный клубъ втрое больше противъ прежняго посѣщается—значитъ, развивается общественность; и тѣмъ, что на углу Дворянской и Московской улицъ купецъ Фурсиковъ открылъ новый бакалейный магазинъ — значитъ, развивается промышленность; и тѣмъ, что содержатель гостиницы «Синопъ» выписалъ изъ Москвы хоръ цыганъ — значитъ, зарождается вкусъ къ изяществу; и тѣмъ, что купецъ Лапотниковъ отлилъ новый колоколъ для приходской церкви — зна-

читъ, и благочестіе не оскудѣваетъ. Словомъ сказать, счастливъ.

— Что я имъ буду писать?—мысленно спрашиваетъ онъ себя:—зачѣмъ?

Въ его умѣ пробѣгаютъ всевозможныя: «воспрещается» и «разрѣшается», но прежде, нежели мысль успѣваетъ выработать, что именно воспрещается или разрѣшается, является вопросъ: зачѣмъ? — и сразу подрываетъ кропотливыя усилія мысли.

— Напишу что-нибудь легонькое! — наконецъ рѣшается онъ...

Перо его съ минуту, играючи, бѣгаетъ по листу бумаги. Выходитъ:

«Дозволяется, при встрѣчахъ съ начальствомъ, вѣжливыми и почтительными тѣлодвиженіями выражать испытываемое при семъ удовольствіе».

— «При семъ»... гм!.. что такое: «при семъ»?.. — шепчетъ Левушка, какъ бы самъ удивляясь вылившейся изъ-подъ его пера неуклюжей фразѣ.—Нѣтъ, лучше ужъ такъ сдѣлаю: пойду сегодня въ клубъ и спрошу *ихъ:* какой, господа, хотите, чтобъ я вамъ законъ написалъ? съ нашимъ удовольствіемъ... ха-ха!

Левушка съ минуту хохочетъ, самъ не подозрѣвая, какъ онъ въ эту минуту добръ и разуменъ; потомъ на мгновеніе задумывается; наконецъ рѣшительнымъ движеніемъ руки схватываетъ листъ, по которому только-что играючи рѣзвилась его рука, и разрываетъ его на мелкіе клочки.

— А вѣдь Левушка... славный! — обратился я къ Глумову, очевидно, подъ впечатлѣніемъ только-что воспроизведенной мною картины.

— Чего лучше! парень—первый сортъ! настоящій «правитель»! Идемъ, что ли?

Говоря по совѣсти, мнѣ очень хотѣлось идти. Чортъ возьми! не Зеноны мы, въ самомъ дѣлѣ, чтобъ ради политическихъ какихъ-то невзгодъ забывать о требованіяхъ жизни! Славяне! Вѣдь отголодали же самарцы — и ничего, какъ съ гуся вода! И хлѣбъ, поди, теперь ѣдятъ и подати платятъ! Главное—подати, а прочая вся приложатся! Ну, и тутъ какъ-нибудь, со славянами... Помаленьку да полегоньку, да съ Божьею помощью... Пройдетъ время, — обрѣзанные носы и уши заживутъ; на мѣстѣ живьемъ обугленныхъ и посаженныхъ на колъ поколѣній народятся другія... Ахъ, эти поколѣнія! Какъ ни стараются объ нихъ

истребленіи, а они, словно вино изъ «неистощимой бутылки» льются да льются на Божью ниву: вотъ, молъ, и еще матеріалъ для обугливанія... орудуйте!

Картина № 7-й. Славяне, умиротворенные, успокоенные, мирно предаются невиннымъ занятіямъ, подъ сѣнію «административной автономіи». Веселое солнце желтыми лучами обливаетъ и кипящія млекомъ и медомъ села, и воздѣланныя нивы, и тучныя стада, и храбраго добровольца Живновскаго, за неимѣніемъ средствъ къ возвращенію на родину, застрявшаго въ Сербіи. Живновскій остепенился и уже не употреблялъ очищенной; голова его побѣлѣла; лицо, правда, нѣсколько осунулось, но зато смотритъ сдержанно, даже почтенно; онъ скромно сидитъ въ углу хаты и качаетъ на рукахъ сербскаго ребенка, между тѣмъ какъ красавица-сербинка, мать ребенка, вынимаетъ изъ печи горячіе хлѣбы. «Эхъ, ущипнулъ бы я тебя!» думаетъ Живновскій, взглядывая на стройныя, словно вычеканенныя формы молодой женщины; но такъ какъ у него нѣтъ подъ рукой очищеннаго, которое нѣкогда возбуждало въ немъ предпріимчивость, то онъ мысленно прибавляетъ: «ущипнулъ бы—да не теперь!! теперь, братъ,—ау!» И въ довершеніе картины, гдѣ-то вдали (можетъ-быть, въ Петербургѣ, на Минерашкахъ) хоръ господина Славянскаго отхватываетъ: «идѣ домувъ муй...»

Самое теперь время ѣхать къ Борелю завтракать! Ахъ, Левушка, Левушка! Каковъ-то онъ теперь? Чай, свѣтлый, сіяющій, бодрый, весь съ ногъ до головы ликующій! Вотъ ему только еще пообѣщали, а ужъ изъ всѣхъ поръ его такъ и прыщетъ: хочешь, сейчасъ уставъ сочиню! А на лицѣ въ это время играетъ вызванная избыткомъ ликованія разувѣрительная улыбка, которая говоритъ: что! испугался!.. ничего, голубчикъ! это я пошутилъ! живи... безъ уставовъ!

Стало-быть, ѣхать—такъ ѣхать. Но, съ другой стороны, послѣ тѣхъ обидъ, которыми, ни дай, ни вынеси за что, наградилъ меня Глумовъ, мнѣ было какъ-то неловко уступить такъ просто: взялъ шапку да и поѣхалъ. Какъ у всякаго культурнаго человѣка, у меня есть самолюбіе, которое заставляетъ меня сначала слегка покобениться, а потомъ ужъ ринуться туда, куда зовутъ меня мои собственные излюбленные инстинкты.

— Знаешь, братъ!—сказалъ я:—вотъ я, какъ за границей былъ, такъ мнѣ тамъ говорили: мы васъ, казаковъ, за

Волгу оттѣснимъ! въ Саратовъ, говорятъ, туда, гдѣ «véritable Astrakhan» выдѣлываютъ!

— Ну, такъ что-жъ?

— Какъ что! обидно, душа моя! Признаюсь, не малотаки это отравляло мнѣ мое путешествіе! Всѣмъ хорошо: и дешево, и удобно, и тепло, а вотъ какъ начнутъ объ Саратовѣ да объ «véritable Astrakhan» говорить — такъ вотъ и закипитъ все внутри.

— А тебѣ бы сказать: намъ и въ Саратовѣ хорошо будетъ!

— Ну, нѣтъ, любезный! это ужъ — аттáнде! Порохомъ, братецъ, запахнетъ! порохомъ!

Картина № 8: сраженіе подъ Саратовомъ...

— Что такъ? Вѣдь итальянскую-то оперу и въ Саратовъ переведутъ, Жюдикъ — тоже въ Саратовъ пріѣдетъ... Поляковъ, Варшавскій, Кронебергъ, Малкіель... Гляди, и Борель съ своими татарами живо слѣдомъ за ними сберется... А икра тамъ какая! При тебѣ, въ твоихъ глазахъ, живому осетру брюхо распорютъ—сливки!

— Ахъ, Глумовъ, Глумовъ! Балагуришь ты, голубчикъ мой! все-то ты балагуришь!

— Извѣстно, балагурю! а то что же?

— Знаешь ли ты однако, что вѣдь и для балагурства есть мѣра, и что безъ этого условія балагурство... можетъ раздражать?

— А коли раздражаетъ, такъ не трогай меня! Не трогай меня... слышишь! Не разговаривай со мной о вещахъ, которыя... тоже раздражаютъ! Баста! Идемъ къ Борелю или нѣтъ? Ежели не идешь, такъ прощай: я отправлюсь одинъ.

Я покорился этому ультиматуму довольно охотно. Повторяю: меня самого уже тяготилъ затѣянный разговоръ, а въ особенности то множество разнообразныхъ художественныхъ картинъ, которыя, по мѣрѣ его развитія, какъ-то сами собой зарождались въ моемъ воображеніи.

Когда мы вышли на Невскій, Глумовъ угрюмо шепнулъ мнѣ:

— Ужъ сдѣлай ты для меня милость: придержи языкъ за зубами! Теперь вѣдь многіе около славянъ-то прохаживаются! Скажешь слово не по шерсти—разорвутъ.

Невскій кипѣлъ пѣшеходами и экипажами. Магазины и рестораны, по обыкновенію, весело, лучезарно выглядывали на улицу своими цѣльными окнами; банкирскія конторы

поминутно распахивали настежь свои гостепріимныя двери, какъ бы поддразнивая человѣческую алчность дешевизною своихъ продуктовъ; только книжныя лавки смотрѣли уныло, почти выморочно: очевидно, что публика, обрадованная, что славянскій вопросъ освобождаетъ ее отъ обязанности читать что-либо, кромѣ газетъ, позабыла даже дорогу къ нимъ... Зато у Пассажа цѣлая толпа собралась около газетныхъ разносчиковъ и требовала газетъ. Одинъ изъ газетчиковъ добродушно выхваливалъ свой товаръ:

— Измѣна фельетониста Тряпичкина описывается... купите, господинъ!

Мы уже почти достигли цѣли, то-есть Большой Морской, какъ изъ ресторана Доминика, словно привидѣніе, вынырнулъ поручикъ Живновскій и остановился наверху лѣстницы. Слегка пошатываясь и разставивъ граблевидныя руки, съ явнымъ намѣреніемъ разорвать пополамъ, онъ медленно поводилъ зрачками своихъ глазъ и вдругъ уперся ими въ меня.

— Га! писатель! либер-раллъ! — гаркнулъ онъ зычнымъ голосомъ въ упоръ мнѣ.

Я инстинктивно бросился къ извозчику, увлекая за собой и Глумова, но тутъ насъ ожидало такое зрѣлище, къ которому мы ужъ совсѣмъ не были приготовлены. На пути нашего отступленія безшумно скользило по тротуару что-то ослизлое, студенистое, разлагающееся, но все еще живое. То былъ Булгаринъ! Въ рукахъ его дрожалъ листокъ газеты, который онъ, очевидно, торопился положить на могилу Шешковскаго, вмѣсто цвѣтовъ. Смѣсь запаха живого извѣщенія съ запахомъ извѣщенія, задохшагося въ могилѣ, шла за нимъ по пятамъ и заражала атмосферу...

— Пришелъ порадоваться на потомковъ своихъ! — донесся до моихъ ушей таинственный шопотъ...

Насилу мы уѣхали.

— Вотъ,—говорилъ мнѣ дорогою Глумовъ: — ты, грѣшнымъ дѣломъ, статейки въ журналахъ пописываешь; такъ я въ этомъ отношеніи хотѣлъ тебя предупредить: помалчивай, другъ! Спокойнѣе!

— Помилуй, душа моя! вѣдь я же сочувствую!

— Сочувствуешь-то ты сочувствуешь, даже сны наяву видишь — знаю я это! Да время нехорошо для печатнаго изображенія чувствъ. Одно слово переложилъ, другого не доложилъ—сейчасъ: измѣна! Старыя-то литературныя преданія и безъ того не въ авантажѣ обрѣтались, а нынче,

въ виду несомнѣннаго заполученія подписчика, да ежели при семъ и продажа распивочно и на-выносъ успѣшно идетъ... Такъ ужъ ты сдѣлай милость, голубчикъ, поостерегись!

У Бореля все обстояло такъ, какъ я уже заранѣе нарисовалъ въ картинѣ № 5-й. Посрединѣ просторной комнаты былъ накрытъ столъ: бѣлоснѣжная скатерть, фарфоръ, хрусталь, серебро — все блестѣло. Татары во фракахъ шныряли взадъ и впередъ, принося и разставляя всевозможныя водки и закуски; метръ-д'отель почтительно, но съ достоинствомъ принималъ изъ устъ самого Лёвушки заказъ; соммелье, съ картою винъ въ рукахъ, выжидалъ своей очереди. Сережа Преженцовъ, Володя Культяпкинъ и Петька Долгоуховъ, въ ожиданіи земныхъ благъ, расхаживали взадъ и впередъ и весело дѣлились другъ съ другомъ впечатлѣніями, въ которыхъ покамѣстъ не было ничего «славянскаго».

Насъ приняли съ распростертыми объятіями; даже Левушка поспѣшилъ съ послѣдними приказаніями насчетъ меню, чтобъ привѣтствовать насъ.

— Читалъ?—обратился онъ ко мнѣ: — ахъ, мегзавцы! (Лёвушка слегка грессейировалъ, что̀ очень къ нему шло).

Меня такъ и ожгло. Я не знаю, пойметъ ли меня читатель, но мнѣ показалось, что неожиданно распахнулись двери дома терпимости, и вынеслось оттуда слово, о которомъ тамъ совсѣмъ и въ поминѣ не должно бы быть. Давно ли я говорилъ, въ сущности, то же самое, что̀ сейчасъ сказалъ Колѣнцовъ, и негодовалъ на Глумова за то, что онъ всталъ ко мнѣ по этому поводу въ учительныя отношенія,—и вотъ, не прошло и часа, какъ я уже и самъ былъ готовъ разыграть ту же нелѣпо-учительную роль. Да, неслыханныя вещи творятся на бѣломъ свѣтѣ, говорилъ я себѣ, но какое же до всего этого дѣло Левушкѣ? Зачѣмъ онъ оторвался отъ соммелье... чтобъ произнести слово «мегзавцы»? Ахъ, это слово!

— Да, да,—поспѣшилъ я вильнуть въ кусты:—такъ что̀ же мы будемъ ѣсть?

— Все ужъ условлено и заказано. Но скажи: вѣдь ты читалъ? не правда ли, какіе мегзавцы? N'est-ce pas?

Вопросъ былъ поставленъ двукратно, и не было никакого ручательства, что онъ не будетъ предложенъ и въ третій разъ. Къ счастію, Глумовъ выручилъ меня.

— Мерзавцы,—сказалъ онъ кротко.

— Этотъ ребенокъ... parole d'honneur, j'en ai rêvé toute la nuit! И эти штыки... Этотъ «штыкъ-молодецъ», comme le disait le grand Souvoroff... употребляемый — для чего? Les coquins!

Всѣ сгруппировались вокругъ Колѣнцова и всѣ искренно заявили о своемъ сочувствіи. Даже Петька Долгоуховъ, малый отнюдь не сентиментальный, и тотъ нервно вздрагивалъ, искоса, впрочемъ, поглядывая на жирную, совсѣмъ ранжевую семгу, пластомъ лежавшую на металлическомъ блюдѣ.

— Ну, а теперь можно, кажется, поздравить тебя?..— началъ-было я.

— Благодарю тебя, но позволь еще одну минуту. Господа! прежде нежели приступить къ нашему дружескому завтраку, ознаменуемте эту торжественную минуту добрымъ... патріотическимъ дѣломъ!

Левушка взялъ тарелку и обошелъ съ нею присутствующихъ, говоря:

— Во имя братьевъ! Пусть каждый дастъ, что можетъ! А потомъ мы отошлемъ нашу посильную лепту... въ дамскій кружокъ!

Всѣ руки разомъ заторопились, и черезъ мгновеніе на тарелкѣ лежало пять зелененькихъ. Петька Долгоуховъ (шестая зелененькая) обратился къ одному изъ татаръ и сказалъ:

— Поди за буфетъ, вели записать на меня три цѣлковыхъ и принести сюда!

Затѣмъ Левушка вложилъ собранныя деньги въ конвертъ, сдѣлалъ надпись: «отъ счастливыхъ, за бокаломъ вина» — и отправилъ по принадлежности.

— А теперь, господа, приступимъ!—весело сказалъ онъ:— не знаю, какъ вамъ, а у меня какъ-то теплѣе, покойнѣе на сердцѣ становится, когда я сознаю, что выполнилъ долгъ. А вѣдь это — священный долгъ... это—*нашъ* долгъ, господа! N'est-ce pas?

— Еще бы! a qui le dis-tu!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Собственно говоря, это даже—не *долгъ*, а душевное дѣло... Это, такъ сказать, наша подоплёка!

— Браво!—вырвалось у Глумова.

— Браво! браво!—захлопали въ ладоши остальные.

— Ну-съ, такъ приступимъ. Завтракъ я заказалъ умѣренный; вина тоже не много будетъ—предупреждаю васъ. Я нахожу, что бываютъ обстоятельства, при которыхъ умѣ-

ренность становится обязательною. А чтобъ испытать васъ, я даже не открою вамъ содержаніе моего меню. Будемъ довольны, чѣмъ Богъ послалъ!

Какъ истинные герои, мы поспѣшили согласиться. Одинъ Долгоуховъ казался оторченнымъ. Въ качествѣ истиннаго pique-assiette'а, онъ любилъ не только сладко поѣсть, но и заранѣе предрасположить себя къ предстоящимъ вкушеніямъ.

Тѣмъ не менѣе завтракъ удался какъ нельзя больше. Было шумно и весело. Поздравляли Левушку, подшучивали надъ Долгоуховымъ, сочиняли циркуляры. Одинъ декламировалъ «уставъ о печеніи пироговъ»; другой импровизировалъ «правила о переводѣ въ разрядъ полезныхъ животныхъ тѣхъ изъ волковъ, кои добрыми нравами и примѣрнымъ поведеніемъ признаны будутъ заслуживающими сего отличія». Каждая импровизація сопровождалась громкими «браво!» и обращеніями къ Левушкѣ, который сквозь зубы ворчалъ: «шуты!» и въ то же время благосклонно улыбался. Словомъ сказать, всѣ очутились въ обычной атмосферѣ, изъ которой никто и никогда не чувствовалъ ни малѣйшей потребности выходить. Какъ вдругъ дверь дома терпимости распахнулась опять.

— Да, господа, я оставляю васъ... оставляю!—сказалъ Левушка, обращаясь къ намъ:—въ принципѣ, мой отъѣздъ въ Семиозерскъ уже рѣшенъ. Надежды, которыя вы всѣ возлагаете на меня—я увѣренъ, что оправдаю ихъ. Я—вашъ товарищъ, и это одно налагаетъ на меня святыя обязанности. Я буду твердъ, но безъ непреклонности; буду снисходителенъ, но безъ потворства. Преступныхъ страстей—не потерплю! Но не скрою отъ васъ, какъ не скрываю и отъ самого себя, что предстоящая мнѣ задача, и безъ того трудная, въ значительной степени усложняется современнымъ политическимъ положеніемъ. Эти славяне, съ обрѣзанными носами и ушами, эти обугленные трупы сожженныхъ живьемъ людей, наконецъ этотъ ребенокъ, котораго сначала бросаютъ вверхъ и потомъ принимаютъ на штыки, все это не выходитъ у меня изъ головы и, конечно, войдетъ въ программу моихъ будущихъ дѣйствій. Надо положить предѣлъ этому. Господа! я предлагаю тостъ за освобожденіе славянъ! И не только на Балканскомъ полуостровѣ, но и... Я никого не называю по имени, но каждый изъ насъ, конечно, уже назвалъ страну, которая, въ годину нашихъ испытаній, удивила міръ своею неблагодарностью!

— Этотъ ребенокъ... parole d'honneur, j'en ai rêvé toute la nuit! И эти штыки... Этотъ «штыкъ-молодецъ», comme le disait le grand Souvoroff... употребляемый — для чего? Les coquins!

Всѣ сгруппировались вокругъ Колѣнцова и всѣ искренно заявили о своемъ сочувствіи. Даже Петька Долгоуховъ, малый отнюдь не сентиментальный, и тотъ нервно вздрагивалъ, искоса, впрочемъ, поглядывая на жирную, совсѣмъ ранжевую семгу, пластомъ лежавшую на металлическомъ блюдѣ.

— Ну, а теперь можно, кажется, поздравить тебя?..— началъ-было я.

— Благодарю тебя, но позволь еще одну минуту. Господа! прежде нежели приступить къ нашему дружескому завтраку, ознаменуемте эту торжественную минуту добрымъ... патріотическимъ дѣломъ!

Левушка взялъ тарелку и обошелъ съ нею присутствующихъ, говоря:

— Во имя братьевъ! Пусть каждый дастъ, что можетъ! А потомъ мы отошлемъ нашу посильную лепту... въ дамскій кружокъ!

Всѣ руки разомъ заторопились, и черезъ мгновеніе на тарелкѣ лежало пять зелененькихъ. Петька Долгоуховъ (шестая зелененькая) обратился къ одному изъ татаръ и сказалъ:

— Поди за буфетъ, вели записать на меня три цѣлковыхъ и принести сюда!

Затѣмъ Левушка вложилъ собранныя деньги въ конвертъ, сдѣлалъ надпись: «отъ счастливыхъ, за бокаломъ вина» — и отправилъ по принадлежности.

— А теперь, господа, приступимъ!—весело сказалъ онъ:— не знаю, какъ вамъ, а у меня какъ-то теплѣе, покойнѣе на сердцѣ становится, когда я сознаю, что выполнилъ долгъ. А вѣдь это — священный долгъ... это—*нашъ* долгъ, господа! N'est-ce pas?

— Еще бы! a qui le dis-tu!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Собственно говоря, это даже—не *долгъ*, а душевное дѣло... Это, такъ сказать, наша подоплёка!

— Браво!—вырвалось у Глумова.

— Браво! браво!—захлопали въ ладоши остальные.

— Ну-съ, такъ приступимъ. Завтракъ я заказалъ умѣренный; вина тоже не много будетъ—предупреждаю васъ. Я нахожу, что бываютъ обстоятельства, при которыхъ умѣ-

и свободно отдался бы веселымъ впечатлѣніямъ товарищеской бесѣды и изящно сервированнаго завтрака, а въ то же время не упустилъ бы и поскорбѣть. Между прочимъ вздохнулъ бы о славянахъ, между прочимъ выпилъ бы за здоровье королевы Наталіи, между прочимъ вынулъ бы изъ кармана три цѣлковыхъ и съ удовольствіемъ увидѣлъ бы, что они отосланы... въ «дамскій кружокъ». Но мысль, что Глумовъ все это провидѣлъ зараньше и даже снабдилъ не совсѣмъ лестными комментаріями, заставляла меня ощущать нѣкоторую неловкость. Въ самомъ дѣлѣ, эти три цѣлковыхъ... Неужели, думалось мнѣ, русская культура не выработала изъ себя никакого жизненнаго факта, кромѣ безшабашнаго гвалта, на днѣ котораго лежатъ три цѣлковыхъ,—никакого жизненнаго требованія, кромѣ дикой потребности пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобъ кому-то зажать ротъ, перервать горло, согнуть въ бараній рогъ?

Я гналъ эту мысль отъ себя, потому что она положительно мнѣ мѣшала. Я говорилъ себѣ: если даже все это и правда, то для чего мнѣ эта правда, ежели я не могу измѣнить въ ней ни одной іоты? Мы такъ безпомощны, такъ безнадежны, что сознаніе правды не впередъ насъ толкаетъ, а заставляетъ только опускать руки. Покуда мы безшабашны, хоть наши цѣлковые играютъ какую-то роль, а отнимите у насъ это качество—что̀ останется? Останется безцѣльное шатаніе по бѣлу свѣту, останется скука, апатія и блудливыя погони за какимъ-то несознаннымъ дѣломъ, которое, дразня насъ въ перспективѣ,—на практикѣ самымъ обиднымъ образомъ оставляетъ на бобахъ.

Да наконецъ и самъ Глумовъ—лучше ли онъ другихъ? Надѣвать на себя маску ментора, подсмѣиваться надъ безшабашностію русской культуры, указывать на три цѣлковыхъ, какъ на единственный ясный результатъ обще-культурнаго возбужденія, и въ то же время самому по уши погрязать въ той же безшабашности и, хихикая исподтишка, вынимать такіе же три цѣлковыхъ для отправленія въ «дамскій кружокъ»—развѣ это тоже не своего рода русско-культурная черта? О, Глумовъ, съ какимъ презрѣніемъ ты говорилъ давеча: «жри, а не хочешь жрать—пей!» и съ какимъ наслажденіемъ ты выполнилъ эту программу, вслѣдъ за тѣмъ, на практикѣ. Да, и ты—не больше, какъ продуктъ той же культуры! и даже не простой, а сугубый продуктъ! И ты—рабъ съ головы до ногъ, рабъ, выпол-

няющій свое рабское дѣло съ безупречною исправностью и въ то же время старающійся, съ помощью цѣлой системы показываемыхъ въ карманѣ кукишей, обратить свое рабство въ шутку!

Мнѣ большого труда стоило, чтобъ воздержаться и не бросить этихъ соображеній въ лицо Глумову. Однако я понялъ, что всякій дальнѣйшій разговоръ на тему о современномъ общественномъ возбужденіи былъ бы праздным переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. Тутъ чувствовалась какая-то путаница, въ которой въ одно и то же время сквозила и насмѣшка надъ тремя цѣлковыми, и косвенное поощреніе нести ихъ въ общую массу. Въ чемъ же однако-жъ тутъ дѣло? Ежели только въ томъ, чтобъ, вынимая свою зелененькую, не кричать, не галдѣть, а сохранять чувство собственнаго достоинства, такъ вѣдь это—задача далеко не лестная да и не легкая, господа! Помилуйте! я—живой человѣкъ, я чувствую потребность шумѣть и кричать! Я столько времени молчалъ, и столько горькаго, почти свирѣпаго, накопилось внутри меня за время этой молчанки, что я съ жадностью цѣпляюсь за первый попавшійся поводъ, чтобъ облегчить свою грудь. И ежели у меня нѣтъ личнаго дѣла, по случаю котораго я могъ бы свободно повѣдать міру о своей живучести, то я хватаюсь за дѣло чужое, чтобъ хоть на время, хотя въ своихъ собственныхъ глазахъ, возстановить свое право на жизненную отзывчивость!

— Куда же мы ѣдемъ? — обратился я наконецъ къ Глумову.

— А кто-жъ его знаетъ? Куда-нибудь! Не заѣхать ли, напримѣръ, къ Поликсенѣ Ивановнѣ? тамъ бы кстати и отобѣдали! Извозчикъ! въ Разъѣзжую!

Поликсена Ивановна—очень добрая и милая особа, у которой я бываю довольно часто. Мужъ ея, Павелъ Ермолаичъ Положиловъ, нашъ общій товарищъ по школѣ, считался въ молодости передовымъ и крайнимъ, и въ свое время даже потерпѣлъ за свои мнѣнія. Потерпѣлъ онъ не особенно много, но испугался настолько, что и донынѣ вздрагиваетъ и оглядывается, когда въ его присутствіи произносится какая-нибудь рѣзкость. Съ тѣхъ поръ онъ женился и повелъ жизнь совершенно уединенную, какъ будто на совѣсть его легло нѣчто такое, что мѣшаетъ открытому общенію съ людьми. Въ настоящее время онъ занимаетъ довольно солидное мѣсто въ одномъ изъ министерствъ и

души не чаетъ въ Поликсенѣ Ивановнѣ, которая, съ своей стороны, инстинктомъ преданнаго женскаго сердца поняла, что Павлу Ермолаичу ничего не требуется, кромѣ покоя, и сообразно съ этимъ устроила для него домашнюю обстановку. Обстановка эта—строго старозавѣтная. Утромъ Павелъ Ермолаичъ уѣзжаетъ въ департаментъ, а Поликсена Ивановна сидитъ дома и заботится, чтобъ Павлу Ермолаичу, по возвращеніи изъ департамента, было хорошо. По вечерамъ оба сидятъ дома, любуются на дѣтей, *въ гости* совсѣмъ не выѣзжаютъ, но всегда очень рады, когда кто-нибудь изъ ограниченнаго числа друзей посѣтитъ ихъ. Даже квартира у нихъ старозавѣтная: въ каменномъ домѣ съ толстѣйшими стѣнами, безъ швейцара, съ крашеными полами вмѣсто паркета. Кромѣ казеннаго жалованья, составляющаго фундаментъ, на которомъ зиждется благосостояніе семьи (у Положиловыхъ шесть человѣкъ дѣтей), у Павла Ермолаича есть еще усадьбица въ Лугскомъ уѣздѣ. Туда семья укрывается на лѣто и оттуда получаетъ на зиму запасы, въ видѣ живности, отварныхъ рыжиковъ и всевозможныхъ сортовъ вареній. Эта скромная деревенская субсидія помогаетъ Положиловымъ жить настолько гостепріимно, что за столомъ ихъ никогда не бываетъ недостатка въ лишнемъ кускѣ для пріятеля. Вообще, несмотря на явный диссонансъ съ общимъ тономъ петербургской жизни, домъ Положиловыхъ былъ бы очень пріятенъ, если бы въ немъ на каждомъ шагу (особливо въ присутствіи Павла Ермолаича) не чувствовалась боязнь сказать лишнее слово, которое должно объ чемъ-то напомнить и нѣчто разбередить. На этомъ основаніи никакихъ «рѣзкостей» на дружескихъ собесѣдованіяхъ не допускается, а если таковыя и прорываются случайно, то Поликсена Ивановна съ изумительнымъ мастерствомъ умѣетъ ихъ сглаживать и заминать. Разговоры ведутся чинно, смирно, держась по преимуществу около фактовъ, допуская «справедливую критику» ихъ, но не вдаваясь ни въ утопіи, ни въ радикализмъ. Тѣмъ не менѣе уже и то одно производитъ хорошее впечатлѣніе, что никто въ этомъ домѣ не грозитъ очами воображаемымъ внутреннимъ врагамъ, не предается дешевому глумленію «надъ стриженными дѣвками» и не кричитъ, что авторитеты попраны и собственность потрясена.

— А въ газетахъ-то что... ужасти!—были первыя слова Поликсены Ивановны послѣ краткаго взаимнаго привѣтствія.

— Этотъ ребенокъ... parole d'honneur, j'en ai rêvé toute la nuit! И эти щтыки... Этотъ «штыкъ-молодецъ», comme le disait le grand Souvoroff... употребляемый — для чего? Les coquins!

Всѣ сгруппировались вокругъ Колѣнцова и всѣ искренно заявили о своемъ сочувствіи. Даже Петька Долгоуховъ, малый отнюдь не сентиментальный, и тотъ нервно вздрагивалъ, искоса, впрочемъ, поглядывая на жирную, совсѣмъ ранжевую семгу, пластомъ лежавшую на металлическомъ блюдѣ.

— Ну, а теперь можно, кажется, поздравить тебя?..— началъ-было я.

— Благодарю тебя, но позволь еще одну минуту. Господа! прежде нежели приступить къ нашему дружескому завтраку, ознаменуемте эту торжественную минуту добрымъ... патріотическимъ дѣломъ!

Левушка взялъ тарелку и обошелъ съ нею присутствующихъ, говоря:

— Во имя братьевъ! Пусть каждый дастъ, что можетъ! А потомъ мы отошлемъ нашу посильную лепту... въ дамскій кружокъ!

Всѣ руки разомъ заторопились, и черезъ мгновеніе на тарелкѣ лежало пять зелененькихъ. Петька Долгоуховъ (шестая зелененькая) обратился къ одному изъ татаръ и сказалъ:

— Поди за буфетъ, вели записать на меня три цѣлковыхъ и принести сюда!

Затѣмъ Левушка вложилъ собранныя деньги въ конвертъ, сдѣлалъ надпись: «отъ счастливыхъ, за бокаломъ вина» — и отправилъ по принадлежности.

— А теперь, господа, приступимъ!—весело сказалъ онъ:— не знаю, какъ вамъ, а у меня какъ-то теплѣе, покойнѣе на сердцѣ становится, когда я сознаю, что выполнилъ долгъ. А вѣдь это — священный долгъ... это—*нашъ* долгъ, господа! N'est-ce pas?

— Еще бы! a qui le dis-tu!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Собственно говоря, это даже—не *долгъ*, а душевное дѣло... Это, такъ сказать, наша подоплёка!

— Браво!—вырвалось у Глумова.

— Браво! браво!—захлопали въ ладоши остальные.

— Ну-съ, такъ приступимъ. Завтракъ я заказалъ умѣренный; вина тоже не много будетъ—предупреждаю васъ. Я нахожу, что бываютъ обстоятельства, при которыхъ умѣ-

ренность становится обязательною. А чтобъ испытать васъ, я даже не открою вамъ содержаніе моего меню. Будемъ довольны, чѣмъ Богъ послалъ!

Какъ истинные герои, мы поспѣшили согласиться. Одинъ Долгоуховъ казался оторченнымъ. Въ качествѣ истиннаго pique-assiette'a, онъ любилъ не только сладко поѣсть, но и заранѣе предрасположить себя къ предстоящимъ вкушеніямъ.

Тѣмъ не менѣе завтракъ удался какъ нельзя больше. Было шумно и весело. Поздравляли Левушку, подшучивали надъ Долгоуховымъ, сочиняли циркуляры. Одинъ декламировалъ «уставъ о печеніи пироговъ»; другой импровизировалъ «правила о переводѣ въ разрядъ полезныхъ животныхъ тѣхъ изъ волковъ, кои добрыми нравами и примѣрнымъ поведеніемъ признаны будутъ заслуживающими сего отличія». Каждая импровизація сопровождалась громкими «браво!» и обращеніями къ Левушкѣ, который сквозь зубы ворчалъ: «шуты!» и въ то же время благосклонно улыбался. Словомъ сказать, всѣ очутились въ обычной атмосферѣ, изъ которой никто и никогда не чувствовалъ ни малѣйшей потребности выходить. Какъ вдругъ дверь дома терпимости распахнулась опять.

— Да, господа, я оставляю васъ... оставляю!—сказалъ Левушка, обращаясь къ намъ:—въ принципѣ, мой отъѣздъ въ Семиозерскъ уже рѣшенъ. Надежды, которыя вы всѣ возлагаете на меня—я увѣренъ, что оправдаю ихъ. Я—вашъ товарищъ, и это одно налагаетъ на меня святыя обязанности. Я буду твердъ, но безъ непреклонности; буду снисходителенъ, но безъ потворства. Преступныхъ страстей—не потерплю! Но не скрою отъ васъ, какъ не скрываю и отъ самого себя, что предстоящая мнѣ задача, и безъ того трудная, въ значительной степени усложняется современнымъ политическимъ положеніемъ. Эти славяне, съ обрѣзанными носами и ушами, эти обугленные трупы сожженныхъ живьемъ людей, наконецъ этотъ ребенокъ, котораго сначала бросаютъ вверхъ и потомъ принимаютъ на штыки, все это не выходитъ у меня изъ головы и, конечно, войдетъ въ программу моихъ будущихъ дѣйствій. Надо положить предѣлъ этому. Господа! я предлагаю тостъ за освобожденіе славянъ! И не только на Балканскомъ полуостровѣ, но и... Я никого не называю по имени, но каждый изъ насъ, конечно, уже назвалъ страну, которая, въ годину нашихъ испытаній, удивила міръ своею неблагодарностью!

Этотъ тонкій намекъ на коварную Австрію привелъ насъ въ восторгъ. Съ криками «ура!», «живіо!» мы бросились обнимать Левушку, который, и съ своей стороны, весь сіялъ восторгомъ и рѣшимостью.

— А теперь, господа, выпьемъ за здоровье княгини Наталіи!—какъ нельзя болѣе кстати воскликнулъ Сережа Преженцевъ.

— Королевы, mon cher, королевы! Въ глазахъ дипломатіи, она—княгиня, но въ нашихъ, въ «русскихъ» глазахъ—королева!—наставительно поправилъ Левушка.

Выпили за королеву Наталію, но не забыли и княгиню Милену. Потомъ вынули еще по три цѣлковыхъ, вложили въ конвертъ, съ надписью: *отъ счастливыхъ, за третьей здравицей*, и опять послали въ «дамскій кружокъ».

Здравицы слѣдовали за здравицами, такъ что подъ конецъ произошло уже нѣчто въ родѣ пронунсіаменто. Милана смѣнили и на мѣсто его провозгласили генерала Черняева королемъ Сербіи и соединенной съ ней Болгаріи. Генералу Новоселову пріискали мѣстечко въ Босніи. Герцеговину присоединили къ Черногоріи, «гирла» оставили за собой; княгинѣ Наталіи, яко «дамочкѣ», назначили пенсію въ милліонъ дукатовъ. Наконецъ, въ половинѣ четвертаго, подъ мотивъ долетавшей изъ сосѣдняго кабинета (гдѣ тоже, вѣроятно, происходило своего рода пронунсіаменто) пѣсенки:

A Provins,
Trou-la-la,
On récolte des roses
Et du jasmin,
Trou-la-la,
Et beaucoup d'autres choses...

вышли на улицу и разбрелись въ разныя стороны.

— Кто бы подумалъ, — сказалъ Глумовъ, усаживаясь вмѣстѣ со мною въ извозчичьи сани: — что въ этомъ поскудномъ трактирѣ сейчасъ произошло великое таинство проявленія русско-культурнаго патріотизма!

Я ничего не отвѣтилъ на эту выходку и, говоря по совѣсти, даже не совсѣмъ сознавалъ, что происходило во мнѣ. Одно только было для меня вполнѣ ясно: что Глумовъ стѣсняетъ меня! Гадливость, которую я часа полтора тому назадъ ощутилъ при словѣ «мерзавцы», вылетѣвшемъ изъ устъ Левушки Колѣнцова, именно была плодомъ моей утренней бесѣды съ этимъ человѣкомъ. Не будь его, я легко

и свободно отдался бы веселымъ впечатлѣніямъ товарищеской бесѣды и изящно сервированнаго завтрака, а въ то же время не упустилъ бы и поскорбѣть. Между прочимъ вздохнулъ бы о славянахъ, между прочимъ выпилъ бы за здоровье королевы Наталіи, между прочимъ вынулъ бы изъ кармана три цѣлковыхъ и съ удовольствіемъ увидѣлъ бы, что они отосланы... въ «дамскій кружокъ». Но мысль, что Глумовъ все это провидѣлъ заранѣе и даже снабдилъ не совсѣмъ лестными комментаріями, заставляла меня ощущать нѣкоторую неловкость. Въ самомъ дѣлѣ, эти три цѣлковыхъ... Неужели, думалось мнѣ, русская культура не выработала изъ себя никакого жизненнаго факта, кромѣ безшабашнаго гвалта, на днѣ котораго лежатъ три цѣлковыхъ,—никакого жизненнаго требованія, кромѣ дикой потребности пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобъ кому-то зажать ротъ, перервать горло, согнуть въ бараній рогъ?

Я гналъ эту мысль отъ себя, потому что она положительно мнѣ мѣшала. Я говорилъ себѣ: если даже все это и правда, то для чего мнѣ эта правда, ежели я не могу измѣнить въ ней ни одной іоты? Мы такъ безпомощны, такъ безнадежны, что сознаніе правды не впередъ насъ толкаетъ, а заставляетъ только опускать руки. Покуда мы безшабашны, хоть наши цѣлковые играютъ какую-то роль, а отнимите у насъ это качество—что останется? Останется безцѣльное шатаніе по бѣлу свѣту, останется скука, апатія и блудливыя погони за какимъ-то несознаннымъ дѣломъ, которое, дразня насъ въ перспективѣ,—на практикѣ самымъ обиднымъ образомъ оставляетъ на бобахъ.

Да наконецъ и самъ Глумовъ—лучше ли онъ другихъ? Надѣвать на себя маску ментора, подсмѣиваться надъ безшабашностію русской культуры, указывать на три цѣлковыхъ, какъ на единственный ясный результатъ обще-культурнаго возбужденія, и въ то же время самому по уши погрязать въ той же безшабашности и, хихикая исподтишка, вынимать такіе же три цѣлковыхъ для отправленія въ «дамскій кружокъ»—развѣ это тоже не своего рода русско-культурная черта? О, Глумовъ, съ какимъ презрѣніемъ ты говорилъ давеча: «жри, а не хочешь жрать—пей!» и съ какимъ наслажденіемъ ты выполнилъ эту программу, вслѣдъ за тѣмъ, на практикѣ. Да, и ты—не больше, какъ продуктъ той же культуры! и даже не простой, а сугубый продуктъ! И ты—рабъ съ головы до ногъ, рабъ, выпол-

няющій свое рабское дѣло съ безупречною исправностью и въ то же время старающійся, съ помощью цѣлой системы показываемыхъ въ карманѣ кукишей, обратить свое рабство въ шутку!

Мнѣ большого труда стоило, чтобъ воздержаться и не бросить этихъ соображеній въ лицо Глумову. Однако я понялъ, что всякій дальнѣйшій разговоръ на тему о современномъ общественномъ возбужденіи былъ бы праздным переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. Тутъ чувствовалась какая-то путаница, въ которой въ одно и то же время сквозила и насмѣшка надъ тремя цѣлковыми, и косвенное поощреніе нести ихъ въ общую массу. Въ чемъ же однако-жъ тутъ дѣло? Ежели только въ томъ, чтобъ, вынимая свою зелененькую, не кричать, не галдѣть, а сохранять чувство собственнаго достоинства, такъ вѣдь это—задача далеко не лестная да и не легкая, господа! Помилуйте! я—живой человѣкъ, я чувствую потребность шумѣть и кричать! Я столько времени молчалъ, и столько горькаго, почти свирѣпаго, накопилось внутри меня за время этой молчанки, что я съ жадностью цѣпляюсь за первый попавшійся поводъ, чтобъ облегчить свою грудь. И ежели у меня нѣтъ личнаго дѣла, по случаю котораго я могъ бы свободно повѣдать міру о своей живучести, то я хватаюсь за дѣло чужое, чтобъ хоть на время, хотя въ своихъ собственныхъ глазахъ, возстановить свое право на жизненную отзывчивость!

— Куда же мы ѣдемъ? — обратился я наконецъ къ Глумову.

— А кто-жъ его знаетъ? Куда-нибудь! Не заѣхать ли, напримѣръ, къ Поликсенѣ Ивановнѣ? тамъ бы кстати и отобѣдали! Извозчикъ! въ Разъѣзжую!

Поликсена Ивановна—очень добрая и милая особа, у которой я бываю довольно часто. Мужъ ея, Павелъ Ермолаичъ Положиловъ, нашъ общій товарищъ по школѣ, считался въ молодости передовымъ и крайнимъ, и въ свое время даже потерпѣлъ за свои мнѣнія. Потерпѣлъ онъ не особенно много, но испугался настолько, что и донынѣ вздрагиваетъ и оглядывается, когда въ его присутствіи произносится какая-нибудь рѣзкость. Съ тѣхъ поръ онъ женился и повелъ жизнь совершенно уединенную, какъ будто на совѣсть его легло нѣчто такое, что мѣшаетъ открытому общенію съ людьми. Въ настоящее время онъ занимаетъ довольно солидное мѣсто въ одномъ изъ министерствъ и

души не чаетъ въ Поликсенѣ Ивановнѣ, которая, съ своей стороны, инстинктомъ преданнаго женскаго сердца поняла, что Павлу Ермолаичу ничего не требуется, кромѣ покоя, и сообразно съ этимъ устроила для него домашнюю обстановку. Обстановка эта—строго старозавѣтная. Утромъ Павелъ Ермолаичъ уѣзжаетъ въ департаментъ, а Поликсена Ивановна сидитъ дома и заботится, чтобъ Павлу Ермолаичу, по возвращеніи изъ департамента, было хорошо. По вечерамъ оба сидятъ дома, любуются на дѣтей, *въ гости* совсѣмъ не выѣзжаютъ, но всегда очень рады, когда кто-нибудь изъ ограниченнаго числа друзей посѣтитъ ихъ. Даже квартира у нихъ старозавѣтная: въ каменномъ домѣ съ толстѣйшими стѣнами, безъ швейцара, съ крашеными полами вмѣсто паркета. Кромѣ казеннаго жалованья, составляющаго фундаментъ, на которомъ зиждется благосостояніе семьи (у Положиловыхъ шесть человѣкъ дѣтей), у Павла Ермолаича есть еще усадьбица въ Лугскомъ уѣздѣ. Туда семья укрывается на лѣто и оттуда получаетъ на зиму запасы, въ видѣ живности, отварныхъ рыжиковъ и всевозможныхъ сортовъ вареній. Эта скромная деревенская субсидія помогаетъ Положиловымъ жить настолько гостепріимно, что за столомъ ихъ никогда не бываетъ недостатка въ лишнемъ кускѣ для пріятеля. Вообще, несмотря на явный диссонансъ съ общимъ тономъ петербургской жизни, домъ Положиловыхъ былъ бы очень пріятенъ, если бы въ немъ на каждомъ шагу (особливо въ присутствіи Павла Ермолаича) не чувствовалась боязнь сказать лишнее слово, которое должно объ чемъ-то напомнить и нѣчто разбередить. На этомъ основаніи никакихъ «рѣзкостей» на дружескихъ собесѣдованіяхъ не допускается, а если таковыя и прорываются случайно, то Поликсена Ивановна съ изумительнымъ мастерствомъ умѣетъ ихъ сглаживать и заминать. Разговоры ведутся чинно, смирно, держась по преимуществу около фактовъ, допуская «справедливую критику» ихъ, но не вдаваясь ни въ утопіи, ни въ радикализмъ. Тѣмъ не менѣе уже и то одно производитъ хорошее впечатлѣніе, что никто въ этомъ домѣ не грозитъ очами воображаемымъ внутреннимъ врагамъ, не предается дешевому глумленію «надъ стриженными дѣвками» и не кричитъ, что авторитеты попраны и собственность потрясена.

— А въ газетахъ-то что... ужасти!—были первыя слова Поликсены Ивановны послѣ краткаго взаимнаго привѣтствія.

— Вотъ и онъ тоже... тревожится!—съ легкой иронiей цыркнулъ Глумовъ, указывая на меня.

— Да какъ же не тревожиться! Вѣдь читаешь—даже кровь холодѣетъ! Павелъ Ермолаичъ чуть давеча боленъ не сдѣлался—такъ это его разстроило!

— Пользы мало отъ этихъ тревогъ, Поликсена Ивановна!

— Какая польза—вѣдь это природное! Польза пользой, а и чувство тоже дѣвать некуда. Для пользы Павелъ Ермолаичъ два процента изъ жалованья жертвуетъ, а кромѣ того и чувствуетъ. Неужто же, по-вашему, не такъ выходитъ?

— Не знаю, Поликсена Ивановна. Все такъ спуталось, что иногда даже самому себѣ отчетъ хочешь дать,—и ничего не выходитъ. Чувствуешь, что нужно бы слово какое-то сказать, пробуешь его вымолвить—и не вымолвишь!

— А по-моему, такъ совсѣмъ ничего не спуталось. Помогать надо—вотъ и все. Глядя на прочихъ, и мы у себя кружку завели, не официально, а такъ... Можетъ-быть, кто изъ знакомыхъ и пожелаетъ... по силѣ возможности...

Это было косвенное приглашенiе къ пожертвованiю, на которое мы поспѣшили, конечно, отвѣтить.

— Вотъ видите,—продолжала Поликсена Ивановна:— вы положили, другой, третiй положитъ—смотришь, а въ результатѣ и помощь будетъ. Что же тутъ такого... спутаннаго?

— Въ этомъ-то, разумѣется, ничего спутаннаго нѣтъ. А Павелъ Ермолаичъ гдѣ? по обыкновенiю, въ департаментѣ?

— Да, уѣхалъ. Генералъ ихнiй изъ-за границы воротился, такъ представиться поѣхалъ. Да вы не отлынивайте! скажите: въ чемъ, по-вашему, путаница?

— Да начать хоть съ того, что никто не знаетъ, изъ-за чего онъ хлопочетъ.

— Ахъ, Боже мой! да просто изъ-за того, чтобъ помочь!

— То-есть сотворить милостыню? а дальше что?

— И дальше—то же. Неужто это худо?

— Что худого! Вотъ я давеча утромъ къ нему пришелъ—тоже чуть не въ слезахъ засталъ... И съ перваго же слова посовѣтовалъ: вынимай, говорю, три цѣлковыхъ, посылай въ дамскiй кружокъ,—всѣ болѣсти какъ рукою сниметъ!

Поликсена Ивановна недоумѣло взглянула на своего со-

бесѣдника. Не любила она Глумовскихъ подтруниваній, боялась, какъ бы они не напомнили чего Павлу Ермолаичу, не «разстроили» его.

— Не понимаю я что-то,—сказала она нѣсколько сухо:— да и вообще... не понимаю! Вотъ Павелъ Ермолаичъ — тотъ иногда любитъ эти иносказанія, особливо когда ему по службѣ свободно... А по мнѣ...

— А по-вашему, такъ Глумовъ хоть бы и совсѣмъ уволилъ вашъ домъ отъ посѣщеній? такъ, что ли?

— Нѣтъ, не то... какой вы однако-жъ занозистый! всякое слово ребромъ ставите... Не понимаю я, именно не понимаю! Ни то вы смѣетесь, ни то правду хотите сказать!

— Это у него манера такая выработалась... эзоповская,— отозвался я: — онъ статейки инкогнито въ журналахъ тискаетъ, такъ все цензуру объѣхать хочетъ!

— Да, такъ вотъ какъ! А ну-те-ка серьезно: скажите-ка, что же дѣлать-то намъ?

— То самое и дѣлайте, что дѣлаете. Вотъ Павелъ Ермолаичъ два процента изъ жалованья жертвуетъ; вы—кружку завели, въ которую тоже, поди, процентикъ-другой изъ столовыхъ денегъ откладываете. Отлично. Вѣдь и я, съ часъ тому назадъ, вмѣстѣ съ прочими, своихъ кровныхъ двѣ зеленькихъ на блюдце положилъ. Тоже отъ другихъ не отстанемъ.

— Нѣтъ, это—не то. Не то вы говорите, что думаете. Вотъ и Павелъ Ермолаичъ, когда я ему о своемъ намѣреніи завести кружку открылась: «ничего, говоритъ, займись! я самъ два процента изъ жалованья жертвовать буду!» И такъ-то ласково да мило, по наружности, сказалъ, а какъ вдумаешься, такъ настоящая-то у него мысль такая: забавляйся, молъ, коли это тебѣ удовольствіе можетъ доставить!

— У Павла Ермолаича съ Глумовымъ насчетъ этого «идей» особенныя есть,—попытался я уязвить.

— А ты думаешь, что такъ, безъ идей—съ одними художественными инстинктами лучше?—огрызнулся на меня Глумовъ.

— Нѣтъ, я не насчетъ идей, — вступилась Поликсена Ивановна: — идеи — что же! Это даже хорошо! Рѣзкостей допускать не надо—это вотъ дѣйствительно... Но опять и то сказать: не всякій ихъ понимаетъ... идеи-то эти, а помочь между тѣмъ хочется. Сколько на свѣтѣ маленькихъ

людей есть, у которыхъ просто, безъ идеи, сердце болитъ— такъ неужто же вся ихъ роль въ томъ только и состоять должна, чтобъ сложа руки сидѣть или фыркать?

Поликсена Ивановна умилилась. Въ ней, дѣйствительно, было это естественное предрасположеніе къ сердечной боли, о которой она сейчасъ упомянула и которая въ нѣкоторыхъ личностяхъ является чертой настолько характеристичною, что составляетъ содержаніе всего ихъ существованія. Объяснять причины, обусловливающія эту боль, стараться отыскивать, сколько въ ней есть сознательности или безсознательности — было бы совершенно напрасно. Довольно и того, что она существуетъ вполнѣ ясно и несомнѣнно, и что, исходя изъ нея одной и ею одной сильный, человѣкъ, сознательно или безсознательно, находитъ въ себѣ энергію практически отзываться на всѣ жизненныя явленія, въ незримой глубинѣ которыхъ лежитъ недугъ или немощь. Очень часто эта своеобразная сила достигаетъ далеко не тѣхъ результатовъ, которые были въ ея намѣреніяхъ, а еще чаще растрачивается совсѣмъ задаромъ, но во всякомъ случаѣ она—потому уже благо, что въ виду ея обыкновенное культурное фырканье представляется чѣмъ-то мизернымъ, почти непозволительнымъ.

— А вѣдь, по-вашему, это почти-что такъ выходитъ,— кончила Поликсена Ивановна, обращаясь къ Глумову.

— Нѣтъ, не такъ.

— А то какъ же? Смѣетесь вы надъ простотой, явное дѣло, смѣетесь!

— Смѣхъ, это — форма, а, въ сущности, я вникнуть прошу. Хорошо и благородно — болѣть сердцемъ, какъ вы болѣете, да вѣдь и способность разсуждать не Богъ знаетъ какъ провинилась, чтобъ ее въ ссылку ссылать. Не станете же вы, подобно вашему духовнику, отцу Арсенію, утверждать: чувство—первѣе всего, а умъ, яко слуга, и на запяткахъ постоять можетъ!

— Это вы насчетъ «идей», что ли? зачѣмъ ихъ въ ссылку ссылать — Божьи вѣдь и онѣ! Только не ко двору онѣ у насъ—это я вѣрное слово вамъ говорю. Не бодрость онѣ придаютъ, а еще пуще въ уныніе вводятъ. Примѣръ-то у меня на глазахъ: нѣтъ-нѣтъ да и заскучаетъ мой Павелъ Ермолаичъ. Нѣлюбо съ идеями-то въ департаментъ ходить, а приходится.

— Приходится — вотъ это такъ, это правильно вы сказали. Я и самъ нынче этой вѣры сталъ, хоть все еще отъ

старой привычки отдѣлаться не могу. Не отъ практики старой, которой у насъ не бывало, а отъ лучей-то этихъ, которые смолоду, еще со школьной скамьи, Богъ вѣсть откуда заползли въ голову. Хоть и не такъ ужъ слѣпятъ эти лучи, какъ въ былые годы, а все-таки нѣтъ-нѣтъ, да и приведутъ въ изумленіе. Идешь иногда, даже ходко идешь, въ то самое мѣсто, «куда приходится», и вдругъ словно скоситъ тебя. По какому, молъ, человѣче, случаю ты въ путь-дорогу собрался? съ чѣмъ собрался? Скажите, что я отвѣтить на эти вопросы могу?

— Собрался — потому что сердечное влеченіе есть; съ чѣмъ собрался?—съ чѣмъ Богъ послалъ!

— Поэзія это, Поликсена Ивановна! А вы мнѣ лучше вотъ что скажите: почему у насъ всякое бѣдствіе словно шабашъ какой-то въ россійскихъ сердцахъ производитъ? Вся мразь, все отпѣтое вдругъ оживаетъ и, пользуясь симъ случаемъ, принимается старые счеты сводить. Объ здравомъ смыслѣ, о свободѣ сужденія—нѣтъ и въ поминѣ. На всѣхъ языкахъ — угроза, во всѣхъ взглядахъ — намѣреніе горло перекусить. Вонъ, давеча, поручикъ Живновскій встрѣтился, такъ и тотъ, чего ужъ отпѣтѣе: «писат-тель! кричитъ, либерра-алъ!» Булгаринъ изъ гроба всталъ: «на потомковъ, говоритъ, полюбоваться пришелъ!» Какъ вы полагаете: не позорно при этомъ «воскресеніи мертвыхъ» присутствовать?

— Да не преувеличиваете ли вы?

— Не только не преувеличиваю, а говорю прямо: всякое бѣдствіе застаетъ наши лучшія силы врасплохъ и дѣлается поводомъ для возбужденія какихъ-то непонятныхъ старыхъ счетовъ. И что всего ужаснѣе: люди вполнѣ хорошіе до того теряются при этомъ, что сами себя головой выдать готовы. Иной прямо говоритъ: виноваты! другой—подлѣйшимъ образомъ вторитъ въ тонъ господамъ ташкентцамъ или хоронится. Вотъ вы, и ничего не видя (сидите вы въ Разъѣзжей, за семью замками, и видѣть-то ничего вамъ нельзя), сердцемъ болѣете, а кабы вы настоящую-то вакханалію видѣли, — такъ ли бы у васъ оно заболѣло! Да-съ, не вымерли еще господа ташкентцы и долго не вымрутъ! Если мнѣ не вѣрите—у Павла Ермолаича спросите: онъ подтвердитъ!

Поликсена Ивановна ничего не сказала на это. При ссылкѣ на Павла Ермолаича она какъ-то съежилась и даже слегка поблѣднѣла. Вѣроятно, не въ первый разъ ей при-

ходилось эти рѣчи выслушивать: недаромъ же она упомянула, что нелюбо съ «идеями» въ департаментъ ходить. Какъ ни скроменъ Павелъ Ермолаичъ, а невозможно, чтобъ онъ не проговорился.

— Вотъ вы давеча сказали: рѣзкостей допускать не надо,—продолжалъ Глумовъ, не унимаясь:—а вѣдь въ переводѣ на обыкновенный языкъ это значитъ: держи языкъ за зубами! На что же, помилуйте! За что я долженъ вѣчно смотрѣть на себя, какъ на...

— Ахъ, оставьте это... не говорите!—не выдержала наконецъ Поликсена Ивановна.

На этомъ разговоръ оборвался. Очень вѣроятно, намъ пришлось бы безвременно покинуть мирный пріютъ въ Разъѣзжей улицѣ, если бы въ эту минуту не раздался звонокъ, возвѣщавшій появленіе хозяина.

— Это—Павла Ермолаича звонокъ!—шепнула Поликсена Ивановна:—пожалуйста! прошу васъ! не возобновляйте этого разговора при немъ!

Вопреки обыкновенію, Павелъ Ермолаичъ предсталъ передъ нами ясный и лучезарный. Лицо его, выбритое до зеркальности, сіяло удовольствіемъ; глаза блестѣли; даже въ ямочкѣ, украшавшей его бороду, замѣчалась радостная игра.

— Сегодня у насъ, по случаю пріема, засѣданіе кончилось раньше обыкновеннаго,—сказалъ онъ, цѣлуя Поликсену Ивановну и затѣмъ подавая намъ руки.

— Ну, что, принялъ?—спросила Поликсена Ивановна, которая, видя сіяніе на лицѣ мужа, тоже возсіяла.

— Принялъ.

— Здоровъ?

— Совершенно.

— Разспрашивалъ?

— И разспрашивалъ.

— Ахъ, какой ты! ты сядь, разскажи какъ и что... по порядку.

— Ну, вотъ, собрались мы, ждемъ... Такъ я стою, такъ Петръ Иванычъ, а такъ Николай Павлычъ...—началъ Павелъ Ермолаичъ свое повѣствованіе, но начало это, видимо, не удовлетворило Поликсену Ивановну.

— Ты все шутишь,—сказала она:—а вѣдь мнѣ интересно! Впрочемъ, я ужъ и тѣмъ довольна, что ты-то веселъ!

— Чего «шутишь»! Знаю я, что тебѣ хочется! хочется,

чтобъ я сказалъ, что генералъ меня поцѣловалъ — такъ не могу солгать: не поцѣловалъ! Вотъ Николай Павловичъ — тотъ, послѣ общаго представленія, особенно въ кабинетъ ходилъ и весь оттуда въ слезахъ вышелъ: «поцѣловалъ», говоритъ! А курьеръ сказываетъ: «нахлобучку задалъ!»

Черезъ полчаса мы сидѣли за обѣдомъ. Поликсена Ивановна, окруженная всѣхъ возрастовъ малолѣтками, — на одномъ концѣ, мы по обѣ стороны хозяина — на другомъ. Павелъ Ермолаичъ сначала новости изъ служебной сферы разсказывалъ; но такъ какъ и онѣ въ настоящую минуту вертѣлись по преимуществу около славянскаго движенія, то весьма естественно, что послѣднее не замедлило сдѣлаться главной темой разговора.

— И у насъ что-то затѣвается, — сказалъ Положиловъ.

— А что?

— Есть что-то. Сегодня на пріемѣ его превосходительство... не то чтобъ прямо, а стороной... Сначала объ дѣлахъ говорилъ, а въ заключеніе и далъ понять, что русское воинство всегда было побѣдоносно, а потому и впредь ожидать слѣдуетъ...

— И мнѣ тоже сдается,—отозвался Глумовъ:—вчера ко мнѣ совсѣмъ неожиданно съ «нашей стороны» Иванъ Парамонычъ пожаловалъ—купецъ такой есть, сапожнымъ товаромъ торгуетъ — навѣдаться, значитъ, въ Петербургъ пріѣхалъ. А это — вѣрный признакъ, потому что у этихъ шакаловъ насчетъ «кровопролитіевъ» особенное чутье есть. Разузнавать я отъ нихъ ничего не разузнавалъ, а стороной, грѣшный человѣкъ, поддразнилъ:—а что говорю, Иванъ Парамонычъ, кабы тебѣ поставку сапоговъ для арміи и флотовъ предоставили, угобзилъ бы ты, чай, солдатиковъ? — Такъ у него даже нутро все заколыхалось въ отвѣтъ: «вотъ какъ передъ Истиннымъ!» говоритъ.

— Да, теперь ихній чередъ наступилъ! только вотъ что неладно: покуда эти Парамонычи, вкупѣ съ Шмулями да съ Лейбами, арміи и флоты угобжаютъ, а ты сиди да смотри на нихъ!

— Что такъ? развѣ строгія времена пришли?

— Да не безъ того... Не всяко касаться можно, особливо ежели въ связи-съ...

Положиловъ случайно взглянулъ на Поликсену Ивановну и прочиталъ въ ея глазахъ неодобреніе.

— А впрочемъ, не наше это дѣло,—сказалъ онъ.—По-

ликсена Ивановна это лучше знаетъ—вонъ какъ грозно на меня посмотрѣла.

— Совсѣмъ не грозно! говори, коли хочешь! А вообще я... Сверху виднѣе, мой другъ! а мы — что мы можемъ въ такихъ дѣлахъ видѣть?

— Разумѣется, разумѣется! съ насъ и нашихъ личныхъ, маленькихъ дѣлъ довольно! Вотъ, напримѣръ, солонину мы ѣдимъ—это я могу... Ишь она, солонина какая—масло!

— Да, братъ, это... со-лло-ни-на!—восторженно отозвался Глумовъ. — А онъ вотъ обижается, что за границей, за табль-д'отами, нѣмцы болтаютъ: васъ, молъ, казаковъ, на Волгу надо, въ Саратовъ! А по мнѣ—такъ и въ Саратовѣ солонина отъ насъ не уйдетъ!

— А насчетъ икры такъ даже лучше!

— Ахъ, господа, господа!—укоризненно промолвила Поликсена Ивановна, покачивая головой.

— Ну, баста! Не наше дѣло. А для того, чтобъ ужъ совсѣмъ все въ порядкѣ было, чтобъ даже разговаривать некогда было — знаете, господа, что мы сдѣлаемъ! Засядемте-ка послѣ обѣда въ сибирку съ болваномъ!

— И отлично!

— Я нынче все въ сибирку упражняюсь. Ни для ума, ни для сердца—ничего! А между тѣмъ алчность является—смотришь, время-то и безъ внутреннихъ вопросовъ летитъ!

Такъ мы и сдѣлали. Съ шести часовъ до одиннадцати проиграли въ сибирку, при чемъ Положиловъ обоихъ насъ обыгралъ на три рубля (и не удивительно, потому что подлѣ него, для счастья, съ лѣвой стороны сидѣла Поликсена Ивановна) и сейчасъ же положилъ въ копилку, «въ пользу страждущихъ братьевъ». Затѣмъ подали закусить опять ту же солонину, но уже холодную, при чемъ Положиловъ совершенно основательно замѣтилъ, что этотъ кусокъ—отъ огузка, а потому въ холодномъ видѣ много теряетъ, а вотъ край или филей, такъ тотъ въ холодномъ видѣ, пожалуй, даже лучше, нежели въ горячемъ. Поликсена же Ивановна, съ своей стороны, присовокупила, что, когда она съ маменькой въ Вяткѣ жила (отецъ ея на службѣ тамъ былъ), такъ тамъ учили въ кадочку солонины языковъ говяжьихъ съ пятокъ припустить — вотъ это такъ солонина бываетъ!

Въ первомъ часу ночи мы вышли отъ Положиловыхъ.

Дорогой я началъ припоминать проведенный день, и—клянусь—мнѣ сдѣлалось стыдно.

— Какъ странно однако-жъ мы проводимъ наши дни!—сказалъ я, обращаясь къ Глумову.

— Что же тутъ страннаго?

— Помилуй! утро въ кабакѣ провели, вечеръ — въ сибирку играли, объ солонинѣ разговаривали... вѣдь это, наконецъ, неприлично!

— А по-моему, такъ мы именно самымъ приличнымъ образомъ, по-русски время провели. Наѣлись, напились, наигрались — чего больше! А теперь вотъ придемъ домой, ляжемъ спать и скажемъ себѣ: день прошелъ — и слава Богу!

II.—На досугѣ.

I.

Наконецъ тучи скопились. Въ обычное теченіе жизни врывается несомнѣнно чуждый элементъ, который замѣтнымъ образомъ спутываетъ и замедляетъ его; вся дѣятельность ума и чувства стягивается исключительно къ одному предмету, къ которому съ судорожнымъ напряженіемъ устремлены помыслы всѣхъ. Тоскливо до боли. Чувствуется, что эти тревожныя минуты не пройдутъ даромъ, что онѣ и на дальнѣйшее существованіе человѣка положатъ неизгладимыя отмѣтки. Нѣтъ личныхъ утратъ, нѣтъ личныхъ опасеній, ничего такого, что заставляло бы страшиться лично за себя, но есть суевѣрное предчувствіе какой-то громадной угрозы, которую даже не можешь назвать по имени. Точно стоишь передъ необъятною ставкой, и эта ставка вотъ-вотъ унесетъ все дорогое, все любезное сердцу—все!

И въ то же время слышишь, какъ кругомъ раздаются возгласы, ликованія. Ликуютъ посѣтители ресторановъ и трактировъ, ликуютъ гранители мостовыхъ, ликуютъ досужія русскія барыни. Газетчики, наперерывъ другъ передъ другомъ, стараются показать, до какихъ геркулесовыхъ столбовъ можетъ дойти всероссійское долгоязычіе. Одни ликуютъ съ умысломъ, другіе—сами не понимая, что заставляетъ ихъ ликовать. Такъ принято—вотъ и все. Гулящій человѣкъ убѣжденъ, что онъ выкажетъ отсутствіе патріотизма, ежели не воспользуется случаемъ, чтобъ дать волю долгоязычію.

Я не принадлежу къ породѣ людей ликующихъ, но понимаю, что въ ликованіи толпы заключается своего рода обаяніе. Когда передо мною мечется и плещетъ руками толпа, я знаю, что она находится подъ тяготѣніемъ могущественнаго инстинкта, который дастъ ей силу нѣчто совершить. Очень возможно, что это—инстинктъ неясный и даже невѣрный, но онъ можетъ заключать въ себѣ зерно самоотверженности, можетъ развиться въ подвигъ, и этого одного достаточно, чтобъ не относиться къ нему легко. Толпа имѣетъ право даже заблуждаться въ своихъ увлеченіяхъ, потому что она же несетъ на своихъ плечахъ и всѣ послѣдствія этихъ увлеченій.

Совсѣмъ другое дѣло — ликованіе культурное. Въ культурныхъ сферахъ источникомъ побуждающей силы предполагаются уже не инстинкты, не смутныя чаянія, а ясное сознаніе цѣли и средствъ къ ея достиженію. Это въ значительной степени осложняетъ поводы для ликованія и, во всякомъ случаѣ, отнимаетъ у послѣдняго тотъ характеръ искренности и непосредственности, который въ сущности и составляетъ всю цѣнность его. Сверхъ того, есть и еще причина для воздержанія: культурный слой стоитъ въ сторонѣ отъ русла народной жизни и слѣдовательно лишь въ слабой степени чувствуетъ на себѣ отраженіе ея трудностей и невзгодъ. Чтобъ получить право ликовать въ виду предстоящаго подвига, необходимо сознавать себя матеріально привлеченнымъ къ его выполненію и матеріально же обязаннымъ нести на себѣ всѣ его послѣдствія. А это для большинства культурныхъ людей почти недоступно.

Поэтому, когда посѣтители ресторановъ, гранители мостовыхъ, газетчики и проч. начинаютъ ликовать, то невольно возникаетъ вопросъ: справедливо ли поступаютъ эти люди, принимая дѣятельное участіе въ легчайшей части подвига, то-есть въ ликованіи по его поводу, и не сознавая себя въ то же время матеріально отвѣтственными за его послѣдствія? Не знаю, ошибаюсь ли я, но думаю, что самаго слабаго проблеска совѣсти достаточно, чтобъ отвѣтить на этотъ вопросъ отрицательно.

Что касается до меня лично, то я знаю одно: я не имѣю той непосредственности и свѣжести чувства, которыя давали бы мнѣ поводъ возбуждаться неясными чаяніями, волнующими толпу, но въ то же время нѣтъ у меня и той развязности, которая дозволяла бы сказать: да, я ликую, потому что заранѣе могу опредѣлить ходъ и результатъ

событій. Поэтому, въ такія историческія минуты, когда затрагиваются самыя дорогія и самыя существенныя струны народной жизни, я считаю воздержанность болѣе нежели когда-либо для себя обязательною. Болѣе нежели когда-либо я сознаю въ себѣ присутствіе той совѣстливости, которая подсказываетъ, что въ данномъ случаѣ мои подстрекательства или сдерживанія не только не необходимы, но и не совсѣмъ умѣстны, и что вотъ эта самая ликующая толпа имѣетъ полное право остановить мою назойливость словами: сиди въ своемъ углу и втихомолку радуйся или скорби въ виду имѣющихъ развиваться событій.

Я не одинъ въ своемъ родѣ. Прошлое завѣщало довольно большое количество людей, которыхъ единственное занятіе (а, быть-можетъ, и единственная заслуга) заключается въ томъ, что они сторонятся отъ дѣятельнаго участія въ жизни. Занятіе непроизводительное и даже, можно сказать, тунеядное, но вѣдь надо же наконецъ понять, что мы дѣти того времени, когда прикасаться къ жизни можно было лишь при посредствѣ самыхъ непривлекательныхъ, почти отвратительныхъ ея сторонъ, и что вслѣдствіе этого устраненіе отъ жизненныхъ торжествъ (опять-таки повторяю: *въ то время*) составляло своего рода заслугу...

Я помню очень многое, и между прочимъ 1853—1855 годы. Помню ликующихъ жуликовъ, помню людей, одолѣваемыхъ простымъ долгоязычіемъ, и людей, пользовавшихся долгоязычіемъ, какъ подходящимъ средствомъ, чтобъ запускать руку въ карманъ ближняго или казны. Мало того: я помню, что этихъ людей называли тогда благонамѣренными, несмотря на то, что ихъ лганье было шито бѣлыми нитками. И что всего ужаснѣе: не только не представлялось возможности обличить ихъ, но даже устраниться, уйти отъ нихъ было нельзя. Надо было выслушивать ихъ, соглашаться, вторить имъ, лгать...

Съ тѣхъ поръ, правда, многое измѣнилось, и измѣнилось, конечно, къ лучшему. Признаніе относительной свободы мнѣній настолько умалило страхъ, внушаемый подыскивающимся долгоязычіемъ, что человѣкъ, высказывающій, въ учтивой и богобоязненной формѣ, свое сужденіе о тѣхъ или другихъ явленіяхъ современности, уже можетъ, до извѣстной степени, считать себя отъ слѣдствія и суда свободнымъ. Вслѣдствіе этого у многихъ даже блеснула мысль, будто Булгаринъ, Шешковскій и проч. исчезли, не оставивъ потомства... И вотъ одного серьезнаго момента достаточно,

чтобъ ветхій культурный человѣкъ всплылъ на поверхность во всеоружіи. Да! онъ все тотъ же! съ одной стороны — долгоязычный, наянливо примазывающійся къ чужому ликованію, съ другой—робкій и устраняющійся. Я знаю, что оба эти отношенія къ вещамъ современности одинаково неестественны, но такъ какъ первое изъ нихъ, сверхъ того, отмѣчено явною печатью нахальства, то понятно, что люди, успѣвшіе сохранить нѣкоторую стыдливость,—а я имѣю слабость считать себя въ числѣ этихъ людей,—предпочитаютъ держать себя въ сторонѣ.

Независимо отъ этого, есть у меня и еще одинъ очень вѣскій доводъ въ пользу воздержанія: я съ дѣтскихъ лѣтъ воспитывался въ системѣ строжайшаго нейтралитета и вдобавокъ совершенно невооруженнаго. Весь кодексъ дѣятельной поры моей жизни исчерпывался словами: ни порицанія, ни похвалы, такъ какъ въ то время и то и другое одинаково разсматривалось, какъ позывъ къ непрошенному вмѣшательству. Жить съ такимъ кодексомъ въ рукахъ было чрезвычайно легко и, коли хотите, даже пріятно, но все-таки нельзя сказать, чтобъ такое житье представлялось хорошей школой для общественной или иной дѣятельности. Между тѣмъ годы шли; жизнь мало-по-малу измѣнялась и пополнялась, и наконецъ двери въ область ликованія отворились настежь... Но—увы!—я уже оробѣлъ! Ярмо старой дисциплины настолько придавило меня, что хоть я и понимаю, что отнынѣ ликовать никому не воспрещается, но все-таки не могу отдѣлаться отъ преслѣдующей меня мысли: а что, если мое ликованіе вдругъ возымѣетъ видъ вмѣшательства?

Да и дѣйствительно вѣдь это—вмѣшательство. Даже безпутное газетное ликованіе—и то имѣетъ побудительный характеръ.

Каждое утро, покуда я сижу за чаемъ, въ ушахъ моихъ раздается одинъ и тотъ же неизмѣнный вопль: а ну-те, голубчики! еще немножко, и Константинополь—нашъ! На что похоже! Во-первыхъ, быть-можетъ, это не въ намѣреніяхъ мудрой политики, а во-вторыхъ, ежели вамъ непремѣнно нужно, чтобъ Константинополь былъ нашъ,—идите и берите его! Что же касается до меня, то я рѣшительно никого понуждать не берусь! Помилуйте! я пью чай и кофе, не торопясь обѣдаю, завтракаю, сплю на мягкой постели, занимаюсь своими будничными дѣлами, пишу статейки по стольку-то копеекъ за строчку, словомъ, живу себѣ пома-

леньку, какъ всегда жилъ — къ лицу ли, при такомъ-то житьѣ, понуждать людей, которые и безъ того глядятъ въ лицо смерти? Нѣтъ, лучше я вспомню старую дисциплину и останусь въ своемъ углу. Съ меня достаточно и того, что я вѣрю въ силу и жизненность русскаго народа и вѣрю въ испытанную самоотверженность русскаго солдата. Зачѣмъ я буду кричать: молодцы! не выдавай!—когда и безъ моихъ подстрекательствъ все исполнено сознанія своего долга? Какое значеніе можетъ имѣть моя безотвѣтственная, хотя бы и восторженная болтовня, въ виду трудностей предстоящаго подвига? Подумайте: вѣдь это наконецъ — назойливость, которая не только претитъ нравственно, но и матеріально мѣшаетъ, разбивая на мелочи силу въ тотъ самый моментъ, когда она требуетъ наибольшей сосредоточенности. Вѣдь это назойливость, отъ которой каждый изъ этихъ людей, такъ серьезно и просто смотрящихъ въ лицо подвигу, имѣетъ полное и законное основаніе отмахнуться, какъ отъ чего-то не только безполезнаго, но и совсѣмъ несноснаго...

Вотъ причины, по которымъ я держусь въ сторонѣ и удерживаюсь отъ всякихъ неумѣстныхъ заявленій. Смутная тревога до того овладѣла моимъ существомъ, что ни мысль, ни чувство не могутъ отыскать для себя вполнѣ яснаго выраженія. Кажется, будто завѣса упала, и вся природа наполнилась стономъ и хаосомъ. Я боюсь радоваться успѣху, потому что въ самомъ успѣхѣ представляется столько выстраданнаго и притомъ невѣрнаго, невыясненнаго, что въ невольномъ страхѣ закрываешь глаза, чтобъ отогнать отъ себя выдвигающуюся на заднемъ планѣ картину, которую торжествующая смерть съ верху до низу наполнила безконечною свитою жертвъ. Я боюсь отчаиваться и роптать, потому что самый успѣхъ сопровождается здѣсь такимъ очевиднымъ искупленіемъ, передъ которымъ должны умолкнуть и праздный ропотъ, и безплодное отчаяніе.

Все праздно, все безплодно! Одна безконечная сердечная боль заявляетъ себя настолько живуче, что лишь благодаря ей чувствуешь себя живымъ свидѣтелемъ чего-то не имѣющаго опредѣленныхъ очертаній, но полнаго загадочныхъ угрозъ...

Прошло лѣто, проведенное мною на благословенныхъ берегахъ Карповки, среди дождей, вѣтровъ и другихъ буйствъ природы. Въ концѣ августа я не вытерпѣлъ и перекоче-

меня, то-есть литератора, и недоставало въ эту минуту), и очень благосклонно произнесла:

— А отъ васъ, гг. литераторы, мы ждемъ очень, очень большой услуги: вамъ предстоитъ поддерживать въ обществѣ тотъ святой пламень, который въ настоящее время согрѣваетъ всѣ сердца! N'est-ce pas, chère Поликсена Ивановна?

Поликсена Ивановна помяла въ отвѣтъ губами; я же поспѣшилъ отвѣтить глубокимъ поклономъ въ знакъ совершенной готовности выполнить приказаніе ея превосходительства, вполнѣ, впрочемъ, согласное и съ настроеніемъ моихъ собственныхъ чувствъ.

Вообще «дорогая гостья» держала себя благосклонно, хотя и съ достоинствомъ. Это была дамочка лѣтъ 25-ти, съ весьма красивой головкой, хорошенькой грудкой и прелестными ручками. Темно-лиловое шелковое платье сидѣло на ней обворожительно, а на голову было кинуто какое-то je ne sais quoi, до такой степени легкое и изящное, что можно было только изумиться совмѣстимости этого легкаго и изящнаго съ вопросомъ о проливахъ и гирлахъ. Тѣмъ не менѣе вопросъ этотъ, очевидно, ее озабочивалъ, потому что прелестные глазки ея смотрѣли устало, а розы на щекахъ смѣнились лиліями. Говорила она мягко и плавно, при чемъ въ одно и то же время выказывала и разсудительность, почерпнутую изъ «Leçons de morale et de littérature», и рѣзвость, почерпнутую изъ вчерашней causerie съ изящными молодыми людьми. Она съ откровенностью, достойной лучшей участи, развивала передъ нами свои планы, знакомила насъ съ ходомъ и съ сущностью своихъ занятій, а иногда даже спрашивала нашего мнѣнія, но такъ, что всякій чувствовалъ, что все уже у нея заранѣе рѣшено, и что намъ ничего другого не остается, какъ съ удовольствіемъ согласиться. Сперва разскажетъ, какъ все это «у насъ» устроено, а потомъ обратится съ вопросомъ: не правда ли, хорошо?

— Теперь,—говорила она, возобновляя начатый разговоръ:—намъ необходимо содѣйствіе всѣхъ патріотовъ, потому что—вы понимаете?—безъ этого что же мы можемъ? О должностныхъ лицахъ (взглядъ въ сторону Павла Ермолаича, у котораго лицо моментально покрывается глянцемъ удовольствія) я уже не говорю—это само собой; но и другіе всѣ... Молодые люди (взглядъ въ сторону Рогаткина) могутъ исполнять порученія, устраивать спектакли, собирать

пожертвованія; гг. литераторы (взглядъ въ мою сторону)—поддерживать святой огонь патріотизма; messieurs les négociants (взглядъ почти умильный на Дрыгалова)—удѣлять отъ избытковъ... Mais n'est-ce pas, chère Поликсена Ивановна?

— Ужъ это само собой! при такихъ обстоятельствахъ, ежели даже жизнь потребуется, то и ею стыдно дорожить!—отвѣтила Поликсена Ивановна.

— Для насъ, ваше превосходительство, нужно только, чтобъ вы починъ взяли, а затѣмъ только свистнуть извольте—у насъ *ящичекъ* всегда налицо! Ключикомъ отпереть—и вся хитрость тутъ! — сочувственно отозвался и купецъ Дрыгаловъ.

Хотя выраженіе «свистнуть», въ примѣненіи къ ея превосходительству, было нѣсколько рискованно (Павелъ Ермолаичъ даже повернулъ лицо къ Дрыгалову съ нѣмымъ укоромъ: экой ты, братецъ, какой!), тѣмъ не менѣе генеральша сумѣла скрыть свое изумленіе подъ благосклонной улыбкой.

— Ну да, мы и не сомнѣваемся, что почтенное наше купечеств,о...—сказала она солидно:—Минины, Погребовы, Королевы—ces noms appartiennent à l'historie. Et Овсянниковъ donc? Но и мы, женщины, съ своей стороны должны... Я, напримѣръ, до сихъ поръ ботинки у Auclaire заказывала, а теперь, вы понимаете, этого ужъ нельзя! Пришлось обратиться къ Дорохову. Только отъ милой Andrieux отказаться никакъ не могу, потому что всѣ эти Розановы, Маришины, Соловьевы... Такъ вотъ и выходитъ.., объ чемъ однако-жъ я говорить начала?.. ахъ, да! Такъ я говорю: мужчины пускай воюютъ, распоряжаются, ведутъ переговоры, а мы должны поддерживать въ нихъ этотъ духъ и въ то же время содѣйствовать... Именно содѣйствовать—c'est le mot! Есть множество подробностей—n'est-ce pas?—въ которыхъ мужчины теряются и въ которыхъ женщина является доброю и заботливою хозяйкою... La charpie, les onguents, les draps de lit... тысячи маленькихъ вещей, которыя могутъ понадобиться и о которыхъ мужчины не могутъ предусмотрѣть! Не правда ли, вы раздѣляете мое мнѣніе, добрѣйшая Поликсена Ивановна?

Поликсена Ивановна разсудительно покачала головой, какъ бы говоря: чего-жъ еще лучше!

— Вы только представьте себѣ, какъ будетъ пріятно храброму воину, послѣ жаркаго дѣла, отдохнуть на чистой постели, покрытой свѣжимъ бѣльемъ! Конечно, мы не мо-

жемъ обѣщать, что у всякаго будетъ свой эдредонъ, mais enfin... à la guerre comme à la guerre! вѣдь и въ мирное время ça laisse à désirer—n'est-ce pas?

Поликсена Ивановна продолжала сочувственно покачивать головой, какъ бы избавляя себя этимъ отъ необходимости соглашаться или возражать; но купецъ Дрыгаловъ даже глаза закатилъ, покуда генеральша разсказывала объ удовольствіяхъ, предстоящихъ храброму воину, успокоившемуся послѣ жаркаго дѣла въ чистой постели.

— Вотъ, по-моему, гдѣ истинное назначеніе женщины въ настоящее трудное время! — заключила генеральша, вздохнувъ тѣмъ дѣтскимъ всхлипывающимъ вздохомъ, какимъ вздыхаетъ человѣкъ, чувствующій, что у него гора съ плечъ сползла.

Всѣ даже руками развели, какъ бы удивляясь, какъ это имъ никому въ голову не пришла такая простая мысль. Но Положиловъ на этотъ разъ счелъ долгомъ предложить поправку къ мнѣнію ея превосходительства.

— А мнѣ такъ кажется, что ваше превосходительство слишкомъ ужъ умаляете роль женщины въ сферѣ общественной дѣятельности,—спридворничалъ онъ (при этомъ у него даже ямочка на бородѣ радостно заиграла):—по-моему, главное назначеніе женщины состоитъ не въ однѣхъ мелочахъ,—впрочемъ, безспорно полезныхъ и необходимыхъ,—о которыхъ вы сейчасъ изволили упомянуть, а въ томъ, и даже преимущественно въ томъ, чтобъ служить одухотворяющимъ началомъ общественной дѣятельности и въ то же время соединяющимъ звеномъ. И ваше превосходительство собственнымъ примѣромъ изволите несомнѣнно доказывать...

— Ну, да, это само собой... Конечно, я стараюсь... Устроить какой-нибудь комитетъ, собрать, соединить... enfin organiser quelque-chose... Вотъ мы хотимъ на-дняхъ базаръ устроить... Это—такъ! Я въ четырехъ комитетахъ участвую, въ одномъ даже предсѣдательницей—и, право, нахожу, что это совсѣмъ не такъ тяжело! Le gros du travail appartient certainement aux messieurs, а мы... наше дѣло—дать идею, организовать... и, разумѣется, содѣйствовать! А знаете ли вы, Поликсена Ивановна, что вашъ мужъ очень, очень помогаетъ намъ въ нашихъ заботахъ?

— И это тѣмъ пріятнѣе слышать, что Павелъ Ермолаичъ, дѣйствительно, не только съ готовностью, но и съ радостью исполняетъ приказанія вашего превосходитель-

ства!—поспѣшила отвѣтить Поликсена Ивановна, желая закрѣпить за своимъ мужемъ репутацію усерднаго исполнителя предначертаній.

— Да, онъ даже балуетъ насъ. Вашъ мужъ—это именно, какъ говорится,—un coeur d'or. И надобно удивляться, какъ онъ находитъ время для всего этого. Мы съ мужемъ—а вы знаете, Грегуаръ взыскателенъ относительно своихъ подчиненныхъ!—иначе не называемъ его, какъ l'homme au coeur d'or! Объ службѣ ужъ нечего и говорить: Грегуаръ прямо выражается: «это—моя правая рука!» Но, кромѣ службы, сколько комитетовъ, комиссій, совѣтовъ — право, даже голова кружится! Я всего въ четырехъ комитетахъ участвую, и то иногда... je n'en peux plus! А онъ... въ скольких комитетахъ вы участвуете, Павелъ Ермолаичъ?

— Въ семи-съ,—отвѣтилъ Положиловъ скромно, но, очевидно, ужъ подъ вліяніемъ яда лести: — въ трехъ состою дѣлопроизводителемъ, въ четырехъ—просто членомъ.

— Ну, да, «просто членомъ»... nous en savons quelque-chose! То-есть, на васъ же лежитъ все главное! Нѣтъ, вы представьте себѣ, Поликсена Ивановна! вотъ хоть бы въ томъ комитетѣ, гдѣ я служу предсѣдательницей: что бы я ни спросила у Павла Ермолаича... ну, тамъ статистику, цифру какую-нибудь... les onguents, la charpie... всегда, всегда сейчасъ же готовъ отвѣтъ! Просто невѣроятно. Сколько разъ мы убѣждали его: Павелъ Ермолаичъ, возьмите себѣ помощника! Потому что это наконецъ невозможно!—не правда ли, вѣдь это положительно невозможно?—и слышать не хочетъ! Я даже себя предлагала—вѣдь я, вы знаете, въ Смольномъ съ шифромъ вышла!—и мнѣ отказалъ! Такой нелюбезный!

— Это не нелюбезность,—поспѣшила Поликсена Ивановна оправдать своего мужа:—а, вѣроятно, онъ бережетъ здоровье вашего превосходительства, не желаетъ, чтобъ вы утруждали себя изъ-за него!

— Au reste, это немножко правда! всѣ эти бумаги, счеты—я ничего въ нихъ не понимаю. Еще маленькіе счеты—это я могу; но у нихъ, представьте, счеты въ четыре столбца! А онъ — у него все это сейчасъ какъ на ладони! И даже деньги—да! я сама ревизовала... внезапно, вдругъ! Сговорились мы съ Петромъ Иванычемъ и Анной Константиновной и нагрянули! и представьте, все, все какъ есть, все налицо! la charpie, les onguents, — все до

послѣдняго золотника! И даже деньги всѣ налицо—а вы знаете, какъ это трудно! И все намъ сейчасъ показалъ!

— Но вѣдь это—его долгъ, ваше превосходительство!—сентенціозно проговорила Поликсена Ивановна: — этимъ даже хвалиться нельзя!

— Вы говорите: долгъ? ахъ, chère Поликсена Ивановна! Но развѣ многіе изъ насъ серьезно относятся къ своему долгу? Вы знаете Грегуара — ужъ если есть человѣкъ à cheval sur son devoir, такъ это именно онъ!—ну-съ, такъ даже онъ на-дняхъ мнѣ сказалъ: «долгъ, мой другъ, есть тотъ прекрасный на видъ плодъ, который пользуется въ начальственныхъ сферахъ очень солидною репутаціею, но вкушеніе отъ котораго предоставляется, по преимуществу, нижнимъ чинамъ, да и тѣ вкушаютъ оный лишь подъ страхомъ отрѣшенія отъ должности! Вотъ что такое нашъ долгъ!»

Безнадежность этого своеобразнаго толкованія на минуту огорчила присутствующихъ; но всѣ опять встрепенулись (а купецъ Дрыгаловъ даже лукаво подмигнулъ по направленію къ ея превосходительству), когда Положиловъ возразилъ:

— Но ваше превосходительство своимъ примѣромъ, собственною, такъ сказать, особою доказываете...

— Что я! Это ужъ моя роль такая, мое назначеніе! Я *не могу* не исполнить моего долга—et me voila lancée! Но даже и я иногда тягощусь! Очень, очень! Я знаю, что это нехорошо, что въ настоящее время это—наша святая обязанность, mais que voulez-vous? иногда это невольно! И опять-таки повторяю, если бы у меня не было такой прелестной помощницы, какъ Анна Константиновна, и такого казначея, какъ Павелъ Ермолаичъ,—я не знаю... Право, мнѣ кажется, я бы взбунтовалась! Представьте себѣ: въ четыре столбца! Иногда мнѣ и хотѣлось бы понять, и я стараюсь... Но вы знаете наше воспитаніе... Насъ воспитывали, чтобъ изъ насъ вышли des bonnes épouses, d'excellentes mères de famille, чтобъ мы умѣли себя держать прилично въ обществѣ, могли занять гостей, поддержать разговоръ; но счеты, бухгалтерія... кто же могъ предвидѣть, что это когда-нибудь понадобится?

— Не извольте огорчаться! Богъ дастъ, ваше превосходительство со временемъ и эту науку произойдете. А покудова потрудитесь только приказать — для васъ Павелъ Ермолаичъ всякіе счеты сведутъ! — счелъ долгомъ утѣшить разогорченную генеральшу купецъ Дрыгаловъ.

При этихъ словахъ глазки генеральши выразили почти безпокойство; очевидно, въ ея умѣ блеснула мысль: а что если этотъ негоціантъ встанетъ и, въ знакъ своего расположенія, погладитъ ее по головкѣ? Павелъ Ермолаичъ тоже сконфузился и вопросительно глядѣлъ на Дрыгалова, словно выжидая, не скажетъ ли онъ чего-нибудь еще? Даже Simon Рогаткинъ — и тоже застыдился. Натурально, Поликсена Ивановна поспѣшила прекратить общее недоумѣніе.

— Какъ это однако пріятно видѣть, что ваше превосходительство, молодыя такія, а объ одномъ только и безпокоитесь, какъ бы ближнему на помощь придти да на общеполезное дѣло потрудиться! Вотъ хоть бы теперь: весело даже посмотрѣть, какая вы заботливая, дѣятельная...

— А главное, дѣльная!—присовокупилъ, съ своей стороны, Павелъ Ермолаичъ:—хлопотать можно всячески; но дѣльно хлопотать, такъ, чтобъ черезъ эти хлопоты достигалась благая цѣль,—это доступно не всякому!

Однимъ словомъ, благодаря находчивости хозяевъ, дѣло приняло такой оборотъ, что «дорогая гостья» не только оправилась отъ безпокойства, но даже грудка ея слегка заволновалась отъ похвалъ.

— Ахъ, нѣтъ... ну, да, то-есть, коли хотите, я, конечно... вотъ только счеты эти. И еще, сознаюсь вамъ по секрету, вопросъ о проливахъ... никакъ не могу я оріентироваться въ немъ... То-есть, вотъ видите, мнѣ-то кажется, что они должны принадлежать *намъ*... Не правда ли, вѣдь это такъ? Они должны принадлежать—намъ? да?

— Но какое же можетъ быть въ этомъ сомнѣніе, ваше превосходительство!—даже изумился въ отвѣтъ Положиловъ.

— Ну, вотъ видите! И Анна Константиновна, и Ольга Павловна, et tous les messieurs de notre comité — всѣ такъ говорятъ; а вотъ Грегуаръ... Представьте себѣ, надняхъ онъ мнѣ прямо сказалъ: «желанія ваши насчетъ проливовъ, какъ патріотъ, я, конечно, вполнѣ одобряю, но опасаюсь одного: едва ли вопросъ сей получитъ то рѣшеніе, которое вполнѣ удовлетворитъ Анну Константиновну!»

— Но, можетъ-быть, это не насчетъ проливовъ, а насчетъ гирлъ его превосходительство изволилъ такъ выразиться?—робко попробовалъ Положиловъ устроить лазейку.

— Нѣтъ, именно насчетъ проливовъ! «Гирла,—сказалъ онъ:—это само по себѣ. *Но... и проливы!..*»

Въ виду столь ясно выраженнаго мнѣнія высшаго начальства, и Павелъ Ермолаичъ и Поликсена Ивановна, очевидно, затруднились, какой бы придумать компромиссъ, который бы обѣ стороны обѣлилъ. Павелъ Ермолаичъ даже ужъ началъ: «Конечно, ваше превосходительство, съ одной стороны...» Но Дрыгаловъ далъ дѣлу совершенно неожиданный оборотъ, воскликнувъ:

— Богъ милостивъ, ваше превосходительство! можетъ, и въ нашу пользу рѣшатъ! А нѣтъ, такъ вѣдь мы и подождать можемъ!

Этотъ исходъ всѣхъ примирилъ. Поликсена Ивановна сочувственно подмигнула, Павелъ Ермолаичъ почесалъ у себя за ухомъ, Simon Рогаткинъ сложилъ губы сердечкомъ, а генеральша даже вздохнула, словно бремя свалилось у нея съ души.

— Да, но все-таки...—сказала она весело: — впрочемъ, только это одно и затрудняетъ насъ... А во всемъ остальномъ... право, вовсе *это* не такъ трудно, какъ казалось, когда мы приступали къ дѣлу. Знаете ли что? Я замѣчаю, что это даже для здоровья моего хорошо... Прежде, покуда меня *это* не занимало, я чувствовала, что начинаю толстѣть. И лѣнь какая-то явилась: въ два, три магазина съѣздишь—и домой! А теперь, при этомъ постоянномъ движеніи, я такая проворная сдѣлалась, что могу десять-пятнадцать визитовъ въ утро сдѣлать—и ничего. А вечеромъ опять!

Всѣ сочувственно покачали головой, какъ бы дивясь Божьему произволенію, укрѣпляющему скудельный сосудъ сей.

— А все-таки до Павла Ермолаича мнѣ далеко, — продолжала генеральша:—Павелъ Ермолаичъ, это—такой человѣкъ! такой человѣкъ! это именно, какъ говоритъ Грегуаръ, — un coeur d'or! Представьте себѣ: les onguents, la charpie, les draps de lit... все, все у него на рукахъ! И... деньги! Ахъ, это очень, очень трудно!

— Ваше превосходительство слишкомъ ужъ милостивы къ нему!

— Нѣтъ, какъ хотите! Я когда была въ Смольномъ, то и тогда ужъ кастеляншѣ удивлялась, какъ это она цѣлый день все считаетъ и не потеряется, а теперь... это даже поразительно! И отчего вы не возьмете себѣ помощника, Павелъ Ермолаичъ? вѣдь вы устали? вѣдь да? Посмотрите на него, Поликсена Ивановна! вѣдь онъ усталъ... да?

Павелъ Ермолаичъ только кланялся въ знакъ признательности, но видно было, что ему ужъ начинаетъ подступать къ горлу.

— Усталъ и не хочетъ, чтобъ ему помогли! — продолжала упорствовать «дорогая гостья»:—я этого, какъ хотите, не понимаю! По-моему, это — ужъ упрямство! Знаете ли, вѣдь и Грегуаръ въ васъ это замѣтилъ! Не далѣе какъ вчера была объ васъ рѣчь, и онъ сказалъ: «Положиловъ— золотой человѣкъ, но въ немъ есть одинъ недостатокъ: упрямство!» Не правда ли, онъ упрямъ, Поликсена Ивановна?

Отзывъ Грегуара, какъ непосредственнаго начальника, нѣсколько огорчилъ Поликсену Ивановну, но дѣлать нечего, она все-таки постаралась улыбнуться въ отвѣтъ.

— Да, есть-таки грѣшокъ!—сказала она.

— И какъ еще есть! Скажите, Павелъ Ермолаичъ, вы всегда были упрямы? Мсьё! вы его товарищъ — скажите, онъ всегда былъ упрямъ?—обратилась генеральша ко мнѣ и, не выждавъ отвѣта, продолжала: — Усталъ — и не хочетъ, чтобъ ему помогли! Отчего вы не хотите намъ удовольствіе сдѣлать... отчего? Мы васъ просимъ: возьмите помощника!—скажите, отчего вы не хотите исполнить нашу просьбу?

Наконецъ къ Павлу Ермолаичу подступило.

— Коли угодно, вотъ Семенъ Николаичъ охотится,—сказалъ онъ, указывая на Рогаткина.

— Вотъ и прекрасно! и не зачѣмъ это дѣло откладывать! Такъ вы, мсьё... мсьё... мсьё...

Генеральша затруднилась; Simon поспѣшилъ подсказать:

— Рогаткинъ-съ.

— Такъ вы, мсьё... ah, pardon! Такъ вотъ что, мсьё... Вы завтра утромъ, около часу, пожалуйте ко мнѣ, и я посвящу васъ во всѣ наши дѣла... я вамъ все разскажу... tout... tout! Les onguents, la charpie... все, все! Вы, кажется, тоже у Грегуара служите въ вѣдомствѣ?

Simon слегка отдѣлился отъ кресла, но былъ такъ еще неопытенъ въ сношеніяхъ съ дамами высшаго полета, что недоумѣвалъ — слѣдуетъ ли ему встать или продолжать сидѣть.

— Онъ у меня, въ нашемъ же вѣдомствѣ, — выручилъ его Павелъ Ермолаичъ.

— И отлично. Значитъ, мы будемъ en famille. Ну, а вы, мсьё?—вдругъ обратилась она ко мнѣ:—какъ товарищъ мсьё Положилова, вы, можетъ-быть, пожелали бы...

Это было такъ неожиданно, что я съ перваго раза не понялъ и осмотрѣлся по сторонамъ, ища, не вошелъ ли еще кто-нибудь, къ кому бы могъ быть обращенъ вопросъ ея превосходительства. Къ счастію, Положиловъ поспѣшилъ ко мнѣ на помощь.

— Нѣтъ, ужъ его вы, ваше превосходительство, не тревожьте!—сказалъ онъ:—онъ—человѣкъ больной... да притомъ же, какъ вы сами изволили выразиться, и пламень этотъ долженъ поддерживать.

— Да, да, это тоже необходимо... вѣдь я и забыла, что вы литераторъ! вѣдь вы—литераторъ?.. да? Какъ же! какъ же! Грегуаръ еще на-дняхъ объ васъ говорилъ: «этотъ литераторъ...»

Но тутъ она вдругъ какъ бы вспомнила что-то и не договорила... Даже лиліи смѣнились на ея щекахъ розами, и она какъ-то тоскливо взглянула по сторонамъ, словно ожидая, не выручитъ ли ее кто-нибудь. Но такъ какъ на этотъ разъ никто не нашелся, то она взглянула на часы и заторопилась.

— Ужъ половина шестого! — воскликнула она, шумно поднимаясь съ дивана:—скажите, какъ я у васъ засидѣлась! Такъ, стало-быть, c'est convenu: съ завтрашняго дня, chère Поликсена Ивановна, вы—наша?

Она взяла Поликсену Ивановну за обѣ руки и съ минуту смотрѣла ей въ глаза такъ любовно, какъ будто ея участь была въ рукахъ этой милой женщины. Съ своей стороны, и Поликсена Ивановна умышленно медлила отвѣтомъ, какъ будто съ одной стороны ее пугала трудность подвига, а съ другой—не было той жертвы, которой бы она ни принесла въ пользу «дорогой гостьи».

— Ваша!—выговорила наконецъ Поликсена Ивановна твердо.

— Ну, такъ до свиданія! Завтра вечеромъ у насъ первое засѣданіе... увидимся! И, право, у насъ совсѣмъ не такъ скучно! On cause, on rit... а между тѣмъ и дѣло... До свиданія, Павелъ Ермолаичъ! вотъ вы и съ помощникомъ... очень, очень рада за васъ, а еще больше за себя, потому что я не хочу—слышите, не хочу!—чтобъ вы уставали!

Черезъ секунду отъ нея осталась только благоухающая струя.

Я стоялъ и потягивался, точно бремя съ души у меня спало. Дрыгаловъ закрылъ глаза, очевидно, стараясь воспроизвести и *навсегда запечатлѣть* мелькнувшее передъ

нимъ видѣніе. Simon Рогаткинъ, въ устремленной позѣ, приковалъ взоры къ двери передней, куда скрылась его очаровательная начальница.

И вдругъ меня словно ударило. Грегуаръ сказалъ: «этотъ литераторъ...» Ну-съ, а дальше? Что̀ такое онъ дальше сказалъ? Отчего она не договорила и зарумянилась? «Этотъ литераторъ...» развѣ это опредѣленіе? Дальше-то, дальше-то что̀ онъ сказалъ? А можетъ-быть, онъ и дѣйствительно ничего не сказалъ, а только ковырнулъ пальцемъ въ воздухѣ... Любопытно! очень бы любопытно узнать, въ какомъ смыслѣ совершилось это ковыряніе! Означаетъ ли оно: *читалъ съ удовольствіемъ* или напротивъ... «Гм!.. этотъ литераторъ...» О, чортъ побери!

Удивительно это однако-жъ. Если бы мнѣ сказали, что Дрыгаловъ или Рогаткинъ, и даже самъ Положиловъ, разговаривая обо мнѣ, ковырнули пальцемъ въ воздухѣ, я рѣшительно нимало не озаботился бы этимъ. А вотъ Грегуаръ ковырнулъ, и у меня моментально кошки на сердцѣ заскребли! Поймите: вѣдь это тотъ самый Грегуаръ, котораго даже богобоязненный Положиловъ, въ минуты откровенности, называетъ «сивымъ мериномъ», и вотъ онъ, въ одинъ моментъ, какого переполоху во всѣхъ моихъ внутренностяхъ надѣлалъ! Ковырнулъ пальцемъ... да, навѣрное онъ ковырнулъ! Что-жъ такое случилось? Какіе такіе поступки я совершилъ, чтобъ заслужить это ковырянье? и что̀ мнѣ *за это* будетъ? Потому что вѣдь этотъ сивый меринъ... то бишь, этотъ Грегуаръ—вѣдь онъ...

Эти странныя мысли точно сверломъ сверлили меня, покуда Положиловъ раскланивался съ «дорогой гостьей». Я ужъ началъ помаленьку перебирать въ умѣ свое прошлое, съ цѣлью сначала уразумѣть и внимательно обсудить свои «вины», а потомъ уже перейти и къ опредѣленію мѣръ взысканія, какъ говоръ въ передней утихъ, и Павелъ Ермолаичъ почти въ прискочку подбѣжалъ ко мнѣ.

— Вотъ оно, братецъ!—воскликнулъ онъ, беря меня за обѣ руки и, весь красный, смотря мнѣ въ глаза.

Какъ ни пріятно было благоуханіе, распространяемое дорогою гостьей, однако съ отъѣздомъ ея сдѣлалось замѣтно легче. Даже у осторожной Поликсены Ивановны появилась на лицѣ улыбка освобожденія, и только купецъ Дрыгаловъ счелъ долгомъ воздать должное отъѣхавшей, воскликнувъ: «вотъ такъ дамочка! отдай все да и мало!»

Подобныя ощущенія внезапнаго облегченія случаются нерѣдко, особливо, когда имѣешь дѣло съ дамочками. Посмотрѣть на нее—только, кажется, дунь, и вся она, со всѣмъ кружевнымъ и шелковымъ скарбомъ, разсѣется, какъ дымъ; а посиди да поговори съ нею—тяжелѣе мономаховой шапки скажется. Голова заболитъ отъ одного учтиваго напряженія что-нибудь уловить въ безконечномъ журчаніи словъ. Это журчаніе, несмотря на свои ласкающія формы, представляетъ, въ сущности, очень страшное орудіе, съ помощью котораго маленькое, слабенькое, почти прозрачное существо можетъ въ короткое время не только осилить самаго солиднаго человѣка, но и свести его съ ума, подвинуть на множество глупыхъ и безчестныхъ дѣлъ, заставить метаться и проч. Мало того: съ помощью словеснаго журчанія дамочка можетъ поставить втупикъ цѣлое общество здравомыслящихъ людей, въ одинъ моментъ смоетъ всѣ ихъ умственныя построенія, порветъ всякую связь между мыслями и взамѣнъ заключенія заставитъ выпучить глаза.

Извѣстно однако-жъ, что существуетъ цѣлый общественный слой, въ которомъ подобныя журчанія представляютъ единственное орудіе для обмѣна мыслей, и въ которомъ, за всѣмъ тѣмъ, никто не ощущаетъ ни головныхъ болей, ни поползновенія метаться. Повидимому, люди этого міра, отбросивъ всякую мысль о необходимости понимать другъ друга, довольствуются во взаимныхъ сношеніяхъ тѣмъ, что одному журчанію противопоставляютъ равносильное встрѣчное журчаніе. И хотя въ результатѣ, разумѣется, оказывается путаница, но, къ удивленію, жизнь не только не терпитъ ущерба отъ нея, но даже пріобрѣтаетъ извѣстную внѣшнюю пестроту. Благодаря этой послѣдней завязываются между дѣйствующими лицами отношенія, столкновенія, даже цѣлые романы съ довольно сложными перипетіями, являются проблески радости, горя, отчаянія и проч. Однимъ словомъ, съ внѣшней стороны все происходитъ совсѣмъ такъ, какъ бы и въ настоящемъ человѣческомъ обществѣ, вслѣдствіе чего нѣкоторые не особенно прозорливые наблюдатели (напримѣръ, романисты) легко впадаютъ въ ошибку и, изображая эту призрачную жизнь, въ которой нѣтъ ни одного яснаго мотива, кромѣ амуровъ, щегольства и гастрономическихъ увлеченій, выдаютъ ее за человѣческую...

Да, много еще тайнъ хранитъ природа въ нѣдрахъ своихъ, и что̀ всего замѣчательнѣе: чѣмъ дряннѣе тайна, тѣмъ труд-

нѣе распутать тѣ безконечныя паутинныя наслоенія, которыми она закутываетъ себя со всѣхъ сторонъ.

Итакъ, мы повеселѣли. Къ тому же явилась и еще пріятная неожиданность, которая окончательно возвратила намъ хорошее расположеніе духа. Едва Положиловъ успѣлъ посѣтовать, что между нами нѣтъ Глумова, какъ въ столовой раздался его голосъ. Разумѣется, мы сейчасъ же устремились туда и застали нашего друга совмѣстно съ Поликсеной Ивановной сѣтующимъ, что Богъ огурцовъ прошлымъ лѣтомъ совсѣмъ не уродилъ.

— Этакая снѣдь прекраснѣйшая, а мы, яко христіане, даже роптать не смѣемъ, что на цѣлый годъ ея лишены!— жаловался онъ.

— И грибы только ужъ къ сентябрю пошли. Полакомиться ими — полакомились, а въ прокъ заготовить не успѣли!—вторила ему Поликсена Ивановна.

— И на это роптать не смѣемъ. Каждый годъ у насъ чего-нибудь либо мало, либо совсѣмъ нѣтъ; каждый годъ съ весны мы надѣемся, а осенью видимъ наши надежды разрушенными; но и за всѣмъ тѣмъ не ропщемъ, потому что вновь впредь надѣемся. Вотъ хоть бы по части огурцовъ... если бы не помѣшали военныя обстоятельства, непремѣнно вышло бы какое-нибудь мѣропріятіе, дабы, съ одной стороны, предотвратить непомѣрные урожаи, вслѣдствіе которыхъ воздѣлываніе сего полезнаго продукта представляется не токмо безвыгоднымъ, но и убыточнымъ, а съ другой...

На этомъ мѣстѣ разговоръ былъ прерванъ нашимъ появленіемъ. Послѣдовали взаимныя горячія объятія, вопросы:—какими судьбами? откуда? когда?

— Сегодня утромъ изъ деревни и ужъ съ полчаса сижу въ кабинетѣ. Вижу, что у подъѣзда карета стоитъ, спрашиваю: кто? говорятъ: международная дамочка въ гостяхъ сидитъ... Ну, я и притаился. А занятная дамочка! я, признаться, въ щелку заглянулъ, какъ она проходила: грудочка, плечики... именно все, что для утѣшенія рода человѣческаго нужно, — все налицо! На букетъ, что ли, для поднесенія плѣннымъ туркамъ, съ подпиской пріѣзжала?

Собственно насъ съ Положиловымъ вопросъ этотъ нимало не удивилъ, такъ какъ мы достаточно знали страсть Глумова озадачивать людей неожиданными предположеніями, однако, видя, что Поликсена Ивановна поморщилась, мы сочли своимъ долгомъ по мѣрѣ силъ вступиться за дорогую гостью.

— Ну, любезный, ты этого говорить не моги!—сказалъ Положиловъ: — во-первыхъ, эта дама — супруга моего начальника, а во-вторыхъ... что, бишь, во-вторыхъ?.. да! вотъ и насчетъ патріотизма... Не только къ туркамъ пристрастія не имѣетъ, но даже о проливахъ заботится... Очень, очень старается, чтобъ проливы за нами остались...

— И, Богъ дастъ, старанія ея увѣнчаются успѣхомъ,— присовокупилъ и я съ своей стороны:—хотя, къ сожалѣнію, Грегуаръ и сомнѣвается въ томъ.

Къ удивленію однако-жъ, Поликсена Ивановна не только не утѣшилась этими похвалами, но, напротивъ того, покачивала головой и приговаривала:

— Ахъ, господа, господа!

Наконецъ сѣли обѣдать, и, разумѣется, бесѣда началась съ вопроса, обращеннаго къ Глумову: какъ въ «своемъ мѣстѣ» нашелъ?

— Какъ вездѣ, такъ и у насъ въ Соломенномъ Городищѣ. У всѣхъ и на умѣ и на языкѣ одно: война!

— Что говорятъ? какъ относятся?

— Да какъ сказать... прилично! Интеллигенція, то-есть... ей-Богу, очень даже прилично! Молебны, панихиды—всегда полонъ соборъ мундировъ. Предводители — тѣ такъ-таки прямо говорятъ: «доколѣ ненавистное имя Турціи существуетъ на картѣ Европы, дотолѣ не положимъ оружія!» Такъ что губернаторъ, на всякій случай, даже вынуждается деликатнымъ образомъ сдерживать ихъ. А разговоры какіе въ клубахъ происходятъ—просто хоть куда!

— Чай, и дамы въ движеніи участіе принимаютъ?

— Какъ же, и дамы... Генеральши сами коршію щиплютъ, пикники, лотереи-аллегри въ пользу раненыхъ воиновъ устраиваютъ... Намедни поѣздъ съ ранеными на станцію пріѣхалъ, такъ всѣ соломенныя дамочки туда устремились и всѣ, какъ на подборъ, прехорошенькія! Одна генеральша раны перевязываетъ, другая чаемъ съ блюдечка поитъ, третья со словъ солдатиковъ письма въ деревню пишетъ... А граціи да прекрасныхъ манеръ сколько было по этому случаю въ одночасье выказано, такъ, увѣряю, въ Александринкѣ, съ самаго ея основанія, не было столько потрачено!

— Не все же, чай, грація да прекрасныя манеры; вѣроятно, что-нибудь и другое найдется!

— По временамъ и скандалы бываютъ. Прислали, напримѣръ, къ намъ на жительство майорину турецкаго;

только видятъ: жрать майорина безъ бутылки шампанскаго за столъ не садится! Стали разузнавать—и что-жъ оказалось! — что это наши соломенныя интернаціональныя дамочки ему въ складчину каждый день по бутылкѣ посылаютъ! А онъ, въ благодарность, русскимъ сквернымъ словамъ выучился — всѣ гуртомъ такъ и чешетъ! Это ужъ наши соломенные интернаціональные жёнъ-жаны научили

— Неужели все это правда? неужто и теперь подобные факты случаться могутъ?—удивлялась Поликсена Ивановна, прискорбно покачивая головой.

— Не лгу-съ.

— И ничего? такъ-таки о сю пору и хлещетъ турка шампанское?

— Нѣтъ, сторонкой дали дамочкамъ знать, что нехорошо, молъ, врага религіи ублажать,—ну, перестали. Теперь майорина при одномъ сквернословіи остался.

— Гм!.. такъ вотъ ты какія вѣсти привезъ! пикники, мундиры, грація и, для оттѣненія картины, майорина, пьющій шампанское, пріобрѣтаемое иждивеніемъ русскихъ дамъ! Si non é vero, é ben trovato!—усомнился Положиловъ.

— А если не вѣришь, такъ и не вѣрь!

— Нѣтъ, это даже очень возможно-съ! — вступился за Глумова Дрыгаловъ.—У насъ, доложу вамъ, Павелъ Ермолаичъ, въ 1854 году какой случай былъ. Прислали этта одного плѣннаго англичанина къ намъ на житье—ну, одна дамочка, промежду танцевъ, и скажи ему: «сколь много мы были бы довольны, ежели бы господа англичане до нашего города дошли!» Такъ одинъ господинъ услыхалъ эти слова да плюху ей и закатилъ!

— Такъ-таки и закатилъ?

— Вотъ какъ передъ Истиннымъ. И супругъ ейный видѣлъ и не вступился: «полностью, говоритъ, заслужила!»

— Какіе однако-жъ странные и отчасти прискорбные факты вы приводите, господа! — сентиментально воскликнулъ Положиловъ, тутъ же, впрочемъ, спохватившись, что выразился слишкомъ ужъ по-бумажному.

— А ты... какимъ ты страннымъ и отчасти прискорбнымъ языкомъ говоришь! — передразнилъ его Глумовъ: — точно отношеніе отъ равнаго къ равному пишешь! Милый ты человѣкъ! вѣдь не въ томъ дѣло, что мы прискорбные факты передаемъ, а въ томъ, что этихъ фактовъ отрицать нельзя. Существуютъ они.

— Положимъ. И грація, и скандалы—все это подмѣчено вѣрно. Но, во-первыхъ, глупыя и пошлыя личности возможны во всякомъ обществѣ, а во-вторыхъ...

— Во-вторыхъ, не всѣ, молъ, таковы?.. разумѣется, не всѣ! Я съ того вѣдь и началъ, что въ общемъ все очень прилично. При молебствіяхъ присутствуютъ, благословеніями напутствуютъ—чего еще надо? Есть, братецъ, даже и такія личности, которыя всякаго за горло готовы ухватить не только при сомнѣніи насчетъ будущихъ успѣховъ, но и при малѣйшемъ упоминаніи о неуспѣхахъ прошедшихъ... Такъ развѣ это что-нибудь доказываетъ?

— Доказываетъ, что люди вездѣ люди, и что каждый изъ нихъ выражаетъ свое отношеніе къ дѣлу, какъ можетъ. Ты вотъ въ смѣшномъ видѣ грацію представляешь; но, во-первыхъ, дамочекъ-то пора бы и въ сторонѣ оставить, потому что не въ нихъ дѣло, а во-вторыхъ, что-жъ имъ дѣлать, этимъ несчастнымъ, когда онѣ съ колыбели граціей исковерканы!

— А между тѣмъ и имъ свое сочувствіе чѣмъ-нибудь выразить хочется! — поддержала мужа Поликсена Ивановна.

— Я развѣ запрещаю? Я говорю только: смотрѣть противно!

— Намеднись, доложу вамъ, я, вмѣстѣ съ прочими, на вокзалѣ при пріемкѣ раненыхъ былъ, — отозвался Дрыгаловъ: — такъ одна барынька къ служивенькому привязалась: «гдѣ у тебя, воинъ, болитъ?» — Не могу сказать, ваше благородіе! говоритъ. — «Нѣтъ, ты скажи! теперь такое время, что мы все можемъ знать!» — Не могу, говоритъ, сказать, нехорошо у меня болитъ!—Нѣтъ-таки, не отстаетъ: скажи да скажи! Ну, онъ и сказалъ.

— Да неужто же вы не понимаете, господа, что все это анекдоты одни?—слегка разсердился Положиловъ: — положимъ, Дрыгаловъ спроста анекдоты разсказываетъ, ну, а ты, Глумовъ... подумай, нѣтъ ли у тебя предвзятаго предубѣжденія въ этомъ случаѣ? Помнится, ты когда-то говаривалъ, что для нашей интеллигенціи все равно, если насъ, русскихъ, и за Волгу загонятъ...

— Ну, да, то-есть доходы получать—конечно, все равно. Я нашу такъ-называемую интеллигенцію даже и сравнить ни съ чѣмъ другимъ не умѣю, кромѣ какъ съ ветхой печкой, у которой нутро выгорѣло. Хоть цѣлый лѣсъ тамъ спали—ничѣмъ ты ее не разожжешь!

— Почему же нибудь однако она живетъ и даже заявляетъ о своемъ существованіи?

— Живетъ—на остатки отъ выкупныхъ свидѣтельствъ; заявляетъ о своемъ существованіи—тѣмъ, что превратныя идеи разыскиваетъ да строчки въ книжкахъ подчеркиваетъ. Даже и теперь — кажется, время не шуточное!—эти занятія на первомъ планѣ. Сосѣдъ у меня по деревнѣ, штатскій генералъ, есть, такъ пріѣзжаю я на-дняхъ къ нему: такъ и такъ, говорю, мои двѣ коровы въ овсахъ у вашего превосходительства пойманы, такъ прикажите штрафъ получить, а скотину отпустить... Ну, разумѣется, вознегодовалъ. «Помилуйте, говоритъ, **такое ли** теперь **время**, чтобъ пустяками заниматься... Эй, **сейчасъ** же отпустить коровъ г. Глумова да сказать тамъ, чтобъ впредь подобныхъ глупостей не допускали! А мы, говоритъ, съ вами о нынѣшнихъ дѣлахъ побесѣдуемъ!» И началъ, и началъ... И сердце-то у него изболѣло, и не разъ-то онъ предсказывалъ, что война до добра не доведетъ, и проливовъ-то ему хочется, и Константинополь... «Отчего, говоритъ, они прямо туда не идутъ? По-моему, говоритъ, сначала на Филиппополь, потомъ на Адріанополь, а оттуда—ужъ рукой подать!» Только бесѣдовалъ это, бесѣдовалъ да вдругъ какъ брякнетъ: «а знаете ли, говоритъ, все-таки настоящая язва наша не здѣсь! внѣшнихъ-то враговъ мы, съ Божьею помощью, рано или поздно побѣдимъ, а вотъ внутренніе враги... о!!»

— И это опять-таки анекдотъ!

— Ахъ, любезный, да ежели вся жизнь изъ анекдотовъ состоитъ? На выдумки, что ли, пускаться прикажешь, чтобъ тебя не оторчать?

— Выдумывать, конечно, не зачѣмъ, а воздерживаться—пожалуй, не лишнее!

— То-есть, рапортовать, что всѣ сословія, въ одномъ общемъ чувствѣ умиленія, возсылали теплыя мольбы... такъ, что ли?

— Нѣтъ, и не такъ. Скажу тебѣ откровенно: и самъ даже не знаю какъ; но знаю навѣрное, что отъ всѣхъ этихъ анекдотовъ фальшью отдаетъ. И еще знаю, что и въ средѣ интеллигенціи найдется довольно людей, которые совсѣмъ не такъ легкомысленно относятся къ дѣлу... ты, напримѣръ?

Вопросъ былъ поставленъ не безъ ехидства, и я, признаюсь, ожидалъ, что Глумовъ смутится или, по малой

мѣрѣ, прибѣгнетъ къ одному изъ множества истрепанныхъ оправданій, въ родѣ: «я — человѣкъ искалѣченный», или: «моя пѣсня спѣта» и т. д. Но онъ, повидимому, рѣшился не смущаться ни передъ какими вопросами.

— Я-то! — воскликнулъ онъ совершенно просто: — а ты почему думаешь, что я къ чему бы то ни было и какъ бы то ни было относиться долженъ?

— Однако!

— Развѣ я что-нибудь знаю? развѣ я когда-нибудь за свой счетъ думалъ? развѣ мнѣ не твердили съ пеленокъ, что я — ничего болѣе, какъ пятое колесо въ колесницѣ? Нѣтъ, государь мой, отъ «отношеній» къ чему бы то ни было прошу меня разъ навсегда уволить! Не мое дѣло — вотъ единственный отвѣтъ, который я могу на всѣ вопросы дать и за который навѣрное получу полный баллъ у своего соломенскаго исправника. И все, къ чему я сознаю себя нравственно-обязаннымъ, это—не кобениться, не глубокомысленничать насчетъ проливовъ и не науськивать. А по прочему по всему я такой же культурный человѣкъ, какъ и всѣ.

Возражать на этотъ новый глумовскій парадоксъ было, конечно, не мудрено (у меня даже цѣлый рядъ живыхъ картинъ по этому случаю въ головѣ мелькнулъ); но скользко было слѣдовать за нимъ по этому пути, и потому мы благоразумно смолчали.

— Ну, хорошо,—началъ опять Положиловъ: — оставимъ интеллигенцію въ сторонѣ. Въ народѣ что говорятъ?

— Въ народѣ, любезный другъ, не хвастаются, не долгоязычничаютъ и даже ничего не знаютъ о проливахъ, а просто несутъ свои головы. Только вдову очень ужъ много.

— Гм!.. да?

— Да, есть-таки. Ѣхалъ я нынче изъ деревни до желѣзной дороги, такъ и до сихъ поръ въ ушахъ звенитъ. Всѣ двадцать верстъ, какъ нарочно, партіи ратниковъ тянулись, а за ними толпами бабы... всю жизнь этихъ звуковъ не позабыть!

Глумовъ умолкъ на минуту, словно почувствовалъ неловкость.

— Мы этихъ картинъ не видимъ, — продолжалъ онъ:— а потому даже лучшіе изъ насъ представляютъ себѣ народъ въ видѣ громаднаго и упругаго кокона, отъ котораго отскакиваютъ всякія бѣдствія или, по крайней мѣрѣ, не

такъ мучительно вонзаются. Такъ это неправда. Никакого кòкона нѣтъ, а есть миріады отдѣльныхъ единицъ, изъ которыхъ каждая за свой собственный счетъ страдаетъ и стонетъ. И даже больше, нежели, напримѣръ, мы, потому что ей, этой безвѣстной единицѣ, приходится прямо кровь проливать и голову нести, а не морально только изнывать. Да, господа, коли издали слушать, такъ и стонъ въ общей массѣ не поразителенъ, даже гармонію своеобразную представляетъ, а вотъ какъ выхватить изъ этой массы отдѣльный вопль... ужасно! ужасно! ужасно!

— Позвольте вамъ, сударь, доложить, что вой этотъ собственно... — попробовалъ-было вмѣшаться Дрыгаловъ, но Глумовъ даже не обратилъ вниманія на его перерывъ.

— Да, — продолжалъ онъ: — народъ и теперь, какъ всегда, ведетъ себя сдержанно и степенно. Онъ всякую тяжесть выдержитъ на своихъ плечахъ, изъ всякой бѣды грудью вынесетъ! Теперь мы и сами готовы признать, что народъ, въ самомъ дѣлѣ, есть нѣчто, имѣющее собственную физіономію, а не просто объектъ для экономическихъ и административныхъ построеній; а давно ли...

— Позвольте однако вамъ доложить, что собственно бабы эти...—опять рискнулъ Дрыгаловъ, но Глумовъ и на этотъ разъ не далъ ему высказаться.

— Знаю, Терентій Галактіонычъ, что̀ ты хочешь сказать, и заранѣе говорю: умолкни! Умолкни, потому что, если ты выскажешь то̀, что̀ у тебя на языкѣ вертится, — тебѣ же стыдно будетъ! Да, господа, стыдно! Стыдно разговаривать, стыдно проводить время... даже жить въ иныя минуты чувствуется неловко!

— А жить все-таки нужно! — задумчиво отозвалась Поликсена Ивановна.

— Жить нужно для сродственниковъ, для знакомыхъ... вообще для всѣхъ нужно жить!—сентенціозно поддержалъ ее Дрыгаловъ. — Иванъ Николаичъ люди одинокіе — вотъ имъ и сподручно панафиды-то эти пѣть!

— Панихиды, а не панафиды, — поправилъ его Глумовъ: — который годъ ты первую гильдію платишь, а по-благородному все-таки говорить не умѣешь. А впрочемъ, ты правъ: именно панафиды—весь этотъ разговоръ нашъ. И охота тебѣ, Павелъ Ермолаичъ, объ такихъ матеріяхъ рѣчь заводить! Сидѣли бы да зубами щелкали—право, съ нашего брата предостаточно.

— Ничего, сударь, въ кампаніи отчего-жъ и не поговорить! — разсудилъ Дрыгаловъ: — кабы за нами дѣло какое стояло — ну, тогда точно что не до разговоровъ! а то дѣловъ никакихъ нѣтъ, время праздничное — никто не забранитъ, ежели, между прочимъ, и слово перекинемъ.

— Такъ ты и перекидывай, ежели у тебя языкъ чешется!

— Нѣтъ ужъ, сдѣлайте ваше одолженіе, извольте продолжать! всѣхъ вы отрекомендовали, такъ ужъ и намъ, купечеству, аттестатъ пожалуйте!

— Посмотри на свое пузо—вотъ тебѣ и аттестатъ!

— Пузо, сударь, отъ пищи, а пища отъ Бога. Нѣтъ, вы намъ вотъ что̀ доложите: неужто въ нашемъ купечествѣ этого духу мало?

— Какого духу?

— А вотъ хоть бы насчетъ этихъ самыхъ обстоятельствъ.

— А кто отъ ратничества всѣми правдами и неправдами откупается?

— Такъ вѣдь это по человѣчеству-съ. Нешто пріятно теперича, въ самое, можно сказать, горячее время, свой интересъ бросать? Или, напримѣръ, нешто пріятно отцу воображать, какъ надъ его дитёй свиное ухо надругательство будетъ дѣлать?

— Дальше?

— А вы насчетъ пожертвованьевъ Павлу Ермолаичу доложите. Пожертвованія откуда идутъ?

— Откуда?—изъ ящика!

— Да, да, да!—вспомнилъ и Положиловъ:—и ты вѣдь, Терентій Галактіонычъ, давеча объ «ящичкѣ» поминалъ... Сказывай, что̀ за штука такая?

— Просто общественныя деньги, земскія, городскія — вотъ они ими и жертвуютъ,—пояснилъ за Дрыгалова Глумовъ.

— Такъ что-жъ что общественныя! чай, и нашихъ частичка тутъ есть!

— Ни шелега. Частичку, объ которой ты говоришь, совсѣмъ не на этотъ предметъ ты внесъ. Не пожертвовалъ, а именно внесъ, потому что если бы ты по окладному листу не уплатилъ, такъ у тебя имущества на соотвѣтствующую сумму описали бы. Понимаешь?

— Понимаю, и все-таки...

— Гм!.. такъ вотъ оно что! — молвилъ Положиловъ: — а я-было на тебя, степенный гражданинъ, по части одѣяльцевъ для нашего комитета надежды возлагалъ!

— На этотъ счетъ будьте спокойны, Павелъ Ермолаичъ. Всѣмъ достанетъ! ежели даже цѣлую армію пожелаете прикрыть—предоставимъ въ лучшемъ видѣ!

— Изъ ящичка?

— Ужъ тамъ изъ ящичка ли, изъ своихъ ли—будетъ доставлено.

— То-то, ты у меня смотри: я ужъ генеральшѣ пообѣщалъ. Ну, и она не прочь походатайствовать за тебя... Только вотъ не знаю, не испортилъ ли ты дѣла тѣмъ, что сневѣжничалъ давеча...

— Помилуйте! что же я такое сдѣлалъ?—испугался Дрыгаловъ.

— А помнишь: «только свистните, ваше превосходительство»? а? Развѣ съ высокопоставленными дамами такъ разговариваютъ?

— Да, другъ, проштрафился ты! «только свистните»!— шутка сказать!—поддразнилъ и Глумовъ. — Ты на какой лентѣ-то ожидалъ?

— Все бы хотя съ черными полосками...

— А теперь и съ бѣлыми полосками за глаза довольно. Ахъ, господа, господа! такъ вотъ вы какими средствіями патріотическіе-то огни поддерживаете!

Восклицаніе это заставило Положилова на минуту смѣшаться, но онъ сейчасъ же, впрочемъ, поправился.

— Любезный другъ, — сказалъ онъ: — въ настоящее время надо практическихъ результатовъ достигать, а не миндальничать. Задача предстоитъ такая: раненымъ необходимы одѣяла — не былъ ли бы комитетъ черезчуръ ужъ наивенъ, если бы дожидался, пока одѣяла съ неба спадутъ?

— Да, да, одѣяла... понятно, это—вещь полезная, — согласился Глумовъ.—Такъ ужъ ты вотъ что, Терентій Галактіонычъ! какъ будешь одѣяла-то готовить, такъ помни твердо, что солдатикъ—святой человѣкъ, и сдѣлай милость, ужъ не сфальшивь! Пожертвуй настоящія одѣяла, а не то чтобъ званіе одно. А впрочемъ, знаешь ли, что я тебѣ скажу?—вдругъ прибавилъ онъ, по обыкновенію, совсѣмъ неожиданно:—ежели дѣйствительно тебя почести взманили, такъ обкорми ты арміи и флоты гнилыми сухарями — по гробъ жизни счастливъ будешь!

— Ахъ, это ужасно! — нервно откликнулась Поликсена Ивановна.

— За этакія дѣла, чай, нашего брата не похвалятъ!— скромно оговорился и Дрыгаловъ.

— Попробуй! Сказано: солдатикъ — святой человѣкъ, а святые люди развѣ обижаются? Нынче какъ на этотъ предметъ глядятъ?—Святой человѣкъ — глупый человѣкъ! вотъ какой нынче разговоръ просвѣщенные люди имѣютъ! Всякія злодѣйства за злодѣйства признаются: и убійства, и истязанія, и грабежи... только вотъ о промышленныхъ злодѣйствахъ что-то не слыхать... Слѣдовательно... Ахъ, да давайте же, господа, объ чемъ-нибудь другомъ говорить!— вдругъ крикнулъ онъ надтреснутымъ, болѣзненнымъ крикомъ:—ну, объ чемъ? объ чемъ, напримѣръ? Вѣдь говаривали же мы объ чемъ-нибудь до войны?

Но мы молчали. Я рылся въ воспоминаніяхъ и спрашивалъ себя: о чемъ, въ самомъ дѣлѣ, мы до войны говорили? Говорили о королѣ Луи-Филиппѣ, о процессахъ, ознаменовавшихъ его царствованіе, о Гизо, Тьерѣ, говорили о томъ, что такое tiers-état, и переходили къ Мирабо, Робеспьеру, Дантону и къ деклараціи правъ человѣка. Но больше всего говорили о самихъ себѣ, о какихъ-то надеждахъ, разлетѣвшихся въ прахъ и оставившихъ насъ между двухъ стульевъ. Безспорно, это были темы очень благодарныя; но для того, чтобы развить ихъ не торопясь, необходимо, чтобъ окрестъ царствовалъ глубокій миръ, чтобъ процвѣтала промышленность, чтобъ курсъ на Парижъ былъ не ниже 360 сантимовъ, и чтобъ «превратныя идеи» появлялись лишь въ умѣренномъ количествѣ, единственно какъ матеріалъ для подновленія слишкомъ истрепавшейся разговорной канвы. Въ настоящую же минуту сюжеты эти оказывались рѣшительно непригодными. Мысль была всецѣло поглощена одною, спеціальною темою и рѣшительно отказывалась работать на общечеловѣческой почвѣ.

— Вотъ и Тьеръ умеръ!—рискнулъ наконецъ кто-то.

— Да, да, да! жилъ-жилъ старичина—и померъ!

— Теперь у нихъ, пожалуй, на чистоту Макмагонія пойдетъ!

— Макмагонія... Тьеръ... да! Много старичина въ свою жизнь непотребствъ совершилъ, а вотъ какое жестокое время приспѣло, что и объ немъ приходится слезы лить!

И опять всѣ смолкли.

— Вотъ вамъ, Иванъ Николаичъ, извѣстно,—буркнулъ

вдругъ Дрыгаловъ, обращаясь къ Глумову: — господинъ Макмагонъ и господинъ Базинъ — одно ли и то же это лицо?

— Ну, да; то-есть почти... Только одинъ убѣжалъ, а другой—остался...

— Такъ-съ. А у насъ въ городу непремѣнный засѣдатель въ полицейскомъ управленіи есть, Базинымъ прозывается, такъ онъ сказываетъ, что этому самому Базину двоюроднымъ племянникомъ приходится... чай, хвастаетъ?

Но вопросъ Дрыгалова такъ и остался безъ отвѣта. Увы! даже смерть Тьера не выгорѣла! Сколько бы въ другое время мы по ея поводу разговоровъ наговорили! а теперь вотъ сказали два-три слова — и словно законопатило! Чудятся: Плевна, Ловча, Шипкинскій проходъ; слышатся выстрѣлы, лязгъ штыковъ, бряцаніе сабель и стоны, стоны безъ конца! Мретъ русскій мужикъ, мужикъ, одѣвшійся въ солдатскую форму, мретъ поилецъ-кормилецъ русской земли! Не долгоязычничаетъ, сидя на печи, не критикуетъ, не побуждаетъ, а прямо несетъ свою голову навстрѣчу смерти!

Можно ли «разговаривать», когда сердце истекаетъ кровью? Да и объ чемъ? Развѣ мы что-нибудь знаемъ? развѣ мы что-нибудь можемъ? какую связь мы имѣемъ съ этой безпримѣрной трагедіей, которая длится, длится безъ конца? Откуда вдругъ налетѣлъ ихъ валъ? какимъ образомъ составился сценарій трагедіи? что его питаетъ и долго ли будетъ питать? развѣ мы что-нибудь знаемъ?

Какъ знать, — можетъ-быть, въ ту самую минуту, когда мы на досугѣ судачимъ, гдѣ-нибудь тамъ, подъ Казанлыкомъ, подъ Ени-Загрой, разыгрывается... ахъ, страшно даже представить себѣ, что такое тамъ разыгрывается! Когда занавѣсъ остается безсмѣнно поднятымъ, когда со сцены ни на мгновеніе не сходитъ единственное дѣйствующее лицо—смерть, можно ли мыслить, можно ли даже ощущать что-нибудь иное, кромѣ щемящей боли, пронизывающей все существо, убивающей мысль, сдавливающей въ горлѣ вопль, готовый вылетѣть изъ груди?

— Вотъ и Гамбетта на три мѣсяца въ кутузку засаженъ...—опять было-началъ кто-то.

И все окончательно смолкло.

Къ счастію, обѣдъ приходилъ къ концу; атмосфера столовой слишкомъ ужъ обострилась; ощущалась настоятельная потребность перемѣнить ее.

Но и въ кабинетѣ Положилова, куда мы перешли, чув-

ствовалось не легче. Мы разсѣлись по угламъ и молчали, словно какая-то тупая враждебность овладѣла всѣми. Только Рогаткинъ и Дрыгаловъ — первый въ качествѣ будущаго исполнителя предначертаній, второй въ качествѣ жертвователя — вполголоса толковали о томъ, какія должны быть одѣяла.

— Я думаю, аршина два длины достаточно будетъ?— робко выпытывалъ Дрыгаловъ, въ надеждѣ, что молодой человѣкъ, по неопытности, не замѣтитъ его жертвовательской продѣлки.

— Непремѣнно еще полъ-аршина прикинь!—крикнулъ ему Глумовъ и, обратясь къ Рогаткину, прибавилъ:—Вы, молодой человѣкъ, шагъ за шагомъ за нимъ слѣдите, а то какъ разъ...

Дольше оставаться было не зачѣмъ.

Такимъ образомъ обычная воскресная программа осталась невыполненною, и, что̀ всего прискорбнѣе, трудно было и въ будущемъ предвидѣть какія-либо отрадныя улучшенія въ этомъ смыслѣ. Карты не радовали, разговоры—пресѣклись. Въ такомъ сѣромъ настроеніи пройдетъ, вѣроятно, цѣлая длинная зима. На дворѣ уже становится жутко отъ холода, съ шести часовъ начинаются сумерки, дождь льетъ съ утра до вечера—какъ будемъ мы коротать безконечные осенніе вечера? Придется ходить изъ угла въ уголъ и думать... объ чемъ думать? объ томъ, что намъ и думать-то не объ чемъ! Какая однако-жъ странная, почти страшная вещь!

Да, Глумовъ такъ-таки и утверждаетъ, что намъ думать и не зачѣмъ, и не объ чемъ. Онъ увѣряетъ, что ни сочувствіе, ни несочувствіе наше, ни критики, ни панегирики—ничто не идетъ въ счетъ, что всѣ наши сужденія и рѣчи—кимвалъ бряцающій, что мы не можемъ быть ни искренними, ни правдивыми, что всякая наша попытка отнестись критически къ злобѣ дня отзывается или самохвальствомъ, или ложью, что, наконецъ, у насъ нутро выгорѣло, какъ у старой печки, отслужившей свой вѣкъ... Положимъ, что онъ, по обыкновенію своему, преувеличиваетъ: но ежели есть даже частичка правды въ его словахъ—развѣ это не ужасно? Развѣ не ужасно уже и то, что человѣку можетъ *казаться* подобная безотрадная картина?

А частичка правды навѣрное есть. Въ самомъ дѣлѣ, кому нужны не только мнѣнія наши, но даже сочувствіе и панегирики? Ни силы не слышится въ нихъ, ни опоры они

никому не могутъ дать — какая же надобность видѣть въ нихъ что-нибудь иное, кромѣ назойливаго желанія подслужиться или, много-много, оградить себя отъ какихъ-то загадочныхъ угрозъ? Никто нашихъ сочувствій не ищетъ, никто не утѣшается ими; что же касается до нашихъ критикъ, то всему міру извѣстно, что мы такую особенную манеру протестовать и критиковать выработали, которая бросается въ носъ крѣпче всякаго панегирика.

Празднословіе, праздношатательство, амуры и погоня за наживой—вотъ единственныя жизненныя основы, которыя завѣщаны намъ прошлымъ и которыя мы можемъ назвать вполнѣ своими, вполнѣ конкретными. Спрашивается: прочны ли онѣ? Очень возможно, что если бы онѣ могли длиться безъ конца, то мы сочли бы себя вполнѣ удовлетворенными; но въ томъ-то и дѣло, что на безконечность срыванія цвѣтовъ удовольствія даже самые легкомысленные изъ насъ нынче ужъ не разсчитываютъ... Поэтому, хотя люди и продолжаютъ слѣдовать по завѣщанной колеѣ, но дѣлаютъ это по неволѣ, потому что идти больше некуда, и въ то же время отлично сознаютъ, что это—жизнь, висящая на волоскѣ, и что *пользоваться* подобнымъ существованіемъ, жуировать, можетъ только тотъ, кто упорно закрываетъ глаза всякій разъ, какъ промелькнетъ передъ нимъ призракъ будущаго. А призракъ этотъ начинаетъ мелькать какъ-то особенно назойливо.

Съ каждымъ днемъ, все больше и больше погружаясь въ пучину отчужденности, мы мало-по-малу доходимъ до положенія эмигрантовъ, у которыхъ нѣтъ ничего, кромѣ мѣстожительства да ревниваго полицейскаго надзора. Нѣтъ у насъ ни бѣлаго, ни чернаго труда, нѣтъ ничего побуждающаго къ дѣятельности, напоминающаго о кровномъ, *своемъ* дѣлѣ... Есть только интересы мелкихъ удобствъ, да и тѣ не отъ насъ зависятъ, а отъ разныхъ учрежденій и лицъ, съ которыми мы ничѣмъ внутренно не связаны. Ничего нѣтъ, кромѣ массы праздныго времени. А жить между тѣмъ надобно. Ужели только «для сродственниковъ и знакомыхъ», какъ объяснялъ давеча купецъ Дрыгаловъ?

Такова, какъ мнѣ кажется, внутренняя сущность давешнихъ глумовскихъ рѣчей. Говоря по совѣсти, лично я даже не имѣю ни малѣйшаго основанія что-либо возражать противъ нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое вся моя собственная жизнь, какъ не приличное прозябаніе, съ обязательнымъ акомпаниментомъ систематическаго воздержанія отъ

жизни? Всегда мы шли съ Глумовымъ объ руку по одной и той же колеѣ, съ унынiемъ относясь къ прошлому, съ брезгливостью—къ настоящему, съ недоумѣнiемъ — къ будущему. Что нами руководило при этомъ совершенно искреннее сознанiе полнѣйшей безнадежности какихъ бы то ни было усилiй, что мы не рисовались, не кобянились — въ этомъ можетъ служить порукою хоть бы то, что мы, послѣ долгаго странствованiя по прозябательному рецепту, все-таки пришли къ тому самому пункту, изъ котораго и отправились, то-есть къ унынiю. Да, не весело-таки намъ живется, господа! право, не весело!

Итакъ, съ личной точки зрѣнiя, мы правы, и даже, можетъ-быть, и не съ личной только, но и съ точки зрѣнiя дѣйствительнаго положенiя вещей. Но правы ли мы, обобщая заключенiя, вынесенныя нами изъ жизненныхъ наблюденiй? правы ли мы, выводя изъ этихъ наблюденiй такiя практическiя примѣненiя, которыя даже самому упорному индифферентизму вынести не въ силахъ и которыя, сталобыть, и практическими, въ строгомъ смыслѣ, названы быть не могутъ? По обыкновенiю, я и на этотъ вопросъ не могъ отвѣтить категорическимъ да или нѣтъ, но, подъ вліянiемъ впечатлѣнiй дня, что-то хоть смутно, но подсказывало мнѣ: нѣтъ, мы не правы...

Какъ ни забитъ человѣкъ, какъ ни ясно для него самого, что онъ и безполезенъ, и безсиленъ, и беззащитенъ, все-таки остается еще убѣдить его, что самая приличная для него форма существованiя — это прозябанiе. Но тутъ-то именно и окажутся безсильными всѣ логическiя доказательства. Никакая забитость, никакое сознанiе собственнаго безсилiя не убѣдитъ человѣка, что онъ долженъ отказаться отъ прирожденнаго ему права быть судьей среды, въ которой онъ живетъ, и дѣлъ, которыя совершаются передъ его глазами. Допустимъ, что въ данномъ случаѣ отказъ и дѣйствительно былъ бы очень *приличенъ*, но что же такое вопросъ о приличiяхъ тамъ, гдѣ рѣшающее слово принадлежитъ самой природѣ человѣка?

Да, и въ тюрьмѣ есть доступъ въ область общечеловѣческой мысли и въ область общечеловѣческаго чувства! и въ тюрьмѣ трепещетъ мысль, горитъ сердце, кипитъ кровь! Даже тамъ, гдѣ въ силу всевозможныхъ уставовъ и правилъ жизнь уже прекращаетъ свое дѣйствiе, гдѣ, повидимому, уже нѣтъ ничего *своего*, оно все-таки есть, это *свое*, и никакiе запреты не сильны сказать ему: остановись!

не иди дальше этой двери! Это *свое* неотступно идетъ за человѣкомъ, куда бы ни бросила его неумолимая судьба; оно раздѣляетъ съ нимъ и узы, и заключеніе, оно освѣщаетъ для него смрадный каменный мѣшокъ, въ которомъ онъ осужденъ нести иго жизни...

Сознавать свое существованіе лишнимъ, видѣть себя навсегда осужденнымъ, стоять передъ замкнутой дверью— конечно, ужасно; но и это не исключаетъ ни законности, ни возможности волненій негодованія и любви. Что нужды, что порывы мысли и чувства безслѣдно пропадутъ въ какой-то безсмысленной пропасти,—человѣкъ все-таки будетъ негодовать и любить ради самого себя, ради того, что этого требуетъ сама природа его. Есть много простыхъ и честныхъ натуръ, которыхъ судьба съ жестокою послѣдовательностью отметаетъ отъ жизни и которыя, несмотря на безчисленные удары, все-таки льнутъ къ ней. И льнутъ не во имя благъ, которыми она такъ обильна, а во имя страданій, которыхъ у нея тоже непочатый край. И кто же знаетъ — быть-можетъ, когда-нибудь онѣ и прильнутъ?.. Какъ требовать отъ этихъ людей какой-то *приличной* сдержанности, какого-то благороднаго прозябанія, во имя того только, что эта сдержанность и прозябаніе заключаютъ въ себѣ косвенный протестъ противъ неправильностей жизни?

Даже и мы, теоретики приличнаго прозябанія, развѣ мы не волнуемся, не негодуемъ, не любимъ, несмотря на теоріи, несмотря даже на неопровержимыя свидѣтельства фактовъ?

Таковы были мысли, которыя невольно шевелились во мнѣ, покуда я шелъ вмѣстѣ съ Глумовымъ отъ Положиловыхъ. Несмотря на сравнительно ранній часъ, Разъѣзжая была совсѣмъ пустынна, такъ что если бы судить по ней, то можно было бы думать, что городъ совсѣмъ брошенъ. Масса сѣрыхъ облаковъ, казалось, висѣла надъ самыми крышами домовъ и безъ перерыва сѣяла мелкій дождь. Безконечное ненастье давило; глаза искали просвѣта и не находили. Вездѣ все заперто, заколочено, какъ и въ этой постылой жизни, въ которой, какъ ни стучись, какъ ни зови, нигдѣ ни до чего не достучишься и не дозовешься...

— А ты не совсѣмъ-таки правъ! — сказалъ я наконецъ Глумову послѣ довольно продолжительнаго молчанія.

— Не только не совсѣмъ, а даже и совсѣмъ неправъ,— отвѣтилъ онъ мнѣ.

— Ты не принялъ въ соображеніе многихъ обстоятельствъ. Такъ, напримѣръ...

— И примѣры знаю.

— Нельзя рекомендовать людямъ прозябаніе, какъ приличнѣйшую форму существованія, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда они и подлинно сознаютъ, что всякій дѣятельный порывъ съ ихъ стороны безполезенъ?

— Нельзя.

— Нельзя сказать человѣку: не негодуй, не люби, когда сама природа вырываетъ изъ его груди слова негодованія и любви?

— Нельзя.

— Что же сей сонъ значитъ?

— А то и значитъ, что мы живемъ среди четырехъ глухихъ стѣнъ, въ которыхъ нѣтъ ни двери, чтобъ выйти, ни окна, чтобъ выброситься на мостовую. Въ этомъ тѣсномъ пространствѣ всякій правъ и всякій неправъ... за собственный счетъ. Какъ можно требовать отъ мысли, чтобъ она работала правильно, когда кругомъ царитъ кромѣшная тьма? Когда нельзя отличить надежды отъ отчаянія, лѣкарства отъ отравы? Я знаю, что заставить человѣка не мыслить, не волноваться, не негодовать, не любить—нельзя; но я знаю также, что рядомъ съ этимъ «нельзя» стоитъ отрава, гласящая: безплодно! Стоя между этими двумя одинаково конкретными фактами, какъ я могу быть правымъ или неправымъ?

— Но вѣдь если ты хочешь, чтобъ общество развивалось, то ужъ, конечно, не съ помощью теоріи приличнаго прозябанія ты достигнешь...

— Знаю и это. Но послушай! будь другъ! прекратимъ этотъ разговоръ! До крови больно—человѣкъ вѣдь и я! Я соглашаюсь, что всякій имѣетъ право волноваться, любить, негодовать и вообще поступать по-человѣчески. Но трудно это, голубчикъ, охъ, какъ трудно! Вѣдь по-человѣчески-то поступать только за свой счетъ можно, а много ли такихъ храбрецовъ? Большинство-то вѣдь только кобянится да грацію показываетъ—ужели и это тоже «право»? Или же двоедушничаетъ—вотъ какъ нашъ другъ Павелъ Ермолаичъ. Я вѣдь до сихъ поръ думалъ, что душа-то у него человѣческая, анъ она, выходитъ, куриная. Бѣденъ онъ, семействомъ угнетенъ—пусть такъ; но неужто же нельзя вести себя прилично, неужто нельзя безъ семи комитетовъ обойтись? Баста! съ нынѣшняго дня я ни объ чемъ другомъ не

говорю, кромѣ какъ о Гамбеттѣ. Какъ ты думаешь, будетъ во Франціи переворотъ?

Вопросъ этотъ былъ сдѣланъ при поворотѣ на Вознесенскій проспектъ, какъ вдругъ изъ-за угла на насъ что-то стремительно наскочило. Вглядываемся: самъ Балалайкинъ собственной персоной!

— Куда? зачѣмъ?

— На войну, господа, ѣду!

Я, признаюсь, хотѣлъ-было поздравить его съ такимъ благороднымъ рѣшеніемъ, думая, что вотъ и Балалайку, стало-быть, за живое зацѣпило, коль скоро кровь проливать идетъ; но Глумовъ оказался и тутъ проницательнѣе меня.

— Гешефтъ нашелъ?—спросилъ онъ кратко.

— Наши тамъ... сухари... галеты... по сту тысячъ въ сутки зарабатываютъ... зовутъ!

— То-то ты такъ и запыхался—бѣжишь... курицынъ сынъ!

Но Балалайкинъ не слыхалъ, или притворился, что не слыхалъ этой апострофы, и продолжалъ бормотать:

— Сухари... галеты... а притомъ и народъ мретъ... Наслѣдства открываются: по закону, по завѣщанію... всѣхъ сортовъ... Опять же и долговыя обязательства... охраненіе имущества... прòпасть дѣла, прòпасть! Только поспѣвай!

II.

Едва еще было девять часовъ утра, какъ я былъ пробужденъ сильнымъ звонкомъ, раздавшимся въ передней. Вслѣдъ затѣмъ до слуха моего донеслись переговоры и пререканія, а черезъ минуту я уже узналъ, что господинъ Балалайкинъ настоятельно требуетъ видѣть меня по крайне нужному дѣлу.

— Свободныя деньги есть? — такъ-таки прямо и оборвалъ онъ меня, какъ только я вошелъ въ кабинетъ.

Онъ расположился у меня какъ свой человѣкъ, то-есть забрался на кушетку съ ногами и съ невыразимою наглостью покуривалъ сигару, осыпая пепломъ коверъ и обивку мебели.

Вопросъ о деньгахъ, признаюсь, нѣсколько смутилъ меня. Капиталъ у меня хоть и небольшой, но есть. Какъ истинно-культурный русскій человѣкъ, я давно понялъ, что всякія недвижимости, до которыхъ, подъ прикрытіемъ крѣпостного

права, такъ падки были наши отцы, могутъ, на будущее время, служить лишь къ обремененію, и потому довольно ходко совершилъ ликвидацію суходоловъ и мокрыхъ мѣстъ, составлявшихъ совокупность полученнаго мною отцовскаго наслѣдія. Результатомъ этой ликвидаціи былъ капиталъ, часть котораго я, въ свою очередь, тоже ликвидировалъ въ увеселительныхъ заведеніяхъ обѣихъ столицъ, но, на мое счастіе, нашлись добрые люди, которые во-время остановили меня отъ дальнѣйшей ликвидаціи. Съ тѣхъ поръ я окончательно сосчитался съ собой, спряталъ остатки капитала въ надежное мѣсто и... ожесточился. Вздрагиваю всякій разъ, когда кто-нибудь при мнѣ начинаетъ разговаривать объ отсутствіи въ русскихъ духа предпріимчивости, и невольно блѣднѣю при мысли: а что ежели явится обольститель и отниметъ у меня мои деньги?

Да и денегъ-то вѣдь немного... ахъ, какъ немного! именно въ обрѣзъ, столько, сколько нужно, чтобъ обезпечить человѣку возможность жить, раскладывая гранъ-пасьянсъ и не трепеща отъ ужаса при мысли о завтрашнемъ днѣ. Все у меня разсчитано заранѣе: сколько можно истратить въ день на извозчика, на ѣду, на папиросы, на прачку и проч. Слѣдовательно унеси у меня сегодня кто-нибудь тысячу рублей, то я *немедленно завтра же почувствую*, что въ моемъ годовомъ бюджетѣ послѣдовала убыль въ пятьдесятъ-шестьдесятъ рублей. А какъ только унесли тысячу, то за нею непремѣнно послѣдуетъ другая, третья, четвертая—это ужъ я знаю по опыту. Стоитъ только разъ сойти со стези непреклонности, а затѣмъ—пиши пропало! Поэтому я даже другу моему, Глумову, никогда о капиталахъ моихъ не говорю—все думаю: а вдругъ попроситъ! И онъ мнѣ о своихъ капиталахъ не говоритъ,—тоже, конечно, думаетъ: а вдругъ попроситъ! Молчокъ—святое дѣло! Ибо ежели, съ одной стороны, въ человѣкѣ нѣтъ рѣшимости сдѣлаться червоннымъ валетомъ, а съ другой стороны—не предвидится и иныхъ путей для «полученій», то понятное дѣло, что вся его мысль исключительно поглощается однимъ предметомъ: охраненіемъ тайны существованія наслѣдственныхъ четвертаковъ и пятиалтынныхъ отъ нескромной любознательности постороннихъ лицъ. Подумайте! вѣдь на этихъ пятиалтынныхъ зиждется все благополучіе современнаго культурнаго русскаго человѣка, вѣдь человѣкъ этотъ все еще не утратилъ вкуса къ жизни! хотя и не можетъ дать себѣ отчета, чего ему отъ нея надобно!

— Деньги? какія же могутъ быть у меня деньги?—отвѣчалъ я, усиливаясь придать моему голосу тонъ непринужденности, но въ то же время чувствуя, что внутри у меня все дрожитъ.

— Разсказывайте! живете же чѣмъ-нибудь!

— Конечно, живу... Какой вы однако наглый, Балалайкинъ! Вамъ недостаточно знать, что человѣкъ живетъ—нѣтъ, вы непремѣнно хотите доискаться, на чей счетъ онъ живетъ, сколько тратитъ, дѣлаетъ ли долги или, напротивъ, откладываетъ сбереженія для пріобрѣтенія бумагъ, дающихъ небольшой, но зато вѣрный доходъ.

— Совсѣмъ я этого знать не желаю, я просто спрашиваю: есть ли у васъ свободныя деньги? потому что мнѣ нужно.

— Нужно!—а развѣ это не наглость? Вамъ—нужно, а мнѣ, можетъ, совсѣмъ не нужно, чтобъ вы знали. Нѣтъ, это ужъ такая привычка у васъ пошлая: не можете вы мимо человѣка пройти, чтобъ не заглянуть, что у него въ карманѣ! Нужно, изволите видѣть, ему знать... нужно!

— Да увѣряю васъ: нужно!

Настойчивость эта разсердила меня еще пуще. Не говоря ни слова, я присѣлъ къ письменному столу съ твердою рѣшимостью оставаться глухимъ къ какимъ бы то ни было обольщеніямъ.

— А я бы хорошій процентъ далъ!—продолжалъ Балалайкинъ, располагаясь на кушеткѣ какъ можно комфортабельнѣе и даже потягиваясь.

Я молчу.

— Напримѣръ, два процента въ мѣсяцъ... и съ гарантіей, что въ этомъ размѣрѣ теченіе процентовъ будетъ продолжаться не менѣе года.

Прежнее молчаніе съ моей стороны—и выжидательный зѣвокъ со стороны Балалайкина.

— А возможно и такъ: половина всѣхъ прибылей предпріятія съ гарантіей минимума, напримѣръ, въ размѣрѣ двадцати четырехъ процентовъ.

Въ такомъ вкусѣ длятся краткіе монологи минутъ десять. Приносятъ два стакана чаю: для меня и для Балалайкина. Я беру свой стаканъ и отсылаю другой, говоря, что Балалайкинъ можетъ и безъ чаю остаться. Но онъ и этимъ не пронимается.

— А я бы стаканъ выпилъ, — говорилъ онъ: — впрочемъ... Такъ вотъ что, голубчикъ: три процента въ мѣсяцъ

съ учетомъ впередъ за цѣлый годъ. C'est à prendre ou à laisser!

— Слушайте, Балалайкинъ!—не выдерживаю я:—ежели вы не прекратите этого разговора—клянусь, я пошлю за городовымъ!

— Что-жъ, и городовой всякій скажетъ, что мое предпріятіе вѣрное. И не только вѣрное, но и... патріотическое... да!

— Вы—патріотъ!—вскрикиваю я внѣ себя отъ гнѣва и боли:—вы, Балалайкинъ... Вы—побочный сынъ не то Репетилова, не то Удушьева... Вы—поставщикъ самыхъ достовѣрныхъ лжесвидѣтелей... ахъ!

— И все-таки я повторяю: предпріятіе мое не только вѣрное, но и патріотическое... да! А обстоятельство, что я—побочный сынъ, не имѣетъ къ дѣлу никакого отношенія, и я даже удивляюсь, что человѣкъ образованный и въ нѣкоторомъ родѣ даже либералъ... Впрочемъ, я не желаю оставаться на почвѣ инкриминацій, а повторяю: мое предпріятіе вѣрное и патріотическое!.. да! И я охотно предложилъ бы на выборъ: или принять непосредственное участіе въ дѣлѣ, или ссудить меня деньгами за хорошій процентъ!

Я смотрѣлъ и не вѣрилъ глазамъ. Потокъ брани, который я вгорячахъ вылилъ на него (я даже самъ упрекалъ себя: съ какой стати я объ Репетиловѣ и Удушьевѣ напомнилъ!), не только не заставилъ его прокраснѣть или поколебаться, но, повидимому, даже оказалъ на него какъ бы укрѣпляющее дѣйствіе.

— Я уже былъ по этому дѣлу сегодня съ визитомъ у господина Глумова,—продолжалъ онъ совершенно спокойно.

— Врете вы! ужъ одно то, что только теперь бьетъ девять часовъ, доказываетъ...

— Былъ-съ. И даже входилъ въ соглашеніе...

— Которое, конечно, кончилось тѣмъ, что Глумовъ предложилъ вамъ оставить его квартиру...

— Нѣтъ-съ, господинъ Глумовъ обѣщалъ подумать...

Я въ волненіи ходилъ по комнатѣ. Вотъ тварь,—думалось мнѣ:—которая впилась въ мое существованіе и отъ которой я ни подъ какимъ видомъ отцѣпиться не могу! Какой-то фатализмъ тяготѣетъ надо мной относительно Балалайкина — фатализмъ, воспріявшій начало еще въ то время, когда я вѣрилъ въ искренность и либерализмъ

Ипполита Маркелыча Удушьева. Я помню: это было лѣтъ двадцать тому назадъ. Я сгоралъ жаждой подвига, который, по тогдашнему времени, заключался въ томъ, чтобъ такую статейку тиснуть, въ которой бы не только цензура, но и самъ чортъ ногу переломилъ. Но прежде, нежели приступить къ выполненію подвига, нужно было, чтобъ кто-нибудь изъ старыхъ воробьевъ благословилъ на него. Въ то время всѣхъ благословлялъ Удушьевъ. Его только-что откуда-то возвратили, и Москва, въ которой онъ поселился, съ благоговѣйнымъ вниманіемъ прислушивалась къ его реченіямъ. Я нарочно поѣхалъ въ Москву изъ Петербурга и не безъ труда добился доступа къ Удушьеву. Онъ принялъ меня важно: въ халатѣ и полулежа въ длинномъ креслѣ. Это былъ старикъ бодрый, громаднаго роста, нѣсколько тучный и румяный; масса сѣдыхъ кудрей вѣнчала его словно ореоломъ. Въ его глазахъ безпрерывно вспыхивалъ огонь («я старый крамольникъ,—говорилъ онъ:—хотя сознаюсь, что въ настоящее время для крамольничества нѣтъ пищи!»), а говорилъ онъ плавно, размѣренно, начавъ собесѣдованіе важнымъ дактилемъ и незамѣтно перейдя въ игривый анапестъ. Часто ссылался на свой «Взглядъ и нѣчто» и, чтобъ сдѣлать эти ссылки болѣе доступными, подкрѣплялъ ихъ цитатами изъ водевилей Репетилова. Теперь я понимаю, что въ рѣчахъ его ничего не было, кромѣ смѣси самаго обыкновеннаго риторическаго лганья съ водевильнымъ легкомысліемъ; но тогда казалось, что это именно и есть языкъ, приличествующій глубокому убѣжденію, смягченному привычками благовоспитанности. Странная вещь! этотъ человѣкъ довольно-таки вытерпѣлъ, многое видѣлъ въ жизни, многое могъ лично наблюсти—и за всѣмъ тѣмъ былъ до того полонъ отрывками изъ «Взгляда и нѣчто», что десятки лѣтъ, казалось, прошли мимо, не измѣнивши ни одной строки въ этомъ загадочномъ profession de foi. Повидимому, онъ интересовался и новой русской литературой, но преимущественно театромъ, причемъ — такова жизненность репетиловскихъ преданій!— одобрялъ Ленскаго и Кони и сдержанно относился къ Островскому.

— Островскій интересенъ!—отозвался онъ:—да, это несомнѣнно: онъ интересенъ! но мой почтеннѣйшій другъ Михайло Семенычъ (актеръ Щепкинъ) недаромъ говоритъ, что со времени его появленія русская сцена пропахла овчиннымъ полушубкомъ!

Одною изъ особенностей этого свиданія было то, что покуда Удушьевъ на тысячу ладовъ перефразировалъ передо мной свой «Взглядъ и нѣчто», въ комнатѣ наянливо копошился не совсѣмъ опрятный, но вороватый мальчишка, который дѣлалъ мнѣ тысячи надоѣдливыхъ пакостей: съ разбѣгу кидался мнѣ на ноги, карабкался на спинку кресла, въ которомъ я сидѣлъ, теребилъ меня сзади за волосы и проч. И вотъ, когда началось «благословеніе», Удушьевъ, возложивъ обѣ руки на мою голову, подозвалъ къ себѣ и вороватаго мальчишку.

— Балалайкинъ! преклони колѣна!—сказалъ онъ, торжественно указывая на меня:—запомни черты этого многообѣщающаго юноши, ибо онъ—мой продолжатель! А вы,— продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ: — рукоположите въ свою очередь этого отрока. Онъ будетъ *вашимъ* продолжателемъ!

Затѣмъ онъ слегка приподнялся въ креслѣ, дрожащимъ голосомъ пропѣлъ куплетъ изъ «Стряпчаго подъ столомъ»— и церемоніалъ былъ выполненъ. Но когда я откланивался, то на прощаніе онъ счелъ долгомъ вновь напомнить мнѣ о Балалайкинѣ.

— Поберегите его! — сказалъ онъ мнѣ: — Богъ знаетъ, долго ли я проживу, а между тѣмъ... Балалайкинъ — это послѣдній отпрыскъ единственнаго человѣка, который въ совершенствѣ понималъ меня! Онъ—побочный сынъ Репетилова и Стешки... знаменитой Стешки... ахъ, бестія, какъ она заливалась въ «Настасьѣ»! Ея голосъ покрывалъ весь хоръ!

Разумѣется, я долженъ былъ обѣщать, и вотъ съ этихъ-то поръ Балалайкинъ впился въ мое существованіе. Изгнанный изъ лицея Каткова за крамольно-легкомысленное отношеніе къ латинской грамматикѣ, онъ явился въ Петербургъ юношей полнымъ надеждъ и самымъ безцеремоннымъ образомъ потребовалъ, чтобъ я его поддержалъ. Я отнесся къ нему очень привѣтливо и тотчасъ же опредѣлилъ въ департаментъ «напрасныхъ тревогъ»; а когда ему тамъ не понравилось, то въ теченіе одного года послѣдовательно переводилъ его въ четыре другіе департамента, изъ коихъ послѣднимъ былъ департаментъ «возбужденія вопросовъ и оставленія таковыхъ безъ разрѣшенія». Но онъ нигдѣ не уживался, лѣнился, манкировалъ, не могъ путно двухъ строкъ написать и, что всего важнѣе, однажды, во время доклада, во всеуслышаніе пропѣлъ «La chose» и

тѣмъ произвелъ волненіе среди департаментскихъ чиновниковъ, которые, съ вице-директоромъ во главѣ, бросивъ занятія, начали ему подпѣвать. Съ тѣхъ поръ онъ окончательно повисъ у меня на шеѣ, и сколько двугривенныхъ и четвертаковъ передавалъ я ему — такъ и теперь встаютъ дыбомъ волосы, когда я вспоминаю объ этомъ! Я не говорю, чтобъ я смиренно переносилъ его нахальство,—нѣтъ: очень часто я даже объяснялся съ нимъ на самомъ чистѣйшемъ русскомъ діалектѣ, но онъ не только не смущался этимъ, но даже съ каждымъ подобнымъ объясненіемъ какъ бы усугублялъ свою привязанность ко мнѣ. Придетъ, бывало, дернетъ во всю мочь за звонокъ, устранитъ слугу, ежели послѣдній вздумаетъ попрепятствовать ему войти въ переднюю, и ворвется.

— Прикажите - ка, папенька - крестный, — скажетъ:— извозчику за меня заплатить, да кстати ужъ каминчикъ бы затопить, да котлеточку... Иззябъ и проголодался... смерть!

Только тогда я вздохнулъ свободно, когда былъ объявленъ скорый и правый судъ. Найдя въ немъ пріютъ въ качествѣ адвоката, Балалайкинъ, съ свойственною легкомыслію неблагодарностью, тотчасъ прекратилъ свои посѣщенія ко мнѣ, чѣмъ я, впрочемъ, не только не опечалился, но даже втайнѣ ласкалъ себя надеждой, что теперь-то ужъ непремѣнно сошлютъ его на поселеніе, ибо въ противномъ случаѣ какое же значеніе имѣлъ бы милостивый судъ?

И вдругъ этотъ человѣкъ снова становится на моемъ пути и требуетъ у меня—чего?—ужъ не просто двугривеннаго или пятиалтыннаго, чтобъ заплатить за извозчика, а... капитала!!

— Все-то вы врете! — сказалъ я: — никогда Глумовъ не обѣщалъ, да и не могъ обѣщать вамъ подумать. На васъ достаточно взглянуть, чтобъ сейчасъ же дать отвѣтъ на всякій вопросъ, который вы предложите!

— Будто ужъ у меня такая открытая физіономія?

— У васъ физіономія... у васъ, я вамъ скажу, такая физіономія...

— Не продолжайте. И все-таки я вамъ говорю правду: господинъ Глумовъ не только обѣщалъ подумать, но даже прямо выразился: «предпріятіе ваше несомнѣнно выгодное, но прежде все-таки надо сообразить, какого сорта вознагражденія слѣдуетъ за него ожидать».

— Ну, да... конечно, такъ! то-есть, дивиденда или трёпки!

— А я, напротивъ, увѣренъ, что господинъ Глумовъ хотѣлъ сказать совсѣмъ другое, а именно: такъ какъ предпріятіе хотя и несомнѣнно выгодно, но все-таки сопряжено съ рискомъ, то сообразно съ этимъ должно быть опредѣлено и вознагражденіе. Какъ человѣкъ осмотрительный, онъ не бросился въ предпріятіе сразу, но пожелалъ предварительно сообразить размѣръ процента, основательно взвѣсивши всѣ шансы pro и contra...

Отвѣтъ этотъ заставилъ меня нѣсколько поколебаться. Конечно, я понималъ, что Балалайкинъ лжетъ, но ссылка на осмотрительность и сообразительность Глумова все-таки заключала въ себѣ нѣкоторое правдоподобіе. Дѣйствительно, я и Глумовъ (а можетъ-быть, и большинство нашихъ сверстниковъ вообще) не имѣетъ недостатка ни въ осмотрительности, ни въ сообразительности, чему наглядным доказательствомъ служитъ уже одно то, что мы, несмотря на крамольный духъ, находимся только на замѣчаніи, но живота не лишены. Конечно, мы кассы гласныхъ ссудъ не откроемъ, но что касается до того, чтобъ получить хорошій процентъ, и ежели притомъ благородно и для всѣхъ безобидно...

— Да что-жъ это за предпріятіе наконецъ? — спросилъ я, значительно смягчаясь.

— Отбивать не будете?

— Балалайкинъ! вы сошли съ ума!

— Хорошо, я вамъ вѣрю. Итакъ, вотъ что: на-дняхъ я очень дешево присмотрѣлъ партію килекъ...

Онъ пристально взглянулъ на меня, словно наслаждаясь чувствомъ недоумѣнія, которое выразило мое лицо.

— Кильки ревельскія, настоящія,—продолжалъ онъ:—съ запашкомъ, правда,—ну, да вѣдь à la guerre comme à la guerre...

— Ну?

— Присмотрѣлъ я партію въ сто тысячъ банокъ. Мы покупаемъ здѣсь въ лавкахъ банку по восьмидесяти копеекъ, а мнѣ одинъ изъ моихъ кліентовъ уступаетъ банку по пятнадцати копеекъ, то-есть, собственно говоря, возвращаетъ себѣ лишь цѣнность стекла.

— Чортъ знаетъ, что вы городите!

— Дѣлаетъ онъ такую значительную уступку, разумѣется, преимущественно потому, что, какъ я уже сказалъ,

кильки выдержаны, съ запашкомъ. Но, во-первыхъ, ежели продавать кильки въ банкахъ, то и въ мирное время этотъ недостатокъ будетъ замѣтенъ лишь по откупоркѣ, а, во-вторыхъ, на полѣ битвы, когда люди ѣдятъ урывками, воинъ, конечно...

— Ахъ, да уйдите вы отъ меня, Христа ради!

— Выслушайте, прошу васъ, до конца. Когда мнѣ было слѣдано предложеніе о покупкѣ упомянутой партіи килекъ, то у меня натурально сейчасъ же блеснула въ головѣ мысль, что килька должна сыграть на Дунаѣ большую роль. Въ настоящее время, какъ это подтверждаютъ корреспонденты всѣхъ русскихъ газетъ, въ нашей арміи ни въ чемъ не ощущается такого существеннаго недостатка, какъ въ закускахъ. Подмѣтивъ этотъ фактъ, я прежде всего остановилъ свой взоръ на сардинкѣ; но покуда я входилъ въ сношенія по этому предмету, всю свободную сардинку уже скупилъ Новосельскій, который уже недреманнымъ окомъ слѣдилъ за газетными корреспонденціями. Затѣмъ я долгое время блуждалъ между икрой, балыкомъ и сыромъ, покуда счастливая случайность не натолкнула меня на кильку. Какъ вы думаете, сколько килекъ заключается въ каждой банкѣ?

— Не считалъ, не знаю.

— А я считалъ: ровно сто шестьдесятъ три. Тогда какъ въ коробкѣ сардинокъ, стоющей столько же, сколько и цѣлая банка килекъ, помѣщается не больше пятнадцати рыбокъ. Теперь резюмируемъ нашу мысль. Получивъ единственный въ своемъ родѣ случай пріобрѣсти за ничто громадную партію килекъ, мы имѣемъ возможность не только конкурировать съ сардиной Новосельскаго, но и положительнѣйшимъ образомъ убить ее. Какъ ни великъ патріотизмъ Новосельскаго, но онъ, какъ ни вертись, не можетъ отпустить свою сардинку дешевле, какъ по шести копеекъ за штуку, тогда какъ мы, даже принимая за норму цѣны, существующія на кильку въ петербургскихъ лавкахъ, имѣемъ полную возможность за копейку предложить потребителю двѣ штуки отличнѣйшей въ мірѣ закуски! Ясно, что *нашу* закуску съ удовольствіемъ купитъ даже солдатъ, тогда какъ надъ закуской Новосельскаго по временамъ задумается армейскій офицеръ. Но я иду дальше; рядомъ неопровержимыхъ доводовъ я докажу вамъ, что *нашу* закуску, преимущественно предъ закуской Новосельскаго, пріобрѣтетъ не только недостаточный чинъ арміи и зло-

товъ, но и баловень фортуны, гвардейскій офицеръ. И не потому только, что она *дешевле*, а потому, что она *лучше*. Дѣлая въ теченіе десяти дней самые тщательные опыты надъ сардинкой и килькой, какъ съ точки зрѣнія вкусового ощущенія, доставляемаго этими рыбами, такъ и со стороны сравнительнаго вліянія ихъ на физическій и духовный организмъ человѣка, я пришелъ къ слѣдующимъ неопровержимымъ выводамъ. Сардинка, будучи приготовлена на маслѣ, имѣетъ вкусъ прѣсный и потому скоро пріѣдается, тогда какъ килька, сдобренная перцемъ и лавровымъ листомъ,—никогда! Въ военное время это очень важно! На войнѣ, господа судьи (Балалайкинъ вдругъ всталъ и простеръ руки, вообразивъ, что онъ произноситъ на судѣ защитительную рѣчь), разнообразіе закусокъ — вещь очень желательная, но достижимая ли — это еще вопросъ. Это— идеалъ, къ которому будутъ вѣчно устремляться всѣ помыслы заботливыхъ военачальниковъ, но идеалъ, которому, смѣло могу сказать, никогда не суждено осуществиться. Подъ градомъ пуль и гранатъ, въ виду устремляющейся со всѣхъ сторонъ смерти, не столь важно разнообразіе закуски, сколько непріѣдаемость ея. На этой незыблемой основѣ покоится изобрѣтеніе гороховой колбасы, и этимъ же свойствомъ въ высшей степени обладаетъ килька!! Она имѣетъ ту же манность, какъ и сардинка, но вмѣстѣ съ тѣмъ обладаетъ задержкою, въ видѣ продольной кости, которая положительно препятствуетъ переходу манности въ приторность. Мало того: килька не притупляетъ вкусовыхъ органовъ, какъ сардинка, но дѣйствуетъ на нихъ возбуждающимъ и, такъ сказать, развивающимъ образомъ. Съѣшьте одну сардинку — и съ васъ достаточно; съѣшьте кильку—и вамъ захочется съѣсть еще пять, десять, сто, тысячу килекъ! Таковы, милостивые государи, результаты моихъ наблюденій съ точки зрѣнія непосредственно-вкусовой. Что же касается до сравнительнаго вліянія сардинки и кильки на физическій и духовный организмъ человѣка, то наблюденія мои могутъ быть выражены въ слѣдующихъ немногихъ, но рѣшительныхъ выводахъ: 1) сардинка, даже при умѣренномъ употребленіи, производитъ отяжелѣніе въ желудкѣ, тогда какъ килька подстрекаетъ желудокъ къ новой и новой дѣятельности; 2) производя отяжелѣніе физическое, сардинка сообщаетъ вялость и умственнымъ отправленіямъ человѣка, вливаетъ ядъ сомнѣнія и нерѣшительности въ его дѣйствія, тогда какъ килька—веселитъ

и одушевляетъ человѣка жаждою славы и подвиговъ... Вотъ, милостивые государи, не фантастическія, но вполнѣ осязательныя основанія, которыя заставляютъ меня прозрѣвать въ недалекомъ будущемъ несомнѣнную побѣду кильки надъ сардинкой, несмотря на патріотическія усилія г. Новосельскаго сдѣлать послѣднюю обязательною закуской русскихъ воиновъ на все время достославной борьбы за независимость единовѣрныхъ и единокровныхъ намъ славянъ. Представьте же себѣ теперь...

Онъ вдругъ поперхнулся и выпучилъ глаза. Ни судей, ни присяжныхъ, ни публики — никого передъ нимъ не было. Нѣсколько минутъ онъ стоялъ въ изумленіи, припоминая, какимъ образомъ онъ очутился въ моей квартирѣ и что собственно заставило его произнести вдохновенную рѣчь въ защиту кильки. Наконецъ онъ припомнилъ.

— Я, кажется, увлекся,—сказалъ онъ:—но все равно. Высказанныя мною сейчасъ основанія настолько вѣрны, что едва ли вы найдете возможность опровергнуть ихъ. Теперь остается доказать самое существенное: то-есть опредѣлить ожидаемую отъ предпріятія прибыль. По-моему, это очень просто. Употребивши на пріобрѣтеніе ста тысячъ банокъ килекъ пятнадцать тысячъ рублей, предпріятіе, въ какихъ-нибудь два-три мѣсяца, учетверяетъ свой капиталъ... гдѣ, спрашиваю я васъ, въ какой странѣ возможно столь быстрое и притомъ ни съ чѣмъ несообразное накопленіе богатствъ?

Онъ обратилъ на меня взоръ, полный легкомысленной увѣренности, что нарисованная имъ перспектива заставитъ меня немедленно вынуть изъ кармана ключъ. Но—увы!—я уже охладѣлъ...

— Быть-можетъ, вамъ недостаточно этихъ соображеній, и вы ожидаете отъ меня дальнѣйшихъ, — вновь началъ онъ:—извольте, есть и дальнѣйшія. Во-первыхъ, не слѣдуетъ упускать изъ вида, что въ настоящій моментъ на Дунаѣ всѣ расплаты производятся не кредитными рублями, а на звонкую монету. Слѣдовательно, покупая банку килекъ за восемь гривенниковъ, воинъ, собственно говоря, уплатитъ не восемь гривенниковъ, а рубль двадцать копеекъ, что дѣлаетъ будущность, ожидающую предпріятіе, еще болѣе блестящею. Во-вторыхъ, учетверивъ въ теченіе двухъ-трехъ мѣсяцевъ свой первоначальный фондъ, предпріятіе можетъ продолжать операцію дальше, то-есть не только наводнить килькою поля битвъ, но и накормить ею

болгаръ, герцеговинцевъ, черногорцевъ и вообще всѣхъ, борющихся за святое дѣло свободы и независимости. Въ-третьихъ, предпріятіе, независимо отъ громадныхъ матеріальныхъ выгодъ, навѣрное будетъ пользоваться въ глазахъ начальства и патріотическою окраской. Конечно, мы пріобрѣтаемъ килькy почти задаромъ, но вѣдь это извѣстно только намъ; въ глазахъ же цѣлаго міра будетъ стоять тотъ непререкаемый фактъ, что мы банку килекъ, стоящую въ Петербургѣ (то-есть почти въ самомъ мѣстѣ ея производства) восемьдесятъ копеекъ, за тѣ же восемьдесятъ копеекъ продаемъ на Дунаѣ! И пространство, и время, и даже законные проценты на затраченный капиталъ — все принесено нами на алтарь любви къ отечеству! Ужели это не величественное зрѣлище! И замѣтьте: мы ничего не просимъ; мы не выговариваемъ въ свою пользу даже тѣхъ десяти процентовъ, которые получаютъ Коганъ, Горвицъ, Грегеръ и комп.; мы требуемъ только одного: дайте просторъ нашей килькѣ, не стѣсняйте естественное распространеніе ея въ средѣ русскихъ воиновъ! Разумѣется, если Новосельскій приметъ явственно-насильственныя мѣры, чтобъ подчинить нашу вкусную и вполнѣ приспособленную къ военнымъ обстоятельствамъ закуску своей нецѣлесообразной и вредно дѣйствующей на духъ войскъ сардинкѣ— тогда... ну, тогда окажите намъ защиту... но только защиту! Ужели и этого много?

Онъ вновь обратилъ ко мнѣ молящіе взоры; но я продолжалъ оставаться безучастнымъ и холоднымъ. Мало того: я рѣшился сразу и окончательно высказаться.

— Послушайте, Балалайкинъ, — сказалъ я:—я одному удивляюсь, какъ это вамъ не приходитъ въ голову: а что, если меня за такіе проекты возьмутъ да повѣсятъ?

— Этотъ вопросъ уже былъ мнѣ предложенъ господиномъ Глумовымъ,—отвѣтилъ онъ:—да, впрочемъ, я и самъ имѣлъ его въ виду, когда обсуждалъ шансы предпріятія.

— Вотъ видите! стало-быть, вы ужъ и сами догадывались, что предпріятіе ваше совсѣмъ не такое патріотическое, какимъ вы его хотите представить теперь.

— Нѣтъ, я не догадывался, а просто разсчитывалъ и соображалъ. Такъ какъ въ военное время возможны всякаго рода недоразумѣнія, то весьма естественно, что я принималъ во вниманіе и шансъ быть повѣшеннымъ.

— И, разумѣется, по строгомъ размышленіи, пришли къ убѣжденію...

— Что вѣшать рѣшительно не за что. Вотъ если бы я распространялъ превратныя идеи—ну, тогда не спорю... Но килька, и притомъ по такой дешевой цѣнѣ...

— Балалайкинъ! вы слишкомъ снисходительны къ себѣ! Подумайте, вѣдь вы сами только-что выразились,—и, по-моему, черезчуръ даже деликатно, — что ваши кильки съ запашкомъ, а на дѣлѣ-то онѣ, должно-быть, просто-на-просто протухлыя. Я не спорю, вашъ проектъ основанъ на такой мизерной частности, что назвать его злодѣйствомъ, въ строгомъ смыслѣ, нельзя; но ежели вы и не заслуживаете названія злодѣя, то совсѣмъ не потому, чтобы у васъ не было доброй воли сдѣлаться имъ, а потому, что на изобрѣтеніе настоящаго злодѣйства у васъ не хватитъ ни смѣлости, ни воображенія. Переступите одну черту, только одну черту—и вы единогласно приговорены! Вѣдь вы ужъ примирились съ мыслью, что воины «второпяхъ» могутъ гнилыя кильки глотать (на этой «мысли» вертится весь вашъ проектъ): отчего же не примириться и съ тѣмъ, напримѣръ, что тѣ же воины «второпяхъ» могутъ гнилыми сухарями довольствоваться? Вы скажете, быть-можетъ, что эта мысль уже предвосхищена и по мѣрѣ возможности приводится въ исполненіе. Прекрасно! На это я могу отвѣтить вамъ слѣдующее: изобрѣтатели гнилыхъ сухарей, конечно, въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ не избѣгнутъ должнаго возмездія,—по крайней мѣрѣ, вся образованная Россія съ надеждой ожидаетъ этого,—но и вамъ, злодѣю мелкому, все-таки слѣдуетъ отнестись къ себѣ строже и спросить себя: не будетъ ли висѣлица лишь слабымъ вознагражденіемъ за вашу прожекторскую дѣятельность?

Балалайкинъ на минуту задумался и даже инстинктивно потеръ рукою шею, словно ощущая на ней присутствіе веревки. Но сейчасъ же вслѣдъ за этимъ онъ уже смотрѣлъ попрежнему бодро.

— Итакъ, вы возбуждаете вопросъ объ уголовномъ возмездіи...

— Я, собственно, ничего не возбуждаю; но думаю, что вопросъ этотъ возникаетъ самъ собою, силою вещей, какъ возникло, напримѣръ, дѣло московскаго учетнаго банка.

— И кончилось тѣмъ, что Струсбергъ *препровожденъ* за границу, а Ландау самъ туда бѣжалъ... Моралистъ!—пошутилъ онъ ужъ совсѣмъ весело.

— Моралистъ—пожалуй. И даже неудачный—согласенъ

и на это. Но вотъ въ чемъ дѣло. Давеча у меня сорвалось съ языка напоминаніе о томъ, что вы—сынъ Репетилова. Что я поступилъ въ этомъ случаѣ болѣе нежели опрометчиво—въ этомъ я сознаюсь вполнѣ искренно. Но теперь я даже вдвойнѣ сознаю свою опрометчивость, потому что Репетиловъ—вѣдь это что̀ же такое? Репетиловъ, это—идеалъ душевной опрятности; Репетиловъ, это — человѣкъ безъ упрека... разумѣется, говоря не абсолютно, а сравнительно. Репетиловъ легкомысленъ, назойливъ и даже, пожалуй, противенъ, но все-таки врядъ ли кому-либо изъ его сверстниковъ могло придти на мысль сказать при взглядѣ на него: вотъ человѣкъ, котораго настоятельно нужно повѣсить. Подобный приговоръ былъ бы и жестокъ и несправедливъ, потому что преступленія, совершаемыя Репетиловыми, таковы, что щелчокъ въ носъ служитъ вполнѣ достаточною для нихъ оцѣнкою. Теперь сравните же... но нѣтъ!.. Ахъ, Балалайкинъ! если бы вы могли сдѣлаться Репетиловымъ *вполнѣ*—какъ бы это было хорошо, и какъ бы я былъ счастливъ за васъ!

Покуда я отчеканивалъ эту предику, Балалайкинъ смотрѣлъ на меня пристально, но совершенно безучастно. Врядъ ли даже онъ слышалъ что-нибудь изъ высказаннаго мною; скорѣе всего, въ его головѣ копошились въ это время новые промышленные проекты, потому что, какъ только утихъ мой голосъ, онъ сейчасъ же, какъ ни въ чемъ не бывало, опять возвратился къ своему предмету.

— Итакъ, мое предпріятіе съ килькой кажется вамъ недостаточно выгоднымъ?—спросилъ онъ меня совершенно спокойно.

— Нѣтъ, не невыгоднымъ, а... Ахъ, Балалайкинъ, Балалайкинъ! какой вы наглый человѣкъ! именно наглый, наглый, наглый! Совсѣмъ не невыгоднымъ нахожу я ваше предпріятіе, а именно...

— Позвольте. Допустимъ, что только невыгоднымъ—зачѣмъ искать другихъ опредѣленій? Вѣдь не Богъ же знаетъ, какое блаженство вы ощутите, ежели замѣните эпитетъ «невыгодный» какимъ-нибудь бурмицкимъ зерномъ изъ словаря Полторацкаго кабака. Итакъ, мое предпріятіе кажется вамъ невыгоднымъ... хотя... Въ два-три мѣсяца возможность учетверить капиталъ—желалъ бы я знать, какое предпріятіе, кромѣ, разумѣется, горвицевскаго, можетъ принести такой дивидендъ? И гдѣ же наконецъ предѣлъ человѣческимъ желаніямъ?

— Оставимте этотъ разговоръ, Балалайкинъ! вы—наглый! васъ не урезонишь! оставимте!

— Прекрасно. Забудемъ о килькахъ. Но въ такомъ случаѣ у меня имѣется къ вашимъ услугамъ другая, ежели не болѣе, то отнюдь не менѣе выгодная операція.

И, замѣтивъ на моемъ лицѣ испугъ, онъ, чтобъ не дать мнѣ возможности возражать, поспѣшно продолжалъ:

— Вотъ въ чемъ дѣло, голубчикъ. На-дняхъ мнѣ предложили пріобрѣсти партію махорки по баснословно дешевой цѣнѣ... что-то въ родѣ шести гривенъ за пудъ...

— Это еще что?

— Махорка—это табакъ, родъ опіума самаго скверная сорта. Мы съ вами, конечно, не будемъ его курить, ну, и господа офицеры... Но для солдатъ это—лучшее лакомство и вмѣстѣ съ тѣмъ прекраснѣйшее возбудительное средство, какого только можно желать.

— И, конечно, ваша махорка будетъ тоже гнилая?

— Гнилая — нѣтъ, подмоченная — да. Но я ужъ имѣю въ виду средство: стоитъ только подмоченные листы вновь подмочить — и они будутъ опять совсѣмъ какъ свѣжіе!

— Ну да, на видъ, а въ сущности все-таки гнилые?

— Моралистъ! но развѣ въ пылу битвъ есть возможность отличить свѣжій табакъ отъ... подмоченнаго?

Это было ужасно. Битыхъ два часа онъ неуставаючи мучилъ меня, и я до того отупѣлъ подъ гнетомъ его приставаній, что даже утратилъ всякую изобрѣтательную энергію. Нѣсколько разъ спрашивалъ я себя: какъ бы поступилъ на моемъ мѣстѣ, напримѣръ, французъ, нѣмецъ, англичанинъ? но нѣтъ, *тамъ* подобнаго случая даже быть не можетъ! Тамъ всякій свое мѣсто знаетъ: Балалайкины—между собою разговоры водятъ, Глумовы — между собою. Явился Балалайкинъ-нѣмецъ къ Глумову-нѣмцу съ предложеніемъ о килькѣ—Глумовъ повернулся къ нему спиной, и дѣло съ концомъ. А у насъ, словно на днѣ запущеннаго пруда, сплелось что-то до такой степени дивное, что хоть желѣзный ломъ въ ходъ пускай—и тѣмъ не раздерешь. Пришелъ Балалайкинъ «посидѣть»—и будетъ сидѣть, сколько ему Богъ на душу положитъ. Ни за городовымъ послать, ни отвернуться отъ него—даже въ голову не придетъ. А почему такъ?—да потому именно, что тутъ есть невообразимое сплетеніе. Сзади есть Удушьевъ, есть Репетиловъ — все люди, которые и изъ могилъ кричатъ:

плоть отъ плоти! кость отъ костей! И кричать не только Балалайкину, но и мнѣ, и Глумову, и всѣмъ.

— Эхъ вы!—продолжалъ между тѣмъ Балалайкинъ:—и капиталъ у васъ есть, и даже хорошій—это я достовѣрно знаю—а вы сидите на немъ да по пяти копеечекъ съ рубля получаете! Подумайте! время-то вѣдь летитъ! Вѣдь нынче человѣкъ, у котораго нѣтъ денегъ—это что̀ такое? вѣдь это—презрѣнный; это больше чѣмъ презрѣнный; это—каналья, которая навѣрное воруетъ и которая, слѣдовательно, рано или поздно непремѣнно попадетъ на скамью подсудимыхъ! Какую вы себѣ старость готовите!!

Ужасно, ужасно, ужасно! Я сидѣлъ какъ на угольяхъ и безнадежно смотрѣлъ на часы. Мнѣ казалось: вотъ-вотъ сейчасъ раздастся звонокъ, и Глумовъ освободитъ меня отъ этого распутнаго юноши.

— Вы всю жизнь спустя рукава прожили, всю жизнь по верхамъ глазѣли!—гудѣлъ въ моихъ ушахъ голосъ Балалайкина:—такъ хоть одинъ-то разъ взгляните на дѣло серьезно! Вѣдь я кому пользы желаю — все вамъ же! Потому что я самъ... мнѣ зачѣмъ? съ меня и практики моей адвокатской по-горло будетъ! Вотъ я, не дальше, какъ вчера, одну дамочку съ мужемъ разлучилъ... штучка, я вамъ доложу... пальчики оближешь! Десять тысячъ чистоганчикомъ за хлопоты вручила, да *приложеніе*... у Огюста въ отдѣльномъ кабинетѣ! Всю ночь до позднихъ пѣтуховъ мы съ ней прохороводились—я потомъ татарамъ двадцать пять рублей на водку далъ! А какой ужинъ! фрукты какіе! вино! Я было заплатить хотѣлъ—не допустила! Сама за все разсчиталась, а татарамъ, съ своей стороны, радужную выкинула! Такъ вотъ какую я жизнь веду! А вы... объ чемъ, бишь, впрочемъ, я говорить началъ?.. да, объ махоркѣ! Слушайте: вѣдь это—какой проектъ! вѣдь я не на офицеровъ разсчитываю, а на солдатъ, на массы — понимаете? Махорку всякій куритъ, безъ махорки воину обойтись нельзя! Онъ на редутъ лѣзетъ, а трубка у него въ зубахъ! А ежели и этого вамъ мало, такъ можно *нашу* махорку и обязательною сдѣлать... у меня и насчетъ этого ходы есть... По рукамъ, что ли?

Но я продолжалъ молчать и не сводилъ глазъ съ часовъ.

— Но вамъ, можетъ-быть, и то не нравится, что я насчетъ ходовъ упомянулъ... моралистъ? такъ я вамъ доложу, что безъ этого нашему брату—матъ. Конечно, можно дуракомъ и передъ открытою дверью стоять, да вѣдь дураки

потому и называются дураками, что они ротъ разѣваютъ, а умные въ это время куски глотаютъ. Нѣтъ, вотъ какъ я тутъ позолочу да тамъ посеребрю, а ежели и это не помогаетъ, такъ гдѣ ползкомъ, а гдѣ и на заднихъ лапкахъ... такъ-то, папенька крёстный!

Говоря это, онъ дружески хлопалъ меня по колѣнкѣ, и — увы! — я не оказалъ никакого противодѣйствія его ласкамъ. Я только старался окаменѣть въ ожиданіи чуда. Вдругъ звонокъ! Я бросился навстрѣчу къ Глумову и, буквально дрожа всѣмъ тѣломъ, крикнулъ:

— Ахъ, какъ онъ мнѣ надоѣлъ! какъ надоѣлъ!

— Такъ я и зналъ! предвидѣлъ я, братецъ, что онъ къ тебѣ пойдетъ! Ахъ, Балалайка безструнная! Мало тебѣ того, что я тебя съ лѣстницы спустилъ?

— Помилуй, онъ хвастается, что ты выслушалъ его проекты и обѣщалъ подумать,—сосплетничалъ я.

— Я тебѣ обѣщалъ? я?

Голосъ Глумова звучалъ такъ сурово, видъ его былъ такъ грозенъ, что Балалайкинъ невольно смутился.

— Молись Богу! твой часъ наступилъ. Я тебя предупреждалъ давеча, что добромъ тебѣ не кончить!—продолжалъ Глумовъ и прекраснѣйшимъ basso profondo пропѣлъ:

Твой сме-ертный часъ! твой гро-озный часъ!

— Душа моя, надо его повѣсить!—обратился онъ ко мнѣ:—онъ, впрочемъ, ужъ знастъ объ этомъ; я и веревку съ собой захватилъ.

Дѣйствительно, Глумовъ вынулъ изъ кармана совсѣмъ новую веревку и поднесъ ее къ носу Балалайкина. Балалайкинъ старался улыбнуться, но отъ наблюдательности моей не укрылось, что физіономія его замѣтно поблекла, въ виду рѣшимости, съ которою Глумовъ произнесъ свой приговоръ.

— А вотъ и гвоздь—молись, Балалайкинъ! Мало того, что ты людей до истерики своими приставаніями доводишь,—ты, заодно съ турками, возмечталъ русскую армію истребить! Знаешь ли, чѣмъ это пахнетъ? Молись и снимай галстукъ!

Балалайкинъ, желая обратить дѣло въ шутку, охотно развязалъ галстукъ, разстегнулъ воротникъ рубашки и даже шею подставилъ; я, съ своей стороны, въ качествѣ любителя юмористическихъ представленій, не менѣе охотно помогалъ Глумову надѣвать петлю... И вдругъ Глумовъ

схватилъ Балалайкина въ охапку и самымъ серьезнымъ образомъ потащилъ его къ гвоздю.

— Послушайте! это наконецъ ужъ выходитъ изъ предѣловъ шутки!—протестовалъ на ходу Балалайкинъ.

Я тоже порядочно испугался.

— Что ты дѣлаешь, душа моя! — взмолился я:—вѣдь пасъ за это... Не лучше ли его отправить въ участокъ?

— Чтобъ его оттуда выпустили... Оставь меня! я знаю, что дѣлаю! Такъ ты, Балалайка, думалъ, что съ тобой шутки шутятъ... а? Нѣтъ, мой другъ! ты меня такъ огорчилъ, такъ огорчилъ... даже до глубины души! Государственную измѣну затѣялъ... а?! Полѣзай, полѣзай! барахтаться нечего!

И онъ въ одинъ моментъ его вздернулъ, до такой степени вздернулъ, что Балалайкинъ сейчасъ же и языкъ высунулъ.

— Теперь пойдемъ къ Палкину завтракать!—обратился ко мнѣ Глумовъ:—а онъ покуда пускай повиситъ!

— Помилуй, да вѣдь онъ, того гляди, умретъ!

— Не умретъ—не бойся! Ты думаешь, онъ языкъ-то высунулъ—это онъ лжетъ! Лжешь, Балалайка?

Балалайкинъ не отвѣтилъ, а только еще больше высунулъ языкъ.

— Вотъ и прекрасно. Повиси тутъ, а мы пойдемъ!

Я долженъ сказать, что Глумовъ увлекъ меня къ Палкину почти насильно. Я шелъ за нимъ, подчиняясь его авторитету, но въ то же время безпрестанно оглядываясь назадъ, какъ будто Балалайкинъ съ высунутымъ языкомъ гнался за мной по пятамъ. Глумовъ съ обычною ласковостью успокоивалъ меня.

— Я—человѣкъ не жестокій,—говорилъ онъ:—но думаю, что въ настоящее время спасительный намекъ необходимъ. Такъ ужъ эти негодяи нынче расходились и столько ихъ развелось... Помилуй! кровь пьютъ, обворовываютъ, а наконецъ и начисто морить собрались!.. Надо же намекъ сдѣлать, чтобъ хоть немножко поостепенились мерзавцы!

— Дѣйствительно, это нелишнее; но все-таки прошу тебя имѣть въ виду, что Балалайкинъ ужъ языкъ высунулъ. Дай мнѣ слово, что пробудешь у Палкина недолго.

— Пробуду столько, сколько требуется, чтобъ аппетитъ удовлетворить. Говорю тебѣ, что онъ лжетъ и, по всѣмъ вѣроятіямъ, въ эту минуту ужъ лыжи навострилъ и бѣжитъ

сломя голову еще кого-нибудь своими проектами соблазнять. Но ежели онъ и поколѣетъ—неужто же судъ не пойметъ, что иначе въ данномъ случаѣ нельзя было поступить? И неужто ты-то не благодаренъ мнѣ, что я тебя выручилъ? Оставимъ, мой другъ, этотъ разговоръ.

И точно: Глумовъ, не торопясь, съѣлъ котлетку, выпилъ бутылку пива и вступилъ со мною въ душевную бесѣду.

— Столько нынче по городу анекдотовъ про этихъ христопродавцевъ ходитъ, — говорилъ онъ: — что другой, наслушавшись, невольно скажетъ: какая однако-жъ распутная страна!

— Да, голубчикъ! даже ужъ и говорятъ!

— Завелась эта шайка проходимцевъ да дѣвицъ международнаго поведенія, впились, сосутъ... Окружила сѣтью наши Заманиловки, Погорѣловки, Проплеванныя; бьются тамъ люди, словно рыба въ мотнѣ, ничего не понимаютъ, только чувствуютъ, что ихъ сейчасъ жрать будутъ... Бьются—и только! какъ будто въ этомъ въ одномъ и состоитъ ихъ провиденціальное назначеніе! Кто отомститъ-то за это—вотъ ты мнѣ что̀ скажи!

— Исторія послѣ все разберетъ.

— Нѣтъ, не разберетъ, потому что исторія только верхогляднича̀етъ. Ей даже и узнать неоткуда, что въ Заманиловкахъ честные люди живутъ. Струсберги, да Овсянниковы, да жидовствующая братія—вотъ матеріалъ, который она разрабатываетъ. Блескъ ей нуженъ, герои нужны!

— Что̀-жъ, вѣдь, съ одной стороны, это и не худо. По крайней мѣрѣ отъ компрометтирующей солидарности заманиловцы ускользнутъ.

— Врядъ ли. Это въ прежнее время бывало, что заладитъ историкъ: Мстиславъ да Ростиславъ, а изъ партикулярныхъ людей—Добрыня да Блудъ. А нынче историкъ воровать сдѣлался: хоть и тѣ же Добрыни да Блуды у него подъ руками, а онъ таки-такъ и нахальничаетъ: я, говоритъ, знать не хочу, что̀ на Васильевскомъ Острову да на Англійской набережной происходило; я, говоритъ, народъ имѣю въ виду, народъ призываю къ суду исторіи! Вотъ и потянутъ проплѣвановцевъ на цугундеръ...

— Но какой же можетъ быть судъ, ежели о нихъ, какъ ты самъ сейчасъ выразился, и сказать-то нечего?

— То-то что солжетъ что-нибудь. А впрочемъ, голубчикъ, если бы и удалось заманиловцамъ отъ солидарности ускользнуть, такъ вѣдь и тутъ барышъ не великъ. Соли-

дарности-то не будетъ, да, пожалуй, и *совсѣмъ ничего* не будетъ—вотъ что̀ нелестно! жили, молъ, да были непомнящіе родства—хорошо развѣ этакъ-то?

— Однако мы видимъ, что даже въ краткихъ учебникахъ—и тамъ заманиловцевъ непомнящими родства не называютъ, а, напротивъ, аттестаты даже выдаютъ.

— Ну, да; отличаются, молъ, твердостью въ бѣдствіяхъ доблестнымъ очищеніемъ окладныхъ листовъ; такъ нынче вѣдь и этого человѣкъ съ совѣстью сказать не можетъ. Твердость въ бѣдствіяхъ кабаки пошатнули, а что касается о окладныхъ листовъ... ахъ, не радуются, мой другъ, сердца начальниковъ, глядя на нихъ!

— Неужто?

— Да, любезный! а впрочемъ, ты не подумай... ни-ни! Просто ничего не подѣлаешь! «Ничего не подѣлаешь» — вотъ кличъ, который нынче несется изъ края въ край по всей Руси! А тутъ между тѣмъ шайка международныхъ негодяевъ мрежи неуставаючи плететъ!

Глумовъ вздохнулъ и спросилъ рюмку водки (послѣ завтрака!), что̀ означало, что онъ находится въ ожесточеніи.

— Такъ ты думаешь, что Балалайкинъ, напримѣръ, попадетъ въ исторію?

— Нѣтъ, Балалайкинъ-имярекъ, Балалайкинъ, котораго мы сейчасъ повѣсили,—тотъ не попадетъ. Съ него достаточно и того, что онъ гдѣ-нибудь въ концѣ тома, въ ученыхъ примѣчаніяхъ, фигурировать будетъ. Но Балалайкины вообще, Балалайкины, ихъ же имена ты, Господи, вѣси!—тѣ краеугольный камень составятъ. А отъ нихъ пойдетъ мораль и на заманиловцевъ, проплёвановцевъ, погорѣловцевъ. Потому что кто же виноватъ, что отъ нихъ никакихъ свидѣтельствъ нѣтъ, кромѣ ревизскихъ сказокъ? Вотъ и скажетъ историкъ: на основаніи такихъ-то и такихъ-то данныхъ—я имѣю полное право заключить, что сія эпоха была эпохой распутства — *всеобщаго!* Все, значитъ, безъ исключенія... Что-жъ! коли хочешь, оно вѣдь и правильно!

— Почему же правильно?

— А потому: не хлопай глазами! Одно изъ двухъ: или ты человѣкъ, или волъ подъяремный. Ежели ты человѣкъ, и за всѣмъ тѣмъ у тебя подъ носомъ Балалайкины исторію народа россійскаго созидаютъ,—стало-быть, ты самъ потатчикъ и попуститель; ежели ты—только волъ подъяремный, стало-быть, нечего о тебѣ и говорить. Мало ли на земномъ шарѣ земноводныхъ обитаетъ? мычатъ, блеютъ, мяукаютъ,

каркаютъ, свищутъ, квакаютъ—развѣ исторія обязывается принимать ихъ въ разсчетъ?

Приговоръ былъ рѣшительный, и меня, признаюсь, даже не разъ передернуло, покуда Глумовъ высказывалъ его. Но такъ какъ я зналъ навѣрное, что онъ говоритъ такимъ образомъ совсѣмъ не по убѣжденію, а единственно подъ вліяніемъ ожесточенія, то ограничился тѣмъ, что возразилъ ему:

— Ты этого не думаешь, а говоришь подъ вліяніемъ, хотя и законнаго, но все-таки не вполнѣ разумнаго ожесточенія.

— Ужъ не противъ Балалайкина ли?

— Нѣтъ, Балалайкина мы ужъ повѣсили — будетъ съ него. Но сдѣлай транспортировку Балалайкиныхъ, переложи ихъ нѣсколькими тонами выше,— гамма-то вѣдь безконечна!—усложни его ребяческіе проекты, прибавь къ нимъ гнилые сухари, толченый уголь вмѣсто пороха (разумѣется, если только можно такое злодѣйство себѣ представить!), и поводы для ожесточенія получатся до такой степени полные, что въ виду ихъ невольно притупится самое живое чувство справедливости. Не въ Балалайкинѣ, а въ совокупности Балалайкиныхъ, въ ихъ общедоступности и общепризнанности, въ разлитости балалайкинскаго эѳира въ воздухѣ—вотъ гдѣ настоящая причина негодованія!

— Что же однако въ моихъ словахъ несправедливаго?

— Все несправедливо. Во-первыхъ, тутъ совсѣмъ не «хлопаютъ глазами», какъ ты говоришь, а совершенно серьезно истекаютъ кровью, и никакой историкъ не увольняется отъ обязанности знать это. Во-вторыхъ, дѣла о «претерпѣніи» настолько сложны, что такими дилеммами, какъ: «или ты — человѣкъ, или ты — волъ подъяремный», ихъ ни подъ какимъ видомъ не разрѣшишь. Есть, любезный другъ, еще третій субъектъ, коли ты хочешь, тоже подъяремный, но не волъ, а человѣкъ, мечущійся изъ стороны въ сторону подъ игомъ мысли, что его, какъ ты самъ сейчасъ выразился, немедленно жрать будутъ. Этотъ субъектъ не мычитъ, а пѣсни о своихъ боляхъ слагаетъ; не потворствуетъ и не потакаетъ, а просто *не знаетъ*. Положеніе трагическое и запутанное, но въ матеріалахъ для изученія его недостатка все-таки нѣтъ. Вѣдь Балалайкинскіе-то проекты на комъ отражаются?—на немъ, исключительно на этомъ мечущемся человѣкѣ! Стало-быть, историку, ежели онъ не безумный, стоитъ только разобраться въ

этихъ проектахъ и сопоставить ихъ... Впрочемъ, ты вѣдь и самъ все это лучше меня знаешь, а только такъ, въ минуту жизни трудную, пофрондировать вздумалъ.

. . . . . .

Глумовъ хотя и возражалъ, но не искренно, а скорѣе изъ упрямства, чтобъ сохранить за собой послѣднее слово. Впрочемъ, я тоже поспѣшилъ перемѣнить разговоръ, потому что замѣтилъ, что сидѣвшій за сосѣднимъ столомъ посѣтитель началъ что-то ужъ черезчуръ симпатично прислушиваться къ нашимъ рѣчамъ.

— А Балалайкинъ-то вѣдь все виситъ!—сказалъ я.

— И пускай виситъ.

— Однако знаешь ли что? конечно, проекты его гнусны, но ежели ихъ съ финансовой точки зрѣнія разобрать... право, они совсѣмъ не глупы!

— Еще какъ не глупы-то!

— Вѣдь это только такъ кажется, что килька или махорка—нестоящіе вниманія предметы! а взгляни-ка на дѣло поглубже, особливо на махорку...

— И числа процентамъ не будетъ!

— И знаешь ли еще что? не только осуществленіе этихъ проектовъ вполнѣ практично, но даже и характеръ имъ можно придать... именно патріотическій... да!

— Еще бы, восемь гривенниковъ на мѣстѣ производства и тѣ же восемь гривенниковъ за двѣ тысячи верстъ—это хоть кому угодно въ носъ бросится!

— Такъ что ежели бы, напримѣръ...

— Постой! заключимъ лучше нашъ разговоръ такъ: но по этимъ-то именно соображеніямъ и надлежало Балалайкина повѣсить! Правильно?

Я долженъ былъ согласиться, что правильно, и сдѣлалъ это тѣмъ охотнѣе, что вопросъ о томъ: что-то происходитъ теперь у меня дома?—все-таки ни на минуту не оставлялъ меня. Безъ особеннаго сожалѣнія оставили мы палкинскіе салоны, и, признаюсь, я не безъ тревоги позвонилъ у дверей моей квартиры. Къ счастію, проницательность Глумова на этотъ разъ не измѣнила ему: Балалайкина и слѣдъ простылъ. Какимъ образомъ онъ ухитрился навѣсу высвободиться изъ петли, это—его тайна; но на письменномъ столѣ моемъ лежала записка, гласившая такъ:

«Я могъ бы претендовать на васъ; но, понимая шутку, первый готовъ посмѣяться, ежели она остроумна. Поэтому я считаю наши переговоры по извѣстному дѣлу не кончен-

ными, а только временно прерванными. Когда голосъ страстей умолкнетъ, и разсудокъ вновь вступитъ въ права свои, то телеграфируйте мнѣ: Фонарный переулокъ, домъ бывшій Зондермана. Я во всякое время къ вашимъ услугамъ.

«Балалайкинъ».

Прошло два мѣсяца, въ продолженіе которыхъ я не слѣдилъ за Балалайкинымъ, хотя случайными путями и получалъ о немъ отрывочныя свѣдѣнія. Но послѣднія были до такой степени ни съ чѣмъ несообразны, что трудно было дать имъ какую-нибудь вѣру. Одни говорили, что Балалайкинъ вступилъ въ товарищество съ извѣстнымъ евреемъ Зельманомъ и принялъ моисеевъ законъ, чтобы получить больше свободы въ движеніяхъ по махорочной операціи; другіе разсказывали, что онъ потурчился и поступилъ адъютантомъ къ Осману-пашѣ; наконецъ третьи утверждали, что онъ сдѣлался приближеннымъ Макъ-Магона и ѣздилъ отъ послѣдняго къ римскому папѣ за испрошеніемъ благословенія на совершеніе государственнаго переворота. Не потому трудно было повѣрить этимъ слухамъ, чтобъ Балалайкинъ неспособенъ былъ совершить всѣ эти метаморфозы, но потому, что невольно представлялся вопросъ: на кой чортъ могъ понадобиться нашъ Балалайкинъ Зельману, Осману-пашѣ и Макъ-Магону, когда у нихъ подъ руками тьмы темъ своихъ собственныхъ Балалайкиныхъ, всегда готовыхъ на всякія послуги?

На-дняхъ, утромъ, передо мной, по обыкновенію, лежалъ мой любимый листокъ: «Чего изволите?», газета ежедневно либеральная. Проштудировавъ извѣстія съ театра войны, я обратился къ «внутреннимъ дѣламъ» (прежде эта рубрика носила названіе «внутреннихъ безобразій», но такъ какъ со времени войны безобразій у насъ уже не совершается, то взамѣнъ ихъ явились «внутреннія дѣла»), — и вдругъ взоръ мой упалъ на корреспонденцію изъ Махорска:

«Намъ пишутъ изъ губернскаго города *Махорска:* На-дняхъ въ нашемъ городѣ, по распоряженію административныхъ властей (?), подвергнутъ наказанію на тѣлѣ розгами одинъ изъ проходимцевъ, порожденныхъ современными военными обстоятельствами. Это—нѣкто Балалайкинъ, довольно еще молодой человѣкъ, содержавшій, до начала войны, въ Петербургѣ адвокатскую контору, которая преимущественно принимала на себя веденіе бракоразводныхъ

дѣлъ и подыскиваніе лжесвидѣтелей. Преступленіе, за которое онъ нынѣ понесъ заслуженную кару, заключалось въ томъ, что онъ, прибывъ къ намъ подъ предлогомъ заготовленія махорки для находящихся на Дунаѣ русскихъ войскъ, имѣлъ отъ Османа-паши тайное порученіе слѣдить за распоряженіями здѣшняго губернскаго начальства. Употребивъ въ дѣло подкупъ, онъ постепенно переслалъ въ Плевну, въ копіяхъ, всѣ журналы здѣшняго губернскаго правленія и, между прочимъ, одинъ очень важный, въ которомъ обсуждались мѣры для приведенія Россійской имперіи въ состояніе неуязвимости, при чемъ главною и самою дѣйствительною мѣрою предполагалось немедленное и совершенное во всѣхъ мѣстахъ прекращеніе книгопечатанія, съ оставленіемъ лишь небольшого числа литеръ для опубликованія театральныхъ афишъ и начальственныхъ циркуляровъ. Получивъ этотъ журналъ, Османъ-паша, конечно, сообразилъ, что ежели прописанная въ немъ мѣра будетъ принята, то неуязвимость будетъ достигнута неизбѣжно, и притомъ въ самое короткое время, и тогда борьба съ сѣвернымъ колоссомъ сдѣлается совершенно немыслимою. И вотъ, подъ вліяніемъ этой мысли, турецкій главнокомандующій рѣшился сдѣлать цѣлый рядъ отчаянныхъ попытокъ, чтобъ хоть въ послѣдній разъ потѣшить сердце повелителя правовѣрныхъ, и результатомъ этого рѣшенія было, какъ извѣстно, нѣсколько эфемерныхъ успѣховъ, одержанныхъ турками. Долгое время однако виновники измѣны укрывались отъ взоровъ правосудія, но на-дняхъ интрига разъяснилась, благодаря дѣятельнымъ розыскамъ, предпринятымъ частнымъ приставомъ Х., и Балалайкинъ, въ виду вѣскости собранныхъ противъ него уликъ, вынужденъ былъ во всемъ сознаться, при чемъ сильно компрометтировалъ Османа и Реуфа пашей.

«Разсказываютъ, что первоначально было предположено повѣсить Балалайкина, но, по ходатайству дамъ махорскаго международнаго beau mond'a, наказаніе это было замѣнено болѣе легкимъ—розгами... Обрядъ былъ совершенъ публично на главной городской площади, при чемъ, конечно, присутствовалъ и весь нашъ beau monde. Балалайкинъ—мужчина очень пропорціонально сложенный. Онъ прибылъ на мѣсто экзекуціи въ коляскѣ и очень любезно раскланивался съ знакомыми, а въ особенности съ дамами; затѣмъ бодро выскочилъ изъ экипажа, взбѣжалъ на устроенное возвышеніе и самъ сдѣлалъ необходимый для совершенія обряда туа-

летъ. Криковъ во время сѣченія съ его стороны не было, а потому въ народѣ ходилъ слухъ, что сѣкуторы подкуплены. По окончаніи обряда, покуда Балалайкинъ, по обычаю, благодарилъ сѣкуторовъ за науку, дамы махали платками. Въ этотъ день Балалайкинъ былъ приглашенъ въ десяти домахъ на обѣдъ, но гостепріимные хозяева съ горечью узнали, что интересной жертвѣ махорскаго правосудія уже не суждено обѣдать въ Махорскѣ. Черезъ два часа по совершеніи обряда, проходимецъ, въ сопровожденіи двоихъ прохвостовъ, уже слѣдовалъ по назначенію, для принятія на тѣлѣ административныхъ распоряженій и въ прочихъ городахъ Россійской имперіи».

Разумѣется, я сейчасъ же поспѣшилъ къ Глумову, чтобъ подѣлиться съ нимъ вѣстью, и засталъ его за чтеніемъ «Красы Демидрона», въ которой о томъ же предметѣ писалось совершенно другое. А именно:

«Никто, въ теченіе столь короткаго времени, не былъ жертвою такого множества ложныхъ слуховъ и клеветъ, какъ уважаемый нашъ сотрудникъ Балалайкинъ, авторъ статьи: «При ходатайствѣ — и закону премѣна бываетъ». Чего-чего ни распускали объ немъ: и жидовство-то онъ принялъ, и Осману-пашѣ передалъ будто бы важную государственную тайну, а вчера даже очень серьезные люди за вѣрное выдавали, что онъ высѣченъ въ губернскомъ городѣ Махорскѣ, гдѣ въ послѣднее время находился центръ его полезной дѣятельности по заготовленію махорки для войскъ дѣйствующей на Дунаѣ арміи! Изъ всѣхъ этихъ извѣстій похоже на правду одно: дѣйствительно Балалайкинъ имѣлъ свиданіе съ Османомъ-пашой, но совсѣмъ не для сообщенія государственной тайны, а съ дипломатической миссіей отъ Грегера, Когана, Горвица и всѣхъ вообще евреевъ, обитающихъ въ Россіи и поручившихъ Балалайкину убѣдить талантливаго турецкаго полководца, что усилія его приведутъ лишь къ напрасной тратѣ пороха. Все же остальное — чистѣйшая выдумка и самая наглая ложь. Будучи близко знакомы съ Балалайкинымъ, мы, отъ лица всѣхъ его друзей и почитателей, можемъ удостовѣрить, что патріотическія операціи, предпринятыя имъ по случаю настоящей войны, всѣ до одной увѣнчались успѣхомъ, и что онъ самъ, обремененный добычею, прибудетъ въ Петербургъ не далѣе, какъ завтра, то-есть 12-го сего октября. Всѣ приготовленія къ пріему его кончены, а именно: 1) въ домѣ Мурузи, на Литейной, занятъ подъ

его помѣщеніе весь бельэтажъ, при чемъ особый обширный залъ отдѣленъ для игры въ чехарду; 2) на Хрѣновскомъ заводѣ пріобрѣтена, за баснословно дорогую цѣну, четверня породистыхъ орловскихъ лошадей, выѣзженныхъ въ упряжи à la Daumont; 3) у Неллиса, Тацки и Вагнера заказано до двадцати великолѣпныхъ экипажей, а въ Москвѣ у Арбатскаго — безчисленное множество дрожекъ, саней и прочей экипажной мелочи. Затѣмъ намъ остается прибавить только одно: Балалайкинъ почтенъ отъ начальства единственнымъ въ своемъ родѣ отличіемъ: правомъ носить на спинѣ изображеніе бубноваго туза. Надѣемся, что отнынѣ ни зависть, ни клевета уже не настигнутъ его. Sapienti sat».

— 12-е октября—да вѣдь это сегодня! стало-быть, онъ ужъ здѣсь!—воскликнули мы въ одинъ голосъ и рѣшили тотчасъ же на мѣстѣ, въ домѣ Мурузи, удостовѣриться, которая изъ двухъ газетъ имѣетъ болѣе вѣрныя извѣстія съ театра войны.

Литейная была оживлена болѣе обыкновеннаго; мѣстами виднѣлись кучки любопытныхъ, которыя, по мѣрѣ приближенія нашего къ Пантелеймонской улицѣ, встрѣчались все чаще и чаще. Около дома Мурузи мы нашли уже цѣлую толпу. У одного изъ подъѣздовъ красовалось новенькое съ иголочки открытое ландо, запряженное четверкой великолѣпныхъ бѣлыхъ лошадей; за ландо тянулся рядъ дрожекъ. Мы хотѣли-было войти въ дверь подъѣзда, но вооруженный булавою и отлично откормленный швейцаръ сурово отогналъ насъ.

Съ четверть часа мы простояли въ нѣмомъ ожиданіи. Вдругъ откормленный швейцаръ заметался, и вслѣдъ затѣмъ обѣ двери подъѣзда растворились настежь. Нѣтъ сомнѣнія... это—онъ, это—Балалайкинъ! Но какъ онъ выросъ, возмужалъ, похорошѣлъ! какъ онъ выхолилъ свои щеки, и какая безконечно-блаженная улыбка играла на его алыхъ устахъ! Щегольской дорожный костюмъ плотно облегалъ его стройное тѣло; полированная сумка, переброшенная черезъ плечо, отливала на солнцѣ нестерпимымъ блескомъ; на головѣ была накинута легкая шотландская шапочка, въ околышѣ которой, вмѣсто пера, былъ воткнутъ листъ засохшей махорки; въ петличкѣ жакетки красовалась ленточка неизвѣстнаго ордена. За нимъ слѣдовала блестящая свита, въ которой я насчиталъ десять жидовъ, десять грековъ и десять армянъ. Шествіе было очень шумное, потому что

армяне и греки препирались между собой о томъ, чья вѣра лучше, а жиды, напротивъ того, галдѣли, что всѣ вѣры хороши. Обязанности церемоніймейстера исполнялъ оставшійся за штатомъ оберъ-секретарь одного изъ упраздненныхъ департаментовъ сената.

Балалайкинъ однако-жъ замѣтилъ насъ и... подошелъ къ намъ! Безъ особенной фамильярности, но не безъ театральной напыщенности, свойственной выскочкамъ и временщикамъ. Просто, благородно.

— Господа!—сказалъ онъ:—я васъ въ свое время приглашалъ—вы сами не захотѣли! Пеняйте на себя.

Я не помню, что со мной было. Помню только, что я весь дрожалъ отъ волненія, и совершенно не понимаю, какъ произнесъ:

— Ваше сіятельство!..

— Шт!.. — скромно остановилъ онъ меня, прижимая палецъ къ губамъ: — покамѣстъ я еще... просто Балалайкинъ!

Быть-можетъ, свиданіе на этомъ и кончилось бы, если бы Глумовъ не поспѣшилъ исправить глупое впечатлѣніе, произведенное моею нелѣпою робостью.

— Стой, Балалайка безструнная!—сказалъ онъ:—куда-жъ ты собрался этакимъ франтомъ?

— Я отправляюсь теперь въ Монтекарло просить руки дочери мсьё Блана *),—отвѣтилъ онъ, не смущаясь выходкой Глумова:—но ежели мнѣ это не удастся, то во всякомъ случаѣ я имѣю обѣщаніе, что первая вакансія крупье при рулеткѣ будетъ принадлежать мнѣ. Ахъ, господа, господа! не хотѣли вы въ то время...

— Объ этомъ послѣ,—прервалъ его Глумовъ:—но вотъ нумеръ газеты, въ которой пишутъ, что въ Махорскѣ на площади, при громадномъ стеченіи народа...

— Было, господа, и это! все было!

— Что-жъ это за орденъ у тебя въ петлицѣ?

— А это—орденъ «борьбы». Его на-дняхъ учредилъ Макъ-Магонъ и по секрету раздаетъ своимъ приближеннымъ. Разумѣется, прислалъ и мнѣ.

— Нѣтъ, какъ ты хочешь, а объяснись обстоятельнѣе. Что такое съ тобой? откуда все это? эта свита, эти экипажи, этотъ откормленный швейцаръ, это восточное великолѣпіе?

---

*) Бланъ—содержатель игорнаго дома въ Монтекарло.

— На это я могу сказать вамъ одно, господа. Что такое—я? что такое—все то, что вы теперь видите? Погодите! вотъ кончится война, и прибудутъ въ Петербургъ настоящіе негодяи... дѣльцы, хотѣлъ я сказать... Тогда — увидите!

III.—Тряпичкины-очевидцы.

Отъ дунайскаго корреспондента Подхалимова 1-го въ редакцію газеты «Краса Демидрона» *).

1.

Станція Бологое. Ровно недѣлю тому назадъ вы призвали меня, г. редакторъ, и, выложивъ передъ моими обрадованными глазами пачку ассигнацій, сказали: «ты—малый проворный! вотъ деньги—иди и воспѣвай!» Фраза—въ устахъ редактора газеты «Краса Демидрона» — глубоко знаменательная. Перенеситесь мыслью за двадцать лѣтъ тому назадъ и отвѣтьте: возможно ли было что-нибудь подобное въ то время?! Прежде цари, призывая полководцевъ, говорили: иди и побѣждай! теперь—съ бо́льшею лишь осторожностью въ выборѣ выраженій—то же самое дѣлаютъ редакторы газетъ...

Да, надо сознаться, что въ наши дни пресса пріобрѣла такое значеніе, которому равное представляетъ лишь главное управленіе по дѣламъ книгопечатанія. Это двѣ новыя великія державы, которыя народились въ нашихъ глазахъ и которыя въ равной степени украсили знаменитую метерниховскую пентархію. Возникли онѣ одновременно, чего, впрочемъ, и слѣдовало ожидать. Еще покойный Ансильонъ (а у насъ Иванъ Петровичъ Шульгинъ) замѣтилъ, что вся политическая исторія новѣйшихъ временъ объясняется тѣмъ, что одна великая держава непремѣнно стремится нарушить политическое равновѣсіе, а одновременно съ нею другая

*) Чтобъ удовлетворить справедливымъ требованіямъ нашихъ читателей, мы отправили корреспондентовъ на оба театра войны: на Дунай—г. Подхалимова 1-го и въ Малую Азію—г. Подхалимова 2-го. Оба намъ извѣстны, какъ молодые люди чрезвычайно талантливые, добросовѣстные и, главное, непьющіе. Надѣемся, что читатели не посѣтуютъ на насъ за это новое доказательство нашихъ заботъ объ ихъ интересахъ, которое стоитъ намъ, при этомъ, довольно значительныхъ издержекъ. *Прим. редакціи газеты «Краса Демидрона».*

великая держава непремѣнно же стремится возстановить его. Такъ точно и тутъ. Какъ только пресса обнаруживаетъ намѣреніе нарушить равновѣсіе, такъ тотчасъ же главное управленіе открываетъ по ней огонь изъ всѣхъ батарей. Какъ это ни грустно, но мы должны покоряться безропотно: во-первыхъ, потому, что таковъ уже самъ по себѣ неумолимый законъ исторіи (по Ансильону), а во-вторыхъ, и потому, что въ противномъ случаѣ насъ ожидаютъ предостереженія, воспрещенія розничной продажи, аресты, пріостановки и проч.

Какъ бы то ни было, но я—на пути къ Дунаю. Не знаю, что будетъ дальше, но первыя впечатлѣнія, вынесенныя на пути между Петербургомъ и Бологовымъ, удивительно отрадны. Я не буду занимать васъ описаніемъ нашего переѣзда черезъ Валдайскій хребетъ, хотя, по словамъ спеціалистовъ, эти горы представляютъ, въ стратегическомъ отношеніи, отличнѣйшія удобства. Описаніе это было бы небезынтересно въ такомъ лишь случаѣ, если бы возможно было предположить, что театръ военныхъ дѣйствій перенесется сюда; но такъ какъ турки навѣрное никогда не дерзнутъ проникнуть такъ далеко, то я полагаю, что говорить объ этомъ предметѣ преждевременно. Пускай Европа думаетъ, что въ здѣшнихъ мѣстахъ ничего нѣтъ, кромѣ валдайскихъ колокольчиковъ и валдайскихъ баранокъ; для насъ, съ стратегической точки зрѣнія, такое самоувѣренное невѣжество даже выгодно...

Купивъ въ гостиномъ дворѣ чемоданъ и уложивъ свой несложный багажъ, я отправился изъ Петербурга съ утреннимъ 9-ти-часовымъ поѣздомъ и, конечно, взялъ себѣ мѣсто въ вагонѣ третьяго класса. Я сдѣлалъ это намѣренно, хотя полученныя мною отъ васъ средства позволяли мнѣ претендовать и на второй, а съ нѣкоторою натяжкою и на первый классъ. Но я прежде всего хотѣлъ познакомиться съ чувствами, одушевляющими простой русскій народъ въ настоящую славную минуту, а для наблюденія подобнаго рода вагонъ III-го класса — сущій кладъ. И, какъ вы увидите дальше, я былъ съ избыткомъ вознагражденъ за тѣ маленькія неудобства, которыя сопряжены съ продолжительнымъ пребываніемъ въ обстановкѣ, отнюдь не напоминающей благоуханной атмосферы петербургскихъ салоновъ (я невольно вспомнилъ при этомъ, какъ хорошо въ вашихъ гостиныхъ, г. редакторъ, и какимъ отличнымъ, душистымъ мокка вы меня угощали, давая инструкціи, какъ мнѣ вести себя на Дунаѣ!).

Какъ и слѣдовало ожидать, настроеніе нашего вагона было отличное. Пассажиры были точно на подборъ молодецъ къ молодцу! Всѣ имѣли видъ увѣренный, бодрый, и какъ только прошли первыя минуты обычной суматохи усаживанія, такъ тотчасъ же, разумѣется, выступилъ животрепещущій восточный вопросъ. Насчетъ участи, ожидающей турокъ, судили разно, но замѣчательно, что ни въ комъ не было ни тѣни колебанія или сомнѣнія; напротивъ того, всѣхъ воодушевляла твердая рѣшимость не полагать оружія до тѣхъ поръ, пока самое имя Турціи существуетъ на картѣ Европы. Никому изъ насъ лично не приходилось участвовать въ военныхъ дѣйствіяхъ, но тѣмъ не менѣе большинство выказывало такую отвагу, что я безъ труда понялъ, чего можно бы было ожидать отъ этихъ людей, если бы не стѣсняли предѣлы вагона, подобно тому какъ меня стѣсняютъ предѣлы газетной статьи. Многіе буквально рвались на поле битвы. Напримѣръ, одинъ почтенный мѣщанинъ (онъ содержитъ въ Углицкомъ уѣздѣ питейный домъ и мелочную лавку) сказалъ мнѣ:

— Кажется, пусти меня теперича въ страженіе, такъ я одинъ десяти туркамъ-чуркамъ головы поснесу!

А сидѣвшій тутъ же поблизости духовный пастырь, движимый похвальнымъ соревнованіемъ, присовокупилъ:

— Духовно мы, сударь, давно ужъ за Дунаемъ, а нѣкоторые даже и далѣе.

Разумѣется, я охотно воспользовался этимъ случаемъ, чтобъ вступить въ собесѣдованіе.

— Такъ за чѣмъ же дѣло стало?—спросилъ я.

— А за тѣмъ и стало, что дома своихъ дѣловъ много,—отвѣтилъ мѣщанинъ. Священникъ же, соревнуя ему, пояснилъ:

— Духомъ мы высоко паримъ, но немощная плоть паренью нашему не мало препонъ представляетъ—отъ сего и унываемъ. Питейный-то домъ, напримѣръ, ихній, по настоящимъ обстоятельствамъ, прикрыть бы можно, дабы съ легкимъ сердцемъ устремиться туда, куда гласъ чести всѣхъ вѣрныхъ призываетъ, а мы, на мѣсто того, немощствуемъ.

Объясненіе это заставило меня задуматься. Священникъ правъ, думалось мнѣ, но не вполнѣ. Спору нѣтъ, что было бы и патріотичнѣе, и согласнѣе съ чувствами истиннаго русскаго—прикрыть на время кабакъ, чтобъ удовлетворить святой потребности сразиться съ исконнымъ врагомъ цивилизаціи и христіанства, но, съ другой стороны, если всѣ пойдутъ сражаться, кто же тогда будетъ производить тор-

говлю распивочно и на-выносъ, вносить гильдейскіе сборы и проч.? Провидѣніе не безъ разсчета, конечно, устраиваетъ, предоставляя однимъ спеціальность охранять и защищать границы государства, а другимъ — спеціальность воздѣлывать землю, производить торговые обороты и уплачивать соотвѣтствующіе окладные и неокладные сборы. Извѣстно, что въ странахъ цивилизованныхъ силы матеріально-производительныя составляютъ такой же зиждущій государственный нервъ, какъ и духовно-производительныя; такъ что ежели послѣднія и нагляднѣе двигаютъ государство на пути преуспѣянія, то первыя хотя и не столь наглядно, но столь же несомнѣнно споспѣшествуетъ этому, снабжая (въ видѣ жалованья, столовыхъ, квартирныхъ и проч.) необходимыми матеріальными средствами воиновъ, администраторовъ, ученыхъ, литераторовъ и даже насъ, грѣшныхъ корреспондентовъ. Ваша уважаемая газета давно уже сознала эту важную истину и неоднократно развивала ее въ передовыхъ статьяхъ своихъ. Помнится, вы однажды сказали: отнимите у войны ея нервъ — деньги, и она немедленно утратитъ свою цѣлесообразность! Пушки, лишенныя пороха, не будутъ палить (да еще вопросъ, осуществимы ли самыя пушки безъ денегъ?); люди и лошади, лишенные провіанта и фуража, въ непродолжительномъ времени впадутъ въ изнеможеніе *). Англичане это отлично поняли, и мнѣ кажется, что нашимъ господамъ-шовинистамъ, проповѣдующимъ, сидя дома на печи, поголовное ополченіе, тоже не мѣшало бы зарубить эту истину у себя на носу.

Вотъ почему я думаю, что почтенный батюшка былъ не совсѣмъ правъ, обвиняя кабатчиковъ и прочихъ негоціантовъ въ немощи плотской (впрочемъ, онъ и самъ впослѣдствіи сознался мнѣ, что высказался въ этомъ смыслѣ болѣе для того, чтобъ выдержать свойственную его званію учительную роль). Если и дѣйствительно плотская немощь не дозволяетъ имъ прикрывать, по чувству патріотизма, кабаки, то это немощь естественная, обусловливаемая недостаткомъ не патріотизма, но самымъ распредѣленіемъ Божіихъ даровъ между людьми. Всякому свое: они употребляютъ, для прославленія отечества, холодное и огнестрѣльное оружіе; другіе, въ тѣхъ же видахъ, изощряютъ свои коммерческія способности, а третьи упражняютъ свои

*) Дѣйствительно, мы всегда утверждали это и очень рады, что живыя наблюденія нашего корреспондента подтверждаютъ наше мнѣніе. *Прим. той же редакціи.*

мышцы, воздѣлывая землю. Даже мы, корреспонденты, едва ли правильно поступили бы, если бы, въ порывѣ отваги, бросились въ самый пылъ битвы, вмѣсто того, чтобъ, находясь въ безопасномъ мѣстѣ, быть лишь достовѣрными очевидцами ея. Подумайте: если бы мы были перебиты, развѣ газеты были бы въ состояніи разнообразить столбцы и удовлетворять справедливому любопытству публики? Какъ подѣйствовало бы это на годовую подписку? Что сталось бы съ розничной продажей?

Покуда я такимъ образомъ размышлялъ, кто-то въ углу вагона крикнулъ:

— Что долго разговаривать! идемъ всѣ противъ турка— и сказъ весь!

Что произошло въ эту минуту — я не берусь описать. Представьте себѣ поѣздъ, несущійся на всѣхъ парахъ, представьте грохотъ колесъ, тяжелое дыханіе паровоза—и что-жъ! даже всего этого оказалось недостаточнымъ, чтобъ заглушить гулъ нашихъ голосовъ, слившихся въ одномъ общемъ чувствѣ!.. Да, нужно имѣть перо Немировича-Данченко, чтобъ передать эту картину! Всѣ поздравляли другъ друга, обнимались, цѣловались, а одна старушка, сидя въ углу, тихо плакала. Откуда взялся этотъ внезапный наплывъ чувствъ? Почему теперь, а не прежде или послѣ? На это я могу отвѣтить только слѣдующее: спросите у своего сердца, г. редакторъ!

Ежели человѣкъ имѣетъ сердце чувствительное, то онъ отвѣтитъ на эти вопросы очень легко; а ежели при этомъ онъ еще выпивши, то отвѣтъ, и безъ словъ, самъ собою окажется начертаннымъ на его лицѣ...

Часовъ въ одиннадцать началось въ вагонѣ другого рода движеніе; пассажиры принялись разгружать свои дорожные мѣшки и вынимать изъ нихъ всевозможную провизію. Опять прекрасная бытовая картина, но на этотъ разъ уже совершенно мирнаго свойства.

Не видно ни пармезановъ, ни анчоусовъ, ни гомаровъ, ничего такого, что напоминало бы утонченности иноземной гастрономіи. Русскій человѣкъ понимаетъ, что теперь не такая минута, когда слѣдовало бы поощрять ввозную торговлю *). Но за то на всѣхъ колѣняхъ вы замѣтите рыже-

*) Хотя, съ другой стороны, воздержаніе отъ употребленія ввозныхъ товаровъ должно имѣть неминуемымъ послѣдствіемъ уменьшеніе таможеннаго дохода. Это тоже не мѣшаетъ имѣть въ виду.

Прим. той же редакціи.

ватую паюсную икру, нашу родную углицкую колбасу и въ особенномъ изобиліи печеныя яйца. Во всѣхъ углахъ слышится дѣятельная работа зубовъ, на всѣхъ лицахъ написано неподдѣльное удовольствіе, которое, въ настоящемъ случаѣ, тѣмъ болѣе законно, что всѣ эти припасы суть результатъ усидчиваго труда.

Простые русскіе люди и насыщаются просто: раскладываютъ на колѣняхъ листы бумаги, въ которой завернута провизія, отрѣзываютъ дорожнымъ ножомъ, что имъ нужно, и затѣмъ предоставляютъ дальнѣйшую работу пальцамъ и зубамъ.

Я невольно залюбовался этой картиной, хотя, сознаюсь откровенно, лично мнѣ было не совсѣмъ ловко, потому что повсемѣстная ѣда обострила и мой аппетитъ, а я былъ настолько непредусмотрителенъ, что никакого запаса съ собой не взялъ. Къ счастію, я какъ-то проговорился, что я корреспондентъ, отправляющійся на Дунай, и этого одного достаточно было, чтобъ вывести меня изъ затруднительнаго положенія. Какъ только слово «корреспондентъ» облетѣло всѣ скамьи вагона, такъ мнѣ въ одну минуту накидали цѣлую массу печеныхъ яицъ... Скажите по совѣсти: возможно ли что-нибудь подобное за границей или гдѣ бы то ни было, кромѣ нашей хлѣбосольной и изобильной Россіи?

Этого мало: меня обступила цѣлая толпа съ вопросами, въ чемъ заключается должность корреспондента, и платятъ ли за нее жалованье? Разумѣется, я, какъ могъ, удовлетворилъ законному любопытству этихъ добрыхъ людей и, къ удивленію моему, могу сказать, что объясненія мои были вездѣ встрѣчены сочувственно. Одни, совершенно въ стилѣ Немировича-Данченко, восклицали:

— Господи! хоть бы глазкомъ на страженія-то посмотрѣть!

Другіе наивно замѣчали:

— Ишь ты! за что нонче деньги платятъ!

Затѣмъ, по русскому обычаю, раздалось:—выпьемъ!— и пошла круговая.

Всѣ подходили ко мнѣ и пили за мое здоровье, а также и за ваше, г. редакторъ, потому что я объявилъ, что лишь благодаря вашему иждивенію я могъ осуществить давнишнее желаніе моего сердца увидѣть Дунай и Балканы.

Покуда все это происходило, подошелъ ко мнѣ одинъ почтенный рыбинскій купецъ (называется онъ, какъ я послѣ

узналъ, Иванъ Иванычъ Тр.) и сталъ уговаривать меня, чтобы я ѣхалъ съ нимъ въ Рыбинскъ.

— Ты малый проворный, на войну завсегда поспѣешь! а лясы точить и у насъ въ Рыбинскѣ можно!

Къ этой же просьбѣ присоединилъ свой голосъ и отецъ Николай (имя священника, говорившаго о плотской немощи), который тоже оказался обитателемъ рыбинскихъ палестинъ. Напрасно я оттоваривался, во-первыхъ, тѣмъ, что для корреспондента время—тѣ же деньги, и во-вторыхъ, тѣмъ, что я уже заплатилъ за свое мѣсто до самой Москвы,—гостепріимный Иванъ Иванычъ ни объ чемъ слышать не хотѣлъ.

— Пустое ты городишь!—говорилъ онъ:—времени тебѣ дѣвать некуда, а деньги, которыя за мѣсто тобой плочены, всѣ до копеечки возвратимъ! Полюбился ты мнѣ! парень-то очень ужъ ты проворный! На Дунай собрался—лёгко ли дѣло!

Я попробовалъ еще сопротивляться, но когда отецъ Николай разсчиталъ мнѣ по пальцамъ, что если я нѣсколько дней и опоздаю на поля битвъ, то потери отъ этого не будетъ никакой, а между тѣмъ я могу упустить единственный въ своемъ родѣ случай для наблюденій за проявленіями русскаго духа, такъ какъ именно теперь въ Рыбинскѣ проходятъ караваны съ хлѣбомъ, то я вынужденъ былъ согласиться. Не знаю, похвалите ли вы меня за уклоненіе отъ первоначально утвержденнаго вами маршрута, но увѣряю васъ, что газета отъ этого ничего не проиграетъ *). Съѣзжу въ Рыбинскъ, наблюду за проявленіями русскаго духа, и затѣмъ—маршъ на Дунай!

Что происходило потомъ, я не помню, потому что очень крѣпко уснулъ. Не видѣлъ ни Любани, ни Малой-Вишеры, ни Окуловки и только въ Березайкѣ былъ разбуженъ моими будущими спутниками. Проснулся и не безъ изумленія увидѣлъ, что кто-то взялъ на себя трудъ собрать мои печеныя яйца и уложить ихъ въ плетушку, которая и стояла возлѣ меня. Вотъ еще замѣчательная черта русскаго характера! Кто въ другой странѣ проявилъ бы такую трогательную заботливость о спящемъ корреспондентѣ!

Такимъ образомъ я очутился въ Бологовѣ, откуда и бесѣдую съ вами!

Содержатель буфета, узнавъ, что я отправляюсь черезъ

---

*) Дай-то Богъ! *Примѣч. той же редакціи.*

Рыбинскъ на Дунай, отъ всей души предложилъ мнѣ графинъ очищенной, при чемъ настрѣзъ отказался отъ уплаты денегъ по таксѣ. Вотъ вамъ и еще фактъ. Ужели послѣ всего этого можно усомниться въ силѣ русскаго чувства! Что я содержателю бологовскаго буфета? Что онъ мнѣ? И вотъ однако-жъ оказывается, что между нами существуетъ невидимая духовная связь, которая его заставляетъ пожертвовать графиномъ водки, а меня—принять эту жертву.

Итакъ, не знаю, что будетъ дальше, но до сихъ поръ требованія моего желудка (а можетъ-быть, и издержки по передвиженію, если почтенный Иванъ Иванычъ сдержитъ свое слово) были удовлетворяемы безвозмездно. Вы, конечно, поймете сами, какого рода чувства должны волновать мое сердце въ виду этого факта! Я же, съ своей стороны, могу присовокупить: да, добрые люди, поступокъ вашъ навсегда остается запечатлѣннымъ въ моемъ благодарномъ сердцѣ, и да будетъ забвенна десница моя, ежели я не заявлю объ немъ въ «Красѣ Демидрона»!

Но въ заключеніе позвольте напомнить и вамъ, г. редакторъ, сколько многимъ я обязанъ вашей изысканной добродѣтели. Я былъ простымъ половымъ въ трактирѣ «Старый Пекинъ» *), когда вы, замѣтивъ мою расторопность, сначала сдѣлали меня отмѣтчикомъ, а потомъ отправили и корреспондентомъ на-мѣста битвъ. Гдѣ, въ какой странѣ возможенъ такой фактъ!

Подхалимовъ 1-й.

2.

Рыбинскъ. Дорога отъ Бологова до Рыбинска тоже весьма замѣчательна въ стратегическомъ отношеніи. Она окружена сплошными болотами, посреди которыхъ тамъ и сямъ, въ разбросанномъ видѣ, живутъ остатки тверскихъ либераловъ, укрывшіеся послѣ извѣстнаго разгрома 1862 года. Разсказываютъ, что это люди мирные, пострадавшіе «за напрасно» или, собственно говоря, за любовь къ отечеству. Странная вещь эта любовь къ отечеству! Вотъ люди, которые несомнѣнно любили отечество и которыхъ тѣмъ не менѣе разгромили другіе люди, тоже несомнѣнно любившіе отечество! Кто тутъ правъ, кто виноватъ—рѣшить не берусь,

*) Г. Трапичкинъ чересчуръ скроменъ. Онъ былъ не половымъ, а маркеромъ, что предполагаетъ уже значительно высшую степень развитія. *Примѣч. той же редакціи.*

но теперь эти люди живутъ среди своихъ болотъ и занимаются молочными скопами. Отъ души желаю имъ успѣха въ ихъ полезныхъ занятіяхъ, и такъ какъ вся эта исторія уже канула въ вѣчность, и съ тѣхъ поръ страсти значительно улеглись, то не думаю, чтобъ кто-либо нашелъ въ моихъ сочувственныхъ пожеланіяхъ что-либо предосудительное.

По разсказамъ туземцевъ, болота здѣшнія таковы, что въ нихъ безъ труда возможно было бы потопить пѣхоту цѣлаго міра, не говоря уже о кавалеріи, артиллеріи и войскахъ прочихъ родовъ оружія. Слѣдовательно насчетъ безопасности здѣшнихъ культурныхъ центровъ, какъ-то: Бѣжецка, Краснаго-Холма, Весьегонска и даже самого Вышняго-Волочка, мы можемъ быть спокойны. А сверхъ того я убѣжденъ, что и тверскіе либералы, въ случаѣ проникновенія въ ихъ палестины врага, забывъ прежніе счеты, дадутъ имъ солидный урокъ.

Была уже ночь, когда мы выѣхали изъ Бологова. Спутники мои оказались отличнѣйшими людьми. Иванъ Иванычъ Тр.—веселый малый, высокій, плотный, румяный, кудрявый, съ голубыми, но необыкновенно странными глазами, которые дѣлались совершенно круглыми по мѣрѣ того, какъ опоражнивалась висѣвшая у него черезъ плечо фляга. Подобно всѣмъ русскимъ, не отказывающимъ себѣ въ удовольствіи выпить лишнюю рюмку водки, онъ говорилъ разбросанно, не только не вникая строго въ смыслъ выраженій, но даже не имѣя, повидимому, достаточно разнообразнаго запаса ихъ. Однако я не скажу, чтобъ онъ былъ глупъ, въ строгомъ смыслѣ этого слова, а только, вслѣдствіе удачно сложившихся жизненныхъ обстоятельствъ, не чувствовалъ настоятельной надобности въ размышленіи. Такіе люди въ общежитіи чрезвычайно пріятны. Они никого собой не обременяютъ, не навязываютъ своихъ мнѣній, но взамѣнъ того являются отличнѣйшими собутыльниками, и хотя не поражаютъ своимъ краснорѣчіемъ, но охотно смѣются, поютъ, стучатъ ногами и вообще выказываютъ веселое расположеніе духа. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ людямъ вообще свойственно заблуждаться, то и личности, подобныя Тр., конечно, не изъяты отъ недостатковъ. Во-первыхъ, они любятъ прибѣгать къ шуткамъ черезчуръ истязательнаго характера, а во-вторыхъ, не довольно смирны во хмелю. Противъ перваго изъ этихъ недостатковъ никакихъ средствъ еще не придумано; что же касается до второго, то необходимо только зорко слѣдить, чтобъ эти

люди не шли дальше того числа бутылокъ, которое человѣкъ вообще можетъ вмѣстить, и какъ только этотъ предѣлъ достигнутъ, то нужно какъ можно скорѣе укладывать ихъ спать... Затѣмъ относительно отца Николая могу сказать, что отличнѣйшія качества его ума и сердца были въ настоящемъ случаѣ для меня тѣмъ болѣе драгоцѣнны, что онъ являлся прекраснымъ комментаторомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда смыслъ рѣчей Ивана Иваныча дѣлался слишкомъ загадочнымъ. Судя же по тому, какъ онъ выражался о препонахъ, представляемыхъ плотскою немощью паренію духа, я едва ли ошибусь, сказавъ, что изъ него могъ бы выйти очень даровитый духовный витія, если бы арена его дѣятельности была нѣсколько обширнѣе.

Несмотря на ночное время, никому изъ насъ спать не хотѣлось, и потому я, въ качествѣ корреспондента, счелъ долгомъ вступить въ разговоръ съ моими спутниками.

— Иванъ Иванычъ!—обратился я къ моему амфитріону:— какъ вы думаете объ нынѣшнихъ военныхъ обстоятельствахъ?

Но онъ не безъ изумленія взглянулъ на меня и, вмѣсто отвѣта, откупоривъ фляжку, сказалъ:

— Выпьемъ, корреспондентъ!

Я не отказался сдѣлать ему удовольствіе, но восклицаніе его все-таки мало удовлетворило меня. Отецъ Николай, видя мое недоумѣніе, поспѣшилъ ко мнѣ на помощь.

— Вмѣстѣ съ прочими, значитъ,—сказалъ онъ:—какъ прочіе, такъ и мы.

— Вѣрррно!—подтвердилъ и Иванъ Иванычъ.

— Но лично что же вы думаете? личное ваше мнѣніе въ чемъ заключается?—настаивалъ я, ничего не понимая въ этой странной воздержности.

— А въ кутузку не желаешь... корррреспондентъ?—отвѣтилъ онъ послѣ минутнаго молчанія.

— Не только не желаю, но даже не понимаю, при чемъ тутъ кутузка.

— Ну, а мы даже очень отлично понимаемъ.

— Позвольте однако-жъ! Если въ вашихъ мнѣніяхъ нѣтъ ничего предосудительнаго, то почему не высказать ихъ? Если энтузіазмъ самъ просится изъ вашей груди, то почему не выразить его публично, всенародно? Неужели вамъ неизвѣстно, что нынче никому выражать свой энтузіазмъ не воспрещается?

— И не воспрещается, и извѣстно, а все-таки.., выпьемъ, корреспондентъ!

Я опять не отказалъ ему въ удовольствіи вмѣстѣ выпить, но все-таки стоялъ на своемъ:

— Но почему же? почему?

— А потому что потому—вотъ тебѣ и сказъ!

— Боязно-съ,—пояснилъ отецъ Николай: — думается, слово-то не трудно молвить, анъ оно, пожалуй, не то, какое надобно. Ну, и кутузка притомъ же. Хоша нынче она и утратила прежнее всенародное значеніе, а все-таки въ совершенствѣ забвенію не предана.

— Вѣрррно!—опять подтвердилъ Иванъ Иванычъ.

— Но вѣдь вы сами были давеча очевидцемъ, какъ люди совершенно простые выражали свой энтузіазмъ! И выражали такъ открыто, что навѣрное никто изъ нихъ не опасался подвергнуться за это административному воздѣйствію!

— То—мужики, имъ все можно, потому что имъ и подъ замкомъ посидѣть ничего, а мы—люди обстоятельные. Для насъ не токма что день или недѣля, а всякій часъ дорогъ! Будетъ... выпьемъ!

Я убѣдился, что продолжать этотъ разговоръ было бы безполезно, но, признаюсь, сдержанность почтеннѣйшаго Ивана Иваныча сдѣлала на меня горькое впечатлѣніе. Я никакъ не могъ вообразить себѣ, чтобъ представленіе о кутузкѣ было до сихъ поръ такъ живо среди народа. Пришлось опять припомнить вашу газету, или, лучше сказать, безчисленныя передовыя статьи ея, въ которыхъ выражалась мысль, что физіономія народа надолго, если не навсегда, опредѣляется его воспитаніемъ. Святая, безспорная истина! Подумайте, какъ давно уже пали стѣны кутузки; но такъ какъ въ продолженіе вѣковъ она составляла главную основу нашего народнаго воспитанія, то и теперь стоитъ передъ нами, какъ живая! Кутузокъ уже нѣтъ, самый характеръ нашей культуры настолько измѣнился, что не только исправники и становые пристава, но даже сотскіе служатъ образцомъ предупредительности и вѣжливости, а мы все еще жмемся къ сторонкѣ, скрываемся, боимся проронить лишнее слово, какъ будто вотъ-вотъ насъ сейчасъ возьмутъ за шиворотъ! Спрашивается: сколько прекраснѣйшихъ изліяній чувствъ остается вслѣдствіе этого подъ спудомъ! Сколькихъ драгоцѣнныхъ и по истинѣ умилительныхъ картинъ мы лишаемся случая быть свидѣтелями!

Начните хоть бы съ насъ, корреспондентовъ: какую массу совершенно неожиданныхъ бытовыхъ сценъ мы

могли бы воспроизвести, если бы не существовало этого фаталистическаго самозапрета относительно изліяній чувствъ! Конечно, и теперь мы достаточно сильны по части подражанія мужицкому жаргону, но все-таки намъ нужно насиловать свое воображеніе или прибѣгать къ перу Немировича-Данченко, чтобы достигнуть какихъ-нибудь солидныхъ результатовъ въ смыслѣ увеличенія розничной продажи газетъ. Тогда какъ не будь этого... Но этого мало: самое начальство—смѣю спросить—развѣ оно не теряетъ отъ этого въ смыслѣ самоутѣшенія и самопоощренія? Увы! взирая на ровную поверхность нашего общества, изрѣдка возмущаемую восторгами мужиковъ, оно само не знаетъ, что̀ скрывается въ этихъ глубинахъ: доброе ли чешуйчатое, которое можно выпотрошить и употребить въ снѣдь, или злой крокодилъ, который самъ можетъ поглотить, ежели приблизиться къ нему безъ достаточной осторожности?!

Нѣтъ, прочь кутузки! прочь самое воспоминаніе о нихъ! По крайней мѣрѣ на время войны... Пусть всякій полагаетъ, что онъ обо всемъ можетъ откровенно высказать свою мысль! И пусть не только полагаетъ, но и въ самомъ дѣлѣ высказывается! Результатовъ отъ такой внутренней политики можно ожидать только вполнѣ удовлетворительныхъ. Во-первыхъ, всякій другъ передъ другомъ навѣрное будетъ стараться, чтобъ мысль его была по возможности восторженная и патріотическая; во-вторыхъ, если бы въ общемъ строѣ голосовъ и оказались нѣкоторые диссонансы, то можно бы таковые отмѣтить въ особыхъ спискахъ, и, по окончаніи войны, съ выразителями ихъ поступать на основаніи существующихъ постановленій. Тогда какъ теперь, при общемъ молчаніи, невозможно даже опредѣлить, гдѣ кончается благонамѣренность и гдѣ начинается область превратныхъ толкованій...

— Скажи ты мнѣ, сдѣлай милость, что̀ это за должность такая: корреспондентъ?—прервалъ мои размышленія Иванъ Иванычъ.

Я объяснилъ, что въ недавнее время возникла шестая великая держава, называемая прессою, которая, стремясь къ украшенію столбцовъ и страницъ, повсюду завела корреспондентовъ. Эти послѣдніе обязываются замѣчать все, что̀ происходитъ на ихъ глазахъ, и описывать въ легкой забавной формѣ, способной заинтересовать и увеселить читателя. Писанія свои корреспонденты отправляютъ въ газеты для напечатанія, но бабушка еще на-двое сказала,

увидятъ ли они свѣтъ, потому что существуетъ еще седьмая великая держава, которая вообще смотритъ на корреспондентовъ, какъ на лицъ неблагонадежныхъ, и допускаетъ или прекращаетъ ихъ дѣятельность по усмотрѣнію. Все искусство корреспондента въ томъ заключается, чтобъ попасть въ мысль этой седьмой державѣ и угадать, какіе восторги своевременны и какіе преждевременны. Напримѣръ: во время сербской войны нѣкоторые восторги были сочтены преждевременными, и потому множество корреспондентовъ погибло напрасною смертью; теперь же, повидимому, эти самые восторги вполнѣ своевременны. Но и то только повидимому, ибо ежели будущее неисповѣдимо вообще, то въ отношеніи къ корреспонденту оно неисповѣдимо сугубо. «Лови моментъ!» — вотъ единственное правило, которое умный корреспондентъ обязанъ вполнѣ себѣ усвоить,—и тогда онъ получитъ за свой трудъ достаточное вознагражденіе, чтобъ...

Иванъ Иванычъ не далъ мнѣ докончить и съ изумленіемъ спросилъ:

— Такъ и корреспондентамъ деньги платятъ?

— Конечно, и даже совершенно достаточно, чтобъ не...

— Ахъ, прахъ-те побери! Отецъ Николай, слышишь?

— Слышу и ничего въ томъ предосудительнаго не нахожу, ибо знаю, по собственному опыту, что такое духовный трудъ, особливо ежели оный совершается въ благоприличныхъ формахъ и въ благопотребное время...

— Нѣтъ, да ты шутишь! настоящими ли деньгами-то платятъ вамъ? не гуслицкими ли?

— Настоящими, — сказалъ я: — и вотъ вамъ доказательство...

Я вынулъ изъ бумажника десятирублевую и подалъ ему. Онъ поднесъ ее къ фонарю, посмотрѣлъ на огонь и вдругъ съ быстротою молніи опустилъ ее въ свой карманъ.

— Я ее дома ужо въ рамку вставлю и на стѣнкѣ въ гостиной у себя повѣшу!—сказалъ онъ.

Положеніе мое было критическое. Съ одной стороны, я понималъ, что это шутка (испытательнаго характера), но съ другой—мнѣ вдругъ сдѣлалось такъ жалко, такъ жалко этой десятирублевой бумажки, что даже сердце въ груди невольно стѣснилось. Не желая однако-жъ выказать свои опасенія, я рѣшился пойти на компромиссъ (опять вспомнилъ ваши передовыя статьи, гдѣ это слово такъ часто употребляется).

— Прекрасно,—сказалъ я:—въ такомъ случаѣ вы мою бумажку вывѣсите, а мнѣ отдайте свою равносильной цѣнности.

Къ несчастію, голосъ мой при этомъ дрогнулъ, и это дало ему поводъ продолжать свою шутку.

— Жирно будетъ!—воскликнулъ онъ.

— Но почему же?

— А потому что потому... Выпьемъ, корреспондентъ!

Онъ откупорилъ фляжку, налилъ чарочку и поднесъ ее къ моему лицу; но въ то время, какъ я уже почти касался чарки губами, онъ ловкимъ маневромъ отдернулъ ее отъ меня и выпилъ вино самъ.

— За твое здоровье... корреспондентъ!

Это была новая шутка, и опять испытательнаго характера, но на сей разъ я рѣшился не выказывать своихъ чувствъ.

— Итакъ,—сказалъ я, возвращаясь къ прерванному разговору о позаимствованной у меня бумажкѣ:—за вами десять рублей.

— Шалишь, любезный! Хочешь, грѣхъ пополамъ?

— Но зачѣмъ же я получу только пять рублей, коль скоро вы у меня взяли цѣлыхъ десять?

— Ну, слушай! Пойдемъ на аккордъ: пять рублей я тебѣ отдамъ сейчасъ, а пять—черезъ годъ. Хочешь? А твою бумажку въ рамку вставить велю и подпишу: корреспондентова бумажка... По рукамъ, что ли?

— Не могу и на это согласиться, потому что и это не будетъ справедливо. А впрочемъ, я понимаю, что это съ вашей стороны шутка, и охотно буду ожидать, покуда вы сами найдете возможнымъ положить ей конецъ.

— Разсердился... корреспондентъ!

— Нимало... И въ доказательство, что уваженіе мое къ вамъ нисколько не поколебалось, я, если угодно, хоть сейчасъ же выпью вмѣстѣ съ вами за ваше здоровье.

— Вотъ это—дѣло! ай да корреспондентъ! Выпьемъ!

Опять появляется фляжка, и—увы!—вновь повторяется тотъ же маневръ, вслѣдствіе котораго чарка, проскользнувши у меня мимо губъ, опрокидывается въ горло моего амфитріона.

Я прислонился головой къ стѣнѣ вагона и сдѣлалъ видъ, что желаю заснуть. Замѣчательно, что батюшка, въ продолженіе этихъ шутокъ, ни разу не вступился за меня. Онъ видимо уклонялся отъ вмѣшательства и даже въ то

время, когда шутки Ивана Иваныча пріобрѣтали несомнѣнно острый характеръ, старался смотрѣть въ окно, хотя тамъ, по ночному времени, ничего не было видно. Ясно, что если бы Ивану Иванычу вздумалось въ самомъ дѣлѣ присвоить себѣ мои десять рублей, то я не имѣлъ бы даже свидѣтеля столь вопіющаго факта! Повторяю, впрочемъ: серьезныхъ опасеній насчетъ преднамѣреннаго присвоенія я не имѣлъ; но все-таки думалось: а что если онъ позабудетъ?

Не прошло однако-жъ четверти часа, какъ Иванъ Иванычъ хлопнулъ меня по колѣнкѣ и предложилъ выпить на мировую. Я, разумѣется, поспѣшилъ согласиться, и на этотъ разъ ужъ не было употреблено никакихъ фальшивыхъ маневровъ.

— Слушай, корреспондентъ!—сказалъ онъ при этомъ:— ты парень проворный! постой, я тебѣ загадку загану! Отчего нашъ рубль, теперича, шесть гривенъ на биржѣ стоитъ?

Я призадумался, потому что мнѣ и самому, правду сказать, какъ-то не приходило въ голову, отчего это такъ? Однако, припомнивъ кое-что изъ вашихъ передовыхъ статей, отвѣтилъ, что всему причиной коварство англичанъ.

— Такъ неужто англичанинъ такую власть надъ нами взялъ, что нашъ рубль въ полтинникъ обратить можетъ?

— Это—не власть, а естественное слѣдствіе слабости нашего денежнаго рынка.

— Да рынокъ-то нашъ отчего слабъ?

— А это опять-таки оттого, что англичане...

Я остановился въ недоумѣніи и сталъ соображать. Не оттого ли это,—мелькнуло вдругъ у меня въ головѣ:—что у насъ, взамѣнъ книгопечатанія, въ усиленной степени развито билетопечатаніе? Но онъ уже не слушалъ меня.

— Самъ-то ты, вижу я, слабъ... корреспондентъ! Батя! по маленькой!

— Съ удовольствіемъ,—отвѣтилъ отецъ Николай, который уже пересталъ смотрѣть въ окно.

— Такъ ты за Дунай и далѣе?—вновь обратился ко мнѣ Иванъ Иванычъ.

— Да, за Дунай.

— «Ѣхалъ казакъ за Дунай»... а попалъ въ Рыбинскъ!

— Да, и въ Рыбинскъ. Во-первыхъ, вы сами меня пригласили, а во-вторыхъ, такъ какъ военныя дѣйствія еще

не начались, то отчего же мнѣ, предварительно, не быть свидѣтелемъ драгоцѣнныхъ выраженій русскаго духа!

— Смотри, какъ бы безъ тебя войну не кончили!

— Не безпокойтесь. Лучше скажите мнѣ вотъ что. Теперь время трудное; одни жертвуютъ жизнью, другіе—знаніями, третьи — корреспонденты, напримѣръ — поддерживаютъ въ публикѣ духъ, знакомятъ ее съ ходомъ военныхъ дѣйствій... Ну, а прочіе какъ?

— А тебѣ зачѣмъ нужно знать?

— А хоть бы затѣмъ, чтобъ познакомить публику съ дѣйствительнымъ настроеніемъ русскаго общества въ настоящую минуту.

— Изволь, братецъ. А мы... прочіе, то-есть... какъ чуть что, сейчасъ пошлемъ за ящичкомъ—и деньги готовы!

— За какимъ же это ящичкомъ?

— А за апчественнымъ. Прежде у насъ апчественныхъ денегъ не было, а нынче—есть. Такъ замѣсто того, чтобъ со списочкомъ по домамъ ходить, взялъ, сколько требуется, изъ ящичка—и шабашъ!

— Оно изъ общественнаго-то ящичка ровнѣе, пояснилъ отецъ Николай.

— Почему же ровнѣе?

— Чудакъ ты! Про англичанина знаешь, а этого не можешь понять! Извѣстно, апчественный ящикъ всѣхъ равняетъ. Тамъ и мой гривенникъ, и его пятакъ, и твоя копейка—все тамъ складено! Значитъ, отъ всякаго и жертва идетъ, глядя по состоянію.

— Стало-быть, вы лично никакой тягости отъ этихъ пожертвованій не ощущаете?

— Какая тягость! Сказано тебѣ: со всѣмъ нашимъ удовольствіемъ!

Вотъ вамъ фактъ. Мнѣ кажется, что, при разсмотрѣніи вопроса объ русской общинѣ, онъ долженъ имѣть первостепенное значеніе! Удивительное дѣло! Какъ только было дано разрѣшеніе завести общественныя кассы, какъ тотчасъ же онѣ получили у насъ такое же право гражданственности, какъ и растрата оныхъ! Это уже не фантазія, не вымыселъ безпокойнаго и празднаго воображенія, а фактъ. Кассы наполняются, потомъ растрачиваются... и снова наполняются—какая изумительная, знаменательная и въ то же время отрадная настойчивость! Гдѣ, въ какой странѣ вы увидите что-либо подобное?

Въ этихъ мысляхъ я незамѣтно уснулъ. Да и время

было, потому что письмо мое и безъ того уже вышло изъ предѣловъ обыкновенной газетной корреспонденціи *).

Я проснулся въ десятомъ часу утра. Горячее солнце стояло уже высоко и обливало желтоватымъ свѣтомъ внутренность вагона. Кругомъ царствовало суетливое движеніе: пассажиры громко разговаривали, собирая свои пожитки, въ виду скораго достиженія цѣли нашего путешествія.

— А вотъ и наша Рыбна!—весело воскликнулъ Иванъ Иванычъ, указывая пальцемъ въ окно.

Я потянулся, протеръ глаза, и, сознаюсь откровенно, первою моею мыслью было воспоминаніе о взятыхъ у меня десяти рубляхъ.

— Итакъ,—сказалъ я:—вы должны мнѣ десять рубликовъ, почтеннѣйшій Иванъ Иванычъ!

— Христосъ съ тобой! никакихъ я у тебя денегъ не бралъ! Во снѣ ты это видѣлъ.

— Слушайте! это наконецъ ни на что не похоже!—не на шутку разгорячился я, но тутъ мой взоръ случайно упалъ на полу моего пальто, и всѣ мои опасенія мгновенно разсѣялись. Вчерашняя десятирублевка оказалась пришитою на самомъ видномъ мѣстѣ къ полѣ пальто и такъ тщательно, что я употребилъ немало труда, чтобъ отпить ее. Разумѣется добродушный хохотъ моихъ собесѣдниковъ оглашалъ стѣны вагона все время, покуда продолжалась операція отшиванія.

Подхалимовъ 1-й.

3.

Отъ редакціи газеты «Краса Демидрона». Сегодня мы получили отъ нашего дунайскаго корреспондента слѣдующую телеграмму, которая—мы говоримъ откровенно—привела насъ въ нѣкоторое изумленіе:

Кинешма (не Кишиневъ ли?). Сейчасъ получено извѣстіе, что мы перешли черезъ Дунай. Городъ иллюминованъ. Отецъ Макридій сказалъ приличное обстоятельствамъ слово. Завидую вамъ. Ура!

Подхалимовъ 1-й.

Во-первыхъ, какимъ образомъ корреспондентъ нашъ могъ попасть въ Кинешму—мы рѣшительно недоумѣваемъ.

*) Напротивъ того. Чѣмъ больше подобныхъ фактовъ, тѣмъ лучше, и мы просимъ нашего корреспондента не стѣснять себя. Но въ то же время присовокупляемъ и другую покорнѣйшую просьбу: поспѣшить на Дунай. *Примѣч. той же редакціи.*

Скорѣе всего мы склонны думать, что слѣдуетъ читать: «Кишиневъ», превратившійся въ Кинешму вслѣдствіе одной изъ тѣхъ прискорбныхъ ошибокъ, отъ которыхъ, къ величайшему нашему сожалѣнію, телеграфное наше вѣдомство далеко не можетъ считать себя свободнымъ. Во-вторыхъ, предположивъ даже, что нашъ корреспондентъ, вслѣдствіе разныхъ замедленій, неразлучныхъ съ военнымъ временемъ, достигъ только Кишинева (о Кинешмѣ мы, конечно, и не думаемъ), какимъ образомъ могло случиться, что телеграмма наша попала по назначенію лишь черезъ недѣлю послѣ того, какъ радостная вѣсть о переходѣ нашихъ войскъ у Мачина, а потомъ и у Систова, уже облетѣла всю Россію, была опубликована во всѣхъ газетахъ и сдѣлалась драгоцѣннѣйшимъ достояніемъ всего русскаго народа?

Все это наводитъ на весьма невеселыя мысли о дѣйствіяхъ нашего полевого телеграфнаго вѣдомства. Жалобы на его неисправности слышатся не только у насъ, но проникли и за границу, что въ особенности важно въ такую минуту, когда глаза цѣлой Европы устремлены на насъ. Мы говоримъ это не въ видѣ упрека (сохрани насъ Богъ!), но не можемъ не констатировать факта, который, какъ онъ ни прискорбенъ въ данномъ случаѣ, но все-таки поправимъ. И мы надѣемся, что впредь ничего подобнаго не случится, ибо мы уже обратились по этому предмету куда слѣдуетъ съ ходатайствомъ, которое, конечно, будетъ уважено, ежели, впрочемъ, начальство, всегда къ намъ благосклонное, не найдетъ болѣе умѣстнымъ оставить нашу просьбу безъ разсмотрѣнія.

Вообще, наши военные корреспонденты причиняютъ намъ много заботъ, а иногда даже служатъ источникомъ горестнаго изумленія. Конечно, это дѣло совсѣмъ новое, и невозможно требовать, чтобъ оно шло какъ по маслу, но намъ какъ-то особенно не посчастливилось въ этомъ отношеніи, хотя мы не щадили ни трудовъ, ни издержекъ, чтобъ прочно поставить это дѣло на ноги. Нашъ дунайскій корреспондентъ, очевидно, увлекся. Происходя самъ изъ народа, онъ послѣдовалъ за волной народныхъ восторговъ и, вѣроятно, пробылъ въ Рыбинскѣ болѣе, нежели слѣдовало. Вотъ отчего онъ только теперь достигъ Кишинева, куда мы, впрочемъ, вмѣстѣ съ симъ посылаемъ ему дружеское приглашеніе не медлить болѣе и постараться, сколь возможно скорѣе, присоединиться къ нашей арміи, дабы быть очевидцемъ предстоящихъ великихъ событій. Что ка-

сается до нашего малоазіатскаго корреспондента (Подхалимовъ 2-й), то о немъ мы рѣшительно не имѣемъ никакихъ извѣстій. 9-го мая мы простились съ нимъ и знаемъ, что онъ былъ совершенно здоровъ, въ полномъ разсудкѣ, дышалъ отвагой и оставилъ насъ съ твердымъ намѣреніемъ выѣхать въ тотъ же день изъ Петербурга съ послѣднимъ пассажирскимъ поѣздомъ. Знаемъ еще, что у него есть въ Чебоксарахъ родные, къ которымъ онъ хотѣлъ заѣхать, но не болѣе, какъ на одинъ день. Однако съ тѣхъ поръ онъ какъ въ воду канулъ. Напрасно мы посылали узнавать на его петербургскую квартиру, потомъ телеграфировали въ Чебоксары, въ Тифлисъ, въ Кутаисъ и наконецъ въ Александрополь—отовсюду мы получили отрицательные отвѣты. Очень возможно, что онъ взятъ въ плѣнъ, и въ такомъ случаѣ намъ приходится только пожалѣть объ участи талантливаго юноши и сотрудника, который намъ былъ особенно дорогъ своею готовностью выполнять порученія редакціи. Какъ бы то ни было, но это должно объяснить публикѣ, почему наши свѣдѣнія съ малоазіатскаго военнаго театра еще слабѣе, нежели съ Дуная.

Надѣемся, что читатели не посѣтуютъ на насъ за это откровенное объясненіе. Можемъ прибавить къ этому, что въ виду глубокаго интереса, возбуждаемаго настоящей войной, мы и еще разъ не пожалѣли трудовъ и издержекъ. А именно: отыскали, на замѣну безъ вѣсти пропавшаго малоазіатскаго корреспондента нашего — другого, г. Ящерицына, котораго испытанное и вполнѣ намъ извѣстное проворство не оставляетъ желать ничего лучшаго. Вчера мы лично присутствовали на дебаркадерѣ Николаевской желѣзной дороги при его отправленіи и можемъ сказать съ полною увѣренностью: онъ уѣхалъ. Такимъ образомъ черезъ мѣсяцъ, никакъ не болѣе, читатели наши будутъ имѣть подробнѣйшій выборъ самыхъ свѣжихъ новостей, почерпнутыхъ прямо изъ перваго источника. При этомъ считаемъ не лишнимъ напомнить почтеннѣйшей публикѣ, что розничная продажа нашей газеты *никогда не была воспрещена, а тѣмъ менѣе пріостанавливаемо самое изданіе газеты,* и что слухи, будто бы мы прекращаемъ нашу дѣятельность по недостатку средствъ,—чистѣйшая ложь, выдуманная нашими противниками, въ видахъ распространенія ихъ вредныхъ и *очень часто недопускаемыхъ къ розничной продажѣ* изданій, что, какъ извѣстно, при совокупномъ примѣненіи системы предостереженія, влечетъ за собой

пріостановку оныхъ на болѣе или менѣе продолжительные сроки, а иногда даже и совершенное прекращеніе, по усмотрѣнію начальства. А отъ этого, кромѣ потребителей розничной продажи, очевидно, страдаютъ и годовые подписчики.

4.

Варнавинъ. Васъ, конечно, удивитъ, что я пишу изъ Варнавина. Что дѣлать, волны народной восторженности увлекли меня дальше, нежели я предполагалъ. Впрочемъ, я изъ Кинешмы *) уже телеграфировалъ вамъ, что русскія войска благополучно переправились черезъ Дунай у Зимницы и еще въ какомъ-то мѣстѣ—забылъ. Слѣдовательно главное вамъ извѣстно.

Пожалуйста, извините меня, что я медленно спѣшу. Дѣйствительно, я не поспѣлъ къ переходу за Дунай, но къ переходу черезъ Балканы поспѣю, это—вѣрно. Впрочемъ,

---

*) Такимъ образомъ помѣщенная нами въ одномъ изъ предыдущихъ нумеровъ телеграмма г. Подхалимова 1-го разъясняется. Онъ, дѣйствительно, телеграфировалъ изъ Кинешмы, а не изъ Кишинева, и мы глубоко извиняемся передъ полевымъ телеграфнымъ вѣдомствомъ въ той неосмотрительности, съ какою поспѣшили обвинить его въ неисправности въ которой оно оказывается совершенно невиновнымъ. Впрочемъ, съ одной стороны, это насъ отчасти и радуетъ, такъ какъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, и тѣ обвиненія противъ телеграфнаго вѣдомства, которыя проникли въ иностранную печать, останутся столь же неосновательными, какъ и наше, и такимъ образомъ означенное вѣдомство выйдетъ совершенно чистымъ въ глазахъ просвѣщенной Европы. Затѣмъ, чтобъ сложить съ себя хотя часть отвѣтственности передъ читателями за поступки нашихъ корреспондентовъ, мы заявляемъ: 1) что мы не только не одобряемъ страннаго образа дѣйствій г. Подхалимова 1-го, но даже строго порицаемъ его; 2) что мы не видимъ ничего любопытнаго, ни даже забавнаго въ его корреспонденціяхъ; напротивъ того, находимъ ихъ вполнѣ неумѣстными, и если, за всѣмъ тѣмъ, печатаемъ ихъ, то потому только, чтобъ хотя отчасти восполнить издержки, употребленныя нами на посылку корреспондентовъ; 3) что вмѣстѣ съ симъ мы вторично и съ строжайшею настоятельностію предлагаемъ г. Подхалимову 1-му прекратить свои блужданія и отправиться на театръ военныхъ дѣйствій—*немедленно;* 4) что въ этихъ же видахъ нами отправлено письмо къ г. варнавинскому уѣздному исправнику, котораго мы просимъ подѣйствовать на г. Подхалимова 1-го путемъ убѣжденія, а буде это окажется недѣйствительнымъ, то подыскать на мѣсто его кого-либо изъ мѣстныхъ жителей, оказывающаго склонность къ правописанію, и немедленно отправить на Дунай, а намъ телеграфировать объ издержкахъ, которыя мы, безъ упущенія времени, съ благодарностью возвратимъ.

Примѣч. редакціи газеты «Краса Демидрома»

собственно говоря, въ виду той копеечной платы, которою вы меня награждаете, и извиняться не стоитъ *)...

Въ Рыбинскѣ я пробылъ всего три недѣли и, признаюсь, разстался съ моимъ амфитріономъ безъ особенной горести. Слишкомъ испытательный характеръ его шутокъ съ каждымъ днемъ пріобрѣталъ все болѣе и болѣе острый характеръ, такъ что подъ конецъ я не могъ безъ опасенія смотрѣть въ глаза будущему. Я не говорю уже о томъ, что когда всѣмъ подавали за обѣдомъ уху изъ живыхъ стерлядей, то для меня, какъ онъ самъ выражался, спеціально готовили таковую изъ *дохлой* рыбы; но были шутки и покрупнѣе. Такъ, напримѣръ, воспользовавшись моимъ восторженнымъ положеніемъ по случаю взятія Баязета, онъ уложилъ меня, соннаго, въ гробъ, покрывъ старой столовой красной салфеткой и поставивъ по четыремъ угламъ сальныя свѣчи, такъ что когда я ночью проснулся и увидѣлъ себя въ комнатѣ одного и въ такой обстановкѣ, то чуть въ самомъ дѣлѣ не умеръ со страху. Въ другой разъ, воспользовавшись таковымъ же моимъ положеніемъ по случаю взятія Ардагана, онъ вывезъ меня на дрогахъ въ городской лѣсъ и бросилъ въ канаву, такъ что я, будучи пробужденъ воемъ собакъ, долженъ былъ для спасенія своего лѣзть на дерево и въ другой разъ чуть не умеръ со страху.

Этотъ послѣдній поступокъ даже уклончиваго отца Николая привелъ въ недоумѣніе (я не обвиняю, впрочемъ, его за эту излишнюю склонность къ дипломатіи, потому что въ домѣ Тр. каждую субботу служатъ всенощныя, а это—немаловажное подспорье для причта), такъ что онъ сказалъ въ лицо самому Ивану Иванычу:

— Хотя шутка, сударь, вообще не предосудительна и въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже пріятнымъ развлеченіемъ служить можетъ, но въ семъ разѣ вы подвергли господина корреспондента опасности быть растерзаннымъ дикими звѣрьми и тѣмъ самымъ довольно ясно доказали, что предѣлы внезапнаго препровожденія времени преступаются вами безъ надлежащей осмотрительности!

---

*) Это — наглая ложь, за которую мы, по окончаніи военныхъ дѣйствій, непремѣнно призовемъ г. Подхалимова къ суду. Мы платимъ не по копейкѣ, а по три копейки за каждую строку; сверхъ того приняли на себя всѣ путевыя издержки, по разсчету за мѣсто въ вагонѣ II-го класса, и кормовыхъ по 5 рублей въ сутки, за каждый проведенный въ пути и на мѣстѣ военныхъ дѣйствій день. — *Прим. редакціи той же газеты.*

— Ишь вѣдь городитъ! какихъ ты еще дикихъ звѣрей въ нашемъ лѣсу сочинилъ? — нимало не смущаясь, возразилъ на это Иванъ Иванычъ.

— Все-таки, сударь, въ иномъ разѣ и собака, не хуже волка, свою роль сыграетъ!

— Бѣду нашелъ! вѣдь все равно турки его растреплютъ— чего же тутъ! Еще хуже будетъ: слыхалъ, чай, какъ турки-то съ *ранеными* поступаютъ... ахъ, варвары, прахъ ихъ побери!

— И на это скажу: неправильно, въ предвидѣніи смерти чаемой, а быть-можетъ, и неизбѣжной, подвергать человѣка смерти опредѣлительной и неминуемой. Жестокой отвѣтственности за это подпасть можете.

— «Опредѣлительной» да «чаемой»! — не умеръ вѣдь! Отдышался!

Такъ-таки и не успѣлъ отецъ Николай довести моего амфитріона до чистосердечнаго раскаянія!

Въ заключеніе всего Иванъ Иванычъ пригласилъ меня съ собой въ Нижній, куда онъ ѣхалъ по торговымъ дѣламъ, и высадилъ ночью, соннаго, въ согласіи съ капитаномъ парохода, на пустынномъ берегу Волги. Такъ что я на другой день проснулся, томимый жаждою, подъ палящими лучами солнца и только отъ проходящихъ бурлаковъ узналъ, что нахожусь въ семи верстахъ отъ Кинешмы. Справедливость однако-жъ требуетъ сказать, что я нашелъ свой сакъ въ сохранности, и сверхъ того въ карманы моего пальто заботливою рукою г. Тр. были положены: булка, кусокъ колбасы и бутылка водки. Сверхъ того я нашелъ у себя въ боковомъ карманѣ сторублевый кредитный билетъ и записку слѣдующаго содержанія: «прощай, корреспондентъ!» Однако и этому доброму дѣлу онъ придалъ шутовскія формы, надѣлавшія мнѣ немало хлопотъ, а именно нарисовалъ на сторублевомъ билетѣ усы, такъ что когда я, придя въ Кинешму, хотѣлъ размѣнять ассигнацію на мелкія, то меня повели къ исправнику въ качествѣ обвиняемаго въ превратныхъ толкованіяхъ! Исправникъ же хотя и убѣдился моими объясненіями въ моей невинности, но все-таки отобралъ отъ меня сторублевку да, сверхъ того, и паспортъ, на случай, какъ онъ выразился, возникновенія обо мнѣ дѣла, и обязалъ меня подпискою увѣдомлять его каждонедѣльно о своемъ мѣстопребываніи! Вотъ каковы результаты моей поѣздки въ Рыбинскъ!

Замѣчательно легкомысліе людей, подобныхъ моему

бинскому амфитріону. Повидимому, они набожны, охотно ходятъ въ церковь, служатъ всенощныя, молебны и приносятъ значительныя пожертвованія на благолѣпіе храмовъ, а между тѣмъ никто легче ихъ не переходитъ отъ набожности къ самому циническому кощунству. Случай со мной, какъ меня уложили въ гробъ, служитъ тому очевиднымъ доказательствомъ. И я вполнѣ убѣжденъ, что Иванъ Иванычъ даже не понималъ, что онъ кощунствуетъ, а просто полагалъ, что это такая же «шутка», какъ и та, которую онъ дозволялъ себѣ, кормя меня ухою изъ «дохлой рыбы»!

Да, печальна участь русскаго корреспондента! *) Мало того, что онъ, подобно американскимъ піонерамъ, рискуетъ, изслѣдуя русскія дебри, быть растерзаннымъ дикими звѣрьми,—надъ нимъ еще всячески издѣваются люди, которымъ, по ихъ богатству и положенію, слѣдовало бы стоять на стражѣ отечественной культуры!

За все мое пребываніе въ Рыбинскѣ случилось одно только замѣчательное происшествіе: битва въ клубѣ, при чемъ враждующіе раздѣлились на двѣ партіи: одна подъ предводительствомъ моего принципала (въ этомъ же лагерѣ находился и я), другая — подъ предводительствомъ одного изъ здѣшнихъ сильныхъ міра, статскаго совѣтника Р. Враждующія стороны давно уже пикировались изъ-за первенства въ клубѣ и наконецъ на-дняхъ, во время выборовъ въ старшины, когда партія статскаго совѣтника была торжественно прокачена на вороныхъ, не выдержали. Генеральное сраженіе устроилось какъ-то совершенно внезапно. «Наши», по окончаніи баллотировки, преспокойно разсѣлись за карточные столы, какъ вдругъ развѣдчики донесли Тр., что въ непріятельскомъ лагерѣ происходитъ какое-то подозрительное движеніе. И дѣйствительно, статскій совѣтникъ совѣщался въ большой залѣ со своими аколитами и металъ глазами молніи. Убѣдившись, что нападеніе должно воспослѣдовать въ самомъ непродолжительномъ времени, «наши», не подавая вида, что подозрѣваютъ что-либо, про-

*) Печальна, правда, но вмѣстѣ съ тѣмъ и вполнѣ заслужена. Если мы желаемъ, чтобъ насъ уважали, необходимо, во-первыхъ, чтобъ мы сами выполняли принятыя нами добровольно обязанности честно и добросовѣстно, не ставя лицъ ни въ чемъ невиновныхъ въ затруднительное положеніе предъ подписчиками, а во-вторыхъ, чтобъ мы даже для выраженія чувствъ восторга пріискивали болѣе приличныя формы, а не впадали въ крайности, которыя позволяютъ, безъ нашего вѣдома, высаживать насъ на пустынный берегъ Волги!

Примѣч. редакціи газеты «Краса Демидрона».

должали сидѣть за картами, но между тѣмъ приготовлялись и разослали по домамъ за подкрѣпленіями. Но и за всѣмъ тѣмъ положеніе было очень и очень сомнительное, и если бы непріятель сдѣлалъ нападеніе немедленно (онъ самъ, повидимому, не былъ увѣренъ въ своихъ силахъ), то весьма возможно, что наше дѣло было бы проиграно навсегда.

Но въ этотъ вечеръ статскій совѣтникъ дѣлалъ промахъ за промахомъ. Во-первыхъ, онъ пропустилъ удобный моментъ; во-вторыхъ, допустилъ, что коллежскій совѣтникъ N и отставной ротмистръ Ж. ушли домой; и, въ-третьихъ, ворвался въ игральныя комнаты, не разсчитавъ, что мы были защищены игральными столами и вооружены подсвѣчниками. Результатъ былъ таковъ, какого и слѣдовало ожидать. Непріятель былъ смятъ въ нѣсколько мгновеній и бѣжалъ съ поля сраженія, съ трудомъ подобравъ своихъ раненыхъ. Съ нашей стороны потерь не было, но лицо Тр. оказалось до такой степени испещреннымъ разнообразными боевыми знаками, какъ будто по немъ проѣхали желѣзной бороной. Я также получилъ ушибъ въ лѣвое ухо и въ правую скулу, но награды себѣ за это не ожидаю *).

Еще особенность Рыбинска: тамошнія мѣщанки гораздо охотнѣе, нежели мѣщанки другихъ городовъ Ярославской губерніи, назначаютъ на бульварѣ любовные рандеву. Я самъ однажды, въ качествѣ любопытнаго, отправился, когда стемнѣло, на бульваръ и невольно вспомнилъ о Немировичѣ-Данченко. Только его чарующее перо можетъ достойно описать упоительную рыбинскую ночь среди группъ густолиственныхъ липъ, каждый листъ которыхъ полонъ сладострастнаго шопота! По увѣреніямъ старожиловъ, любовное предрасположеніе здѣшнихъ жителей происходитъ отъ того, что они питаются преимущественно рыбою (отсюда и самое названіе Рыбинскъ), которая, какъ извѣстно, заключаетъ въ себѣ много фосфора.

Я и самъ получилъ приглашеніе на рандеву отъ нѣкой Аннушки, но остерегся пойти, подозрѣвая въ этомъ новую шутку моего амфитріона. И дѣйствительно, я угадалъ: на

*) Сотрудникъ нашъ приложилъ при этомъ даже планъ дома, въ которомъ происходило сраженіе, съ обозначеніемъ расположенія враждующихъ сторонъ. Мы однако-жъ не воспроизводимъ этой карты на страницахъ нашей газеты и вновь убѣждаемъ г. Подхалимова 1-го, не увлекаясь посторонними предметами, немедленно слѣдовать къ мѣсту назначенія. *Примѣч. той же редакціи.*

другой день отецъ Николай сообщилъ мнѣ за тайну, что все это было устроено съ единственною цѣлью *помять мнѣ бока!*

Итакъ, я въ Варнавинѣ!.. *).

5 **).

Село Баки (между Варнавиномъ и Семеновомъ). Итакъ, я на Ветлугѣ; разскажу по порядку, какимъ образомъ это произошло.

Послѣ извѣстнаго вамъ рыбинскаго погрома, будучи высаженъ съ парохода на пустынный берегъ Волги, я достигъ наконецъ Кинешмы, гдѣ и пробылъ три дня, во-первыхъ, чтобъ отдохнуть, а во-вторыхъ, чтобъ покончить непріятное дѣло о превратныхъ толкованіяхъ, возникшее по поводу злополучной сторублевки, подаренной мнѣ купцомъ Тр.

Изъ Кинешмы я хотѣлъ отправиться по желѣзной дорогѣ въ Москву, дабы оттуда уже безостановочно ѣхать на Дунай и далѣе, но вмѣсто того попалъ на пароходъ, который нечувствительно привезъ меня въ Юрьевецъ. Бѣда была бы однако-жъ невелика, потому что я могъ бы доѣхать этимъ порядкомъ до Нижняго и все-таки, рано или поздно, добраться до Москвы; но въ Юрьевцѣ случился со мною новый казусъ. Тамъ, какъ вамъ, конечно, извѣстно, существуютъ двѣ пароходныя линіи: одна идетъ внизъ и вверхъ по Волгѣ на Нижній и Рыбинскъ; другая же уклоняется къ сѣверу и идетъ по рѣкѣ Унжѣ до Макарьева (костромского). Выйдя съ парохода погулять, я, ничего не подозрѣвая, попалъ, вмѣсто нижегородскаго парохода, на макарьевскій и, къ великому моему удивленію, на другой день утромъ очутился въ Макарьевѣ. Къ счастію, я имѣю привычку никогда не оставлять моего дорожнаго сака ни въ вагонахъ, ни въ пароходныхъ каютахъ, и потому всѣ вещи мои оказались налицо. Тѣмъ не менѣе, какъ я ни оправдывался передъ капитаномъ парохода и даже показывалъ ему билетъ, взятый на пароходѣ до Нижняго, но

*) На этомъ письмо обрывается. Оно не подписано г. Подхалимовымъ 1-мъ, но почеркъ его слишкомъ хорошо знакомъ намъ, чтобъ мы могли хотя на минуту усомниться въ принадлежности письма именно ему. *Примѣч. той же редакціи.*

**) На сей разъ мы даже не сопровождаемъ письма нашего корреспондента никакими комментаріями, предоставляя читателямъ самимъ разсудить, съ какимъ чувствомъ мы его помѣщаемъ. Письма г. Подхалимова становятся, впрочемъ, короче и короче, что отчасти утѣшаетъ насъ. *Примѣч. той же редакціи.*

меня все-таки заставили заплатить за мое невольное путешествіе отъ Юрьевца до Макарьева. Я даже подозрѣваю, что капитанъ, въ самый моментъ моего появленія на унженскій пароходъ, очень хорошо понималъ, что я попалъ туда ошибкою, но нарочно оставилъ меня въ заблужденіи, такъ какъ публики по унженской линіи ѣздитъ мало, и подобныя заблужденія, конечно, на руку компаніи. По крайней мѣрѣ, нѣкоторые пассажиры мнѣ сказывали, что такіе случаи здѣсь нерѣдки, особливо во время нижегородской ярмарки, когда купцы вообще дѣлаются особенно склонными впадать въ заблужденія.

Въ Макарьевѣ я пробылъ менѣе сутокъ, и такъ какъ былъ сильно утомленъ, то цѣлый день проспалъ и никакихъ городскихъ достопримѣчательностей осмотрѣть не могъ. Вечеромъ, впрочемъ, отправился въ мѣстный клубъ, но тутъ-то именно и случилось фатальное недоразумѣніе. Сторожъ потребовалъ отъ меня рекомендаціи кого-либо изъ членовъ, а я при этомъ требованіи неизвѣстно почему обробѣлъ. Тогда онъ началъ самымъ наглымъ образомъ настаивать, чтобъ я предъявилъ свой паспортъ, грозя, въ противномъ случаѣ, дать знать исправнику. Впослѣдствіи я узналъ, что эта необыкновенная щепетильность имѣетъ свою законную причину: незадолго передъ тѣмъ въ городѣ произошло нѣсколько пожаровъ, причину которыхъ относятъ къ поджогамъ. Слѣдовательно, теперь появленіе каждаго новаго лица въ городѣ поднимаетъ тревогу и возбуждаетъ подозрѣніе, не поджигатель ли. А такъ какъ у меня паспортъ былъ отобранъ еще въ Кинешмѣ, то, натурально, я не могъ ничего предъявить. Какъ бы то ни было, я долженъ былъ дать гривенникъ изъ собственныхъ своихъ, чтобъ только замять это дѣло, которое могло разыграться тѣмъ, что крикни только сторожъ—и разъяренная чернь меня, человѣка совсѣмъ невиннаго *), навѣрное разорвала бы на части!

Въ виду такой перспективы я, даже не возвращаясь на постоялый дворъ, поспѣшилъ выбраться изъ города и очутился на совершенно незнакомой мнѣ дорогѣ. Я шелъ наугадъ цѣлыхъ четыре дня, не зная, куда приведетъ меня звѣзда, ночевалъ большею частью въ стогахъ сѣна и питался ягодами, которыми, къ счастію, здѣшніе лѣса изобилуютъ. Но, ахъ! если бы вы знали, какіе это лѣса! Дремучіе,

*) Но пьянаго. *Примѣч. той же редакціи.*

торжественно молчаливые, наполненные всякаго рода птицей, звѣремъ и гадомъ! Изрѣдка только, въ перелѣскахъ, попадаются небольшія селенія, которыхъ я однако-жъ, какъ безпаспортный, старался избѣгать.

Но, сколько могу судить по мимолетнымъ моимъ наблюденіямъ, восторгъ по случаю войны и здѣсь не меньшій, нежели въ прочихъ мѣстахъ, гдѣ я до сихъ поръ былъ. По крайней мѣрѣ, одна старушка, къ которой я зашелъ въ избу, чтобъ хоть сколько-нибудь подкрѣпить свои силы горячей пищей (семья была въ это время на работѣ, и она домовничала), узнавъ, что я—корреспондентъ газеты «Краса Демидрона», не только накормила меня задаромъ прекраснѣйшей глазуньей-яичницей, но дала мнѣ на дорогу большую лепешку, которая сослужила мнѣ очень-очень большую службу въ дальнѣйшемъ путешествіи. Отъ нея же я узналъ, что деревня ихъ Варнавинскаго уѣзда и отстоитъ отъ Варнавина въ сорока верстахъ. Пользуясь этимъ случаемъ, я вздумалъ кстати собрать нѣсколько небезполезныхъ этнографическихъ данныхъ, которыя могли бы мнѣ послужить матеріаломъ для характеристики этой мѣстности, и съ этою цѣлью вступилъ въ разговоръ со старушкой.

— Ну, милая старушка,—сказалъ я:—за хлѣбъ за соль благодарю, а все-таки попрошу тебя и еще одну службушку мнѣ сослужить.

— Какую, кормилецъ?

— Разскажи ты мнѣ, какіе тутъ у васъ есть нравы и обычаи?

— Какимъ у насъ, кормилецъ, обычаямъ быть? Извѣстно, лѣтомъ работаемъ, весною работаемъ, осенью работаемъ, зимою работаемъ—вотъ и всѣ наши обычаи здѣшніе.

Болѣе этого я узнать такъ-таки ничего и не могъ, и какъ ни старался втолковать доброй женщинѣ, что слово «обычай» означаетъ «игры», «пѣсни», «обряды свадебные и похоронные» и проч., но она уперлась на своемъ, что никакихъ обычаевъ у нихъ нѣтъ, кромѣ одного: и лѣтомъ, и зимой, и осенью, и весной — всѣ работаютъ. Къ довершенію всего, когда я собрался въ путь, она бросилась мнѣ въ ноги и стала умолять, чтобъ я попомнилъ ея хлѣбъ-соль и не «трогалъ» ихъ деревни. Представьте! она приняла меня за поджигателя!

Ровно черезъ сутки я очутился въ виду Варнавина, да *и пора была,* потому что ноги у меня ужасно отекли и

распухли. Варнавинъ — довольно чистенькій городокъ на Ветлугѣ, при впаденіи въ нее Лапшанги. Я пришелъ туда хотя подъ вечеръ, но еще не поздно; однако на улицахъ было до того пустынно, что самые дома, въ изумленіи, что раздались чьи-то шаги, казалось, спрашивали: кто здѣсь блуждаетъ? Насилу нашелъ постоялый дворъ; разумѣется, сейчасъ же снялъ сапоги, напился сквернѣйшаго чаю и заснулъ, какъ убитый. На другой день, проснувшись довольно рано, хотѣлъ осмотрѣть достопримѣчательности города—не тутъ-то было! Представьте! и здѣсь на-дняхъ было нѣсколько пожаровъ, и здѣсь ходятъ слухи о поджогахъ, такъ что внезапное появленіе мое пѣшкомъ и неизвѣстно откуда окончательно всполошило и полицію, и обывателей. И вотъ, въ то самое время, какъ я писалъ мое предыдущее письмо къ вамъ, вдругъ возникъ вопросъ о паспортѣ, и я вновь долженъ былъ мгновенно исчезнуть... что я и сдѣлалъ, оставивъ на столѣ два двугривенныхъ для расплаты съ хозяиномъ за постой.

Вотъ почему мое послѣднее письмо къ вамъ осталось неподписаннымъ, а совсѣмъ не потому, чтобъ я былъ *нездоровъ*, какъ вы, быть-можетъ, предположили. Люди вообще склонны дѣлать слишкомъ скорыя заключенія въ ущербъ своимъ ближнимъ, а редакторы газетъ въ особенности. Но опытъ доказываетъ, что очень часто подобныя заключенія оказываются не только преждевременными, но даже и вполнѣ неосновательными!

Итакъ, я въ самомъ центрѣ Ветлужскаго края. Баки— довольно большое село, стоящее на крутомъ берегу рѣки Ветлуги. Здѣсь дорога изъ Семенова (Нижегородской губерніи) развѣтвляется: одна вѣтвь идетъ на сѣверъ, чрезъ Варнавинъ до города Ветлуги, а можетъ-быть, и дальше, другая—поворачиваетъ на востокъ, на Яранскъ и Вятку. Баки принадлежали прежде... *).

6.

Отъ редакціи газеты «Краса Демидрона». Сегодня мы опять получили телеграмму отъ нашего дунайскаго корреспондента, весьма странную телеграмму, которую однако-жъ не считаемъ нужнымъ скрывать отъ нашихъ читателей, дабы они могли видѣть сами, какими неожиданными ре-

*) И это письмо не подписано... вѣроятно, тоже по случаю паспорта!? *Примѣч. той же редакціи.*

зультатами увѣнчались наши старанія удовлетворить справедливымъ требованіямъ публики, по случаю настоящихъ военныхъ обстоятельствъ. Вотъ эта телеграмма:

Козьмодемьянскъ. 20-го іюля. Наши войска перешли за Балканы. Ура генералу Гурко! Всеобщій восторгъ. Пью за ваше здоровье, Аннушка (не понимаемъ!). Кажется, успѣлъ напасть на слѣды Подхалимова 2-го, который три дня тому назадъ былъ здѣсь. Подробности почтою.

Подхалимовъ 1-й.

Такимъ образомъ, есть признаки, свидѣтельствующіе, что и малоазіатскій нашъ корреспондентъ совсѣмъ не попалъ въ плѣнъ, какъ мы первоначально полагали, а просто-напросто запутался въ Чебоксарахъ... Будемъ ожидать дальнѣйшихъ разъясненій!

7.

Васильсурскъ. Я вышелъ изъ Баковъ съ такой поспѣшностью, что птицы дивились быстротѣ моихъ ногъ. Представьте! оказалось, что хотя въ Бакахъ и не было въ настоящемъ году пожаровъ, но такъ какъ таковые были во всѣхъ ближайшихъ селеніяхъ, то у меня до такой степени настоятельно потребовали паспорта, что я долженъ былъ скрыться, не допивъ стакана чаю, лишь бы не быть арестованнымъ!

Хотя изъ Баковъ идетъ прямая дорога на Семеновъ, но я предпочелъ слѣдовать берегомъ рѣки Ветлуги, тѣмъ больше, что незадолго передъ тѣмъ прочиталъ романъ Печерскаго «Въ лѣсахъ» и зналъ, что этимъ путемъ попаду въ село Воскресенское, гдѣ могу полакомиться отмѣнными ветлужскими стерлядями. Я не стану описывать восторговъ, происходящихъ въ этой мѣстности по случаю военныхъ обстоятельствъ: они вездѣ одинаковы. Замѣчу однако-жъ, что все описанное г. Печерскимъ въ его романѣ я нашелъ здѣсь налицо и въ полной исправности. Не успѣлъ я пройти нѣсколько верстъ отъ Баковъ, какъ на меня напала «стрека» и чуть не заѣла. Изъ Воскресенскаго, наѣвшись до-отвала въ тамошнемъ трактирѣ отличнѣйшей стерляжьей ухи, зашелъ въ женскій раскольничій скитъ, гдѣ нашелъ все совершенно такъ, какъ описывается у г. Печерскаго. Въ горницахъ «матери» угощаютъ макарьевскаго исправника провѣсной бѣлорыбицей и переславскими копченными сельдями, а въ это время въ подпольѣ сидитъ ста-

рецъ и дѣлаетъ фальшивыя ассигнаціи. И меня приглашали заняться этимъ выгоднымъ ремесломъ, но я, понимаете, отказался и, поѣвъ въ келарнѣ пухлыхъ скитскихъ блиновъ, отправился далѣе.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается»—эта пословица съ буквальною точностью осуществилась на мнѣ. Цѣлыхъ двѣ недѣли бродилъ я по Ветлугѣ, но гдѣ бродилъ и что видѣлъ—хоть убейте, сказать не могу. Знаю, что видѣлъ множество мѣстъ, укрѣпленныхъ самою природою, и безчисленное количество болотъ, которыя тоже могутъ служить отличнѣйшею защитою. И больше—никъ!

Странное свойство этой мѣстности! Еще про покойнаго П. И. Якушкина разсказывали, что онъ цѣлыхъ два года ходилъ по Ветлугѣ, въ качествѣ собирателя этнографическихъ матеріаловъ, и, когда его впослѣдствіи спрашивали, что онъ замѣтилъ, онъ отвѣчалъ: «забылъ!» То же самое повторилось и со мною. Гдѣ былъ, что видѣлъ, объ чемъ говорилъ—ничего не помню! Хотя же выше я и написалъ вамъ о «стрекѣ» и о воскресенскихъ стерлядяхъ и о житьѣ-бытьѣ въ скитахъ, но не могу ручаться, что все это было на дѣлѣ, а не есть послѣдствіе недавняго прочтенія романа «Въ лѣсахъ». Однимъ словомъ, Ветлуга—это наша русская Лета, въ волнахъ которой никому безвозбранно окунуться не дозволяется.

Наконецъ я дошелъ до Волги, сѣлъ на пароходъ, и на сей разъ удачно, потому что попалъ не въ Козьмодемьянскъ, а въ Васильсурскъ, то-есть прямо по направленію къ дунайскому театру войны, отъ котораго до сихъ поръ такъ настойчиво отдаляли меня тысячи мелкихъ случайностей. Я знаю, что мнѣ слѣдовало бы ѣхать прямо въ Нижній (тѣмъ болѣе, что тамъ началась уже ярмарка, и въ Кунавинѣ можно было бы собрать громадный матеріалъ для бытовыхъ сценъ), но что хотите! отецъ Николай сказалъ правду, что плоть человѣческая немощна; я вспомнилъ о знаменитыхъ сурскихъ стерлядяхъ и рѣшился побывать въ Василѣ... впрочемъ, только отъ парохода до парохода *).

Васильсурскъ—очень хорошенькій городокъ, стоящій на возвышенномъ берегу Волги, при сліяніи ея съ Сурой, отъ чего произошло самое наименованіе его. По календарю Су-

*) Отчего-жъ не подольше? *Примѣч. той же редакціи.*

ворина въ немъ значится жителей 2.507 душъ обоего пола, но мнѣ кажется, что я въ однихъ трактирныхъ заведеніяхъ насчиталъ въ разное время больше (впрочемъ, очень возможно, что это были одни и тѣ же лица, приходившія пить чай по нѣскольку разъ). На столбѣ, врытомъ у почтовой станціи, значится: отъ С.-Петербурга 1.186, отъ Москвы 582, отъ Нижняго-Новгорода 112 верстъ. Плата за телеграммы взимается въ обѣ столицы одинаковая: одинъ рубль; но международной корреспонденціи нѣтъ, такъ что, если бы вамъ вздумалось, напримѣръ, телеграфировать мнѣ по-французски, то, извините, мы этого діалекта не понимаемъ! Еще особенность Васильсурска: онъ лежитъ подъ 56°8′ сѣверной широты и подъ 63°40′ восточной долготы. Будущность, ожидающая этотъ городъ, — громадная, особливо когда проведутъ отсюда желѣзный путь до Алатыря (Самарской губерніи), а отсюда, черезъ Котяковъ, до Пензы. Тогда весь хлѣбъ сурскаго бассейна пойдетъ сюда, и моршанско-сызранской дорогѣ — капутъ; такъ, по крайней мѣрѣ, при мнѣ говорили посѣтители трактира, въ которомъ я ѣлъ знаменитую сурскую уху.

Какъ вашъ корреспондентъ, я счелъ нелишнимъ представиться здѣшнему инвалидному начальнику, который очень любезно меня принялъ, представилъ меня своей супругѣ и показалъ свою команду *). Ахъ, что̀ это за бравый, бодрый, отличный народъ! Всѣ (ихъ было пять человѣкъ)**) какъ на подборъ одинъ къ одному—молодцы! Коренастые, кровь съ молокомъ—заглядѣніе! Поздоровавшись съ ними какъ слѣдуетъ (начальникъ ***) показывалъ мнѣ ихъ въ манежѣ), я обратился къ нимъ съ вопросомъ:

— А что̀, ребята, горите желаніемъ сразиться съ врагомъ?

— Га-а-рр-ы-имъ, ваше калеспандентное ва-ше-ство!— грянули въ отвѣтъ молодцы, какъ изъ пушки.

— И скоро вы выступаете въ походъ?—обратился я къ начальнику.

---

*) Вотъ до чего велико невѣжество нашего корреспондента: онъ не знаетъ даже, что инвалидныя команды давно упразднены. Впрочемъ, для насъ это дѣло ясное: вѣроятно, г. Подхалимовъ 1-й опять попалъ въ гости къ новому Ивану Иванычу Тр., и тотъ показалъ ему, подъ видомъ инвалидной команды, своихъ переодѣтыхъ приказчиковъ! — *Примѣч. той же редакціи.*

**) Такъ и есть, приказчики. Слыханное ли дѣло, чтобъ инвалидная команда состояла всего-на-все изъ пяти человѣкъ? — *Тоже.*

***) То-есть васильсурскій Иванъ Иванычъ Тр., и не въ манежѣ, конечно, а въ какомъ-нибудь сараишкѣ.—*Тоже.*

— Какъ скоро, такъ сейчасъ!—отвѣтилъ онъ мнѣ.

Итакъ, въ походъ. Мы еще не за Балканами, но съ такими молодцами будемъ тамъ скоро; это не подлежитъ никакому сомнѣнію *). Возвращаясь изъ манежа домой, мы были застигнуты въ дорогѣ такимъ проливнымъ дождемъ, что буквально на насъ не осталось ни одной сухой нитки. Къ тому же порядочно уже стемнѣло, и грязь на улицахъ сдѣлалась непролазная (здѣсь начало черноземной полосы, этого неисчерпаемаго золотого дна Россіи). Къ несчастію, я еще упалъ, и такимъ образомъ, измокшіе, всѣ въ грязи, мы явились обратно. Миловидная супруга начальника очень смѣялась, увидя насъ въ этомъ непривлекательномъ видѣ, но амфитріонъ мой сердито замѣтилъ:

— Чѣмъ смѣяться-то, лучше бы велѣла подать гостю сухое бѣлье!

Черезъ нѣсколько минутъ я былъ уже переодѣтъ: въ сухомъ бѣльѣ и турецкомъ халатѣ. Въ этомъ видѣ любезный начальникъ повелъ меня къ своей супругѣ (я протестовалъ, но онъ такъ убѣдительно просилъ не церемониться, что я вынужденъ былъ покориться), которая, увидѣвъ меня въ моемъ импровизированномъ костюмѣ, сейчасъ же прозвала меня злымъ туркомъ, а потомъ, когда хозяинъ дома на минуту отлучился изъ комнаты, потихоньку сказала мнѣ, что это халатъ ея мужа, и что я въ немъ такъ похожъ на него, что... Къ сожалѣнію, она не докончила, потому что въ эту минуту вошелъ слуга съ самоваромъ.

Налили чай, въ который я, для вкуса, подбавилъ рюмочку рома **), и затѣмъ бесѣда наша попла далеко за ночь. Обсуждали военныя дѣйствія, сперва на малоазіатскомъ театрѣ, потомъ на дунайскомъ, и, по совѣсти, нашли болѣе поводовъ для одобренія, нежели для порицанія. Впрочемъ, вы и сами по опыту знаете, какое живительное вліяніе оказываютъ на бесѣду во-время и у мѣста проглоченныя двѣ-три рюмки ямайскаго! ***).

Въ заключеніе гостепріимный хозяинъ велѣлъ сервировать скромную закуску и двѣ полубутылочки холоднькаго ****), которыя мы и роспили за здоровье храбрыхъ русскихъ воиновъ.

---

*) Ужъ давно тамъ... пьяница—!*Прим. тои же редакціи.*

**) Не десять ли?—*Тоже.*

***) Отъ роду, кромѣ квасу, ничего не пивали!—*Тоже.*

****) Не двадцать ли двѣ, и притомъ не шампанскаго, а ерофеича?—*Тоже.*

Когда я всталъ наконецъ, чтобъ проститься, мой амфитріонъ крѣпко пожалъ мнѣ руку и просилъ не забывать его. На это я отвѣтилъ, что корреспонденты никогда ни одного проглоченнаго куска не забываютъ, и сослался на примѣръ малоазіатскаго корреспондента «Сѣвернаго Вѣстника», который передъ лицомъ всей Россіи далъ клятву вѣчно хранить благодарное воспоминаніе о радушномъ пріемѣ, оказанномъ ему кутаисскимъ бомондомъ. Еще бы! кормили шемаей, поили кахетинскимъ — и это забыть!

Да, воспоминаніе о Васильсурскѣ будетъ до гроба жить въ моемъ благодарномъ сердцѣ! Во-первыхъ, отъ меня не потребовали паспорта, а во-вторыхъ, не только не «пошутили» надо мной *), но обласкали и накормили меня совершенно серьезно, какъ слѣдуетъ. Согласитесь, что это не вездѣ и не со всякимъ бываетъ!

Возвратясь на постоялый, засѣлъ за корреспонденцію, но, признаюсь, до того усталъ, что дальше продолжать не могу: совсѣмъ глаза слипаются. Прощайте; иду спать, и, навѣрное, засну, какъ убитый. Но завтра, въ пять часовъ утра — въ Нижній! и на этотъ разъ уже вѣрнѣе смерти **).

Подхалимовъ 1-й.

P. S. Чтобъ окончательно успокоить васъ насчетъ непремѣннаго моего отъѣзда въ Нижній, спѣшу прибавить, что самъ здѣшній представитель военной власти взялся устроить мнѣ мѣсто на пароходѣ, отправляющемся въ пять часовъ. За часъ передъ отплытіемъ онъ пришлетъ на постоялый одного изъ своихъ юныхъ героевъ, чтобъ разбудить меня. Слѣдовательно, вы можете быть спокойны: все заранѣе такъ комбинировано, что я даже проспать не могу. Развѣ что сонъ какой-нибудь черезчуръ ужъ веселый увижу—въ родѣ, напримѣръ, того, что вы рѣшились копейку на строчку прибавить мнѣ... Но нѣтъ — этого даже и во снѣ не увидать!

---

*) А мы такъ крѣпко въ томъ сомнѣваемся, хотя, конечно, шутки васильсурскаго Ивана Иваныча носятъ болѣе гуманный характеръ, нежели шутки Ивана Иваныча — рыбинскаго.

Прим. той же редакціи.

**) Поѣхалъ въ Нижній, а попалъ въ Козьмодемьянскъ, какъ доказываетъ вчерашняя телеграмма, извѣщающая о переходѣ черезъ Балканы. Посмотримъ, чѣмъ-то кончится эта новая Одиссея?! — *Тоже.*

8*).

Чебоксары. Даже не извиняюсь передъ вами, — надоѣло. Вчерашній амфитріонъ мой, вѣроятно, разсудилъ, что черезъ Васильсурскъ можно ѣхать только на малоазіатскій театръ войны, и потому взялъ билетъ на пароходѣ, идущемъ въ Казань. А я не справился, — вотъ и вся моя вина! Знаю, что подобныя qui pro quo не всегда умѣстны, но на практикѣ они бываютъ очень назидательны. Ѣдешь часъ, ѣдешь другой, думаешь: вотъ сейчасъ будетъ Лысково—и вдругъ Козьмодемьянскъ! Удивительный переворотъ въ мысляхъ производятъ подобныя неожиданности!

Однако въ сторону все это. Главное: я отыскалъ *Подхалимова 2-го.*

Вотъ какъ было дѣло. Узнавъ на пароходѣ, что наши перешли черезъ Балканы, я воспользовался остановкой въ Козьмодемьянскѣ, чтобъ подѣлиться съ вами этою радостью. Прихожу на телеграфную станцію, подаю телеграмму, настаиваю, чтобъ ее поставили на аппаратъ немедленно, при мнѣ,— и вдругъ телеграфистъ говоритъ мнѣ:

—А вчера точь-въ-точь такую телеграмму и въ ту же газету подавалъ у насъ одинъ господинъ.

Разумѣется, интересуюсь, разспрашиваю и получаю въ отвѣтъ: черноватенькій (онъ!), небольшого роста (онъ!), шадровитый изъ лица (тысячу разъ онъ!).

— И чудной господинъ!—прибавляетъ телеграфистъ:— точно во снѣ ходитъ (опять-таки онъ!). Подалъ это телеграмму и говоритъ: «Зачѣмъ я однако въ Козьмодемьянскъ пріѣхалъ?»—Вамъ, говорю, лучше это знать!—«Да въ Чебоксарахъ вѣдь есть своя телеграфная станція?» — Есть, говорю. — «Ну, такъ, говоритъ, лучше изъ Чебоксаръ отправлю». Взялъ назадъ и уѣхалъ**).

Онъ! онъ! онъ! Въ Чебоксарахъ — это вѣрно!

---

*) Мы безпрерывно получаемъ письма отъ нашихъ подписчиковъ, въ которыхъ послѣдніе укоряютъ насъ за то, что мы, вмѣсто дѣйствительныхъ извѣстій съ театра войны, печатаемъ какую-то фантастическую дребедень. Просимъ однако-жъ войти въ наше положеніе. Въ свое время мы сдѣлали всѣ зависящія распоряженія, чтобъ получать самыя свѣжія и точныя свѣдѣнія съ обоихъ театровъ войны, и, положа руку на сердце, можемъ сказать, что не щадили при этомъ ни трудовъ, ни издержекъ. Предпріятіе это намъ не удалось — это правда; но нужно же намъ вознаградить себя хотя за понесенныя издержки, не говоря уже о трудахъ!!! — *Прим. той же редакціи.*

**) Вотъ до чего можетъ довести неумѣренное употребленіе алкоголя!—*Тоже.*

Покуда я такимъ образомъ бесѣдовалъ, нашъ пароходъ ушелъ, но я уже не жалѣлъ о потерянныхъ деньгахъ за мѣсто, взятое до Казани, и думалъ лишь о томъ, какъ бы съ будущимъ пароходомъ опять не вышло ошибки, и мнѣ, вмѣсто Чебоксаръ, не пришлось воротиться въ Васильсурскъ!

На этотъ разъ однако обошлось благополучно. Проходитъ два часа—и Чебоксары уже въ виду. Пристаемъ; я выхожу на берегъ и слѣшу въ первый попавшійся на глаза трактиръ.

— Подхалимовъ 2-й! ты?

— Я!

— Какими судьбами? У родственниковъ, что ли, загостился? Помнится, ты говорилъ, что у тебя въ Чебоксарахъ родные живутъ? *).

— Какіе, братъ, къ чорту, родственники! развѣ у Подхалимовыхъ бываютъ родственники!

Слова эти опечалили меня. Горемычные мы, Подхалимовы, въ самомъ дѣлѣ, люди! Безъ роду, безъ племени (все-то мы растеряли!), шатаемся изъ трактира въ трактиръ, разыскивая, гдѣ бы хоть крошечку пріютиться! Выйдетъ мѣстечко — не успѣешь и оглянуться, смотришь — и опять чѣмъ-нибудь не потрафилъ! Неуживчивы мы, мятежа въ насъ много — вотъ оно что! Но, съ другой стороны, кабы не было этого мятежа — что бы поддерживало насъ? Вотъ и вы, поди, теперь думаете: безпремѣнно я этому Подхалимову 1-му, за его неисправности, отъ мѣста откажу! Что-жъ! откажите! **).

— Что же такое случилось? деньги, что ли, потерялъ?

— Деньги потерялъ, паспортъ потерялъ—это само собой! А главное, штучка у меня тутъ завелась.

— Гм!.. штучка! Интересно, братъ, интересно!

— Да что! бестія, братъ! то-есть такая выжига, что Боже упаси!

— Какъ же ты на нее напалъ?

— А знаешь Василія, который въ гостиницѣ «Москва» половымъ служилъ, ну, такъ это—его сестра. Самъ-то онъ изъ черемисъ, а Чебоксары, это — столица черемисская. Когда я отправился подъ Карсъ-то, вотъ онъ и говоритъ мнѣ: «будете, говоритъ, помимо нашихъ мѣстовъ ѣхать,

*) И насъ въ томъ удостовѣрилъ, а на повѣрку выходитъ, что имѣлъ въ предметѣ прелюбодѣяніе!—*Прим. той же редакціи.*

**) И откажемъ! И не только Подхалимову 1-му, но и Подхалимову 2-му! Въ этомъ читатели наши и сомнѣваться не должны!—*Тоже.*

такъ потрудитесь сестрицѣ писемцо да пять рублей денегъ отдать...»

— Что-жъ, хороша, по крайней мѣрѣ?

— Разсыпчатая!

— Дѣвица?

— Замужемъ. И сама бестія, и мужъ шельма. Засталъ я ихъ въ лачугѣ, съ голоду мрутъ, а теперь—распивочную продажу открыли!

— Эге! такъ вотъ куда корреспондентское содержаніе-то ушло! *).

— Туда. Сперва всѣ наличныя изъ меня высосали, а потомъ и векселя въ ходъ пошли. Сколько я этихъ векселей надавалъ — страсть!

— Ничего, другъ, Богъ милостивъ! Напишемъ въ редакцію «Красы Демидрона» слезное прошеніе—выручатъ! **).

Однако онъ усомнился въ этомъ и сталъ доказывать, что редакція нисколько не причастна его злоключеніямъ; что она и безъ того не щадила ни трудовъ, ни издержекъ, чтобъ удовлетворить справедливымъ требованіямъ публики, и что, слѣдовательно, было бы въ высшей степени несправедливо привлекать ее къ отвѣтственности по такому дѣлу, которое не подходитъ прямо къ программѣ газеты, какъ изданія литературнаго, политическаго и ассенизаціоннаго, но не прелюбодѣйственнаго. Я, конечно, не могъ внутренно не согласиться съ его доводами, но все-таки, чтобъ окончательно не обезкуражить его, нѣкоторое время поддерживалъ мой тезисъ, хотя, признаюсь, довольно слабо.

— Но, по крайней мѣрѣ, ты хоть пожуировалъ! — наконецъ сказалъ я, чтобъ перемѣнить разговоръ, принимавшій черезчуръ печальное направленіе. — Вѣдь эти «штучки», коли онѣ захотятъ... секретцы у нихъ.

— Ни-ни! — воскликнулъ онъ съ необыкновенною живостью.

Я былъ ошеломленъ.

— Ну, братъ, это ужъ совсѣмъ глупо!

— Въ томъ-то и дѣло, что изгибы человѣческаго сердца... очень, братъ, это мудреная штука! — отвѣчалъ онъ печально:—она-то, повидимому, не прочь, да бестія мужъ

---

*) Да-съ, вотъ оно куда! Мы не щадимъ ни трудовъ, ни издержекъ, имѣя въ виду полезныя цѣли, а вмѣсто того наши деньги оказываются косвеннымъ орудіемъ для приведенія въ исполненіе постыдныхъ предпріятій!—*Примѣч. той же редакціи.*

**) Непремѣнно! послѣ дождичка въ четвергъ! — *Тоже.*

такъ и вертится... А впрочемъ, можетъ-быть, и она... Шельмы они оба: это — вѣрнѣе!

Мы умолкли: обоимъ намъ было тяжело. Ему — потому, что встрѣча со мной заставила его опомниться и обнаружила во всей наготѣ пропасть, зіявшую подъ его ногами; мнѣ—потому, что и надо мной начинали тяготѣть смутныя предчувствія чего-то недобраго.

— Сколько-нибудь однако осталось у тебя денегъ? — первый я прервалъ молчаніе.

Вмѣсто отвѣта онъ выложилъ на столъ желтенькую и, обращаясь къ служителю, скомандовалъ:

— Гарсонъ! полштофа очищенной... живо!

Это былъ крикъ отчаянія, который меня глубоко взволновалъ.

— Спрячь этотъ послѣдній рессурсъ!—вскричалъ я: —я плачу за все! И сверхъ того... могу даже рубликовъ двадцать пять удѣлить тебѣ... идетъ?

Онъ крѣпко пожалъ мою руку.

— Извини, что не больше, самъ знаешь, впереди предстоитъ еще Дунай — дорога не близкая!

Но онъ только горько усмѣхнулся въ отвѣтъ и запѣлъ:

— Ахъ, Дунай ты мой, Дунай!
Сынъ Ивановичъ Дунай!

— Погодимъ, братъ, и въ Чебоксарахъ!—прибавилъ онъ съ фаталистическою увѣренностью поклонника ислама.

— Ну, нѣтъ, другъ, это — ни-ни! Я тово... я — непремѣнно! Нынче же ночью, вотъ только дождусь парохода— и сейчасъ! И прямо такъ-таки, нигдѣ не останавливаясь,— на Дунай! *).

Увѣренный тонъ, которымъ я выразилъ мое намѣреніе, повидимому, ободрилъ и его.

— А семъ-ка и я въ Малую Азію хвачу!—воскликнулъ онъ весело:—авось-либо до Самары доѣду!

— Хватимъ, другъ!

Увы! Это было только «плѣнной мысли раздраженье»! Черезъ минуту онъ уже опять опустилъ голову.

— Нѣтъ, голубчикъ! — сказалъ онъ уныло: — теперь мнѣ остается объ одномъ Бога молить: чтобъ меня отсюда куда-ни-на-есть по этапу выслали **). Да куда выслать-то—

---

*) Не трудитесь, сдѣлайте милость! Лучше въ Кишеневу съѣздите да паспортъ выручите!—*Примѣч. той же редакціи.*

**) Такъ непремѣнно и будетъ.—*Тоже.*

вотъ вопросъ! Гдѣ моя родина? Гдѣ мое мѣстожительство? Въ «Старомъ Пекинѣ»? Въ гостиницѣ «Москва»? Вотъ ужъ подлинно: бѣгаемъ мы, корреспонденты, и «града невѣдомаго взыскуемъ»!

— Кстати! скажи, пожалуйста, какъ это ты паспортъ потерялъ?

— Да такъ вотъ: купаться въ Волгѣ вздумалъ. Признаться, выпито нѣсколько было,—вотъ и приди мнѣ въ голову дикая мысль: украдутъ, молъ, у тебя этотъ самый паспортъ, ежели ты его на берегу оставишь! Ну, раздѣлся, положилъ его подъ мышку да какъ поплылъ — совсѣмъ и забылъ; смотрю, въ сторонѣ какая-то бумажка плыветъ! Анъ это онъ и былъ! Исправникъ ужъ разъ десятокъ присылалъ, никакихъ резоновъ не принимаетъ — навѣрнякъ этапомъ кончится! Впрочемъ, что все обо мнѣ да обо мнѣ— ты какъ, вмѣсто Дуная, въ Чебоксары попалъ?

Я разсказалъ подробно все, что вамъ уже извѣстно изъ моихъ писемъ. Исторія вышла тоже невеселая, но нѣкоторымъ эпизодамъ ея мы все-таки искренно посмѣялись *). Когда я кончилъ, онъ сравнилъ мое положеніе съ своимъ (относительно редакціи «Красы Демидрона») и нашелъ, что я все-таки могу оправдаться передъ редакціей довольно прилично **).

— Ты, по крайности, все-таки какую-ни-на-есть корреспонденцію посылалъ — сказалъ онъ: — тогда какъ я... Вѣдь я, братъ, даже вѣсточкой о взятіи Ардагана не подѣлился!

— Неужто?

— Да, братъ. То-есть я-то собственно не преминулъ, да она... шельма! «Позвольте, говоритъ, я сама на станцію снесу...» А послѣ оказалось, что и телеграммы не послала, да и цѣлковый мой рубль какъ пить далъ!

— Такъ знаешь ли что? Право, уѣдемъ отсюда вмѣстѣ! Я тебя до Самары провожу, потому что мнѣ все равно: я и черезъ Моршанскъ по желѣзной дорогѣ на Дунай попаду! Ѣдемъ! Прямо вотъ изъ трактира пойдемъ на берегъ, и какъ только причалитъ пароходъ—фьють!

Онъ на минуту задумался, но потомъ — только рукой махнулъ.

---

*) Веселые люди! даже въ столь несомнѣнно критическихъ обстоятельствахъ—и то находятъ поводъ для смѣха!—*Примѣч. той же редакціи.*

**) Никогда! Lasciate ogni speranza.—*Тоже.*

— Нѣтъ, братъ, alea jacta est! Пускай свершится! А вотъ что лучше: не раздавимъ ли вмѣстѣ еще посудинку?

Сначала я было-согласился, но потомъ вспомнилъ, что вы будете, пожалуй, сердиться, если узнаете объ этомъ,— и отказалъ наотрѣзъ *).

— Ну, въ такомъ случаѣ, пойдемъ ко мнѣ!—предложилъ онъ:—я тебя съ нею познакомлю...

Признаюсь откровенно: искушеніе было велико. Я люблю женскій полъ и съ трудомъ отказываю себѣ въ сближеніи съ нимъ, если представляется къ тому случай... Но голосъ разсудка и на сей разъ восторжествовалъ. Я вспомнилъ, какъ вы, отпуская насъ на театръ войны, настаивали, чтобъ мы не задерживались на пути безъ надобности,—и дрогнулъ. Къ тому же я разсчиталъ, что деньги, данныя вами, еще всѣ налицо, да пожалуй еще, благодаря щедрости Ивана Ивановича Тр., и небольшой прибавочекъ есть, и ужаснулся при мысли, что такая сравнительно значительная сумма, безъ всякой пользы для «Красы Демидрона», утонетъ въ зіяющей безднѣ разврата! **)

Онъ угадалъ мои мысли и одобрительно покачалъ головой.

— Ты поступаешь правильно,—сказалъ онъ, вставая:— исполни свой долгъ передъ «Красой Демидрона», а меня предоставь моей злосчастной участи!

— Бѣдный другъ!

Я отсчиталъ ему обѣщанные двадцать пять рублей, прибавилъ еще отъ себя пятирублевку, послѣ чего онъ взялъ шапку и удалился. Затѣмъ я потребовалъ себѣ отдѣльную комнату, чтобъ заняться корреспонденціей; но едва лишь расположился писать, какъ онъ опять возвратился въ трактиръ.

— Возьми назадъ свои двадцать пять рублей, съ меня и синюги довольно!—сказалъ онъ, по-рыцарски кладя деньги на столъ.

Я, разумѣется, протестовалъ, но онъ остался непоколебимъ.

— Все равно, сколько бы у меня ни было денегъ—ихъ отнимутъ!—повторялъ онъ уныло.

Благородный, честный другъ! Высказавши все это, онъ

*) Ахъ, господа, господа! Не въ томъ дѣло, что вы при свиданіи выпили. И выпить, и закусить можно, да въ мѣру, въ мѣру, въ мѣру!— *Примѣч. той же редакціи.*

**) Насилу-то догадались!—*Тоже.*

быстро повернулся и направился къ двери, но на сей разъ я самъ уже воротилъ его.

— Позволь! разскажи мнѣ, каково здѣсь народное настроеніе?—спросилъ я.

— Восторгъ всеобщій!

— А здѣшняя инвалидная команда? надежна?

— Молодцы! одинъ къ одному, какъ на подборъ! Не крупные, но коренастые, кровь съ молокомъ — заглядѣніе! Такъ и рвутся!

Онъ постоялъ немного и съ горькой усмѣшкой прибавилъ:

— А вотъ мы съ тобой—свиньи!

— Это почему?

— То-есть, не мы одни, а вообще... Сидимъ въ укромномъ мѣстѣ, галдимъ: ату его! ребятушки! не выдавайте! Гнусно, любезный другъ!

— Ну, нѣтъ, съ этимъ я не согласенъ! Природа поступила мудро, предоставивъ однимъ возбуждать патріотическій духъ, а другимъ—примѣнять этотъ духъ на практикѣ!

— Ладно, братъ! Разсказывай по понедѣльникамъ!

На этомъ мы разстались. Я сошелъ съ крыльца, чтобъ проводить его, и долго слѣдилъ глазами, какъ постепенно утопала его колеблющаяся фигура во мракѣ сгустившейся ночи, а наконецъ и совсѣмъ пропала за угломъ сосѣдняго переулка.

«Благородный, бѣдный другъ! — говорилъ я себѣ: — ты просишь у судьбы, какъ милости, чтобъ тебя отправили по этапу—и кто знаетъ? Можетъ-быть, вскорѣ получишь желаемое!»

Послѣ того я окончательно усѣлся за писаніе, но долгое время воспоминаніе о погибающемъ русскомъ корреспондентѣ преслѣдовало меня *). Знаю, что слѣдовало бы сказать что-нибудь о Чебоксарахъ, но, по настоящему позднему времени, могу сказать лишь кратко: это—дрянной и грязный черемисскій городишко, стоящій на высокомъ берегу Волги. По Суворинскому календарю (который, кстати, очень мнѣ помогалъ въ моихъ статистическихъ изслѣдованіяхъ), жителей только всего 3.564 человѣка обоего пола. Однако, если бы выстроить тамъ крѣпость, то, съ стратегической точки зрѣнія, вышелъ бы второй Гибралтаръ, за исключеніемъ, разумѣется, пролива.

*) А кто виноватъ?—*Примѣч. той же редакціи.*

Въ ту минуту, какъ я дописываю эти строки, бьетъ два часа, и я слышу приближеніе парохода. Пыхтитъ, шумитъ, свиститъ... На Дунай! *).

Подхалимовъ 1-й.

9.

Отъ редакціи газеты «Краса Демидрона». Предчувствія не обманули насъ: Одиссея господъ Подхалимовыхъ кончилась, и, кажется, весьма для нихъ неблагополучно. Сегодня мы получили отъ г. чебоксарскаго уѣзднаго исправника офиціальную бумагу, изъ которой видно, что въ Чебоксарахъ пойманы двое безпаспортныхъ бродягъ, по фамиліи Подхалимовы, которые называютъ себя корреспондентами «Красы Демидрона». Разумѣется, мы поспѣшили сообщить все, что намъ извѣстно объ этихъ господахъ, но при этомъ, конечно, не упустили опредѣлить съ точностью наши отношенія къ нимъ, дабы отстранить отъ себя всякую прикосновенность къ этой непріятной исторіи.

Вообще намъ не посчастливилось съ корреспондентами. Г. Ящерицынъ, посланный на малоазіатскій театръ войны, вмѣсто г. Подхалимова 2-го, тоже измѣнилъ намъ: изъ полученнаго сегодня письма его видно, что онъ принялъ мѣсто квартальнаго надзирателя въ Сызрани и уже вступилъ въ отправленіе своихъ обязанностей. Новая, чувствительная потеря для насъ, ибо и г. Ящерицына мы снабдили и подъемными, и поверстными и кормовыми деньгами. Будемъ надѣяться однако, что онъ возвратитъ намъ забранное, тѣмъ болѣе, что мѣсто квартальнаго надзирателя въ Сызрани, знаменитой своей обширной хлѣбной торговлей,— весьма и весьма небезвыгодное.

За всѣмъ тѣмъ мы продолжаемъ не щадить ни трудовъ, ни издержекъ для удовлетворенія нашихъ подписчиковъ. На-дняхъ мы опять пріусловили двоихъ талантливыхъ молодыхъ людей: г. Миловзорова и г. Прелестникова, и уже отправили перваго за Дунай, а второго—въ Малую Азію. Оба они изъ архіерейскихъ пѣвчихъ, обладаютъ прекрасными голосами (слѣдовательно могутъ, при случаѣ, обучать болгаръ и прочихъ единокровныхъ партесному церковному

*) А мы такъ думаемъ, что вы преспокойно останетесь въ Чебоксарахъ, влекомые страстью къ женскому полу, а ежели и попадете куда-нибудь, то не на Дунай, а въ укромное мѣсто, чѣмъ ваша Одиссея и кончится.—*Примѣч. той же редакціи.*

пѣнію) и чрезвычайно солиднаго характера. Мы не станемъ увѣрять, что они совсѣмъ не пьютъ, но, кажется, не ошибемся, ежели скажемъ, что они пьютъ—въ мѣру. Рюмка, двѣ рюмки, три рюмки—не больше.

IV. Дворянскія мелодіи.

Я — человѣкъ отживающій. Разстояніе, которое мнѣ остается пройти, такъ невелико, что мысль объ итогѣ невольно закрадывается въ голову. И вотъ, по размышленіи, оказывается, что итогъ этотъ можетъ быть формулированъ въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: ни зла, ни добра...

Не скрою, бываютъ минуты, когда такая краткословность моего кондуитнаго списка довольно-таки больно щекочетъ мою совѣсть. Есть въ ней что-то обидное, отзывающееся какою-то мертвенною безформенностью. Положимъ, это еще ничего, что я въ сраженіяхъ не бывалъ, никого не изувѣчилъ и даже пороху не выдумалъ, но какимъ образомъ объяснить, что вообще никакихъ «поступковъ» за мною не числится? Вялость и хворость — вотъ и все. Именно хворость, потому что недугу, изъ котораго въ видѣ итога вырастаетъ сознаніе: «ни зла, ни добра» — даже названія не подберешь. Острыхъ болей нѣтъ, а постоянно какъ будто разнемогаешься.

Тѣмъ не менѣе, когда, движимый инстинктомъ самооправданія, я начинаю вглядываться пристальнѣе въ то положеніе, которое создали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что личное мое участіе въ этомъ дѣлѣ далеко не существенно), то въ концѣ концовъ прихожу къ заключенію, что есть однако-жъ почва, на которой я довольно прилично могу примириться съ встревожившеюся совѣстью. Нѣтъ дѣятельнаго, торжествующаго зла: право, и это не бездѣлица! Конечно, это не Богъ знаетъ какая «почва», а скорѣе соломинка, но, въ качествѣ человѣка отживающаго, человѣка иныхъ пѣсенъ и иныхъ традицій, я хватаюсь за эту соломинку и возлагаю на нее великія надежды.

Мы переживаемъ время, которое несомнѣнно представляетъ замѣчательно полное осуществленіе ликующаго хищничества. Безсовѣстность, заручившись союзомъ съ невѣжествомъ и неразвитостью, выбросила на поверхность цѣлую массу людей, которые до того упростили свои отношенія къ ве-

щамъ и лицамъ; что, не стѣсняясь, возводятъ насиліе на степень единственнаго жизненнаго регулятора. Можетъ-быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло-откровеннаго заявленія «принципій» давно не бывало. Прежде, даже въ средѣ самыхъ отпѣтыхъ людей, можно было изрѣдка разслышать слова въ родѣ: великодушіе, совѣсть, долгъ; нынче эти слова окончательно вычеркнуты изъ лексикона торжествующихъ людей. Прежде люди, сдѣлавши пакость, хотя и пользовались плодами ея, но молились Богу, чтобъ объ ней не узнали; нынче—Богу молиться вообще не принято, а краснѣютъ по поводу затѣянной пакости только тогда, когда она не удалась. Весьма возможно, что въ этой темной оцѣнкѣ современности (то-есть торжествующей ея части) очень значительную роль играетъ мое личное чувство — чувство отживающаго человѣка; но во всякомъ случаѣ я дѣлаю ее *искренно* и затѣмъ предоставляю читателю самому распутывать, сколько изъ приведенной выше характеристики принадлежитъ брюзжанью усталаго старика, и сколько—дѣйствительности.

Но если даже такое простое слово, какъ «совѣсть», оказывается слишкомъ тяжеловѣснымъ для современныхъ діалоговъ, то какое же значеніе могутъ имѣть слова болѣе мудреныя, какъ, напримѣръ: любовь, самоотверженность и проч.? Очевидно, что единственная оцѣнка, на которую въ этомъ случаѣ можно разсчитывать, это — хохотъ. Что-то отрепанное, жалкое, полупомѣшанное представляется: не то салопница, не то Донъ-Кихотъ, выѣзжающій на битву съ мельницами. И всѣмъ по этому поводу весело; всѣ хохочутъ: и преднамѣренные бездѣльники, и искренніе глупцы.

Этотъ хохотъ наполняетъ сердце смутными предчувствіями. Сначала человѣкъ видитъ въ немъ не болѣе, какъ безсмысленное вліяніе возбужденныхъ инстинктовъ веселонравія, но мало-по-малу онъ начинаетъ угадывать оттѣнки и тоны, предвѣщающіе нѣчто болѣе горькое и зловѣщее. Увы! подобныя предчувствія рѣдко обманываютъ. Хохотъ самъ по себѣ заключаетъ такъ много зачатковъ плотоядности, что тяготѣніе его къ проявленіямъ чистаго звѣрства представляется уже чѣмъ-то неизбѣжнымъ, фаталистическимъ. Однимъ простымъ хохотомъ Донъ-Кихота не проймешь, да онъ не удовлетворяетъ и самого хохочущаго. Является потребность проявить себя чѣмъ-нибудь болѣе дѣятельнымъ, напримѣръ: наплевать въ лицо, повалить на землю, топтать

ногами. Конечно, всѣ эти дѣйствія могутъ быть производимы и самостоятельно, но несомнѣнно, что чаще всего они представляютъ собой видоизмѣненія хохота и, такъ сказать, естественное его развитіе. Поэтому, ежели вамъ на долю выпало несчастіе случайно или неслучайно возбудить хохотъ толпы, то бойтесь, ибо хохотъ не только не противорѣчитъ остервенѣнію, но прямо вызываетъ его...

Какъ бы то ни было, но я могу себѣ сказать смѣло, что проявленія совѣсти, самоотверженности и проч. никогда не возбуждали во мнѣ позыва къ хохоту. Напротивъ того, я относился къ нимъ скорѣе благосклонно или, лучше сказать, опрятно... хотя и безсильно. Я понимаю, разумѣется, что безсиліе очень мало украшаетъ человѣка; но поставьте все-таки мою страдательную опрятность рядомъ съ тѣми дѣятельными формами и видоизмѣненіями хохота, на которыя я сейчасъ указалъ, и едва ли не придется согласиться, что въ извѣстной обстановкѣ самое воздержаніе можетъ претендовать на названіе заслуги. Притомъ же хохотъ не только жестокъ, но и подозрителенъ или, лучше сказать, придирчивъ. Преслѣдуя непосредственно Донъ-Кихота, онъ придирается и къ стороннему человѣку: а ты что ротъ разинулъ? Онъ не терпитъ никакой неясности, и ежели до поры до времени позволяетъ воздержанію прозябать въ темномъ углу, куда загналъ его испугъ,—то именно только до поры до времени и притомъ въ видѣ безпримѣрнаго снисхожденія. Наступитъ моментъ, когда онъ прямо потребуетъ, чтобъ вся наличная армія, и старые и малые, и сильные и хилые—были въ строю, чтобъ всѣ нижніе чины до единаго смотрѣли не кисло, а бодро, весело и рѣшительно. Это будетъ минута тяжкая и рѣшительная. Человѣкъ недоумѣнія, человѣкъ, жизненный девизъ котораго исчерпывался словами: «ни зла, ни добра», вдругъ очутится если не прямо въ положеніи кознодѣйствующаго Донъ-Кихота, то во всякомъ случаѣ въ положеніи его попустителя. Покончивши съ Донъ-Кихотомъ, и безсильнаго человѣка выведутъ предъ лицо хохочущей толпы, прочитаютъ его вины («смотрѣлъ кисло», «улыбался слабо» (а все-таки улыбался), не «наяривалъ», не «накладывалъ») и въ заключеніе скажутъ: «ты даже опаснѣе, чѣмъ Донъ-Кихотъ: ибо настоящій Донъ-Кихотъ по крайней мѣрѣ всенародно гарцуетъ, а ты забился въ уголъ и оттуда втихомолку льешь потоки донкихотствующаго яда...» Вѣдь хохоту-то по этому случаю, пожалуй, еще больше

будетъ! Помилуйте! дуракъ, ничего не дѣлалъ, хотѣлъ спрятаться, а его на свѣжую воду вывели!

Имѣя въ перспективѣ возможность такого момента, ужели я не правъ, утверждая, что есть почва, на которой я могу примириться съ своею совѣстью?

Я принадлежу къ поколѣнію, которое воспитывалось на лонѣ эстетическихъ преданій и матеріальной обезпеченности. Конечно, и мы не всегда оставались вѣрными чисто-эстетическимъ традиціямъ, но по временамъ дѣлали набѣги въ область дѣйствительности... нѣтъ, впрочемъ, не туда, а скорѣе въ область «униженныхъ и оскорбленныхъ». Но, подъ прикрытіемъ обезпеченности, эти набѣги производились словно во снѣ, безъ строгой послѣдовательности, порывами, которые столь же быстро потухали, какъ и зажигались. Много вышло изъ этой школы проходимцевъ и негодяевъ, но довольно и просто безсильныхъ и неумѣлыхъ людей. Проходимцы оказались живучими; неумѣлые—какъ и слѣдовало ожидать—вымираютъ...

Я сижу въ своемъ углу и разнемогаюсь. Гордиться тутъ нечѣмъ; но самый фактъ вольнаго умиранія, въ виду легкой достижимости торжества, есть уже признакъ, передъ которымъ должно умолкнуть рѣзкое слово осужденія.

Сейчасъ я сказалъ, что могу примириться съ своею совѣстью,—и сейчасъ же одумался. «Нѣтъ дѣятельнаго добра, но зато нѣтъ и дѣятельнаго зла»—ужели это не странно?! Разумѣется, ежели представить себя живущимъ среди разбойничьяго вертепа, то и за эту пустопорожнюю формулу можно ухватиться, какъ за нѣчто умиротворяющее встревоженную совѣсть... Но вѣдь пустопорожнее все-таки останется пустопорожнимъ, какъ ни обставляй его оправдательными документами. Какое кому дѣло до вертеповъ, когда имѣется непререкаемый итогъ, свидѣтельствующій о безсиліи, о бездѣйствіи, а пожалуй, даже и о бездѣліи?

У жизни моей никогда не было насущнаго дѣла—вотъ въ чемъ моя боль. Бремя эстетическихъ традицій, бремя обезпеченности и легкомысленнаго срыванія жизненныхъ цвѣтовъ съ юношескихъ лѣтъ надвигалось на мои плечи съ такою вкрадчивою постепенностью, что я не замѣтилъ, какъ эти плечи совсѣмъ онѣмѣли и сдѣлались неспособными къ принятію какого-либо иного бремени. И вотъ теперь, когда кругомъ раздались жизненные запросы, я при-

слушиваюсь къ нимъ, но ничего дурного не ощущаю, кромѣ того, что старчество со всѣхъ сторонъ до того плотно окутало меня, что между мною и настоящей, развивающейся жизнью совсѣмъ неожиданно выросла цѣлая стѣна. Благодаря этой стѣнѣ, я осужденъ довольствоваться самимъ собой, своимъ прошлымъ и въ немъ одномъ искать для себя поддержки. И я невольно ищу, не потому, чтобъ я черезчуръ былъ привязанъ къ жизни, а потому, что она сама не хочетъ уйти отъ меня. Я роюсь въ воспоминаніяхъ и тщательно подбираю всевозможные обрывки прошлаго, чтобъ вывести изъ нихъ хотя какой-нибудь итогъ— и съ изумленіемъ, почти съ испугомъ останавливаюсь передъ вопросомъ: что же такое было?

Но ежели не было прямого дѣла, про которое я могъ сказать: вотъ чему я послужилъ въ такой-то и такой-то формѣ, то, можетъ-быть, существовало хоть *отношеніе* къ дѣлу?—Да, что-то такое было. По крайней мѣрѣ, я навѣрное могу сказать, что въ общемъ каталогѣ жизненныхъ пріятствъ, составлявшихъ необходимую принадлежность существованія всякаго развитого человѣка того времени, значились и пріятства свойства спекулятивнаго. Устремленія, порывы, слезы, зубовный скрежетъ и проч. Но—увы!— это именно были только пріятства и развлеченія—и ничего больше. Человѣку, считавшему себя развитымъ, свойственно было, отъ времени до времени, сознавать себя нечуждымъ интересамъ высшаго разряда, скорбѣть и радоваться не только по поводу личныхъ удачъ или неудачъ, но и по поводу радостей и скорбей общечеловѣческихъ. Все это не только не оскорбляло требованій приличія, но прямо щекотало самолюбіе, а въ извѣстной степени даже возвышало человѣка въ собственныхъ глазахъ. Но обязывало ли къ чему-нибудь?

Пусть каждый отвѣтитъ на этотъ вопросъ по совѣсти; я же иду дальше и спрашиваю: развѣ можно назвать «отношеніемъ къ дѣлу» такія умственныя и нравственныя сумерки, которыя ни къ чему не обязываютъ? возможно ли, однажды сознавъ справедливость того или другого явленія, не идти на защиту его? или, сознавъ несправедливость его, не выступить на бой съ нимъ? возможно ли успокоиться на одномъ сознаніи справедливости или несправедливости и затѣмъ считать себя нравственно-свободнымъ отъ всякихъ дальнѣйшихъ обязательствъ?

По моему мнѣнію, это возможно только въ одномъ слу-

чаѣ: когда человѣкъ сидитъ въ четырехъ глухихъ стѣнахъ, и когда ему ничего другого не остается, какъ утѣшаться тѣмъ, что и этимъ стѣнамъ не дано погасить въ немъ свѣточа мысли, озаряющей даже непроглядный мракъ тюрьмы. Но людямъ, которые, во всякомъ случаѣ, пользуются свободой исполнять начальственныя распоряженія... помилуйте, что же значитъ тогда «сознаніе»? зачѣмъ «благородный образъ мыслей»? Къ чему вся эта комедія устремленій, порывовъ, зубовныхъ скрежетовъ и слезъ? Ужели затѣмъ только, чтобъ при посредствѣ горячихъ изліяній зажигать пламень въ сердцахъ «этихъ дамъ»?

Но именно эти-то глухія стѣны и преслѣдовали насъ. Я не буду входить въ разборъ, сами ли мы ихъ создали, или онѣ намъ были завѣщаны,—какъ бы то ни было, онѣ ходили за нами по пятамъ. Мы наслаждались, но ничего не защищали; мы срывали цвѣты удовольствія, но въ битвахъ не бывали. Молчаливое признаніе, что утопія можетъ вѣчно витать въ пространствѣ, не обнаруживая ни на чемъ своихъ прикладныхъ свойствъ,—вотъ основа всѣхъ нашихъ порывовъ и устремленій. Утопія для утопіи—развѣ это не одно изъ «пріятствъ» жизни?

Очевидно, что не только объ дѣлѣ, но и объ отношеніи къ дѣлу тутъ рѣчи быть не могло. Порывы наши были смутны, почти безпредметны, и, какъ я сказалъ уже выше, ограничивались экскурсіями въ область униженныхъ и оскорбленныхъ,—область до того безформенную и уныло однообразную, что мысль и чувство разбѣгаются по ней, не находя поводовъ для провѣрки даже самихъ себя. Я лично и теперь, по старой привычкѣ, охотно посѣщаю эту область, но что же собственно извлекаю я изъ этихъ посѣщеній? Увы! я извлекаю только убѣжденіе, что время экскурсій прошло безвозвратно, что жизненные запросы измѣнили не только сущность, но и форму, и что перемѣна эта застала меня врасплохъ...

Нѣчто, несомнѣнно вызывающее всѣ симпатіи моей души, мелькаетъ передо мной, но что именно — я различить не могу. Нѣчто требуетъ моего участія, но въ чемъ оно должно состоять и какъ можетъ быть выражено—я и на это отвѣтить не умѣю. Я вкладываю персты, но не въ раны, а въ пустое пространство. «Не могу!» и «не умѣю!»—мучительно повторяю я себѣ, и только одно сознаю вполнѣ отчетливо: что никакихъ жизненныхъ итоговъ у меня нѣтъ, кромѣ безмѣрной тоски, которою преисполнено все мое существо.

Поэтому я на всѣ явленія современности, ежели они мало-мальски возвышаются надъ общимъ уровнемъ обыденнаго хищничества, смотрю съ осторожностью и боюсь примѣнить къ нимъ какую-либо оцѣнку. Есть въ нихъ нѣчто, быть-можетъ, и затрогивающее мою совѣсть, но это нѣчто до такой степени не согласуется съ общимъ складомъ всей моей жизни, съ моими привычками и нравами, что я, вопреки симпатіямъ, не имѣю силы примкнуть къ нимъ. И сдается, что ежели я начну судить—только судить—объ этихъ явленіяхъ, то даже и тутъ совсѣмъ не о томъ поведу рѣчь. На сцену появятся или старыя экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ, или же, вмѣсто дѣйствительной драмы, родится нелѣпый фарсъ съ переодѣваніями. И ни моими сужденіями, ни моими воспроизведеніями и обличеніями я никого не заинтересую: ни старыхъ, ни малыхъ. Одни скажутъ: «кого онъ хочетъ обмануть, увѣряя, что русская жизнь есть не что иное, какъ водевиль?» Другіе: «вотъ старый безстыдникъ, у котораго сѣдой волосъ изъ всѣхъ щелей лѣзетъ, а онъ все-таки не чувствуетъ потребности обуздать себя!»

Такимъ образомъ, опасаясь остаться, какъ говорится, ни въ тѣхъ, ни въ сѣхъ, я предпочитаю молчать. И въ этомъ-то вынужденномъ молчаніи формулируется весь жизненный итогъ... какая однако-жъ мучительная старость!

Но что дѣлаетъ эту старость еще болѣе мучительною—это то, что, при всей своей немощи, я все-таки «желаю». Да, экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ не прошли для меня даромъ. Онѣ населили мое существо извѣстными вкусами и предрасположеніями, которые даже на безсиліе мое наложили своеобразную печать. Сколько разъ жизнь пыталась растоптать эти предрасположенія, а я все-таки возвращался къ нимъ. И я не только не сожалѣю объ этихъ возвратахъ, но даже горжусь ими. Горжусь послѣ всего, что только-что сейчасъ вылилось изъ-подъ моего пера,—не правда ли, какъ странно звучитъ это слово? Но въ томъ-то и дѣло, что прошлое, составленное изъ обрывковъ, и въ результатѣ даетъ только обрывки. Сейчасъ—горжусь, и сейчасъ—презираю. По наружности, жить такимъ образомъ (то-есть безъ усилій переходя отъ самовозвеличенія къ самобичеванію) кажется очень легко, но вглядитесь попристальнѣе: право, вѣдь это цѣлая мученическая эпопея!

Иногда мнѣ даже думается, что если бы я передѣлалъ

свой жизненный девизъ наоборотъ и вмѣсто: «хочу, но не могу», написалъ на своемъ знамени: «могу, но не хочу»,— мнѣ жилось бы лучше. Но крайней мѣрѣ, тогда я былъ бы уже совсѣмъ скотиною. Не думалъ бы ни о прошедшемъ, ни о настоящемъ, ни о будущемъ, а производилъ бы нужныя физическія отправленія и съѣдалъ бы свою порцію печатныхъ пряниковъ. Но въ томъ-то и дѣло, что, когда увлеченное воображеніе начинаетъ живописать цѣлый рядъ свойственныхъ «совсѣмъ скотинѣ» наслажденій, — вдругъ изнутри словно толкнетъ что: «да развѣ это Богъ вѣсть какое счастіе—быть совсѣмъ скотиною?» И вслѣдъ затѣмъ опять раздумье, опять обрывки, которые, мало-по-малу разрастаясь и разрастаясь, переходятъ наконецъ въ негодованіе. А негодованіе—само по себѣ цѣлый кладъ. Оно поднимаетъ нравственный и духовный уровень человѣка; оно утѣшаетъ, очищаетъ его въ собственныхъ глазахъ. Я чувствую себя просвѣтленнымъ; я негодую на самого себя, что могъ хотя минуту увлечься мечтами о счастіи быть совсѣмъ скотиною; я берегу и лелѣю святое волненіе, охватившее меня... и опять-таки горжусь! Горжусь—чѣмъ? тѣмъ, что негодую одинъ-на-одинъ съ самимъ собою, среди четырехъ стѣнъ, которыя даже сфискалить на меня не могутъ! Ужели есть пытка болѣе невыносимая и унизительная, нежели эта?

Да, тутъ несомнѣнно собрана цѣлая коллекція пытокъ, достойно увѣнчивающаяся послѣднею: одиночествомъ. Несмотря на болтливо проведенную молодость, несмотря на то, что въ основѣ этой молодости все-таки лежалъ призывъ къ общенію, къ любви, въ результатѣ ея все-таки оказалось одиночество полное, несомнѣнное. Пустыня, на поверхности которой мелькаютъ два-три родственные и столь же одинокіе индивидуума, и въ центрѣ пустыни— безпріютное, оголтѣлое старчество! А помнится, когда мы выходили на арену экскурсій, насъ было видимо-невидимо. И всѣ мы были полны надеждъ, всѣ представляли единое стадо и единую неразрывную цѣпь, всѣ одинаково пламенѣли и одинаково вѣрили, что и тамъ, «у пристани», наша цѣпь окажется такою же плотною и неразрывною, какою мы видѣли ее при отправленіи. Всѣ, все множество наше, всѣ вдохновенно клялись, что ни время, ни испытанія, ничто... А въ концѣ пути, вмѣсто «пристани», оказалась— пустыня!

Въ растительномъ царствѣ встрѣчается нѣчто подобное.

Посмотрите на дерево весною—какая на немъ могучая, чистая, незапятнанная листва! И какое множество этихъ листьевъ, какъ они тѣснятся другъ къ другу—точно хотятъ изъ своей совокупности сдѣлать непроницаемый оплотъ! Лѣтомъ листья уже потемнѣли, перекутались и слегка запятнались; древесинная перепонка, прикрѣпляющая ихъ къ вѣткѣ, постепенно подсыхаетъ, и въ воздухѣ носятся оторванные вѣтромъ дезертиры, сначала рѣдкіе, а потомъ все чаще и чаще. Наступаетъ осень; дезертиры ужъ не кружатся въ воздухѣ, а просто сыплются дождемъ на увлажненную землю; таинственный шопотъ листьевъ умолкаетъ, и воздухъ наполняется зловѣщимъ свищущимъ шумомъ, производимымъ хлестаніемъ оголенныхъ вѣтвей. Передъ глазами не дерево, а безжизненный и насквозь свѣтящійся остовъ его. И вдругъ, среди наготы и опустошенія, вы замѣчаете два-три засохшіе листка. Они случайно защемились между вѣтками, но издали кажется, что въ нихъ удержалась какая-то загадочная сила, которая не даетъ надъ ними власти ни вѣтрамъ, ни непогодамъ. Тѣмъ не менѣе существованіе ихъ—безнадежное. Жалобно жмутся эти остатки роскошной весны къ родному дереву и не переставая трясутся, точно чувствуютъ, что вотъ-вотъ налетитъ шквалъ и погонитъ ихъ... И хотя случается, что такіе забытые листья переживаютъ всю зиму, но никогда не бывало, чтобы листва новой весны не вытѣснила ихъ.

То же было и съ нами. Весной мы вышли, и насъ было много; но весна была недолгая, а лѣто промчалось уже до того быстро, что настоящаго солнца мы даже не видѣли. Осень наступила разомъ, и такъ какъ по бокамъ дороги, на которую насъ поставила судьба, на каждомъ шагу встрѣчались всякаго рода увеселительныя заведенія, то большинство соблазнилось и застряло тамъ. Къ зимѣ насъ осталось уже немного. Растерявши товарищей, мы продолжали однако-жъ неуклонно идти прежней дорогой; шли-шли, покуда старчество не подкосило нашихъ ногъ; но въ результатѣ, вмѣсто желанной пристани, очутились передъ пустымъ пространствомъ. Вотъ въ немъ-то мы и дрожимъ и стонемъ, какъ тѣ засохшіе листья, случайно ущемленные между сплетшимися вѣтвями. Унесетъ ли насъ шквалъ или пощадитъ? Ежели унесетъ, то насъ смоетъ весенней водой вмѣстѣ съ прочею ветошью; ежели пощадитъ, то мы такъ и будемъ дрожать всю зиму, а весной на томъ мѣстѣ, гдѣ

мы дрожимъ, пробьется новая почка и вытѣснитъ насъ совсѣмъ неизвѣстно куда...

Отыщите дилемму болѣе горькую: въ обоихъ случаяхъ— исчезнуть! Право, только у насъ, только среди нашего оголтѣлаго общества, могутъ происходить подобныя загадочныя исчезновенія.

Очевидно, что это не могло бы случиться, если бы цѣлью нашихъ жизненныхъ перегринацій были не праздныя экскурсіи, а конкретное дѣло. Дѣло, уже само по себѣ (въ какой хотите формѣ, даже въ формѣ хищничества), непремѣнно оставляетъ слѣдъ, но, сверхъ того, оно даетъ дѣятелю силу и снабжаетъ его средствами обороны. Даже такихъ несомнѣнныхъ погапцевъ, какъ современные подрядчики и паразиты войны, и тѣхъ не такъ-то легко погрузить въ пучину забвенія. И они не исчезнутъ безъ борьбы (если только исчезнутъ) и ужъ во всякомъ случаѣ оставятъ по себѣ слѣдъ въ разнообразнѣйшихъ формахъ обездоленія, тяжесть которыхъ долго будетъ давать себя чувствовать героямъ ревизскихъ сказокъ и окладныхъ листовъ.

Какъ бы то ни было, но мы, не соблазнившіеся попутными увеселительными заведеніями, все еще крѣпимся и живемъ. Насъ немного, но узы, соединяющія насъ, съ годами какъ будто даже окрѣпли. Во внѣшнихъ жизненныхъ сношеніяхъ мы исключительно довольствуемся ветшающимъ, но избраннымъ кружкомъ нашей уцѣлѣвшей семьи и почти никого изъ постороннихъ не видимъ. Внутренно мы также остались неприкосновенными: попрежнему увлекающіеся, воспріимчивые, одаренные богатыми художественными инстинктами и попрежнему же робкіе и стыдливые. И тѣ же экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ продолжаютъ преслѣдовать насъ.

Но—увы!—отсутствіе разнообразія уже замѣтно подтачиваетъ насъ. Нельзя жить, не выходя изъ очарованнаго круга трехъ-четырехъ личностей. Нельзя не исчерпать всего своего содержанія, не имѣя иныхъ исходныхъ пунктовъ, кромѣ тѣхъ, отъ которыхъ мы уже пришли прямёхонько къ пустому пространству. И вотъ, въ результатѣ— бѣшеная скука, почти отчаяніе. Ибо хотя мы и не разстаемся другъ съ другомъ, хотя мы непрерывно бесѣдуемъ, обмѣниваемся мыслями, критикуемъ и даже негодуемъ, но я убѣжденъ, что не только я лично, но и каждый изъ насъ очень хорошо понимаетъ, что онъ бесѣдуетъ, обмѣнивается

мыслями, критикуетъ и негодуетъ, въ сущности, одинъ-на-одинъ съ самимъ собою, въ четырехъ стѣнахъ.

По привычкѣ мы сходимся и по привычкѣ же заводимъ обмѣнъ мыслей. Но самое собесѣдованіе наше имѣетъ какой-то подневольный характеръ, какъ будто собесѣдники предприняли его только для того, чтобъ мистифицировать другъ друга. Не было настоящаго дѣла — нѣтъ и настоящихъ воспоминаній, нѣтъ настоящаго сюжета для обмѣна мыслей. Предметъ спора не формулируется, а кто-то подозрѣвается; на каждомъ шагу чуется множество невымолвленныхъ словъ, недосказанныхъ рѣчей. Очевидно, что разговаривающіе смотрятъ въ одну и ту же точку, одну и ту же мысль въ головѣ держатъ, что имъ даже сообщать другу другу нечего, но зачѣмъ-то понадобилось тянуть праздную канитель, щеголять другъ передъ другомъ діалектическими тонкостями, поражать остроумными выходками, все еще благосклонно выслушиваемыми, хотя и выдержавшими тринадцатилѣтнюю давность, и проч.

Объ чемъ мы разговариваемъ?—да обо всемъ. О пользѣ стыда, о томъ, что мы ничего не знаемъ, ничего не можемъ, о томъ, что жить опасно, а пожалуй, и довольно—это ли не безгранично растяжимыя темы?

Одинъ говоритъ:

— Существовать и постыдно, и не зачѣмъ. Ни въ лагерѣ торжествующихъ, ни въ лагерѣ толкующихся — мы одинаково не у мѣста. Мы способны лишь волноваться, да и не волноваться, въ строгомъ смыслѣ слова, а только жалкія слова говоритъ. Но вѣдь это наконецъ и постыдно, и надоѣло. Ясно, что выходъ для насъ предстоитъ одинъ: уйти.

Другой возражаетъ:

— Нѣтъ, это неясно. Мы уже по тому одному имѣемъ право не исчезать, что въ насъ воплощается традиція сочувственнаго отношенія къ развивающимъ запросамъ жизни. Мы выработали привычку опрятности и благодушія, а среди общаго направленія умовъ въ сторону травли это качество—далеко не лишнее.

Но третій опять становится на точку зрѣнія безнадежности и развиваетъ такую мысль:

— И все-таки, какъ ни кинь—вездѣ будетъ клинъ. Къ кому бы мы ни обратились—одни намъ скажутъ: «уйдите! вы своимъ унылымъ видомъ только въ смущеніе приводите!» Другіе: «эге! да вы никакъ сочувственныя слезы проливать собрались! умирать надо—вотъ что!»

И такъ далѣе.

На разговорахъ этихъ мы зубы съѣли. Каждый день мы ихъ начинаемъ и, повидимому, даже кончаемъ; каждый день, по наружности, разнообразимъ ихъ подкладку задачами самой животрепещущей современности и въ то же время внутренно сознаёмся, что новы тутъ только ярлыки, за которыми скрывается залежавшаяся и до тла вывѣтрившаяся ветошь.

Понятно, что подобные разговоры ни къ чему не приводятъ, ни съ чѣмъ не примиряютъ, а только достаточно раздражаютъ...

Подъ веселую руку мы называемъ эти бесѣды «дворянскими мелодіями». А другъ мой Глумовъ при семъ присовокупляетъ:

— И что въ особенности дорого въ этихъ мелодіяхъ, и почему самое начальство всегда смотрѣло на нихъ снисходительно, это то, что въ нихъ, въ одно и то же время, слышится и несомнѣнный гуманизмъ (начало неблагонамѣренное), и несомнѣнное молчалинство (начало во всѣхъ статьяхъ благонамѣренное). Какъ будто былъ такой моментъ, когда древняя Лаиса почувствовала себя до того уже слабою, что даже Алексѣя Степаныча удостоила ласкою.

Я знаю, что самое выраженіе: «дворянскія мелодіи»— въ настоящее время анахронизмъ; но что оно вполнѣ подтверждается свидѣтельствомъ недавняго прошлаго—въ этомъ сомнѣваться нельзя. Сверхъ того, для меня лично это выраженіе имѣетъ еще особую цѣну. Съ нимъ неразрывно связаны мои лучшія воспоминанія, и имъ же исчерпывается ежели не вся моя жизнь, то, во всякомъ случаѣ, ея дѣятельнѣйшая пора.

Хотя мелодіи эти зародились очень давно, въ самомъ началѣ сороковыхъ годовъ, но память о нихъ до сихъ поръ такъ жива и такъ полна, что мнѣ чудится, что онѣ раздались только вчера. Это было время, когда крѣпостное право царствовало въ полномъ разгарѣ, обезпечивая существованіе избранныхъ и доставляя всѣ удобства для украшенія ихъ досуговъ. И между тѣмъ—странная вещь!—молодые дворяне тосковали. Исполненные юношеской силы, обезпеченные, не безъ пользы для ума и сердца исколесившіе всю Европу, они не могли не почувствовать себя умиленными зрѣлищемъ общихъ симпатій къ угнетеннымъ и обдѣленнымъ, которыми обуревались тогда лучшіе умы

Запада, и въ особенности Франціи, этого неугасающаго очага, на которомъ преимущественно загораются всѣ зачатки, подвигающіе человѣчество впередъ. И въ этомъ-то умиленномъ видѣ возвращались домой, къ своимъ домашнимъ пенатамъ.

Но тогдашніе пенаты были хмурые и неподатливые. Они ревниво охраняли крѣпостное логовище отъ какого бы то ни было «разврата», кромѣ строго-плотскаго, и безпощадно отметали дерзновеннаго, который мечталъ внести двоегласіе въ дѣйствія безчисленныхъ Прошекъ и Палашекъ, наполнявшихъ своею безгласною суетливостью всероссійскую пустыню отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды. Нельзя сказать, чтобъ въ то время было строже насчетъ «разврата», нежели теперь (съ точки зрѣнія начальственныхъ воздѣйствій), но самыя свойства пенатовъ были таковы, что мысль о «развратѣ» просто не шла въ голову. Зданіе стояло такъ прочно, и съ солидностью его сопрягалось столь многое (и слава, и страхъ врагамъ, и процвѣтаніе), что самый рѣшительный поборникъ «разврата», и тотъ смирялся подъ подавляющимъ игомъ своеобразной крѣпостной гармоніи, которая со всѣхъ сторонъ охватывала его. И умъ, и чувство, которые даже иностранцевъ, во время заграничныхъ перегринацій, поражали чуткостью и подвижностью, разомъ утрачивали всю воспріимчивость и цѣпкость при видѣ девиза, нигдѣ прямо не написаннаго, но несомнѣнно и подлинно горѣвшаго на всѣхъ лбахъ: здѣсь, въ этомъ солидномъ зданіи, никакія попытки разврата успѣха имѣть не могутъ!

А между тѣмъ сердца молодыхъ дворянъ уже растворились и слѣдовательно требовали пищи. Этой пищи не могла имъ дать ни плотная масса Прошекъ, потому что къ ней даже подступиться было нельзя, ни несложныя утѣхи стариковъ-отцовъ, потому что онѣ были черезчуръ грубы, ни литература того времени, потому что воркованіе школы Карамзина и Жуковскаго казалось уже смѣшнымъ, а болѣе современный байронизмъ поражалъ своей безпричинностью и неприложимостью въ крѣпостной средѣ. Почувствовалась потребность въ пищѣ болѣе прянаго свойства, въ такой, которая хоть косвенно соприкасалась бы съ крѣпостною дѣйствительностью и въ то же время не слишкомъ компрометировала бы тотъ общедворянскій жизненный складъ, отказаться отъ котораго совсѣмъ и не предполагалось. Экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ, которыми такъ богата была европейская литература того времени и

подъ вліяніемъ которыхъ уже растворились молодыя дворянскія сердца, представлялись въ этомъ смыслѣ пищею почти идеальною. Онѣ располагали сердца къ чувствительности и вмѣстѣ съ тѣмъ не нарушали привычекъ. Отсюда—дворянскія мелодіи.

Отличительныя свойства этихъ мелодій: елейность, хорошій слогъ, обиліе околичностей (обстановокъ) и въ то же время отсутствіе конкретнаго объекта. И, какъ естественный результатъ всѣхъ этихъ свойствъ, взятыхъ вмѣстѣ—неуловимость. Можно заслушаться ихъ, можно вздохнуть подъ ихъ переливы, но сжать и формулировать точный ихъ смыслъ—невозможно.

Мелодіи эти раздаются и понынѣ, хотя съ каждымъ днемъ все рѣже и рѣже. Правда, что въ большинствѣ случаевъ дворянскія мелодіи довольно свободно превратились въ дворянскія же рычанія, но все-таки существуютъ разсѣянныя по лицу земли стыдливыя единицы, которыя упорствуютъ и до-днесь. Только мнѣ кажется, что со времени упраздненія крѣпостного права мелодіи эти сдѣлались еще тоскливѣе.

Да, раздаются еще наши мелодіи и даже имѣютъ представителей въ литературѣ. Произведенія этой дворянско-литературной школы и теперь читаются охотно, потому что читатель находитъ въ нихъ отличный слогъ, искусную обстановку (въ противоположность наготѣ современныхъ реалистовъ) и даже послѣдовательность (въ сущности, эта послѣдовательность есть плодъ умѣнія цѣлесообразно пользоваться частицами рѣчи: между тѣмъ, такъ какъ, за всѣмъ тѣмъ и т. п.). Какъ бы то ни было, но ежели читатель берется за книгу, главнымъ образомъ съ намѣреніемъ убить праздное время, и при этомъ исполнитъ еще одно условіе, совершенно необходимое при чтеніи подобныхъ произведеній,—то-есть остережется отъ возстановленія прочитаннаго въ своей памяти, — то цѣль его будетъ достигнута несомнѣнно. И время пройдетъ занятно, и особенной тяжести въ головѣ не останется.

Но благодарить ли за это?

На-дняхъ я этотъ самый вопросъ предложилъ пріятелю моему Глумову.

— Любезный другъ!—сказалъ я ему:—въ виду прекрасныхъ намѣреній, которыми проникнуты были дворянскія мелодіи, осуждать насъ за нихъ было бы, конечно, несправедливо; но, воля твоя, и благодарить не за что. Благодарность предполагаетъ услугу, въ какой бы формѣ, ма-

теріальной или духовной, она ни была оказана, но непремѣнно услугу. Какую же услугу можетъ представлять собой благородная смутность чувствъ, сопровождаемая сладкозвучнымъ словеснымъ журчаніемъ, вся прелесть котораго въ томъ именно и заключается, что оно — журчаніе, не поддающееся даже законамъ сжимаемости? Вѣдь мы до того изжурчались, что вотъ теперь, когда со всѣхъ сторонъ зарождаются всякіе запросы, мы не только не можемъ установить связи между этими запросами и нашимъ прошлымъ, но даже едва ли въ состояніи формулировать точно опредѣленіе существа современныхъ явленій!

Глумовъ по обыкновенію сочувственно отнесся къ моему заявленію (тѣмъ болѣе, что оно уже само по себѣ представляло не что иное, какъ продолженіе тѣхъ же дворянскихъ мелодій), но, прежде нежели отвѣтить на мой вопросъ, онъ какъ-то уныло, почти безнадежно взглянулъ на меня.

— Хворы мы, братъ—вотъ что!—наконецъ произнесъ онъ.

— Да и не теперь только хворы, а всегда были!—подхватилъ я съ жаромъ.—Вѣдь, коли по совѣсти-то говорить, помянуть нечѣмъ прошлаго... Эти экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ — ахъ, я забыть объ нихъ не могу.

— А это еще лучшее, что было!

— Но вѣдь это развратъ! это сонное любострастіе — вотъ это что! Какъ вспомнишь теперь, что по временамъ я лишалъ себя настоящаго обѣда, питался колбасой да вареной ветчиной... ты думаешь, для чего? А для того, любезный другъ, чтобъ на сбереженныя отъ обѣда деньги въ такихъ же клѣтчатыхъ штанахъ щегольнуть, какіе нашъ общій товарищъ Сеня Бирюковъ носилъ! Ахъ, даже кровь въ голову бросится! Вѣдь я сгоралъ завистью къ тѣмъ, которые къ графинѣ де-Мильфлёръ на балы ѣздили! Я, отъ роду ея не видавши, анекдоты изъ жизни Мильфлёрши разсказывалъ! Я стихи Лермонтова: «Какъ мальчикъ кудрявый рѣзва», на всѣхъ перекресткахъ, съ пѣною у рта, декламировалъ!

— И въ то же время отдавалъ часы досуга сочувствію униженнымъ и оскорбленнымъ... было, братъ, это! было!

— Развѣ это—не сонное любострастіе? Ахъ, что это за молодость была! Вѣдь ни одного послѣдовательнаго шага, ни одного связнаго поступка не было — ничего, кромѣ червной искренности, то-есть искренняго желанія! Не лжи, я

именно лганія, безобразнаго, нескладнаго, которое всякій насквозь видитъ! И странное дѣло! Всѣ вѣдь знали и понимали, что мы лжемъ, лжемъ и лжемъ, и никто не сказалъ: молодые лгуны, подумайте, какую вы себѣ готовите старость!

— Тогда, любезный другъ, всѣ лгали, а объ молодыхъ людяхъ такъ даже прямо такое мнѣніе было, что имъ лгать приличествуетъ. И дамочки тогдашнія такое направленіе имѣли, что только передъ лганьемъ и полагали оружіе. Ручательство страстности и пылкость — въ лганьѣ видѣли.

— И вотъ теперь мы старики—и никому до насъ дѣла нѣтъ. Даже самимъ себѣ... да и самимъ себѣ мы опостылѣли и, словно прокаженные, жмемся и разнемогаемся по своимъ угламъ!

Это было такъ горько, такъ горько, что я совсѣмъ незамѣтно увлекся и уже совершенно непослѣдовательно заключилъ свою діатрибу восклицаніемъ:

— За что?

— А вотъ за то за самое, въ чемъ ты сейчасъ самъ себя уличалъ! за лганье! Чудакъ, братецъ, ты! Цѣлый часъ самъ себѣ нотацію читаешь, и вдругъ—за что?

— Да, но вѣдь все-таки... Не все же умерло... напримѣръ, хоть бы во мнѣ! вѣдь хоть и поздно, а я очнулся-таки! Весь этотъ угаръ, всѣ эти странныя понятія о свойствахъ, составляющихъ украшеніе благороднаго молодого человѣка,—все это ужъ давно похерено и сдано въ архивъ! Вѣдь я теперь...

На этомъ словѣ я осѣкся и покраснѣлъ.

— Что же «теперь»? — спросилъ меня Глумовъ угрюмо.

— Зла я не дѣлаю! зла!

— Христосъ съ тобой! на что дѣлать зло?

— Да, но вѣдь и это... Нельзя же не принять въ разсчетъ... Потому что, въ противномъ случаѣ, при чемъ же мы стоимъ? И что же, наконецъ, намъ дѣлать?!

— Жить — вотъ и все. Если жизнь привязалась и не отпускаетъ тебя—ну, и живи. Удивляй міръ отсутствіемъ поступковъ и опрятностью чувствъ. Не пиши преднамѣренныхъ романовъ съ переодѣваніями, но и отъ гимновъ воздержись, потому что въ самые гимны твои, помимо твоей воли, непремѣнно проникаетъ водевильная струя. Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи въ своихъ четырехъ стѣнахъ, благо ты ужъ обжился въ нихъ, и въ

чужія существованія не впутывайся. Наблюдай эти существованія, и буде чего не поймешь въ нихъ, то не огрызайся, но и не славословь, а говори прямо: я этого не понимаю! Живи!

Въ сущности, въ виду такого рѣшенія вопроса, не жить, а просто умереть нужно. Но мы живемъ. Я думаю, что насъ спасаетъ въ этомъ случаѣ та общая смутность представленій, которая обыкновенно облегчаетъ самые внезапные переходы отъ одного тезиса къ другому, совершенно противоположному. Противорѣчія останавливаютъ насъ только въ такомъ случаѣ, когда они уже черезчуръ явно заходятъ въ область представленій, прямо оскорбляющихъ нашу опрятность; но мы охотно примиряемся со всякими скачками и перерывами, какъ скоро стоящая на очереди мысль (хотя бы и мало сходная съ мыслью, стоявшею на очереди за минуту передъ тѣмъ) настраиваетъ насъ на тонъ великодушія, негодованія и другихъ праздничныхъ чувствъ. Такъ, напримѣръ, кончить вчерашній день самобичеваніемъ, а завтрашній день начать съ самооправданія, близкаго къ самохвальству, не представляетъ для насъ никакой трудности. Ибо и самобичеваніе, и самооправданіе равно допускаютъ участіе великодушія, негодованія и проч. и одинаково представляютъ лишь результатъ нервной возбужденности, настолько эмансипировавшейся, что подъ ея давленіемъ самый контроль разума обращается въ ничто. Повторяю: только наличность конкретнаго дѣла или, по малой мѣрѣ, ясное объ немъ представленіе могли бы оградить насъ отъ нервной распущенности и сопровождающихъ ее противорѣчій, но именно этихъ-то отрезвляющихъ условій мы и были всегда лишены.

Согласившись со мной наканунѣ, что наша дѣятельность (если не рискованно употребить въ настоящемъ случаѣ это выраженіе) всегда страдала двоегласіемъ и неясностью, и что, посему, благодарить за нее нѣтъ никакого основанія, Глумовъ очень недолго остался при своемъ показаніи и на другой день уже развивалъ предо мною мысль, что благодарить—слѣдуетъ.

— Насъ слѣдуетъ благодарить ужъ за то одно, — говорилъ онъ:—что одинъ изъ главныхъ результатовъ нашего существованія былъ стыдъ. Почему современное хищническое ликованіе до того оскорбляетъ, напримѣръ, хоть тебя, что тебѣ сдается, будто ты вращаешься среди смѣшанной

атмосферы бойни и дома терпимости?—потому что ты смолоду воспиталъ въ себѣ стыдъ! Почему сознаніе твоего безсилія въ виду этой атмосферы не побуждаетъ тебя покоряться ей, но загоняетъ въ тѣсное пространство четырехъ стѣнъ и наполняетъ твое сердце горечью?—опять-таки потому, что въ тебѣ есть стыдъ! Не будь стыда, ты нюхалъ бы міазмы современности и говорилъ бы, что пахнетъ розами. Не будь стыда, ты даже безсиліемъ своимъ воспользовался бы только для того, чтобъ подписать удовольствіе приговору современности. Ты сказалъ бы себѣ: я до того затерянъ въ безыменной толпѣ, что всякая возможность заявить о своей личности, объ ея симпатіяхъ и антипатіяхъ, для меня безповоротно утрачена, а потому буду жить смирно и въ мирѣ съ самимъ собой и окружающей средой, довольствоваться званіемъ скотины, которое одно для меня доступно. И такъ какъ скотина ни о какихъ заявленіяхъ помышлять не должна...

— Послушай, однако!—остановилъ я Глумова:—да самъ-то ты воистину ли убѣжденъ, что въ нашихъ «заявленіяхъ» чувствуется надобность?

— Все-таки, другъ мой. Положимъ, что и не Богъ вѣсть какія заявленія мы съ тобой сдѣлать можемъ, но и за всѣмъ тѣмъ потребность въ ихъ формулированіи не только не претенціозна, но и вполнѣ естественна. Ты находишь, что наши заявленія ничего существеннаго дать не могутъ—прекрасно! но тѣмъ стыднѣе, что даже это несущественное находится подъ замкомъ. Вотъ мы и стыдимся! Стыдимся не за себя, а за то поистинѣ неистовое положеніе, въ которое мы фаталистически поставлены.

— И благодаря которому мы, не имѣющіе сказать ничего существеннаго, въ общественномъ мнѣніи считаемся чуть не опаснѣе бѣшеныхъ собакъ. Но вѣдь это—цѣлая роль, голубчикъ! ею кичиться можно, а не стыдиться ея.

— Да. бываютъ и у насъ минуты духовнаго распутства, когда мы кичимся ролью бѣшеныхъ собакъ. Мы легкомысленны и тщеславны—это правда; но, къ счастію, распутство проявляется въ насъ только вспышками, а главнымъ жизненнымъ регуляторомъ все-таки остается стыдъ. Мы ничего не можемъ! ничего не знаемъ! — вотъ восклицанія, которыя не сходятъ у насъ съ языка; восклицанія сами по себѣ не важны, но важно въ нихъ то, что они не дозволяютъ краскѣ стыда сойти съ нашихъ лицъ. Не за себя однихъ стыдимся мы, но и за другихъ—за всѣхъ.

Вотъ въ этомъ-то смыслѣ и я утверждаю, что стыдъ—хорошее и здоровое чувство!

— Особенно когда люди стыдятся въ четырехъ стѣнахъ... ахъ, мой другъ, вѣдь мы и стыдимся-то какъ-то своеобразно!..

— Тихомолку, въ четырехъ стѣнахъ—это вѣрно. Но и четыре стѣны, въ которыхъ притаился подлинный стыдъ, могутъ имѣть свое значеніе въ общемъ развитіи жизненнаго строя. Когда въ громадномъ домѣ, сплошь горящемъ огнями, ты замѣчаешь три-четыре окна, окутанныя сумракомъ,—это на первый разъ поражаетъ тебя только въ качествѣ антитезы. Но когда ты, нѣсколько дней сряду проходя мимо зданія, убѣждаешься, что эти три черныя окна—явленіе не случайное, а повторяющееся изо дня въ день, то оно уже заинтересовываетъ тебя.

— Но, можетъ-быть, эти окна принадлежатъ кладовой, въ которую складывается ненужный хламъ?

— Можетъ-быть, это и обыкновенная кладовая, а можетъ-быть, и другое вмѣстилище, въ которомъ матеріала для стыда конца-краю нѣтъ. Впрочемъ, я воспользовался этимъ уподобленіемъ только для того, чтобъ показать, какимъ путемъ люди могутъ заинтересовываться явленіями, повидимому, совсѣмъ не бросающимися въ глаза. Пожалуй, возьмемъ и другой примѣръ. Ты выходишь на улицу и въ толпѣ людей, выпячивающихъ грудь и нахально несущихъ мѣдный лобъ, видишь человѣка, который не идетъ рядомъ со всѣми по тротуару, а жмется къ стѣнѣ. Ты вглядываешься въ этого человѣка и по наружному обзору убѣждаешься, что онъ—не калѣка и не кретинъ, и что, слѣдовательно, существенныхъ внѣшнихъ причинъ, которыя заставляли бы жаться къ сторонѣ, для него не существуетъ. И не испугъ написанъ на его лицѣ, а только чувство неизреченной брезгливости. Натурально, этотъ человѣкъ начинаетъ интересовать тебя: ты хочешь узнать, почему у этого человѣка не мѣдный лобъ, какъ у большинства идущихъ по тротуару, и даже не полумѣдный, какъ у меньшинства... И узнаешь. Такъ точно и со стыдомъ, хотя бы онъ и скрывался въ четырехъ стѣнахъ. Стыдъ, это — начало очень тонкое, другъ мой; онъ и въ самыхъ плотныхъ стѣнахъ найдетъ швы, сквозь которые пробьется наружу.

— Стало-быть, по-твоему, мы въ нѣкоторомъ родѣ стыдоучители?—пошутилъ я; но Глумовъ не слышалъ моей шутки и продолжалъ:

— Стыдъ животворитъ. Безсильному онъ помогаетъ нести бремя жизни, сильному внушаетъ мысль о подвигѣ. Но, сверхъ того, онъ и прилипчивъ. Хотя ты, безсильный, стыдишься только въ четырехъ стѣнахъ, но и это келейное стыдѣніе не пройдетъ безъ слѣда, ибо непремѣнно отыщется другой, болѣе сильный, который, заинтересовавшись тобой, пойдетъ дальше. Есть тутъ преемственность, есть. И, по-моему, всякія опасенія насчетъ безплодности стыда не только ошибочны сами по себѣ, но и могутъ ввести въ заблужденіе честныхъ людей. А потому стыдись, мой другъ, и не опасайся быть въ тягость ни себѣ, ни другимъ! Вѣрь, что твой стыдъ зачтется тебѣ и за клѣтчатые штаны, для пріобрѣтенія которыхъ ты лишалъ свой организмъ правильнаго питанія, и за прокламаціи въ формѣ стихотворенія: *Какъ мальчикъ кудрявый ръзва!* Не только не безполезно, но даже положительно необходимо, чтобъ сколь возможно бо́льшее количество людей почувствовало стыдъ. Чтобъ люди стыдились не только неудачъ, но и удачъ, чтобъ въ случаѣ неудачи они чувствовали на своемъ лицѣ пощечину, а въ случаѣ удачи—двѣ. Потому что только тогда опредѣлится вполнѣ ясно, что нравственный уровень общества настолько распутенъ, что пощечина сдѣлалась единственно возможнымъ мѣриломъ для оцѣнки поступковъ и дѣйствій. И только тогда получится непремѣнная рѣшимость во что́ бы то ни стало уйти. Такъ-то, душа моя!

Глумовъ, очевидно, былъ доволенъ, что высказался. Онъ протянулъ мнѣ руку и даже обнялъ меня. Въ этомъ видѣ, то-есть обнявшись, мы сдѣлали нѣсколько туровъ взадъ и впередъ по кабинету. «Еще одна дворянская мелодія канула въ вѣчность!» — мелькнуло у меня въ головѣ, но я воздержался высказать эту мысль, потому что Глумовъ на этотъ разъ навѣрное огорчился бы ею.

— Я знаю, голубчикъ, — началъ опять Глумовъ, послѣ непродолжительнаго молчанія:—что въ стыдѣ нашемъ нѣтъ ничего героическаго, но настаиваю на томъ, что одинъ видъ стыдящагося человѣка, среди проявленій безстыжества, уже можетъ служить небезполезнымъ напоминаніемъ. Самые закоренѣлые проходимцы — и тѣ понимаютъ, что въ стыдящемся человѣкѣ есть нѣчто, выдѣляющее его изъ массы бездѣльниковъ и глупцовъ. Поэтому они такъ и стараются загнать его въ темный уголъ, откуда совсѣмъ бы его не было видно. А сколько субъектовъ не вполнѣ закоснѣлыхъ, сколько такихъ, которые заразились безстыже-

ствомъ или по малодушію, или по недоразумѣнію! Все это люди колеблющіеся, въ которыхъ напоминаніе о стыдѣ можетъ пробудить не только опасеніе возмездія, но и дѣйствительныя мерцанія совѣсти. И я убѣжденъ, что какъ ни робки эти позывы къ стыду, но и они не останутся безслѣдными. Вотъ во имя чего стыдъ долженъ быть зачтенъ даже такому существованію, котораго кондуитный итогъ формулируется словами: ни зла, ни добра!

На этотъ разъ Глумовъ умолкъ окончательно. Мелодія была закруглена, закончена и, словно гармоническій аккордъ, замерла въ четырехъ стѣнахъ моей квартиры...

Нѣтъ, она не вполнѣ замерла, потому что на другой день Глумовъ опять посѣтилъ меня и возобновилъ бесѣду на ту же тему.

— И не за одно стыдѣніе должно благодарить насъ потомство,—говорилъ онъ:—но и за то, что мы пустили въ ходъ мысль о безнадежности, первые убоялись жизни, первые высказали, что жить страшно, а пожалуй, и довольно. Все наше существованіе представляло собой непрерывную цѣпь тревогъ, страховъ и трепетовъ, не особенно лестныхъ для самолюбія, но замѣчательныхъ въ томъ отношеніи, что на послѣднемъ звенѣ этой цѣпи совершенно явственно можно было прочитать слово: безнадежность. И при этомъ мы такъ неотступно и такъ искренно вопіяли: «нельзя жить, нельзя! надо уйти, исчезнуть, пропасть!» что только глухой или преднамѣренно закоснѣлый могъ не слышать этихъ воплей. Теперь представь же себѣ такую картину: какое множество на свѣтѣ существуетъ людей, которые, ничего въ себѣ не заключая, кромѣ праха, все-таки карабкаются и хватаются цѣпкими руками за колеблющіяся нити срамнаго существованія—и вдругъ рядомъ съ ними выдѣляется небольшая кучка иныхъ людей, въ которыхъ это жадное ловленіе жизненныхъ нитей производитъ только отвращеніе, которые прямо провозглашаютъ: жить довольно! Ужели это зрѣлище не достаточно поразительно, чтобъ заинтересовать многихъ и многихъ?

— Поразительно-то поразительно; а все-таки, говоря по совѣсти, вѣдь и въ отвращеніи отъ жизни главную роль играла обычная наша нервная распущенность. И лучшимъ доказательствомъ, что это было именно такъ, служитъ то, что хоть мы и вопіяли: надо уйти, исчезнуть, пропасть!—но сами все-таки не уходили, не исчезали, не пропадали.

Вотъ хоть бы мы съ тобой — развѣ мы не живемъ? живемъ, братецъ, да еще какъ! дай Богъ и напр-ки такъ пожить!

— Позволь! Я охотно допускаю, что твое возраженіе съ формальной стороны вполнѣ резонно; но именно только съ формальной стороны, не больше, потому что мы лично тутъ ни при чемъ и представляемъ только обстановку, до которой будущему нѣтъ дѣла. Главная сила не въ насъ, а въ тѣхъ вопляхъ, которыми мы были преисполнены и совокупность которыхъ составила такъ-называемый духъ времени. Мы лично были непослѣдовательны — это такъ; но духъ времени, въ строеніи котораго, повторяю, участіе наше все-таки не подвержено никакому сомнѣнію, не можетъ быть привлеченъ къ отвѣтственности за наше личное безсиліе. Онъ свое дѣло сдѣлалъ; онъ принялъ брошенное нами сѣмя мысли, взлелѣялъ его и, навѣрное, выведетъ изъ него съ неумолимою послѣдовательностью всѣ дальнѣйшія развитія, которыя оно способно дать.

— Ахъ, Глумовъ, Глумовъ! да какія же развитія-то? Уйти! исчезнуть! — развѣ изъ этого можно что-нибудь извлечь?

— Для насъ съ тобой нельзя; для другихъ, болѣе сильныхъ—можно. Мы, люди воплей, говоримъ: надо исчезнуть! и останавливаемся на этомъ. Другіе, болѣе сильные, скажутъ: нѣтъ, исчезнуть мало, надо искать! И будутъ искать. А все-таки первый толчокъ дали—мы! Неужто же это не должно быть намъ зачтено?

Я не отвѣтилъ на этотъ вопросъ, но, признаюсь откровенно, меня уже брало раздумье. Глумовская теорія оправданія «экскурсій» начинала серьезно соблазнять меня, и я чувствовалъ, какъ въ мою голову исподволь, но настойчиво и съ явнымъ намѣреніемъ утвердиться въ ней навсегда, заползала мысль: а что, ежели и въ самомъ дѣлѣ намъ удастся выйти сухими изъ воды?

— Да и не это одно,—продолжалъ между тѣмъ Глумовъ, все больше и больше разгорячаясь:—многое, многое будетъ намъ зачтено... все! Вся наша жизнь была сплошнымъ уклоненіемъ отъ жизни, настойчивымъ отказомъ отъ ея ликованій и торжествъ! Было же, стало-быть, что-нибудь, что побуждало насъ не сходить со стези воздержанія... было, было, было!

— Были экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ,—робко напоминалъ я:—можетъ-быть, въ нихъ-то и

заключается главный стимулъ нашего воздержанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и та заслуга, которая будетъ намъ зачтена по преимуществу...

Мое напоминаніе объ экскурсіяхъ было, очевидно, какъ нельзя больше кстати, потому что Глумовъ окончательно возсіялъ.

— А ты думалъ—нѣтъ?—ужъ не говорилъ онъ, а гремѣлъ:—ты думалъ, что экскурсіи-то наши—пустопорожнее мѣсто? Нѣтъ, мой другъ, это—сила, большая сила! Отъ нихъ свѣтъ пролился! Я знаю, что нынче принято относиться къ нимъ съ пренебрежительною снисходительностью, что большинство даже несомнѣнно порядочныхъ людей совсѣмъ позабыло объ нихъ, но знаю также, что къ нимъ еще возвратятся... навѣрное! Потому что въ нихъ—свѣтъ! свѣтъ! свѣтъ!

Въ этихъ словахъ звучалъ такой несомнѣнный порывъ, что онъ сразу охватилъ и меня. Мы оба инстинктивно встали съ мѣстъ и, крѣпко сжимая другъ другу руки и смотря другъ другу въ глаза, воскликнули:

— Свѣтъ! свѣтъ! свѣтъ!

Ежели читатель заподозритъ, что, отдаваясь нашему порыву, мы били на театральный эффектъ, то онъ будетъ положительно неправъ. Передъ кѣмъ было рисоваться намъ? кто могъ быть свидѣтелемъ нашего порыва, кромѣ четырехъ нѣмыхъ стѣнъ?

Но, можетъ-быть, читатель пойдетъ дальше въ своей подозрительности и скажетъ, что для рисовки существуютъ и болѣе тонкіе поводы, что человѣкъ нерѣдко устраиваетъ театральные эффекты не только въ виду сторонніхъ зрителей, но и ради самого себя. Что этимъ способомъ онъ достигаетъ нѣкоторыхъ небезполезныхъ для себя результатовъ, какъ, напримѣръ: самоуслажденія, самообольщенія и т. п., каковые результаты поощряютъ его помаленьку тянуть да тянуть жизненную канитель до указаннаго часа.

Клянусь, ничего подобнаго не было! Мы не рисовались ни передъ людьми, ни передъ самими собой, а отдались порыву безусловно, беззавѣтно, не имѣя въ виду ни самоуслажденій, ни самообольщеній—ничего!

Единственный стимулъ, который еще можно предположить въ этомъ случаѣ, это—жгучая потребность самооправданія. Но вѣдь потребность эта столь же законна, какъ и самобичеваніе. Она до такой степени лежитъ въ природѣ человѣка, что даже въ основѣ какого угодно самобичева

ежели его подробнѣе разобрать, навѣрное, отыщется замаскированное самооправданіе. Помилуйте! ежели человѣкъ самъ себя бичуетъ, безъ всякихъ внѣшнихъ побужденій, стало-быть, онъ все-таки сила! Ужели же въ этой самоувѣренности, въ этомъ косвенномъ, но совершенно явномъ признаніи себя силою—не слышится полнѣйшее самооправданіе?

Но, можетъ-быть, человѣкъ, бичуя самого себя, не безъ хитрости разсчитываетъ силу удара и не слишкомъ-то ужъ больно...

Будетъ. Ибо, ежели я не оборву разомъ, то, навѣрное, запутаюсь въ лабиринтѣ самовопрошеній и самовозраженій. И опять меня со всѣхъ сторонъ обступятъ мелодіи... Мелодіи! мелодіи! мелодіи!

Да, я больше не сомнѣваюсь: Глумовъ сказалъ правду. И стыдѣніе, и принципъ безнадежности, и опаска жизни, и экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ—все это несомнѣнно представляетъ очень вѣскія права на зачетъ въ будущемъ. Да, мы прошли въ мірѣ не безплодно, то-есть опять-таки не мы собственно, а духъ времени, въ строеніи котораго мы однако-жъ безспорно участвовали. Не знаю, установлюсь ли я на этой точкѣ зрѣнія до такой степени прочно, чтобъ и завтра, и послѣзавтра отстаивать ее, но теперь, въ эту минуту...

Въ эту минуту мои права на зачетъ до такой степени ясны для меня, что я даже позволяю себѣ нѣкоторую прихотливую затѣю.

Дѣло вотъ въ чемъ. Когда жизнь наконецъ отвяжется отъ меня, то пускай тотъ «батюшка», на долю котораго выпадетъ проводить меня въ лучшій міръ, вмѣсто длинной предики, наполненной неудобоваримыми выраженіями, въ родѣ: «благопотребныя намъ блага», или «благопочтительное даже предъ господиномъ квартальнымъ надзирателемъ благоповеденіе» и проч., прочтетъ слѣдующее краткое, но для всѣхъ вразумительное напутствіе:

«Братіе! передъ вами лежитъ прахъ человѣка, котораго жизнь была осуществленіемъ не весьма полезнаго, но скромнаго девиза: ни добра, ни зла! Этотъ человѣкъ не самоотвергался лично, но и не ругался надъ самоотверженіемъ, не плевалъ на него, не топталъ его ногами и не устраивалъ изъ него водевиля съ переодѣваніемъ. Клики торжествующаго безстыжества не соблазняли его, а, напротивъ, поселяли въ его сердцѣ страхъ, тоску, стыдъ. Представле-

ніе о стыдѣ составляло руководящее начало очень достаточной части его существованія и въ значительной степени примиряло его съ тревогами совѣсти. Тотъ же стыдъ примирилъ его и съ идеей исчезновенія; онъ помогъ ему видѣть въ этомъ актѣ не тяжкую разлуку съ благами жизни, но освобожденіе отъ узъ срама. Геройство не было въ привычкахъ этого человѣка, а, можетъ-быть, отсутствовало и въ самой природѣ его, но при этомъ нельзя не принять во вниманіе, во-первыхъ, традицій, эстетизма и обезпеченности, на лонѣ которыхъ онъ былъ воспитанъ, а во-вторыхъ, и того, что геройство вообще ни для кого не обязательно. Это послѣднее соображеніе въ особенности вѣско, хотя, по недоумѣнію, довольно рѣдко принимается въ разсчетъ. Какъ бы то ни было, но кажется, что сказанное въ этихъ немногихъ словахъ даетъ возможность, не обременяя памяти этого человѣка словомъ укоризны, закончить разсчетъ съ пройденнымъ имъ жизненнымъ путемъ словами: Sit tibi terra levis».

И довольно.

Я кончилъ. Я знаю, что читатель въ правѣ ждать отъ меня продолженія, а кромѣ того знаю, что я и самъ могъ бы продолжать до безконечности... И все-таки: я кончилъ.

Читатель, въ недоумѣніи, а можетъ-быть, и въ негодованіи, спроситъ меня:

— Что-жъ это наконецъ такое? Самобичеваніе или самооправданіе?

На этотъ вопросъ я могу отвѣтить только указаніемъ на заглавіе настоящей статьи, которое въ двухъ словахъ исчерпываетъ всю сущность ея. Вотъ эти слова:

Дворянскія мелодіи...

V.—Чужой толкъ *).

Я человѣкъ отживающій. Разстояніе, которое мнѣ остается пройти, такъ невелико, что мысль объ итогѣ невольно закрадывается въ голову. И вотъ, по размышленіи, оказы-

*) Разсказъ этотъ былъ написанъ еще въ 1877 году, но по обстоятельствамъ не могъ быть въ то время напечатанъ. Началомъ его я однако-жъ воспользовался, то-есть положилъ его въ основаніе другого моего разсказа: «Дворянскія мелодіи». Нынѣ считаю нелишнимъ напечатать предлагаемый разсказъ въ его первоначальномъ видѣ, при чемъ извиняюсь передъ читателями, что часть его имъ уже извѣстна.

вается, что итогъ этотъ можетъ быть формулированъ въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: ни зла, ни добра...

Не скрою, бываютъ минуты, когда такая краткословность моего кондуитнаго списка довольно-таки больно щекочетъ мою совѣсть. Есть въ ней что-то обидное, отзывающееся какою-то болѣзненною безформенностью. Положимъ, это еще ничего, что я въ сраженіяхъ не бывалъ, никого не изувѣчилъ и даже пороху не выдумалъ, но какимъ образомъ объяснить, что вообще никакихъ «поступковъ» за мною не числится? Вялость и хворость—вотъ и все. Именно хворость, потому что недугу, изъ котораго въ видѣ итога вырастаетъ сознаніе: «ни зла, ни добра»—даже названія не подберешь. Острыхъ болей нѣтъ, а постоянно какъ будто разнемогаешься.

Тѣмъ не менѣе, когда, движимый инстинктомъ самооправданія, я начинаю вглядываться пристальнѣе въ то положеніе, которое создали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что личное мое участіе въ этомъ дѣлѣ далеко не существенно), то въ концѣ концовъ прихожу къ заключенію, что есть однако-жъ почва, на которой я довольно прилично могу примириться съ встревожившеюся совѣстью. Нѣтъ дѣятельнаго, торжествующаго зла—и на томъ спасибо! Конечно, это не Богъ знаетъ какая «почва», а скорѣе соломинка, но въ качествѣ человѣка отживающаго, человѣка иныхъ пѣсенъ и иныхъ традицій, я хватаюсь за эту соломинку и возлагаю на нее великія надежды.

Мы переживаемъ время, которое, несомнѣнно, представляетъ самое полное осуществленіе ликующаго хищничества. Безсовѣстность, заручившись союзомъ съ невѣжествомъ и глупостью, выбросила на поверхность цѣлую массу людей, которые до того упростили свои отношенія къ вещамъ и лицамъ, что, не стѣсняясь, возводятъ насиліе на степень единственнаго жизненнаго регулятора. Можетъ-быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло-откровеннаго заявленія «принципій» давно не бывало. Прежде, даже въ средѣ самыхъ отпѣтыхъ людей, можно было изрѣдка разслышать слова, въ родѣ: «великодушіе, совѣсть, долгъ»; нынче эти слова окончательно вычеркнуты изъ лексикона торжествующихъ людей. Прежде люди, сдѣлавши пакость, хотя и пользовались плодами ея, но молились Богу, чтобъ объ ней не узнали; нынче—Богу молиться не принято, а краснѣютъ по поводу затѣянной пакости только тогда,

когда она не удалась. Можетъ-быть, въ этой темной оцѣнкѣ современности (то-есть торжествующей ея части) очень значительную роль играетъ мое личное чувство—чувство отживающаго человѣка,—но во всякомъ случаѣ я дѣлаю ее *искренно* и затѣмъ предоставляю читателю самому распутывать, сколько изъ приведенной выше характеристики принадлежитъ брюзжанью усталаго старика, и сколько—дѣйствительности.

Но если даже такое обыкновенное слово, какъ «совѣсть», оказывается слишкомъ тяжеловѣснымъ для современныхъ діалоговъ, то какое же значеніе могутъ имѣть слова болѣе мудреныя, какъ, напримѣръ: «любовь», «самоотверженіе» и проч.? Очевидно, что единственная оцѣнка, на которую можно въ этомъ случаѣ разсчитывать,—это хохотъ. Что-то отрепанное, жалкое, полупомѣшанное представляется: не то салопница, не то Донъ-Кихотъ, выѣзжающій на битву съ мельницами. И всѣмъ по этому поводу весело, всѣ хохочутъ: и преднамѣренные бездѣльники и дураки.

Я принадлежу къ поколѣнію, которое воспитывалось на лонѣ эстетическихъ преданій и матеріальной обезпеченности. Конечно, и мы не всегда оставались вѣрными чисто-эстетическимъ традиціямъ, но по временамъ дѣлали набѣги на область дѣйствительности... нѣтъ, впрочемъ, не туда, а скорѣе въ область «униженныхъ и оскорбленныхъ». Но, подъ прикрытіемъ обезпеченности, эти набѣги производились словно во снѣ, безъ строгой послѣдовательности, порывами, которые столь же быстро потухали, какъ и зажигались. Много вышло изъ этой школы проходимцевъ и негодяевъ, но довольно и просто безсильныхъ и неумѣлыхъ людей. Проходимцы оказались живучими; неумѣлые—какъ и слѣдовало ожидать—вымираютъ; ибо набѣги въ область униженныхъ и оскорбленныхъ, несмотря на свою платоничность, все-таки не прошли для нихъ даромъ. Къ числу вымирающихъ принадлежу и я.

Я сижу въ своёмъ углу и разнемогаюсь. Гордиться тутъ нечѣмъ, но самый фактъ вольнаго умиранія, въ виду легкой достижимости торжества, есть уже признакъ, передъ которымъ должно умолкнуть рѣзкое слово осужденія.

Сверхъ того, я могу назвать три особенности, которыя проходятъ черезъ очень значительную половину моего существованія и которыя, по сущей справедливости, должны быть мнѣ зачтены.

Особенность первая—тоска. Тоскливое чувство—и при-

томъ не напускное, а совершенно искреннее—съ давнихъ поръ составляетъ господствующій тонъ моей жизни. Современная вакханалія хищничества не пробуждаетъ во мнѣ не только стремленія участвовать въ ней, но даже любопытства узнать причины этого явленія; она просто утомляетъ меня, поселяетъ чувство унынія. Ужели это не «заслуга»?

Я не желаю быть ни желѣзнодорожнымъ дѣятелемъ, ни кабачникомъ, ни добровольцемъ, ни адвокатомъ, ни даже присяжнымъ засѣдателемъ.. воистину не желаю, не хочу! Какая-то щемящая унылость, сопровождаемая полнымъ отсутствіемъ естественности и искренности, слышится мнѣ и въ базарномъ гвалтѣ, и во всѣхъ бряцаніяхъ, составляющихъ внѣшнюю обстановку современной хищнической свалки. Фальшиво, неинтересно, даже просто глупо. Уйти изъ этой свалки, забиться подальше куда-нибудь въ незнаемую раковину и тамъ, ничего не видя и не слыша, предаваться грызеніямъ тоски—вотъ единственный искъ, который я предъявляю къ жизни, единственное желаніе, которое мнѣ удалось формулировать съ достаточною ясностью. Никакихъ другихъ исковъ и желаній у меня нѣтъ, потому что, если я, съ одной стороны, не хочу торжествовать, то съ другой—не могу и не умѣю самоотвергаться. Не могу! не умѣю!—это не претензіи на оправданіе, а фактъ.

Бремя эстетическихъ традицій и обезпеченности такъ тяжело и плотно легло на мою спину, что я ужъ давно не имѣю силы ее разогнуть. Я сказалъ выше, что въ жизни моей бывали случаи (даже довольно частые), когда я посѣщалъ область «униженныхъ и оскорбленныхъ»,—я охотно посѣщаю ее и теперь. Но вѣдь это-то самое и есть тоска. Что-то, несомнѣнно вызывающее всѣ симпатіи моей души, мелькаетъ передо мной, но что̀ именно — я различить не могу. Что-то требуетъ моей помощи, но въ чемъ должна состоять эта помощь, и какъ она можетъ быть подана—я и отвѣтить на это не умѣю. Однимъ словомъ, я вкладываю персты въ воздушное пространство, а не въ раны. «Не могу!»—«не умѣю!»— мучительно повторяю я себѣ и только одно сознаю вполнѣ отчетливо: что все мое существо преисполнено безмѣрной тоской.

Я смотрю на факты самоотверженія и боюсь примѣнить къ нимъ какую-нибудь оцѣнку. Мнѣ сдается, что я не понимаю ихъ, и что, во всякомъ случаѣ, если я начну говорить объ нихъ, то буду говорить совсѣмъ не то и совсѣмъ

не объ томъ. Никто не прельстится моими изображеніями, воспроизведеніями и описаніями (даже если бы они обнаруживали не водевильное, а дѣйствительное мастерство), но всякій самый снисходительный человѣкъ скажетъ: «вотъ старый безстыдникъ, у котораго сѣдой волосъ изъ всѣхъ щелей лѣзетъ, а онъ и за всѣмъ тѣмъ не чувствуетъ потребности обуздать себя! вотъ неопрятный болтунище, который до преклонныхъ лѣтъ не можетъ очнуться отъ экскурсій въ область «униженныхъ и оскорбленныхъ», которыми онъ нѣкогда сдабривалъ свое пребываніе на лонѣ водевильнаго эстетизма и обезпеченности!»

Я боюсь этихъ приговоровъ не потому, что они могутъ оскорбить мое самолюбіе, а потому, что въ нихъ слышится правда. Другія птицы—другія пѣсни! говорю я себѣ, и такъ какъ я совершенно сознаю себя птицею очень старою, то стараюсь во всемъ, что̀ касается оцѣнки этихъ другихъ пѣсенъ, по возможности обуздывать себя или, много-много, предаваться по поводу ихъ опрятной тоскѣ. Я соглашаюсь впередъ, что это тоска безплодная и даже не совсѣмъ ясно мотивированная, но содержаніе ея, несмотря на неясность, настолько все-таки доброкачественно, что отказъ въ принятіи его къ зачету былъ бы воистину несправедливъ.

Вторая моя особенность — щекотливость, очень близкая къ стыду. По временамъ мнѣ кажется, что я вращаюсь среди смѣшанной атмосферы бойни и дома терпимости. Очень возможно, что тутъ есть преувеличеніе, въ которомъ главную роль играютъ мои художественные инстинкты; но вѣдь если мнѣ даже доказано будетъ, что я преувеличиваю, отъ этого мнѣ не сдѣлается легче. Сверхъ того, я сознаю себя до того слабосильнымъ, малорослымъ, загнаннымъ, затерянным въ какой-то безыменной толпѣ, что всякая возможность чѣмъ-нибудь заявить о своей личности, о своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ представляется навсегда для меня утраченною. Быть-можетъ, въ этихъ заявленіяхъ и надобности нѣтъ (старраго тряпья! кому нужно... сттарраго трряппья!), а все-таки сдается, что претензія эта не только не преувеличенная, но даже совсѣмъ-совсѣмъ естественная. Тѣмъ не менѣе отыскать практическій выходъ изъ этого болѣе или менѣе несноснаго положенія я все-таки не въ состояніи (я убѣжденъ, что жизнь, въ конечномъ результатѣ, поставила меня лицомъ къ лицу съ глухой стѣной, и что стало-быть, безполезно даже пред-

Вотъ хоть бы мы съ тобой — развѣ мы не живемъ? живемъ, братецъ, да еще какъ! дай Богъ и напрѣки такъ пожить!

— Позволь! Я охотно допускаю, что твое возраженіе съ формальной стороны вполнѣ резонно; но именно только съ формальной стороны, не больше, потому что мы лично тутъ ни при чемъ и представляемъ только обстановку, до которой будущему нѣтъ дѣла. Главная сила не въ насъ, а въ тѣхъ вопляхъ, которыми мы были преисполнены и совокупность которыхъ составила такъ-называемый духъ времени. Мы лично были непослѣдовательны — это такъ; но духъ времени, въ строеніи котораго, повторяю, участіе наше все-таки не подвержено никакому сомнѣнію, не можетъ быть привлеченъ къ отвѣтственности за наше личное безсиліе. Онъ свое дѣло сдѣлалъ; онъ принялъ брошенное нами сѣмя мысли, взлелѣялъ его и, навѣрное, выведетъ изъ него съ неумолимою послѣдовательностью всѣ дальнѣйшія развитія, которыя оно способно дать.

— Ахъ, Глумовъ, Глумовъ! да какія же развитія-то? Уйти! исчезнуть! — развѣ изъ этого можно что-нибудь извлечь?

— Для насъ съ тобой нельзя; для другихъ, болѣе сильныхъ—можно. Мы, люди воплей, говоримъ: надо исчезнуть! и останавливаемся на этомъ. Другіе, болѣе сильные, скажутъ: нѣтъ, исчезнуть мало, надо искать! И будутъ искать. А все-таки первый толчокъ дали—мы! Неужто же это не должно быть намъ зачтено?

Я не отвѣтилъ на этотъ вопросъ, но, признаюсь откровенно, меня уже брало раздумье. Глумовская теорія оправданія «экскурсій» начинала серьезно соблазнять меня, и я чувствовалъ, какъ въ мою голову исподволь, но настойчиво и съ явнымъ намѣреніемъ утвердиться въ ней навсегда, заползала мысль: а что, ежели и въ самомъ дѣлѣ намъ удастся выйти сухими изъ воды?

— Да и не это одно,—продолжалъ между тѣмъ Глумовъ, все больше и больше разгорячаясь:—многое, многое будетъ намъ зачтено... все! Вся наша жизнь была сплошнымъ уклоненіемъ отъ жизни, настойчивымъ отказомъ отъ ея ликованій и торжествъ! Было же, стало-быть, что-нибудь, что побуждало насъ не сходить со стези воздержанія... было, было, было!

— Были экскурсіи въ область униженныхъ и оскорбленныхъ,—робко напоминалъ я:—можетъ-быть, въ нихъ-то и

Третья моя особенность — это искреннее убѣжденіе, что жить довольно. Хотя моя тоска и мой стыдъ еще могутъ въ извѣстной степени имѣть воспитательное значеніе, но значеніе это, въ смыслѣ практическихъ послѣдствій, полезно только для другихъ, я же лично ничего изъ нихъ не извлекаю, кромѣ страстнаго желанія исчезнуть, уйти. Съ давнихъ поръ я вижу послѣднюю страницу съ начертаннымъ на ней словомъ: «конецъ», и, право, никого не намѣреваюсь надуть, говоря, что это самая желательная страница, какую только можно имѣть въ виду. Подумайте, какая масса срама вдругъ перестанетъ существовать, и какая громадная свита безобразныхъ видѣній разсѣется, какъ дымъ, и не будетъ больше тревожить испуганное воображеніе!

Несомнѣнно, что стремленіе сократиться и исчезнуть всего ближе подходитъ къ девизу: ни зла, ни добра, — и что въ этомъ смыслѣ оно не должно бы даже значиться въ числѣ оправдательныхъ документовъ. Но, взятое само по себѣ, независимо отъ практическихъ примѣненій, оно все-таки имѣетъ право быть выдѣленнымъ. Когда есть сознаніе, что «продолженіе впредь» не представляетъ иныхъ перспективъ, кромѣ перспективы хроническаго безсилія, тогда не можетъ быть желанія болѣе законнаго и естественнаго, а, пожалуй, даже и болѣе нравственнаго, какъ желаніе исчезнуть. Сколько есть такихъ, которые, будучи подавлены массами срама, все еще карабкаются и хватаются дрожащими руками за колеблющіяся нити срамного существованія, почему же рядомъ съ ними не различить такихъ, въ сердцахъ которыхъ это жадное ловленіе жизненныхъ нитей производитъ только скуку, граничащую съ отвращеніемъ?

Я сидѣлъ въ своемъ углу и разнемогался; Глумовъ, по обыкновенію, большими шагами ходилъ по комнатѣ и былъ угрюмъ. Мы только-что прочитали газеты и вели по этому поводу разговоръ.

— Ну, можно ли такъ!—восклицалъ я:—вѣдь это значитъ, что самаго простого практическаго смысла — и того нѣтъ!

— Нѣтъ, ты обрати вниманіе, до чего понизился уровень нашей печати! — повторилъ мнѣ Глумовъ: — простой совѣсти—и той нѣтъ!

Поговорили, поахали и наконецъ обратились къ самимъ

себѣ. Мы-то какую роль играемъ въ круговоротѣ современности? Что мы такое? Что мы можемъ, зачѣмъ живемъ? Но это обращеніе еще больше раздражило насъ обоихъ. Начинался одинъ изъ тѣхъ безконечныхъ разговоровъ, которые ведутся собесѣдниками какъ бы для того, чтобъ мистифицировать другъ друга, въ которыхъ чуется множество невымолвленныхъ словъ, недосказанныхъ рѣчей, въ которыхъ предметъ спора не формулируется, а какъ-то подозрѣвается, да и самый споръ ведется такъ, что не оставляетъ никакой надежды на серьезный выводъ. Очевидно, обѣ стороны смотрятъ въ одну и ту же точку (да и смотрѣть-то имъ больше некуда), одну и ту же мысль въ головѣ держатъ, но почему-то имъ понадобилось тянуть праздную канитель, высказывать другъ другу мнимыя возраженія, щеголять другъ передъ другомъ діалектическими тонкостями и проч.

На разговорахъ этихъ мы зубы съѣли. Каждый день мы ихъ начинаемъ и, повидимому, даже кончаемъ; каждый день, по наружности, разнообразимъ ихъ подкладку задачами самой животрепещущей современности и въ то же время внутренно сознаёмъ, что новы тутъ только ярлыки, за которыми скрывается давно залежавшаяся, покрытая плѣсенью, ветошь... Понятно, что это не успокаиваетъ, а только раздражаетъ.

— А выводъ все-таки возможенъ одинъ: кружимся мы вотъ въ этихъ четырехъ стѣнахъ, суесловимъ, острословимъ, сквернословимъ—и ничего изъ этого у насъ не выходитъ!—наконецъ сказалъ я въ формѣ заключенія.

По совѣсти, я не могу, впрочемъ, сказать, что выходило изъ моихъ словъ: были ли они дѣйствительнымъ заключеніемъ прежняго разговора или же, напротивъ, служили началомъ разговора новаго. Но раздавшійся въ передней звонокъ рѣшилъ въ пользу завершенія.

Въ комнату вошелъ Алексѣй Степанычъ Молчалинъ. Я такъ мало былъ приготовленъ къ его визиту, что прежде всего у меня мелькнуло въ головѣ: ужъ не желаетъ ли онъ мнѣ сообщить свое мнѣніе насчетъ высылки Митхада-паши въ мѣста не столь отдаленныя (въ то время это была самая животрепещущая новость дня). Но, взглянувъ на него, тотчасъ же убѣдился, что случилось нѣчто не совсѣмъ обыкновенное.

Онъ былъ очень блѣденъ; лицо осунулось, носъ обострился, углы губъ подергивались, глаза были сухи и воспалены.

— Дайте воды—пить хочу! — вымолвилъ онъ осиплымъ голосомъ, точно слова съ трудомъ выходили изъ пересохшаго горла:—былъ около васъ и вдругъ почувствовалъ: пить хочу... Не потревожилъ?

Онъ жадно выпилъ стаканъ воды съ виномъ, потомъ налилъ другой, опять выпилъ и съ минуту не могъ отдышаться. Ясно, что его постигла какая-то непріятность, и, судя по тому, что день былъ будничный и время близилось къ двумъ часамъ, когда Молчалиныхъ даже нельзя представить себѣ иначе, какъ водворенными въ соотвѣтствующихъ департаментахъ, я сначала подумалъ, что непріятность эта служебнаго свойства: чего добраго, въ отставку велѣли подать... И вдругъ меня словно обожгло. Вспомнилось, какъ однажды Алексѣй Степанычъ объ сынѣ стужался: «а ну, какъ онъ, Павелъ-то Алексѣичъ мой, что-ни-на-есть сболтнетъ?» Неужто сболтнулъ?

— Помните, мы намеднись съ вами о Павлушѣ бесѣдовали?—какъ бы угадывая мою мысль, спросилъ меня Алексѣй Степанычъ.

Вопросъ этотъ точно обухомъ ударилъ меня по головѣ. Догадливость моя показалась мнѣ до того зловѣщею, что я боялся даже мыслить, чтобъ и еще не напасть на какую-нибудь догадку. Затаивши дыханіе, смотрѣлъ я на этого человѣка, который—такъ недавно еще, мнѣ это казалось—цѣною неслыханныхъ усилій успѣлъ-таки пріурочить свое трудное существованіе къ чему-то прочному, почти безмятежному.

— Да-съ, такъ вотъ это самое... Именно этотъ случай и разыгрался у насъ... Пошелъ я давеча къ князю — къ начальнику-то своему — а тотъ говоритъ: «сами, сударь, виноваты! правилъ настоящихъ не умѣли внушить!» — Что-жъ! и прекрасно! Это точно, что я не внушалъ! ну, я, стало-быть, и отвѣтъ за это долженъ дать! А то, помилуйте! я—не внушалъ, а Павелъ Алексѣичъ все-таки обязанъ знать... «настоящія правила»! На что похоже!

Онъ высказалъ это безсвязно, едва ли сознавая значеніе своихъ словъ. И вслѣдъ затѣмъ такъ же машинально потянулся за сигарой, зажегъ ее и началъ муслить во рту.

— Смѣшно, право!—прибавилъ онъ въ заключеніе, какъ будто все «предыдущее» было для насъ такъ же ясно, какъ и для него:—я не внушалъ, а Павелъ Алексѣичъ—долженъ знать!!

Но, въ сущности, это «предыдущее» было дѣйствительно

ясно. Жизнь пріучила насъ къ цѣлому ряду явленій, которыя мы угадываемъ съ одного намека. Всѣ современныя семейныя драмы (во всѣхъ въ качествѣ дѣйствующаго premier sujet является подрастающій «молодой человѣкъ») построены до того на одинъ ладъ, что можно заранѣе расположить ихъ сценарій и угадать заключительную катастрофу. Стенографическіе отчеты газетъ знакомятъ насъ съ этими драмами довольно аккуратно, но нельзя сказать, чтобъ вполнѣ обстоятельно. А именно: не всѣ дѣйствующія лица выходятъ въ нихъ на сцену. Мы видимъ только такъ-называемыхъ увлекающихся, но намъ почти никогда не приходитъ на мысль, что у каждаго изъ этихъ увлекающихся существуетъ извѣстная обстановка, данная рожденіемъ, воспитаніемъ, дружбою. Стенографическіе отчеты рѣшительно умалчиваютъ объ этихъ обстановкахъ, а между тѣмъ въ нихъ встрѣчаются дѣйствующія лица, отнюдь не менѣе интересныя, какъ и главные сюжеты. Это—отцы и матери увлекающихся, которые мечутся, истекаютъ слезами и кровью и съ тѣмъ бо́льшею болью отзываются на удары судьбы, что послѣдніе падаютъ на организмы, уже обезсиленные прежними жизненными ударами. Поэтому, ежели читатель стенографическихъ отчетовъ хочетъ знать, гдѣ находится настоящій узелъ современныхъ семейныхъ драмъ, то онъ долженъ перенестись мыслью къ этимъ анонимнымъ, безъ рѣчей изнемогающимъ лицамъ. Тогда драма сдѣлается для него вполнѣ понятною, ибо онъ на себѣ самомъ почувствуетъ цѣпенящее дуновеніе того ужаса, который заставляетъ анонимныхъ людей анонимно истекать слезами и кровью.

Мы молчали. Я боялся даже взглянуть на Алексѣя Степаныча: мнѣ казалось, что я встрѣчу въ лицѣ его нѣчто такое, что̀ должно меня уничтожить. До сихъ поръ я видѣлъ въ немъ только несомнѣнно добраго человѣка; теперь—онъ представлялся мнѣ верховнымъ судьею, который силою сосредоточившагося въ немъ трагизма всю мою жизнь можетъ привести къ нулю. Да, я не зналъ, какъ *это* страшно; я не понималъ, что можетъ существовать *такая* боль. Вотъ человѣкъ, котораго жизнь до самой глубокой старости была сцѣпленіемъ всевозможныхъ «обстановочекъ», который вполнѣ удовлетворялся этимъ, думалъ только о томъ, какъ бы ему поудобнѣе устроить послѣднюю «обстановочку» — «обстановочку» смертнаго часа — и на котораго вдругъ, изъ-за угла, налетѣла неслыханнѣйшая

трагедія и заставила метаться въ пустотѣ, заставила истекать сухими слезами, не сознавать собственныхъ рѣчей, не понимать, зачѣмъ и куда онъ пришелъ...

Да, я увѣренъ, что онъ находился въ состояніи полусна и сознавалъ только одно: что его пристигла внезапная и совсѣмъ нестерпимая боль. Больно вездѣ: мозгъ горитъ, сердце колотится въ груди, спину переломило. Надо куда-то бѣжать, о чемъ-то взывать — и все это въ такія минуты, когда разсудокъ отказывается дѣйствовать, когда колеблющіяся ноги не могутъ выносить тяжести вдругъ осѣвшаго тѣла, когда съ каждымъ шагомъ кажется, что проваливаешься въ бездну. Несомнѣнно, что старикъ уже съ ранняго утра мыкался по городу, но *былъ* ли онъ гдѣ-нибудь и *зачѣмъ* былъ — навѣрно, онъ въ эту минуту даже разсказать не могъ. Бываютъ положенія, когда человѣкъ ни о чемъ больше и думать не можетъ, кромѣ того, что ему надо куда-то идти и за что-то себя распинать, когда онъ спѣшитъ, оставляетъ всѣ дѣла, выходитъ на улицу—и не знаетъ, въ какую сторону броситься. Я убѣжденъ, что онъ и ко мнѣ зашелъ машинально. Пить захотѣлось, онъ взглянулъ на домъ, мимо котораго шелъ, показалось что-то знакомое—онъ позвонилъ. Вотъ и теперь, хотя глаза его были устремлены въ ту сторону, гдѣ стояли мы съ Глумовымъ, но, въ сущности, онъ смотрѣлъ не на насъ, а черезъ насъ, въ тотъ невѣдомый уголъ, откуда слышится ему дорогой голосъ: «мы, папаша, знаемъ, что вы насъ любите, и очень вамъ за это благодарны». Эти слова когда-то казались ему холодными (онъ, какъ и всѣ старики-отцы, не прочь бы посентиментальничать), но теперь они звучатъ въ его ушахъ, какъ высшее выраженіе сыновней любви. Да, именно такъ, просто и безъ излишествъ, долженъ говорить сынъ съ отцомъ, такой сынъ, который ждетъ отъ отца серьезно-любовнаго отношенія, а не бомбошки. Эта сжатость и трезвенность сыновняго обращенія даже ему, старику, дѣлала величайшую честь: она поднимала его до уровня сына. Да, поднимала; отца поднимала... до сына. Теперь это для него совсѣмъ ясно. И вотъ этотъ самый сынъ, который ему такъ недавно еще говорилъ: «мы, папаша, знаемъ, что вы насъ любите...» ахъ, какъ онъ просто, какъ любовно онъ это говорилъ! Господи! да вѣдь не дальше, какъ вчера, вчера утромъ, онъ, Алексѣй Степанычъ, ходилъ, обнявши его, по залѣ и не надоѣдалъ ему старческой болтовнею, а только

томъ не напускное, а совершенно искреннее—съ давнихъ поръ составляетъ господствующій тонъ моей жизни. Современная вакханалія хищничества не пробуждаетъ во мнѣ не только стремленія участвовать въ ней, но даже любопытства узнать причины этого явленія; она просто утомляетъ меня, поселяетъ чувство унынія. Ужели это не «заслуга»?

Я не желаю быть ни желѣзнодорожнымъ дѣятелемъ, ни кабачникомъ, ни добровольцемъ, ни адвокатомъ, ни даже присяжнымъ засѣдателемъ.. воистину не желаю, не хочу! Какая-то щемящая унылость, сопровождаемая полнымъ отсутствіемъ естественности и искренности, слышится мнѣ и въ базарномъ гвалтѣ, и во всѣхъ бряцаніяхъ, составляющихъ внѣшнюю обстановку современной хищнической свалки. Фальшиво, неинтересно, даже просто глупо. Уйти изъ этой свалки, забиться подальше куда-нибудь въ незнаемую раковину и тамъ, ничего не видя и не слыша, предаваться грызеніямъ тоски—вотъ единственный искъ, который я предъявляю къ жизни, единственное желаніе, которое мнѣ удалось формулировать съ достаточною ясностью. Никакихъ другихъ исковъ и желаній у меня нѣтъ, потому что, если я, съ одной стороны, не хочу торжествовать, то съ другой—не могу и не умѣю самоотвергаться. Не могу! не умѣю!—это не претензіи на оправданіе, а фактъ.

Бремя эстетическихъ традицій и обезпеченности такъ тяжело и плотно легло на мою спину, что я ужъ давно не имѣю силы ее разогнуть. Я сказалъ выше, что въ жизни моей бывали случаи (даже довольно частые), когда я посѣщалъ область «униженныхъ и оскорбленныхъ»,—я охотно посѣщаю ее и теперь. Но вѣдь это-то самое и есть тоска. Что-то, несомнѣнно вызывающее всѣ симпатіи моей души, мелькаетъ передо мной, но что̀ именно — я различить не могу. Что-то требуетъ моей помощи, но въ чемъ должна состоять эта помощь, и какъ она можетъ быть подана—я и отвѣтить на это не умѣю. Однимъ словомъ, я вкладываю персты въ воздушное пространство, а не въ раны. «Не могу!»—«не умѣю!»— мучительно повторяю я себѣ и только одно сознаю вполнѣ отчетливо: что все мое существо преисполнено безмѣрной тоской.

Я смотрю на факты самоотверженія и боюсь примѣнить къ нимъ какую-нибудь оцѣнку. Мнѣ сдается, что я не понимаю ихъ, и что, во всякомъ случаѣ, если я начну говорить объ нихъ, то буду говорить совсѣмъ не то и совсѣмъ

не объ томъ. Никто не прельстится моими изображеніями, воспроизведеніями и описаніями (даже если бы они обнаруживали не водевильное, а дѣйствительное мастерство), но всякій самый снисходительный человѣкъ скажетъ: «вотъ старый безстыдникъ, у котораго сѣдой волосъ изъ всѣхъ щелей лѣзетъ, а онъ и за всѣмъ тѣмъ не чувствуетъ потребности обуздать себя! вотъ неопрятный болтунище, который до преклонныхъ лѣтъ не можетъ очнуться отъ экскурсій въ область «униженныхъ и оскорбленныхъ», которыми онъ нѣкогда сдабривалъ свое пребываніе на лонѣ водевильнаго эстетизма и обезпеченности!»

Я боюсь этихъ приговоровъ не потому, что они могутъ оскорбить мое самолюбіе, а потому, что въ нихъ слышится правда. Другія птицы—другія пѣсни! говорю я себѣ, и такъ какъ я совершенно сознаю себя птицею очень старою, то стараюсь во всемъ, что̀ касается оцѣнки этихъ другихъ пѣсенъ, по возможности обуздывать себя или, многомного, предаваться по поводу ихъ опрятной тоскѣ. Я соглашаюсь впередъ, что это тоска безплодная и даже не совсѣмъ ясно мотивированная, но содержаніе ея, несмотря на неясность, настолько все-таки доброкачественно, что отказъ въ принятіи его къ зачету былъ бы воистину несправедливъ.

Вторая моя особенность — щекотливость, очень близкая къ стыду. По временамъ мнѣ кажется, что я вращаюсь среди смѣшанной атмосферы бойни и дома терпимости. Очень возможно, что тутъ есть преувеличеніе, въ которомъ главную роль играютъ мои художественные инстинкты; но вѣдь если мнѣ даже доказано будетъ, что я преувеличиваю, отъ этого мнѣ не сдѣлается легче. Сверхъ того, я сознаю себя до того слабосильнымъ, малорослымъ, загнаннымъ, затеряннымъ въ какой-то безыменной толпѣ, что всякая возможность чѣмъ-нибудь заявить о своей личности, о своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ представляется навсегда для меня утраченною. Быть-можетъ, въ этихъ заявленіяхъ и надобности нѣтъ (старраго тряпья! кому нужно... сттарраго трряппья!), а все-таки сдается, что претензія эта не только не преувеличенная, но даже совсѣмъ-совсѣмъ естественная. Тѣмъ не менѣе отыскать практическій выходъ изъ этого болѣе или менѣе несноснаго положенія я все-таки не въ состояніи (я убѣжденъ, что жизнь, въ конечномъ результатѣ, поставила меня лицомъ къ лицу съ глухой стѣной, и что стало-быть, безпелезно даже пред-

принимать что-нибудь, чтобъ перескочить черезъ нее); но я могу стыдиться его и пользуюсь этою возможностью, то-есть стыжусь искренно, всѣми силами души. И вѣрю, что стыдъ — хорошее, здоровое чувство — при случаѣ можетъ быть рекомендованъ даже въ качествѣ цѣлесообразнаго практическаго средства.

Стыдъ очищаетъ человѣка; безсильному онъ помогаетъ нести бремя безсилія, сильному — внушаетъ мысль о подвигѣ. Нужно, чтобъ возможно бо́льшее количество людей почувствовало стыдъ. Нужно, чтобъ люди стыдились не только пораженій, но и побѣдъ и одолѣній, не только неудачъ, но и удачъ. Чтобъ въ случаѣ неудачи они почувствовали на своемъ лицѣ пощечину, а въ случаѣ удачи — двѣ. Только тогда вполнѣ выяснится, что нравственный уровень общества настолько гнилъ, что пощечина сдѣлалась единственнымъ возможнымъ мѣриломъ для оцѣнки поступковъ и дѣйствій. Только тогда получится рѣшимость во что бы ни стало уйти изъ области пощечинъ.

Въ моемъ стыдѣ нѣтъ ничего героическаго — я знаю и это; но думаю, что одинъ видъ стыдящагося человѣка, среди проявленій несомнѣнно безстыжаго торжества, уже можетъ служить небезполезнымъ напоминаніемъ. Самые закоренѣлые проходимцы — и тѣ понимаютъ, что въ стыдящемся человѣкѣ есть нѣчто, выдѣляющее его изъ общей массы торжествующихъ бездѣльниковъ и глущовъ. Поэтому они прежде всего стремятся подыскаться подъ него, а если солидныхъ прицѣпокъ нѣтъ, то сторонятся и стараются игнорировать. А сколько есть субъектовъ не вполнѣ закоренѣлыхъ, сколько такихъ, которые попали въ лагерь торжествующихъ или по малодушію, или по недоразумѣнію! Все это люди колеблющіеся, въ которыхъ видъ стыдящагося человѣка можетъ пробудить не только мерцанія совѣсти, но и опасенія возмездія. Въ нихъ еще нѣтъ настолько наглости, чтобъ совсѣмъ игнорировать представленіе о стыдѣ, и потому они, хотя урывками и втихомолку, но все-таки подходятъ къ стыдящемуся человѣку и жмутъ ему руку. Я убѣжденъ, что какъ ни смутны эти позывы къ стыду, но они и на практикѣ не останутся безслѣдными, что они произведутъ въ торжествующемъ лагерѣ ежели не прямой разладъ, то броженіе, и что, пожалуй, когда-нибудь это броженіе превратится въ цѣлую заразу стыда. Вотъ во имя чего стыдъ долженъ быть зачтенъ даже такому существованію, котораго итогъ формулируется словами: ни зла, ни добра!

Третья моя особенность — это искреннее убѣжденіе, что жить довольно. Хотя моя тоска и мой стыдъ еще могутъ въ извѣстной степени имѣть воспитательное значеніе, но значеніе это, въ смыслѣ практическихъ послѣдствій, полезно только для другихъ, я же лично ничего изъ нихъ не извлекаю, кромѣ страстнаго желанія исчезнуть, уйти. Съ давнихъ поръ я вижу послѣднюю страницу съ начертаннымъ на ней словомъ: «конецъ», и, право, никого не намѣреваюсь надуть, говоря, что это самая желательная страница, какую только можно имѣть въ виду. Подумайте, какая масса срама вдругъ перестанетъ существовать, и какая громадная свита безобразныхъ видѣній разсѣется, какъ дымъ, и не будетъ больше тревожить испуганное воображеніе!

Несомнѣнно, что стремленіе сократиться и исчезнуть всего ближе подходитъ къ девизу: ни зла, ни добра, — и что въ этомъ смыслѣ оно не должно бы даже значиться въ числѣ оправдательныхъ документовъ. Но, взятое само по себѣ, независимо отъ практическихъ примѣненій, оно все-таки имѣетъ право быть выдѣленнымъ. Когда есть сознаніе, что «продолженіе впредь» не представляетъ иныхъ перспективъ, кромѣ перспективы хроническаго безсилія, тогда не можетъ быть желанія болѣе законнаго и естественнаго, а, пожалуй, даже и болѣе нравственнаго, какъ желаніе исчезнуть. Сколько есть такихъ, которые, будучи подавлены массами срама, все еще карабкаются и хватаются дрожащими руками за колеблющіяся нити срамного существованія, почему же рядомъ съ ними не различить такихъ, въ сердцахъ которыхъ это жадное ловленіе жизненныхъ нитей производитъ только скуку, граничащую съ отвращеніемъ?

Я сидѣлъ въ своемъ углу и разнемогался; Глумовъ, по обыкновенію, большими шагами ходилъ по комнатѣ и былъ угрюмъ. Мы только-что прочитали газеты и вели по этому поводу разговоръ.

— Ну, можно ли такъ!—восклицалъ я:—вѣдь это значитъ, что самаго простого практическаго смысла — и того нѣтъ!

— Нѣтъ, ты обрати вниманіе, до чего понизился уровень нашей печати! — повторилъ мнѣ Глумовъ: — простой совѣсти—и той нѣтъ!

Поговорили, поахали и наконецъ обратились къ самимъ

себѣ. Мы-то какую роль играемъ въ круговоротѣ современности? Что мы такое? Что мы можемъ, зачѣмъ живемъ? Но это обращеніе еще больше раздражило насъ обоихъ. Начинался одинъ изъ тѣхъ безконечныхъ разговоровъ, которые ведутся собесѣдниками какъ бы для того, чтобъ мистифицировать другъ друга, въ которыхъ чуется множество невымолвленныхъ словъ, недосказанныхъ рѣчей, въ которыхъ предметъ спора не формулируется, а какъ-то подозрѣвается, да и самый споръ ведется такъ, что не оставляетъ никакой надежды на серьезный выводъ. Очевидно, обѣ стороны смотрятъ въ одну и ту же точку (да и смотрѣть-то имъ больше некуда), одну и ту же мысль въ головѣ держатъ, но почему-то имъ понадобилось тянуть праздную канитель, высказывать другъ другу мнимыя возраженія, щеголять другъ передъ другомъ діалектическими тонкостями и проч.

На разговорахъ этихъ мы зубы съѣли. Каждый день мы ихъ начинаемъ и, повидимому, даже кончаемъ; каждый день, по наружности, разнообразимъ ихъ подкладку задачами самой животрепещущей современности и въ то же время внутренно сознаёмъ, что новы тутъ только ярлыки, за которыми скрывается давно залежавшаяся, покрытая плѣсенью, ветошь... Понятно, что это не успокаиваетъ, а только раздражаетъ.

— А выводъ все-таки возможенъ одинъ: кружимся мы вотъ въ этихъ четырехъ стѣнахъ, суесловимъ, острословимъ, сквернословимъ—и ничего изъ этого у насъ не выходитъ!—наконецъ сказалъ я въ формѣ заключенія.

По совѣсти, я не могу, впрочемъ, сказать, что выходило изъ моихъ словъ: были ли они дѣйствительнымъ заключеніемъ прежняго разговора или же, напротивъ, служили началомъ разговора новаго. Но раздавшійся въ передней звонокъ рѣшилъ въ пользу завершенія.

Въ комнату вошелъ Алексѣй Степанычъ Молчалинъ. Я такъ мало былъ приготовленъ къ его визиту, что прежде всего у меня мелькнуло въ головѣ: ужъ не желаетъ ли онъ мнѣ сообщить свое мнѣніе насчетъ высылки Митхада-паши въ мѣста не столь отдаленныя (въ то время это была самая животрепещущая новость дня). Но, взглянувъ на него, тотчасъ же убѣдился, что случилось нѣчто не совсѣмъ обыкновенное.

Онъ былъ очень блѣденъ; лицо осунулось, носъ обострился, углы губъ подергивались, глаза были сухи и воспалены.

— Дайте воды—пить хочу! — вымолвилъ онъ осиплымъ голосомъ, точно слова съ трудомъ выходили изъ пересохшаго горла:—былъ около васъ и вдругъ почувствовалъ: пить хочу... Не потревожилъ?

Онъ жадно выпилъ стаканъ воды съ виномъ, потомъ налилъ другой, опять выпилъ и съ минуту не могъ отдышаться. Ясно, что его постигла какая-то непріятность, и, судя по тому, что день былъ будничный и время близилось къ двумъ часамъ, когда Молчалиныхъ даже нельзя представить себѣ иначе, какъ водворенными въ соотвѣтствующихъ департаментахъ, я сначала подумалъ, что непріятность эта служебнаго свойства: чего добраго, въ отставку велѣли подать... И вдругъ меня словно обожгло. Вспомнилось, какъ однажды Алексѣй Степанычъ объ сынѣ стужался: «а ну, какъ онъ, Павелъ-то Алексѣичъ мой, что-ни-на-есть сболтнетъ?» Неужто сболтнулъ?

— Помните, мы намеднись съ вами о Павлушѣ бесѣдовали?—какъ бы угадывая мою мысль, спросилъ меня Алексѣй Степанычъ.

Вопросъ этотъ точно обухомъ ударилъ меня по головѣ. Догадливость моя показалась мнѣ до того зловѣщею, что я боялся даже мыслить, чтобъ и еще не напасть на какую-нибудь догадку. Затаивши дыханіе, смотрѣлъ я на этого человѣка, который—такъ недавно еще, мнѣ это казалось—цѣною неслыханныхъ усилій успѣлъ-таки пріурочить свое трудное существованіе къ чему-то прочному, почти безмятежному.

— Да-съ, такъ вотъ это самое... Именно этотъ случай и разыгрался у насъ... Пошелъ я давеча къ князю — къ начальнику-то своему — а тотъ говоритъ: «сами, сударь, виноваты! правилъ настоящихъ не умѣли внушить!» — Что-жъ! и прекрасно! Это точно, что я не внушалъ! ну, я, стало-быть, и отвѣтъ за это долженъ дать! А то, помилуйте! я—не внушалъ, а Павелъ Алексѣичъ все-таки обязанъ знать... «настоящія правила»! На что похоже!

Онъ высказалъ это безсвязно, едва ли сознавая значеніе своихъ словъ. И вслѣдъ затѣмъ такъ же машинально потянулся за сигарой, зажегъ ее и началъ муслить во рту.

— Смѣшно, право!—прибавилъ онъ въ заключеніе, какъ будто все «предыдущее» было для насъ такъ же ясно, какъ и для него:—я не внушалъ, а Павелъ Алексѣичъ—долженъ знать!!

Но, въ сущности, это «предыдущее» было дѣйствительно

ясно. Жизнь пріучила насъ къ цѣлому ряду явленій, которыя мы угадываемъ съ одного намека. Всѣ современныя семейныя драмы (во всѣхъ въ качествѣ дѣйствующаго premier sujet является подрастающій «молодой человѣкъ») построены до того на одинъ ладъ, что можно заранѣе расположить ихъ сценарій и угадать заключительную катастрофу. Стенографическіе отчеты газетъ знакомятъ насъ съ этими драмами довольно аккуратно, но нельзя сказать, чтобъ вполнѣ обстоятельно. А именно: не всѣ дѣйствующія лица выходятъ въ нихъ на сцену. Мы видимъ только такъ-называемыхъ увлекающихся, но намъ почти никогда не приходитъ на мысль, что у каждаго изъ этихъ увлекающихся существуетъ извѣстная обстановка, данная рожденіемъ, воспитаніемъ, дружбою. Стенографическіе отчеты рѣшительно умалчиваютъ объ этихъ обстановкахъ, а между тѣмъ въ нихъ встрѣчаются дѣйствующія лица, отнюдь не менѣе интересныя, какъ и главные сюжеты. Это—отцы и матери увлекающихся, которые мечутся, истекаютъ слезами и кровью и съ тѣмъ бо́льшею болью отзываются на удары судьбы, что послѣдніе падаютъ на организмы, уже обезсиленные прежними жизненными ударами. Поэтому, ежели читатель стенографическихъ отчетовъ хочетъ знать, гдѣ находится настоящій узелъ современныхъ семейныхъ драмъ, то онъ долженъ перенестись мыслью къ этимъ анонимнымъ, безъ рѣчей изнемогающимъ лицамъ. Тогда драма сдѣлается для него вполнѣ понятною, ибо онъ на себѣ самомъ почувствуетъ цѣпенящее дуновеніе того ужаса, который заставляетъ анонимныхъ людей анонимно истекать слезами и кровью.

Мы молчали. Я боялся даже взглянуть на Алексѣя Степаныча: мнѣ казалось, что я встрѣчу въ лицѣ его нѣчто такое, что̀ должно меня уничтожить. До сихъ поръ я видѣлъ въ немъ только несомнѣнно добраго человѣка; теперь—онъ представлялся мнѣ верховнымъ судьею, который силою сосредоточившагося въ немъ трагизма всю мою жизнь можетъ привести къ нулю. Да, я не зналъ, какъ *это* страшно; я не понималъ, что можетъ существовать *такая* боль. Вотъ человѣкъ, котораго жизнь до самой глубокой старости была сцѣпленіемъ всевозможныхъ «обстановочекъ», который вполнѣ удовлетворялся этимъ, думалъ только о томъ, какъ бы ему поудобнѣе устроить послѣднюю «обстановочку» — «обстановочку» смертнаго часа — и на котораго вдругъ, изъ-за угла, налетѣла неслыханнѣйшая

трагедія и заставила метаться въ пустотѣ, заставила истекать сухими слезами, не сознавать собственныхъ рѣчей, не понимать, зачѣмъ и куда онъ пришелъ...

Да, я увѣренъ, что онъ находился въ состояніи полусна и сознавалъ только одно: что его пристигла внезапная и совсѣмъ нестерпимая боль. Больно вездѣ: мозгъ горитъ, сердце колотится въ груди, спину переломило. Надо куда-то бѣжать, о чемъ-то взывать — и все это въ такія минуты, когда разсудокъ отказывается дѣйствовать, когда колеблющіяся ноги не могутъ выносить тяжести вдругъ осѣвшаго тѣла, когда съ каждымъ шагомъ кажется, что проваливаешься въ бездну. Несомнѣнно, что старикъ уже съ ранняго утра мыкался по городу, но *былъ* ли онъ гдѣ-нибудь и *зачѣмъ* былъ — навѣрно, онъ въ эту минуту даже разсказать не могъ. Бываютъ положенія, когда человѣкъ ни о чемъ больше и думать не можетъ, кромѣ того, что ему надо куда-то идти и за что-то себя распинать, когда онъ спѣшитъ, оставляетъ всѣ дѣла, выходитъ на улицу—и не знаетъ, въ какую сторону броситься. Я убѣжденъ, что онъ и ко мнѣ зашелъ машинально. Пить захотѣлось, онъ взглянулъ на домъ, мимо котораго шелъ, показалось что-то знакомое—онъ позвонилъ. Вотъ и теперь, хотя глаза его были устремлены въ ту сторону, гдѣ стояли мы съ Глумовымъ, но, въ сущности, онъ смотрѣлъ не на насъ, а черезъ насъ, въ тотъ невѣдомый уголъ, откуда слышится ему дорогой голосъ: «мы, папаша, знаемъ, что вы насъ любите, и очень вамъ за это благодарны». Эти слова когда-то казались ему холодными (онъ, какъ и всѣ старики-отцы, не прочь бы посентиментальничать), но теперь они звучатъ въ его ушахъ, какъ высшее выраженіе сыновней любви. Да, именно такъ, просто и безъ излишествъ, долженъ говорить сынъ съ отцомъ, такой сынъ, который ждетъ отъ отца серьезно-любовнаго отношенія, а не бомбошки. Эта сжатость и трезвенность сыновняго обращенія даже ему, старику, дѣлала величайшую честь: она поднимала его до уровня сына. Да, поднимала; отца поднимала... до сына. Теперь это для него совсѣмъ ясно. И вотъ этотъ самый сынъ, который ему такъ недавно еще говорилъ: «мы, папаша, знаемъ, что вы насъ любите...» ахъ, какъ онъ просто, какъ любовно онъ это говорилъ! Господи! да вѣдь не дальше, какъ вчера, вчера утромъ, онъ, Алексѣй Степанычъ, ходилъ, обнявши его, по залѣ и не надоѣдалъ ему старческой болтовнею, а только

осторожно заглядывалъ ему въ лицо... Отчего вчера, а не сегодня?

Подавленный этою мыслью, онъ продолжалъ смотрѣть черезъ насъ въ пространство, въ то небольшое, но лучезарное пространство, въ которомъ сосредоточивалось искупленіе, обрѣтенное цѣною крестнаго пути.

— Голубчикъ! да вы узнавали ли? — первый прервалъ молчаніе Глумовъ.

Алексѣй Степанычъ слегка вздрогнулъ; вопросъ этотъ снова возвратилъ его къ чувству дѣйствительности.

— Былъ, — отвѣчалъ онъ:—и у своего князя, и у другихъ... Всѣ говорятъ: «самъ, старикъ, виноватъ! вожжи покороче держать было надо!» Помилуйте! диви бы что умное сказали, а то... вожжи! Ишь вѣдь... вожжи!

— Обнадеживаютъ ли, по крайней мѣрѣ?

— Обнадеживаютъ... да. Только вѣдь я Ѳома невѣрующій! мнѣ вѣдь *сейчасъ* его надобно... вотъ теперь, сію минуту! А этого, говорятъ, нельзя! Ну, и я самъ знаю, что нельзя!

— Отчего же?

— Нельзя, сударь!.. служба, долгъ!

— Да разскажите подробнѣе: какъ васъ приняли, что сказали?

— «Нельзя!»—я, признаться, только это и слышалъ. А въ прочихъ частяхъ, разумѣется... за что же меня дурно принимать! Старикъ... съ ума сходитъ... любитъ... Одинъ генералъ даже руки жалъ... слезы на глазахъ... «Успокойтесь!» говоритъ.

При этомъ воспоминаніи Алексѣй Степанычъ нервно повернулся въ креслѣ и усиленно началъ муслить потухшую сигару.

— Что-жъ, я вѣдь и не безпокоюсь!—продолжалъ онъ:—я на стѣну не лѣзу, на приступъ не иду, не грублю, а прошу!.. Сердце у меня въ клочки разорвали—вотъ я что говорю! Служба, долгъ—все это я знаю! Чего еще спокойнѣе!

— Да не можемъ ли мы что-нибудь... ну, сходить куда-нибудь, разузнать?—началъ-было я.

— Нѣтъ, другъ мой, что ужъ! Вотъ воды напиться дали—за это спасибо!—поблагодарилъ Алексѣй Степанычъ и вдругъ какъ-то пристально взглянулъ на насъ, покачалъ головой и прибавилъ: — Ахъ, господа, господа!

Меня даже въ жаръ бросило отъ этого восклицанія. Господи! да вѣдь онъ понялъ! думалось мнѣ. Онъ понялъ,

что ему съ нами дѣлать нечего; можетъ-быть, онъ даже угадалъ разговоръ, который мы вели до его прихода. Бываютъ такія минуты прозорливости, когда видимое человѣкомъ пространство вдругъ освѣщается какимъ-то совсѣмъ особеннымъ свѣтомъ, и передъ умственнымъ его взоромъ совершается что-то въ родѣ откровенія. Вотъ одну изъ такихъ минутъ переживалъ и Молчалинъ. Онъ какъ бы очнулся и мысленно спрашивалъ себя, какимъ образомъ, при такихъ несомнѣнно трудныхъ для него обстоятельствахъ, онъ очутился здѣсь, въ кругу «пріятныхъ знакомыхъ»?

И дѣйствительно, онъ посидѣлъ еще минутъ съ пять, но уже не говорилъ, а только возился съ сигарой, безуспѣшно пытаясь зажечь ее. Наконецъ онъ грузно поднялся съ кресла и простился съ нами.

— Пора! дѣло дѣлать нужно!—сказалъ онъ, направляясь колеблющимся шагомъ къ выходу.

Мы опять остались глазъ-на-глазъ съ Глумовымъ. Нѣкоторое время мы безмолвствовали, какъ бы стараясь вникнуть въ смыслъ соннаго видѣнія, которое мелькнуло передъ нашими глазами.

Увы! смыслъ этотъ былъ такъ ясенъ, что его нельзя было затемнить даже самыми ухищренными комментаріями. Видѣніе стояло передъ нами несомнѣннымъ укоромъ и практически подтверждало то самое, о чемъ мы, при каждой встрѣчѣ, вели безконечную хворую канитель. Даже теперь, когда налицо стоялъ живой фактъ, я замѣтилъ, что меня интересуютъ не столько Молчалины, отецъ и сынъ, сколько мое личное отношеніе къ обрушившемуся на нихъ злоключенію. «Не могу! не умѣю!»—затянулъ-было я, но тутъ же съ какимъ-то омерзѣніемъ подумалъ: «Господи! да вѣдь это опять все та же канитель!» Противно сдѣлалось: зарыться куда-нибудь хотѣлось, забыть. Но для этого нужно было, чтобъ Глумовъ ушелъ, а онъ не уходилъ. Канитель преслѣдовала до конца.

— Пить попросилъ! — началъ я, почему-то особенно пораженный этой подробностью.

— Да, попросилъ.

— И замѣть: когда я предложилъ ему свои услуги, онъ даже и не задумался. Какія, молъ, услуги, вы, пріятные знакомые, оказать можете! вотъ напиться дали — за это спасибо! Старикъ! Молчалинъ! — и тотъ!

— Да, и тотъ!

— И тотъ ничего отъ насъ не чаетъ... ха-ха!

— Видно, что такъ.

— И тотъ говоритъ: вотъ покалякать съ вами—я съ удовольствіемъ; а что касается до дѣла, до такого, въ которомъ, такъ сказать, кровь говоритъ, — это ужъ слуга покорный! Лучше, дескать, я къ квартальному обращусь: можетъ-быть, вмѣстѣ какую-нибудь «обстановочку« выдумаемъ.

— То-то, что не сильны мы насчетъ «обстановочекъ»-то! Это вѣрно!

— Да и не насчетъ однѣхъ «обстановочекъ», а вообще... Ничего мы не можемъ. Старикъ — и тотъ это понялъ. А представь себѣ, если бы намъ пришлось, напримѣръ, предложить свои услуги самому Павлу Алексѣичу...

— Ну, тому врядъ ли бы даже предложить пришлось, потому что вѣдь онъ, поди, и въ мысляхъ не держитъ, что мы существуемъ на свѣтѣ.

— Положимъ однако-жъ. Допустимъ, что намъ какъ-нибудь удалось бы напомнить ему о своемъ существованіи: вѣдь онъ... что бы онъ намъ сказалъ?! Ахъ, какое это однако-жъ нестерпимое, оскорбительное положеніе!

Глумовъ не возражалъ. Обыкновенно мы наши діалоги вели въ такомъ порядкѣ: онъ говорилъ, я подавалъ реплику, и наоборотъ. Но на этотъ разъ передъ нами стоялъ фактъ, который до нѣкоторой степени обуздывалъ. Глумовъ даже прекратилъ свое обычное хожденіе по комнатѣ, усѣлся на диванъ и какъ-то уныло смотрѣлъ на меня.

— Хворы, братъ, мы—вотъ что,—сказалъ онъ.

— Да и не теперь только хворы, а всегда были! Помянуть нечѣмъ прошлаго! Эти экскурсіи въ область «униженныхъ и оскорбленныхъ» — ахъ, я забыть объ нихъ не могу!

— А это еще лучшее, что было!

— Но вѣдь это развратъ! это сонное любострастіе! вотъ вѣдь это что! На дѣлѣ-то я себѣ въ пищѣ отказывалъ, лишь бы въ такихъ же клѣтчатыхъ штанахъ щегольнуть, какіе нашъ общій товарищъ, Сеня Бирюковъ, носилъ! Я сгоралъ завистью къ тѣмъ, которые къ графинѣ де-Мильфлёръ на балы ѣздили! Я, отъ роду ея не видѣвши, анекдоты изъ жизни Мильфлёрши разсказывалъ!

— И въ то же время занимался экскурсіями въ область униженныхъ и оскорбленныхъ... было, братъ, это, было!

— Развѣ это не сонное любострастіе? Ахъ, что это за

молодость была! Вѣдь ни одного шага, ни одного поступка искренняго не было, ничего, кромѣ лганья! И не лжи, а именно лганья, безобразнаго, нескладнаго, которое всякій насквозь видѣлъ! И странное дѣло: всѣ знали, всѣ понимали, что мы лжемъ, и никто не далъ себѣ труда уличить насъ, никто не сказалъ намъ: «молодые лгуны! подумайте, какую вы готовите себѣ старость!»

— Тогда, любезный другъ, всѣ лгали, а объ молодыхъ людяхъ такъ даже прямо такое мнѣніе было, что имъ лгать приличествуетъ!

— И вотъ теперь мы старики—и никому до насъ дѣла нѣтъ! Молчалинъ—пойми, Христа ради!—тотъ самый Молчалинъ, который къ Софьѣ Павловнѣ по ночамъ на флейтѣ играть ходилъ!—и тотъ говоритъ: «ничего я отъ васъ не жду, а вотъ воды напиться дадите—скажу спасибо!»

Это было такъ горько, такъ горько, что я совсѣмъ незамѣтно увлекся и уже совершенно непослѣдовательно заключилъ свою діатрибу восклицаніемъ:

— За что?!

— А вотъ за то самое, въ чемъ ты сейчасъ себя уличалъ! Чудакъ, братецъ, ты! Цѣлый часъ самъ себѣ нотацію читаешь, и вдругъ—за что?!

— Да, но вѣдь все-таки... Не все же во мнѣ умерло! вѣдь хоть и поздно, а я очнулся! Весь этотъ угаръ, всѣ эти странныя понятія о свойствахъ, составляющихъ украшеніе благороднаго молодого человѣка,—все это давнымъ-давно похерено и сдано въ архивъ! Вѣдь я теперь...

Но на этомъ словѣ я осѣкся и покраснѣлъ.

— Что же ты «теперь»?—спросилъ меня Глумовъ угрюмо.

— Зла я не дѣлаю! зла!

— Христосъ съ тобой! на что дѣлать зло!

— Да, но вѣдь и это... Что же наконецъ остается намъ? при чемъ мы состоимъ? что намъ дѣлать?

— Жить — вотъ и все. Если жизнь привязалась и не отпускаетъ тебя — ну, и живи. Удивляй міръ отсутствіемъ поступковъ и опрятностью чувствъ. Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи въ четырехъ стѣнахъ и въ чужія существованія не впутывайся. Наблюдай эти существованія, но буде чего не понимаешь въ нихъ, то не огрызайся и не глумись, а говори прямо: я этого не понимаю! Живи!

На этомъ словѣ мы разстались.

Къ сожалѣнію, я не послѣдовалъ совѣту Глумова и впутался. Въ ближайшій же праздничный день послѣ посѣщенія Алексѣя Степаныча, я отправился на Пески и часовъ около двѣнадцати утра не безъ тревоги звонилъ у подъѣзда знакомаго одноэтажнаго деревяннаго домика. Но, по беззаботному виду, съ которымъ прислуга отворила мнѣ дверь, я догадался, что *все* семейство Молчалиныхъ налицо, и что, слѣдовательно, тревога моя напрасна.

— Вотъ и чудесно! — встрѣтилъ меня Алексѣй Степанычъ. — Спасибо, мой другъ, спасибо! Вѣдь и вы... да, голубчикъ, помню я, очень помню, какое вы намеднись участіе приняли! И готовность вашу и заботливость... много, очень много вы меня облегчили! А вода у васъ какая — лакомство, а не вода! У насъ вотъ на Пескахъ все какъ-то Лиговкой припахиваетъ, а въ вашихъ краяхъ прекрасная... прекраснѣйшая вода!

Алексѣй Степанычъ обнялъ меня и поцѣловалъ въ обѣ щеки.

— Стало-быть, все благополучно?

— Какъ вы тогда сказали, что безпокоиться преждевременно, такъ и оказалось! Слава Богу! слава Богу! слава Богу!

Дѣйствительно, вся фигура Алексѣя Степаныча дышала такимъ спокойствіемъ, что отъ тревоги «того дня» не осталось и слѣда. Лицо пополнѣло и посвѣтлѣло; грудь и животъ приняли обычную, слегка дугообразную форму, станъ выпрямился, голова нѣсколько откинулась назадъ, какъ у человѣка, который вполнѣ понимаетъ, что сегодня праздникъ, въ продолженіе котораго онъ самъ себѣ господинъ.

— Пустяки!—прибавилъ онъ съ такимъ жестомъ, въ которомъ я усмотрѣлъ даже нѣкоторое посягательство на молодечество.

— Ну, и отлично. Во всякомъ случаѣ я очень радъ, что все объяснилось.

— Разумѣется, пустяки!—повторилъ онъ:—гимназистку шестого класса взбунтовалъ — важность какая, сдѣлайте милость!

— Очень радъ. Такъ, стало-быть, мѣшать мнѣ вамъ нечего; по случаю счастливаго исхода дѣла, вамъ и безъ постороннихъ теперь хорошо. Прощайте.

— Ни-ни, и не думайте. Посидимъ въ кабинетѣ, покуримъ, побесѣдуемъ. Что-жъ такое! Мы рады—отчего же и вамъ съ нами не порадоваться!

Однимъ словомъ, какъ я ни отпрашивался, старикъ настоялъ, чтобъ я остался, и увелъ меня въ кабинетъ...

— Мои-то еще отъ обѣдни не пришли,—прибавилъ онъ дорогой:—а Павелъ-то Алексѣичъ къ товарищу съ утра забрался: вмѣстѣ «Правительственный Вѣстникъ» будутъ критиковать! Не нравятся мнѣ эти критики, охъ, какъ не нравятся! а съ другой стороны—жалко и на привязи молодого человѣка держать! Думалъ-было сказать: не ходи!—да совѣстно! Недотрога вѣдь онъ у меня—недолго и разбередить! Нынче же гаду промежду публики много развелось: вмѣсто того чтобъ миркомъ да ладкомъ—только и слышишь: «мальчишка! негодяй!» Вотъ онъ, Павелъ-то Алексѣичъ, и настораживаетъ уши!

— Конфузится?

— Да какъ сказать? Въ первые два-три дня, какъ явился къ намъ — точно, что былъ будто не въ себѣ... Гимназистку взбунтовалъ—ишь вѣдь какой грѣхъ случился! Ну, а теперь, кажется, обошелся. Милости просимъ!

Мы вошли въ кабинетъ, усѣлись, закурили папиросы и начали бесѣдовать.

— Довольно-таки было мнѣ бѣготни,—началъ Алексѣй Степанычъ:—въ одномъ мѣстѣ пять минутъ, а въ другомъ—десять минутъ, да на лѣстницу да съ лѣстницы—смотришь, анъ къ вечеру и порядочно ноги отбилъ.

— Хорошо, по крайней мѣрѣ, что успѣли.

— Да, мой другъ, очень это хорошо. Я, впрочемъ, не ропщу. Роптать свойственно сильнымъ міра сего. Вотъ кто на высотѣ стоитъ, и вдругъ его оттуда шарахнутъ! или чиномъ обойдутъ, или онъ Владиміра вторыя къ празднику мечталъ получить, а его короной на Анны отпотчевали. Тутъ поневолѣ возропщешь. А мнѣ—что! самолюбіевъ да честолюбіевъ у меня и въ заводѣ никогда не бывало. Сижу да корплю. Сытъ, обутъ, одѣтъ, начальство не притѣсняетъ, жалованье въ срокъ выдаютъ, семью Богъ хранитъ—чего еще надо! Скажу тебѣ откровенно, что и на праздничное нынче не особенно разсчитываю. Прежде это точно-что, по молодости, фантазіи играли; все, бывало, думаешь, какую бы обновку на праздникъ соорудить; а нынче—умудрился! Дадутъ—хорошо; не дадутъ—и на томъ спасибо!

— Философъ вы, Алексѣй Степанычъ!

— Нѣтъ, не философъ, а пожилъ—вотъ и вся философія. Я даже въ то время, какъ бѣда-то эта надо мной стряслась—большая бѣда, мой другъ!—и то не роптalъ, а

только какъ бы потерялся. Не понимаю, что̀ случилось; чувствую, что вездѣ больно, суюсь во всѣ стороны... А теперь, какъ все благополучно кончилось, не только не ропщу, а даже, какъ бы сказать, взглядъ получилъ.

— Вотъ какъ—и «взглядъ»! Такъ что, пожалуй, съ точки зрѣнія этого «взгляда», Павелъ-то Алексѣичъ...

— Сохрани Богъ! Я не объ Павлѣ Алексѣевичѣ... объ немъ я даже говорить не могу: права не имѣю! А вообще судя... Вѣдь и сквозь пальцы тоже смотрѣть...

— Алексѣй Степанычъ! батюшка! да не вы ли же сію минуту на нынѣшнюю публику жаловались, что взглядъ у нея легкомысленный.

— Да, но вѣдь я свой «взглядъ» про себя и хороню: имѣть имѣю, а зря—по большимъ дорогамъ не выбалтываю. Легко сказать: негодяи!—да каково будетъ послѣ, какъ подлость-то эту съ языка своего смывать придется! Сегодня ты на всѣхъ перекресткахъ кричишь: негодяй!—а завтра окажется, что у тебя собственный сынъ завязъ! Примѣры-то эти были. Ахъ, какъ осторожно нынче нужно эпитеты-то эти раздавать! И не думаешь, не гадаешь, какъ въ свою собственную кровь попадешь!

— Воля ваша, а того, что̀ вы сейчасъ высказали, совершенно достаточно съ точки зрѣнія «взгляда». Какихъ же еще особенныхъ «взглядовъ» нужно?

— Нѣтъ, это «поведеніе», а «взглядъ»—это опять другое. Нельзя и безъ «взгляда», мой другъ. Вотъ и объ турецкихъ дѣлахъ въ газетахъ читаешь—и тутъ «взглядъ» себѣ составляешь... Что̀, молъ, Бисмаркъ скажетъ? какую-то Дизраэли новую ловушку сочинитъ? Все хочется заранѣе разсчитать и угадать.

— Бисмаркъ возьметъ да совсѣмъ другое скажетъ!

— Что-жъ! онъ скажетъ, а мы съ тобой послушаемъ. Вѣдь это и всегда такъ бываетъ: мы, публика, взгляды составляемъ, а начальство возьметъ да взгляды наши поправитъ! Такъ-то, мой другъ!

Алексѣй Степанычъ снисходительно потрепалъ меня по колѣнкѣ и прибавилъ:

— Начальство-то наверху стоитъ—оттого ему и видно! Оно не только взгляды имѣетъ, но и примѣняетъ ихъ, а мы—соображаться должны. Вотъ я, не дальше какъ вчера, съ княземъ Тугоуховскимъ, съ начальникомъ моимъ, разговоръ объ нынѣшнихъ этихъ дѣлахъ имѣлъ—и что̀-жъ, сударь! Можетъ, и не совсѣмъ это для меня пріятно, а

все-таки долженъ сознаться, что во многомъ я, послѣ этого разговора, свой «взглядъ» измѣнилъ.

— А не будетъ это нескромностью, ежели бы я васъ попросилъ объяснить мнѣ, въ чемъ взглядъ князя Тугоуховскаго состоитъ?

— Отчего не объяснить — съ удовольствіемъ! Сначала объ дѣлахъ, разумѣется, говорили, а потомъ и другое многое къ слову молвилось. Объ Павлѣ Алексѣевичѣ рѣчь зашла: «радъ, говоритъ, душевно, что благополучно кончилось, хотя съ другой стороны...» Ну, я молчу, кланяюсь, думаю: что-то будетъ? И вдругъ взялъ онъ меня за обѣ руки и говоритъ: «ахъ, Алексѣй Степанычъ! Алексѣй Степанычъ! ты думаешь, намъ легко?»

Алексѣй Степанычъ остановился на мгновеніе, взглянулъ на меня и продолжалъ:

— Да, мой другъ, и имъ не легко!

— А мнѣ такъ кажется, что вашъ князь напрасно отягощается. Совсѣмъ ужъ онъ не такая важная птица, чтобъ на себя тяготы-то эти принимать.

— Важная не важная, а все-таки птица. Въ нашей служебной іерархіи и малая птица значеніе имѣетъ, потому что она на себѣ образъ и подобіе большихъ птицъ отражаетъ. А къ тому же, если Тугоуховскій и не большая птица, такъ вѣдь я-то передъ нимъ — ужъ совсѣмъ воробей.

— Такъ неужто-жъ въ одномъ этомъ и весь «взглядъ» вашего князя состоитъ?

— Нѣтъ, многое и другое было говорено. «Вотъ, говоритъ, который ужъ годъ неурожай вездѣ, заработковъ нѣтъ, торговля въ умаленіи, земледѣліе пало—надо же мѣры принимать!»

— Трудно жить—это правда; но вѣдь еще недостаточно сказать: «трудно»,—надобно хоть причину трудности выяснить.

— Куски наперечетъ стали—вотъ и причина. Прежде, когда во всемъ обиліе было—и духъ легче былъ, и расположенность чувствовалась; а нынче, какъ на зубъ-то нечего положить стало—ну, и смотритъ на тебя всякій, словно за горло ухватить хочетъ!

— Прекрасно. Значитъ, такъ и надобно устроить, чтобъ всего было вдоволь. Тогда и опять легкій духъ и расположенность явятся. Какъ вотъ насчетъ этого вашъ князь разсуждаетъ?

— А какъ же ты это разсудишь, голубчикъ? Сокрушается наравнѣ съ прочими—ну, и довольно!

— И часто онъ такимъ образомъ сокрушается?

— Прежде рѣже было, а съ тѣхъ поръ, какъ пошли эти воровства да банкротства... Представь себѣ! Вѣдь и его Иванъ-то Иванычъ ожегъ! Сегодня ему банкротомъ себя объявить, а вчера нашъ князь къ нему въ контору три тысячи на текущій счетъ снесъ!

Я хотѣлъ-было еще что-то спросить, но разговоръ выходилъ какъ-то ужъ черезчуръ запутанъ и сложенъ. Тутъ и неурожаи, и отсутствіе заработковъ, и банкротства... Помилуйте! да вѣдь это цѣлый курсъ политическихъ, экономическихъ и общественныхъ наукъ! И вдругъ — «взглядъ»!

А между тѣмъ эти разговоры ведутся во множествѣ, да едва ли не одни они и ведутся. По крайней мѣрѣ, на меня пахнуло чѣмъ-то до того знакомымъ, что воображеніе мое даже цѣлую картину нарисовало. Почудилось, что я самъ удостоенъ отъ князя Тугоуховскаго аудіенціей, и онъ, въ краткихъ словахъ, изливаетъ передо мной свою душу. «Поймите меня!—говоритъ онъ:—съ одной стороны, мѣры—необходимы; съ другой стороны—принимать ихъ не легко!» Сказавши это, онъ на минуту впадаетъ въ меланхолію и прибавляетъ: «Да, mon cher, не легка наша задача, хотя съ Божіею помощью и не непреодолима. Во всякомъ случаѣ, я очень радъ, вы имѣли случай узнать мой «взглядъ». Этого, я надѣюсь, совершенно достаточно, чтобъ обезпечить мнѣ ваше содѣйствіе въ будущемъ!» Затѣмъ онъ весьма любезно дѣлаетъ знакъ ручкой, извѣщающій меня, что аудіенція кончилась...

Я могъ бы продолжать эту картину и далѣе. Могъ бы разсказать, какъ я былъ очарованъ словами князя, какъ я ѣлъ его глазами, ловилъ каждое движеніе губъ и безпокойно двигался въ креслѣ, въ знакъ пониманія, какъ я даже «понималъ», какъ я шевелилъ губами, словно бы желая сказать: «ваше сіятельство! да я... да неужели?! да вы только свистнуть извольте!!», какъ я потомъ вышелъ изъ квартиры князя на свѣжій воздухъ, началъ припоминать, припоминать... и вдругъ остолбенѣлъ! «Что онъ такое сказалъ? что такое онъ хотѣлъ выразить?»—мучительно завертѣлось у меня въ головѣ...

Но я не успѣлъ еще надлежащимъ образомъ развить эту картину, какъ въ передней раздался звонокъ.

— А вотъ и самъ Павелъ Алексѣичъ, кажется, явился!— молвилъ Алексѣй Степанычъ и, послѣ минутнаго размышленія, прибавилъ:—А что бы вамъ, съ своей стороны, молодого человѣка слегка пожурить? право!

— Помилуйте, Алексѣй Степанычъ! вы, отецъ — и то не журите! съ какой же стати я-то въ это дѣло мѣшаться буду!

— Нѣтъ, и я, признаться, журилъ, да какъ-то имъ скучно стариковъ-то слушать... Скажу вамъ откровенно, не только самъ я журилъ, да и знакомаго священника, отца Николая, приглашалъ. Да тотъ какъ-то ужъ странно... «звѣзда отъ звѣзды» да «ему же честь—честь»... Для меня-то оно вразумительно, ну, а Павелъ Алексѣичъ только стоитъ да обмахивается, словно мухи около него летаютъ.

— Вотъ видите ли! Ну, и со мной то же самое будетъ: точно такъ же обмахиваться начнетъ.

Сказалъ я это очень твердо и, повидимому, совершенно искренно въ эту минуту былъ убѣжденъ, что, въ сущности, Павлу Алексѣевичу ничего другого и не предстоитъ, какъ только обмахиваться подъ гудѣніе моей журьбы. Но не могу не сознаться, что внутри у меня уже что-то щекотало.—А что, въ самомъ дѣлѣ, ежели бы пожурить молодого человѣка?—шепталъ искушающій голосъ:—не строго, не въ духѣ пророка Иліи, а въ минорномъ тонѣ: хорошій, молъ, вы молодой человѣкъ, а поступка вашего, относительно взбунтованія гимназистки, одобрить, извините, не могу! Да-съ, не могу-съ. Не такъ-съ! не этакъ-съ! Стремитесь-съ! шествуйте впередъ-съ!... Но не такъ-съ!..

И я опять слегка началъ рисовать картину: вотъ такъ я стою, а такъ—онъ стоитъ. Языкъ у меня безъ костей, слова—такъ и льются: не такъ, сударь, не такъ-съ! и правая рука поднята вверхъ, и указательный палецъ въ воздухѣ торчмя торчитъ: не такъ-съ! Гм!.. да вѣдь и это, пожалуй, своего рода взглядъ!..

Въ эту минуту Павелъ Алексѣичъ вошелъ въ кабинетъ. Онъ значительно возмужалъ съ тѣхъ поръ, какъ я его въ первый разъ видѣлъ, но въ манерахъ его замѣчалась прежняя юношеская застѣнчивость и какъ бы угловатость. Онъ поздоровался съ отцомъ, протянулъ мнѣ руку и хотѣлъ было немедленно удалиться, однако Алексѣй Степанычъ остановилъ.

— Небось, на совѣщаніи былъ?—спросилъ онъ его.

— Ходилъ къ одному товарищу.

— «Правительственный Вѣстникъ» вдвоемъ критиковали? Господина Черняева съ Гарибальди сравнивали?

— Нѣтъ, этого мы не дѣлали.

Молодой человѣкъ вновь сдѣлалъ движеніе, чтобъ удалиться.

— Что же вы дѣлали? сядь, посиди съ нами! довольно за утро съ молодыми наговорился—можно и со старшими посидѣть.

Павелъ Алексѣичъ, не говоря ни слова, сѣлъ нѣсколько поодаль и закурилъ папироску.

— А мы сейчасъ тоже объ современномъ этомъ направленіи говорили. Я—порицаю, а вотъ онъ (Алексѣй Степанычъ назвалъ меня по имени и по отчеству): извинить, говоритъ, надо!

Павелъ Алексѣичъ продолжалъ молчать, но я замѣтилъ, что онъ дѣйствительно сдѣлалъ такое движеніе рукой, словно обмахнулся.

— Позвольте, Алексѣй Степанычъ,—вступился я:—я не совсѣмъ такъ говорилъ. Я говорилъ, что молодые люди увлекаются, что увлеченіе свойственно этому возрасту!—вотъ что я говорилъ! А извинять или не извинять — это совсѣмъ другой вопросъ! Я разсматривалъ, я взвѣшивалъ... пожалуй, даже констатировалъ, но не считалъ себя въ правѣ ни осуждать, ни, тѣмъ не менѣе, извинять. Помилуйте! Это не мое дѣло!

Странная вещь! въ сущности, какъ читатель самъ можетъ убѣдиться изъ предыдущаго, я ничего подобнаго не говорилъ, но въ эту минуту мнѣ до того ясно представилось, что я именно говорилъ то самое, что даже угрызеній совѣсти не чувствовалось. А внутри такъ и подмывало: пожури да пожури!

— А по-моему, такъ это именно и значитъ «извинять»... «Увлекаются»—что-жъ это, какъ не извиненіе?—разсудилъ Алексѣй Степанычъ.

— Нѣтъ, это не то-съ! Я не извиняю и не осуждаю, а просто говорю... Но и тутъ опять! я не только не считаю своего мнѣнія обязательнымъ, но даже высказать его рѣшусь лишь въ такомъ случаѣ, когда буду имѣть увѣренность, что оно можетъ кого-нибудь интересовать!

Я взглянулъ на Павла Алексѣича, въ чаяніи, не поощритъ ли онъ меня къ дальнѣйшимъ развитіямъ, но—увы!—онъ опять обмахнулся — и только. Зато Алексѣй Степанычъ поощрилъ меня.

— Отчего же не высказаться?—сказалъ онъ:—ваше мнѣніе для всякаго, сударь, интересно!

Но я рѣшился не вдругъ. Съ одной стороны, внутренній голосъ подсказывалъ: пожури! съ другой—думалось: а ну, какъ изъ этой журьбы что-нибудь въ родѣ: «ина слава лунѣ, ина слава звѣздамъ» выйдетъ?

— Не такъ!—сорвалось у меня наконецъ:—совсѣмъ не *это* намъ нужно!

Сказалъ я это, но обычное хворое двоегласіе и тутъ не оставило меня. Кому «намъ»? о комъ ты разглагольствуешь?.. Можетъ-быть, на этомъ и прервалась бы моя «журьба», если бы Алексѣй Степанычъ не подстрекнулъ меня.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Это же самое и я ему говорю!—вмѣшался онъ.—Никогда, говорю, не бывало, чтобъ яйца курицу учили! и за границей этого нѣтъ, а у насъ—и подавно! Слѣдовательно, коли ежели старшіе говорятъ: погоди!—значитъ, такъ ты и долженъ сообразоваться! Язычокъ-то на привязи держать, да уважать старшихъ, да расположенность ихъ стараться сыскать... такъ ли я говорю?

— Нѣтъ, я не объ томъ! Я вообще говорю: не такъ! Не то намъ нужно!

Должно быть, двукратное повтореніе одной и той же формулы повліяло на Павла Алексѣича раздражительно, потому что онъ не выдержалъ.

— Позвольте! что же, собственно, нужно вамъ?—спросилъ онъ, довольно, впрочемъ, спокойно.

— Выше лба уши не растутъ — вотъ что памятовать нужно!—формулировалъ наконецъ я:—и сообразно съ симъ поступать!

— Но вѣдь это то же самое, что «яйца курицу не учатъ»!

— Нѣтъ-съ, не то! то-есть, коли хотите, оно и то, да не то! Въ предположеніи Алексѣя Степаныча яйца должны навсегда остаться яйцами. Я же говорю: вотъ яйца, изъ которыхъ со временемъ нѣчто должно вылупиться! Но прежде—и вотъ гдѣ разница между мною и вами, молодой человѣкъ!—прежде, говорю я... вылупитесь, господа!

Я сказалъ это горячо и съ убѣжденіемъ; даже старческая слеза выступила. Господи! да вѣдь тутъ ужъ цѣлый планъ! Сперва вылупитесь, потомъ подростите, потомъ осмотритесь, а тамъ что Богъ дастъ!

— Да-съ, это не то!—продолжалъ я.—Я самъ былъ мо-

лодъ, самъ увлекался... Знаю! Молодость великодушна, но— извините меня—неразсудительна! Она не хочетъ понимать, что всякое общество есть союзъ, заключенный во имя совершившихся фактовъ и упроченныхъ интересовъ. Что безнаказанно колебать подобные союзы нельзя. Что ежели наконецъ и не невозможно къ нимъ прикасаться, то прикосновеніе это можетъ быть допущено лишь съ величайшей осторожностью и крайнимъ благоразуміемъ!

— Съ подходцемъ, мой другъ, съ подходцемъ!—подтвердилъ и Алексѣй Степанычъ.

Я былъ въ ударѣ и хотѣлъ сказать многое. Даже цѣлую картину сбирался нарисовать, какъ *оно* катится и словно снѣжный комъ нарастаетъ... Само катится, милостивые государи, и само нарастаетъ... Само! Но послѣднее замѣчаніе старика Молчалина какъ-то разомъ подкосило меня. Увы! Алексѣй Степанычъ былъ неумолимъ! Онъ не только подавалъ руку помощи, но еще комментировалъ, выводилъ на свѣжую воду. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не одно и то же мы говорили? Сначала онъ сказалъ: вотъ онъ *извиняетъ*, а я возразилъ: нѣтъ, я не извиняю, а только думаю, что молодости свойственно увлекаться. Потомъ онъ свелъ разговоръ на тему: курицу яйца не учатъ, а я возразилъ: нѣтъ, и это не такъ, а вотъ какъ: уши выше лба не растутъ! Наконецъ я сказалъ: къ совершившимся фактамъ слѣдуетъ прикасаться съ осторожностью, а онъ прибавилъ: съ подходцемъ!.. Неужто же мы единомышленники? Неужто я—онъ, а онъ—я?

Я смотрѣлъ во всѣ глаза и не могъ придти въ себя отъ изумленія. Алексѣй Степанычъ, перегнувшись въ креслѣ, болталъ руками между колѣнъ и, благодушно покачиваясь, приговаривалъ:—Да, братъ, съ подходцемъ—а ты думалъ, какъ?—«Молодой человѣкъ» покуривалъ папироску и совершенно безучастно смотрѣлъ въ окно. Такая скука была написана на лицѣ его, что я сразу понялъ, какое дѣйствіе произвела на него моя журьба. Это дѣйствіе формулировалось словами: вотъ-вотъ, сейчасъ будетъ «звѣзда же отъ звѣзды разнствуетъ во славѣ»—и конецъ разглагольствію!

Наконецъ онъ не выдержалъ и всталъ.

— Я папенька, пойду,—сказалъ онъ:—наши ужъ отъ обѣдни пришли.

Мы опять остались одни со старикомъ Молчалинымъ.

Алексѣй Степанычъ имѣлъ такой видъ, какъ будто сейчасъ проснулся. Очевидно, и онъ не ждалъ, что *такъ* вый-

детъ. Можетъ-быть, онъ думалъ, что я представленіе дамъ: возьму шляпу, сперва покажу ея внутренность: пусто?— а потомъ въ ней окажется яичница, или живой голубь, или букетъ цвѣтовъ. А оказалось, что я *почти* то же сказалъ, что и отецъ Николай, что и всѣ мы, отживающіе люди, говоримъ, когда нелегкая наталкиваетъ насъ на разговоръ.

Однако онъ не только не попенялъ мнѣ за это, но, какъ человѣкъ вполнѣ незлопамятный, даже поощрилъ.

— Ну, спасибо, голубчикъ!—сказалъ онъ, подавая мнѣ на прощаніе руку: — большое вамъ за это спасибо, что моего молодого человѣка уму-разуму наставили! Горько-нько ему, конечно, правду-то эту выслушивать, зато впослѣдствіи благодаренъ будетъ, какъ дѣйствіе-то на себѣ ощутитъ! Да, зарубитъ-таки онъ кое-что зарубитъ себѣ на носу!

Я возвращался отъ Молчалиныхъ и съ тревогой, почти съ болью спрашивалъ себя: могъ ли я сказать что-нибудь иное?

Да, я высказалъ то самое безразличное брюзжаніе, которое, благодаря старческой хворости, замѣняетъ намъ и анализъ, и доказательства,—все... Но я высказалъ некрасиво, не постарался—оттого и вышло, что я какъ бы повторилъ Тугоуховскаго, Алексѣя Степаныча и отца Николая.

Впрочемъ, быть-можетъ, я имѣлъ бы сказать что-нибудь и еще, да языкъ не поворачивался. Несмотря на симпатичныя стороны, о которыхъ я подробно упомянулъ выше, у насъ, людей отживающихъ, людей старыхъ пѣсенъ, есть огромный недостатокъ: мы боимся даже невзначай обнаружить ту сокровенную подоплёку, которая составляла основу всей нашей жизни. Вѣдь, собственно говоря, мы никогда настоящимъ образомъ не жили, а только жеманились. Мы и свободу любили на греческій и римскій манеръ: чтобъ амфора была, вино сиракузское лилось, а мы бы мудро бесѣдовали. Даже смерть мы представляли себѣ въ красивой формѣ, по образцу смерти Тразеи Пета, съ разговоромъ въ кругу друзей о непрочности земныхъ благъ и съ восклицаніемъ, въ видѣ заключенія: хвала Юпитеру! Подумайте: есть ли возможность все это обнаруживать? есть ли возможность вступать въ споръ, имѣя въ запасѣ такую опорную точку?

Увы! нынче нѣтъ ни амфоръ, ни сиракузскаго вина, ни красивой смерти, ни даже Юпитера. Нынѣшняя жизнь,

даже въ запросахъ своихъ, воплотилась въ какія-то странныя формы, чуждыя свѣтотѣней, аляповатыя, грубыя, почти циничныя. Хотѣлось бы порой сказать ей слово сочувствія, а внутри такъ и колышется: фуй! Гадливость, коли хотите, отнюдь не злостная, а только инстинктивная, но, благодаря безпрерывному возбужденію, очень легко переходящая въ привычку, въ страхъ.

Вотъ этотъ-то страхъ и есть то общее, что приравниваетъ насъ къ Тугоуховскимъ, Молчалинымъ и проч. Не въ томъ дѣло, что мы не тѣхъ результатовъ боимся, которыхъ боятся они, а въ томъ, что и мы и они ждемъ своихъ различныхъ результатовъ изъ одного и того же источника. Поэтому, хотя мы выражаемъ наше отношеніе къ современности нѣсколько иначе, нежели Тугоуховскіе и Молчалины, но разница лежитъ скорѣе въ формѣ, нежели въ сущности.

Поэтому же ничего у насъ яснаго не выходитъ, да и не ждетъ отъ насъ никто ничего. Мы и скорбимъ, и стыдимся, и къ смерти взываемъ, а намъ говорятъ: уйдите! живите или умирайте—какъ вамъ угодно, но только тамъ, въ своихъ углахъ!

Это очень больно, но средствъ къ уврачеванію этой боли, кажется, не предвидится. Что бы мы ни говорили, какой бы «обмѣнъ мыслей» ни предпринимали—все-таки въ результатѣ окажется: «ина слава лунѣ, ина слава звѣздамъ». Развѣ это разговоръ? Нѣтъ, правду сказалъ Глумовъ: «живи и удивляй міръ отсутствіемъ поступковъ и опрятностью чувствъ!» Да, только это и остается.

Не успѣлъ я мысленно произнести имя Глумова, какъ почувствовалъ, что кто-то хватаетъ меня за локоть. Оглянулся—онъ самый и есть!

— Пари держу, что у Молчалиныхъ былъ?

— Да, былъ,

— Ну, и что-жъ?

Я разсказалъ все по порядку, ничего не утаивая и не прибавляя.

— И подѣломъ! — разсердился на меня Глумовъ:—малодушный ты старикъ — вотъ что! Говорено было тебѣ: сиди смирно! Да тебя, впрочемъ, не убѣдишь! Вотъ и теперь, придешь, чай, домой, сядешь за столъ и скажешь себѣ: а нутко, благословясь, я этюдъ объ «новыхъ людяхъ» настрочу! Нехорошо! не моги!

Оглавленіе

IX ТОМА.

стр.

Круглый годъ

(1879 г.).

Первое января 5
Первое февраля 13
Первое марта 25
Первое апрѣля 40
Первое мая 54
Первое іюня 73
Первое іюля 87
Первое августа 103
Первое сентября 118
Первое октября 136
Первое ноября 146
Первое декабря 155

Въ средѣ умѣренности и аккуратности

(1874—1877 гг.).

I. Господа Молчалины 179
II. Отголоски:
I. День прошелъ—и слава Богу! 324
II. На досугѣ 349
III. Тряпичкины-очевидцы 410
IV. Дворянскія мелодіи 451
V. Чужой толкъ 475

Stanford University Libraries
3 6105 013 383 430

S 171
Id.5
v.9

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.